

К. МАРКС

и

Ф. ЭНГЕЛЬС

К. М А Р К С

и

Ф. Э Н Г Е Л Ъ С

СОЧИНЕНИЯ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Публицистика - Философия - История

ОТДЕЛ ВТОРОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАПИТАЛ
ТЕОРИИ ПРИВАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ
ПЕРЕПИСКА

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ

**ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

К. МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

Т О М
V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й

К. МАРКС

И

Ф. ЭНГЕЛЬС

ИССЛЕДОВАНИЯ
СТАТЬИ

1845—1848

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

В настоящий том вошли все работы, написанные Марксом и Энгельсом после того, как они снова встретились — на этот раз в Брюсселе. Они охватывают время от октября 1845 г. до марта 1848 г. — с одним и очень важным исключением. В силу причин, которые указаны в предисловии к четвертому тому нашего издания, мы решили выделить «Немецкую идеологию», написанную зимою 1845—1846 гг., в особый том.

Маркс был выслан из Парижа по приказу Гизо 19 января 1845 г. В корреспонденции из Бармена, которую Энгельс 2 февраля 1845 г. послал в «New Moral World», он пишет, что «Маркс намеревается переехать в Бельгию и, если месть прусского правительства (которое побудило французских министров изгнать Маркса) будет его преследовать и там, перебраться в Англию».

Маркс действительно переехал в Брюссель. Он попал туда уже 1 февр аля 1845 г. Подписав заявление, что не будет вмешиваться во внутренние дела Бельгии, т. е. не будет принимать участия в политической жизни страны, он обеспечил себе спокойное пребывание в пункте, который имел важное преимущество: из Брюсселя легко было поддерживать не только почтовые, но и личные сношения с единомышленниками в Рейнской провинции. Чтобы избавиться от «мести» прусского правительства, которое продолжало добиваться и у бельгийского правительства приказа об его изгнании, Маркс еще в том же году, 1 декабря 1845 г., заявил о своем выходе из прусского подданства, не делая, однако, никаких попыток стать «подданным» или «гражданином» другой страны, как это более предусмотрительно сделал через несколько лет А. Герцен, «вкупившись» в граждане «свободной» швейцарской республики, или Фрейлиграт, которому, как банковскому служащему, удалось натурализоваться в Англии.

В половине марта 1845 г. вышла в свет первая книга, авторами которой значатся Маркс и Энгельс, — «Святое семейство»; 15 марта 1845 г. Энгельс подписал предисловие к «Положению рабочего класса в Англии». Вместе с Гессом он основывает новый журнал, который,

по его словам, «будет давать только *факты*, рисующие состояние современного цивилизованного общества, и красноречием фактов будет проповедывать необходимость радикальной реформы», — «Зеркало общества». Он собирался еще издавать вместе с Марксом «Библиотеку выдающихся заграничных социалистов». Он предлагал начать с Фурье, Оуэна, сен-симонистов.

«Морелли можно было бы дать раньше. Очерк исторического развития можно было бы дать во введении к Библиотеке, так что читатель мог бы легко ориентироваться. Это введение мы могли бы сделать вместе: ты взял бы Францию, я — Англию. Это не трудно будет сделать, если я, как предполагаю, приеду к вам на три недели».

Но «поистине собачья жизнь», которую Энгельс вел в Бармене, становилась настолько невыносимой, отношения с отцом настолько обострились, что Энгельс решил переехать в Брюссель на долгое время. Не дожидаясь выхода в свет первого номера затеянного им вместе с Гессом журнала, Энгельс сейчас же после того, как закончил корректуры своей книги, уехал в Брюссель, куда попал в первой половине мая. Он считал себя еще настолько легальным, что думал в июне месяце вернуться в Бармен, чтобы присутствовать на свадьбе своей любимой сестры. Но директор бельгийской государственной полиции предупредил его, что ему вряд ли удастся вернуться в Брюссель, и Энгельс в письме от 31 мая 1845 г. предупреждает сестру, что он не может приехать в Бармен.

Маркс продолжал работать в Брюсселе над книгой, которая, по словам Энгельса в цитированной нами корреспонденции, должна была «заключать в себе обзор принципов политической экономии и политики вообще». В последней корреспонденции из Бармена в «New Moral World» (10 мая 1845 г.) Энгельс пишет даже, что в печати, между прочим, находится и книга д-ра Маркса «Обзор принципов политики и политической экономии». В процессе этой работы Маркс сделал значительный шаг вперед в сравнении с «Святым семейством», в котором он жестоко разделяется с «философией самосознания», но все еще остается «реальным гуманистом», хотя фактически уже освобождается от влияния Фейербаха.

В ряде тезисов, сформулированных им весной 1845 г. в Брюсселе, он подвергает уже решительной критике абстрактный материализм Фейербаха. А в это время Энгельс сообщал английским социалистам, — «самый важный факт, ставший мне известным со времени моего последнего письма», — что Фейербах, самый выдающийся философский гений Германии в настоящее время, объявил себя ком-

мунистом и заявил его другу (Криге), что он никогда не испытывал такого наслаждения, какое ему доставили «Гарантии» Вейтлинга.

«Такой союз между германскими философами, самым выдающимся представителем которых является Фейербах, и германскими рабочими, представляемыми Вейтлингом, союз, год тому назад предсказанный д-ром Марксом, целиком осуществлен. Имея за собой философов, чтобы мыслить, и рабочих, чтобы бороться за наше дело, — разве может какая-либо земная сила быть достаточно мощной, чтобы противостоять нашим успехам?»

В той самой записной книжке, в которой мы нашли тезисы Фейербаха, Маркс выписал для себя из каталогов различных библиотек сотни названий книг по экономии и политике. Некоторые из них тщательно эксерпированы в тетрадях, относящихся к этому периоду. Но кроме этих списков имеются также заметки, показывающие, что Маркс тогда действительно поглощен был изучением «принципов политики и политической экономии». Особенный интерес вызывает следующая диспозиция:

1) История возникновения современного государства или Французская революция.

Самовозвеличение государственности, смешение с античным государством. Отношение революционеров к гражданскому обществу. (Разделение) Раздвоение благородных элементов в гражданственности и государственности.

2) *Провозглашение прав человека и конституция государства.*
Индивидуальная свобода и публичная власть.

Свобода, Равенство и Единство. Суверенитет народа.

3) *Государство и гражданское общество.*

4) *Представительное государство и хартия.*

Конституционное представительное государство и демократическое представительное государство.

5) *Разделение властей.* Законодательная и исполнительная власть.

6) *Законодательная власть* и законодательные учреждения (клуб). Политические клубы.

7) *Исполнительная власть.* Централизация и иерархия. Централизация и цивилизация. Федерализм и индустриализм. *Государственное управление* и *общинное управление.*

8) *Национальность и народ.*

9) *Избирательное право, борьба за уничтожение государства* и гражданского общества.

10) *Судебная власть и право.*

11) *Политические партии.*

Этот план остался невыполненным, но некоторые пункты указывают, что Маркс уже весной или летом 1845 г., делая дальнейший шаг вперед в своей критике гегелевской философии права, старался поставить на место идеалистических и метафизических рассуждений буржуазной юриспруденции анализ реальных сил, определяющих развитие политических и правовых норм.

Энгельс еще раньше намеревался, покончив с книгой о положении рабочего класса в Англии, взяться за «Историю английского общества». И если трудно сказать, под каким предлогом Энгельс получил у своих родителей деньги на поездку в Англию, то несомненно, что и у него, и у Маркса было достаточно оснований, чтобы предпринять путешествие в Лондон и Манчестер и собрать новые материалы для предпринятых ими работ.

О такой поездке упоминает сам Энгельс в предисловии к немецкому изданию «Нищеты философии». Говоря о доступности старой английской социалистической литературы в 1846 г., он замечает:

«В то время Маркс еще ни разу не посещал читальной залы Британского музея. Кроме книг парижской и брюссельской библиотек и моих книг и выписок, он просмотрел только те книги, которые удалось достать в Манчестере во время нашей совместной шестинедельной поездки в Англию *летом 1845 г.*»

Много лет спустя Энгельс в письме к Марксу (15 мая 1870 г.) вспоминает о тех днях, когда они вместе работали в манчестерской библиотеке.

«В течение последних дней я опять много работал в маленьком башенном выступе пред квадратным бюро, где мы сидели 24 года назад; я люблю этот уголок, из-за пестрого окпа там всегда уютно. Старик Джонс, библиотекарь, все еще жив».

Среди тетрадей Маркса сохранились и тетради, на которых имеется пометка «Манчестер, июль 1845», из которых видно, как усердно занимался он в этой библиотеке. Характерно, что до этой поездки Маркс читал английских экономистов — Рикардо, Смита, Милля, Мак-Коллоха — во французском переводе. Сохранившиеся от манчестерского периода тетради полны выписками из английских книг — Купера, Задлера, Тука, Джилльберта, имеются подробные конспекты Петти, Давенанта, Миссельдена. Особенно детально конспектирован Брей, которого Маркс после противопоставляет Прудону. Десятки страниц посвящены Оуэну.

Не подлежит никакому сомнению, что именно в эти летние месяцы — июль и август 1845 г. — Маркс и Энгельс в этой общей работе уже формулировали основные пункты своего нового миро-

воззрения. Именно к этому времени, а не к первому пребыванию его в Манчестере, относятся известные слова Энгельса, в которых он подводит итог своему пребыванию в Манчестере.

«Живя в Манчестере, я воочию убедился, что экономические факты, которые совсем не играли роли или играли только незначительную роль в исторических сочинениях, выходящих до того времени, представляют, по крайней мере для современного мира, решающую историческую силу; что экономические факты образуют основу, на которой возникают современные классовые противоположности; что эти классовые противоположности во всех странах, где они, благодаря крупной промышленности, развились в полной мере, следовательно в особенности в Англии, являются, в свою очередь, основой формирования политических партий для партийной борьбы, а поэтому для всей политической истории». Изложенное уже Марксом в «Немецко-французских летописях» учение об исторической роли пролетариата было теперь переведено с философского на социально-экономический язык. «Коммунизм у французов и немцев, чартизм у англичан с этой точки зрения не являлись уже чем-то случайным, что так же хорошо могло бы и не быть. Все эти движения оказались теперь движениями современного угнетенного класса, пролетариата, более или менее развитыми формами его исторически необходимой борьбы против господствующего класса, буржуазии, формами классовой борьбы, но отличающейся от всех прежних форм классовой борьбы только одним, а именно тем, что современный угнетенный класс, пролетариат, может добиться своего освобождения, только освободив в то же время все общество от разделения на классы, а вместе с тем и от всякой классовой борьбы. И коммунизм означал теперь уже не выдумывание, при помощи фантазии, возможно более совершенного общественного идеала, а понимание природы, условий и вытекающих из них всеобщих задач вedomой пролетариатом борьбы».

Эти выводы не остались только теоретическими. Теория шла у Маркса и Энгельса рука об руку с практикой. Именно во время этой поездки Маркс и Энгельс — который уже и прежде, в 1843—1844 гг., имел случай встречаться с немецкими и английскими революционными деятелями — завязали теперь более тесные сношения не только с бывшими членами «Союза справедливых», жившими в Лондоне, но и с теми чартистами, которые, как Гарни, тогда уже один из редакторов центрального органа чартистов — «Полярной звезды», — склонялись к коммунизму. Чествование немецкого коммуниста Вейтлинга, приехавшего, после долгих мытарств по швейцарским и прусским тюрьмам и этапам, в конце лета 1844 г. в Лондон, было

организовано оуэнистами и чартистами при помощи немецких коммунистов во главе с Шаппером. Оно дало толчок к организации нового международного общества под названием «Демократические друзья всех народов». Но орган оуэнистов «New Moral World», в котором прежде сотрудничал Энгельс, перешел в другие руки и переменял свое направление как раз в конце августа 1845 г., когда Маркс и Энгельс вернулись в Брюссель.

Литературные планы обоих друзей по возвращении из Англии радикально изменились. Энгельс совершенно забрасывает работу по истории английского общества, а намерение написать критический разбор протекционизма Листа, хотя он еще в октябре 1845 г. обращался к издателю Кампе с соответствующим предложением, осталось невыполненным. Маркс тоже забросил свой труд, чтобы вместе с Энгельсом заняться критикой не только всей после-гегелевской философии, но и различных оттенков немецкого социализма. Эта полемика имела не только теоретическое, но и практическое значение. Об этой работе мы говорим в предисловии к четвертому тому, в котором будет опубликована «Немецкая идеология».

Главная тяжесть этой работы падала на Маркса. Ему же приходилось заниматься в первую очередь и новой — организационной работой. Вместе с Энгельсом он приступил к ней сейчас же по возвращении в Брюссель, который к этому времени становится главным заграничным центром немецкого коммунистического движения. В Бельгию собираются с разных концов Германии бежавшие от полицейских и судебных преследований революционеры. Что Маркс и Энгельс уже тогда поставили себе задачу — внесение в классовую борьбу пролетариата света сознания ее целей и организацию пролетариата в особую политическую партию — показывают статьи Энгельса, которые он писал в это время для «Полярной звезды» («Northern Star»), центрального органа чартистов.

За два года пред этим Энгельс писал, живя в Манчестере, что «ни в одной стране нет такой надежды, как в Германии, создать коммунистическую партию среди образованных классов. Немцы — нация весьма бескорыстная; когда принципы и интересы приходят у них в столкновение между собою, принцип всегда укрощает притязания интересов... Для англичанина, вероятно, будет удивительно, что партия, стремящаяся к отмене частной собственности, составляется преимущественно из людей, которые сами являются собственниками; и, однако, в Германии дело именно так обстоит».

А теперь, в первой же статье для «Полярной звезды» 13 сентября 1845 г., т. е. сейчас же после возвращения из Англии, Энгельс пишет:

«Перемену внесет молодежь. Но нечего искать эту молодежь в средних классах. Революционные действия начнутся в самой гуще рабочей массы. Правда, среди наших средних классов имеется значительное число республиканцев и даже коммунистов, а также и таких молодых людей, которые, в случае общего взрыва, были бы очень полезны для дела, но эти люди — «буржуа», извлекатели ба-рышей, промышленники по профессии. Кто может гарантировать, что их не деморализует их профессия, их общественное положение, которое заставляет их жить трудом других и жиреть благодаря тому, что они занимают положение пиявок и эксплуататоров рабочего класса. И если бы они даже оставались пролетарски настроенными вопреки своей профессии буржуа, — они численно представляют собою бесконечно малую величину по сравнению с реально существующим числом людей из средних классов, которые, заботясь только о своих классовых интересах и о пополнении своих кошельков, цепляются за существующий строй. К счастью, мы совсем не рассчитываем на средние классы».

По просьбе редакции «Полярной звезды» Энгельс пишет ряд статей о *современном положении Германии* (25 октября и 8 ноября 1845 г., 4 апреля 1846 г.). Он дает подробный очерк исторического развития Германии со времен Великой французской революции до 1840 г. Статья написана очень популярно и рассчитана на английских читателей. Она дает едкую критику немецких порядков и пассивности германской буржуазии, подчеркивая, иногда в очень сгущенных красках, влияние Французской революции не только в его непосредственной форме, но и в той превращенной форме, которое оно получило в наполеоновской империи. Между этими статьями о Германии и позднейшими работами Энгельса на ту же тему разница заключается уже не в *типе*, а в *степени*. Энгельс делает уже попытку классового анализа политической жизни. В этом отношении особенно любопытна третья статья, которая осталась неизвестной даже Густаву Майеру, одному из лучших знатоков биографии Энгельса.

Энгельс показывает, каким образом замена старых феодальных привилегий одной большой привилегией — привилегией денег — дает возможность превратить самые демократические лозунги в их противоположность.

«Так, посредством введения имущественного ценза для права избирать и быть избранными принцип выборности становится достоянием только их собственного класса. Принцип равенства опять-таки устраняется ограничением его «простым равенством перед законом», которое означает равенство, несмотря на неравенство между

богатыми и бедными, — равенство в пределах существующего неравенства, — которое в сущности не означает ничего, кроме того, что *неравенство* называют *равенством*. Так, свобода печати является сама по себе привилегией среднего класса, потому что печатание требует *денег* и покупателей печатных произведений, а покупатели опять-таки нуждаются в деньгах.

Энгельс делает эти замечания, чтобы объяснить один факт, а именно, что «во всех странах за период времени между 1815-м и 1830 г. демократические по существу движения рабочих были более или менее подчинены либеральному движению *буржуазии*».

Вспомним аналогичное место из «Коммунистического манифеста».

«Буржуазия ведет постоянную борьбу: сначала — против аристократии, потом против тех слоев своего класса, интересам которых противоречит развитие крупной промышленности, и постоянно против буржуазии других государств. В каждом из этих случаев буржуазия вынуждена обращаться к пролетариату, просить его помощи и вовлекать его таким образом в политическое движение. Она сама передает, следовательно, пролетариату элементы своего собственного образования, т. е. вручает ему оружие против себя самой».

Но в этой статье Энгельса имеются уже и все элементы для обоснования другого положения «Коммунистического манифеста».

«Во всех странах средние классы были между 1815-м и 1830 г. наиболее сильной составной частью революционной партии и поэтому — ее лидерами. Трудящиеся классы неизбежно являются орудием в руках средних классов до тех пор, пока средние классы сами *революционны* или прогрессивны. Отдельное движение трудящихся классов в подобном случае всегда имеет второстепенное значение. Но с того самого дня, когда средние классы получают всю политическую власть, с того дня, когда феодальные и аристократические интересы уничтожены властью *денег*, с того дня, когда средние классы *перестают* быть прогрессивными и революционными и сами становятся неподвижными, — с того именно дня рабочий класс становится во главе движения и превращает его в *национальное движение*».

Последняя статья Энгельса начинается извинением за неаккуратность. Между второй и третьей статьей — 8 ноября 1845 г. и 4 апреля 1846 г. — прошли пять месяцев. Но чем объясняет Энгельс запоздалое продолжение? *Необходимостью посвятить несколько недель практике немецкого движения*. Это любопытное показание подтверждает выставленное мною уже в прежних работах положение, что Маркс и Энгельс зимой 1845—1846 гг. заняты были не только

критикой Штирнера. Они старались в это время создать организационный центр, который, ставя сначала во главу угла пропагандистские задачи, подготавливал бы условия для создания более прочной и тесной организации. Первым шагом в этом направлении было бы объединение немецких коммунистических групп, находившихся тогда в положении, которое напоминает — в организационном отношении — положение русских социал-демократических групп до 1898 г.

Необходимость созвать съезд представителей всех коммунистических групп обсуждалась уже в конце 1845 и начале 1846 г. Его предполагалось созвать в Вербье, где тогда жил Гесс. Пункт этот считался наиболее подходящим и для делегатов из Германии, и для Маркса и Вейтлинга, присутствие которых считалось безусловно необходимым.

К весне 1846 г. в Брюсселе, вокруг Маркса и Энгельса, сгруппировалась довольно значительная организация, игравшая перво-степенную роль в тогдашнем коммунистическом движении. Объединительный съезд, предполагавшийся летом 1846 г., не состоялся. По крайней мере, у нас нет пока никаких точных данных, которые позволяли бы это утверждать. Главной причиной, вероятно, послужил раскол между Марксом и Вейтлингом. Одна из этих «дискуссий» происходила в присутствии русского, который был рекомендован Марксу Г. М. Толстым, казанским помещиком, — П. Анненкова.

Мы уже видели, как Маркс и Энгельс с самого начала своей литературной и политической деятельности выдвигали *международный* момент. Отсюда и стремление поддерживать самым усердным образом всякие *международные* связи. Весьма характерна в этом отношении статья Энгельса «Праздник народов в Лондоне» («Рейнские летописи», 1846 г., т. II). Мы даем ее без сокращений, сделанных Мерингом.¹

«Братание народов, которое повсюду выставляется теперь крайней пролетарской партией в противовес как старому, унаследованному от предков национальному эгоизму, так и лицемерному частно-эгоистическому космополитизму свободной торговли, гораздо ценнее всех немецких теорий об истинном социализме».

Это первый выпад в литературе против «истинного социализма», которому в «подполье» аккомпанировала уже самая ожесточенная борьба между Марксом и Энгельсом, с одной стороны, и «истинными

¹ Энгельс использовал для своей статьи отчет о собрании, напечатанный в «Полярной звезде» 27 сентября 1845 г

социалистами», самым выдающимся представителем которых был Карл Грюн, — с другой.

Энгельс скоро после этого воспользовался другим случаем, чтобы открыто объявить войну «истинному социализму», так как посвященная Грюну и его товарищам часть «Немецкой идеологии» все еще оставалась в рукописи. Он сделал это в предисловии к статье «Фурье о торговле» (Немецкая гражданская книга, Майннгейм, год второй, 1846) и в самой резкой форме.

«Немцы начинают опешлять и коммунистическое движение. Как всегда, так и здесь последние и самые бездеятельные, они думают наверстать свою медлительность пренебрежением к своим предшественникам и философским апломбом. Едва только коммунизм появился в Германии, его захватывает целая стая спекулятивных голов, которые воображают, что совершили чудеса, облекая тезисы, ставшие уже во Франции и Англии тривиальными, в язык гегелевской логики, и преподносят миру эту новую мудрость как нечто небывалое, как «истинную немецкую теорию», чтобы затем вволю позиздеваться над «плохой практикой» и вызывающими улыбку «социальными системами» ограниченных французов и англичан... Среди всей той напыщенной фразеологии, которая теперь в немецкой литературе выдается за основные принципы истинного, чистого, немецкого, теоретического коммунизма и социализма, нет ни единой идеи, которая бы выросла на немецкой почве... *Я не делаю исключения для моих собственных работ.*

А впоследствии к фрагменту Фурье — а писано оно, несомненно, не позже марта 1846 г. — мы находим заключительную характеристику «истинного социализма», которая поразительно напоминает соответствующий абзац из «Коммунистического манифеста».

«Немногожко «человечности», по новейшей терминологии, немногожко «реализации» этой человечности или, скорее, животности, кое-что о собственности из Прудона — из третьих или четвертых рук, — немного вздохов о пролетариате, организация труда, панацея ассоциаций для подъема низших классов народа рядом с безграничным невежеством в области политической экономии и подлинного общественнознания, — вот и вся история, которая к тому же, благодаря теоретическому беспристрастию, «абсолютному покою мысли», теряет последнюю каплю крови, последний след энергии и силы. И с таким бедным арсеналом хотят революционизировать Германию, привести в движение пролетариат, побудить массы к мысли и действию?»

В своем издании сочинений Маркса и Энгельса Меринг напеча-

тали только вступительные и заключительные замечания Энгельса к отрывку из Фурье. А между тем характерно как раз то, что было выбрано Энгельсом, тем более, что его перевод очень субъективен — Энгельс сам великолепно знал все прелести «собачьей коммерции» — и местами является просто изложением. Субъективен и подбор отрывков. Если принять во внимание, что в «Капитале» встречается несколько ссылок, навеянных чтением этого отрывка, то он приобретает интерес и как комментарий к соответственным местам «Капитала». И именно этот отрывок имел в виду Энгельс, когда в «Анти-Дюринге» взял под защиту великого критика и утописта от филистерски скучных и пресных замечаний Дюринга.

Борьба против «истинных социалистов» принимала все более организованный характер. Группа Маркса и Энгельса уже весной 1846 г. настолько кристаллизуется, что считает необходимым выступать с особыми заявлениями, носящими характер определенных партийных документов.

Герман Криге, которого Энгельс еще в письме к Марксу от 22 февраля 1845 г. рекомендовал как «великолепного агитатора» и который ездил со специальной миссией к Фейербаху, после короткого пребывания в Брюсселе и Лондоне уехал в сентябре 1845 г. в Соединенные Штаты. Вступив в сношения с местными рабочими организациями, он, с января 1846 г., приступил к изданию рабочей газеты «Народный трибун». Деньги на это предприятие Криге собирал всякими средствами, которые и сами по себе компрометировали его предприятие.

Группа Маркса и Энгельса, которая уже составляла особое коммунистическое общество, решила в специальном собрании выступить с критикой взглядов Криге. Это было своего рода credo.

«Разумеется, мы — члены партии; но именно потому мы не намерены снижать партию до уровня какой-то клики. Для нас важно только само дело, и поэтому партия значит для нас больше, чем лица, которые принадлежат или принадлежали к ней. А так как мы знаем, что каждый принцип и каждое направление становится тем сильнее и неотразимее, чем беспощаднее освобождают их путем критики от ненужных наростов и экстравагантностей, подобно тому как дерево становится крепче и приприсит лучшие плоды, когда во-время срезают его отсохшие ветви, то никакие личные соображения не удержат нас от изобличения и устранения экстравагантностей и сумасбродных идей отдельных лиц, принадлежащих к партии».

В собрании коммунистов принимали участие Энгельс, бельгиец Жиго, Гейльберг, Маркс, Зейлер, Вейтлинг, фон Вестфален и

Вильгельм Вольф. Всеми голосами против Вейтлинга принята была следующая резолюция:

1) Тенденция, проводимая в «Volkstribun» редактором Германом Криге, не является коммунистической.

2) Детски напыщенный способ, которым Криге проводит эту тенденцию, в высшей степени компрометирует коммунистическую партию как в Европе, так и в Америке, поскольку он считается литературным представителем немецкого коммунизма в Нью-Йорке.

3) Фантастические бредни, которые Криге проповедует в Нью-Йорке под именем «коммунизма», оказали бы в высшей степени деморализующее влияние на рабочих, если бы они были ими приняты.

4) Настоящая резолюция вместе с ее мотивировкой будет сообщена коммунистам в Германии, во Франции и в Англии.

5) Один экземпляр посылается редакции «Volkstribun» с требованием напечатать эту резолюцию вместе с ее мотивировкою в ближайших номерах».

На документе — литографированном циркуляре — дата «Брюссель, 11 мая 1846 г.» и подписи всех названных нами выше за исключением Вейтлинга.

Этот циркуляр послан был вместе со следующим письмом:

Г-ну Герману Криге, редактору «Народного трибуна».

По поручению здешнего коммунистического общества и как председатель собрания 11 мая, я сообщаю вам в приложении принятые нами постановления, в которых излагаются наши взгляды на «Народный трибуна». Если вы не напечатаете их вместе с мотивировкой в вашей газете, то они будут напечатаны в Европе и Америке. Мы ожидаем, однако, что вы в ближайшем будущем пришлете нам номер «Народного трибуна», который будет содержать наши постановления, по адресу: г-ну Жинго, Улица Поденброка, № 8.

Брюссель, 16 мая 1846 г.

Эдгар фон-Вестфален

Вместо резолюции и ее мотивировки Меринг напечатал в своем издании переделку этого циркуляра, помещенную в виде статьи в «Вестфальском пароходе» (июль 1846 г.) с вступительными замечаниями редактора этого журнала, Люнинга. Мы даем перевод циркуляра и восстанавливаем все пропущенные в «Вестфальском пароходе» места.

Криге напечатал циркуляр в своем журнале (6 и 13 июня 1846 г.) под названием «Отлучительная булла». Автором ее он считает своего старого друга Энгельса, которого он по этому поводу основательно

выругал. Из письма Энгельса к Марксу мы знаем, что против Криге направлен был новый документ, но нам до сих пор не удалось напасть на его след.

Не меньший интерес представляет адрес, с которым коммунистическое общество обратилось к лидеру чартистов, О'Коннору. Он помещен в «Полярной звезде» 25 июля 1846 г. Поводом явилась победа на выборах в Ноттингаме.

«Мы пользуемся фактом вашего блестящего успеха на выборах в Ноттингаме, чтобы поздравить вас, а через ваше посредство и английских чартистов, с этой замечательной победой. Мы считаем поражение министра-фритредера при первичном голосовании огромным чартистским большинством и как раз в то время, когда фритредерские принципы торжествуют в законодательстве, — мы считаем это, сэр, знаком, что рабочий класс Англии прекрасно знает, какую позицию он должен занять после победы свободы торговли. Мы заключаем это из того факта, что рабочие хорошо знают, что теперь, когда средние классы провели свое главное требование, когда им нужно только заменить теперешний слабый компромиссный кабинет энергичным, действительным министерством средних классов, чтобы стать признанным правящим классом вашей страны, что теперь великая борьба капитала с трудом, буржуазии и пролетариата, должна прийти к решительному исходу. Арена теперь очищена уходом земельной аристократии от борьбы; средний класс и рабочий класс являются теперь единственными классами, между которыми может идти борьба. Борющиеся партии имеют теперь каждая свои особые лозунги, навязанные им их интересами и взаимным положением: средний класс — «развитие торговли какими угодно средствами и министерство из ланкаширских хлопковых лордов, чтобы осуществить эту программу», а рабочий класс — «демократический пересмотр конституции на основе народной хартии», каковым путем рабочий класс станет правящим классом Англии. Мы рады видеть, что английские рабочие прекрасно сознают, что положение партий изменилось, что чартистская агитация вместе с окончательным поражением третьей партии, аристократии, вступила в новый период, что чартизм отныне хочет и должен занять первенствующее положение несмотря на «заговор молчания» буржуазной печати; и, наконец, что они знают, какую новую задачу возлагают на них новые условия. Что они прекрасно понимают эту задачу, лучше всего доказывает их намерение участвовать в выборах при следующей всеобщей избирательной кампании.

«Мы должны поздравить вас, сэр, в особенности за вашу блестящую речь на выборах в Ноттингаме и отчетливое изображение контраста между рабочей демократией и буржуазным либерализмом.

«Мы, кроме того, поздравляем вас с единодушным ростом доверия к вам, выраженным всей партией чартистов в связи с *респектабельными* клеветами Томаса Купера. Партия чартистов может только выиграть путем исключения замаскированных буржуа, которые, в то время как они парадируют именем чартиста ради популярности, стараются завоевать расположение средних классов при помощи личной лести их литературным представителям (графиня Влессингтон, Чарльз Диккенс, Д. Дюффольд и другие друзья Купера) и пропаганды таких пивких и гнусных старобабских доктрин, как учение о «шесопротивленпи».

«В заключение, сэр, мы должны еще благодарить вас и ваших сотрудников за благородный и просвещенный способ, каким ведется «Полярная звезда». Мы ни на минуту не колеблемся заявить, что «Полярная звезда» есть единственная английская газета (за исключением, быть может, «Народной газеты» («People's Journal»), которую мы знаем только по выдержкам в «Полярной звезде»), которая знает действительное положение партий в Англии, которая действительно и по существу является демократической, которая свободна от национальных и религиозных предрассудков, которая симпатизирует всем демократам и рабочим (в настоящее время эти термины почти тождественны) во всем мире, которая во всех этих вопросах высказывает настроение английского рабочего класса и потому является единственной английской газетой, которую должен читать всякий континентальный демократ. Мы сами заявляем, что употребим все наши усилия, чтобы увеличить тираж «Полярной звезды» на континенте и добиться, чтобы пзвлечения из нее были переведены для возможно большего числа континентальных газет.

«Мы просим разрешения выразить эти чувства как признанные представители многих из германских коммунистов во всех их сношениях с иностранными демократами.

«За германских демократов-коммунистов

Комитет: *Энгельс,*

Ф. Жиго, Маркс.

17 июля 1846.

Группа Маркса и Энгельса к этому времени настолько окрепла, их интернациональные связи настолько расширились, что решено было из брюссельской группы сделать главное ядро новой коммунистической организации, которая с самого начала должна была стать

интернациональной. Маркс и Энгельс надеялись тогда привлечь на свою сторону не только левое крыло чартистов во главе с Гарни, но и Прудона. Исходя из убеждения, что Европа, т. е. Англия, Франция, Германия, Австрия и Италия, находится накануне новой революции, которая доставит всюду власть буржуазии, но в то же время подготовит условия для политического господства пролетариата, они приглашали Прудона примкнуть к ним, чтобы подготовиться к «моменту действия», т. е. к революции.

Прудон ответил отказом, а Гарни изъявил согласие при условии, что в организацию войдут его лондонские друзья из немецкой эмиграции во главе с Шаппером.

Для своей новой организации Маркс и Энгельс выбрали название «Komunistisches Korrespondenz Komitee», т. е. Коммунистический комитет сношений. Во второй половине августа 1846 г. Энгельс переехал в Париж, чтобы и там организовать такой комитет. Задача была не из легких. Традиции старого «Союза справедливых» были там крепче, чем где-либо, потому что, несмотря на разгром в связи с неудачным восстанием Бланки в мае 1839 г., там сохранилась влиятельная группа, в которой играл большую роль Эвербек, правда уже склонявшийся на сторону Маркса и Энгельса. Большим влиянием среди многочисленных немецких рабочих в Париже пользовался Карл Грюн, которого ввел в их среду Эвербек. Самый талантливый и энергичный представитель «истинного социализма», он находился под сильным влиянием Прудона, экономическое учение которого он «огегельянил» и «германизировал». Энгельсу только с большим трудом удалось при помощи наборщика Юнге организовать в Париже комитет. В Лондоне, где новый план тоже натолкнулся на сильное недоверие к «интеллигентам», удалось все же организовать комитет, в который вошли Шаппер, Молль, Пфендер и Эккариус, а со стороны чартистов — Гарни.

Вполне понятно, что Марксу и Энгельсу пришлось вести упорную борьбу не только с «истинными социалистами», не только с Вейтлингом, Криге, Грюном, приходилось не только «подталкивать» всегда колеблющегося и мягкого Гесса, но и продолжать старую борьбу с буржуазной демократией, с Руге и Гейнценом. Борьба эта в течение всего 1846 г. — «Немецкая идеология» все еще безуспешно гуляла по разным издательствам — да и в первые месяцы 1847 г. происходила в кружках, составляя главную тему «дискуссий», и находила литературное отражение в циркулярах и посланиях. Только весной 1847 г. Марксу удалось «овладеть» новым немецким органом, который начал выходить с января месяца в Брюсселе под редакцией

старого литературного и политического авантюриста Адальберта фон-Борнштедта, — «Deutsche Brüsseler Zeitung» («Немецкая брюссельская газета»).

В письме от 1 ноября 1846 г. уже известный нам русский «коммунист» Анненков обратился к Марксу с просьбой написать ему свое мнение о только что вышедшей книге Прудона «Система экономических противоречий, или философия нищеты». Маркс получил эту книгу только в середине декабря и уже 28 декабря 1846 г., под свежим впечатлением наспех прочитанной работы Прудона, дает первый набросок «Нищеты философии», который в то же время представляет прекрасное резюме, в сжатой форме повторяющее основные идеи, после подробно развитые Марксом в «Анти-Прудоне».

Когда у Маркса, в связи с письмом Анненкову, возник план ответить Прудону особым памфлетом, он сейчас же сообщил о своем намерении Энгельсу в Париж. К сожалению, это письмо пропало. Нам известен только ответ Энгельса.

«Очень хорошо, что ты пишешь по-французски против Прудона. Надо надеяться, что, когда получится это письмо, брошюра будет уже закончена. Само собою разумеется, что ты можешь заимствовать из нашей работы (речь идет о «Немецкой идеологии») все, что тебе угодно. Я также думаю, что прудоновская ассоциация сводится к плану Брэя. Я совершенно забыл доброго Брэя».

Брошюра против Прудона, хотя и была написана по-французски, была, конечно, в то же время направлена и против его немецких последователей. Как и всегда в подобных случаях, известие о том, что Маркс пишет против Прудона брошюру, быстро распространилось в заинтересованных кругах.

Первая заметка Маркса в «Немецкой брюссельской газете», направленная *против Грюна*, была напечатана 8 апреля 1847 г. Разбор книги Грюна «Социальное движение во Франции и Бельгии», о котором упоминает Маркс, входит в четвертый том сочинений как составная часть «Немецкой идеологии».

Хотя первая статья Энгельса в «Немецкой брюссельской газете» была напечатана еще в июне 1847 г., мы непосредственно за заметкой Маркса против Грюна даем статьи Энгельса о *«Немецком социализме в стихах и прозе»*. Первая серия — Поэзия истинного социализма — была посвящена когда-то любимому поэту молодого Энгельса Карлу Беку («Немецкая брюссельская газета» от 12 и 16 сентября 1847 г.); вторая — Карлу Грюну и его книге о «Гете с человеческой точки зрения» («Немецкая брюссельская газета» от 21, 25 и 28 ноября и 2, 5 и 9 декабря 1847 г.).

Статья о книге Грюна приписывалась Марксу.¹ В действительности она является частью «Немецкой идеологии» и была написана Энгельсом.

«Я переработаю, — пишет он Марксу 15 января 1847 г., — статью о грюновском Гете, сокращу ее до размера полулиста, максимум трех четвертей листа и подготовлю ее для нашего журнала, если ты это одобряешь, о чем ты должен немедленно мне написать. Книга слишком характерна. Грюн восхваляет всякое *филистерство* Гете как *человеческое*, он превращает франкфуртца и чиновника Гете в «истинного человека», между тем как все колоссальное и гениальное он обходит или даже оплевывает до такой степени, что эта книга представляет блестящее доказательство того, что *человек* = *немецкому мещанину*. Я это только наметил, но мог бы это развить и порядком сократить остальную часть статьи, так как она не подходит для нашего журнала».

В письме от 9 марта 1847 г. Энгельс сообщает Марксу, что «частью из озорства, частью из нужды в деньгах написал анонимный благодарственный адрес, полный двусмысленностей, Лоле Монтес...»² Если есть надежда, что Фоглер будет что-нибудь платить, спроси его, не возьмет ли он памфлет против Лолы Монтес — от полутора до двух листов, — но незачем ему говорить, что эта вещь написана мною». Нам пока еще не удалось установить, какая из многочисленных брошюр, написанных в связи с эпизодом Лолы Монтес, написана Энгельсом, если только ему удалось напечатать свою брошюру.

В том же письме Энгельс сообщает Марксу: «Брошюру о конституции ты получишь в самом непродолжительном времени. Я напишу ее на отдельных листах, чтобы ты мог их вкладывать или выбрасывать».

Патентом 3 февраля 1847 г. Фридрих-Вильгельм IV решил созвать соединенный ландтаг, своего рода суррогат парламента, чтобы таким образом помочь прусскому правительству достать деньги, в которых оно нуждалось. В особой корреспонденции, написанной им для «Полярной звезды», Энгельс приветствовал этот факт как провозвестник революции. Когда Фридрих-Вильгельм IV в своей тронной речи опять противопоставил «христианско-германские» принципы конституционным «бессмысленным мечтаниям», Энгельс нарисовал карикатуру, изображающую эту сцену (мы даем ее в факсимиле, стр. 160).

¹ См. *Струве*, На разные темы, Спб. 1902: «Маркс о Гете», стр. 252—58.

² Балерина и фаворитка баварского короля Людвига I.

Но критикуя резко прусскую политику, Энгельс считал в то же время необходимым провести точную разграничительную линию не только с тогдашними либералами, но и с теми «истинными социалистами», которые не понимали значения конституционного движения, «борьбы немецкой и особенно прусской буржуазии против феодалов и королевского абсолютизма».

«Истинному социализму» представлялся — говоря словами «Коммунистического манифеста» — желанный случай противопоставить политическому движению социалистические требования, расточать традиционные проклятия либерализму, представительному правлению, буржуазной конкуренции, буржуазной свободе слова, буржуазному праву, буржуазной свободе и равенству и пропагандировать народной массе, что в этом буржуазном движении она не может выиграть, но скорее рискует потерять все».

Именно этому вопросу посвящена брошюра Энгельса, которую вернее было бы назвать *«Конституционный вопрос в немецкой социалистической литературе»*. Она не увидела света. 15 мая 1847 г. Маркс писал Энгельсу:

«Ты знаешь, что Фоглер уже с начала мая арестован в Аахене. Благодаря этому стало пока невозможным печатание присланной тобою брошюры. Первая треть ее мне очень понравилась. В двух остальных частях надо во всяком случае сделать некоторые изменения. Подробнее об этом пункте в следующий раз. Прилагаю оттиск твоей карикатуры. Я послал ее «Брюссельской газете».

В бумагах Энгельса сохранилась рукопись, которая, несомненно, является значительной частью ненапечатанной брошюры. Мы даем ее в Приложениях.

В другом месте мы дадим подробный анализ этой рукописи, которая позволяет установить некоторые разногласия между Марксом и Энгельсом в оценке «текущего момента». Такое разногласие было, несомненно, и в вопросе о том, следует ли и в какой степени поддерживать протекционистскую программу немецкой буржуазии.

В этом отношении представляет большой интерес первая статья Энгельса, напечатанная в «Немецкой брюссельской газете» (10 июня 1847 г.), — *«Покровительственные пошлины или система свободной торговли»*. Ответ Энгельса гласит несколько иначе, чем ответ Маркса, которого, вероятно, именно это разногласие побудило более основательно заняться вопросом о свободе торговли. Когда в Брюсселе происходил в сентябре 1847 г. конгресс экономистов, Маркс просил для себя слова, но ему в этом было отказано под предлогом, что число уже записавшихся ораторов и без того слишком велико. Он передал

тогда президиуму и прессе краткий конспект своей речи на французском языке. Нам известен немецкий конспект этой речи только в той ее части, в которой она относится к протекционистам.¹

«1) Протекционисты никогда не добивались покровительства для мелкой промышленности, а только для машинной индустрии. Пример — в Германии школа Листа, Гюлих.

«2) Если верить всему, что утверждают протекционисты, то они в лучшем случае поддерживают традицию. Протекционизм никогда не добьется, чтобы защищаемый продукт продавался на чужих рынках. Следовательно, протекционизм является консервативным и если не сознательно, то все же реакционным. Они — ограниченные консерваторы, реакционеры.

«3) Последнее утешение, которое выдвигают протекционисты, состоит в том, что страна эксплуатируется не чужими, а собственными капиталистами.

«4) Правда, говорят, что сначала должны быть проведены внутренние реформы, прежде чем можно думать о свободе торговли. Считают, что протекционизм, как таковой, не имеет силы изменить положение классов. Но говорят, что было бы глупо изменять международные условия раньше, чем преобразованы национальные. Но что такое представляет собою покровительственная система? Доказательство, что класс, который ее проводит, имеет власть в своих руках. При наличии покровительственной системы капиталисты не уступят ни в чем. Кроме того, крупные социальные и исторические реформы никогда не совершаются ни в силу добровольных соглашений, ни в силу великодушия господствующих классов, а только в силу *necessité des choses* (жестокой необходимости). Их нужно принудить. Следовательно, было бы нелепостью думать, что в стране, в которой господствует покровительственная система, можно было бы легче реформировать отношение между капиталом и трудом.

Активное сотрудничество Маркса и Энгельса в «Немецкой брюссельской газете» начинается, собственно, с июня месяца. Вероятно, к этому времени, вместе с полным крахом всех попыток издать

¹ Перевод французского конспекта был напечатан Вейдемейером в 1848 г. в Германии. Он пишет, что конспект речи Маркса был напечатан в одном бельгийском журнале, но не называет его. К сожалению, нам не удалось до сих пор найти этот бельгийский журнал, да и брошюра Вейдемейера не имеется ни в одной немецкой библиотеке. Нам она известна только в рукописной копии. В «Полярной звезде» (9 октября 1847 г.) имеется статья о конгрессе экономистов, в которой тоже сообщается перевод этой речи Маркса. В специальной работе «Маркс и Энгельс о протекционизме и свободе торговли» я собираюсь дать очерк развития их взглядов на эти вопросы от 1844 г.

«Немецкую идеологию», для них окончательно выяснилась и невозможность основать собственный журнал, для которого, как мы видели, Энгельс собирался переделать свою статью о Грюне.

Мы включили в этот том не все статьи Маркса и Энгельса из «Немецкой брюссельской газеты». В некоторых случаях авторство их, — в особенности статей, которые можно приписать Энгельсу, — является сомнительным. Статью Энгельса «*Парламент английских рабочих*» (27 июня 1847 г.) мы поместили в Приложениях.

Марксу принадлежит несколько статей, направленных против прусского правительства и «феодалных социалистов». К этого рода статьям принадлежит передовица «*Придворная и газетная утка из Сан-Суси*» (8 августа 1847 г.) и напечатанная уже Мерингом статья «*Коммунизм Рейнского обозревателя*» (12 сентября 1847 г.). Марксу же принадлежит статья «*Тюремный конгресс в Брюсселе*» (19 сентября 1847 г.) с едкой характеристикой филантропов.

На страницах «Немецкой брюссельской газеты» развернулась полемика Маркса и Энгельса с Гейнценом, которая у Меринга подверглась сильным и мало мотивированным сокращениям. В этом случае они вынуждены были не доказывать, как в полемике против «истинных социалистов», необходимость политической борьбы как интегральной части всей пролетарской классовой борьбы, а, наоборот, как политики, подчеркнуть принципиальную разницу между буржуазной и пролетарской демократией, между «политикой» коммунистов и «политикой» буржуазных республиканцев и демократов.

Борьба с Гейнценом была тем более важна, что он с 1846 г. вместе с Руге открыл полемику против коммунистов, искусно используя ошибки «истинных социалистов», а с 1847 г. сумел создать группу своих приверженцев среди немецких рабочих в Швейцарии и Англии.

Летом 1847 г. в Лондоне происходил первый съезд коммунистических групп, находившихся под влиянием Маркса и Энгельса. Из брюссельского комитета на съезде присутствовал Вольф, парижская группа представлена была Энгельсом. Маркс не мог приехать. На съезде решено было объединиться в «Союз коммунистов». Принят был временный организационный устав, который решено было предложить на обсуждение отдельным комитетам, с тем, чтобы на следующем съезде принять его с необходимыми поправками в окончательной форме. К этому же съезду должен был быть представлен проект коммунистического «Исповедания веры». Но и после этого конгресса не прекращалась борьба внутри комитетов. И не только в парижской общине. Лондонцам тоже пришлось бороться как с приверженцами Кабэ, отстаивавшими план эмиграции в Америку, так и с привер-

женцами Гейнца, который, в качестве буржуазного демократа, оспаривал у них влияние над рабочими.

Некоторый свет на эту внутреннюю борьбу проливает изданный лондонскими членами «Союза коммунистов» пробный номер первого рабочего марксистского журнала. Он назывался «Коммунистический журнал» и вышел в свет в *сентябре* 1847 г. На его обложке впервые появляется лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Энгельс написал для этого журнала статью «*Прусский ландтаг и пролетариат в Пруссии, как и в Германии вообще*» (см. Приложения), в которой он в более популярной форме излагает свои взгляды на новую прусскую «конституцию».

В полном согласии с взглядами Энгельса редакция «Коммунистического журнала» очень мягко указывает Гейнцу, как неосновательны его нападки на коммунистов. Она видит в нем союзника, с которым можно идти вместе в общей борьбе против абсолютизма.

«Карл Гейнц, повидимому, или совсем не знает коммунизма, или увлекся личной враждой, какая существует между ним и некоторыми коммунистами, и стал поносить великую партию, стоящую в самых первых рядах демократической армии. Прочитав его нападки на коммунистов, мы были в высшей степени изумлены, потому что задеть нас его оскорбления не могли, так как таких коммунистов, как он их описывает, и на свете нет, и он, вероятно, создал их силой своего воображения специально с целью затем их уничтожить. Мы, говорим, были изумлены, так как нам непонятно было, как мог демократ бросить таким образом факел раздора в ряды своих собственных собратьев по оружию; но еще более возросло наше изумление, когда мы прочитали его брошюру до конца и нашли там его девять пунктов, в которых он требует почти то же самое, что и коммунисты. Единственное различие между нами в том, что гражданин Карл Гейнц смотрит на свои девять пунктов как на основу нового общественного строя, мы же видим в них основу лишь переходного периода, который должен привести нас к полному коммунизму. Разумным было бы поэтому объединиться нам всем для достижения требований Карла Гейнца; если, придя к этому, народ удовлетворится и на том остановится, мы подчинимся его воле; но если он решит идти дальше, вместе с коммунистами, то надо полагать, что и гражданин Гейнц также не будет иметь ничего против. Нам известно, что гражданин Гейнц на всевозможные лады преследуется нашими угнетателями, он оклеветан ими и поруган. Немудрено, что он в раздраженном состоянии; поэтому у нас нет ни малейшего желания с своей стороны напасть на него, наоборот — мы не откажемся

протянуть ему руку для объединения. В единстве сила, и только оно и в состоянии привести нас к цели».

Трудно было более осторожно формулировать равногласия с Гейнценом. Редакция, верная тезису, формулированному после в Манифесте — «коммунисты повсюду стремятся к соединению и соглашению демократических партий всех стран» — выражала готовность вступить в соглашение с демократами типа Гейнца, не отказываясь, конечно, от права относиться критически к их иллюзиям и фразам.

Но Гейнцен оттолкнул протянутую ему руку. Он обрушился с еще более резкими нападками на коммунистов. Только тогда выступил против него Энгельс, а затем и Маркс.

Оба они с давних пор хорошо были знакомы с Гейнценом. Марксу приходилось работать вместе с ним еще в редакции «Рейнской газеты», куда Гейнцен, тоже уроженец Рейнской провинции (родился 22 февраля 1809 г. в Гревенбройхе, в Дюссельдорфском округе), попал к концу 1842 г. Он служил в Бюро Рейнской железнодорожной компании в Кельне и сотрудничал в «Рейнской газете». В 1844 г. он опубликовал свою книгу о «Прусской бюрократии», которая сейчас же была конфискована и навлекла на Гейнца судебное преследование. Он уехал тогда за границу, сначала в Брюссель, где встретился с Фрейлигратом и Марксом. Еще в Бельгии он опубликовал новую брошюру, гораздо более резкую, против прусской администрации и юстиции («Ein Steckbrief», 1845). После он вместе с Фрейлигратом уехал в Швейцарию, где, при сотрудничестве Руге и Гервега, издавал в 1846 г. периодический сборник «Opposition».

В это время Гейнцен не был еще революционером. Наоборот, он считал своей задачей сделать революцию ненужной и только предлагал оппозиции стать более энергичной, пуская в ход против правительства как активное, так и пассивное сопротивление. Последнему способу он придавал в особенности большое значение. Вместе с тем он полемизировал очень резко против «истинных социалистов», отрицавших всякую политическую борьбу. Постольку он был прав, но его нападки потеряли всякий смысл, когда, став, наконец, на революционный путь в 1847 г., он напал на новое течение среди коммунистов, упорно смешивая Энгельса и Маркса с Грюном и другими «истинными социалистами». Всем этим «заоблачным» и «оторванным от жизни» коммунистам, проповедывавшим «классовую борьбу», он противопоставлял чистую демократию и федеративную республику на манер швейцарской и северо-американской.

Предоставим теперь слово Мерингу: «Порицание, мимоходом

высказанное «Немецкой брюссельской газетой» 12 сентября этому коммунистоеду, вызвало длинное возражение со стороны Гейнца, которое было напечатано редакцией и теперь, конечно, не могло быть оставлено без внимания Марксом и Энгельсом. Последний ответил 3 и 7 октября двумя статьями, которых, к сожалению, не оказалось в единственно сохранившемся экземпляре газеты. Гейнец ответил на письмо еще более длинной барабанной статьей против коммунизма. Этот ответ занял 21 октября в газете не менее девяти длинных столбцов. Это вызвало на поле битвы Маркса, который напечатал ряд статей против Гейнца 28 и 31 октября, 11, 18 и 25 ноября». Меринг мог поэтому напечатать в своем собрании только статью Маркса, к сожалению, с большими сокращениями.

Мы печатаем теперь в том же порядке, в каком они появились, обе статьи. Только в этом виде они дают полное представление о полемике с Гейнцем, которая, по *содержанию своему*, сохраняет не только исторический интерес, как один из важнейших документов в истории духовного развития Маркса и Энгельса, но и злободневный. Читатель найдет в них материалы как по вопросу об отношениях между «экономикой» и «политикой», между «чистой» и «пролетарской» демократией, так и по такому частному вопросу, как «внеклассовая теория германского самодержавия».

Сравнение обеих статей покажет также, как различно, несмотря на одинаковость основных взглядов, Маркс и Энгельс трактовали один и тот же предмет. Все особенности литературной манеры каждого из них особенно ярко вырисовываются в этих статьях. Оба были прекрасными полемистами, оба были блестящими стилистами и, несмотря на это, какая разница между Марксом и Энгельсом!

Так же ясно проступает и другое различие, которое в дальнейшем развитии Маркса и Энгельса несколько ослабевает, но продолжает сохраняться. Маркс был по преимуществу теоретиком пролетарской классовой борьбы, внимательно исследовавшим почву, на которой она развивалась, условия, при которых она развертывалась, — ее главным стратегом. Энгельс, теоретически образованный, интересовался, однако, больше вопросами непосредственной борьбы, был ее тактиком, прилагавшим основные принципы в повседневной политике — не всегда с одинаковым успехом.

Правда, мы и в статье Энгельса находим блестящие теоретические экскурсы, великолепные формулировки. Таково классическое определение научного коммунизма как «теоретического выражения положения, которое занимает пролетариат в классовой борьбе между ним и буржуазией, и теоретического суммирования условий

освобождения пролетариата», — определение, которым Энгельс начинает и свой проект «Коммунистического манифеста».

Гейнцен ответил Марксу брошюрой «Герои тевтонского коммунизма. Посвящается Карлу Марксу. Берн, 1848 г.», но она вышла уже летом 1848 г., когда Маркс и Энгельс даже самого заядлого радикала могли бы удовлетворить той энергией, с которой они выполняли свои обязанности в революционной борьбе. Несмотря на это, брошюра Гейнца стоит прочтения, ибо она убедительно показывает, как в сущности обветшали и заплесневели те аргументы, которые выдвигались, как «новые» и «оригинальные», против Маркса и Энгельса, против пролетарской демократии.

Еще в середине августа вышла в свет «*Нищета философии*» — первая крупная работа, в которой мы имеем изложение основ революционного марксизма. В «*Нищете философии*» Маркс впервые формулирует принципы материалистического понимания истории, ставит и исследует вопрос о зависимости между развитием способа производства и борьбой классов, как движущей причиной исторического процесса, набрасывает первый очерк эволюции различных фаз капитализма. В «*Нищете философии*» Маркс впервые применяет диалектический метод к исследованию экономических явлений, вскрывая исторический, преходящий характер всех экономических категорий.

В «*Нищете философии*» Маркс впервые ставит рабочее движение в связь с развитием капиталистического производства и показывает, каким образом сам механизм развития капиталистического общества вызывает к жизни движение рабочих масс, как профессиональное движение рабочих становится основным классовообразующим фактором, как в непрерывной и упорной борьбе рабочих против капиталистов сплывающаяся рабочая масса превращается мало-по-малу из класса *в себе* в класс *для себя*, пока в очередь дня не становится вопрос об уничтожении вместе с капиталистическим обществом всякого антагонизма классов и его официального выражения — государства.

В основу нашего издания положен старый перевод В. Засулич, отредактированный Г. Плехановым. Правда, этот перевод сделан не с оригинала, а с немецкого перевода, но мы тщательно сверяли его с французским подлинником 1847 г. Мы сохранили все поправки, внесенные Энгельсом на основании пометок Маркса в немецкий текст, а после и во второе французское издание. Введение Энгельса к немецкому изданию войдет в тринадцатый том вместе с другими работами Энгельса, писанными в 1883 — 1895 годах.

После первого конгресса коммунистов в Брюсселе была организована община, а в конце августа основан был легальный немецкий рабочий союз. Среди рабочих, осевших в Брюсселе, были такие талантливые люди, как Борн и Валлау, наборщики типографии, в которой набиралась «Немецкая брюссельская газета». Именно для немецких рабочих в Брюсселе Маркс читал осенью и зимой 1847 г. лекции о *«Наемном труде и капитале»*. Правда, эта работа была напечатана впервые в виде ряда передовых статей в «Новой рейнской газете», от 5 до 8 апреля 1849 г. В печати она осталась незаконченным отрывком. Обещание в № 209 от 11 апреля, в конце пятой статьи, — «продолжение следует» — осталось невыполненным вследствие бурно развертывавшихся в то время событий: вторжения русских в Венгрию, восстаний в Дрездене, Изерлоне, Эльберфельде, Пфальце и Бадене, — тех событий, которые привели к закрытию «Новой рейнской газеты». Мы сохранили выпущенные Энгельсом вступительные замечания Маркса, сделанные им для «Новой рейнской газеты» (они заключены в прямые скобки), хотя они выходят за хронологические рамки настоящего тома.

В своем введении к «Наемному труду и капиталу» Энгельс замечает: «В рукописях, оставленных Марксом, не нашлось продолжения этой работы». Это не совсем верно. Среди заметок и тетрадей Маркса я нашел тетрадку, на которой имелась дата «Брюссель, декабрь 1847 г.» Со второй страницы под заглавием *«Заработная плата»* начинается ряд заметок, которые по своему содержанию тесно примыкают к лекциям о «Наемном труде и капитале». Уже начало этой рукописи, где Маркс в семи параграфах резюмирует то, что им «уже было изложено», показывает, что мы имеем дело если не с прямым продолжением той работы, которую Маркс печатал в «Новой рейнской газете», то, несомненно, с продолжением того подробного конспекта, которым Маркс пользовался при чтении своих лекций. Несмотря на отрывочность изложения, мы можем составить себе представление о богатстве и оригинальности того содержания, которое Маркс вкладывал в свои популярные лекции, и о том, как тщательно готовился он к этим лекциям. Мы даем новую рукопись в Приложениях.

В конце сентября 1847 г., когда Маркс уехал на время из Брюсселя, — вероятно, в Голландию к родственникам, чтобы уладить свои денежные дела, — состоялось собрание Рабочего союза, на котором сделано было предложение организовать новое общество, аналогичное обществу «Fraternal Democrats» (братских демократов) в Лондоне, в которое, кроме чартистов, входили представители

различных эмигрантских групп. Инициатива исходила от представителей брюссельской колонии, не ладивших с Марксом и Энгельсом.

«Все эти разнородные элементы, — пишет Энгельс 28 сентября 1847 г. Марксу, — объединились для того, чтобы нанести удар, который должен свести нашу роль к второстепенной по сравнению с Эмбером и бельгийскими демократами, и создать более импозантное и универсальное общество, чем наш несчастный Рабочий союз. Многим из этих господ страстно хотелось когда-нибудь проявить свою инициативу, и эти трусливые негодяи нашли для этого самым подходящим момент твоего отсутствия. Но они позорно про считались».

Энгельс подробно рассказывает, как он парировал весь этот поход. В учредительный комитет вошли влиятельные бельгийские демократы и социалисты. Почетным председателем должен был быть генерал Меллине,¹ действительным председателем Жоттран, известный бельгийский демократ, а из двух вице-председателей один — француз, другой — немец. Был выбран Энгельс, ввиду предстоящего отъезда, предложившим вместо себя Маркса, который, «по его глубокому убеждению, имеет больше всего права представлять немецкую демократию в комитете». Учредительное собрание состоялось уже после отъезда Энгельса и возвращения Маркса — 7 ноября 1847 г. Маркс выбран был вице-президентом на следующем собрании, 15 ноября. Новая Демократическая ассоциация ставила себе целью «единение и братство всех народов». Она старалась завязать сношения с демократическими организациями различных стран. С этой целью она, в особом воззвании, приветствовала швейцарский народ с победой над реакционными кантонами, обратилась с приветствием к «Fraternal Democrats» в Лондоне и послала туда, в качестве своего делегата, Маркса, а после февральской революции послала приветственный адрес членам временного правительства. Выражая уверенность, что все страны протянут руку великой Франции, члены Демократической ассоциации замечают: «Невозможно, чтобы даже Россия не присоединила, наконец, и своего голоса, который пока еще слишком мало известен западным и союзным народам».

Под этим адресом (см. Приложения), как и под другими, имеется подпись Маркса, но это не значит, конечно, что он был писан им, хотя весьма вероятно, что он принимал участие в его редактировании.

На собраниях Демократической ассоциации обсуждались, между прочим, и экономические вопросы. 9 января 1848 г. поставлен был

¹ Герой бельгийской революции 1830 г.

в порядок дня вопрос о свободе торговли. Доклад, порученный Марксу, имел большой успех и, по предложению Лабио, решено было напечатать его по-французски и по-немецки на средства общества.¹ Она напечатана в настоящем томе под названием «*Речь о свободе торговли*».

В октябре 1847 г. Энгельс переехал в Париж. Предстояла большая работа. Нужно было завоевать парижских членов нового союза на свою сторону. Необходимо было также завязать сношения со всеми демократическими и социалистическими органами во Франции, чтобы завладеть влиятельными источниками информации. Энгельс, на долю которого выпала эта работа, в первую очередь старается укрепиться в «*Réforme*», органе «социалистическо-демократической партии, которая в политике представлена была Ледрю-Ролленом и Флоконом, а в литературе — Луи Бланом». Он представляет «мандат от лондонской, брюссельской и рейнской демократии», а также английских чартистов как корреспондент «Полярной звезды». Он пишет для «*Réforme*» несколько корреспонденций о чартистском движении (см. корреспонденции в «*Réforme*»: 1) 1 ноября 1847 г., 2) 6 ноября 1847 г., 3) 22 ноября 1847 г.).

Поддерживая связи со всеми рабочими организациями, Энгельс не забывает и той умеренной группы, к которой принадлежат квалифицированные рабочие, увлекающиеся еще идеями мирного социального прогресса. Она издавала очень влиятельный в рабочих массах орган «*Atelier*» («Мастерская»), редактором которого был Корбон.

«Затем я был еще в «*Atelier*». Я принес поправку к статье об английских рабочих в прошлом номере, которая также будет напечатана. Эти господа были очень любезны. Я рассказал им кучу анекдотов об английских рабочих и т. д. Они убедительно просили меня сотрудничать, что я сделаю только в крайнем случае. Подумай только, *rédauteur en chef* находит, что было бы очень хорошо, если бы английские рабочие послали адрес французским рабочим с просьбой выступить против движения за свободу торговли и за национальный труд. Какое героическое самопожертвование! Но с этим он провалился у своей собственной публики».

Поправка, о которой говорит Энгельс, помещена была в виде письма в редакцию одного рабочего под названием «*Хозяева и рабочие Англии*» («*Atelier*», ноябрь 1847 г.). Мы даем ее в Приложениях.

¹ «Discours sur la question du libre échange, prononcé à l'Association démocratique de Bruxelles, dans la séance publique du 9 Janvier 1848 par Charles Marx». Imprimé aux frais de l'Association démocratique.

Подготовка к съезду коммунистов причиняла Энгельсу много хлопот.

«У наших ремесленников невероятная путаница. За несколько дней до моего приезда были вышвырнуты последние грюнианцы, целая община, из которой половина, однако, вернулась назад. Нас теперь всего-навсего 30 человек. Я сейчас же организовал пропагандистский кружок, бегаю целый день и произношу речи. Я тотчас же был выбран в кружок и назначен секретарем».

Энгельс проваливает «Исповедание веры», или катехизис, написанный М. Гессом, и выдвигает свой собственный проект. Готовясь уже выехать на лондонский съезд, — он условился встретиться с Марксом в Остенде, — Энгельс пишет:

«Обдумай немного «Катехизис». Я думаю, что было бы лучше отбросить форму катехизиса и назвать эту вещь «Коммунистический манифест». Так как в нем придется коснуться истории, то теперешняя форма совершенно не подходит. Я привезу проект, который написал тут. Он написан в простой повествовательной форме, но ужасно плохо отредактирован, наспех. Я начинаю: «Что такое коммунизм?», затем сейчас же перехожу к пролетариату — история его возникновения, отличие от прежних рабочих, развитие антагонизма между пролетариатом и буржуазией, кризисы, следствия. Попутно различные второстепенные вещи и, в заключение, — партийная политика коммунистов, поскольку о ней можно говорить публично. Моя работа еще не подвергалась обсуждению, но я думаю, что, за исключением некоторых мелочей, мне удастся провести ее таким образом, что в ней не будет, по крайней мере, ничего противоречащего нашим взглядам».

Этот проект сохранился и напечатан еще в 1913 г. Бернштейном под названием «*Принципы коммунизма*». Мы воспроизводим его по имеющейся в нашем распоряжении фотокопии без добавлений, сделанных Бернштейном.

Второй съезд Союза коммунистов происходил в конце ноября и начале декабря 1847 г. После долгих и горячих дебатов принят был новый устав (см. Приложения), а вместо предполагавшегося катехизиса или исповедания веры решено было, по предложению Энгельса, опубликовать от имени союза «*Манифест Коммунистической партии*». Составление этой программы поручено было Марксу. Конечно, он пользовался при составлении «Манифеста» помощью своего друга, но сравнение этого документа с проектом Энгельса объясняет нам, почему Энгельс в предисловии к вышедшему после смерти Маркса изданию «Манифеста» так категорически заявляет,

что главные идеи этого «Манифеста» принадлежат исключительно Марксу. Как литературный документ, он написан только Марксом и потому производит такое сильное впечатление своею собранностью, сжатостью, глубиной и яркостью изложения.

Во время пребывания своего в Лондоне Маркс и Энгельс приняли участие в заседании лондонской общины 30 ноября 1847 г. Вместо того, чтобы говорить о политическом движении, Энгельс выбрал темой «Открытие Америки». В собрании 7 декабря он читал доклад, в котором доказывал, что «торговые кризисы вызываются исключительно перепроизводством и что биржи — главные центры, где производятся пролетарии». Маркс, кроме сообщения о Рабочем союзе в Брюсселе, говорил об «Истории французской революции» Луи Блана и о книге Даумера «Тайны христианской древности».¹

Кроме того, Маркс и Энгельс выступали в Лондоне на собрании 29 ноября 1847 г., на котором чествовали годовщину польской революции 1830—1831 гг. Речи их известны только в очень сокращенном изложении.

Два месяца спустя в Брюсселе происходило 22 февраля 1848 г. чествование двухлетней годовщины краковского восстания 22 февраля 1846 г. В данном случае Маркс и Энгельс тем охотнее выступили, что, говоря словами «Коммунистического манифеста», они «поддерживали партию, которая ставит аграрную революцию необходимым условием национального освобождения, — ту самую партию, которая вызвала краковское восстание 1846 г.». Обе «Речи по польскому вопросу» были напечатаны в брошюре, изданной в Брюсселе в 1848 г.²

Этой кипучей организационной и партийной работой не ограничивалась деятельность Маркса и Энгельса зимой 1847—48 гг. Мы уже видели, что как раз, начиная с июня и июля 1847 г., они все чаще пишут для «Немецкой брюссельской газеты». С приближением февральской революции их сотрудничество становится еще более интенсивным. На войну радикальных кантонов против Зондербунда, против союза католических реакционных кантонов, Энгельс откликается статьей «Гражданская война в Швейцарии» (14 ноября 1847 г.). В особой статье «Революционные движения 1847 года» (23 января 1848 г.) Энгельс дает блестящий очерк положения Европы, как оно

¹ *Nettlan*, Marx-Analekten (Grünbergs Archiv, VIII). — В распоряжении Неттлау были протоколы лондонского коммунистического рабочего общества. Неттлау уверяет, что ему неизвестно, куда они исчезли.

² *Célébration à Bruxelles du deuxième anniversaire de la révolution polonaise du 22 Février 1846*. Discours, prononcés par M. M. A. I. Senault, Karl Marx, Lelewel, F. Engels et Louis Lubliner, avocat.

создано было рядом событий в Пруссии, Италии, Швейцарии, Англии, Франции, Америке, непрерывно создававших и заострявших революционную ситуацию. Он приветствует все эти революционные движения, он желает успеха буржуазии в ее борьбе против абсолютной монархии, дворянства и попов. В статье *«Начало конца Австрии»* (27 января 1848 г.) Энгельс доказывает необходимость скорейшего крушения австрийской империи.

«Для нас, немцев, падение Австрии будет иметь особое значение. Австрия повинна в том, что мы пользуемся дурной славой угнетателей других наций и наемников реакции во всех странах. Под австрийским флагом немцы держат в рабстве Польшу, Богемию и Италию... Тому, кому воочию пришлось видеть, какая смертельная ненависть, какая жажда кровавой и совершенно справедливой мести царит в Италии против «тедески» (немцев), уже по одному этому должен сам смертельно ненавидеть Австрию и будет с радостью приветствовать падение этого оплота варварства, этого позорища Германии».

В тесной связи с этой статьей находится и последняя статья Энгельса в *«Немецкой брюссельской газете»*, напечатанная в первый день февральской революции (24 февраля 1848 г.), — *«Несколько слов газете «Riforma»*. Энгельс указывает редакции *«Riforma»* на ее неудачную параллель между итальянским движением 1848 г. и немецкими освободительными войнами 1813 и 1815 гг., которым *«Италия как раз обязана своим порабощением Австрии, которым Германия обязана тем, что в ней самой был восстановлен хаос и тирания»*.

В связи с организацией Демократической ассоциации, Маркс в *«Заметке против А. Бартельса»* (19 декабря 1847 г.) подвергает едкой критике выходки старого бельгийского либерала против иностранных членов Демократической ассоциации. Статья Маркса *«Ламартин и коммунизм»* (21 декабря 1842 г.) дает прекрасную иллюстрацию к вступительным словам *«Коммунистического манифеста»*, в которых перечисляются все силы старой Европы, соединившиеся для священной травли коммунизма, в том числе *французские радикалы* и немецкие полицейские.

«Коммунистический манифест» едва был набран и только брошюровался, когда в Париже началась февральская революция. Энгельс был выслан из Парижа еще в конце января. Лондонская община, которая по уставу выполняла функции центрального комитета, передала свои полномочия брюссельской. Но и в Бельгии почва становилась ненадежной. Правительство начало арестовывать и высылать эмигрантов. 3 марта 1848 г. новый центральный комитет, констати-

ровав, что при существующих условиях нет никакой возможности устроить в Брюсселе собрание членов общества и в особенности немцев, что Париж является центром революционного движения, постановил перенести местопребывание центрального комитета в Париж и передать ведение всех дел Марксу впредь до того времени, когда удастся составить новый центральный комитет.

С этим документом в кармане Маркс, получивший 4 марта 1848 г. приказ покинуть Бельгию в 24 часа, был арестован в ночь с 4-го на 5 марта. После ряда перипетий, о которых Маркс сам рассказывает в печатаемом нами письме в редакцию газеты «Réforme», он был выслан из Бельгии. 12 марта уже был конституирован новый центральный комитет с председателем — Марксом и секретарем — Шаппером. Энгельс, выбранный тоже членом центрального комитета, переехал в Париж только после 18 марта. Новый центральный комитет в особом документе немедленно формулировал *«Требования коммунистической партии в Германии»* (см. Приложения). После острого конфликта с немецкой демократической эмиграцией, вождем которой явился Гервег, ставший во главе вооруженного легиона, чтобы на штыках внести революцию в Германию, — попытка, кончившаяся жалким крахом, — Маркс и Энгельс направились в Германию.

* * *

Переводы различных работ, вошедших в этот том, сделаны Я. Виткиным, А. Воденом, Е. Гурвич, М. Охитовичем.

В чтении корректур и редакции указателя имен принимал участие Ц. Фридлянд. Корректурой руководил О. Румер, которому мы обязаны также ценными редакционными указаниями.

Май 1929 г.

Д. Рязанов.

Ф. ЭНГЕЛЬС

СТАТЬИ ИЗ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

ПОСЛЕДНЯЯ БОЙНЯ В ЛЕЙПЦИГЕ. — РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ.

Лейпцигская бойня, которой вы коснулись в последнем номере вашей газеты и о которой вы писали более подробно несколько недель тому назад, все еще продолжает привлекать внимание немецких газет. Эта бойня, — которую по гнусности превосходит только бойня в Питерлоо, — является самым позорным актом подлости, когда-либо придуманной военным деспотизмом в этой стране. В то время, когда народ кричал: «да здравствует Ронге!», «долой папизм!» — принц Иоганн Саксонский, — который, между прочим, подобно многим другим принцам, причастен к рифмоплетству и литературе, так как выпустил в свет очень скверный перевод «Ада» итальянского поэта Данте, — этот «адский» переводчик задумал свою литературную славу увенчать военной, предприняв хитрую и трусливую кампанию против безоружных масс. Вызванному властями батальону стрелков он приказал разбиться на несколько отрядов и занять проходы к отелю, в котором его литературное «королевское высочество» устроило свою главную квартиру. Солдаты повиновались, ждали народ, заставили его скучиться в узком кругу и затем погнали вперед в ворота отеля; появление народа в святых воротах королевской резиденции стало неизбежным, так как явилось результатом военных действий по приказу принца Иоганна; этим обстоятельством и воспользовались, чтобы открыть огонь, и этим же обстоятельством казенные газеты старались оправдать пальбу по толпе. Но этим дело не кончилось: народ был стиснут несколькими отрядами, и задуманная его королевским высочеством расправа была выполнена при помощи перекрестного огня, направленного против беззащитных людей; куда бы толпа ни повернула — повсюду ее встречали частые ружейные залпы; но солдаты проявили больше человеколюбия, чем принц Иоганн, и большинство выстрелов направляли в воздух, — иначе бойня была бы ужасна. Это подлое дело вызвало всеобщее негодование; самые лояльные подданные, самые горячие сторонники нынешнего порядка также

выражают свое возмущение и крайнее отвращение к таким поступкам. Это событие послужит на пользу Саксонии, — той части Германии, где больше, чем в других местах, обнаруживали склонность к *разговорам* и где сильно давало себя чувствовать отсутствие действий. Саксонцы со своим маленьким конституционным государством, со своими парламентскими говорильнями, либеральными и просвещенными священниками и т. д., и т. д. были в Северной Германии выразителями умеренного либерализма, германского вигизма, и вместе с тем — большими рабами короля прусского, чем сами пруссаки. Что бы ни решило прусское правительство — саксонское министерство было обязано выполнить; больше того, с недавних пор прусское правительство даже не брало на себя труд обращаться к саксонскому министерству, а обращалось непосредственно к саксонским мелким властям, как будто бы они были на службе не у Саксонии, а у него самого! Саксонией управляет Берлин, а не Дрезден, и, несмотря на всю свою болтовню и хвастовство, саксонцы прекрасно знают, что свинцовая рука Пруссии довольно тяжело давит на них. И всей этой болтовне и хвастовству, высокомерию и самодовольству, — судя по которым саксонцы должны были бы особенно оппозиционно относиться к пруссакам и т. д., — всему этому лейпцигская бейня положит конец. Саксонцы должны теперь убедиться на деле, что они подчинены той же военной силе, что и все остальные немцы; что и при их конституции, либеральных законах, либеральной цензуре и либеральных речах короля, военный суд есть единственный суд, фактически существующий в их маленькой стране. Есть еще одно обстоятельство, которое поможет лейпцигскому происшествию распространить дух возмущения в Саксонии; несмотря на все речи саксонских либералов, большая часть саксонского народа лишь сейчас начинает подавать голос. Саксония — страна фабричного производства, и среди ее ткачей, чулочников, бумагопрядильщиков, кружевников, углекопов и рудокосов с незапамятных времен царил ужасающая нужда. Пролетарское движение, — начавшись с силезских бунтов, или, как их называли, с битвы ткачей в мае 1844 г., — распространилось по всей Германии и не прошло без следа и для Саксонии. Некоторое время тому назад были волнения в разных местах среди рабочих железнодорожных мастерских, а также среди набойщиков, и хотя точных данных нет, — возможно, что коммунизм здесь прокладывает себе путь, как и повсюду, где имеются рабочие; а если саксонские рабочие выступят на арену борьбы, они, разумеется, не удовлетворятся разговорами, наподобие своих хозяев, либеральных «буржуа».

Позвольте еще раз обратить ваше внимание на рабочее движение в Германии. В вашей газете за прошлую неделю вы предсказываете нашей стране славную революцию, совсем иную, чем та, которая имела место в 1688 г. В этом вы совершенно правы. Я позволю себе лишь внести поправку или, вернее, уточнить ваше выражение, а именно: перемену внесет германская молодежь. Но нечего искать эту молодежь в средних классах. Революционные действия начнутся в самой гуще рабочей массы. Правда, среди наших средних классов имеется значительное число республиканцев и даже коммунистов, а также и таких молодых людей, которые, в случае общего взрыва, были бы очень полезны для дела, но эти люди — «буржуа», извлекатели барышей, промышленники по профессии. Кто может гарантировать, что их не деморализует их профессия, их общественное положение, которое заставляет их жить трудом других и жиреть благодаря тому, что они занимают положение пиявок и эксплуататоров рабочего класса. И если бы они даже оставались пролетарски настроенными вопреки своей профессии буржуа, — они численно представляют собою бесконечно малую величину по сравнению с реально существующим числом людей из средних классов, которые, заботясь только о своих классовых интересах и о пополнении своих кошельков, цепляются за существующий строй. К счастью, мы совсем не рассчитываем на средние классы. Пролетарское движение развернулось с такой поразительной быстротой, что через год или два мы будем в состоянии устроить смотр славному отряду демократов и коммунистов из рабочих, ибо в нашей стране демократия и коммунизм, поскольку дело идет о рабочем классе, — синонимы. Силезские ткачи дали сигнал в 1844 г., богемские и саксонские набойщики и рабочие железнодорожных мастерских, берлинские набойщики и промышленные рабочие почти по всей Германии объявили стачки, а кое-где произошли частичные бунты; последние почти всегда вызывались законами, запрещавшими союзы. Движение в настоящее время распространилось почти по всей стране и продолжает расти спокойно и неуклонно, между тем как средние классы тратят свое время на агитацию за «конституции», «свободу прессы», «покровительственные пошлины», «германский католицизм» и «протестантскую церковную реформу». Все эти формы движения, хотя имеют свое значение, совсем не затрагивают рабочего класса, у которого есть свое собственное движение — борьба за насущный хлеб.

На эту тему — в следующем письме.

ПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Редактору «Northern Star».

Милостивый государь!

Согласно вашему желанию я этим письмом начинаю ряд статей о современном положении моего отечества. Чтобы мои мнения по этому вопросу были вполне понятны и вполне обоснованы, я должен вкратце изложить историю Германии, начиная от того события, которое до основания потрясло современное общество, — я хочу сказать со времен французской революции.

Старая Германия в то время была известна под названием Священной римской империи и состояла из бесчисленного множества мелких государств, королевств, курфиршеств, герцогств, эрц- и великих герцогств, княжеств, графств, баронств и вольных имперских городов, которые все были независимы друг от друга и подчинялись только власти императора или сейма (если была какая-нибудь возможность, чего, однако, не было в течение сотен лет).

Независимость этих мелких государств шла так далеко, что во всякой войне с «самым заклятым врагом» (archenemy) (т. е. с Францией) часть из них входила в союз с французским королем и вела открытую борьбу против своего собственного императора. Сейм, состоявший из делегаций всех этих мелких государств под председательством представителей империи, желая обуздать власть императора, заседал постоянно, но никогда не добивался даже самого ничтожного успеха. Там убивали время обсуждением самых пустых вопросов церемониала, — например, должно ли посольство такого-то барона (состоявшее, вероятно, из учителя его сына и старого ливрейного лакея или старого смотрителя за дичью) иметь преимущество пред посольством барона такого-то или должен ли депутат одного имперского вольного города кланяться депутату другого города, не ожидая его поклона, и т. д. Затем спорили о массе мелких привилегий, по большей части обременительных для самих привилегиро-

ванных, но которые считались вопросами чести и которые поэтому обсуждались с крайним упорством. Эти и другие подобные им важные вещи отнимали столько времени у мудрого сейма, что у почтенного собрания не оставалось времени для обсуждения государственных вопросов; в результате всего этого заседания велись в величайшем беспорядке. Благодаря раздорам, разрывавшим империю как в период войны, так и в мирное время, от реформации вплоть до 1789 г. она переживала целый ряд внутренних войн; в каждой из этих войн Франция соединялась с той партией сейма, которая выступала против слабой и легко победимой партии императора и получала, конечно, львиную долю в грабеже: сперва Бургундию, затем три епископства: Метц, Тул и Верден, остальную Лотарингию; часть Фландрии и Эльзас были таким образом отторгнуты от Священной римской империи и присоединены к Франции. Швейцария стала независимой от империи; Бельгия была уступлена Испании по завещанию Карла V; все эти страны очутились в лучшем положении после своего отделения от Германии. К этому растущему внешнему разорению империи присоединялся величайший внутренний беспорядок. Каждый мелкий князь был кровожадным неограниченным деспотом для своих подданных. Империя никогда не заботилась о внутренних делах государств, за исключением организации судов (Имперская судебная палата в Вецларе) для разбирательства жалоб подданных на их начальников. Но этот достойный суд так хорошо разбирал дела, что никогда ни одно из них не было решено. Почти невероятно, какие акты жестокости и произвола совершали эти надменные князья по отношению к своим подданным. Эти князья, проводившие время только в наслаждениях и дебоше, разрешали всякий произвол своим министрам и правительственным чиновникам, которые могли таким образом, топтать ногами несчастный народ, не боясь наказания, при одном только условии наполнения казны своих господ и доставления им неистощимого запаса красивых женщин для их гарема. Дворянство, которое не было независимо, но находилось под властью какого-нибудь короля, епископа или князя, обыкновенно относилось к народу с большим пренебрежением, чем к собакам, и выжимало возможно больше денег из труда своих крепостных, ибо рабство было тогда обычным делом в Германии. Точно так же не было никаких признаков свободы в так называемых вольных имперских городах: здесь бургомистр или сам выбравший себя сенат,— должности, которые с течением веков сделались такими же наследственными, как императорская корона,— проявляли гораздо большую тиранию в своем управлении. Ничто не может сравниться с гнусным

поведением этой мелкобуржуазной аристократии городов. И никто бы не поверил, что таково было положение Германии 50 лет тому назад, если бы оно не сохранилось в памяти многих людей, которые помнят еще это время, и если бы оно не подтверждалось сотнями авторитетов. А народ! Что он говорил по поводу такого положения вещей? Почему? ¹ Что он делал? Так как средние классы, алчные к деньгам буржуа, находили в этом постоянном беспорядке источник богатства, то они знали, что легче всего ловить рыбу в мутной воде; они сами терпели притеснения и оскорбления, потому что они знали, что могут выместить их на своих врагах, которые были не лучше их; *они мстили за свои обиды, обманывая своих угнетателей.* Соединившись с народом, они могли бы ниспровергнуть старую власть и восстановить империю, как это отчасти сделали английские средние классы между 1640 и 1688 гг. и как это в то время делала французская буржуазия. Но средние классы Германии никогда не обладали такой энергией, никогда не претендовали на такое мужество; они знали, что Германия — только навозная куча, но они хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что они сами были навозом и чувствовали себя в тепле, окруженные навозом. А рабочему народу жилось не хуже, чем живется в настоящее время, за исключением крестьян, главным образом крепостных, которые ничего не могли сделать без поддержки городов, так как наемные армии всегда были расквартированы среди них и могли потопить в крови всякую попытку к восстанию.

Таково было положение Германии к концу прошлого столетия. Это была одна гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнет: кровавого правительственного и плохого состояния торговли. Дворянство и князья находили, что их доходы, несмотря на то, что они все выжимали из своих подчиненных, не должны были отставать от их растущих расходов. Все было скверно, и в стране господствовало общее недовольство. Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм — весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом. Все прогнило, колебалось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что в народе

¹ Очевидно, в тексте пропущены слова: «он молчал». — *Прим. ред.*

не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений.

Единственную надежду на лучшие времена видели в литературе. Эта позорная политическая и социальная эпоха была в то же самое время великой эпохой немецкой литературы. Около 1750 г. родились все великие умы Германии: поэты Гете и Шиллер, философы Кант и Фихте, а лет двадцать спустя — последний великий немецкий метафизик Гегель. Каждое замечательное произведение этой эпохи проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего немецкого общества. Гете написал «Геца фон-Берлихингена», драматическое восхваление памяти революционера. Шиллер написал «Разбойников», прославляя великодушного молодого человека, объявившего открытую войну всему обществу. Но это были их юношеские произведения. С годами они потеряли всякую надежду. Гете ограничивался наиболее смелыми сатирами, а Шиллер впал бы в отчаяние, если бы не нашел прибежища в науке, в особенности в великой истории древней Греции и Рима. По ним можно судить о всех остальных. Даже самые лучшие и самые сильные умы народа потеряли всякую надежду на будущее своей страны.

Но вдруг французская революция, точно громовая стрела, ударила в этот хаос, называемый Германией. Она оказала огромное влияние. Народ, слишком мало осведомленный, слишком привыкший подчиняться тирании, был неподвижен. Но все средние классы и лучшая часть дворянства с радостным ликованием относились к Национальному собранию и к французскому народу. Все немецкие поэты воспевали славу французского народа. Но это был чисто немецкий энтузиазм, он имел только метафизический характер, он относился только к теории французских революционеров. Но когда теории были отодвинуты фактами на задний план, как только благодаря поведению двора французский народ не мог больше на практике проводить принципы конституции 1791 г., несмотря на свое теоретическое согласие с ней, как только народ практически утвердил свою власть благодаря перевороту «10 августа», когда, кроме того, свержение жирондистов 31 мая 1793 г. заставило умолкнуть всякие теории, — тогда этот энтузиазм Германии сменился фанатической ненавистью к революции. Конечно, этот энтузиазм относился лишь к таким актам, как ночь 4 августа 1790 г.,¹ когда дворянство отказалось от своих привилегий, но добродушные немцы никогда не имели в виду таких действий, практические последствия которых сильно

¹ Повидимому, опечатка в тексте: должно быть 1789. — *Прим. ред.*

отличались от тех выводов, которые могли делать благожелательные теоретики. Немцы никогда не одобряли этих результатов, которые были неприятны многим партиям и имели серьезный характер, как нам всем хорошо известно. Итак, вся масса тех людей, которые вначале были восторженными друзьями революции, стали теперь самыми ожесточенными противниками ее и, получая известия из Парижа в самом извращенном виде из рептильной немецкой прессы, предпочитали свою старую спокойную священную римскую навозную кучу грозной активности народа, который сбросил цепи рабства и бросил в лицо вызов всем деспотам, аристократам и попам.

Но дни Священной римской империи были сочтены. Французская революционная армия вошла в самое сердце Германии, сделала Рейн границей Франции и везде проповедывала свободу и равенство. Французские революционные войска толпами прогоняли дворян, епископов и мелких князей, которые в течение стольких веков играли в истории роль марионеток. Они расчищали почву, точно они были пионерами в девственных лесах американского далекого запада; допотопный лес «христианско-германского» общества исчезал при их победоносном шествии, подобно облакам при восходе солнца. И когда энергичный Наполеон взял дело революции в свои собственные руки, когда он отождествил революцию с самим собою, — ту самую революцию, которая после 9 термидора 1794 г. была задушена алчными к деньгам средними классами, — когда он («демократия с одной только головой», как назвал его один французский автор) посылал в Германию одну свою армию за другой, «христианско-германское» общество было окончательно уничтожено. Наполеон не был неограниченным деспотом для Германии, как утверждают его враги. Наполеон был в Германии представителем революции, пропагандистом ее принципов, разрушителем старого феодального общества. Он, конечно, действовал деспотически, но даже наполовину не так деспотически, как действовали бы и в самом деле повсюду действовали депутаты Конвента; далеко не так деспотически, как обыкновенно поступали князья и дворяне, которых он сделал ничими. Режим террора, который сделал свое дело во Франции, Наполеон *в других странах применял в форме войны*, и этот «режим террора» в Германии был крайне необходим. Наполеон разрушил Священную римскую империю и уменьшил число мелких государств в Германии, образовав большие государства. Он ввел свой кодекс законов в завоеванных странах, кодекс, который был бесконечно выше всех существовавших кодексов и в принципе признавал равенство. Он заставил немцев, которые до тех пор жили только *част-*

ными интересами, работать над проведением великой идеи все побеждающих общественных интересов. Но это именно и восстановило немцев против него. Он вызвал недовольство крестьян именно теми мерами, которые освободили их от гнета феодализма, потому что он в корне подорвал их предрассудки и их древние обычаи. Он вызвал недовольство средних классов теми именно мерами, которые положили начало немецкой мануфактурной промышленности: запрещение всех английских товаров и война с Англией были причиной начала их собственной промышленности, но в то же самое время это вызвало сильное вздорожание кофе, сахара, табака, а главное нюхательного табака, и этого, конечно, было достаточно, чтобы вызвать негодование патриотических немецких лавочников. К тому же то не были люди, которые могли понять великие планы Наполеона. Они проклинали его за то, что он брал их детей на войну, которая велась на деньги английской аристократии и средних классов, и прославляли, как друзей, именно те классы англичан, которые были действительной причиной войн, которым войны были выгодны и которые обманывали служивших им немцев не только во время, но и после войны. Они проклинали его, потому что они все еще желали ограничиться своим старым, жалким образом жизни, при котором им приходилось заботиться только о своих собственных мелких интересах, потому что они знать ничего не хотели о великих идеях и общественных интересах. И, наконец, когда армия Наполеона была уничтожена в России, они воспользовались этим случаем, чтобы сбросить железное ярмо великого завоевателя.

«Славная освободительная война» 1813 — 14 и 15 гг., «самый славный период истории Германии» и т. д., как ее называли, была проявлением безумия, за которое еще много лет будет краснеть всякий честный и благоразумный немец. Правда, в то время проявлен был большой энтузиазм, но кто его проявлял? Во-первых, крестьянство, т. е. самая тупая часть народа, которое, цепляясь за феодальные предрассудки, подымалось массами, готовое скорее умереть, чем перестать повиноваться тем, которых они, их отцы и деды называли своими господами, которым они подчинялись и которые топтали их ногами и били кнутами. Затем студенты и вообще молодые люди, которые считали эту войну принципиальной войной, более того — религиозной войной, потому что они не только считали себя призванными бороться за принцип законности, называемой их национальностью, но также за святую троицу и существование бога; во всех поэмах, памфлетах и речах того времени французы изображаются представителями атеизма, неверия и безнравственности, а немцы —

представителями религии, благочестия и порядочности. В-третьих, еще кое-какие просвещенные люди, которые смешивали с этими идеями некоторые понятия о «свободе», «конституциях» и «свободной печати»; но эти последние составляли меньшинство. В-четвертых, сыновья торговцев, купцов, спекулянтов и т. д., которые боролись за право покупки на самых дешевых рынках и за право пить кофе без примеси цикория, маскируя, конечно, свои цели выражением модного энтузиазма по поводу «свободы», «великого немецкого народа», «национальной независимости» и т. п. Это были те люди, которые с помощью русских, англичан и испанцев разбили Наполеона.

В следующем своем письме я перейду к истории Германии со времени падения Наполеона. Я должен только прибавить к высказанному мною мнению об этом необыкновенном человеке, что чем больше он царствовал, тем больше он заслуживал свою участь. Я не хочу упрекать его за его восшествие на престол. Власть средних классов во Франции, которые никогда не заботились об общественных интересах, если только их частные дела шли хорошо, и апатия народа, который не видел для себя никакой пользы от революции и был проникнут военным энтузиазмом, не давали возможности другого хода развития. Но величайшей ошибкой Наполеона было то, что он соединился со старыми антиреволюционными династиями, женившись на дочери австрийского императора, что, вместо того, чтобы уничтожить всякие следы старой Европы, он старался вступить с ней в компромисс и что он стремился быть первым среди европейских монархов и поэтому по возможности уподоблял свой двор их дворам. Он опустил до уровня других монархов, он стремился к чести быть равным им — он преклонялся перед принципом легитимности, — и вполне естественно, что легитимисты выбросили узурпатора из своей компании.

Остаюсь, милостивый государь,

*Ваш почтительнейший
немецкий корреспондент.*

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Редактору «Northern Star».

Милостивый государь!

Описав в своем первом письме состояние Германии до и во время французской революции, а также во времена царствования Наполеона, рассказав, как и какими партиями был свергнут великий завоеватель, я продолжаю свой рассказ, чтобы показать, что стало с Германией после этого славного восстановления национальной независимости.

Точка зрения, с которой я рассматриваю все эти события, диаметрально противоположна той, с которой их обыкновенно изображают. Но моя точка зрения буквально подтверждается событиями следующего периода истории Германии. Если бы война против Наполеона в самом деле была войной за свободу против деспотизма, то результатом ее было бы то, что все покоренные Наполеоном народы после его падения провозгласили бы принцип равенства и наслаждались бы его благами. Но на самом деле произошло прямо противоположное.

Что касается Англии, то война была начата перепугавшейся аристократией и поддержана плутократией, которая нашла источник огромной прибыли в многочисленных займах и в разбухании национального долга, в представившемся удобном случае захватить южно-американские рынки, сбуть им свои собственные товары и завладеть теми французскими, испанскими и датскими колониями, которые они считали наиболее подходящими, чтобы потуже набить свои кошельки, чтобы неограниченно распространить «Britannia, rule the waves» (Британия, царствуй над морями), чтобы сколько угодно притеснять торговлю всякого другого народа, конкуренция которого грозит повредить росту их собственного обогащения, и, наконец, чтобы утвердить свое право получать огромные прибыли от снабжения европейских рынков в противовес континентальной системе Наполеона. Таковы были *истинные* причины продолжительной

войны для тех классов, в чьих руках тогда находилось управление Англией. Что же касается утверждения, будто французская революция подрывает основные принципы английской конституции, то оно лишь свидетельствует о несравненных достоинствах этого «воплощения разума». Что касается Испании, то она начала войну для защиты принципа законного престолонаследия и инквизиторского деспотизма духовенства. Впоследствии стали ссылаться на принципы конституции 1812 г., чтобы побудить народ продолжать борьбу, тогда как *сами* эти принципы были французского происхождения. Италия никогда не была против Наполеона, так как она получила от него одни только благодеяния, и она была обязана ему уже самым фактом своего национального существования. То же самое относится и к Польше. Я уже в первом своем письме указал, чем Германия была обязана Наполеону.

Падение Наполеона рассматривалось всеми державами-победительницами как гибель *французской революции* и как торжество законности. Результатом этого было, конечно, восстановление принципа законности у себя дома, сперва под прикрытием таких сентиментальностей, как «священный союз», «вечный мир», «общественное благо», «взаимное доверие между государем и подданными» и т. д., и т. д., а затем в неприкрытом виде штыком и тюрьмой. Бессилие завоевателей было в достаточной мере доказано уже тем фактом, что, в конце концов, побежденный французский народ с навязанной ему ненавистной монархией, поддержанной 150 000 иностранных войск, внушал, однако, такой страх победившим врагам, что французам была дана довольно либеральная конституция, между тем как другие народы при всех своих усилиях и при всей своей хваленой свободе не получили ничего. Подавление французской революции было ознаменовано на юге Франции избиением республиканцев, кострами инквизиции и реставрацией отечественного деспотизма в Испании и Италии, законами, упразднявшими свободу слова, и «резней в Питерлоо» в Англии. Мы сейчас увидим, что в Германии дела приняли такой же оборот.

Прусское королевство первое из всех германских государств объявило войну Наполеону. Пруссия в то время управлялась Фридрихом-Вильгельмом III, названным «Справедливым», одним из величайших олухов, который когда-либо служил украшением престола. Созданный быть капралом и проверять, в порядке ли пуговицы у солдат, развратный, без страстей, и в то же самое время поборник морали, неспособный говорить иначе, чем в неопределенном наклонении, которого только его сын превзошел в умении писать приказы,

он знал два чувства: страх и капральскую заносчивость. В первую половину его царствования преобладающим состоянием его духа был страх перед Наполеоном, который относился к нему с презрительным великодушием, возвратив ему половину королевства, которую он не считал нужным удерживать за собой. Именно благодаря этому страху он разрешил управлять вместо себя партии половинчатых реформаторов — Гарденбергу, Штейну, Шену, Шарнгорсту и т. п., которые ввели более либеральную организацию муниципалитетов, провели уничтожение крепостного состояния, обращение феодальных повинностей в ренту или в выкуп в течение 25 лет, а помимо всего этого создали военную организацию, которая дала народу мощь, — мощь, которая когда-нибудь будет использована в борьбе с правительством. Реформаторы «подготовили» также конституцию, которая, однако, еще не появилась. Мы скоро увидим, какой оборот приняли прусские дела после подавления французской революции.

После заключения в тюрьму «корсиканского чудовища» немедленно был созван в Вене большой конгресс крупных и мелких деспотов, чтобы разделить захваченную добычу и выяснить, в какой мере может быть восстановлено дореволюционное положение дел. Народы покупались и продавались, разделялись и соединялись ровно в такой мере, в какой это прежде всего соответствовало интересам и целям их правителей. Только три из присутствовавших на конгрессе государств знали, чего они хотят: Англия, стремившаяся сохранить и расширить свое коммерческое превосходство, удержать львиную долю из колониального грабежа и ослабить всех остальных; Франция, чья задача была уменьшить последствия своего поражения и одновременно ослабить всех остальных; Россия, желавшая увеличить свою мощь и территорию, а также подорвать силу всех остальных; остальные руководились сентиментальными соображениями, мелким эгоизмом, а некоторые из них даже своего рода нелепым бескорыстием.

Результатом этого было то, что Франция воспрепятствовала осуществлению намерений крупных германских государств; что Россия получила лучшую часть Польши; что Англия больше увеличила свои морские силы во время мира, чем во время войны, и получила главенство на всех континентальных рынках, которые не нужны были английскому народу, но являлись средствами огромного обогащения для английских средних классов. Германские государства, которые не думали ни о чем, кроме дорогого их сердцу принципа законности, еще раз были обмануты и потеряли по мирному договору

все, что они приобрели посредством войны. Германия осталась раздробленной на 38 государств; это дробление мешает всякому внутреннему прогрессу, и благодаря этому Франция оказывается сильнее ее; вследствие этого дробления Германия продолжает быть лучшим рынком для английских товаров и способствует обогащению английских средних классов. Эта часть английского народа могла, конечно, хвастаться своим великодушием, побудившим ее послать огромные суммы денег для продолжения войны с Наполеоном; но если мы даже предположим, что они, а не рабочий класс, уплатили эти субсидии, то они своим великодушием имели в виду исключительно одно: открыть континентальные рынки. В этом они так хорошо успели, что прибыли, которые средние классы извлекли со времени заключения мира в одной только Германии, по крайней мере в шесть раз превысили субсидии. Таково великодушие среднего класса, который сперва делает вам подарок в форме субсидий, а затем заставляет вас заплатить за них в шесть раз больше в форме прибылей. Проявили ли бы они такое стремление уплатить эти субсидии, если бы в конце войны произошло обратное, и Англия была бы наводнена немецкими товарами вместо того, чтобы несколько английских капиталистов ограничили немецкое производство?

Однако Германия была кругом обманута и главным образом ее так называемыми друзьями и союзниками. Но это не особенно беспокоило бы меня, так как я знаю, что мы приближаемся к реорганизации европейского общества, которая сделает невозможными подобные проделки и такие нелепости. Что я хочу показать, это, во-первых, что ни английский народ и ни какой-либо другой народ не извлек пользы из обмана германских деспотов, но что все это пошло на пользу другим деспотам или одному классу, интересы которого противоположны интересам народа; и, во-вторых, что уже первые шаги реставрированных немецких деспотов показывают их полнейшую неспособность.

Теперь мы перейдем к внутренним делам Германии.

Мы уже видели, кто были те, кто с помощью английских денег и русского варварства подавили французскую революцию. Они состояли из двух групп: во-первых, из главных партизанов старого «христианско-германского» общества, крестьянства и восторженной молодежи, движимых фанатизмом рабства, национальности, законности и религии; и, во-вторых, из более умеренных людей среднего класса, которые хотели, чтобы их «оставили в покое», хотели наживать деньги и тратить их, не думая о великих исторических событиях. Эта партия почувствовала себя довольной, как только она получила

право покупать на самом дешевом рынке, пить кофе без примеси цикория и быть свободной от всех политических дел. «Христианско-германская» партия теперь стала активной поддержкой реставрированного правительства и делала все, что могла, чтобы вернуть историю назад к 1789 г. Что же касается тех, которые хотели, чтобы народ воспользовался некоторыми плодами их усилий, то они были достаточно сильны, чтобы сделать свой лозунг боевым кличем 1813 г., но не практическим лозунгом 1815 г. Им только обещали конституцию, свободу печати и т. п., и этим дело ограничилось. Фактически все осталось в таком положении, как оно было первоначально. Офранцуженные части Германии были по возможности очищены от всяких следов «иностранного деспотизма», и только провинции, находящиеся на левом берегу Рейна, сохранили свои французские учреждения. Гессенский курфюрст пошел так далеко, что восстановил *косички у своих солдат*, которые были отрезаны нечестивыми руками французов. Одним словом — Германия, как и всякая другая страна, представляла картину беззащитной реакции, которая отличалась только робостью и слабостью. Она не проявила даже той энергии, с которой боролись с революционными принципами в Италии, Испании, Франции и Англии.

Система обмана, жертвой которого Германия была на Венском конгрессе, теперь начала применяться между различными германскими государствами. Чтобы ослабить различные другие государства, Пруссия и Австрия принудили их дать кое-какие убудочные конституции, ослабившие эти правительства, не дав никакой власти народу или хотя бы среднему классу. Германия составляла конфедерацию государств, сейм ее составлялся из делегаций, уполномоченных только правительствами; не было опасности, что народ станет слишком силен, так как каждое государство было связано резолюциями сейма, которые были законом для всей Германии, не нуждаясь в одобрении какого-нибудь представительного собрания. В этом сейме Пруссия и Австрия правили, конечно, самсдержавно. Им стоило только пригрозить мелким князьям, что они оставят их в их борьбе с представительными собраниями, чтобы довести их до слепого повиновения. Этими способами, — своей подавляющей силой и тем обстоятельством, что они были самыми настоятельными представителями того принципа, на котором покоилась власть каждого немецкого князя, — они стали абсолютными правителями Германии. Что бы ни делалось в мелких государствах, это не имело никакого практического значения. Борьба либеральных средних классов Германии была бесплодна до тех пор, пока она ограничивалась небольшими

южными государствами; она приобрела значение, как только средние классы Пруссии проснулись от своего летаргического сна. И так как австрийский народ вряд ли может быть причислен к цивилизованному миру, а следовательно спокойно подчиняется отеческому деспотизму абсолютных правителей, то поэтому государством, которое может быть сделано центром новейшей истории Германии, может быть сделано барометром колебаний ее общественного мнения, является Пруссия.

После падения Наполеона прусский король провел несколько счастливейших лет своей жизни. Правда, его обманывали со всех сторон: Англия обманывала его; Франция обманывала его; его собственные лучшие друзья, австрийский и русский императоры, постоянно обманывали его. Но он в простоте души даже не замечал этого; он не представлял себе, что могут быть такие негодяи, которые могли бы обмануть Фридриха-Вильгельма III, «Справедливого». Он был счастлив. Наполеон был свергнут. Ему нечего было *бояться*. Он нарушил статью 13-ю основного федеративного акта Германии, который обещал конституцию каждому государству. Он нарушил другую статью о свободе печати. Более того: 22 мая 1815 г. он издал указ, начинавшийся следующими словами, — словами, в которых его благие намерения соединялись с его капральским повелительным тоном: *«Да будет народное представительство»*. Он приказал, чтобы была назначена комиссия для выработки конституции для его народа; и даже в 1819 г., когда в Пруссии вновь появились революционные симптомы, когда во всей Европе господствовала реакция и когда в полном цвету были пышные плоды конгрессов, — даже тогда он заявил, что впредь ни один государственный заем не будет заключен без согласия будущего представительного собрания королевства.

Увы! Это счастливое время длилось недолго.

Мне остается прибавить только одно слово. Каждый раз, когда на английских демократических собраниях провозглашается тост за «патриотов всех стран», то всегда с уверенностью можно сказать, что среди *них будет Андреас Гофер*. Но могут ли демократы приветствовать теперь имя Гофера после того, что я сказал о врагах Наполеона в Германии? Гофер был глупый, невежественный, фанатичный крестьянин, энтузиазм которого напоминал энтузиазм Вандеи, энтузиазм, порожденный «Церковью и Императором». Он храбро сражался, — но так сражались вандейцы против республиканцев. Он сражался за отеческий деспотизм Вены и Рима. Английские демократы во имя чести немецкого народа в будущем не

будут считаться с этим ханжой. В Германии есть лучшие патриоты, чем он. Почему не назвать Томаса Мюнцера, славного предводителя крестьянского восстания 1545 г., который был настоящим демократом, насколько это было возможно в то время? Почему не прославлять Георга Форстера, немецкого Томаса Пена, который поддерживал французскую революцию в Париже до самого последнего времени, в отличие от всех своих земляков, и погиб на эшафоте? Почему не прославлять многих других, которые сражались за реальные вещи, а не за иллюзии?

С почтением

Ваш немецкий корреспондент.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Редактору «Northern Star».

Милостивый государь!

Я должен просить прощения у вас и у ваших читателей за мою кажущуюся неаккуратность, — за то, что я так долго не продолжал моей серии писем на вышеуказанную тему, начатых мною для вашей газеты. Но вы, однако, можете быть уверены, что только необходимость посвятить несколько недель практике немецкого движения могла помешать предпринятой мною приятной задаче познакомить английскую демократию с положением вещей в моей родной стране.

Ваши читатели, вероятно, помнят сообщения, сделанные мною в первом и втором моих письмах. Там я указывал, как старое гнилое государство Германии было уничтожено французскими армиями в период времени от 1792 до 1813 г.; как Наполеон был свергнут союзом *феодалов*, или аристократов, и *буржуа*, торговыми средними классами Европы; как в последующих мирных переговорах германские князья были обмануты своими союзниками и даже побежденной Францией; как был выработан Германией федеративный акт и каким образом установился современный политический строй в Германии; и как Пруссия и Австрия, побуждая мелкие государства дать конституцию, сами сделались исключительными хозяевами Германии. Оставляя в стороне Австрию, как полуварварскую страну, мы приходим к заключению, что Пруссия представляет именно то поле сражения, на котором будет решена будущая судьба Германии.

В последнем нашем письме мы указывали, что прусский король Фридрих-Вильгельм III, избавившись от своего страха пред Наполеоном, провел несколько счастливых безмятежных лет, когда для него возникло новое пугало — «революция». Теперь мы посмотрим, как «революция» проникла в Германию.

После падения Наполеона, которое короли и аристократы того времени — я должен опять это повторить — вполне отождествляли с поражением французской революции или, как они называли ее,

«*Революция*» (the revolution), во всех странах после 1815 г. контр-революционные партии держали в своих руках бразды правления. Феодальные аристократы господствовали во всех кабинетах от Лондона до Неаполя, от Лиссабона до С.-Петербурга. Однако средние классы, которые оплатили это предприятие и помогли в нем, также хотели иметь свою долю во власти. Реставрированные правительства при своем возвышении нисколько не считались с их интересами. Наоборот, интересы среднего класса игнорировались везде, с ними совершенно открыто не считались. Проведение английских хлебных законов в 1815 г. типично для всей Европы. И, тем не менее, средние классы были тогда сильнее, чем когда-либо, везде распространялась промышленность и торговля, и вследствие этого разбухли состояния богатых *буржуа*; рост их благосостояния проявлялся в росте спекуляций, в увеличении их спроса на предметы комфорта и роскоши. Они не могли тогда спокойно подчиниться господству класса, упадок которого подготавливался веками, интересы которого были противоположны интересам средних классов, кратковременное возвращение которого к власти в сущности было делом буржуазии. Борьба между средними классами и аристократией была неизбежна; она началась почти тотчас же после заключения мира.

Средние классы, сила которых зависит исключительно от денег, не могут приобрести политическую власть, не делая деньги единственным условием пригодности законодательства для человека. Все феодальные привилегии, все политические монополии минувших веков должны были быть заменены одной большой привилегией и монополией *денег*. Поэтому политическое господство средних классов по существу должно быть выражено в форме *либерализма*. Средние классы уничтожают все старые различия между разными сословиями, существующими в стране, все произвольные привилегии и изъятия; они принуждены сделать принцип выборности основой правительства, в принципе признать равенство, освободив печать от оков монархической цензуры, ввести суд присяжных, чтобы освободиться от особого класса судей, составляющего государство в государстве. В этом отношении они являются полными демократами. Но они вводят все эти улучшения лишь постольку, поскольку все прежние индивидуальные и наследственные привилегии заменяются привилегией *денег*. Так, посредством введения имущественного ценза для права избирать и быть избранными принцип выборности становится достоянием только их собственного класса. Принцип равенства опять-таки устраняется ограничением его «простым равенством перед законом», которое означает равенство, несмотря на неравенство между

богатыми и бедными, — равенство в пределах существующего неравенства, — которое в сущности не означает ничего, кроме того, что *неравенство* называют *равенством*. Так, свобода печати является сама по себе привилегией среднего класса, потому что печатание требует *денег* и покупателей печатных произведений, а покупатели опять-таки нуждаются в деньгах. Так, суд присяжных является привилегией среднего класса, так как принимаются надлежащие меры, чтобы в присяжные выбирались только «почтенные» люди.

Я считал нужным сделать эти немногие замечания по вопросу о господстве среднего класса, чтобы объяснить два факта. Во-первых, что во всех странах за период времени между 1815 и 1830 гг. демократические по существу движения рабочих классов были более или менее подчинены либеральному движению *буржуазии*. Рабочие, которые были хотя и более развиты, чем средний класс, не могли еще видеть коренной разницы между либерализмом и демократией — эмансипацией средних классов и эмансипацией трудящихся классов; они не могли видеть различия между свободой *денег* и свободой *человека* до тех пор, пока деньги не были политически освобождены, пока средний класс не стал исключительно правящим классом. Поэтому демократы, выступавшие в Питерлоо, собирались подать петицию не только о всеобщем избирательном праве, но также и об отмене хлебных законов; поэтому пролетарии боролись в 1830 г. в Париже и угрожали бороться в 1831 г. в Англии за политические интересы *буржуазии*. Во всех странах средние классы были между 1815 и 1830 гг. наиболее сильной составной частью революционной партии и поэтому ее лидерами. Трудящиеся классы неизбежно являются орудием в руках средних классов до тех пор, пока средние классы сами *революционны* или прогрессивны. Отдельное движение трудящихся классов в подобном случае всегда имеет второстепенное значение. Но с того самого дня, когда средние классы получают всю политическую власть, с того дня, когда феодальные и аристократические интересы уничтожены властью *денег*, с того дня, когда средние классы *перестают* быть прогрессивными и революционными и сами становятся неподвижными, — с того именно дня рабочий класс становится во главе движения и превращает его в *национальное движение*. Пусть *сегодня* будут отменены хлебные законы, и *завтра Хартия* станет *центральной* вопросом в Англии; *завтра чартистское движение* проявит *ту силу, ту энергию, тот энтузиазм и ту настойчивость, которые обеспечат ему успех*.

Второй факт, для объяснения которого я решился сделать несколько замечаний о господстве среднего класса, относится исключи-

тельно к Германии. Ввиду того, что немцы являются теоретиками, малоопытными в практических делах, они приняли мелкие ошибки средних классов во Франции и в Англии за святые истины. Средние классы Германии обрадовались тому, что они могут заниматься своими мелкими, сплошь мизерными делишками. Везде, где они получили конституцию, они кичились своей свободой, но мало вмешивались в политические дела государства; там же, где не было конституции, они были рады, что избавлены от беспокойства избирать депутатов и читать их речи. Рабочим нужен был тот могучий рычаг, который пробудил бы их от спячки: в Англии и во Франции — развитие промышленности и результат этого развития — господство среднего класса. И они поэтому оставались спокойными. Крестьянство в тех частях Германии, где новейшие французские учреждения опять были заменены старым феодальным *режимом*, чувствовали гнет, но это недовольство нуждалось в другом стимуле, чтобы прорваться в виде открытого восстания. Таким образом, революционная партия в Германии с 1815 до 1830 года состояла только из *теоретиков*: члены ее рекрутировались в университетах; она состояла только из студентов.

В Германии оказалось невозможным ввести опять старую систему, существовавшую до 1789 г. Изменившиеся условия времени принудили правительства придумать специально для Германии новую систему. Аристократия хотела управлять, но была слишком слаба; средние же классы не имели ни желания, ни достаточной силы для этого; и те, и другие, однако, были достаточно сильны, чтобы принудить правительство к некоторым уступкам. Форма правления была поэтому чем-то вроде убудочной монархии. Конституция в некоторых государствах дала аристократии и средним классам видимость гарантий; для остальных везде существовало только *бюрократическое правительство*, т. е. монархия, которая должна была заботиться об интересах среднего класса посредством хорошей администрации; но этой администрацией руководят, однако, аристократы, и действия ее по возможности скрыты от глаз общества. Результатом этого является образование особого класса административных правительственных чиновников, в руках которого сосредоточена главная сила и который находится в оппозиции ко всем остальным классам. Это — варварская форма управления среднего класса.

Но эта форма управления не удовлетворяла ни «аристократов», «верных христианству германцев», «романтиков», «реакционеров», ни «либералов». Они поэтому объединились против правительства и образовали тайные студенческие общества. Из соединения этих двух

сект — потому что партиями их нельзя назвать — возникла секта ублюдочных либералов, которые в своих тайных обществах мечтали о германском императоре в короне и порфире, со скипетром и со всеми остальными атрибутами власти, не исключая длинной седой или рыжей бороды, — императоре, окруженном собранием сословий, между которыми духовенство, дворянство, мещане и крестьяне распределены надлежащим образом. Это была нелепейшая смесь феодалской грубости с современными заблуждениями среднего класса, какую только можно себе представить. Но это было самым подходящим делом для студентов, которым нужен был энтузиазм, все равно по какому поводу и купленный какой угодно ценой. Однако эти смешные индивидуальные особенности вместе с революциями в Испании, Португалии и Италии, с движением карбонариев во Франции и с реформацией в Англии испугали монархов почти до потери рассудка. «Революция» была пугалом для Фридриха-Вильгельма III — под этим названием имели в виду все эти различные и отчасти противоречивые движения.

Множество арестов и массовых преследований уничтожили эту «революцию» в Германии, французские штыки сделали это в Испании, а австрийские в Италии на короткое время обеспечили восшествие на престол легитимных королей и их божественное право. Даже божественное право турецкого султана вешать и четвертовать своих греческих подданных короткое время поддерживалось Священным союзом, но это дело было слишком возмутительно, и грекам разрешено было уйти из-под турецкого ига.

Наконец, три дня в Париже дали во всей Европе сигнал для общего взрыва недовольства среднего класса, аристократии и народа. Аристократическая польская революция была подавлена; французским и бельгийским средним классам удалось обеспечить себе политическую власть. Английские средние классы точно так же достигли этой цели проведением билля о реформе. В Италии были подавлены частью восстания среднего класса, частью народные восстания; многочисленные же восстания и движения в Германии предвещали здесь новую эру народной агитации и агитации среднего класса.

Новый и бурный характер либеральной агитации в Германии от 1830 до 1834 г. показал, что средние классы сами взялись за разрешение этого вопроса. Но так как Германия разделялась на много государств, из которых почти в каждом существовали отдельные таможи и отдельные тарифы, то эти движения не были объединены общими интересами. Средние классы Германии хотели политической свободы не с целью устройства общественных дел согласно их *инте-*

ресам, а потому, что им было стыдно за свое рабское положение по сравнению с французами и англичанами. Их движение нуждалось в той основной базе, которая обеспечила успех либерализма во Франции и в Англии; их интерес к вопросу был поэтому в значительно большей степени теоретическим вопросом, чем практическим. В общем средние классы Германии были, что называется, бескорыстны. Этого нельзя сказать о французских *буржуа* 1830 г. На следующий день после революции Лафитт сказал: «Теперь будем управлять мы, банкиры», и они правят и посейчас. Английские средние классы также очень хорошо знали, чего они хотят, когда они установили имущественный ценз в десять фунтов; но немецкие средние классы, как уже было сказано выше, не были людьми широкого полета, они были только энтузиастами, почитателями «свободы печати», «суда присяжных», «конституционных гарантий для народа», «справ народа», «народного представительства» и т. п., — все это они считали не средствами, а целью; они приняли тень за сущность и поэтому ничего не получили. Однако этого движения среднего класса было достаточно, чтобы вызвать несколько дюжин революций, из которых две или три имели некоторый успех; большое число народных митингов, много разговоров и газетного хвостовства и очень слабое начало демократического движения среди студентов, рабочих, крестьян.

Я не стану подробно излагать историю неудачного движения, участники которого наделали много ошибок. Везде, где сделано было какое-нибудь важное приобретение, как, например, свобода печати в Бадене, вмешивался германский сейм и уничтожал его. Весь этот фарс закончился повторением массовых арестов 1819 и 1823 гг. и тайной лигой всех германских князей, основанной в 1834 г. на конференции делегатов в Вене, чтобы помешать всякому дальнейшему прогрессу либерализма. Резолюции этой конференции были опубликованы несколько лет тому назад.

С 1834 до 1840 г. в Германии замерло всякое общественное движение. Агитаторы 1830 и 1834 гг. были либо в тюрьмах, либо рассеяны по разным чужим краям, куда они бежали. Те, которые во время агитации проявили свойственную среднему классу робость, продолжали бороться с растущей строгостью цензуры и с растущим индифферентизмом среднего класса. Лидеры парламентской оппозиции продолжали ораторствовать в палатах, но правительства умели находить меры для обеспечения себе большинства голосов. Не было никакой возможности вызвать какое бы то ни было общественное движение в Германии; правительства распорядились по-своему.

Во всех этих движениях средние классы *Пруссии* не принимали почти никакого *участия*. Рабочие во всей этой стране выражали свое недовольство посредством многочисленных бунтов, не имевших, однако, никакой определенной цели, а следовательно и никаких результатов. Главная сила германского союза лежала в апатии пруссаков. Она показывала, что в Германии не настала еще пора для общего движения среднего класса.

В следующем письме я перейду к движению последних шести лет, если мне удастся собрать необходимый материал для характеристики духа германских правительств некоторыми собственными их действиями, по сравнению с которыми действия вашего бесценного министра внутренних дел являются совершенно невинными.

С почтением

Ваш немецкий корреспондент.

Ф. ЭНГЕЛЬС

ПРАЗДНИК ПАРОВОДОВ В ЛОНДОНЕ

ПРАЗДНИК НАРОДОВ В ЛОНДОНЕ.

(В память установления французской республики 22 сентября 1792 г.)

«Какое нам дело до наций? Какое нам дело до французской республики? Разве нации не поняты нами уже давно, разве не указано нами каждой из них ее место, разве мы не записали немцев по теоретической части, французов по политической, а англичан по отделу гражданской общественности? И вдруг французская республика! Для чего отмечать празднеством ступень развития, которая давно превзойдена, которая уничтожена собственными последствиями? Если вы хотите сообщить нам что-нибудь об Англии, расскажите лучше о новейшей фазе, в которую вступил социалистический принцип; расскажите нам, все ли еще односторонний английский социализм не понимает, насколько он ниже нашей принципиальной высоты, не понимает, что он может претендовать лишь на то, чтобы быть только одним *моментом*, и к тому же уже превзойденным моментом развития!»

Успокойся, милая Германия! Нации и французская республика очень близко нас касаются.

Братанье народов, которое повсюду выставляется теперь крайней пролетарской партией в противовес как старому, унаследованному от предков, национальному эгоизму, так и лицемерному частно-эгоистическому космополитизму свободной торговли, гораздо ценнее всех немецких теорий об истинном социализме.

Братанье народов под знаменем *современной демократии*, которая, выйдя из французской революции, развилась в французский коммунизм и английский чартизм, показывает, что массы и их представители знают лучше, о чем прозвонил колокол, чем немецкая теория.

«Но об этом и речи нет! Кто же говорит о братстве, которое *и т. д.*, о демократии, которая *и пр.*? Мы говорим о братстве народов самом по себе, о братстве народов и демократии без всяких определений, просто о демократии, — о демократии *как таковой*. Разве вы совершенно забыли своего Гегеля?»

Мы не римляне, мы курим табак. Мы не говорим об имеющем *сейчас* место антинациональном движении, мы говорим об уничтожении национальностей, совершающемся посредством чистой мысли — при помощи фантазии, за недостатком фактов — в нашей *голове*. Мы не говорим о *действительной* демократии, в объятия которой стремится вся Европа и которая является совершенно особенной демократией, отличной от всех ранее бывших; мы говорим о совершенно другой демократии, составляющей нечто среднее между греческой, римской, американской и французской демократией, словом — о *понятии* демократии. Мы не говорим о плохих и преходящих *вещах*, принадлежащих XIX столетию; мы говорим о категориях, которые вечны и которые существовали «раньше, чем выросли горы». Словом, мы говорим не о том, о чем идет речь, а о совершенно ином.

Коротко говоря: когда в настоящее время у англичан, у французов и у тех немцев, которые участвуют в практическом движении и не являются теоретиками, заходит речь о демократии, о братстве народов, то при этом мысль не остается исключительно в области политики. Подобные фантастические представления встречаются еще лишь у немецких теоретиков и у немногих иностранцев, которые не в счет. В действительности эти слова имеют теперь социальный смысл, в котором тает их политическое значение. Уже революция была чем-то совершенно иным, чем борьба за ту или иную государственную форму, как то часто еще воображают в Германии. Связь между большинством восстаний того времени и голодной нуждой; значение, которое имело снабжение провиантом столицы и распределение запасов уже начиная с 1789 г.; декретирование максимума цен, законы против скупщиков жизненных припасов; боевой клич революционных армий: *guerre aux palais, paix aux chaumières*; свидетельство карманьолы, по которой республиканец, на-ряду с *du fer* и *du souer*, должен иметь также *du pain*, и сотни других несомненных признаков доказывают, помимо строгого изучения фактов, что тогдашняя демократия была чем-то совершенно иным, чем простая политическая организация. Известно также и то, что конституция 1793 г. и террор исходили от той партии, которая опиралась на возмущенный пролетариат, что гибель Робеспьера означала победу буржуазии над пролетариатом, что заговор Бабефа сделал во имя равенства заключительные выводы из идей демократии 93 года, поскольку выводы эти возможны были тогда. Французская революция была социальным движением от начала до конца, и после нее чисто политическая демократия невозможна.

Демократия — это в настоящее время коммунизм. Другого

рода демократия может существовать еще только в головах теоретических ясновидцев, которым нет дела до действительных событий, для которых принципы не меняются благодаря людям и обстоятельствам, а сами себя развивают. Демократия сделалась пролетарским принципом, принципом масс. Массы могут более или менее ясно понимать это единственно правильное значение демократии, но и для всех в демократии заключено, по крайней мере, смутное чувство социального равноправия. Демократические массы можно причислить, не боясь ошибки, к боевым силам коммунизма. И когда пролетарские партии различных национальностей соединяются между собою, то они имеют полное основание написать на своем знамени слово «демократия», ибо, за исключением таких демократов, которых считать не приходится, все европейские демократы в 1846 г. являются более или менее сознательными коммунистами.

Точно так же коммунисты всех стран имеют полное право участвовать в празднике французской республики, как бы там «превоздана» она ни была. Во-первых, все народы, которые были достаточно глупы, чтобы позволить употребить себя для подавления революции, должны дать французам публичное удовлетворение, после того как они поняли, какую глупость совершили они в своей верно-подданности; во-вторых, все европейское социальное движение настоящего времени есть лишь второй акт революции, лишь подготовка к развязке той драмы, которая началась в 1789 г. в Париже, а теперь разыгрывается на сцене, охватившей всю Европу; в-третьих, в нашу трусливую, себялюбивую, попрошайническую буржуазную эпоху будет как раз своевременным напомнить о той великой године, когда целый народ на момент отбросил всякую трусость, всякое себялюбие, всякое попрошайничество; когда были люди, обладавшие мужеством беззакония, не отступавшие ни перед чем, — люди железной энергии, которым удалось добиться того, что, начиная с 31 мая 1793 г. до 26 июля 1794 г., ни один трус, ни один торгаш, ни один спекулянт, словом, ни один буржуа не решился показаться. Право же, в такое время, когда какой-нибудь Ротшильд оберегает европейский мир, *дядюшка Келлин* кричит о покровительственных пошлинах, Кобден о свободе торговли, а какой-нибудь Диргардт проповедует спасение грешного человечества при помощи союзов для улучшения положения трудящихся классов, — право же, необходимо напомнить о Марате и Дантоне, Сен-Жюсте и Бабефе, о торжестве победы при Жемаше и Флери. Если бы отзвуки этой могучей эпохи, этих железных характеров не проявлялись еще в наш торгашеский век, то, право же, человечество должно было бы

прийти в отчаяние и отдаться в руки *дядюшке* Кехлину, Кобдену или Диргардту.

Наконец, в настоящее время братство народов имеет, более чем когда бы то ни было, еще и чисто социальное значение. Призраки европейской республики, вечного мира при соответствующей политической организации, стали так же смешны, как фразы об объединении народов под эгидой всеобщей свободы торговли; и в то время как все сентиментальные химеры подобного рода совершенно теряют свой престиж, пролетарии всех стран, без всяких громких фраз, начинают *действительно брататься* под знаменем коммунистической демократии. И пролетарии одни только и в состоянии сделать это, ибо буржуазия имеет в каждой стране свои особые интересы, и так как эти интересы для нее выше всего, она никогда не может подняться выше национальности; ничего не сделают и ее двое-трое теоретиков со всеми своими прекрасными «принципами», ибо они спокойно оставляют существовать эти противоречивые интересы, как и вообще все существующее, и ограничиваются одними фразами. Пролетарии же во всех странах имеют одни и те же интересы, одного и того же врага; им предстоит одна и та же борьба; пролетарии в массе своей, уже в силу самих вещей, лишены национальных предрассудков, и все их образование и движение, по существу, гуманитарно и антинационально. Только пролетарии могут уничтожить национальность, только пробуждающийся пролетариат может установить братство между различными нациями.

Нижеследующие факты подтвердят все только-что сказанное мною.

Еще 10 августа с. г. в Лондоне было устроено празднество в честь тройной годовщины — годовщины революции 1792 г., провозглашения конституции 1793 г. и основания «демократической ассоциации» самой радикальной фракцией английской партии движения в 1838 — 1839 гг.

Эта самая радикальная фракция состояла из чартистов, из пролетариев, как это само собой понятно, но пролетариев, ясно видевших перед собой цель чартистского движения и стремившихся ускорить ее осуществление. Между тем как большинство чартистов в то время еще думало только о передаче государственной власти в руки рабочего класса и лишь немногие успели уже подумать и об использовании этой власти, члены названной ассоциации, игравшей в брожении того времени крупную роль, были единодушны в этом вопросе — это были прежде всего республиканцы, провозгласившие конституцию 93 года своим символом веры, отвергавшие всякое

объединение с буржуазией, в том числе и мелкой, и защищавшие взгляд, что угнетенный имеет право пользоваться в борьбе против угнетателя всеми средствами, которые тот пускает в ход против него. Но они не остановились и на этом: они были не только республиканцами, но и коммунистами, и притом неверующими коммунистами. Ассоциация распалась с наступлением революционного брожения 1838—1839 гг.; но ее деятельность не пропала даром: она сильно способствовала укреплению активности чартистского движения и развитию заложенных в нем коммунистических элементов. Уже на упомянутом праздновании 10 августа были высказаны как коммунистические, так и космополитические принципы, наряду с требованием политического равенства было выставлено требование равенства *социального*, и тост за демократов всех стран был принят с энтузиазмом.

Уже и прежде в Лондоне делались попытки объединить радикалов различных стран; эти попытки терпели крушение то из-за внутренних расколов среди английских демократов и из-за неосведомленности иностранцев в английских делах, то из-за принципиальных разногласий среди партийных вождей различных наций. Так велико препятствие к объединению, порожденное национальными различиями, что даже издавна живущие в Лондоне иностранцы, при всем их сочувствии к английской демократии, решительно ничего не знали о движении, происходившем у них на глазах, о действительном положении вещей: они смешивали радикальных буржуа с радикальными пролетариями и пытались дружественно объединить в одном и том же собрании самых отъявленных врагов. Отчасти это обстоятельство, отчасти национальное недоверие вызвали подобные же промахи со стороны англичан, — промахи тем более возможные, что успех таких переговоров по необходимости зависел от степени соглашения между немногими руководящими членами комитета, большей частью лично неизвестными между собой. При прежних попытках эти лица выбирались крайне неудачно, так что дело всякий раз весьма быстро замирало. Но потребность в таком братании ощущалась слишком живо. Каждый неудавшийся опыт только побуждал к новым усилиям. Когда одни из демократических лидеров в Лондоне теряли интерес к делу, на их место приходили другие; в прошлом августе снова произошло сближение, на этот раз не оставшееся бесплодным, и празднование 22 сентября, особо объявленное, было использовано для публичного оповещения о состоявшемся объединении живущих в Лондоне демократов всех стран.

На этом собрании присутствовали англичане, французы, немцы,

итальянцы, испанцы, поляки и швейцарцы. Венгрия и Турция тоже имели на собрании по одному человеку. Три великие нации цивилизованной Европы, — англичане, немцы и французы, — задавали тон и были представлены весьма достойным образом. Председателем был, конечно, англичанин, *Томас Купер*, «чартист», который за участие в восстании 1842 г. почти целых два года просидел в тюрьме, где написал эпическую поэму в стиле Чайльд-Гарольда, весьма восхваляемую английскими критиками. Главным оратором от англичан выступал на вечере *Джордж-Джулиан Гарни*, два последние года состоящий одним из редакторов «Полярной звезды» («Northern Star»). «Полярная звезда» — орган чартизма, основанный О'Коннором в 1837 г.; с тех пор как она редактируется совместно Дж. Гобсоном и Гарни, это во всех отношениях одна из лучших газет в Европе — я мог бы поставить рядом с ней только некоторые маленькие парижские рабочие газеты, в особенности «Единение» («Union»). Сам Гарни — настоящий пролетарий, с юности принимавший участие в движении, один из главных членов упомянутой выше демократической ассоциации 1838 — 1839 гг. (он председательствовал на празднестве 10 августа) и, наряду с Гобсоном, безусловно лучший английский писатель, что я при случае постараюсь доказать немцам. Гарни совершенно ясно представляет себе цели европейского движения и находится вполне à la hauteur des principes (на высоте принципов), хотя он ничего не знает о немецких теориях касательно истинного социализма. Ему принадлежит главная заслуга в деле устройства нынешнего космополитического празднества; он не щадил никаких усилий для объединения различных национальностей, для устранения недоразумений, для сглаживания личных разногласий.

Произнесенный Гарни тост гласил:

«Вечная память искренним и доблестным французским республиканцам 1792 г.! Пусть равенство, которого они добивались, ради которого они жили, трудились и умирали, воскреснет как можно скорее во Франции и распространит свое царство по всей Европе».

Гарни, встреченный дважды и трижды повторенной овацией, сказал:

«Было время, когда празднество, подобное настоящему, навлекло бы на нас не только презрение, насмешки, издевательство и преследование привилегированных классов, но и насилия обманутого и невежественного народа, — народа, который по указке своих попов и властителей считал французскую революцию чем-то ужас-

ным и адским, чем-то таким, о чем нельзя вспоминать без содрогания и говорить без отвращения. Вы, вероятно, помните, — по крайней мере, большинство из вас, — что еще совсем недавно всякий раз, когда в нашем отечестве выставлялось требование об отмене дурного закона или об издании хорошего, тотчас поднимался вой о «якобинцах». Было ли то требование парламентской реформы, сокращения налогов, национального воспитания или еще чего-нибудь, что пахло прогрессом, — всегда можно было быть уверенным, что «французская революция», «господство террора» и весь остальной кровавый кошмар сейчас же будут пущены в ход для запугивания взрослых детей в брюках и с бородами, еще не научившихся думать самостоятельно. (Смех и рукоплескания.) Это время миновало; но я все-таки еще не уверен, что мы уже научились понимать как следует историю великой революции. Мне не стоило бы никакого труда продекламировать, пользуясь настоящим случаем, несколько соблазнительных фраз о свободе, равенстве и человеческих правах, о коалиции европейских королей и о подвигах Питта и герцога Брауншвейгского; много мог бы я наговорить на эту тему, заслужить одобрение за свою будто бы крайне свободомыслящую речь и все-таки даже и не коснуться необходимого вопроса. Действительно великий вопрос, стоявший перед французской революцией, заключался в *уничтожении неравенства* и в создании таких учреждений, которые обеспечили бы французскому народу счастье, до сих пор никогда не бывшее уделом масс. Если мы будем испытывать деятелей революции на этом оселке, то легко найдем им правильную оценку. Подойдите, напр., к Лафайету, как к представителю конституционализма, и он, пожалуй, окажется самым честным и достойным человеком в своей партии. Мало было людей, пользовавшихся большей популярностью, чем Лафайет. Юношей он отправился в Америку и принял участие в американской борьбе против английской тирании. Когда американская независимость была добыта, он вернулся во Францию, и вскоре после этого мы видим его в первых рядах революции, начавшейся в его собственной стране. На склоне его жизни мы снова встречаем его как самого популярного человека во Франции, где после «трех дней» он становится настоящим диктатором, смецает и возводит на трон королей одним своим словом. Лафайет пользовался в Европе и Америке, может быть, большей любовью народа, чем кто бы то ни был из его современников, и эта любовь была бы им заслужена, если бы в своем повзнейшем поведении он остался верен своему первому революционному выступлению. Но Лафайет никогда не был другом равенства. («Внимание,

внимание!») Правда, он с самого начала отказался от своего титула, от своих феодальных преимуществ — и это было очень хорошо. Вождь национальной гвардии, кумир буржуазии, человек, пользовавшийся даже симпатиями рабочего класса, он некоторое время считался застрельщиком революции. Но он остановился тогда, когда нужно было идти вперед. Народ вскоре убедился, что разрушение Бастилии и отмена феодальных привилегий, унижение короля и аристократии не привели ни к чему, *кроме усиления власти буржуазии*. Но народ этим не удовлетворился. (Рукоплескания.) Он стал требовать свободы и прав для себя. *Он требовал того же, чего требуем и мы, — истинного равенства*. (Громкие рукоплескания.) Когда Лафайет увидел это, он стал консерватором, он перестал быть революционером. Это он предложил принять закон о военном положении, чтобы таким путем узаконить расстрел и избиение народа в случае возможных беспорядков, — и это в то время, когда народ страдал от жесточайшего голода; с помощью этого закона Лафайет сам руководил расправой с народом, когда 17 июля 1791 г. народ собрался на Марсовом поле, чтобы, в виду бегства короля в Варенн, подать Национальному собранию петицию против возвращения на престол этого мятежного главы государства. Позднее Лафайет посмел угрожать Парижу своим мечом, народным клубам — насильственным закрытием. После 10 августа он попытался двинуть своих солдат против Парижа, но они, более честные патриоты, чем он, отказались повиноваться, и тогда он бежал и отрекся от революции. И все-таки Лафайет был, вероятно, лучшим из конституционалистов. Но ни до него, ни до его партии нам в связи с нашим тостом нет никакого дела, ибо они даже и по имени не были республиканцами. Они делали вид, что признают суверенитет народа, а в то же время разделили народ на активных и пассивных граждан и предоставили право голоса только плательщикам налогов, которых они называли активными гражданами. Словом, Лафайет и конституционалисты были всего лишь вигами и если отличались, то лишь очень мало, от людей, водивших нас за нос с биллем о реформе. (Рукоплескания.) После них пришли жирондисты, которых обычно выдают за «искренних и доблестных республиканцев». Я не могу разделить этого взгляда. Мы, конечно, не можем отказать им в нашем восхищении их талантами, тем красноречием, которое отличало лидеров этой партии и к которому у одних, как у Ролана, присоединялась неподкупнейшая честность, у других, как у госпожи Ролан, героическая самоотверженность, а у третьих, как у Барбару, пламенный энтузиазм. И мы не можем, — я, по крайней мере, не могу, —

читать без глубокого волнения об ужасной преждевременной смерти госпожи Ролан или философа Кондорсе. Но при всем том жирондисты не были людьми, от которых народ мог ждать спасения от социального рабства. Что среди них были смелые люди, мы не сомневаемся ни на минуту; что они были искренни в своих убеждениях, мы допускаем. Что многие из них были более несведущи, чем виновны, мы готовы, пожалуй, признать — хотя бы только относительно тех, которые погибли; ибо если бы мы стали судить обо всей партии по тем, которые пережили режим так называемого террора, то мы должны были бы заключить, что более гнусной банды никогда не существовало. Эти оставшиеся в живых жирондисты помогли уничтожить конституцию 1793 г., ввели аристократическую конституцию 1795 г., организовали заговор совместно с другими аристократическими группами для искоренения истинных республиканцев и довели, наконец, Францию до военного деспотизма узурпатора Наполеона Бонапарта. («Внимание, внимание!») Красноречию жирондистов усердно расточались похвалы; но мы, непоколебимые демократы, не можем преклоняться перед ними только потому, что они были красноречивы: в противном случае мы должны были бы воздать величайшие почести продажному аристократу Мирабо. Когда восставший за свободу народ, разрывая оковы четырнадцативекового рабства, покидал свои жилища, чтобы раздавить заговорщиков внутри страны и иноземные армии на границах, он нуждался для своего самосохранения в чем-то большем, чем красноречивые тирады и красиво построенные теории Жиронды. «Хлеба, стали и равенства» — вот чего требовал народ (рукоплескания), — хлеба для своих голодающих семей, стали против когорт деспотизма, равенства — как цели своих усилий и награды за свои жертвы. (Громкие рукоплескания.) Жирондисты же смотрели на народ, выражаясь словами Томаса Карлейля, только как на «взрывчатую массу, с помощью которой можно разрушать Бастилии», которым можно пользоваться как орудием и понукать как рабами. Жирондисты колебались между королевской властью и демократией; они тщетно пытались путем сделки обмануть вечную справедливость. Они пали, и их падение было заслужено. Люди железной энергии раздавили их, народ смел их со своего пути. Из различных фракций партии Горы я нахожу достойными упоминания только Робеспьера и его друзей. (Громкие рукоплескания.) Масса Горы состояла из разбойников, которые думали только о том, чтобы захватить в свои руки добычу революции и нисколько не заботились о народе, который своими трудами, страданиями и мужеством

довел эту революцию до конца. Эти шкурники, некоторое время говорившие одним языком с друзьями равенства и боровшиеся вместе с ними против конституционалистов и Жиронды, показали свое истинное лицо заклятых врагов равенства, как только пришли к власти. Они-то свалили и убили Робеспьера и предали смерти Сен-Жюста, Кутона и остальных друзей этого неподкупного законодателя. Не довольствуясь тем, что они уничтожили друзей равенства, эти предатели-убийцы еще опозорили их имена самой низкой клеветой и не постеснялись обвинить свои жертвы в преступлениях, которые они сами совершали. Я знаю, что все еще считается дурным тоном смотреть на Робеспьера иначе, чем на чудовище, но я думаю, что недалек тот день, когда о характере этого необычайного человека будет господствовать совсем другое представление. Я не думаю обоготворять Робеспьера, выдавать его за какое-то совершенство; но он все-таки представляется мне одним из тех немногих революционных вождей, которые знали и употребляли правильные средства для искоренения политической и социальной несправедливости. (Громкие рукоплескания.) Я не буду, за недостатком времени, говорить о характере непреклонного Марата, о Сен-Жюсте, этом блестящем воплощении республиканского рыцарства; по той же причине я не буду останавливаться и на тех превосходных законодательных мероприятиях, которыми ознаменовалось энергичное господство Робеспьера. Повторяю, недалек тот день, когда ему будет воздано по справедливости. (Рукоплескания.) Для меня вернейшее свидетельство о подлинном характере Робеспьера заключается в том всеобщем сожалении, которое вызвала его смерть в переживших его искренних демократах — не исключая и тех, которые, не поняв его намерений, дали увлечь себя на путь борьбы с ним и способствовали его падению, но потом, когда было уже поздно, горько раскаялись в своем безумии. Одним из них был Бабеф, организатор знаменитого заговора, названного его именем. Этот заговор имел своей целью создание истинной республики, *в которой не должно было быть места своекорыстию индивидуализма* (рукоплескания), — *в которой должно было прекратиться существование частной собственности и денег, этого источника всех бедствий* (рукоплескания), — *в которой счастье всех должно было основываться на общем труде и равных наслаждениях для всех.* (Громкие рукоплескания.) Эти славные мужи преследовали свою славную цель до самой смерти. Бабеф и Дарте запечатали свои убеждения собственной кровью, Буонарроти пронес сквозь годы тюрьмы, нищеты и старости свою верность тем великим прин-

ципам, которые мы дерзаем провозгласить сегодня вечером. Затем я должен еще упомянуть о героических депутатах РOME, Субрани, Дюруа, Дюкенуа и их товарищах: присужденные к смерти аристократическими предателями Конвента, они в присутствии своих убийц и на зло им лишили себя жизни одним кинжалом, передавая его из рук в руки. На этом я закончу первую часть моего тоста. Вторая его часть потребует немногих слов с моей стороны, так как об этом лучше всего скажут присутствующие здесь французские демократы. Что принципы равенства воскреснут со славой, в этом нет никакого сомнения; да они уже и воскресли, и не только в форме республиканской программы, но и в форме коммунизма, ибо — насколько мне известно — вся Франция покрыта ныне коммунистическими обществами. Впрочем, говорить об этом подробнее я представляю моему другу д-ру Фонтену и его соотечественникам. Я очень рад, что эти достойные демократы находятся сейчас среди нас. Сегодня вечером они сумеют убедиться самолично в нелепости тирад французской военной партии против английского народа. (Рукоплескания.) Мы отбрасываем прочь всякие национальные антипатии; мы презираем, мы испытываем отвращение к таким варварским жупелам и приманкам, как «естественные враги», «наследственный враг» и «национальная слава». (Громкие рукоплескания.) Мы ненавидим все войны, кроме тех, которые народ вынужден вести против внутреннего угнетения или иноземного вторжения. (Рукоплескания.) Более того, *мы отбрасываем самое слово «иностранец» — отныне оно должно исчезнуть из нашего демократического словаря.* (Громкие рукоплескания.) К какой бы ветви европейской семьи мы ни принадлежали — к английской, французской, итальянской или немецкой, — нашим общим именем остается «молодая Европа», и под этим знаменем мы все вместе пойдем в бой против тирании и неравенства». (Продолжительная бурная овация.)

Затем один немецкий коммунист спел марсельезу, после чего *Вильгельм Вейтлинг* произнес второй тост:

«Да здравствует молодая Европа! Пусть демократы всех стран, отказавшись от ревности и национальных антипатий прошлого, объединятся в братскую фалангу для уничтожения тирании неравенства».

Вейтлинг был встречен с большим энтузиазмом. Недостаточно владея английским языком, он прочел следующую речь:

«Друзья! Настоящее собрание свидетельствует о том чувстве, которое горит в груди каждого человека, о чувстве всеобщего братства. Да, хотя благодаря условиям воспитания мы и употребляем

различные звуки для сообщения друг другу этого общего чувства, хотя нашему общению мешают различия языка, хотя тысячи предрассудков собираются и пускаются в ход нашими общими врагами, чтобы не дать развиться взаимному пониманию и всеобщему братству, — все же, несмотря на все эти препятствия, это могучее, любовное чувство остается неискоренимым (рукоплескания), — это чувство, которое влечет страдальца к товарищу его страданий, борца за лучшую жизнь — к его соратникам в борьбе. (Рукоплескания.)

Нашими соратниками были и те, чью революцию мы чествуем сегодня вечером; они одушевлены были теми же стремлениями, что соединяют и нас и, может быть, еще приведут нас к подобной же и, будем надеяться, более успешной борьбе. (Громкие рукоплескания.)

Во времена народных движений, когда привилегии наших отечественных врагов подвергаются большой опасности, эти враги стремятся направить предрассудки за пределы нашей естественной родины и внушить нам уверенность, что иностранцы враждебны нашим общим интересам. Какой обман! Когда мы спокойно размышляем об этом, мы очень скоро убеждаемся, что ближайшие враги находятся в нашей собственной среде. (Крики: «внимание!» и аплодисменты.)

Не внешний враг опасен нам, — этот несчастный внешний враг в таком же положении, как и мы; так же, как мы, он должен работать на тысячи никчемных бездельников; как мы, он поднимает оружие против других людей, потому что вынуждается к этому голодом и законом, потому что его натравливают на это его страсти, питаемые невежеством. Владыки народов говорят нам, что наши братья жестоки и хищны; но есть ли более алчные хищники, чем те, которые управляют нами, обучают нас искусству владеть оружием, натравливают нас друг на друга и руководят нами в войне? (Рукоплескания.)

Разве война действительно служит нашим общим интересам? Разве в интересах овец итти, под предводительством волков, против других овец, ведомых такими же волками? (Громкие рукоплескания.)

Именно они — наши самые хищные враги; они отняли у нас все, что нам принадлежало, и расточают наше добро в распутстве и наслаждениях. (Рукоплескания.)

Они отнимают у нас наше собственное добро, потому что все, что они тратят, произведено нами и должно бы принадлежать нам, производителям, нашим женам и детям, нашим старикам и больным. (Громкие рукоплескания.)

Но посмотрите, как своими хитрыми уловками они украли у нас все и передали наше достояние банде ленивых тунеядцев. (Рукоплескания.)

Возможно ли в таком случае, чтобы какой-нибудь иноземный враг ограбил нас больше, чем нас ограбили наши внутрен-

ние враги в нашем собственном доме? Возможно ли, чтобы иностранцы истребляли нас больше, чем наши бессердечные толстосумы: своей биржевой игрой и финансовыми спекуляциями, своей денежной системой и своими банкротствами, своими монополиями, церковными и земельными рентами, — всеми этими средствами вырывают они из наших рук предметы первой необходимости и обрекают на смерть миллионы наших трудящихся братьев, не оставляя им даже достаточно картофеля для поддержания жизни? (Громкие рукоплескания.) Не ясно ли поэтому, что те, кто являются всем благодаря деньгам и ничем без них, — истинные враги рабочих во всех странах и что нет среди людей других врагов человеческого рода, кроме врагов рабочих? (Рукоплескания.) И возможно ли после этого, что во время войны с каким-нибудь государством нас будут обкрадывать и убивать больше, чем обкрадывают и убивают уже сейчас, в так называемое мирное время? Неужели же мы будем поощрять национальные предрассудки, кровопролитие и разбой только ради военной славы? Но что мы выиграем от этой глупой славы? (Рукоплескания.) А что, если наш интерес и наша совесть вообще протестуют против нее? (Рукоплескания.) Не нам ли придется расплачиваться по ее счетам? (Рукоплескания.) Не мы ли должны будем трудиться и истекать кровью ради нее? (Новый взрыв рукоплесканий.) Какой еще интерес могут иметь для нас все эти международные грабежи и кровопролития, кроме одного: воспользовавшись обстоятельствами, переменить фронт и обратить свое оружие против грабителей и палачей — аристократии всех народов? (Восторженные одобрения.) Она, эта аристократия, и только она одна, систематически занимается грабежами и разбоем. Бедняки — только ее невольные и невежественные орудия, которые она набирает среди всех народов, и именно среди людей, наиболее зараженных национальными предрассудками, желающих видеть все народы под пятой у своего собственного народа. Но приведите этих людей сюда, на наше собрание, и они поймут друг друга, они подадут друг другу руку. Если бы перед какой-нибудь битвой защитники свободы могли обратиться с речью к своим братьям, то битва никогда бы не произошла, — вместо нее было бы собрание друзей, подобное нашему. О, если бы мы могли устроить хотя бы одно только такое собрание где-нибудь на поле битвы, — как быстро справились бы мы со всеми кровопийцами, которые теперь угнетают и разоряют нас! (Громкие рукоплескания.) Друзья, ваши приветствия — это выражения того общечеловеческого чувства, жар которого, сосредоточенный в фокусе всеобщего братства,

зажигает огонь энтузиазма; он скоро растопит все ледниковые горы, слишком долго разделявшие братьев». (Вейтлинг возвращается на свое место при несмолкаемых аплодисментах.)

После Вейтлинга выступил *д-р Беррье-Фонтен*. Беррье-Фонтен — старый республиканец, который уже в первые годы буржуазного господства в Париже принимал участие в *Обществе прав человека*, в 1834 г. был замешан в апрельский процесс, а в следующем году бежал из тюрьмы Сент-Пелажи вместе с остальными обвиняемыми (сравни Луи Блана, «История 10 лет»); в дальнейшем он эволюционировал вместе со всей революционной партией Франции и ныне находится в дружественных отношениях с отцом Кабэ. *Д-р Беррье-Фонтен* был встречен бурной овацией и сказал следующее:

«Граждане, моя речь по необходимости будет краткой, потому что я недостаточно владею английским языком. Мне доставляет невыразимое удовольствие присутствовать на этом торжестве, устроенном английскими депутатами в честь французской республики. Я всем сердцем разделяю благородные чувства, которые выразил господин Джулиан Гарни. Могу вас уверить, что французский народ и не думает считать английский народ своим врагом. Если иные французские журналисты пишут против английского правительства, то это не значит, что они пишут против английского народа. Правительство Англии ненавистно во всей Европе, потому что это не правительство английского народа, а правительство английской аристократии. (Рукоплескания.) Французские демократы, отнюдь не питая никакой вражды к английскому народу, желают, наоборот, побрататься с ним. (Громкие рукоплескания.) Республиканцы Франции боролись не за одну Францию, но за все человечество, — они стремились установить равенство и распространить его блага на весь мир. (Гром аплодисментов.) Они все человечество объявили своими братьями и вели борьбу только против аристократий других народов. (Рукоплескания.) Я уверяю вас, граждане, что принципы равенства уже воскресли к новой жизни. Коммунизм шествует вперед гигантскими шагами по всей Франции. Коммунистические ассоциации распространяются по всей стране, и я надеюсь, что мы скоро доживем до великой конфедерации демократий всех стран, которая обеспечит торжество республиканского коммунизма по всей Европе». (Д-р Беррье-Фонтен возвращается на свое место под шум аплодисментов.)

Затем был произнесен тост за «молодую Европу», встреченный тремя громогласными *ура* и «еще одним *ура*», а также тосты за Томаса Пена, за павших демократов всех стран, отдельно за демо-

кратов Англии, Шотландии и Ирландии, отдельно за высланных чартистов Фроста, Уильямса, Джонса и Эллиса, за О'Коннора, Денкомба и других пропагандистов хартии, а в заключение было провозглашено троекратное *ура* «Полярной звезде». Собравшиеся пропели демократические песни на всех языках (я не нахожу упоминания только о немецком), и праздник закончился в самом теплом братском настроении.

Так прошло это собрание, где было больше тысячи демократов всех стран, соединившихся, чтобы отпраздновать событие, казалось бы, совершенно чуждое всякому коммунизму: учреждение французской республики. Никаких мер не было принято для привлечения к участию определенных лиц; ничто не указывало, что на собрании речь будет идти о чем-нибудь другом, кроме демократии, как ее понимают лондонские чартисты. Мы можем поэтому считать, что большинство собрания правильно представляло массу лондонских пролетариев-чартистов. И вот это собрание приветствовало с единодушным энтузиазмом коммунистические принципы и даже самое слово «коммунизм». Чартистский митинг явился коммунистическим праздником, и — по признанию самих англичан — «такого энтузиазма, какой царил в тот вечер, в Лондоне не было уже много лет».

Не прав ли я, когда утверждаю, что в наши дни демократия и есть коммунизм?

Ф. ЭНГЕЛЬС

ФУРЬЕ О ТОРГОВЛЕ

[ПРЕДИСЛОВИЕ ЭНГЕЛЬСА]

Немцы начинают опошлять и коммунистическое движение. Как всегда, так и здесь последние и самые бездеятельные, они думают наверстать свою медлительность пренебрежением к своим предшественникам и философским апломбом. Едва только коммунизм появился в Германии, его захватывает целая стая спекулятивных голов, которые воображают, что совершили чудеса, облекая тезисы, ставшие уже во Франции и Англии тривиальными, в язык гегелевской логики, и преподносят миру эту новую мудрость как нечто небывалое, как «истинную немецкую теорию», чтобы затем вволю поиздеваться над «плохой практикой» и «вызывающими улыбку» социальными системами ограниченных французов и англичан. Эта всегда готовая немецкая теория имела бесконечное счастье понюхать гегелевской философии истории и быть введенной каким-нибудь высохшим берлинским профессором в схему вечных категорий, затем, быть может, перелистала Фейербаха, несколько немецких коммунистических статей и господина Штейна по вопросу о французском социализме; эта немецкая теория худшего сорта без всякого труда создала себе французский социализм и коммунизм по господину Штейну, определила ему подчиненное место, «преодолела» его, «подняла» его на «высшую ступень развития» всегда готовой «немецкой теории». Ей, конечно, и в голову не приходит хоть до некоторой степени познакомиться с предметом, подлежащим возведению на высшую ступень, заглянуть в сочинения Фурье, Сен-Симона, Оуэна и французских коммунистов, — для нее вполне достаточно тощих извлечений господина Штейна, чтобы прокламировать блестящую победу немецкой теории над жалкими потугами иностранцев.

Совершенно необходимо, в противовес этой комической спеси немецкой теории, прочесть немцам хоть раз лекцию обо всем том, чем они обязаны за границе, с тех пор как занимаются социальными вопросами. Среди всей той напыщенной фразеологии, которая теперь в немецкой литературе выдается за основные принципы истинного, чистого, немецкого, теоретического коммунизма и социализма,

нет ни единой идеи, которая бы выросла на немецкой почве. Что французы или англичане сказали уже на десять, на двадцать, даже на сорок лет раньше, — и сказали очень хорошо, очень ясно, очень красивым языком, — немцы, наконец, теперь узнали урывками, за последний год огегельянили или, в лучшем случае, еще раз открыли и опубликовали, как совершенно новое открытие, в гораздо худшей, более абстрактной форме. Я не делаю исключения для моих собственных работ. Для немцев характерна только скверная, абстрактная, невразумительная и превратная форма, в которой они выразили эти мысли. И как подобает истым теоретикам, они сочли достойным внимания у французов, — англичан они еще почти совсем не знают, — кроме *самых общих* принципов, лишь самое плохое и самое абстрактное, схематизацию будущего общества, *социальные системы*. Лучшую сторону, *критику существующего общества*, истинную основу, главную задачу всякого исследования социальных вопросов, они преспокойно отстранили. Нечего говорить, что единственного немца, который *действительно* что-то сделал, Вейтлинга, эти мудрые теоретики также совсем не понимают или относятся к нему с пренебрежением.

Я хочу прочесть этим мудрым господам маленькую главку из Фурье, которая может им послужить образцом. Правда, Фурье не исходил из гегелевской теории и поэтому, к сожалению, не мог прийти к познанию абсолютной истины и даже абсолютного социализма; правда, этот недостаток привел Фурье к замене абсолютного метода методом серий, к превращению моря в лимонад, к *conques boréale* и *australe*, к анти-льву и совокуплению планет. Но если даже так, то я все же предпочту вместе с веселым Фурье поверить во все эти чудеса, чем в абсолютное царство духа, где нет никакого лимонада, а также в тожество бытия и небытия и совокупление вечных категорий. Французский вздор весел, тогда как немецкий скучен и глубокомыслен. Но зато Фурье подверг существующие социальные отношения такой блестящей и остроумной критике, что ему охотно прощаешь его космологические фантазии, основанные тоже на гениальном миропонимании.

Сообщаемый здесь отрывок был найден среди литературного наследия Фурье и напечатан в первой книжке издаваемой фурьерястами с начала 1845 г. «*Фаланги*». Я опускаю то, что относится к положительной системе Фурье, и то, что, вообще, не представляет интереса, словом — свободно обращаюсь с текстом, что по отношению к заграничным социалистам представляется сплошь необходимым, чтобы их статьи, написанные с определенными целями, сделать

удобопонятными публике, которой эти цели чужды. Этот отрывок отнюдь не самое гениальное из того, что принадлежит перу Фурье, и не самое лучшее из того, что он написал о торговле, — и все-таки ни один немецкий социалист или коммунист, за исключением Вейтлинга, не написал еще чего-либо, что хотя бы даже в самой отдаленной степени могло бы сравняться с этим черновиком.

Чтобы сберечь немецкой публике труд чтения самой *«Фаланги»*, я должен заметить, что этот журнал — чистая денежная спекуляция фурьеристов, и помещенные в нем рукописи Фурье имеют очень различную ценность. Господа фурьеристы, издающие этот орган, онемечившиеся надутые теоретики, заменившие юмор, с которым их учитель разоблачал буржуазный мир, напыщенную, основательную, теоретическую торжественностью, были зато во Франции по заслугам осмеяны, но в Германии их ценят. Их изложение воображаемых успехов фурьеризма в первой книжке *«Фаланги»* могло бы привести в восторг профессора абсолютного метода.

Я начинаю свое извлечение тезисом, который уже был изложен в *«Теории четырех движений»*. Таких повторений в предлагаемом отрывке много, но я постараюсь ограничиться только самыми необходимыми.

ФУРЬЕ О ТОРГОВЛЕ.

I.

«Мы подходим теперь к самому чувствительному месту цивилизации; неприятная задача — подымать свой голос против глупости, которая в моде, и химер, принявших прямо эпидемический характер.

В настоящее время критикую нелепых сторон торговли можно навлечь на себя анафему совершенно так же, как в XII веке — критикой тирании пап и баронов. Если бы пришлось выбирать между двумя опасными ролями, то, мне кажется, было бы менее опасно уязвить какого-нибудь самодержца горькою правдой, чем оскорбить дух меркантилизма, который ныне деспотически царит над цивилизацией и даже над самодержцами.

И все-таки даже поверхностный анализ показывает, что наши коммерческие системы унижают и дезорганизуют цивилизацию и что в торговле, как и во всех других делах, мы благодаря сомнительным принципам все более и более попадаем в тупик.

Спор о торговле ведется едва полстолетия и породил уже тысячи томов, и все-таки инициаторы этого спора не замечали, что механизм торговли так устроен, что резко противоречит всякому здравому смыслу. Он подчинил все общество одному классу паразитических и непроизводительных агентов — классу купцов. Все главные классы общества, собственник,¹ крестьянин, ремесленник и даже правительство порабощены несущественным, придаточным классом, купцом; ему следовало бы находиться в их подчинении, быть их ответственным агентом, у них на службе и легко сменяемым, и, однако, он, по своему усмотрению, движет и тормозит все пружины обращения.

К другим заблуждениям, не в области торговли, общественное мнение и ученые цехи относятся уже более или менее критически; считается до известной степени общепризнанным, что философские системы являются опасными иллюзиями, что опыт опровергает

¹ Не следует забывать, что Фурье не был коммунистом.

наши претензии на совершенство, что наши теории свободы не уживаются с цивилизацией, что наши добродетели — социальные комедии, наши законодательства — лабиринты; спорный злободневный вопрос, идеология, вызывает даже шутки. Но коммерческая болтовня, с ее теориями торгового баланса, противовеса, равновесия, гарантии, стала алтарем, перед которым все склоняется. Эту иллюзию мы должны уничтожить.

Прежде всего нужно будет доказать, что наши торговые системы, к которым теперь относятся с тупым почитанием, находятся в полном противоречии с истиною, справедливостью, а стало быть и с единством.

Трудно доказать нашему веку, что именно та операция, которую он считает шедевром всякой премудрости, есть не что иное, как лежащая на всей его политике печать невежества. Взглянем лишь на известные уже результаты: морскую монополию, фискальную монополию, рост государственных долгов, ряд банкротств из-за бумажных денег, расцвет мошенничества во всех деловых отношениях. Мы теперь же можем заклеить механизм *свободной торговли*, т. е. *свободного обмана*, эту истинную промышленную анархию, эту чудовищную общественную силу.

Каким образом *самый живой* класс социального тела находит вящую защиту *«апостолов истины?»* Каким образом ученые, проповедующие презрение к низменному богатству, в наши дни прославляют только тот класс, который всеми средствами гонится за богатством, класс биржевых игроков и скупщиков? Раньше философы единогласно осуждали известные корпорации, с гибкою совестью утверждавшие, что «брать» и «красть» — разные вещи. Каким же образом те же самые философы стали теперь защитниками класса, утверждающего, гораздо более бессовестно, что барышничество — не обман, что объегоривание покупателя не есть обкрадывание, что ажиотаж и скупка ни в коем случае не равнозначны грабежу производительного класса, словом, что следует работать только из-за денег, отнюдь не из-за славы, ибо купцы припевают хором: «мы делаем дела не «славы ради!»¹ Нужно ли удивляться, что новейшие науки сбились с пути, когда они выступили в защиту людей, открыто исповедующих такие принципы.

Торговля имеет различные формы на различных ступенях социальной жизни; будучи ее фокусом, торговля существует, пока есть вообще налицо социальное состояние. Народ становится социальным

¹ Дословно то же заявляют немецкие купцы.

телом, образует общество с того момента, как начинает обменивать. Поэтому торговля существует уже *при диком состоянии*, когда носит форму прямого обмена. При патриархате она получает форму косвенного обращения; в *эпоху варварства* основу коммерческого метода образуют монополии, максимальные и регламентированные цены, принудительные правительственные реквизиции; в *цивилизованном* обществе — индивидуальная конкуренция и лживая и беспорядочная борьба.

О прямом обмене дикарей, не знающих денег, не приходится много говорить. Одному посчастливилось на охоте, и он обменивает штуку дичи на стрелы, заготовленные другим, который не был на охоте и нуждается в продовольствии. Такой процесс еще не торговля, это — обмен.

Второй способ — косвенное обращение, есть первоначальный вид торговли. Она осуществляется посредником, который *становится собственником того, что он не произвел и не собирается потребить*. Этот метод, как он ни плох, сколько он ни оставляет простора произволу, однако в высшей степени выгоден в следующих трех случаях:

1) в молодых странах, где существует только земледелие, без промышленности; в таком состоянии находятся сначала все колонии;

2) в бесплодных странах, как, напр., в Сибири и в африканских пустынях; купец, который борется с зноем и стужей, чтобы доставить в далекие страны нужные предметы, очень полезный человек;

3) в диких порабощенных странах, где бедуины грабят караваны, вымогают с купца выкуп и часто его убивают, — человек, идущий навстречу таким опасностям, чтобы доставить запасы в отдаленную страну, заслуживает всяческой защиты. Если такой купец разбогатеет, он того заслужил.

В этих трех случаях купцы — не биржевые игроки, не скупщики; они не перепродают, — один спекулирует другому, — предназначенные для потребления предметы. Прибыв в страну, они предлагают их открыто потребителю на базаре или на публичном рынке; они ускоряют промышленное развитие. Они хотят заработать — нет ничего более законного в цивилизованном мире; кто посеял, заслужил жатву. Но купцы очень редко довольствуются этой своей функцией; поодиночке или сообща они интригуют, чтобы тормозить обращение товаров и гнать вверх цены.

Торговля становится вредной с того момента, как посредники благодаря чрезмерному количеству становятся паразитами на социальном теле и, по соглашению, прячут товары, повышают их цены под предлогом искусственно вызванного недостатка предложения,

словом, обирают одновременно производителя и потребителя с помощью спекулятивных приемов, вместо того, чтобы служить обоим в качестве простого, открытого посредника. Такое открытое посредничество можно еще видеть на наших маленьких рынках в деревнях и городах. Кто покупает сотню телят или баранов, является полезным посредником для двадцати крестьян, которым в противном случае пришлось бы потерять целые рабочие дни, чтобы доставить их в город на рынок. Когда, по прибытии на место, он открыто выставляет на рынке свой скот на продажу, он оказывает этим точно так же услугу потребителям; если же он, помощью бог знает каких уловок, входит в стачку с другими «друзьями торговли», чтобы спрятать три четверти баранов, объявить мясникам, что бараны стали редкостью, что он может снабдить лишь немногих *друзей*, чтобы продать их под таким предлогом наполовину дороже, вызвать среди покупателей тревогу, затем начать понемногу выводить спрятанных баранов, продавать их, в связи с поднятой раньше тревогой, по вздутым ценам и таким образом собрать с потребителей высокий выкуп, — это не будет больше простое обращение, открытая бесхитростная выставка товара, это будет сложное обращение, с его бесконечно разнообразными ухищрениями, порождающее 36 характерных пороков нашей торговой системы и равносильное узаконенной монополии. Если хитростью завладеть всем продуктом, чтобы его удорожить, то такие интриги вызовут больше хищений, чем принудительная монополия.

Я не буду больше останавливаться на методе варварского периода. К нему относятся максимальные ставки, принудительные реквизиции и монополии, которые практикуются сплошь и рядом в цивилизованном обществе. Как я уже говорил в другом месте, различные методы действия отдельных периодов переходят один в другой; поэтому не следует удивляться, что цивилизация носит отдельные симптомы высших, как и низших ступеней развития. Таким образом, торговый механизм нашей цивилизации представляет амальгаму признаков всех периодов, в которой, однако, преобладают признаки, характерные для ступеней цивилизации, а эти последние еще гораздо более отрицательные, чем признаки варварского состояния, ибо наша торговля — не что иное, как организованное и легитимированное под личиной законности хищническое хозяйство, в котором барышники и посредники могут столкнуться, чтобы вызвать искусственное вздорожание всех жизненных припасов и так обобрать производителя и потребителя, чтобы наспех сколотить скандальные пятидесятимиллионные состояния. А владельцы этих миллионов

еще будут жаловаться, что торговля не пользуется покровительством, что купцы не могут существовать, что не принимаются никакие меры, что государство погибнет, если купец будет доведен до того, что не сможет заработать больше пятидесяти миллионов.

Вместе с тем, новая наука поучает нас, что этим людям следует дать полную свободу. Предоставьте купцам действовать, говорят нам; без этой свободы тот самый скупщик, который заработал только пятьдесят миллионов, сколотил бы, может быть, всего лишь один какой-нибудь миллион, и его почтенная семья была бы вынуждена ограничиться рентою в пятьдесят тысяч франков.

Отвратите от нас это, боги!

Презрение к торговле, чувство, присущее всем народам, господствовало у всех наций с установившеюся моральною репутацией, кроме нескольких прибрежных племен барышников, извлекавших пользу из коммерческих вымогательств. Афины, Тир и Карфаген, которые пользовались такого рода выгодами, не могли выразить им презрения; никто не станет осмеивать способы собственного обогащения, менее всего финансист станет издеваться над искусством приписывать в счете нули или забирать у противника деловые документы, ставить свою наличность вне пределов досягаемости, путив одновременно слух, что ее забрал противник.

На самом деле, как у древних народов, так и в новое время, торговля была презираема всеми почтенными классами. Как уважать насквозь мошенническую профессию, как уважать класс людей, которые на каждом шагу обманывают и этим «опрытным» искусством зарабатывают миллионы, когда честный земельный собственник, при всем своем богатом опыте, с трудом и напряжением едва добывает небольшой доход с своего земельного участка.

Однако, за последнее столетие, новая наука, именуемая экономией, вознесла на вершину почестей барышников, биржевиков, скупщиков, ростовщиков и банкротчиков, монополистов и торговых паразитов. Правительства, чья задолженность растет со дня на день, непрерывно изыскивающие способы, как бы занять денег, принуждены были замаскировать свое презрение и шадить этот класс меркантилистских пиявок, который держит под запором денежный ящик цивилизации и выкачивает все сокровища земледельческого и промышленного труда под предлогом их обслуживания. Нельзя отрицать, что торговля обеспечивает транспорт, продовольствие и распределение, но она это делает, как слуга, который производит фактически работу стоимостью 1 000 франков в год и зато крадет у своего

хозяина 10 000 франков, в десять крат больше того, что заработал.

Подобно тому как юный мот втайне презирает еврея, к которому еженедельно бегают, чтобы дать себя обирать, и все же постоянно очень вежливо ему кланяется, так современные правительства заключили с торговлей военное перемирие, полное видимого презрения, причем, однако, торговцы устраиваются тем лучше, что умеют смешаться в одну кучу с промышленниками, которых они же обирают. Экономисты приобрели в этом торговом хаосе рассадник новых догм, горнило систем, они опрокинули мораль и отказались от своих мечтаний об истине, чтобы посадить на трон своих любимцев, биржевых игроков и банкротов. Все ученые изощрались наперерыв в самоунижении. Сперва наука допустила в свой круг этих «друзей торговли», как себе равных, — Вольтер посвятил одну свою трагедию какому-то английскому купцу. В настоящее время биржевики хорошо бы посмеялись над ученым, который пожелал бы посвятить им драму! Ажиотаж снял маску, он не нуждается больше в фимиаме ученых; он хочет тайного, — *а скоро потребует официального, — участия в правительстве.* И ведь мы видели, как на Аахенском конгрессе не могли прийти ни к какому решению, пока не явились два банкира.

Экономические системы, как они ни воспевали золотого тельца торговли, не могли, однако, уничтожить инстинктивное презрение, которое питают нации к торговле. Она остается в презрении у знати, духовенства, собственника, юриста, ученого, ее презирают художник, солдат и всякий достойный уважения класс. Напрасно торговля им доказывала бесконечную цепью софизмов, что следует почитать пиявок ажиотажа, — к этому классу авантюристов сохраняется постоянно инстинктивное пренебрежение. Каждый уступает всепобеждающему догмату, и, однакоже, все продолжают втайне презирать гидру меркантилизма, которая несколько этим не смущается и шествует путем своих завоеваний.

Каким образом наш век, разоблачивший преступления стольких классов, даже федералистов, просуществовавших какой-нибудь месяц в 1815 г., этот век, не пощадивший в своем перечне преступлений ни королей, ни пап, не додумался ни разу разоблачить преступления купцов? И все же, писатели в один голос жалуются на недостаток материала. Чтобы показать им обилие этого материала, я подвергну здесь систематическому анализу только один из тридцати шести смертных грехов торговли в цивилизованном обществе. Вот эти тридцать шесть пороков нашей торговли при господстве индивидуальной конкуренции и хаотически-обманной борьбы.

Синоптическая таблица характерных черт торговли в цивилизованном обществе.

Узловые пункты: посредническая собственность и раздробленность сельского хозяйства:

- 1) Двусторонность торговли.
- 2) Произвольное определение стоимости.
- 3) Свобода обмана.
- 4) Недостаток солидарности, взаимной связанности.
- 5) Хищение, устранение капиталов.
- 6) Уменьшение заработной платы.
- 7) Искусственное закрытие источников снабжения.
- 8) Разорительный избыток.
- 9) Злонамеренное вмешательство.
- 10) Разрушительная политика.
- 11) Застой, или всеобщее отсутствие кредита (реакция, обратное отражение).
- 12) Фиктивные деньги.
- 13) Финансовый хаос.
- 14) Эпидемические преступления.
- 15) Обскурантизм.
- 16) Паразитизм.
- 17) Скупка.
- 18) Ажиотаж.
- 19) Ростовщичество.
- 20) Бесплодный труд.
- 21) Промышленные лотереи (азартные спекуляции).
- 22) Косвенные корпоративные монополии.
- 23) Фискальная монополия, вынужденная фальсификацией государственных регалий.
- 24) Экзотическая или колониальная монополия.
- 25) Морская монополия.
- 26) Феодалная, кастовая монополия.
- 27) Беспричинная провокация.
- 28) Убыток.
- 29) Подделка.
- 30) Разрушение здоровья.
- 31) Банкротство.
- 32) Контрабанда.
- 33) Морской разбой.
- 34) Максимальные цены и реквизиции
- 35) Спекулятивное рабство.
- 36) Всеобщий эгоизм.

Из этих тридцати шести особенностей мы рассмотрим подробно только одну, банкротство; предварительно я скажу еще несколько слов о некоторых других.

II.

Ложность экономических принципов обращения.

(Доказывается на примере трех особенностей торговли, обозначенных в таблице, как пункты 7, 8, 12: искусственное закрытие источников снабжения, разорительный избыток, фиктивные деньги.)

Наш век, столь плодovitый теориями промышленного движения, все еще не умеет отличать обращение от переполнения. Он смешивает непрерывное обращение с прерывистым, простое со сложным. Оставим, впрочем, эти сухие различия; пусть говорят факты, пусть они послужат нам основой для установления принципов, прямо противоположных принципам экономии.

Правительства, как и народы, согласны в том, что следует наказывать смертью подделывателей как денег, так и государственных бумаг. Осуждают на смертную казнь подделывателей банкнот и кредитных билетов. Очень мудрая мера предосторожности. *Но почему торговля пользуется этим правом подделки, за которую другие люди попадают на виселицу?*

Каждый выставленный купцом вексель таит в себе зародыш подделки, так как совершенно неизвестно, будет ли он когда-нибудь оплачен. Всякий, кто спекулирует на будущей несостоятельности, наводит обращение своими векселями, по которым и не думает когда-либо платить. Этим он фактически сфабриковал и распространил фальшивые деньги.

Могут возразить, что всякий иной пользуется тою же привилегией, — ведь и собственник, подобно купцу, может пускать в обращение векселя.

Это неверно. Собственник этого не может. Право есть только иллюзия, если его нельзя осуществлять; пример — конституционное право народа на суверенитет, пышная прерогатива, при которой плебей даже не в состоянии пообедать, когда у него в кармане нет ни одного су. И ведь очень далеко от притязания на народовластие до претензии на обед. Многие права существуют таким же точно образом, на бумаге, но не в действительности, и их предоставление является насмешкою над тем, кто не может даже обеспечить за собою права во сто крат меньшего значения.

Точно так же обстоит дело у собственника с выпуском векселей. Он имеет право подписывать векселя, как плебей — требовать суверенитета; но владеть правом и осуществлять его — две очень различные вещи. Никто не примет у собственника векселя без

обеспечения, к нему отнесутся в этом случае как к фальшивомонетчику. Потребуют закладной на совершенно свободную от долгов недвижимость, да в придачу еще ростовщических процентов. Такою ценою его векселя были бы акцептованы и при таком покрытии они стали бы деньгами с действительною стоимостью, а не фальшивыми деньгами, как векселя торгаша, который, в силу своего титула «друга торговли», находит пути пустить в обращение «хороших» векселей на миллион, не имея за душой, в качестве гарантии за этот миллион, и сотой его части, каких-нибудь 10 000 франков.

Как ловко дают себя надувать правительства, гарантируя купцу такую способность, на которую сами не претендуют! Купец, владея обеспечением в десять тысяч франков, выпускает векселей на целый миллион; в любой момент он получает на это право и полномочия; он имеет право пустить в оборот эту массу бумаг, и закон не в праве расследовать, как он помещает свой капитал, каким обеспечением он располагает. Фиск, представляющий, по-моему, десятимиллионную гарантию, имел бы в такой пропорции право на выпуск бумаг на один миллиард. Но если бы какое-нибудь правительство попыталось так поступить, не справившись с общественным мнением, не сделав мотивированного представления, оно разрушило бы свой кредит, оно подвергнуло бы свою страну политическим смутам; и все-таки оно бы сделало только то же самое, использовало бы ту же привилегию, которою злоупотребляют так много интриганов, зачастую не представляющих и сотой доли этих гарантий и совершенно не умеющих справиться со своими делами.

Скажут, что эти интриганы умеют уговорить дураков втеряться в их доверие; этим самым вводится в коммерческий принцип, что искусство одурачивать добродушных и доверчивых людей заслуживает всяческой защиты, причем эта защита должна быть ограничена купцами и не распространяется на правительство. Я не утверждаю, что это благородное искусство должно быть предоставлено обоим, наоборот, я думаю, что его следует запретить и купцам, не только правителям.

Из сказанного следует, что купец имеет возможность *выпускать фиктивные деньги в форме векселей* (двенадцатая особенность),—преступление, равнозначное подделке монеты, за что мошенники других классов идут на виселицу, — и что торговая система цивилизованного общества узаконяет и защищает *соревнование в обмане* (третья особенность).

На обвинение в подделке и на другие пункты обвинения возражают, что купцы необходимы для реализации обращения и что дела

станут невозможны, если связать агентов; что государство разрушит тогда государственный кредит и поставит на карту всю свою промышленность.

Совершенно верно, что торговля имеет свойство *сильнее зажимать нас в колодки, когда социальное тело начинает обнаруживать признаки сопротивления*. Как административная мера стесняет махинации торговли, так и, обратно, торговля ограничивает кредит, парализует обращение, и государство, желавшее устранить старый недуг, в конечном счете присоединяет к нему новые. Это влияние обозначено в таблице названием «обратного отражения» (одиннадцатая особенность).

Опираясь на эту опасность, утверждают: предоставьте поле действия купцам, их полная свобода обеспечивает обращение. В высшей степени ложный принцип, ибо именно эта полная свобода порождает все столь вредные для обращения махинации: ажиотаж, скупку, банкротство и т. п. Отсюда вытекают две дальнейшие особенности:

7) Искусственное закрытие источников снабжения.

8) Разорительный избыток.

Посмотрим, какое влияние имеют обе эти особенности на обращение.

Торговля не довольствуется тем, чтобы передать товары из рук производителя в руки потребителя, она интригует посредством скупки и биржевой спекуляции, чтобы вызвать искусственное вздорожание тех жизненных припасов, которых в данный момент не имеется в изобилии. В 1807 г. биржевой маневр повысил внезапно в мае месяце цену сахара на пять франков, а в июле тот же сахар упал до двух франков, хотя никакого нового привоза не было. Но ажиотажу был противопоставлен ложный слух, и таким путем сахар был низведен к действительной своей стоимости; интриги и искусственная паника, будто не будет больше подвоза, были устранены. Такая игра интриги и искусственной паники ведется ежедневно с каким-нибудь предметом продовольствия и *достигает своей цели*, причем редко существует действительный недостаток. В 1812 г., когда жатва была обеспечена и скупщики были обмануты в своих надеждах, из амбаров потекли огромные количества зерна и муки. Значит, никакого недостатка не было и не было абсолютно никакой опасности голода, если бы только эти жизненные припасы были разумно распределены. Но торговля имеет свойство, еще *до* наступления опасности, в предвидении ее возможности, прекращать подвоз, заstopоривать обращение, создавать панику и искусственную нужду.

То же явление имеет место и в случае избытка, когда торговля

тормозит подвоз из-за искусственно раздуваемого страха перед избытком. В первом случае она действует положительно — скупкою и задержкою жизненных припасов; во втором случае она действует отрицательно, скупая товары и понижая цены настолько, что крестьянин даже не может вернуть себе своих издержек производства. Отсюда вытекает восьмая особенность торговли — разорительный избыток.

Торговля отвечает, что ей незачем покупать, раз не предвидится прибыли, и что она не настолько безумна, чтобы перегрузить себя хлебом, когда не представляется абсолютно никакой вероятности надбавить на цену, тогда как она может с гораздо большею пользой вложить свои капиталы в такие товары, скупкою которых легче сократить предложение и увеличить прибыль.

Не правда ли, удобные и приятные принципы в социальной системе, где говорят только о взаимных гарантиях? Итак, торговля, когда ей только заблагорассудится, освобождается от обязанности служить общественному организму. Похоже на то, как если бы армии было позволено уклоняться от боя в момент опасности и нести службу, считаясь только со своими интересами, а не с интересами государства. Такова политика меркантилизма, так односторонне она определяет все обязательства.

В 1820 г. в разных провинциях, где цена в 4 франка покрывает только издержки производства, хлеб упал ниже трех франков. Этого бы не случилось, если бы французская торговля, — как бы это должно было быть при системе взаимности, приспособляющейся к интересам обеих сторон, — заранее закупила шестимесячное продовольствие для 30 млн населения. Эта резервная масса, извлеченная из обращения и запертая в амбарах, поддержала бы цену остального продукта, и крестьянин не был бы разорен обесценением своих припасов и невозможностью их продать. Но наша торговая система действует как раз наоборот; она усиливает гнет от избытка и ужас голода и, таким образом, действует разрушительно в обоих направлениях.

Я избрал восьмую особенность, разорительный избыток, чтобы показать, что существующий метод торговли таит в себе отрицательные, как и положительные пороки, и что он часто грешит невмешательством и неумением оказать в случае необходимости даже возможной для него услуги. Ибо, когда во время голода нужны 500 млн для закупки хлеба, то они сейчас же оказываются налицо; если же эта сумма нужна для принятия мер предосторожности, при наполнении амбаров во избежание избытка, то не найдется и

пятисот франков. Нет ни взаимности, ни гарантии в договоре, заключенном между социальным и торговым организмом. Торговый организм служит только своим собственным интересам в обществе, и в результате получается, что многочисленные применяемые им капиталы *похищены у промышленности, взятой в целом*. Это хищение я назвал в таблице (особенность пятая): «устранение капиталов».

Таким образом, на обоих полюсах торговли не существует ни малейших обязательств в отношении социального организма, который связан по рукам и ногам, отдан на произвол молоху и гарантирует последнему действительную власть над капиталами и жизненными припасами. Да, деспотическую власть! Столько ораторствовали против деспотизма и до сих пор не открыли действительного деспотизма, а именно *деспотизма торговли*, этого истинного сатрапа цивилизованного мира.

Из всего сказанного следует, что механизм цивилизации обеспечивает купцам полную безнаказанность за подделку денег, наказываемую у других классов смертью, и что эта безнаказанность мотивируется помощью, которую они будто оказывают обращению; на самом деле, однако, они ему в этой услуге отказывают: в положительном смысле — искусственным закрытием источников снабжения, в отрицательном — разорительным избытком.

К этим ложным результатам присоединяется еще отсутствие всяких принципов. Экономисты признаются, что их наука не имеет абсолютно никаких определенных принципов. И это, воистину, верх беспринципности — предоставить классу столь развращенных агентов, каковы купцы, полную свободу.

В результате всего этого получается, что коммерческое развитие протекает толчками, судорожно, с неожиданностями и всякого рода эксцессами, как это можно ежедневно наблюдать в современном торговом механизме, который имеет лишь прерывистое обращение, без правильных переходов, равновесия и гарантии. Замечательный результат такого беспорядка заключается в том, что народ решается упрекать правительство в финансовых злоупотреблениях, которых никогда не осмеливаются ставить в вину торговле. Пример — два банкротства: банкнот Ло и ассигнатов. Это не были внезапные банкротства, их приближение чувствовалось давно; можно было от них спастись своевременной частичной жертвой. Несмотря на это смягчающее обстоятельство, публика не знала пощады. Она справедливо объявила банкноты Ло и ассигнаты фальшивыми деньгами, вооруженным грабежом.

Но почему та же публика добродушно терпит со стороны купцов

такой же выпуск фальшивых денег, которого не прощает правительствам даже тогда, когда последние достаточно осторожны, чтобы подготовить к банкротству медленным обесценением, дающим владельцам бумаг возможность избежать краха? Такая возможность не существует для владельцев торговых бумаг. Банкротство настигает их, как удар грома. Человек засыпает сегодня с тремястами тысяч франков и просыпается завтра всего со ста тысячами из-за несостоятельности. Национальный Конвент подражал этому маневру в операции консолидирования трети номинальной стоимости ассигнаатов; ему неустанно ставилось это в укор как вполне доказанное воровство. И, однако, любому купцу предоставляют право совершать еще более разорительные хищения и, при объявлении несостоятельности, украсть две трети того, что он получил, между тем как Конвент не заплатил двух третей сумм, никогда им не полученных. Сколь возмутительны преступления торговли, если сравнить их с прочими, даже величайшими политическими мерзостями!

Дальнейший разбор покажет, что современная политика, предоставив торговлю купцам, совершенно свободным от всяких обязательств, тем самым пустила волка в овчарню и спровоцировала всякого рода разбой.

Перейдем теперь к банкротству, чтобы описать его несколько подробнее.

III.

ИЕРАРХИЯ БАНКРОТСТВА.

Когда преступление становится очень частым, к нему привыкают и становятся равнодушными зрителями его. В Италии или Испании смотрят очень хладнокровно, как убийца поражает кинжалом назначенную жертву и спасается в церковь, где находит безнаказанность. В Италии родители калечат своих детей, чтобы усовершенствовать их голос, и служители «бога мира» поощряют эту жестокость, чтобы получить хороших церковных певчих. Такие мерзости вызвали бы возмущение у всякой другой цивилизованной нации, — зато в ее среде существуют другие возмутительные обычаи, от которых у итальянца закипела бы кровь.

Если в пределах цивилизации у разных наций так различны обычаи и мнения, то как должны они быть отличны у народов, принадлежащих разным социальным эпохам, какими отвратительными должны будут показаться на высших социальных ступенях пороки, терпимые в цивилизованном обществе! Люди в будущем не в состоя-

нии будут поверить, что в странах, считающих себя благоустроенными, могли терпеть, хотя бы на один момент, такие мерзости, как банкротство.

Банкротство представляет собой самое утонченное и бесстыдное мошенничество, какое когда-либо существовало: оно обеспечивает каждому купцу возможность нагреть публику на определенную сумму, соответствующую его состоянию или кредиту, так что всякий богатый человек может сказать: «в 1808 г. я объявляю себя купцом; к такому-то дню 1810 г. я хочу заполучить в свое распоряжение столько-то чужих миллионов».

Оставим в стороне новый французский кодекс и его попытку преследовать банкротство по суду. Так как мнения об успехе этой попытки расходятся, и уже указывают пути обхода новых законов, то предоставим практике решение этого вопроса и пока положим в основу нашего рассуждения известные до настоящего времени факты; рассмотрим непорядки, являющиеся последствием философской системы и принципа: предоставьте купцам полную свободу, не требуя никакой гарантии за умелость, добросовестность и платежеспособность каждого отдельного купца.

Отсюда проистекает, на ряду с другими злоупотреблениями, банкротство, т. е. грабеж хуже уличного. Однако к нему привыкли и так хорошо его терпят, что даже признают еще *честные банкротства*, т. е. такие, при которых спекулянт крадет только половину.

Перейдем к детальному изображению этого малоизвестного у древних геройства. Оно с тех пор получило блестящее развитие. Оно дает аналитикам возможность наблюдать ряд стадий развития, которые свидетельствуют о прогрессе нашей способности к совершенствованию.

Иерархия банкротства. 31-я особенность. Преступления торговли. Свободная серия в трех классах, девяти родах, тридцати шести видах.

Правая, или восходящая, ветвь. — Легкие разновидности.

1. Невинные.

- 1) Детское банкротство.
- 2) Отчаянное банкротство.
- 3) Замаскированное банкротство.
- 4) Посмертное банкротство.

II. Почтенные.

- 5) Простецкое банкротство.
- 6) Сумасбродное банкротство.
- 7) Беспринципное банкротство.

III. Соблазнительные.

- 8) Милое банкротство.
- 9) Банкротство хорошего тона.
- 10) Галантное банкротство.
- 11) Банкротство из благоволения.
- 12) Сентиментальное банкротство.

Центр серии. — Грандиозные разновидности.

IV. Тактики.

- 13) Жирное банкротство.
- 14) Космополитическое банкротство.
- 15) Многообещающее банкротство.
- 16) Трансцендентное банкротство.
- 17) Постепенное банкротство.

V. Маневрирующие.

- 18) Банкротство беглым огнем.
- 19) Банкротство сомкнутой колонной.
- 20) Банкротство в походном порядке.
- 21) Банкротство рассыпным строем.

VI. Агитаторы.

- 22) Банкротство в большом стиле.
- 23) Широкое банкротство.
- 24) Банкротство Атиллы.

Левая, или нисходящая, ветвь. — Грязные разновидности.

VII. Коварные плуты.

- 25) Банкротство с целью обеспечения.
- 26) Банкротство вне ряда.
- 27) Банкротство crescendo (возрастающим темпом).
- 28) Ханжеское банкротство.

VIII. Мелюзга.

- 29) Банкротство фантазеров.
- 30) Банкротство инвалидов.
- 31) Банкротство от отчаяния.
- 32) Свинское банкротство.

IX. Фальшивые братья.

- 33) Мошенническое банкротство.
- 34) Злостное банкротство.
- 35) Банкротство наутек.
- 36) Комическое банкротство.

IV.

Восходящая ветвь банкротств.

Выступить, в очень развращенный и низменный век, против привычных пороков, напр. против банкротства, в тоне школьного учителя, значило бы выставить себя на всеобщее осмеяние. Гораздо разумнее будет настроиться соответственно господствующему тону и рассматривать социальные преступления с их забавной стороны. Итак, я докажу, что банкротство — еще гораздо более потешное мошенничество, чем полагают его приспешники и защитники, которые в его меркантилистских грабежах видят лишь милые пустиачки.

Все на свете относительно в пороках и добродетелях. И разбойники имеют свои понятия о справедливости и чести. Не следует поэтому удивляться, что банкроты имеют свои принципы и различаются по степени подлости, что я и положил в основу своей таблицы. По обычному правилу, я подразделил ее на три отдела, из коих первый заключает в себе легкие, грациозные оттенки, второй — внушительные, возвышенные характеры, третий — посредственные, низменные разновидности. Откроем обозрение с правого крыла.

Невинные.

1) *Детское банкротство*, это — банкротство желторотого юнца, который дебютирует в своей карьере и необдуманно, без подготовительной тактики выкидывает коленца, объявляет себя несостоятельным должником. Нотариус быстро приводит дело в порядок. Он изображает его как юношескую глупость и говорит: «Юность рассчитывает на вашу снисходительность, господа кредиторы». Досадная история разрешается всеобщим весельем, банкротства таких юнцов всегда разнообразятся забавными инцидентами: одураченные ростовщики, мистифицированные скряги и т. д.

Несостоятельность этого рода изобилует всякими мошенничествами; сокрытие товаров, скандальные займы, обкрадывание родных, соседей, все смывается защитой какого-нибудь кума, который заявляет обозленным кредиторам: «Чего вы хотите? Это — ребенок, не имеющий понятия о деле, приходится смотреть сквозь пальцы, со временем он еще станет на ноги».

Детские банкроты имеют на своей стороне большую поддержку — насмешку. В торговом деле много зубоскальства. Публика гораздо более склонна высмеять одураченных, чем осуждать мошенников,

и если несостоятельный должник имеет на своей стороне насмешников, то он может быть уверен, что большинство его кредиторов сдадутся, и буря разрешится благополучно.

2) *Отчаянное банкротство* — свойственно некоторым начинающим людям, закусившим удила, хозяйствующим и спекулирующим сломя голову; они теряют громадные деньги, разыгрывают большого барина, чтобы добиться натиском временного кредита, который они обеспечивают за собой маленькими тайными деяниями. Раз кнувшись в спекуляцию, они делают промах за промахом и заканчивают обычно крахом. Дело извиняют как грязную пачкотню, и оно легко устраивается, ибо дает пищу насмешке, как в первом случае.

Такие сорви-головы во Франции встречаются очень часто и получают здесь почетный титул спекулянтов. Они ведут очень верную игру, настолько ускоряя развязку, что выкидывают свое колечко в тот момент, когда окружающие полагали, что они только начинают входить в азарт, когда всякий дает им кредит на первое дело и про себя думает: «не кувырнется же он в первый же год, с места в карьер».

3) *Замаскированное банкротство*, под сурдинку, такое, при котором находящийся в затруднении должник предлагает «маленькое регулирование», скидку в 25% или покрытие товарами, расцененными с прибавкой в 25%. Посредник разъясняет кредиторам, что это для них очень выгодно, ибо если теснить имярека и довести его до объявления несостоятельности, то это пахнет потерей минимум в 50%.

В торговле очень принято опираться на такого рода проблематические расчеты. На каждом шагу попадаются мошенники, обокравшие вас на 30% и потом доказывающие вам, что вы заработали массу денег, так как они не накрыли вас на целых 50%. Другие утверждают, что терпят тяжелые убытки, так как зарабатывают на вас не более 40%, а на самом деле им следовало бы заработать 60%. Такая смешная манера считать — в торговле общепринята; полного успеха она достигает в банкротстве под сурдинку. Доказывают, что эта маленькая скидка в 25% — чистая прибыль по сравнению с теми 50%, которых бы стоило банкротство. Потрясенные силою подобной аргументации, кредиторы соглашаются на «маленькое регулирование». Кому причиталось 4 000 франков, получает 3 000; при этом говорится, что это не имеет ничего общего с несостоятельностью.

4) *Посмертное банкротство*, которое объявляется после смерти героя; им пользуются для защиты памяти покойника: «он надеялся, дескать, опять привести в порядок свои дела и, вне всякого сомне-

ния, почтил бы вас полною оплатою, если бы остался жив». Затем начинают славословить его отменные качества, сердечно оплакивают его бедных сирот. Не захотят же кредиторы беспокоить неутешную вдову! Особливо, если она красива, — это было бы окончательное варварство! Тем временем вдовица, при помощи нескольких доверенных лиц, произвела перед опечатанием изрядную утайку. Недочеты приписываются вине покойника, не имевшего-де времени привести дела в порядок, благо он не вернется, чтобы разоблачить это дельце. Если было 25% дефицита, его умеют довести до 50%. Было бы нелепостью ограничиться 25%, пока 50%-е банкротства считаются еще приличными, — особенно если это вина почтеннейшего покойника, компрометировать память которого было бы отвратительно.

Почтенные.

Описанные четыре вида принадлежат к разряду фиктивной невинности. Теперь мы выпустим на сцену действительную невинность. Было бы несправедливо заклеить всю массу несостоятельных должников за то, что девять десятых из них негодяи. Я приведу сейчас три класса, которые могут быть действительно оправданы. У нас впереди еще очень много виновных; поищем поэтому с самого начала хоть несколько честных людей среди этой братии, которая со времен революции так размножилась, что в некоторых городах уже не спрашивают, кто обанкротился, а кто *не* обанкротился.

5) *Простецкое банкротство* постигает несчастного должника, который не крадет ни гроша, все отдает кредиторам и без всякого обмана сдается на их милость или немилость. Остальные банкроты насмеются над ним и считают его простофилей, не умеющим выйти сухим из воды; и в самом деле, такой лойяльный человек недостойн нашего века непрерывного совершенствования.

6) *Сумасбродное банкротство* объявляет тот, кто, в отчаянии, считает себя обесщеченным и иногда стреляется или кидается в воду. Это человек, который отнюдь не на высоте положения, — честный человек в девятнадцатом веке, да еще в торговом деле!

Во всяком случае, я считаю своею прямою обязанностью сказать, что такие люди в области торговли еще попадаются, правда — очень редко, *rari nantes in gurgite vasto*.¹ Всякий им предсказывает их судьбу, — так как известно, что из девяти мошенников, бросившихся на торговлю, все девять находят свое счастье, между тем как из десяти честных людей девять разоряются.

¹ Редкие пловцы в безбрежной пучине.

7) *Беспринципное банкротство* объявляет простофиля, который допускает вмешательство юстиции, или постановления, позорящего его и отнимающего у него все до последней копейки, вместо того чтобы устроиться подобно большинству ловких людей, умеющих выйти из такого затруднительного положения с честью и выгодой. — Эти три добровольных рыцаря так недостойны всей честной братии, что я спешу их покинуть. Перейдем к ассортименту, более достойному внимания знатока.

Соблазнительные.

Почему бы банкротам не вводить других в соблазн, подобно тому, как распространяют соблазны другие порочные классы? Мы рассмотрим сейчас категорию, полную всяких прелестей и созданную для покорения всех сердец.

8) *Милое банкротство* устраивает сладкий, как мед, господинчик, который желает только добра своим кредиторам и был бы в отчаянии ввести их в расходы; он убеждает их согласиться на 50%, чтобы избежать вмешательства юстиции, которая поглотила бы все. Он божится и клянется, что относится к ним, как к друзьям, интересы которых ему дороже всего. Проникнутый благодарностью за оказанные ему дружеские услуги, он дрожит при мысли причинить им судебные издержки. Одни дают себя соблазнить мягкими словами и иными подвохами, а другие уступают из боязни перед все поглощающей юстицией.

9) *Банкротство хорошего тона* проводится людьми, принятыми в лучшем обществе, которые до последнего момента содержат свой дом на отличной ноге. Это — люди вполне *comme il faut*, у них много протекций, и если они дадут 60%, то легко получают согласие, особенно, если хозяйку и дочек дома можно пустить в ход как просительниц, в особо важных случаях — в очень прозрачном корсаже.

10) *Галантное банкротство* устраивают красивые женщины; неприлично жаловаться на это, прекрасный пол требует своей дани. Красивая женщина имеет свое дело, становится несостоятельным должником, обкрадывает вас на тысячу франков, и если вы ее шокируете, то это доказывает лишь, что у вас нет *savoir vivre*, и она в праве жаловаться на строптивых. Я однажды слышал, как одна из таких дам отзывалась о своем кредиторе: «Что за человек! Говорят, что он еще ворчит; право, я бы ему посоветовала пожалеть о своих пятидесяти ливдорах, мне следовало нагреть его вдвое!» У него с этой дамой были маленькие интимности, и она была в праве третировать его как неблагодарного.

11) *Банкротство из благоволения*; здесь идет речь о том, чтобы дать заработать кредиторам; как же это происходит? Несостоятельный должник ограничивается скромным грабежом, всего в 40%, а на остальную сумму дает в обеспечение очень солидный залог. Это такое счастье, что нотариус поздравляет собравшихся кредиторов с великолепным гешефтом, с «истинным подарком» фортуны. На десять тысяч франков потерять только четыре и шесть тысяч получить обратно, это настоящая прибыль. Кто не привык к торговле, не умел бы оценить это счастье; он требовал бы свои десять тысяч франков полностью и думал бы, что его обокрали на четыре тысячи. Что за неприличные манеры! Утверждать, что человек вас обкрадывает, когда он производит у вас учет лишь в 40% и поступает с вами во всем остальном, как друг!

12) *Сентиментальное банкротство* случается у людей известного сорта, которые своими речами трогают вас до глубины сердца и обливают кредитора такими потоками благородных чувств и добродетели, что он был бы варваром, если бы не сдался моментально, не почел бы себя счастливым оказать услугу таким славным людям, которые нежно любят всех тех, чьи деньги пускают по ветру. Эти люди платят великолепными аргументами и самыми лестными похвалами, они действуют на чувство кредитора, занимают его разговорами только об его и своих добродетелях; к концу беседы чувствуешь в себе массу добродетелей, которые с избытком покрывают похищенную сумму. Если у вас стало на несколько тысяч франков меньше, зато добродетелей прибавилось на много больше, — бесспорная прибыль для прекрасных душ.

Один из таких артистов сказал мне однажды: «мне было очень жаль господ N. N., это очень славные, очень почтенные люди» — и, милый парень, в доказательство своего уважения, их обокрал, с места в карьер, при первом же деле, с помощью преподнесенного им векселя. Получив эту сумму, он вступил с ними в сношения и через месяц объявил несостоятельность. Какая была для этих господ радость — получить его *уважение* как покрытие за свои десять тысяч франков!

Я сдержал свое слово; я обещал соблазнительное общество. Мы видели только дружеские отношения, благосклонность, хороший тон и нежные чувства у всех банкротов этой истинно милой галереи. Но если эти люди созданы покорять сердца, то другие вызовут восхищение, дадут пример блестящих порывов, возвышенных характеров, они являются героями своей группы.

V.

ЦЕНТР. — Грандиозные разновидности.

Мы переходим теперь к великим достижениям духа торговли, к грандиозным операциям, знаменующим прогресс века — возрождения и непрерывного совершенствования. Банкрот развернет здесь все свое мастерство и будет действовать по далеко вперед рассчитанным планам, разбор которых докажет мудрость принципа: «дайте купцам действовать, предоставьте им полную свободу для их возвышенных концепций обмана и грабежа».

Тактики.

13) *Жирное банкротство* свойственно спекулянтам высокого полета, обладающим гением торговли. Банкир Дорант имеет два миллиона и хочет возможно скорее какими-либо средствами сколотить состояние от четырех до пяти миллионов. На свой указанный капитал он получает восьмимиллионный кредит в векселях, товарах и пр. и может, следовательно, сделать ставку на десятимиллионный фонд. Он бросается в крупную спекуляцию, в игру товарами и государственными бумагами. Быть может, он к концу года потерял свои два миллиона, вместо того, чтобы удвоить их; вы считаете, что он разорился, — ничуть не бывало, он получит все равно эти четыре миллиона, как если бы дела его шли хорошо; ведь у него остаются те восемь миллионов, которые он заполучил, и с помощью «честного» банкротства он устраивается так, чтобы выплатить половину их в несколько лет. Так и выходит, что, потеряв два своих собственных миллиона, он оказывается владельцем похищенных у публики четырех миллионов. Какая это прекрасная вещь — свобода торговли! Теперь вы поняли, почему приходится ежедневно слышать о купце: «со времени его банкротства дела его очень хороши!»

Еще один шанс для банкрота: Дорант после утайки четырех миллионов сохраняет вполне свою честь и общественное уважение не как счастливый мошенник, а как несчастный купец. Разъясним это.

Дорант завоевал уже общественное мнение, когда обдумывал свое банкротство; его городские празднества, его поездки за город доставляли ему горячих приверженцев; золотая молодежь за него; красавицы соболезнуют его несчастью — несчастье в наши дни синоним банкротства; расхваливают его благородный характер, достойный лучшей участи. Послушать его апологетов — может показаться,

что банкрот хуже пострадал, чем те, чье состояние он растратил. Вся вина сваливается на политические события, тяжелые условия и прочий словесный арсенал, на который нотариусы такие мастера, чтобы сдержать атаку разгневанных кредиторов. После первого штурма Дорант пускает в ход несколько посредников, рассказывает своевременно некоторую сумму денег, и скоро общественное мнение так обработано, что всякого, кто бы выступил против Доранта, объявляют каннибалом. К тому же, те, кому он причинил наибольшие убытки, находятся на расстоянии ста или двухсот миль, в Гамбурге и Амстердаме; они со временем успокоятся, да они и не играют важной роли, их отдаленный ропот не влияет на общественное мнение Парижа. Кроме того, Дорант растратил лишь половину их денег, а обычай установил, что тот, кто украл только половину, больше несчастен, чем виновен; таким образом, Дорант тотчас очищен в общественном мнении. Через месяц общественное внимание отвлечено другими банкротствами, более сенсационными, при которых улетает в трубу от двух третей до трех четвертей. Новый ореол для Доранта, который растратил только половину; к тому же это уже старая, забытая история. Уже дом Доранта начинает вновь понемножку открываться для публики, его повар вновь достигает былого своего господства над душевным состоянием публики, и незамеченным замирает крик некоторых желчных кредиторов, которые не сочувствуют несчастью и не умеют считаться с хорошим обществом.

Так заканчивается, меньше чем в шесть месяцев, операция, при помощи которой Дорант и ему подобные похищают у публики миллионы, разоряют семьи, состояния которых имеют в своих руках, и ввергают честных купцов в несостоятельность, приравнивающую их к мошенникам. Банкротство есть единственное социальное преступление, распространяющееся эпидемически и покрывающее честного человека таким же повором, что и мошенника. Честный купец, затронутый несостоятельностью двадцати негодяев, бывает сам в конце концов принужден приостановить свои платежи.

Отсюда проистекает то, что банкроты-мошенники, т. е. девять десятых всей братии, выдают себя за честных людей, с которыми приключилось несчастье, и кричат хором, что они больше заслуживают сожаления, чем порицания. Послушать их — это все маленькие святые, совсем как каторжные на галерах, которые всегда утверждают, что ничего злого не сделали.

В противовес сказанному приверженцы свободной торговли будут говорить о репрессивных законах, о трибуналах. Да в самом деле! Трибуналы для людей, похищающих в один присест

несколько миллионов! Впрочем, поговорка, что мелких воров вешают, а крупных отпускают, к торговле не приложима, так как даже самый мелкий банкрот под защитой купцов спасается от суда.

14) *Космополитическое банкротство*. Это комбинация коммерческого духа с философским. Банкрот становится настоящим космополитом, когда, использовав одно государство, устраивает банкротство под ряд в нескольких других. Это верная спекуляция.

По прибытии в новую страну человека не знают, в случае надобности он меняет фамилию, как это делают евреи, и благодаря собранным при предыдущей несостоятельности капиталам он получает сейчас же кредит. Современной политике принадлежит блестящая идея предоставить общее управление продуктами промышленности людям, не скованным со своим отечеством какою-нибудь прочною связью, крупным земельным владением; как космополиты, они могут спекулировать под ряд на полдюжине дальнейших банкротств — в Париже, Лондоне, Гамбурге, Триесте, Неаполе и Кадиксе. Этого рода банкротство, в фокусе которого находится космополит, я изображаю в параграфе о беглом огне.

15) *Многообещающее банкротство* — оно появилось, собственно говоря, только со времени революции и существует едва полстолетия. Прежде молодые люди не дебютировали так рано в торговле, они никогда не становились шефами моложе тридцати лет. Теперь в восемнадцать лет они уже стоят во главе торгового дома и в двадцать лет могут уже проделать первое банкротство, которое дает им право на большие надежды в будущем. Есть такие, которые до тридцати лет провели уже три несостоятельности и не один раз съели деньги своих доверителей. Про них говорят: «Он очень молод для такой славы, но мы живем в век молодых людей».

16) *Трансцендентное банкротство* требует обширного плана, головокружительного полета, конторы с тридцатью или сорока служащими, многочисленных кораблей, колоссальных связей во всех странах; затем наступает внезапный крах, ужасное крушение, толчки которого отдаются во все четыре страны света, и хаос ликвидаций, около которых деловые люди кормятся десяток лет. Это операция, в которой гений меркантилизма разворачивается в полном своем блеске; она должна дать потерю, по крайней мере на три четверти, так как на этой грандиозной картине все должно быть в большом масштабе.

17) *Постепенное банкротство*. При мудром ведении своей операции, спекулянт может дойти до семи — восьми следующих одно за другим банкротств. В этом случае он должен повести дело со-

вершено иначе, чем тогда, когда рассчитывает на одно или два банкротства.

Принципы должны быть следующие:

1) При первой несостоятельности грабить умеренно. Довольно 50%, не следует с самого начала озлоблять людей, а то второе банкротство выйдет слишком затруднительным, если дискредитировать себя при первом опыте чрезмерною жадностью.

2) При втором банкротстве лишь очень мало, не больше 30%, чтобы доказать, что несостоятельный должник развился, что он оперирует уже искуснее и осторожнее, и что, когда он оправится от второго удара, он будет законченным купцом, достойным «другом торговли».

3) При третьей несостоятельности грабить во всю, по крайней мере 80%, оправдывая себя тем, что это не обыкновенный дефицит, а вызванный исключительным стечением обстоятельств; провести его с помощью нескольких критических временных обязательств, подчеркнуть свое хорошее поведение при втором банкротстве, чтобы убедить, что вся вина во внешних условиях.

4) При четвертом банкротстве грабить только 50%, чтобы доказать свою осторожность и свое умение держаться в должных границах, когда обстоятельства не вынуждают нарушить их.

5) При пятой несостоятельности можно уже дойти до 60%, потому что публика привыкла; 10% больше или меньше не портят подобной спекуляции, общественное мнение уже приучено и знает, что человек, проделавший четыре краха, проведет и пятый и шестой. Я знавал одного такого молодца, над которым после четвертой несостоятельности потешались, что он носит аббатскую шапку в знак набожности и добрых нравов; он этим не смущался и подготавливал пятое банкротство.

Пятое и шестое банкротства предоставляются *ad libitum*; ¹ их проделывают лишь при приближающейся старости и когда уже подумывают опочить на лаврах. Нет ничего легче, как оправдать шестое банкротство: человек уже слишком стар, чтобы измениться, никто больше не удивляется. Впрочем, ворчат немного на правительство, которое не хочет защищать торговлю и виновно в этих маленьких замешательствах честных в делах людей.

Не следует удивляться, если я здесь привожу несколько принципов для применения при банкротстве; это совершенно новое искусство, которое, подобно экономии, от которой оно произошло,

¹ по желанию.

не имеет еще твердых принципов, ни даже методической номенклатуры. Так, при постепенном банкротстве только первые четыре степени получили название.

Первую несостоятельность проделывает простой «рыцарь».

При второй он получает прозвище «принца».

При третьей — титул «короля».

При четвертой — «императора».

Для пятой, шестой, седьмой степени профессионалы еще не придумали названия. Истинный «друг торговли» должен возвыситься до пятой октавы. Чтобы быть «гармоничным» банкротом, нужно иметь за спиной семь «честных банкротств» с 50% убытка в среднем, а затем усиленное, полное банкротство как венец всего ряда, причем в этом случае позволено ограбить, по меньшей мере, на 80% в возмещение за умеренность, проявленную во всех предыдущих; ведь 50% — это лишь приличный тариф, совсем маленькая дань, не дающая никому права на порицание; это принятая ставка при несостоятельностях, твердая цена, в роде извозчичьей таксы или цены пирожного.

Маневрирующие.

В этом разделе мы рассмотрим эволюции масс, которые требуют взаимодействия равных банкротов на благо торговли и во славу великой истины. Эти коллективные маневры дадут нам четыре вида мастеров эволюции.

18) *Банкротство беглым огнем.* Оно вызывается обычно взаимными толчками, сплетением несостоятельств, влекущих за собою одна другую. Я опишу одно такое банкротство среднего типа, в буржуазном жанре, как наиболее удобопонятное для массы читателей. Как типичного для тактики беглым огнем, мы возьмем одного из тех космополитических мастеров, описание которых я отложил.

Иуда Искарриот приезжает во Францию с капиталом в 100 000 франков, которые он заработал первою своею несостоятельностью. Он устраивается в каком-нибудь городе, где имеет конкурентами шесть уважаемых и пользующихся кредитом домов. Чтобы отнять у них клиентуру и доброе имя, Искарриот сразу начинает с того, что продает товары по себестоимости — верное средство привлечь массу. Скоро конкуренты начинают его громко проклинать на все лады, но он и в ус себе не дует и продолжает продавать по собственной цене.

Народ в восторге: да здравствует конкуренция, да здравствуют евреи, да здравствует философия и братство! Все товары подешевели с появлением Искарриота, и публика заявляет его конкурентам: «Ми-

лостивые государи, это вы — подлинные евреи, вы хотите слишком много заработать, один Искарриот честный человек, он довольствуется скромным заработком, потому что не парадит с таким блеском, как вы». — Напрасны все представления старых домов, что Искарриот — переодетый мошенник, который рано или поздно лопнет; публика обвиняет их в зависти и клевете и все больше и больше бегаёт к сынам Израиля.

Расчет грабителя следующий: продавая по себестоимости, он теряет только проценты со своего капитала, пусть — 10 000 франков в год, зато образует себе значительный рынок для сбыта, создает себе в портовых городах имя крупного потребителя и, при краткосрочных платежах, получает большой кредит. Такой кунштштюк проводится два года, за которые Искарриот ничего не заработал, хотя продал массу товаров. Его приемы остаются скрытыми, потому что евреи имеют у себя только евреев-конторщиков, людей, которые являются тайными врагами всех наций и, конечно, не выдадут ни одного мошенничества одного из своих.

Когда все созрело, Искарриот пускает в ход весь свой кредит, дает громадные поручения во всех портовых городах, скупает товары на срок на сумму в 5—6 сотен тысяч франков. Он направляет свои товары за границу, а все наличие своего склада продает за бесценок. Когда все превращено в деньги, бравый Искарриот исчезает со своим портфелем и возвращается в Германию, куда направил свои купленные на срок товары, быстро их продает и оказывается в момент отъезда из Франции в четыре раз богаче, чем при приезде; он имеет 400 000 франков, и отправляется в Лондон или Ливорно, чтобы начать плести паутину для третьего банкротства.

Теперь вдруг падает завеса, и в городе, где он устроил свой эксперимент, приходят в себя. Убеждаются, как опасно допускать в торговлю евреев, не имеющих почвы бродяг. Но банкротство Искарриота только первый акт фарса; проследим за беглым огнем.

Искарриот имел шесть конкурентов: назовем их А, В, С, D, E, F.

«А» был уже давно в стесненных обстоятельствах и держался кое-как без средств благодаря своему доброму имени; но, потеряв с приездом Искарриота всю свою клиентуру, он мог выдержать гонку только один год, и, не созревший для этих новых философских систем, берущих бродяг под свое покровительство, «А» видит себя вынужденным преклониться перед тактикою Искарриота и *объявить банкротство*.

«В» выдержал удар дольше; он с самого начала уразумел мошенническую подоплеку Искарриота и ждал, пока пройдет буря, чтобы

восстановить свою клиентуру, захваченную жуликом Искарриотом. Но тем временем он запутывается в одно заграничное банкротство; этого достаточно, чтобы ускорить его крах; он надеялся выдержать два года, но уже на 15-й месяц вынужден объявить себя банкротом.

«С» был в компании с одним заграничным домом, который был разорен другим Искарриотом, — таковые имеются в каждом городе; «С» захвачен крахом своего компаньона, и после того как он в течение восемнадцати месяцев приносил жертвы, чтобы выдержать конкуренцию еврея-негодяя, он принужден теперь *объявить себя банкротом*.

«D» был больше с виду, чем на самом деле, добросовестным купцом. Он имеет еще возможность держаться, хотя уже 20 месяцев страдает от конкуренции Искарриота; но озлобленный причиненными ему убытками, он уступает соблазну порока, чему видит вокруг себя столько примеров. Он видит, что трое из его братии открыли поход, и ему придется примкнуть к делу четвертым под предлогом действительных или мнимых несчастий. Двадцатимесячная борьба с Искарриотом ему приелась, и он приходит к заключению, что не остается ничего умнее, как *объявить себя банкротом*.

«E» авансировал крупные суммы своим четверем, впадшим друг за другом в несостоятельность, коллегам; он считал их всех платежеспособными, какими они и были, пока маневр Искарриота не испортил их дела. «E» чувствует себя разоренным крахом этих четырех домов; к тому же он остался без клиентов; вся публика бежит к Искарриоту, который распродает товар по себестоимости. «E» остается без средств, кредит его разрушен; на него наседают, и, не будучи больше в состоянии выполнять свои обязательства, он кончает тем, что *объявляет себя банкротом*.

«F» имеет достаточно средств, но благодаря пяти предыдущим несостоятельствам, которые дают право заключить, что он скоро последует за ними, он потерял кредит во всех портовых городах. К тому же некоторые из несостоятельных должников, покончив соглашением, продают теперь свои товары за бесценок, чтобы быть в состоянии платить при наступлении первых сроков. Чтобы ускорить продажу, они теряют десятую долю стоимости и все-таки зарабатывают четыре десятых, потому что они сошлись на 50%. Этим «F» окончательно раздавлен, и ему не остается ничего другого, как последовать примеру конкурентов и *объявить себя банкротом*.

Итак, достаточно появиться какому-нибудь одному бродяге или еврею, чтобы дезорганизовать все купечество большого города и во-

влечь в преступление честнейших людей — ибо каждое банкротство в большей или меньшей степени преступление, как бы ни оправдывать его разными блестящими доводами, вроде тех, какими я расписал эти шесть банкротств; и во всех этих доводах почти никогда нет ни одного слова правды. Правда заключается в том, что всякий хватается с жадностью за возможность ненаказуемого воровства.

Временами беглый огонь действует рикошетом, на расстоянии, и поражает одновременно дюжину торговых домов в разных странах. Они имеют общие интересы, и крах главного дома взрывает все заинтересованные второстепенные дома, как падает ряд оловянных солдатиков, у которых взводный получил щелчок. Это — серьезная комбинация, достойная фигурировать среди больших маневров, и, во всяком случае, такое банкротство рикошетом, на расстоянии, должно будет образовать в более точной классификации отдельный род.

19) *Банкротство сомкнутой колонной* требует благоприятной конъюнктуры, которая служит оправданием и побуждает значительные массы купцов решиться на роковой прыжок. В этом случае они опираются друг на друга, спасаются своей массой, подобно отряду, который строится в сомкнутую колонну, чтобы штыками пробить себе дорогу. Так и банкроты должны, при благоприятных обстоятельствах, смыкать свои ряды, каждый день объявлять ряд несостоятельств и так быстро проводить их одну за другой, чтобы спутать общественное мнение и легко провести соглашения, ссылаясь на тяжелые времена. Этого рода банкротства повторяются в Лондоне периодически; и Париж сделал в 1800 г. прекрасный опыт банкротства сомкнутой колонной, который окончился очень счастливо для многих «друзей торговли».

20) *Банкротство в походном порядке*. Есть ряд несостоятельств, связанных между собою, но разражающихся через правильные двух-трехмесячные интервалы. В противоположность сомкнутым колоннам, когда несостоятельность следует одна за другою, день за днем, здесь приходится построиться в походный порядок, чтобы, объявить банкротство, когда подойдет очередь, в тот самый момент, когда предшественник заключил мировую. Напр., «А» сошелся с кредиторами окончательно через три месяца после банкротства, и моментально «В» должен объявить себя несостоятельным, ибо теперь посредники найдут публику расположенной и смогут сказать: «Это та же история, что и с «А», одна должна была повлечь за собой другую, нужно закончить банкротство такую же сделкой». Та же история с «С», который обанкротится через три месяца, затем с «D», «Е», «F»; если они сумеют как следует провести свою совместную

работу и соблюсти интервалы, они получают для всех одинаковое решение вопроса. Походный порядок — очень верный маневр при искусном руководстве; но он не подходит для всех обстоятельств, и лишь гений банкротства один может определить, в каких случаях он применим.

21) *Банкротство рассыпным строем* открывается робкими игроками, которые идут впереди большого движения и устраивают там и сям мелкие банкротства в своей мелочной торговле. Отсюда приходится заключить, что наступила тяжелая полоса и предстоит жаркая кампания. Действительно, вскоре начинает гроыхать тяжелая артиллерия, разражаются миллионные банкротства, которые долго занимают общественное внимание. Наконец, движение заканчивается арьергардною стрельбой мелких банкротиков, бакалейных торговцев маленьких городов.

Агитаторы.

Как! Неужели мало еще огорчения, и вы можете продемонстрировать нам картины еще хуже предыдущих?

Я показал только самых честных. Теперь мы приближаемся к нисходящей отрицательной ветви и можем здесь поместить банкротов, которые действуют по дальновидному плану, но пренебрегают моральными методами и компрометируют великолепную корпорацию.

22) *Банкротство в большом стиле* действует на все классы вплоть до совсем маленьких людей, прислуг и пр., которые откладывают свои мелкие сбережения у лицемерного благодетеля. Банкротство скоро распространяет свой грабеж на сотни земельных собственников, мелкоту средних классов и всякий доверчивый люд. Весь город оказывается запутанным в это дело. Вообще говоря, такого рода банкротство поражает в особенности неторговые слои общества и очень вредит корпорации, так как вызывает народ и мелкую буржуазию на размышления, отнюдь не лестные для честной братии купцов.

23) *Широкое банкротство* — дело какого-нибудь темного проходимца, которому удается без средств, без доверия кинуться в крупное дело, где он объявляет такое же огромное банкротство, как высокие и могущественные банкиры. Все спрашивают себя: как могло удалиться такому ничтожеству завязать столько сношений и организовать такой жирный банкрот?

Этот субъект — противоположность предыдущему; другим обра-

вом он достигает той же цели, а именно, возбуждает общественное мнение против махинаций купцов и нелепых законов, предоставляющих полную свободу этим торгашам.

24) *Банкротство Атиллы* возносит славу банкротов до небес и опустошает страну, как если бы по ней прошла целая орда вандалов. Я могу привести в этом жанре знаменитое банкротство, осуществленное в 1810 г. в Орлеане неким любителем Т. Он объявил несостоятельность с дефицитом в 10 млн, которые были распределены по злощастному Орлеану так мастерски, что город был буквально разгромлен. Все классы горожан были разорены. Беглецы разнесли вплоть до Лиона молву: «Орлеан уничтожен, все мы разорены, Т. ограбил всех дочиста». По подробным донесениям, он провел свой план таким образом, что оплел и ограбил все классы, от богатых капиталистов до бедных прислуг, сберегших за всю жизнь несколько франков, чтобы отдать их на хранение меркантилистскому торгашу, а затем дать ему украсть их, прикрываясь прекрасным принципом: «предоставьте купцам действовать, они отлично знают, что в их интересах».

Какой грабеж! Какое разнообразие преступлений в одной только отрасли коммерческих подвигов! Одной единственной, ибо не следует забывать, что банкротство — только тридцать первая особенность этой обманной торговли, для которой наука требует полной свободы под тем предлогом, что купцы знают отлично, что в их интересах. Да, они это знают слишком хорошо, но они знают слишком плохо, в чем заключается интерес государства и промышленности. Таким образом, мистифицирует нас наука с ее теорией абсолютной свободы купцов.

VI.

Нисходящая ветвь. — Грязные разновидности.

От изображения великих геройских подвигов мы перейдем к описанию более скромных трофеев. Не все величественно в банкротстве, подобно описанным выше трем категориям центра. Однако мы еще и в левой ветви соберем замечательную коллекцию банкротиков средней марки, людей, чьи буржуазные добродетели и пороки будут здоровее для наших глаз после ослепительного блеска столь многих героических дел; мы встретим еще компании, которые развеселят читателя, — особенно последняя, фальшивые братья, бросающие тень на воинство банкротов. — Начнем с более серьезной разновидности.

Коварные плуты.

25) *Банкротство с целью обеспечения* практикуется, чтобы возместить себе какой-нибудь убыток. Примерно, спекулянт проигрывает сегодня процесс, лишаящий его 100 000 франков; завтра он объявляет банкротство, приносящее ему 200 000. — Таким образом, вместо того, чтобы потерять спорную сумму, он ее выигрывает. Эта способность торговли вознаграждать себя за неудачи есть одно из прекраснейших ее свойств; она умеет извлечь пользу из всякой напасти на суше и на море. Судохозяин узнает о кораблекрушении, на следующий день он восстанавливает свои дела хорошим банкротством; такого рода банкротства проходят без ропота, ибо нотариус заявляет: «Это не его вина, обстоятельства принудили его к банкротству, его следует больше пожалеть, чем порицать».

На это землевладелец, которого вклад, таким образом, улетает в трубу, возразит: «Я не могу себя вознаградить, когда град или наводнение уничтожает мою жатву, мне не на кого переносить убыток». — Удивительный аргумент! Разве землевладельцы не знают, что, при существующем порядке вещей, они представляют собою подчиненный класс, зависимый от непроизводительной группы, именуемой купцами, которые вонзают свои когти во всякий продукт промышленности и вознаграждают себя за счет масс, как войско наемников, которое, за отсутствием врага, грабит собственных своих друзей и добрый народ? Таков купец, *истинный промышленный казак*, с девизом: «Я работаю не славы ради, мне нужно что-нибудь «поскоблить» для себя». Каждому купцу хочется «поскоблить», а если вздумают его поскоблить с помощью процесса или как-нибудь иначе, он непременно как-нибудь извернется и при помощи безубыточного банкротства поскоблит другого.

26) *Банкротство вне ряда* устраивает умник, который предусмотрел все случайности и отложил кое-что, с чем может противостоять бурям и укрощать строптивых; если он при своем банкротстве хочет заработать 200 000, он забирает 300 000, из которых одну треть употребляет на полезные цели, подарки и пр.; он умеет успокоить самых отчаянных крикунов, парализовать правосудие; кое-куда сунет малую толику денег, словом, дело его идет бойко, и банкротство в конце концов доставляет ему много друзей, получивших свою долю пирога и утверждающих, что он человек *comme il faut* и знает дело до тонкости.

27) *Банкротство crescendo* (возрастающим темпом) разыгрывает водевиль в нескольких актах с постепенно растущей выгодой. Сна-

чала говорят о маленьком замешательстве, вызванном трудным извлечением вложенных капиталов, и о необходимости уступить 30%, чтобы избежать краха. Кредиторы испытывают беспокойство и совещаются в тиши, так как дело может принять дурной оборот, и человека нужно поддержать. Однако через три месяца — новая тревога. Опять отправляются к кредиторам и говорят о возможности краха; признаются, что положение дел хуже, чем предполагалось, и что нужно согласиться на 50%. Некоторые кредиторы начинают сердиться, дело запутывается и объявляется несостоятельность; все так хорошо обставлено, что вместо 50% должно быть потеряно от 80 до 90%, и остаток может быть выплачен лишь через несколько лет. Но соглашение все еще может быть легко достигнуто, так как кредиторы, искусно обработанные и постепенно приученные к потере 30, а потом 50 и 70%, утомленные борьбою, подписывают и считают окончательно потерянным проклятое дело, в котором сначала говорилось о потере лишь 30%. Этот метод не из наихудших и может быть рекомендован тем спекулянтам, которые придают значение принципам.

28) *Ханжеское банкротство* — дело святоши, участвующего во всех братствах и несущего в процессиях кисть балдахина. Он легко находит кредит и вкладчиков и может устроить под сурдинку изрядное банкротство. Я видел таких, которые причиняли своим кредиторам убыток на 90%. Преимущество этого способа заключается в том, что банкрот находит еще достаточно людей, которые его оправдывают: «Ах, ведь это очень богобоязненный человек; если он не имел счастья в своих торговых делах, это происходит от того, что он пренебрегает благами этого мира». — Выезжают на его благочестии, чтобы ускорить соглашение, при котором благочестивый апостол сохраняет за собой изрядную толику земных благ с надеждою на блага мира потустороннего.

Мелюзга.

Во всякой профессии есть невежды, которые работают без правил и при наилучшем материале дают плохую работу. Точно так же среди банкротов попадаются головотяпы, которые умеют только превращать золото в медь и глупейшим образом разоряются там, где другой устроил бы себе великолепнейшее дело. Я приведу и кратко охарактеризую здесь четыре вида, ибо в этой действительно честной категории нет ничего назидательного. Я вывожу их на сцену только для полноты анализа.

29) *Банкротство фантазеров*, — банкротство одураченных, сби-

тых с толку модными разговорами, попытавшихся заняться торговлей, не зная ее махинаций, и, естественно, смегших себе крылья как мотыльки на свече. С 1789 г. было много крупных собственников, которым никоим образом не следовало путаться в этом хаосе, в котором они спустили богатое наследство и кончили банкротством, потеряв состояние и честь. Следует при этом заметить, что при банкротстве только честный человек потеряет свою честь, тогда как мошенник, знающий великие принципы торговли, сумеет так провести свою несостоятельность, что завоюет богатство и честь. Но большие баре, попавшие в осиное гнездо коммерции, хотели работать честным путем; они были окружены интригами, стали игрушкой в их руках и принуждены были кончить банкротством. Многие мелкие собственники впали в ту же ошибку. Охваченные меркантилистической горячкой, они покидали поле, продавали свой маленький земельный участок, чтобы открыть в городе лавчонку и пойти навстречу верному разорению.

30) *Банкротство инвалидов.* Это банкротство неисправимого, который хочет умереть с оружием в руках. Попадается не один, которому пора бы удалиться от дел, который, под бременем возраста, делает одни только промахи, не знает новейших усовершенствований, теряет на старости лет медленно накопленное состояние и так долго упрямо борется, пока повторные ошибки не сделают неизбежным его банкротство. Как назвать человека восьмидесяти лет, холостяка и обладателя двух миллионов, чего для старого бобыля, право, достаточно, который, тем не менее, продолжает торгашествовать,—в возрасте, когда бы ему следовало успокоиться и замаливать свои грехи. Если такой человек разоряется и теряет в восемьдесят лет свое блестящее состояние, это, поистине, фанатик меркантилизма. Таков был банкрот, инвалид, послуживший типом настоящего параграфа, ибо для каждого вида я могу продемонстрировать соответствующий тип, чтобы меня не обвинили в преувеличении. Впрочем, в каждом городе можно встретить много таких фанатиков, глубоких стариков, которые упорно продолжают свою торговлю и заслуживают в ней бесславную гибель, ибо в паши дни, когда все доводится до квинт-эссенции, в торговле, как и на войне, требуются молодые люди, воспитанные на новой тактике, и если банкротство считается у молодых людей ловкой игрой, то оно, во всяком случае, позорно для богатых стариков, которым уже давно следовало уйти в отставку.

31) *Банкротство от отчаяния,* вызванное грозными конкурентами, которые сознательно спешат навстречу своему разорению и

разоряются, лишь бы отнять у соперника малую крупицу прибыли. Попадается масса таких, которые работают в убыток, в надежде разорить конкурентов и остаться победителями на поле сражения. Такой хаос царит в особенности на мануфактурных ярмарках, как Beaucaine, где побежденные принуждены объявить себя несостоятельными.

32) *Свинское банкротство* устраивает простачок, который, вместо того чтобы действовать по правилам, разоряется вкупе с женой и детьми и вдобавок отдает себя в когти правосудия, на посмешище «друзьям торговли», питающим уважение только к сильным и правозверным банкротам. На коммерческом воровском жаргоне говорят о таком банкроте, пустившем по миру свою семью: «Это подлинное свинство». — Если бы он устроил жирное банкротство, его назвали бы ловким парнем, умной головой.

Фальшивые братья.

Я называю фальшивыми братьями тех, кто подвергает почтенную братию банкротов презрению публики. Одни из них вызывают возмущение, другие насмешку. Я не включаю в этот класс акул, грабящих миллионы, — эти всегда внушают почтение и не компрометируют братии; к крупному вору в цивилизованном обществе никогда не относились с презрением; мелкие воры — вот материал для виселицы, и когда они возбуждают общественное мнение против мошенничества и мелких банкротов, они становятся недостойными приема в корпорацию и заслуживают эпитета «фальшивые братья».

33) *Мошенническое банкротство* свойственно мелким прохвостам, которые, при своей несостоятельности, совершают такие возмутительные мелкие кражи, что соседи начинают говорить о необходимости приготовить для них веревку. Грабеж на 100 000 франков не вызвал бы таких толков, но кража 100 франков наводит их на мысль о виселице, что, впрочем, для воришки не опасно: орден банкротов не позволит тронуть своего члена, ибо правосудие скоро сочло бы себя в праве перейти от мелких воров к крупным, что было бы очень неудобно для тех, кто действовал согласно великим принципам и был принят в хорошее общество после «честного» банкротства.

34) При *банкротстве висельника* — герой, кроме грязных проделок, совершает еще «ученые» подвохи, напр. обкрадывает самого себя и потом пускает в ход сентиментальную тактику.

Скапен, содержатель уличного кабачка, устраивает мелкое банкротство, всего на 40 000 франков; он утаивает 30 000 франков,

чистую прибыль операции, и затем преподносит кредиторам остаток, 10 000 франков. На вопрос о недостающих 30 000 франков он отвечает, что не умеет вести книг, подобно крупным купцам, и что его постигло «несчастье». Вы думаете, что Скапена накажут, как мелкого воришку, укравшего всего лишь 30 000 франков? Но разве кредиторы не знают, что если правосудие вмешается в дело, то остальные 10 000 франков пойдут ему на один только завтрак. И когда эти 10 000 франков растают, то и тогда еще не будет ничего определенного. А если Скапена повесят, то придется, может быть, потратить дополнительно 10 000 франков, а то и больше. Лучше, во всяком случае, принять эти 10 000 франков, чем потерять их и еще столько же в придачу. Скапен, через посредство своего нотариуса, пускает в ход этот аргумент, и, таким образом, *сам банкрот грозит своим кредиторам правосудием*. И чего ради кредиторам Скапена возмущаться? Одни думают последовать его благородному примеру, другие его уже предупредили, и так как волки между собою не перегрызутся, Скапен скоро находит некоторое число согласных на его предложение; другие подписывают из боязни вмешательства правосудия, но некоторые строптивые говорят, что пожертвуют всем, лишь бы отправить мерзавца на галеры. Тогда Скапен посылает к ним жену и детей, которые с хорошо заученным воем молят о пощаде; таким путем Скапен и его нотариусы получают в несколько дней большинство подписей, после чего ярость колеблющихся, которые больше не нужны, вызывает только насмешку. Над Скапенем потешаются, он отвечает им вкрадчивыми речами, глубокими поклонами и после счастливого исхода первого банкротства обдумывает уже новое.

35) *Банкротство наутек* практикуется в больших городах мелкими арендаторами, которые бесшумно прогорают при приближении срока платежа и «в ночи и тумане» упрятывают свой жалкий скарб. Этот способ банкротства очень распространен среди ткачей шелка в Лионе; сюда нужно также причислить всех франтов обоого пола, которые себе заказывают в ресторане, у портного, у сапожника все самое лучшее и очень сговорчивы насчет цены, так как намерены заплатить красивыми словами и прогореть, как только кредиторы начнут надоедать.

Это — смешной вид банкротства, бросающий тень на корпорацию. Когда злословят о человеке, нагневшем двадцать мелких лавочников, привыкают легко злословить и о человеке *comme il faut*, разорившем свою несостоятельностью двадцать семейств, а такие критические вольности нужно устранить, чтобы не нару-

шить должного почета, воздаваемого честным банкротам, «друзьям торговли».

36) *Комическое банкротство* прodelьвает мелкий лавочник, который объявляет несостоятельность *in optima forma*,¹ совсем как великие и могущественные банкиры, и предлагает своим кредиторам не более пяти процентов. Такое банкротство устроил, например, в Лионе один актер, отличный комик и любимец публики. Он предложил своим кредиторам, с соблюдением всех нужных формальностей, *три процента*. Некоторые возмутились и хотели послать к нему судебного пристава, но он мистифицировал правосудие, подобно тому как делал это на сцене в «*Avocat Patelin*», и вся публика была на его стороне. Его банкротство было забавнейшим фарсом, давшим несколько великолепных сцен: сколько кредиторы ни неистовствовали, публика их высмеяла, как Гильома в «*Avocat Patelin*».

Я окончил свой беглый обзор. Однако мой список так не полон, что его следует рассматривать лишь как набросок, в котором всякий может добавлять недостающие типы. Таких типов масса, они замечательны. Еще совсем недавно парижские газеты приводили блестящий случай банкротства некоего Y, который с какими-нибудь 10 000 франков устроил широковещательную агентуру. Это было, кажется, «бюро возрождения торговли» или другой многообещающий титул в этом роде, с помощью чего он выудил у нескольких ротозеев миллион, оплаченный, как и следовало ожидать, хорошеньким банкротством. Словом, сопоставленно: мною число видов банкротства очень легко можно удвоить.

VII.

З а к л ю ч е н и е.

Если подумать, что банкротство только одна из тридцати шести особенностей торговли, то очень трудно себе объяснить, почему это столь плодородное поле преступлений, почему механизм торговли до сих пор не был подвергнут анализу в наш век, так решительно выступающий против преступлений всех классов общества, не останавливающийся перед обнародованием преступлений королей и пап.

Если прочесть этот синодик грязных купеческих проделок, то сейчас же является вопрос, каким образом век, называющий себя другом возвышенной истины, может взять под свое покровительство эту обманную торговлю под предлогом, что без торговли ведь нельзя

¹ по всем правилам.

обойтись, как будто из-за этого становятся приемлемы и обманы и грабежи, подобные тем, которые мы насчитали в одном лишь роде преступлений торговли,—в банкротстве.

Закончим, однако, нашу тему о банкротстве.

Пословица, что правосудие карает только мелких воришек, в области торговли оказывается неверной. Банкрот, даже самый мелкий, спасается от судебных преследований под защитою самих купцов. Мы это видели при рассмотрении последней категории, «фальшивых братьев», банкротов в миниатюре.

Напрасно было бы приводить случаи наказания нескольких злостных банкротов; девяносто девять проскакивают благополучно, и если сотый терпит крушение, то это, наверное, набитый дурак, который не умеет повести дело, ибо в наше время это такая верная операция, что уже давно забыли о старых мерах предосторожности. Прежде несостоятельный должник спасался в Триент, Льеж или Каруж. Но, со времен Возрождения, с 1789 г., этот обычай вышел из употребления. Всякий устраивает теперь банкротство в семейной обстановке. Спокойно готовят дело, а когда наступает крах, отправляются на месяц на дачу, к родным и друзьям, пока нотариус все приводит в порядок. Через несколько недель виновник торжества появляется вновь, и публика так привыкла к подобной истории, что рассматривает ее как милую шутку; это называют «разрешением от бремени» и говорят очень хладнокровно: «А, такой-то опять появился, он только что оправился после родов».

Я уже заметил, что банкротство — единственное социальное преступление, носящее эпидемический характер и увлекающее силой честного человека по путям мошенника. Если присоединить к банкротству ажиотаж и всякие иные мерзости, то станет ясно, что я был прав, утверждая, что никогда цивилизованное общество не совершало такой массы нелепостей, как с тех пор, как оно увлеклось торговлей. Философы, которые только и думают о всяких противовесах и гарантиях, ни разу не подумали о том, чтобы оставить социальному организму ту гарантию, которой правительства требуют, довольно предусмотрительно, от своих агентов фиска. Владетельный князь обеспечивает себе добросовестность своего сборщика податей денежным залогом и перспективу неизбежного наказания, если бы он осмелился играть на собранные общественные деньги или растратить их. Почему нам не случается видеть, чтобы сборщики общественных денег присвоили себе доход от пошлин и обратились к правительству с слезницею в таком, примерно, роде: «Тяжелые времена, критические обстоятельства, несчастные случаи и пр., словом, объявляю

банкротство, несостоятельность, называйте, как хотите. В вашей кассе должно быть десять миллионов; предлагаю вам половину, пять миллионов, с уплатою в течение пяти лет. Пожалейте несчастного сборщика; сохраните за мной ваше доверие и управление вашею кассою, иначе я не смогу вам уплатить и половины, которую сейчас предлагаю; но если вы оставите за мною должность и доходы, я постараюсь честно выполнить свои обязательства, т. е. угостить вас вторым банкротством, как только касса опять наполнится.

Такова вкратце суть всех письменных заявлений о несостоятельности. Если сборщики податей не следуют этому примеру, то потому, что, как им известно, никакая философская теория не может защитить их от наказания, от которого банкрот спасается под сенью принципа: «Предоставьте купцам полную свободу, не требуйте гарантии против их злоупотреблений».

[ПОСЛЕСЛОВИЕ ЭНГЕЛЬСА.]

Так пишет Фурье. Продолжение его статьи во второй книжке «Фаланги» заключает три главы об ажиотаже, скупке и паразитизме, которые были, однако, в большей своей части, напечатаны в «Четырех движениях». Частью по этой причине, частью потому, что помещенного выше отрывка вполне достаточно для моей цели, я здесь прерываю.

Ученые господа немцы, которые с таким усердием плавают по «безбрежному морю бездонных теорий» и охотятся прежде всего за «принципом социализма», могут взять себе пример с купеческого приказчика Фурье. Фурье не был философом, он питал сильную ненависть к философии, жестоко ее осмеивал в своих сочинениях и по этому поводу сказал массу вещей, которые нашим немецким «философам социализма» очень следовало бы принять к сердцу. Правда, они мне возразят, что и Фурье точно так же был «абстрактен», что со своими сериями он строил бога и мир вопреки Гегелю, но это их не спасает. Гениальные, несмотря ни на что, чудачества Фурье не оправдывают сухих, как подошва, так называемых построений сухой немецкой теории. Фурье строит себе будущее, после того как верно познал прошлое и современность; немецкая теория строит себе сначала по своему усмотрению прошлую историю, а затем предписывает точно так же и будущему, какое ему принять направление. Сравните, напр., эпохи социального движения (дикость, патриархат, варварство, цивилизацию) и их характеристику по Фурье с гегелевской абсолютной идеей, которая с таким трудом протискивается сквозь лабиринт истории, чтобы в конце концов, несмотря на *четыре* мировых государства, соорудить, охая и кряхтя, некоторую видимость трихотомии, — не говоря уже о после-гегелевских конструкциях. Ибо, если у Гегеля конструкция еще имеет смысл, хотя и противоположный его утверждениям, то у фабрикантов теорий развития после-гегелевского периода она лишена уже всякого смысла.

Немцам пора бы уже, наконец, перестать так много носиться со своей основательностью. С самым тощим материалом они в со-

стоянии построить вам все, что угодно, не только в данной области, но и в связи с мировой историей. На основании любого факта, заимствованного из третьеразрядного источника, о котором им доподлинно даже неизвестно, как он им преподнесен, они вам докажут, что он *должен* был произойти так и не иначе. Кто в Германии писал о социальных вопросах и не сказал о Фурье чего-нибудь такого, чем немецкая основательность основательнейшим образом не была бы посрамлена! Вот среди них г. Кайзер, который сейчас же использовал «отличное сочинение Л. Штейна» для всемирноисторической конструкции; жалко лишь, что все положенные в ее основу факты неверны. Что касается Фурье, то немецкая теория уже, по крайней мере, двадцать раз определяла его «место в развитии абсолютной идеи» — и всякий раз другое место — и всякий раз, что касается фактической стороны дела, немецкая теория ссылалась на г. Штейна или другие сомнительные источники. Поэтому-то и немецкий «абсолютный социализм» так ужасающе жалок. Немножко «человечности», по новейшей терминологии, немножко «реализации» этой человечности или, скорее, животности, кое-что о собственности из Прудона — из третьих или четвертых рук, — немного вздохов о пролетариате, организация труда, панацея ассоциаций для подъема низших классов народа рядом с безграничным невежеством в области политической экономии и подлинного обществензнания — вот и вся история, которая к тому же, благодаря теоретическому беспристрастию, «абсолютному покою мысли», теряет последнюю каплю крови, последний след энергии и силы. И с таким бедным арсеналом хотят революционизировать Германию, привести в движение пролетариат, побудить массы к мысли и действию?

Если бы наши немецкие полукоммунистические и коммунистические доценты задали себе труд немного познакомиться с главными произведениями Фурье, которые им так же легко было бы достать, как любую немецкую книгу, — какой бы они там обрели обильный источник материала для конструирования и прочих надобностей! Какая бы им там представилась масса новых идей, и нынче еще новых для Германии! Добрые люди до настоящего момента не знают, что поставить в упрек современному обществу, кроме положения пролетариата, да и об этом они умеют сказать не бог весть сколько. Конечно, положение пролетариата — центральный пункт, но разве им критика современного общества кончается? Фурье, который только еле касается этого пункта в позднейших сочинениях, дает доказательства, как, независимо от этого пункта, можно признать существующее общество абсолютно негодным, как можно только критикой

буржуазии и, в частности, ее внутренних взаимоотношений, независимо от ее позиции по отношению к пролетариату, прийти к необходимости социальной реорганизации. В этой критике Фурье донныне занимает единственное место. Фурье неумолимо вскрывает лицемерие так называемого «приличного» общества, противоречие между его теорией и его практикой, скуку его существования; он осмеивает его философию, его стремление к perfection de la perfectibilité perfectibilisante¹ и к auguste vérité,² его «чистую мораль», его однобокие социальные институты, клеймит его практику, милую коммерцию, которую он подвергает мастерской критике, его разнузданные наслаждения, — мнимый, в сущности проституционный брак, всеобщую путаницу. Обо всех этих сторонах существующего общества в Германии еще совсем не было речи. Правда, здесь говорили о свободе любви, о положении женщины, ее эмансипации; но чего добились? Несколько путаных фраз, несколько синих чулков, немного истерии и добрая доля немецкой семейной неурядицы, — гора родила мышь! Немцам следовало бы сперва познакомиться с социальным движением за границей в литературе и в жизни — к нему сводится вся история Англии и Франции за последние восемьдесят лет, английская промышленность, французская революция, — затем им следовало бы сделать столько же, сколько соседи сделали в литературе и в жизни, и *лишь тогда* будет уместно ставить такого рода праздные вопросы, как о больших или меньших заслугах различных наций. Но тогда не найдется больше аудитории для таких хитроумных исследований.

А пока самое лучшее было бы немцам прежде всего познакомиться с тем, что сделано иностранцами. Все появившиеся до сих пор об этом книги без исключения *плохи*. Такого рода краткие конспекты могут дать в лучшем случае только критику источников, но не самые источники. Последние частью редки и в Германии недоступны, частью слишком объемисты, частью смешаны с материалами, сохранившими лишь историческое и литературное значение и для немецкой публики в 1845 г. потерявшими всякий интерес. Чтобы сделать доступными эти источники, ценное содержание которых для Германии еще и поныне ново, необходимы выбор и обработка, как это делают со всем поступающим из-за границы материалом французы, и в этих делах гораздо более практичные, чем мы. Такая обра-

¹ Непереводимый каламбур, касающийся бывших тогда в моде философствований о способности человека к совершенствованию: усовершенствование совершенствующейся способности к совершенствованию.

² возвышенной истине. — *Прим. ред.*

ботка выдающейся социалистической иностранной литературы вскоре начнет выходить. Несколько немецких коммунистов, между ними лучшие умы движения, которые так же легко могли бы дать оригинальные труды, соединились для этого предприятия, которое, нужно надеяться, покажет мудрым немецким теоретикам, что вся их мудрость — устаревшая, уже давно по ту сторону Рейна и Ламанша прожеванная *pro et contra*. Когда они узнают, что было сделано *до* них, они найдут случай показать, что *они* умеют делать.

МАРКС-ЭНГЕЛЬС

МАНИФЕСТ ПРОТИВ КРИЗЕ

На собрании нижепоименованных коммунистов: Энгельса, Жиго, Гейльберга, Маркса, Зейлера, Вейтлинга, ф. Вестфалена и Вольфа была единогласно принята относительно нью-йоркской немецкой газеты «Volkstribun», redigiert von Hermann Kriege, следующая мотивированная в приложении резолюция, — за единственным исключением Вейтлинга, который голосовал против.

Резолюция.

1) Тенденция, проводимая в «Volkstribun» редактором Германом Криге, не является коммунистической.

2) Детски напыщенный способ, которым Криге проводит эту тенденцию, в высшей степени компрометирует коммунистическую партию как в Европе, так и в Америке, поскольку он считается литературным представителем немецкого коммунизма в Нью-Йорке.

3) Фантастические бредни, которые Криге проповедует в Нью-Йорке под именем «коммунизма», оказали бы в высшей степени деморализующее влияние на рабочих, если бы они были ими приняты.

4) Настоящая резолюция вместе с ее мотивировкой будет сообщена коммунистам в Германии, во Франции и в Англии.

5) Один экземпляр посылается редакции «Volkstribun» с требованием напечатать эту резолюцию вместе с ее мотивировкой в ближайших номерах.

Брюссель, 11 мая 1846.

*Энгельс, Фил. Жиго, Луи
Гейльберг, К. Маркс, Зей-
лер, ф.-Вестфален, Вольф.*

«НАРОДНЫЙ ТРИБУН».

Чем больше мы допускаем, чтобы «отменная пресса», а также приличная и неприличная, благожелательная и неблагожелательная, скромная и наглая буржуазия нападали на логические или принципиальные слабости отдельных коммунистов, с тем, чтобы недостатки отдельных лиц злорадно преподносить уважаемой публике в качестве недостатков, свойственных всем, в качестве слабостей всего направления, в качестве доказательства бессмысленности всего принципа, — тем решительнее должны мы отмежевываться от таких друзей, которые обнаруживают подобные слабости, в особенности если они выступают от лица партии. Разумеется, мы — члены партии; но именно потому мы не намерены снижать партию до уровня какой-то клики. Для нас важно только само дело, и поэтому партия значит для нас больше, чем лица, которые принадлежат или принадлежали к ней. А так как мы знаем, что каждый принцип и каждое направление становятся тем сильнее и неотразимее, чем беспощаднее освобождают их путем критики от ненужных наростов и экстравагантностей, подобно тому как дерево становится крепче и приносит лучшие плоды, когда во-время срезают его отсохшие ветви, то никакие личные соображения не удержат нас от изобличения и устранения экстравагантностей и сумасбродных идей отдельных лиц, принадлежащих к партии. Мы не опасаемся, что это поведет к нашему ослаблению; «отменная пресса» и благожелательная буржуазия, по крайней мере, должны будут признать, что мы, как и они, «строим на доверии», с той только разницей, что наше доверие направлено на наше дело, тогда как они свое доверие возлагают на отдельные лица.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ПРЕВРАЩЕНИЕ КОММУНИЗМА В БРЕД О ЛЮБВИ.

Самым первым защитником коммунизма является нежное сердце, содрогающееся при виде царящей нищеты, говорит Гудков. Во вся-

ком случае, любовь к людям, которую проповедует древнее христианство, считающееся поэтому некоторыми осуществлением коммунизма, составляет *один* из источников, из которого произошли идеи социальных реформ. Известно, что все прежние и многие новейшие социальные стремления имели христианскую, религиозную окраску; царство любви проповедывалось как противовес скверной действительности, ненависти. Вначале с этим можно было мириться. Но когда опыт показал, что за 1800 лет эта любовь не стала действенной, что она не в состоянии была преобразовать мир, основать свое царство, то отсюда сделали вывод, что эта любовь, которая не могла победить ненависть, не дает необходимой для социальных реформ энергичной действенной силы. Эта любовь расплывается в сентиментальных фразах, которые не могут устранить действительных, фактических отношений; она усыпляет человека той теплой сентиментальной размазней, которой она его кормит. Но нужда придает человеку силы; тот, кто должен рассчитывать на свои собственные силы, тот и пробивается. И поэтому вторым, более сильным источником социалистического мировоззрения, источником требования социальных реформ является действительное состояние этого мира, резкая противоположность в современном обществе между капиталом и трудом, между буржуазией и пролетариатом, в том виде, в котором они в наиболее развитой форме проявляются в промышленных сношениях. И эти условия громко вопиют: «Так дела не могут продолжаться, они должны измениться, и мы сами, мы, люди, должны их изменить». Эта железная необходимость содействует распространению социалистических стремлений и привлекает к ним активных приверженцев, и она скорее проложит путь социалистическим реформам посредством преобразования современных условий обмена, чем вся та любовь, которой пылают все горячие сердца в мире. Господин Криге, наоборот, слишком еще охвачен блаженством любви и хочет посредством любви лечить все социальные недуги и ошастливить человечество.

№ 13 «Народного трибуна» содержит статью, озаглавленную «К женщинам».

1) «Женщины — жрицы любви».

2) «Нас послала сюда любовь».

3) «Апостолы любви».

a) Беллетристическое интермеццо: «Пламенные взоры гуманности». «Звуки истины».

b) Лицемерная и невежественная *captatio* женской *benevolentiae*: «Даже в одежде королевы вы не предаете в себе женщину, —

не научились вы также спекулировать слезами несчастных. Вы слишком мягки, чтобы для вашей пользы заставлять голодать детей у матери».

4) «Будущность любимого ребенка».

5) «Возлюбленные сестры».

6) «О послушайте нас, вы предаете любовь, продолжая бездействовать».

7) «Любви».

8) «Любовью».

9) «Из-за любви».

10) «Священнейшее дело любви, о котором мы к вам взываем» (орем).

с) Беллетристико-библейская пошлость: «Женщине предопределено рождать сынов человеческих», что равносильно констатированию: мужчина не рождает детей.

11) «Из переполненного любовью сердца должен развиться святой дух общности».

d) Эпизодическое Ave Maria: «Благословенны, трижды благословенны вы, женщины, которым суждено дать первое освящение давно обетованному царству блаженства».

12) «Возлюбленные сестры».

13) «Вместо любви — ненависть». (Противоположение буржуазного и коммунистического общества.)

14) «О возлюбленные!»

15) «Возвести любовь на престол».

16) «Люди, работающие в атмосфере взаимной любви».

17) «Истинные жрицы любви».

e) Эстетическая вставка: «Если ваша трепетная душа еще не разучилась совершать прекрасных полетов» (кунстштюк, исполнимость которого еще нужно доказать).

18) «Мир любви».

19) «Царство ненависти и царство любви».

f) Женщинам преподносится наглая ложь: «Вот почему вы и в политике имеете веский голос. Стоит вам только воспользоваться своим влиянием, — и ветхое царство ненависти рухнет, чтобы освободить место новому царству любви».

g) Философский туш, цель которого — заглушить размышление: «Вечно радостная самоудовлетворенность человечества — вот конечная цель его деятельности».

20) «Ваша любовь». По этому поводу к женщинам предъявляется

требование, чтобы их любовь «не была слишком мала», чтобы она могла «с одинаковой преданностью охватить всех людей». Столь же неприличное, сколь и преувеличенное требование.

h) Стык: «Многие тысячи сирот отдаются в жертву гибельным обстоятельствам». В чем заключается здесь гибельность? В том ли, что «сироты» губят «обстоятельства», или же в том, что «обстоятельства» губят «сирот»?

i) Откровение новокоммунистической политики: «Мы не хотим нарушать ничьей частной собственности; то, что ростовщик уже имеет, он может сохранить; мы только хотим предупредить дальнейшее расхищение народного достояния и помешать капиталу отнимать у бедняков их законную собственность». Эта цель должна быть достигнута следующим образом: «Каждый бедняк немедленно превращается в полезного члена человеческого общества, как только ему предоставляют случай что-нибудь производить. (Согласно этому, никто не имеет большей заслуги перед «человеческим обществом», чем капиталисты, в том числе и нью-йоркские, против которых Криге так резко выступает.) «Но эта возможность обеспечена ему навсегда, если общество дает ему участок земли, на котором он может прокормить себя и свое семейство... Если эта огромная площадь (1 460 млн. акров северо-американских государственных земель) будет изъята из торговли и обеспечена за трудящимися в ограниченных количествах, то этим сразу будет положен конец бедности в Америке, так как каждый получит возможность с помощью своих рук построить себе неприкосновенный очаг». Можно было бы ожидать от Криге понимания того, что не во власти законодателя помешать посредством декретов дальнейшему превращению столь дорогого сердцу Криге патриархального состояния в промышленный строй или отбросить промышленные и торговые восточные штаты в условия патриархального варварства. Для того времени, когда наступит вышеописанное блаженство, Криге готовит следующие поучительные слова сельского священника:

«И тогда мы будем иметь возможность учить людей мирно жить друг с другом и взаимно помогать друг другу переносить тяжесть и труды жизни и —

21) построить на земле первые селения небесной *любви*» (по 160 акров каждое).

Криге заканчивает свое обращение к замужним женщинам следующим образом:

22) «Обращайтесь прежде всего к вашим *возлюбленным* мужьям; просите их отвернуться от старой политики... Покажите им их

детей, заклинаяте от имени их (неразумных) взяться за ум». А «незамужним женщинам» он говорит:

23) «Пусть *освобождение земли послужит для вас пробным камнем человеческой ценности ваших возлюбленных*».

24) «Не доверяйте их *любви*, покуда они не дадут обета верности всему человечеству». (Что это значит?)

Если незамужние женщины будут так вести себя, то он гарантирует им, что

25) «их дети будут такими же *любящими*, как и они (т. е. птицы небесные)», и заканчивает свою шарманку повторением об

26) «истинных жрицах любви», о «великом царстве общности» и об «освящении».

13-й номер «Народного трибуна», — «Ответ Золлте»:

27) «Он (великий дух общности), как огонь *любви*, горит в глазах брата».

28) «Что представляет собой женщина без мужчины, которого она может «любить», которому может отдать свою *трепетную* душу?»

29) «В чувстве *любви* обнять всех людей».

30) «Материнская *любовь*».

31) «*Любовь* к людям».

32) «Все первые звуки *любви*».

33) «Лучи *любви*».

к) Цель коммунизма в том, чтобы «всю жизнь человечества подчинять своим (чувствительного сердца) бдениям».

34) «Голос *любви* замолкает при звоне денег».

35) «*Любовью* и преданностью можно всего добиться».

Таким образом, в этом одном номере мы встречаем любовь — при плохом подсчете — в тридцати пяти видах.

В качестве образца проникновения Криге в коммунистическо-революционные движения и экономические условия может служить еще следующая фраза: «*Каждый* человек должен был бы в *каждом* ремесле приобрести по крайней мере такую сноровку, чтобы он — в случае, если бы какое-нибудь несчастье оторвало его от общества — мог обойтись некоторое время без посторонней помощи». Что и говорить, значительно легче изливать «любовь» и «преданность», чем разбираться в реальных обстоятельствах и практических вопросах!

Этому любовному бреду соответствует то, что Криге в ответе Золлте и в других местах изображает коммунизм как преисполненную любви противоположность эгоизма и сводит всемирноисторическое революционное движение к этим нескольким словам: любовь —

ненависть, коммунизм — эгоизм. Сюда же надо отнести также трусость, с которой он выше угрожает ростовщику тем, что обещает оставить ему то, чем он уже владеет, а ниже утверждает, что «не желает разрушать *интимность семейной жизни, любовь к родине, народность*», а хочет лишь «исполнять их». Это лицемерное изображение коммунизма не как разрушения, а как сохранения существующих плохих отношений и ими порожденных иллюзий буржуа, красной нитью проходит через все номера «Народного трибуна». Этому лицемерию соответствует позиция, которую Криге занял в спорах с политиками. Он считает преступлением против коммунизма (№ 10) писать против таких окатоличенных фантазеров, как Ламеннэ и Берне; таким образом, люди, как Прудон, Кабэ, Дезами, — одним словом, все французские коммунисты, — только люди, «называющие себя коммунистами». Что немецкие коммунисты так же далеко ушли от Берне, как французские от Ламеннэ, Криге мог бы уже узнать в Германии, в Брюсселе и Лондоне.

Пусть Криге подумает о том, какое расслабляющее влияние производит эта сентиментальность на оба пола и какую массовую истерию и малокровие она должна вызвать у «девственниц».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЭКОНОМИКА «НАРОДНОГО ТРИБУНА» И ЕГО ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЛОДОЙ АМЕРИКЕ.

Мы вполне признаем историческое право движения американских национал-реформистов. Мы знаем, что это движение стремится к такому результату, который, хотя и содействует в данный момент индустриализму современного буржуазного общества, может, однако, лишь явиться результатом пролетарского движения, покушением на земельную собственность вообще, а в частности, при существующих в Америке условиях, по своим собственным последствиям должен вести к коммунизму. Криге, который вместе с немецкими коммунистами в Нью-Йорке присоединился к движению против ренты, чрезвычайно много распространяется об этом незначительном факте, никогда не вдаваясь в анализ содержания движения, и доказывает этим, что он чрезвычайно мало осведомлен о связи, существующей между Молодой Америкой и американскими условиями. Мы приводим здесь еще один пример того восторженного пафоса о человечестве, с которым он говорит о чрезмерном по американскому масштабу парцеллировании землевладения.

В № 10, в статье «Чего мы хотим», сказано: «Американские национал-реформисты называют землю общим достоянием людей и хотят при посредстве законодательной власти народа принять меры для сохранения в виде неотъемлемой общественной собственности всего человечества 1 400 млн. акров земли, не попавшей еще в руки хищников-спекулянтов». Чтобы сохранить это «общественное достояние», это «неотчуждаемое общественное имущество», как общественное имущество всего человечества, он принимает план национал-реформистов: «предоставить каждому крестьянину, откуда бы он ни был родом, 160 акров американской земли для его пропитания», или, как сказано в № 14—«Ответ Конзе»: «Из этого нетронутого еще достояния народа никто не может получить во владение больше 160 акров, и эти последние лишь в том случае, если он сам обрабатывает их». Земля должна, таким образом, остаться «неотчуждаемой общественной собственностью» да еще «всего человечества» оттого, что немедленно приступают к ее разделению. И при этом Криге воображает, что посредством законов можно помешать необходимым результатам этого деления, концентрации, промышленному прогрессу и т. п. 160 акров земли для него остаются всегда одинаковой мерой, как будто стоимость такой площади земли не бывает различна в зависимости от ее качества. «Крестьяне» должны будут обменивать между собой и с другими если не свою землю, то продукты своей земли, и при этом тогда обнаружится, что один «крестьянин» даже и без капитала посредством своего труда и большей первоначальной производительности своих 160 акров превратит другого в своего работника. А в таком случае не все ли равно, попадает ли «земля» или продукты земли «в руки хищнических спекулянтов?» Отнесемся серьезно к подарку Криге человечеству. 1 400 млн. акров должны быть сохранены для «всего человечества в качестве неотчуждаемой общественной собственности». И при этом каждый крестьянин получает 160 акров. На основании этого можно вычислить, сколько составляет «все человечество» Криге — ровно $8\frac{3}{4}$ млн. «крестьян», которые в качестве отцов семейств имеют каждый семью, состоящую из 5 душ; это составляет, следовательно, общее число в $43\frac{3}{4}$ млн. душ. Мы можем точно так же вычислить, как долго будут продолжаться эти «веки вечные», на время которых «пролетариат в своем качестве человечества может претендовать на всю землю», по крайней мере в Соединенных Штатах. Если население Соединенных Штатов будет увеличиваться в той же пропорции, как до сих пор, т. е. удваиваться в 25 лет, то эти «веки вечные» будут продолжаться не полных 40 лет; за этот период времени эти 1 400 млн.

акров будут заняты, и следующим уже не на что будет «претендовать». Но так как бесплатная раздача земли сильно увеличила бы иммиграцию, то «веки вечные» Криге могли бы «кончиться» еще раньше, особенно, если принять во внимание, что земля для 44 млн. людей не является достаточным отводным каналом даже для существующего в настоящее время европейского пауперизма, так как в Европе один паупер приходится на каждые десять человек, и одни Британские острова доставляют 7 млн. бедняков. Такую же экономическую наивность мы встречаем в № 13 в статье «К женщинам», в которой Криге говорит, что если бы город Нью-Йорк отдал свои 52 000 акров земли на Лонг Айланде, то этого было бы достаточно, чтобы «сразу» освободить Нью-Йорк навсегда от всякого пауперизма, нищеты и преступлений.

Если бы Криге изобразил движение освобождения земли как необходимую при известных условиях первую форму пролетарского движения, которое необходимо должно развиться в коммунистическое вследствие жизненных условий того класса, который его породил; если бы он показал, как эти коммунистические тенденции в Америке первоначально должны были проявиться в кажущейся враждебной всякому коммунизму аграрной форме, то против этого ничего нельзя было бы возразить. Но он объявляет делом *всего* человечества во всяком случае еще второстепенную форму движения действительных людей, выставляет ее, сам этого не подозревая, конечной, высшей целью всякого движения вообще и этим превращает определенные цели движения в совершеннейший вздор. Между тем, он беспрепятственно продолжает в той же самой статье (№ 10) свою победную песню: «Таким образом, наконец, исполнились бы давнишние мечты европейцев, и за океаном для них было бы уготовано место, куда им только надо было бы переселиться и оплодотворить его трудами рук своих, чтобы гордо заявить всем тиранам мира:

Это моя хижина,
Которой вы не строили,
Это мой очаг,
Из-за тепла которого вы завидуете мне.

Он мог бы еще прибавить: «Это моя навозная куча, которую произвел я, моя жена, мои дети, мой работник и мой скот». Но «мечты» каких европейцев осуществляются здесь? Конечно, не коммунистических рабочих, а обанкротившихся лавочников и ремесленных мастеров или разорившихся безземельных крестьян, которые стремятся к счастью опять сделаться в Америке мелкими буржуа или крестьянами. И какое это «желание», которое может быть

осуществлено посредством 1 400 млн. акров? Только желание превратить всех людей в частных собственников, желание, которое так же неисполнимо, так же некоммунистично, как желание превратить всех людей в царей, королей и пап.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ БОЛТОВНЯ.

№ 13 «Народного трибуна», — «Ответ Золлте».

1) Криге утверждает в этой статье, что «он не привык к логической эквилибристике в бесплодной пустыне абстракций». Однако любой номер «Народного трибуна» доказывает, что он предается, — правда, не всегда «логичной», — эквилибристике философскими и сентиментальными фразами.

2) Положение о том, что «отдельный человек живет индивидуально» (утверждение это само по себе бессмысленно), Криге выражает следующим нелогичным прыжком: «пока человеческий род выявляется в индивидуумах»,

3) зависит от «усмотрения творческого духа человечества», которого нигде не существует, «изменить современное положение вещей».

4) Идеал коммунистического человека таков: «Он носит на себе печать вида» (про кого нельзя сказать того же уже теперь?), «определяет свои собственные цели согласно с целями вида» (как будто вид есть личность, которая может иметь свои собственные цели!) «и лишь для того старается стать вполне самим собой, чтобы иметь возможность отдаться виду со всем тем, что он есть и чем может стать» (полное самопожертвование и самоуничтожение перед фантастическим призраком).

5) Отношение отдельного человека к виду и в дальнейшем характеризуется с помощью напыщенных и вздорных фраз. «Все мы и наша особенная деятельность являемся только симптомами великого движения, происходящего в глубине человечества». «В глубине человечества» — где это? На основании этой фразы, действительные люди — только «симптомы», отличительные признаки происходящего «внутри» призрачного мира «движения». Борьбу за коммунистическое общество наш сельский пастор превращает в «искание того великого духа общности», который, «пеленясь, красиво переливается через край чаши причастия» и как «святой дух горит в глазах брата». Превратив, таким образом, революционно-коммунистическое движение в «искание святого духа и свя-

того причастия», Криге, разумеется, может утверждать, что «нужно только познать этот дух, чтобы связать всех людей в любви». Этому метафизическому результату предшествует следующее смешение коммунизма с причастием: ¹ «Дух, который побеждает мир, дух, который повелевает буре и грозе (!!!), дух, который исцеляет слепых и прокаженных, дух, который всем людям дает *пить* одно вино» (мы предпочитаем различные сорта) «и есть один хлеб» (французские и английские коммунисты более требовательны), «дух вечный и вездесущий, это — дух общности». Если этот «дух» вечен и вездесущ, то совершенно нельзя понять, как, по Криге, так долго могла существовать частная собственность. Правда, он не был «познан» и потому являлся «вечным и вездесущим» только в его собственном воображении.

Здесь, таким образом, Криге проповедует во имя коммунизма старую религиозную немецкую философскую фантазию, которая прямо противоречит коммунизму. Вера, даже вера в «святой дух общности», это — то последнее средство, которое требуется для проведения коммунизма.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕЛОЧИ.

Само собою разумеется, что разглагольствования Криге о любви и его возражения против эгоизма не представляют ничего иного, как напыщенные признания ума, целиком находящегося во власти религии. Мы сейчас увидим, как Криге, всегда выдававший себя в Европе за атеиста, пытается под вывеской коммунизма сбыть все мерзости христианства и — совершенно последовательно — кончает *самоосквернением человека*.

Статьи «Чего мы хотим» и «Герман Криге—Гарро Гаррину» в № 10 заявляют, что цель коммунистической борьбы в том:

1) чтобы «религию любви сделать истинной, а долгожданную общность блаженных жителей неба сделать действительностью». Криге не замечает только, что эти христианские мечты являются лишь фантастическим выражением существующего мира и что поэтому их «действительность» уже существует в плохих условиях существующего мира.

2) «Мы хотим во имя этой религии любви накормить голодного,

¹ В немецком тексте — созвучие слов Kommunismus (коммунизм) и Kommunion (причастие).

напоить жаждущего, одеть нагого»; это требование уже в течение 1 800 лет до отвращения повторяется без всякого успеха.

3) «Мы учим проявлению *любви*

4) для восприятия *любви*».

5) «В этом мире *любви* не может быть чертей».

6) «Священнейшая потребность человека состоит в том, чтобы целиком, всей своей индивидуальностью раствориться в обществе *любящих* душ, по отношению к которым он не сохраняет ничего, кроме своей

7) безграничной *любви*». Можно было бы думать, что этой безграничностью теория любви достигла высшей своей ступени, которая так высока, что уж выше ее ничего нельзя придумать; оказывается, однако, что есть еще что-то высшее.

8) «Что такое это излияние *горячей любви*, эта готовность приносить себя в жертву всем, это божественное стремление к общности, что это такое, как не внутренняя религия коммунистов, которой не достает только соответствующего внешнего мира, чтобы проявиться в полноте человеческой жизни». Но существующий «внешний мир», по видимому, вполне достаточен для Криге, чтобы он мог возможно шире «высказывать» свою «сокровеннейшую религию», свое «божественное стремление», свою готовность «отдаваться всем» и свое «излияние горячей любви» в своей «полной человеческой жизни».

9) «Разве мы не имеем права серьезно отнестись к долгое время сдерживавшимся желаниям религиозного сердца и во имя бедных, несчастных, отверженных начать борьбу за конечное осуществление прекрасного царства *братской любви*?» И он начинает борьбу, чтобы серьезно отнестись к желаниям не действительного, низменного человека, а религиозного, и не ожесточенного действительной нуждой сердца, а полного блаженных фантазий. «Религиозность своего сердца» он тут же доказывает тем, что, как священник, он выступает от чужого имени, от имени «бедных» и, вступая в борьбу, ясно дает понять, что ему коммунизм для себя самого не нужен, что он вступает в эту борьбу только из великодушного, самоотверженного, расплывчатого самопожертвования по отношению к «бедным, несчастным, отверженным», которые нуждаются в нем. Это благородное чувство переполняет сердце этого честного человека, и в уединенные, грустные часы оно рассеивает все горе, переполняющее этот скверный мир.

10) «Тот, кто не поддерживает такой партии, тот по справедливости может быть назван врагом человечества». Это нетерпимое выражение как будто противоречит «преданности всем», «религии

любви ко всем». Но оно составляет совершенно последовательный вывод из этой новой религии, которая, как и всякая другая, смертельно ненавидит и преследует своих врагов. Враг партии совершенно последовательно превращается в еретика: из врага действительно существующей *партии*, с которым ведут *борьбу*, его превращают в грешника, совершающего преступления против лишь в воображении существующего *человечества*, которого следует *наказать*.

11) В письме Гарро Гаррингу говорится: «Мы поднимем восстание всех бедняков против маммоны, под плетью которого они обречены томиться, и когда мы свергнем страшного тирана с его старого престола, мы попытаемся *связать* человечество *любовью*, попытаемся научить его совместной работе и совместному пользованию ее плодами, дабы исполнилось давно обетованное царство радости». Чтобы исполниться гневом против современной гегемонии денег, он прежде всего должен превратить их в маммону. Этот идол свергается, — каким образом, остается неизвестным, — революционное движение пролетариата всех стран скомкивается в простое восстание, и после этого свержения появляются пророки, все эти «мы», которые «учат» пролетариат, как ему поступать далее. Своих подопечных, выступающих в данном случае с поразительным непониманием своих собственных интересов, эти пророки «учат» тому, как они «должны совместно работать и пользоваться плодами своего труда», и притом «не для совместной работы и пользования ее плодами», а главным образом для того, чтобы исполнилось слово писания и кое-какие фантасты не вря пророчествовали 1 800 лет тому назад. — Этот метод пророчества повторяется и в других местах, — например, в № 8: «Что такое пролетариат?» и «Андрей Дитч». Вот образцы:

a) «Пролетариат, час твоего освобождения наступил».

b) «Тысячи сердец радостно бились навстречу обетованному времени», наступлению «великого царства *любви*... давно чаемого царства *любви*».

c) В «Ответе Коху, врагу попов» в № 12 сказано: «Уже евангелие бесконечного спасения мира с трепетом переходит от одних к другим, из уст в уста и — даже — из рук в руки». Это чудо о «с трепетом переходящем евангелии», эта чепуха о «бесконечном спасении мира» вполне соответствует другому чуду, что давно отвергнутые пророчества старых евангелистов против всякого ожидания исполняются Криге.

12) С этой религиозной точки зрения ответ на все действительные вопросы может состоять только из нескольких чересчур религиозных картин, затуманивающих всякий смысл, из нескольких

громких ярлыков, как «человечество», «гуманность», «вид» и т. д., из превращения всякого действительного дела в фантастическую фразу. Это в особенности проявляется в статье в № 8: «Что такое пролетариат?» На этот поставленный в заголовке вопрос он отвечает: «Пролетариат, это — человечество». Сознательная ложь, согласно которой коммунисты намерены уничтожить человечество. Этот ответ должен напомнить ответ Сийэса на вопрос: что такое tiers état? (что такое третье сословие?). Вот доказательство того, как Криге превращает в бред исторические факты. Он доказывает это вслед за тем с помощью извращения американского движения против ренты. «А что если этот самый пролетариат, в качестве человечества» (необходимая маска, под которой он должен выступать; только-что пролетариат был человечеством, а теперь человечество является свойством пролетариата), «заявит свою претензию на вечное обладание землей — его неотъемлемой собственностью?» Мы видим, как в высшей степени простое, практическое движение превращается в пустые слова вроде «человечества», «неотъемлемой собственности», «вечности» и т. д., и в силу этого дело не идет дальше «претензий». Кроме обыкновенных эпитетов вроде «изгнанники» и т. п., к которым присоединяется еще религиозный эпитет «проклятые», все сообщения Криге о пролетариате ограничиваются следующими мифологическими библейскими картинами:

«Скованный Прометей»,

«Агнец божий, который воспринял все грехи мира»,

«Вечный жид»,

а затем ставится замечательный вопрос: «должно ли человечество вечно скитаться по земле, как бездомный бродяга?» Между тем именно исключительная принадлежность земли одной части «человечества» составляет сучок в его глазу.

13) Наиболее резко кригеровская религия выражена в следующей фразе: «У нас есть еще другое дело, кроме заботы о своей собственной подлой личности, — мы принадлежим человечеству». Этим отвратительным сервиллизмом по отношению к «личности», отделенной и противопоставляемой человечеству», которое является, следовательно, метафизической, а у него — даже религиозной фикцией, этим во всяком случае подлым рабским уничтожением заканчивается эта религия, как и всякая другая. Такое учение, которое проповедует блаженство низкопоклонства и презрения к самому себе, вполне подходит для храбрых... монахов, но никогда не подходит для энергичных людей, в особенности во время борьбы. Недостает еще, чтобы эти храбрые монахи кастрировали свою «греш-

ную плоть» и этим в достаточной мере доказали свою веру в способность «человечества» производить само себя! — Если Криге не может придумать ничего лучшего, кроме этих пошлых сентиментальностей, то было бы гораздо лучше, если бы в каждом номере «Народного трибуна» он переводил своего «отца» Ламенна.

Какие практические последствия имеют это вечное сострадание и это бесконечное самопожертвование, показывают те озлобленные требования работы для вновь прибывших, которые встречаются почти в каждом номере «Народного трибуна». Так, в № 8 мы читаем:

«Работы! Работы! Работы!

«Неужели среди тех, кто помудрей, нет ни одного человека, который не считал бы потерянным трудом доставить пропитание честным семьям и спасти беспомощных молодых людей от нищеты и отчаянья? Вот, например, Иоганн Штерн из Мекленбурга до сих пор не получил работы, а между тем его единственное желание — изнурять себя в пользу капиталиста и при этом зарабатывать столько, сколько нужно для сохранения работоспособности. Это ли чрезмерное требование в цивилизованном обществе? А Карл Гешейтле из Бадена? Этот молодой человек с отличными способностями и с довольно высоким образовательным цензом глядит на вас такими честными и открытыми глазами, — я ручаюсь, что он — олицетворенная честность. Один старик, точно также и много молодых людей умоляют о работе и насущном куске хлеба. Кто может помочь, пусть не медлит, — не то совесть лишит его когда-нибудь сна, когда он особенно будет нуждаться в нем. Правда, вы можете сказать: тысячи людей тщетно взывают о работе, не можем же мы всем им помочь. Нет, вы могли бы, но вы — рабы эгоизма и бессердечны по своей природе. Но если вы и не в состоянии помочь всем, то докажите, что у вас сохранился хоть остаток человеческого чувства, и помогите такому количеству людей, какому можете».

Разумеется, если бы они хотели, они могли бы помочь большему количеству людей, чем это им возможно. Такова практика, осуществление того самоуничужения и самооплевания, которому учит новая религия.

Глава пятая.

ЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КРИГЕ.

Какой характер носит личное выступление Криге в его журнале, уже с необходимостью вытекает из вышеприведенных указаний. Мы поэтому затрагиваем здесь только несколько пунктов. Криге

выступает в качестве пророка, поэтому непременно в качестве эмиссара тайного союза ессеев, «союза справедливости». Если поэтому он говорит не от имени «угнетенных», то он говорит во имя «справедливости», которая, однако, является не обыкновенной справедливостью, а справедливостью «союза справедливости». Он обманывает не только самого себя, он искажает историю. Он искажает действительное историческое развитие коммунизма в разных странах Европы, которого он не знает, в том смысле, что он сводит происхождение и успехи коммунизма к сказочным и романтическим интригам этого союза ессеев. Об этом можно прочесть во всех номерах, в особенности в ответе Гарро Гаррину, где имеются также самые бессмысленные фантазии о силе этого союза.

Как истинный апостол любви, Криге прежде всего обращается к женщинам; он не считает их настолько низкими, чтобы они могли устоять против пылающего любовью сердца; затем — к агитаторам «со словами примирения» — как «сын» — как «брат» — как «возлюбленный брат» — и, наконец, как человек, — к богатым. Едва только прибыв в Нью-Йорк, он пишет послания ко всем богатым немецким купцам, говорит им о любви, но остерегается сказать им, чего он от них хочет, подписывается то «человек», то «друг людей», то «дурак» — и «поверите ли вы, друзья мои?» — ни один человек не откликнулся на его высокопарную болтовню. Это никого не может удивить, кроме самого Криге. — Известные цитированные уже любовные фразы иногда уснащаются восклицаниями вроде (№ 12, «Ответ Коху»): «Ура! да здравствует общность, да здравствует равенство! да здравствует любовь!» Практические вопросы и сомнения (№ 14, «Ответ Коху») он объясняет только преднамеренной злобой и упрямством. Как истинный пророк и провозвестник любви, он выказывает все истерическое раздражение обманутой прекрасной души против насмешников, неверующих и людей старого мира, которые только посредством его сладкой теплой любви как бы волшебством превращаются в «блаженных небожителей». В таком недозволенно-сентиментальном настроении он говорит в № 11 в статье под заголовком «Весна»: «И вы, которые сегодня осмеиваете нас, вы скоро станете благочестивыми, ибо, знаете: наступает весна!»

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

СТАТЬИ ИЗ «DEUTSCHE BRÜSSELER ZEITUNG»

- К. МАРКС. ЗАМЕТКА ПРОТИВ КАРЛА ГРЮНА.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. НЕМЕЦКИЙ СОЦИАЛИЗМ В СТИХАХ И ПРОЗЕ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ ИЛИ СИСТЕМА СВО-
ВОДНОЙ ТОРГОВЛИ.
- К. МАРКС. ПРИДВОРНАЯ И ГАЗЕТНАЯ УТКА ИЗ САН-СУСИ.
- К. МАРКС. КОММУНИЗМ «РЕЙНСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ».
- К. МАРКС. ТЮРЕМНЫЙ КОНГРЕСС В БРЮССЕЛЕ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. КОММУНИСТЫ И К. ГЕЙНЦЕН.
- К. МАРКС. МОРАЛИЗИРУЮЩАЯ КРИТИКА И КРИТИЗИРУЮЩАЯ МОРАЛЬ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ШВЕЙЦАРИИ.
- К. МАРКС. ЗАМЕТКА ПРОТИВ А. БАРТЕЛЬСА.
- К. МАРКС. ЛАМАРТИН И КОММУНИЗМ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 1847 ГОДА.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. НАЧАЛО КОНЦА АВСТРИИ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. НЕСКОЛЬКО СЛОВ ГАЗЕТЕ «RIFORMA».

ЗАМЕТКА ПРОТИВ КАРЛА ГРЮНА.

В статье, помеченной «Берлин, 20 марта», «Грирская газета» поместила статью по поводу моей еще не вышедшей из печати брошюры: «Contradictions dans le système des contradictions économiques de M. Proudhon ou Les Misères de la Philosophie». (Противоречия в системе экономических противоречий г-на Прудона, или Нищета философии.) Берлинский корреспондент считает меня автором помещенной в «Rhein und Mosel-Zeitung» за подписью О. корреспонденции об этой брошюре, о сочинении Прудона и о деятельности его переводчика, г-на Грюна. Он снова называет меня «редактором бывшей Рейнской газеты» — указывая, что у того корреспондента мой стиль. «Опираясь на знакомство с временным положением печати в Германии», наш друг делает свои инсинуации. По-моему не только его инсинуации, но и все его литературное существование может *опираться* на знакомство с временным положением печати в Германии». Я уступаю ему наиболее испытанное *практически* «знакомство с временным положением печати в Германии». Но на этот раз оно его не *поддержало*¹.

Так называемому берлинскому корреспонденту стоило только прочесть мой разбор Прудона в «Kritische Kritik» (Критической критике), чтобы убедиться, что указанная корреспонденция, может быть, и прислана была из Брюсселя, но ни в коем случае не могла принадлежать мне, хотя бы уже потому, что она считает Прудона и г-на Грюна *равноценными величинами*.

Моя критика Прудона написана по-французски. Прудон будет иметь возможность сам на нее ответить. В его письме ко мне, написанном до появления его книги, решительно не видно склонности, в случае появления моей критики этой книги, поручить Грюну и компании реванш за нее.

«Что же касается переводчика прудоновского сочинения по

¹ Здесь непереводаемая игра слов: Gestützt auf die Kenntnis der zeitweiligen Pressezustände (опираясь на знакомство и т. д.). Aber diesmal hat sie ihn nicht gestützt (Но на этот раз оно его не поддержало). — *Прим. ред.*

экономии», то берлинскому другу стоит только отметить, что «мы здесь в Берлине многому научимся из «Социального движения во Франции и Бельгии» господина Грюна, чтобы вполне оценить достоинство этого произведения. Но следует также подумать о том, что это значит, если «мы здесь в Берлине» «вообще что-нибудь *«узнаем»*, и притом еще «многое» количественно и качественно! Мы здесь в Берлине!

Но идентифицируя меня с брюссельским или другим корреспондентом, берлинский или так называемый берлинский корреспондент заявляет: «Грюн, вероятно, должен поплатиться за то, что имел несчастье познакомить немецкое общество раньше д-ра Маркса, «редактора *бывшей* Рейнской газеты», с проявлениями иностранного социализма».

Наш друг проявляет очень веселый талант (*ingenium*) в составлении своих предположений. Я хочу ему *sub rosa* (по секрету) сказать, что по моему мнению во всяком случае «Социальное движение во Франции и Бельгии» господина Грюна и «социальное движение Франции и Бельгии», за исключением некоторых имен и дат, не имеют ничего общего между собой. Но я вместе с тем должен ему сказать, что меня так мало интересовало ознакомление «немецкого общества» с результатами моего изучения произведения Грюна «Социальное движение во Франции и в Бельгии», что готовая, подробная рецензия книги Грюна целый год преспокойно лежала у меня в рукописи, и только теперь я сдаю ее для напечатания в «*Westphälisches Dampfboot*», вызванный к этому берлинским другом. Рецензия представляет приложение к написанной совместно Фр. Энгельсом и мной работе о «немецкой идеологии» (критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и *немецкого социализма* в лице его различных пророков). Обстоятельства, которые помешали и теперь еще мешают печатанию этой рукописи, будут, может быть, изложены читателям в другом месте при описании «временного положения печати в Германии». Отдельному напечатанию нисколько не противоречащей цензурным предписаниям рецензии книги Грюна мешало только одно маленькое обстоятельство, состоявшее в том, что книгу эту мы не считали заслуживающей отдельного разбора и что в общем обзоре бесцветной, пошлой немецкой литературы о социализме нельзя обойти молчанием этой книги, говоря о господине Грюне. Но теперь после выступления берлинского друга отдельное напечатание этой рецензии приобретает более или менее юмористическое значение: оно должно показать, каким образом «немецкое общество знакомится с проявлениями ино-

странного социализма», а в особенности показать, какое «у нас здесь в Берлине» стремление «кое-чему научиться» и какие мы имеем для этого возможности. Отсюда вместе с тем будет понятно, что мне приходилось прибегать к мелким нападкам в небольших газетных статейках, если я не хотел задержать распространение «Социального движения во Франции и в Бельгии» господина Грюна. Наконец, даже берлинский друг не может отказаться официально засвидетельствовать, что, если бы я в самом деле имел такое намерение помешать «ознакомлению немецкого общества с проявлениями иностранного социализма», если бы я в самом деле боялся конкурента в лице предшественника, то я каждодневно должен был бы молить судьбу: «Не давай мне предшественника, или, еще лучше, дай мне предшественника в лице господина Грюна».

Еще два слова «по поводу моего воображения, будто я достиг высшей ступени человеческой мудрости».

Кто другой мог привить мне эту болезнь, кроме господина Грюна (см., напр., предисловие к его «Материалам»), который в моих статьях в «Deutsch-Französische Jahrbücher» нашел точно такое же решение последнего вопроса, как теперь в экономии Прудона; подобно тому как он прославляет теперь истинную точку зрения Прудона, он утверждал относительно меня (см. «Neue Anekdote» Грюна), что я уничтожил «конституционную и радикальную точку зрения». Господин Грюн сперва отравил меня с тем, чтобы потом иметь возможность упрекать меня в том, что его яд подействовал! Но пусть берлинский друг успокоится! Я совершенно здоров.

НЕМЕЦКИЙ СОЦИАЛИЗМ В СТИХАХ И ПРОЗЕ.

I.

КАРЛ БЕК: «ПЕСНИ О БЕДНЯКЕ, ИЛИ ПОЭЗИЯ ИСТИННОГО СОЦИАЛИЗМА».¹

«Песни о бедняке» начинаются песней к богатому дому — дому Ротшильдов.

Чтобы избежать недоразумений, поэт называет бога «Herr», а дом Ротшильда «Herr».

Уже с первых слов он обнаруживает, что находится во власти мелкобуржуазной иллюзии, будто «золото царит» по прихоти Ротшильда, иллюзии, которая влечет за собой целый ряд ложных представлений о власти дома Ротшильдов.

Поэт угрожает не уничтожением действительной власти Ротшильда, не уничтожением общественных отношений, на которых она покоится; он желает лишь более гуманного применения им своей мощи. Он хнычет по поводу того, что банкиры являются не социалистическими филантропами, мечтателями, стремящимися осчастливить человечество, а просто банкирами. Бек воспевает трусливое мещанское убожество, «бедняка», «*rauvre honteux*», с его бедными, благочестивыми и непоследовательными желаниями, «бедняка» во всех его формах, но не гордого, грозного и революционного пролетария. Угрозы и упреки, которыми Бек осыпает дом Ротшильда, вопреки всем добрым намерениям автора, производят на читателя еще более комическое впечатление, чем даже проповедь капуцина. Они покоятся на детской иллюзии о могуществе Ротшильдов, на совершенном незнании связи этого могущества с существующими отношениями, на глубоком заблуждении относительно средств, которые Ротшильды должны применять, чтобы стать и остаться властью. Малодушие и глупость, бабья сентиментальность, жалкое прозаически-трезвое мещанство — такова музыка этой шарманки, и они напрасно насилуют

¹ *Karl Beck, Lieder vom armen Mann, oder die Poesie des wahren Sozialismus.*

самих себя, чтобы казаться страшными. Они становятся лишь смешными. Их искусственно низкий бас постоянно срывается на комический фальцет; драматическое изображение гигантской борьбы Энцилада превращается в комическое кувырканье клоуна:

Nach deinen Launen herrscht das Gold!

.

O wär' dein Werk so schön! O wäre

Dein Herz so gross wie deine Macht!¹

(СТР. 4.)

Жаль, что *власть* принадлежит Ротшильду, а *сердце* — автору. Если бы они были соединены вместе, это было бы слишком большим счастьем на земле (господин Людвиг Баварский).

Первый, кто противопоставляется Ротшильду, это, конечно, сам певец, *немецкий* певец, живущий в «высоких святых мансардах».

Es tönt von Recht und Licht und Freiheit,

Vom achten Gott in seiner Dreiheit

Die liedergesegnete Laute der Barden;

Da folgt das horchende Menschenkind

Den Geistern.²

(СТР. 5.)

Этот бог, заимствованный из эпитафии «Лейпцигской всеобщей газеты», не производящий на еврея Ротшильда никакого впечатления уже благодаря своей троичности, оказывает, напротив, на немецкую молодежь магическое действие.

Es mahnt die wiedergenesene Jugend,

.

Und der Begeisterung zeugender Samen

Geht auf in hundert herrlichen Namen.³

(СТР. 6.)

¹ Мир царит по твоему произволу!

.

О, если бы твои дела были так же хороши! О, если бы
Твое сердце было так же велико, как твоя власть!

² О праве, о свете и о свободе,

О подлинном боге и его тройственности
Говорят благословенные звуки бардов,
И прислушивающееся человеческое дитя
Следует за духами.

³ Призывает возрождающуюся молодежь,

.

И семя, рождающее воодушевление,
Всходит в тысяче великолепных имен

Ротшильд судит о немецких поэтах иначе:

Das Lied, das uns die Geister geboten,
Du nennst es Hunger nach Ruhm und Broten. ¹

И хотя молодежь призывает, и погибают сотни ее великолепных имен, великолепие которых в том и состоит, что они не идут дальше простого воодушевления, хотя «трубы мужественно призывают к борьбе», а сердце так громко стучит ночью:

Das törichte Herz, es fühlt die Bedrängnis
Von einer göttlichen Empfängnis. ²

(СТР. 7.)

Это глупое сердце, эта дева Мария, — и хотя

Die Jugend, ein finstrer Saul,

(Карла Бека, изд. Энгельмана в Лейпциге, 1840 г.)

Mit Gott und mit sich selber grollt, — ³

вопреки всему этому, Ротшильд сохраняет систему вооруженного мира, которая, по мнению Бека, от него лишь одного и зависит.

Газетное сообщение, что святая Церковная область послала Ротшильду орден Спасителя, является у нашего поэта поводом для того, чтобы доказать, что Ротшильд не спаситель; с таким же успехом это могло бы служить поводом для не менее интересного доказательства, что Христос, хотя он и был спасителем, не был рыцарем ордена Спасителя:

Du ein Erlöser? ⁴

(СТР. 11.)

И он доказывает Ротшильду, что он не *боролся* ночью, как Христос, что он никогда не приносил в жертву гордого земного могущества

Für eine milde beglückende Sendung,
Vom grossen Geist dir anvertraut. ⁵

(СТР. 11.)

¹ Песню, которую дали нам духи,
Ты называешь голодным стремлением к славе и хлебу.

² Глупое сердце, оно стеснено предчувствием
Божественного зачатия

³ Молодежь, мрачный Саул,
Ропщет на бога и на самос себя.

⁴ Ты ли спаситель?

⁵ Для благой приносящей счастье миссии,
Доверенной тебе великим духом.

Следует упрекнуть великий дух (Geist), что он не проявляет большого ума (Geist) в выборе своих миссионеров и обращается с призывами к *благим* делам не по надлежащему адресу. Все *величие* его заключается лишь в размере букв.

Неспособность Ротшильда к роли спасителя подробно доказывается тремя примерами: его поведением по отношению к июльской революции, к полякам и к евреям.

Aufstand das mutige Frankenkind ¹

(СТР. 12.)

словом, вспыхнула июльская революция.

Warst du bereit? Erklang dein Gold
Wie Lerchengezwitscher jubelnd und hold
Zum Lenz, der in der Welt sich rührte?
Der, was an sehnlichen Wünschen tief
In unsrer Brust verschüttet schlief,
Verjüngt zurück ins Leben führte? ²

(СТР. 12.)

Пробудившаяся весна — это была весна буржуа, для которой звон золота, — золота Ротшильда, как и всякого другого, — был торжествующим и веселым пением жаворонка. Правда, желания, которые во время реставрации таились не только в груди, но и в лентах карбонариев, снова пробудились к жизни, и *бедняк* Бека остался ни с чем. Но как только Ротшильд убедился в том, что новое правительство имеет под собой солидную базу, его жаворонки беззаботно запели, конечно, за обычные проценты.

Полное пленение Бека мещанскими иллюзиями обнаруживается в апофеозе Лаффита, противопоставляемого им Ротшильду:

Dicht rankt sich an deine beneideten Hallen
Ein heiliggesprochenes Bürgerhaus ³

(СТР. 13.)

т. е. дом Лаффита. Восторженный мещанин гордится бюргерской скромностью своего дома в противоположность вызывающим за-

¹ Восстали мужественные дети Франции.

² Оказался ли ты готов? Заввучало ли твое золото,
Как пение жаворонка, торжествующе и радостно
Навстречу весне, пробудившейся в мире.
Вернувшей к жизни пламенные желания,
Которые спали глубоко в нашей груди?

³ Тесно примыкает к твоим вызывающим зависть хоромам
Благословенный дом буржуа.

висть хоромам Hôtel-Ротшильд. Его идеал, Лаффит его воображения, конечно, также должен жить в скромной буржуазной обстановке; Hôtel Лаффита уменьшается до размеров дома немецкого буржуа. Сам Лаффит изображается в нем в виде доброго хозяина, чистого сердцем: он сравнивается с Муцием Сцеволой и он будто бы пожертвовал своим состоянием, чтобы снарядить в путь *человека* и грядущий век. Не имеет ли Бек в виду парижский «Siècle»? Он называет его мечтательным мальчиком, под конец — нищим. Его похороны изображены трогательно:

Es ging im Leichenzuge mit
Gedämpften Schritts die Marseillaise ¹

(СТР. 14.)

Рядом с Марсельезой следовала карета королевской семьи, а непосредственно за ними г. Sauzet, г. Duchâtel и все ventrus и lours-сervièrs палаты депутатов.

Но Марсельеза должна была *сдержанно* свой шаг, когда после июльской революции Лаффит с триумфом ввел своего кума, герцога Орлеанского, в Hôtel de Ville и произнес ошеломляющую фразу, что *отныне властвуют банкиры*.

В вопросе о *поляках* поэт упрекает Ротшильда лишь в том, что он не оказался достаточно щедрым благотворителем по отношению к эмиграции. Здесь нападение на Ротшильда превращается в анекдот в стиле провинциального городка и лишено и тени нападения на представляемую Ротшильдом власть денег вообще. Буржуа, как известно, повсюду, где они господствуют, приняли поляков с любовью и даже с энтузиазмом.

Пример этой болтовни: выступает поляк, унижается и просит; Ротшильд дает ему серебряную монету, поляк

Nimmt freudezitternd das Silberstück
Und segnet dich und deinen Samen, ²

положение, от которого польский комитет в Париже до сих пор в общем оградил поляков. Все это выступление поляка служит для нашего поэта лишь поводом самому стать в позу:

¹ В погребальной процессии шла среди других Сдержанным шагом Марсельеза.

² Дрожа от радости берет серебряную монету
И благословляет тебя и твое потомство.

Ich aber schleudre des Bettlers Glück
Verächtlich in deinen Beutel zurück,
In der beleidigten Menschheit Namen! ¹

(стр. 16.)

причем, чтобы попасть подобным образом в кошелек, нужна большая ловкость и опыт в метании в цель. Бек обеспечивает себя тут и на случай обвинения в оскорблении действием, так как он действует не от своего имени, а от имени человечества.

Уже на стр. 9 Ротшильд достается за то, что он принял грамоту о гражданстве от разжиревшей австрийской столицы,

Wo dein gehetzter Glaubensgenosse
Sein Licht und seine Luft bezahlt. ²

Бек думает даже, что Ротшильд вместе с этой венской грамотой о гражданстве приобрел счастье свободного человека.

Теперь он обращается к нему с вопросом:

Hast du den eignen Stamm befreit,
Der ewig hofft und ewig duldet? ³

(стр. 19)

Ротшильд должен был стать освободителем евреев. Но как он должен был сделать это? Евреи избрали его *королем*, так как он обладал наибольшим количеством золота. Он должен был бы научить их презирать золото, отказываться от него в пользу человечества (стр. 21).

Он должен был бы изгладить из их памяти эгоизм, коварство и ростовщичество, словом — ему следовало бы выступить в роли проповедника в рубище и с головой, посыпанной пеплом. Это то же самое, как если бы наш поэт обратился к Луи-Филиппу с требованием, чтобы он научил буржуа июльской революции упразднить собственность. Если бы Ротшильд и Луи-Филипп настолько утратили разум, они бы очень скоро лишились своей власти, но ни евреи не отказались бы от торгашества, ни буржуа не забыли бы о собственности.

На стр. 24 Ротшильду делается упрек, что он высасывает из буржуа соки, как будто не следовало бы желать, чтобы у буржуа высасывали, соки.

¹ Но я с презрением бросаю обратно

В твой кошелек счастье нищего

Во имя оскорбленного человечества.

² Где твой затравленный единоверец

Платит и за солнечный свет, и за воздух.

³ Освободил ли ты твой родной народ,

Вечно надеющийся и вечно страдающий?

На стр. 25 сказано, будто бы Ротшильд обманул государей. Но разве их не нужно *обманывать?*

Мы уже видели достаточно доказательств того, какое сказочное могущество Бек приписывает Ротшильду. Тут все идет *crescendo*. После того как на стр. 26 он размечтался, чего бы только он (Бек) ни сделал, если бы был собственником *солнца*, — оказывается, он не сделал бы и сотой доли того, что солнце делает и без него, — внезапно ему приходит в голову мысль, что Ротшильд является не единственным *грешиником*, но что кроме него существуют и другие богачи. Но

Du sassest beredet im Lehrerstuhle,
Es lernten die Reichen in deiner Schule;
Du musstest sie führen ins Leben hinein,
Du konntest ihr *Gewissen* sein.
Sie sind verwildert — du hast es geduldet,
Sie sind verworfen — du hast es verschuldet! ¹

(стр. 28.)

Итак, развитие торговли и промышленности, конкуренцию, концентрацию собственности, государственные долги и ажиотаж, коротко говоря — все развитие современного буржуазного общества Ротшильд мог бы предотвратить, если бы он был лишь немного *совестливее*. Надо действительно обладать *toute la désolante naïveté de la roésie allemande*, чтобы напечатать такие детские сказки. Ротшильд превращается здесь в настоящего Аладина.

Не довольствуясь этим, Бек приписывает Ротшильду

Der Sendung schwindelnde Grösse,
.
Zu lindern der Welt *gesammte Leiden*, ²

миссию, которую капиталисты мира все вместе также не могли бы выполнить хотя бы в отдаленной степени. Разве наш поэт не видит, что он становится тем более смешон, чем возвышеннее и сильнее он старается быть, что все его упреки Ротшильду превращаются в самую низкую лезть, что он прославляет могущество Ротшильда,

¹ Ты им был учителем,
Богатые учились в твоей школе,
Ты должен был ввести их в жизнь,
Ты мог быть их *совестью*.
Они одичали — ты это допустил,
Они заброшены — ты в этом повинен.

² Головокружительная грандиозная миссия
.
Смягчать *все страдания мира*.

как этого не мог бы сделать самый рьяный панегирист. Ротшильд должен быть в восторге, видя, каким гигантским пугалом становится его маленькая личность в мозгу немецкого поэта.

После того как наш поэт облек в стихотворную форму невежественные фантазии немецкого мещанина о могуществе крупного капиталиста, после того как в сознании своей головокружительной грандиозной миссии он невероятно раздул фантастичность этого могущества, он высказывает моральное возмущение мещанина по поводу контраста между идеалом и действительностью и впадает при этом в поэтический пароксизм, который должен заставить расхохотаться даже пенсильванского квакера.

Weh mir; wenn ich in langer Nacht (21 декабря)
 Mit heisser Stirn es durchgedacht;

 Dann hob sich *bäumend* meine Locke,
 Mir war's, als riss ich an Gottes Herzen,
 Ein Glückner an der Feuerglocke¹

(стр. 28.)

чем, конечно, был вклочен последний гвоздь в гроб старика. Он полагает, что «духи истории» доверили ему здесь мысли, которых он не должен был бы высказывать ни вслух, ни про себя: он приходит, наконец, к отчаянному решению протанцовать канкан в своем гробу:

Doch einst im modernden Leichentuch
 Wird wonnig schaudern mein Gerippe,
 Wenn wieder zu mir [dem Gerippe] die Kunde taucht,
 Dass auf den Altären das Opfer raucht.²

(стр. 29.)

Я начинаю бояться мальчика Карла.
 Песня о доме Ротшильдов закончена. Теперь следуют, как это

¹ Горе мне, когда я долгой ночью (21 декабря)
 Разгоряченным лбом обдумывал все это;

.
 Дыбом становились у меня волосы на голове,
 И мне казалось, точно я хватаюсь за сердце вога,
 Как эвонарь за набатный колокол.

² Но когда-нибудь в истлевшем саване
 С наслаждением содрогнется мой скелет,
 Когда до меня (до скелета) дойдет весть,
 Что на алтарях дымится жертва.

принято у *современных* лириков, рифмованные размышления об этой песне и о роли, которую играет в ней поэт.

Ich weiss, es kann
Dein mächtiger Arm mich blutig schlagen ¹

(СТР. 30.)

т. е. отсчитать ему пятьдесят ударов. Австриец не может забыть о порке. Перед этой опасностью ему придает мужество возвышенное чувство:

Wie's Gott *befahl* und sonder Zagen,
So sang ich offen, was ich sann. ²

Немецкий поэт поет всегда по приказу. Конечно, ответственность несет хозяин, а не слуга, и поэтому и Ротшильд должен иметь дело с вогом, а не с Беком, его слугой. Вообще для *современных* лириков стало правилом:

1) хвастаться опасностью, которой они будто бы подвергаются благодаря своим невинным стихам,

2) получать колотушки и обращаться после этого к богу.

Песня к дому Ротшильдов заканчивается выражением высоких чувств по поводу той же песни, о которой здесь клеветнически говорится:

Frei ist's und stolz, es darf dich meistern,
Dir sagen, worauf es gläubig schwört, ³

(СТР. 32.)

т. е. собственной добродетели, как раз проявляющейся в этих заключительных строках. Мы боимся, однако, как бы Ротшильд не заставил Бека предстать перед судом не из-за его песни, а из-за этой ложной присяги.

О, если бы вы простерли золотую благодать.

Поэт призывает богатых оказать помощь *нуждающимся*,

Bis dir der Fleiss eine sichere Habe
Für Weib und Kind gewann. ⁴

¹ Я знаю, может

Жестоко побить меня твоя могучая рука.

² Как *приказал* мне вог, без колебаний

Открыто пел о том, что думал.

³ Она свободна и горда, она должна покорить тебя,

Сказать тебе, чему здесь с верой приносится присяга.

⁴ Пока твой труд не обеспечит

Твоей жены и ребенка.

И все это для того,

Dass du *gut* verbleiben könntest:
Ein *Bürger* und ein *Mann*,¹

т. е. *summa summarum* добрым *буржуа*. Бек вернулся, таким образом, к своему идеалу.

Работник и работница.

Поэт воспеваает две благочестивые души, которые, — что описано в высшей степени скучно, — лишь после многих лет скаредничества и нравственного образа жизни целомудренно избираются, наконец, на супружеское ложе.

Sich küssen? Sie taten es schämig! Sich necken? Sie
taten es leisel
Ach, Blumen waren es wohl, doch waren es Blumen im
Eise;
Ein Tanz auf Krücken, o Gott, ein armer verspäteter
Falter,
Der halb ein blühendes Kind, und halb ein verwelkender
Alter.²

Вместо того, чтобы закончить этой единственно хорошей строфой во всем стихотворении, автор после этого трепещет и ликует по поводу мелкой собственности, *собственных стен*, подымающихся вокруг *собственного* очага, и эта фраза произносится не иронически, а со слезами серьезной грусти на глазах. Но и это еще не конец:

Nur Gott ist ihr Herr, der die Sterne beruft zu leuchten
wenn's nachtet,
Den Knecht, der die Kette zerbricht, mit seligem Auge
betrachtet.³

Этим счастливо устраняется всякая острота. Малодушие Бека и отсутствие в нем уверенности в себе проявляются в том, что он

¹ Чтобы ты мог оставаться
Добрым гражданином и человеком.

² Целоваться? Они делали это стыдливо. Позабавить друг друга?
Они делали это тихо.

Ах, конечно, это были цветы, но лишь цветы во льду,
Танец на костылях, о боже, бедная запоздавшая бабочка,
Наполовину еще цветущий ребенок, наполовину — уже увядающий
старик.

³ Лишь бог — их господин, призывающий звезды светить, когда на-
ступает ночь.

Праведным оком взирающий на работника, разбивающего цепи.

растягивает каждое стихотворение и никак не может кончить, пока не манифестирует сентиментальность своего мещанства. Он, повидимому, нарочно избрал гекзаметры Клейста, чтобы заставить читателя томиться той же скукой, на какую, благодаря своей трусливой морали, оба влюбленных обрекли себя в течение долгого испытательного периода.

Еврей-старьевщик.

В описании еврея-старьевщика есть наивные, но все же неплохие, места.

Die Woche flieht, die Woche bietet
Nur fünf der Tage deinem Fleiss.
O spute dich, du Atemloser,
Wirb, wirb um deinen Tagelohn.
Am Samstag will es nicht der *Vater*,
Am Sonntag will es nicht der *Sohn*.¹

Позже, однако, Бек просто впадает в либерально-младогерманскую слякучью болтовню об евреях. Поэзия здесь исчезает настолько, что кажется, будто слушаешь золотушную речь в золотушной саксонской сословной палате. Ты не можешь стать ни ремесленником, ни земледельцем, ни профессором, но медицинская карьера тебе открыта. Это поэтически выражено так:

Sie gönnen dir kein Handgewerbe,
Sie gönnen dir kein Ackerfeld,
Du darfst ja nicht zur Jugend sprechen
Von eines Lehrers hohem Pfuhl,
.
Du darfst im Land die Kranken heilen.²

Нельзя ли было бы изложить в стихах прусское собрание законов или переложить на музыку стихи господина Людвига Баварского?

¹ Неделя летит, неделя оставляет
Лишь пять дней для твоего труда.
О, горопись ты, не знающий передышки,
Трудись, трудись из-за твоего заработка.
По субботам не позволяет этого *Отец*,
По воскресеньям не позволяет этого *Сын*.

² Они не допускают тебя к ремеслу,
Они не допускают тебя к пашне.
Ты не можешь говорить с молодежью
С высокой кафедры учителя,
.
Ты можешь лечить больных в стране.

После того как еврей продекламировал своему сыну:

Du musst ja schaffen, musst erraffen
In steter Gier nach Gut und Geld,¹

он его утешает:

Doch ehrlich bleibst du fort und fort.²

Лорелей.

Эта Лорелей — не кто иная, как золото.

Da trat in des Gemüttes Reinheit
Mit breiten Wogen die Gemeinheit.
Und jedes Heil ertrank.³

В этом душевном потоке и гибели счастья — в высшей степени унылая смесь пошлого и высокопарного. За этим следуют тривиальные тирады о безнравственности золота.

Sie [die Minne] späht nach Talern, nach Juwelen,
Nach Herzen nicht und gleichen Seelen
Und eines Hüttleins Raum.³

Если бы влияние денег ограничивалось тем, что они сделали бы непопулярным немецкое искание сердец и родственных душ и шиллеровской *химисины*, в которой находит приют любящая пара, можно было бы уже признать за ними революционную роль.

Песня барабанщика.

В этом стихотворении наш социалистический поэт опять обнаруживает, как его немецкая мещанская ограниченность вновь и вновь портит и тот слабый эффект, который он вызывает.

Под звуки музыки выступает полк. Народ призывает солдат объединиться с ним. Читатель обрадован: поэт, наконец, проявил мужество. Но, увы, в конце концов, мы узнаем, что речь идет

¹ Ты должен работать, должен жадно бороться
Из-за имущества и денег,

² Но *честным* останешься ты всегда.

³ Тут в чистые покои духа
Широкой волной влилась подлость,
И всякое счастье утонуло в ней.

³ Она [любовь] ищет талеры, драгоценности,
Не ищет сердец и родственных душ,
Не ищет счастья в хижине.

лишь об именинах императора, и обращение народа — это лишь мечтательная, тайная импровизация юноши на параде,—вероятно, гимназиста.

Так мечтает юноша, у которого пылает сердце. Та же тема у Гейне была бы горькой сатирой на немецкий народ; у Бека же получилась лишь сатира на самого поэта, отождествляющего себя с немощно мечтающим юношей. У Гейне мечты буржуа намеренно были бы взвинчены, чтобы затем упасть до уровня действительности. У Бека сам поэт солидаризируется с этими фантазиями и, конечно, терпит ущерб, когда низвергается в мир действительности. Первый вызывает в буржуа возмущение своей дерзостью, второй успокаивает его родством душ. Пражское восстание дало ему, впрочем, возможность воспроизвести кое-что совсем не похожее на этот фарс

Переселенец.

Ich brach den Zweig vom Stamme,
Der Förster gab Rapport,
Da band der Herr mich stramme
Und schlug mir diese Schramme.¹

Не хватает только, чтобы и *рапорт* лесничего был изложен такими стихами.

Деревянная нога.

Здесь поэт пытается рассказывать и терпит жалкую неудачу. Эта полная неспособность рассказывать и изображать, обнаруженная всей книгой, характерна для поэзии истинного социализма. Истинный социализм в своей неопределенности не предоставляет возможности связывать отдельные факты, о которых нужно рассказать, с общими условиями, что помогло бы выявить на этих фактах поражающее и важное в них. Поэтому истинные социалисты и в своей прозе избегают истории. Там, где они не могут уклониться от нее, они довольствуются либо философской конструкцией, либо сухо и скучно регистрируют отдельные несчастные случаи и *социальные казусы*. И всем им и в прозе, и в поэзии не хватает таланта рассказчика, что связано с неопределенностью всего их мировоззрения.

¹ Я отломил ветку от ствола,
Лесничий подал рапорт,
Помещик крепко связал меня
И ударил меня так, что остался у меня этот шрам.

Картофель.

Мелодия: Утренняя заря, утренняя заря!

Heilig Brot,
 Das du kamst für unsre Not,
 Das du kamst *im Himmels Willen*
 In die Welt, das Volk zu stillen,
 Fahre wohl, du bist nun tot! ¹

Во второй строфе он называет картофель

Den kleinen Rest,
 Der aus Eden uns geblieben, ²

и так характеризует картофельную болезнь:

Unter Engeln tobt die Pest! ³

В третьей строфе Бек советует *бедняку* надеть траур:

Armer Mann!
 Gehe hin, leg' Trauer an.
 Völlig bist du nun gerichtet.
 Ach, dein Letztes ist vernichtet,
 Weine, wer noch weinen kann!

 Tot im Sand
 Liegt dein *Gott*, du trauernd Land,
 Lass jedoch den Trost dir sagen:
 Kein Erlöser ward erschlag'n,
 Der nicht wieder auferstand! ⁴

¹ Святой хлеб,
 Пришедший к нам в нашей нужде,
 Пришедший *волей неба*
 В мир, чтобы накормить народ,
 Покойся, теперь ты мертв.

² Маленькой частицей,
 Оставшейся нам из рая.

³ Среди ангелов свирепствует чума!

⁴ Бедняк!
 Поди, надень траур.
 С тобой конченс.
 Последнее, что у тебя было, уничтожено.
 Плачь, кто еще может плакать.

.
 Мертв в песке
 Лежит твой *бог*, опечаленная страна.
 Но скажи себе в утешение:
 Ни один искупитель не был убит,
 Без того, чтобы опять не воскреснуть.

Плачь, кто может плакать, с поэтом. Если бы ему не доставало энергии, как его бедняку недостает здорового картофеля, он радовался бы тому веществу, которое получено было прошлой осенью с картофелем, этим богом буржуазии, одним из устоев существующего буржуазного общества. Немецкие землевладельцы и мещане могли бы без всякого вреда петь это стихотворение в церквах.

Бек заслуживает за него венка из цветов картофеля.

Старая дева.

Мы не будем подробно разбирать это стихотворение, так как оно бесконечно и с невыразимой скукой растянулось на девяносто страниц. Старая дева, в цивилизованных странах существующая в большинстве случаев только номинально, представляет из себя в Германии значительное «социальное явление».

Самая обычная манера социалистически-самодовольного рассуждения заключается в том, чтобы говорить: все хорошо, только бы не было бедных. Такое рассуждение может быть высказано по любому вопросу. Подлинное содержание его заключается в филантропически-фарисейском мещанстве, совершенно согласном с *положительными* сторонами существующего общества и причитающем лишь по поводу того, что на ряду с этим существует и *отрицательная* сторона — бедность; мещанство это целиком связано с современным обществом и желало бы, чтобы оно продолжало существовать, но *без условий его существования*.

Бек часто повторяет это рассуждение в своем стихотворении в чрезвычайно тривиальной форме, напр. по случаю Рождества:

O, Zeit, die mild des Menschen Herz erbaut,
 Du wärest milder und doppelt traut —
 Wenn nicht in der Brust des *armen* Buben,
 Der elternlos in die festlichen Stuben
 Des reichen Spielgenossen schaut,
 Der Neid mit seiner ersten Sünde
 Bei wüster Gotteslästerung stünde!
 Ja.
 . . . süßer Klänge beim Weihnachtlicht,
 Der Kinder Jubel in meinem Gehöre,
 Wenn nur in feuchten Höhlen nicht
 Auf schlechter Streu das Elend fröre.¹

¹ О, время, делающее человеческое сердце кротким,
 Ты было бы еще лучше и еще милее,

В этом бесформенном бесконечном стихотворении встречаются, впрочем, отдельные хорошие места, например изображение люмпен-пролетариата:

Was täglich und unverdrossen
 Nach Kehrriecht sucht in verpesteten Gossen;
 Was wie der Spatz nach Futter schweift,
 Was Töpfe flickt und Scheeren schleift,
 Was starren Fingers die Wäsche steift,
 Was keuchend schiebt des Karren Wucht,
 Beladen mit kaum gereifter Frucht,
 Und weinerlich singt: Wer kauft, wer kauft?
 Was um den Heller im Schmutze rauft,
 Was täglich an den Steinen der Ecken
 Den Gott besingt, an den es glaubt,
 Kaum wagt die Hände hinzustrecken,
 Dieweil das Betteln nicht erlaubt;
 Was tauben Ohrs in Hungersnöten
 Die Harfen spielt und bläst die Flöten,
 Jahraus, jahrein denselben Chor —
 Vor allen Fenstern, an jedem Tor —
 Die Kindermagd zum Tanze stimmt,
 Doch selber nicht das Lied vernimmt;
 Was Nachts die grosse Stadt erhellt
 Und selbst kein Licht im Hause hat;
 Was Lasten trägt, was Holz zerspellt,
 Was herrenlos, was herrensatt;
 Was beten und kuppeln und stehlen läuft,
 Den Rest des Gewissens wüst versäuft.¹

Если бы в груди *бедного* мальчика,
 Сироты, заглядывающего в праздничные комнаты
 Богатого товарища,
 Не пробуждалась зависть, этот первый грех,
 Не раздавалось бы бурное богохульство.
 Да
 . . . слаще звучала бы при рождественском освещении

Радость детей в моих ушах,
 Если бы в сырых грущобах
 Не зябла бедность на плохой соломе.

¹ Кто каждый день неустанно
 Ищет отбросов в зловонных сточных канавах;
 Кто мечется, как воробей, в поисках пищи,
 Кто чинит горшки и точит ножницы,
 Кто оцепеневшими пальцами крахмалит белье,
 Кто со стоном толкает тяжелую тележку,
 Нагруженную едва созревшими плодами,
 И плаксиво поет: купите, купите!
 Кто ради гроша копаются в грязи;

Бек впервые подымается здесь над уровнем обычной немецко-буржуазной морали, вкладывая эти стихи в уста старого нищего, дочь которого просит отца отпустить ее на свидание с офицером. Он рисует в приведенных выше стихах те классы, к которым будет принадлежать и ее ребенок, и черпает возражения дочери непосредственно из условий ее существования, — этого нельзя не признать, не читая ей при этом моральной проповеди.

Не укради.

Нравственный слуга одного русского, которого сам слуга называет хорошим баринном, обкрадывает ночью своего как будто задремавшего хозяина, чтобы помочь своему старому отцу. Русский крадется за ним и, глядя через его плечо, читает следующее письмецо, которое тот пишет старику.

Nimm das Geld! Ich hab gestohlen!
 Vater, bete zum Erlöser,
 Dass er mir von seinem Throne
 Einst Verzeihung senden möge!
 Schaffen will ich und verdienen
 Von der Streu den Schlummer hetzen,
 Bis ich meinem braven Gebieter
 Das Geraubte kann ersetzen.¹

Кто ежедневно на углах улиц
 Воспеваеа бога, в которого верит,
 И едва решается протянуть руку за подающим,
 Так как нищенство запрещено;
 Кто, несмотря на глухоту, из-за нужды
 Играет на арфе или на флейте
 Из года в год все ту же мелодию
 Под всеми окнами, перед всеми дверьми
 И своей музыкой заставляет приплясывать няньку,
 А сам не слышит своих звуков;
 Кто ночью освещает большой город,
 А дома сидит в темноте.
 Кто носит тяжесть, кто колет дрова,
 Кто бродит без хозяина,
 Кто сводничает и ворует
 И беспутно пропивает последние остатки совести.

¹ Возьми деньги. Я украл их.

Отец, моли Спасителя,
 Чтобы он с высоты своего трона
 Даровал мне когда-нибудь прощение.
 Я хочу трудиться и зарабатывать,
 Гнать сон от своего ложа,
 Пока я не возьму моему доброму барину
 Того, что я у него украл.

Добрый барин нравственного слуги так растроган этим ужасным открытием, что он не может произнести ни слова и, благословляя, кладет свою руку на голову слуги.

Aber der ist eine *Leiche*
Und es brach sein Herz im Schrecken. ¹

Можно ли написать что-либо более комичное? Бек опускается здесь ниже уровня Коцебу и Ифлянда; трагедия слуги превосходит даже буржуазную трагедию.

Новые боги и старые песни.

В этом стихотворении высмеиваются — и часто удачно — Ронге, друзья света, новые евреи, парикмахер, прачка, лейпцигский буржуа с его умеренной свободой. Под конец поэт оправдывается перед филистерами, которые будут обвинять его за это, хотя и он

Das Lied von Licht
In Sturm und Nacht hinausgesungen. ²

Он излагает затем социалистически модифицированное учение о братской любви, обосновываемое своеобразным натур-деизмом, и практическую религию и противопоставляет таким образом одно свойство своих противников другому их свойству. Так, Бек никогда не может кончить, пока он не погубит самого себя, так как он сам глубоко связан с немецким убожеством и слишком много рассуждает о себе, о поэте и его поэзии. Поэт — у *современных* лириков вообще баснословно кургузая, легкомысленно топорщащаяся фигура. Это не активное существо, стоящее посреди действительного общества, это «поэт», парящий в облаках, но облака эти — не что иное, как туманные фантазии немецкого буржуа. Бек постоянно переходит от самой вздорной высокопарности к самой трезвой буржуазной прозе, от мелкого воинственного юмора против существующих условий к сентиментальному примирению с ними. То-и-дело он спохватывается, что ведь это он-то и есть *de quo fabula narratur*. Его стихотворения оказывают поэтому не революционное действие, а

Wie drei Brausepülverchen,
Das Blut zu stillen. ³

(стр. 293.)

¹ Но тот уже мертв,
Сердце его разорвалось в ужасе.

² Песню о свете
Пропел навстречу ночи и буре.

³ Как три шипучих порошка,
Которые останавливают кровь.

Весь том заканчивается поэтом очень кстати следующей бес-
сильной жалобой:

Wann soll es auf der Erden,
O Gott, verträglich werden?
Ich bin an Sehnsucht doppelt frisch,
Drum an Geduld ein doppelt Müder.¹

Бек бесспорно обладает большим талантом и от природы большей энергией, чем большинство немецкой литературной мелкоты. Его единственное несчастье — это немецкое убожество, к числу теоретических форм которого принадлежат и пышно-слезливый социализм, и младогерманские реминисценции Бека. Пока общественные противоречия не примут в Германии более острой формы, благодаря более определенному выделению классов и быстрому завоеванию политической власти буржуазией, в самой Германии немецкому поэту ждать многого не приходится. С одной стороны, для него невозможно выступать революционно в немецком обществе, так как сами революционные элементы еще слишком неразвиты; с другой стороны, окружающее его со всех сторон хроническое убожество действует слишком расслабляюще, лишая его возможности подняться над ним, чувствовать себя свободным от него и высмеивать его без риска самому постоянно впасть в него. Всем немецким поэтам, у которых есть какой-нибудь талант, пока можно посоветовать только одно — переселиться в цивилизованные страны.

¹ Когда же, господи, на земле
Можно будет сносно жить?
Я вдвойне бодр в тоске
И вдвойне устал в терпении.

II.

КАРЛ ГРЮН: «О ГЕТЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ». ¹

Господин Грюн отдыхает от тревог своего «Социального движения» во Франции и Бельгии», бросая взгляд на социальный застой у себя на родине. Для разнообразия он решил взглянуть на старого Гете «с человеческой точки зрения». Сменив семимильные сапоги на домашние туфли и надев плафрок, он самодовольно потягивается в своем кресле: «Мы не пишем комментариев, мы берем лишь то, что совершенно ясно» (стр. 244). Он очень облегчил себе задачу: «Розы и камелии я поставил у себя в комнате, резеду и фиалки выкинул за окошко» (стр. III). «И прежде всего никаких комментариев. Но вот собрание сочинений на стол, немного запаха роз и резеды в комнате! Посмотрим, как далеко мы подвинемся. — Плут дает больше, чем он имеет» (стр. IV, V).

При всей своей nonchalance господин Грюн совершает в своей книге величайшие подвиги. Но это не удивляет нас после того, как мы слышали от него самого, что он — человек, который «готов был прийти в отчаяние от ничтожества общественных и личных отношений» (стр. III), «чувствовал на себе узду Гете», когда перед ним вставала опасность затеряться в чрезмерном и «бесформенном» (там же), и имеет в себе «высокое чувство человеческого призвания», «которому принадлежит наша душа — хотя бы это вело в ад» (стр. IV). Мы уже больше ничему не удивляемся, после того как мы узнали, что уже раньше он однажды «обратился с вопросом к человеку Фейербаха», с вопросом, на который «легко было бы ответить», но который все же для указанного человека оказался, повидимому, слишком трудным (стр. 277); когда мы видим, как господин Грюн на стр. 198 «выводил самосознание из тушика», на стр. 102 хочет даже отправиться ко «двору русского императора», а на стр. 305 громовым голосом кричит в мир: «Анафема тому, кто с помощью закона хочет создать новое

¹ Karl Grün, Ueber Goethe vom menschlichen Standpunkte. Darmstadt 1846.

положение, которое должно быть длительным. Мы ко всему готовы, когда г. Грюн на стр. 187 собирается «поноухать идеализм» («seine Nasenspitze an den Idealismus legen») и «превратить его в уличного мальчишку», когда он строит расчеты о том, как бы «стать собственником», «богатым, богатым собственником, иметь возможность платить налог, дающий право на избрание в парламент человечества, на внесение в список присяжных, которые решают о человеческом и нечеловеческом».

Разве это может быть для него слишком трудным, для него, стоящего «на безыменной почве общечеловеческого!» (стр. 182). Его не страшат даже «ночь и ее ужасы» (стр. 312): убийство, предубодеяние, воровство, проституция, порок и заносчивость. Правда, на стр. 99 он признается, что он уже «испытал бесконечную боль, когда человек ощущает в себе свое ничтожество»; именно так он «ловит» себя на глазах у публики по поводу фразы: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir», при чем происходит это так: «В этих словах как бы одновременно ударяют гром и молния и в то же время разверзается земля, разрывается завеса перед храмом, раскрываются могилы, — наступает помрачение кумиров и древний хаос — звезды опять сталкиваются друг с другом, огромный хвост кометы мгновенно сжигает маленькую землю и все, что остается, — это лишь копоть, дым и пар. И если представить себе это ужасное разрушение, — все это *еще ничто* по сравнению с разрушением, которое заключается в этих десяти словах (стр. 235, 236). Правда, «на крайней границе теории», на стр. 295, у господина Грюна «как бы ледяной поток бежит по спине и подлинный ужас заставляет содрогаться все члены», но он все это подавляет, так как он ведь член «великого масонского ордена человечества» (стр. 317). Take it all in all, обладая такими качествами, господин Грюн будет иметь успех на любом поприще. Прежде чем мы перейдем к его пространным писаниям о Гете, отправимся вместе с ним в некоторые побочные области его деятельности.

Прежде всего в область естествознания, так как «знание природы», согласно стр. 247, это «единственная положительная наука» и в то же время «не в меньшей мере завершение гуманистического (vulgo: человеческого) человека». Соберем тщательно все положительное, что нам сообщает господин Грюн об этой единственно положительной науке. Он не вдается здесь, правда, в подробности и лишь, прохаживаясь в сумерки по своей комнате, роняет несколько замечаний, но, «тем не менее», он совершает при этом «самые положительные чудеса».

По поводу приписываемой Гольбаху «*Système de la nature*» он делает открытие: «Здесь невозможно доказывать, как система природы на полпути обрывается, обрывается в той точке, где из необходимости церебральной системы должны были бы пробиться (*herausschlagen müssten*) свобода и самоопределение» (стр. 70). Господин Грюн мог бы совершенно точно указать точку, в которой «из необходимости церебральной системы» «пробивается» нечто иное, и человек, таким образом, получает пощечины и на внутренней стороне черепа. Господин Грюн мог бы дать самые точные и подробные сведения о том, что до сих пор совершенно не поддавалось наблюдению, именно о процессе производства сознания в мозгу. Но, к сожалению, в книге о Гете с человеческой точки зрения «это не может быть изложено».

Дюма, Плэйфер (Playfair), Фарадей и Либих полагали до сих пор, что кислород лишен как вкуса так и запаха. Но господин Грюн, зная, что все *кислое щиплет*, язык, объявляет на стр. 75 кислород «едким». Точно так же он обогащает на стр. 229 новыми фактами и акустику, и оптику; испуская из себя «очистительный шум и сияние», он ставит вне сомнения очистительную силу звука и света.

Не довольствуясь этим блестящим обогащением «единственно положительной науки», не довольствуясь и теорией о внутренних пощечинах, господин Грюн открывает на стр. 93 новую кость: «Вертер был человеком, которому недостает позвоночной кости, который не стал еще субъектом». Господствовавшее до сих пор ошибочное воззрение сводилось к тому, что у человека имеется около двух дюжин позвонков. Господин Грюн не только сводит эти многочисленные кости к нормальному единству, но и открывает к тому же, что эта исключительная позвоночная кость обладает замечательным свойством делать человека «субъектом». Субъект господина Грюна заслуживает за это открытие особой позвоночной кости.

Наш естествоиспытатель — мимоходом — следующим образом формулирует под конец свою «единственно положительную науку» о природе:

Разве природы ядро
Не в человеческом сердце?

Ядро природы — в человеческом сердце. В человеческом сердце — ядро природы. Природа имеет свое ядро в человеческом сердце (стр. 250). С разрешения господина Грюна мы добавляем: «В человеческом сердце — ядро природы. В сердце — ядро природы человека. В человеческом сердце природа имеет свое ядро».

На этом выдающемся «положительном» открытии мы оставляем область естествознания, чтобы перейти к *экономии*, которая, к сожалению, согласно вышеизложенному, *не является* «положительной наукой». Тем не менее господин Грюн действует и здесь, хотя и на авось, но в высшей степени «положительно».

«Индивид выступил против индивида, и *так* возникла всеобщая конкуренция» (стр. 241). Это значит, что смутное и таинственное представление немецких социалистов о «всеобщей конкуренции» «вступило в жизнь», и так возникла конкуренция. Аргументы не приводятся, несомненно потому, что экономия не есть положительная наука.

«В средние века презренный металл был еще связан верностью, любовью и благочестием; XVI столетие разбило эти оковы, и деньги стали свободны» (стр. 241). Мак-Коллох и Бланки, которые до сих пор находились во власти заблуждения, будто деньги в средние века были связаны благодаря отсутствию сообщения с Америкой и благодаря гранитным массам, прикрывавшим в Андах жилы «презренного металла», — Мак-Коллох и Бланки будут голосовать за посылку господину Грюну благодарственного адреса за это открытие.

Истории, которая тоже не есть «положительная наука», господин Грюн пытается придать положительный характер, противопоставляя фактам традиции ряд фактов своего воображения.

На стр. 91 «Катон Аддисона закалывает себя кинжалом на английской сцене за сто лет до Вертера», обнаруживая, таким образом, поразительное пресыщение жизнью. Оказывается, что он закалывает себя тогда, когда его автор, родившийся в 1672 году, был еще младенцем.

На стр. 175 господин Грюн исправляет дневники Гете, указывая, что в 1815 году свобода печати не была объявлена немецкими правительствами, но лишь «обещана». Таким образом, сном являются все те ужасы, которые нам рассказывают зауерландские и прочие филистеры о четырех годах свободы печати, от 1815 до 1819 г., — о том, как все их мелкие гадости и скандальные истории были извлечены прессой на свет божий и как, наконец, союзные акты 1819 г. положили конец этому террору публичности.

Господин Грюн рассказывает нам далее, что свободный имперский город Франкфурт отнюдь не был государством, а «лишь частью гражданского общества» (стр. 19). «Вообще в Германии нет государств, и теперь постепенно начинают, наконец, понимать своеобразные преимущества этой германской безгосударственности»

(стр. 257), каковые преимущества заключаются прежде всего в большой доступности колотушек. Немецкие самодержцы могут, таким образом, сказать: «La société civile, c'est moi», — причем им все же придется плохо, так как, согласно стр. 101, гражданское общество лишь «абстракция».

Но если у немцев нет государства, зато у них имеется «огромный вексель на правду, и этот вексель должен быть реализован, оплачен, превращен в звонкую монету» (стр. 5). Этот вексель, несомненно, оплачивается в той же конторе, где господин Грюн платит «налог, дающий право на избрание в парламент человечества».

Важнейшие «положительные» разъяснения даются нам относительно французской революции, о «значении» которой автор, отступая от последовательности изложения, держит «особую речь». Он начинает с изречения оракула: противоречие между историческим правом и правом рациональным (Vernunftrecht) имеет большое значение, так как и то, и другое — исторического происхождения. Отнюдь не желая преуменьшать значение столь же нового, как и важного, открытия господина Грюна, что и рациональное право сложилось в процессе истории, мы позволяем себе лишь скромно заметить, что тихий разговор с глазу на глаз в тихой комнатке с первыми томами «Histoire parlementaire» Бюше должен был бы продемонстрировать ему, какую роль это противоречие играло в революции.

Господин Грюн предпочитает, однако, подробно доказывать нам испорченность революции, что сводится в конце концов к одному единственному, очень тяжкому упреку: «понятие «человек» не было исследовано». Такое грубое упущение действительно непростительно. Если бы революция исследовала «понятие человек», то не было бы и речи ни о девятом термидора, ни о восемнадцатом брюмера; Наполеон удовольствовался бы чином генерала и, может быть, на старости лет написал бы устав строевой службы «с человеческой точки зрения». — Далее мы узнаем в разъяснение «значения революции», что деизм в основе своей не отличается от материализма и почему не отличается. Это дает нам возможность с удовольствием убедиться, что господин Грюн еще не совсем забыл своего Гегеля. Сравним, напр., «Историю философии» Гегеля, т. III, стр. 458, 459, 463 второго издания. — Далее, опять-таки для разъяснения «значения революции», сообщается кое-что о конкуренции (важнейшее отсюда мы уже изложили выше) и приводятся длинные извлечения из работ Гольбаха, чтобы доказать, что он выводит преступления из государства; не менее разъясняется «значение революции» большим

числом выдержек из «Утопии» Томаса Мора, относительно которой разъясняется, что в ней в 1516 году пророчески изображена с точностью до мелочей *теперешняя Англия* (стр. 225). И, наконец, после всех этих разбросанных мимоходом на 36 страницах *notes* и *considérations* следует окончательный приговор на стр. 226: «Революция, это — осуществление макиавеллизма». Предостерегающий пример для всех, кто еще не исследовал понятия «человек»!

В утешение бедных французов, которые не достигли ничего, кроме осуществления макиавеллизма, господин Грюн на стр. 73 проливает каплю бальзама: «Французский народ в XVIII столетии был Прометеем среди народов, противопоставлявшим *человеческие права* правам богов». Не будем цепляться за то, что таким образом «понятие человек» все же должно было быть «исследовано», или за то, что человеческие права «противопоставлялись» не «правам богов», а правам короля, дворянства и попов; оставим эти мелочи и окутаем нашу голову тихим трауром: здесь с господином Грюном случилось нечто «человеческое».

Господин Грюн забывает, что в более ранних своих произведениях (см., напр., статью «Социальное движение» в I томе «Рейнских летописей» и др.) он не только размазал и «популяризовал» известный ход мыслей о человеческих правах из «Немецко-французских летописей», но даже с усердием подлинного плагиатора утрировал его до бессмыслицы. Он забывает, что клеймил там человеческие права, как права *épicuriens*, филистеров и т. д., и теперь вдруг выступает за «человеческие права», за права «человека». То же случается с г. Грюном на стр. 251 и 252, где «право, которое рождается с нами», «внезапно превращается в твое естественное право, твое человеческое право, право внутренне определять свои действия и наслаждаться своим произведением», хотя Гете прямо противопоставляет его «закону и правам», которые «как вечная болезнь *передаются по наследству*», т. е. традиционному праву *ancien régime*, с которым находятся в противоречии лишь «прирожденные неотчуждаемые человеческие права» революции, но отнюдь не права «человека». На этот раз господин Грюн должен был забыть то, что писал раньше, чтобы Гете не потерял человеческой точки зрения.

Впрочем, господин Грюн не совсем еще забыл то, чему он научился из «Немецко-французских летописей» и других книг того же направления. На стр. 210 он определяет, например, тогдашнюю французскую свободу как свободу от несвободного (!) всеобщего (!!)

существа (!!!). Это «Unwesen», очевидно, возникло из «*Gemeinwesen*», стр. 204 и 205 «Немецко-французских летописей», путем перевода

этих страниц на разговорный язык современного немецкого социализма. Истинные социалисты вообще имеют обыкновение, когда они встречаются с ходом мыслей, который им непонятен, так как абстрагирован от философии и содержит юридические, экономические и т. д. выражения, мигом сводить его к короткой фразе, напичканной философскими терминами, и заучивать этот вздор наизусть для любого употребления. Таким именно образом юридическое «*Ge-meinwesen*» «Немецко-французских летописей» превращено в приведенное выше философски-бессмысленное «*allgemeines Wesen*»; политическое освобождение, демократия нашли в «освобождении от несвободного всеобщего существа» свою философскую краткую формулу, а ее истинный социалист может уже положить в карман, не опасаясь, что бремя его учености окажется для него слишком тяжелым. На стр. XXVI господин Грюн эксплуатирует в таком же роде то, что в «Святом семействе» говорится о сенсуализме и материализме, и использует сделанное в этой работе указание, что у материалистов прошлого столетия, между прочим у Гольбаха, можно найти точки соприкосновения с социалистическим движением наших дней, для того, чтобы привести упомянутые выше цитаты из Гольбаха и дать к ним социалистические пояснения. Переходим к *философии*. К ней господин Грюн питает глубокое презрение. Уже на стр. VII он сообщает нам, что «ему более нечего делать с религией, философией и политикой», что все они «относятся к прошлому и никогда более не подымутся после пережитого ими крушения» и что от всех них и, в частности, от философии он «не сохраняет ничего, кроме человека и общественного социального существа». Общественного социального существа и упомянутого выше человеческого человека во всяком случае достаточно, чтобы утешить нас по поводу окончательной гибели религии, философии и политики. Но господин Грюн слишком скромн. Он не только «сохранил» из философии «гуманистического¹ человека» и всевозможные «существа», но счастливо обладает и значительной, хотя и расплывчатой, массой гегелевской традиции. Да и могло ли это быть иначе, после того как он несколько лет назад не раз благочестиво преклонял колени перед бюстом Гегеля. Нас, вероятно, попросят не касаться таких смешных и скандальных *personalia*; но господин Грюн сам доверил эту тайну печати. На этот раз мы не скажем — где. Мы уже столько раз указывали господину Грюну его источники, отмечая и главу и стих, что можем потребовать хоть раз такой же услуги и от господина Грюна. Чтобы еще

¹ В печатном тексте, повидимому, опечатка: *humoristischen Menschen*.

раз доказать ему нашу готовность к услугам, мы доверим ему тайну, что окончательное решение вопроса о свободе воли, приводимое им на стр. 8, он заимствовал из «Traité de l'Association» Фурье, из главы «Du libre arbitre». Лишь замечание, что теория свободной воли есть «заблуждение немецкого духа», является своеобразным заблуждением самого господина Грюна.

Наконец, мы приближаемся к Гете. На стр. 15 господин Грюн доказывает, что Гете имеет право на существование. Гете и Шиллер, — это разрешение противоречия между «бездеятельным наслаждением», т. е. Виландом, и «чуждым наслаждения действием», т. е. Клопштоком. «Лессинг первый поставил человека на голову» (сумеет ли господин Грюн проделать за ним этот акробатический фокус?). — В этой философской конструкции мы имеем сразу все источники господина Грюна. Форма конструкции, основа целого — это общеизвестный гегелевский ловкий прием примирения противоречий (der weltbekannte Hegel'sche Kunstgriff der Vermittelung der Gegensätze). «Поставленный на голову человек», это — гегелевская терминология в применении к Фейербаху. «Бездеятельное наслаждение» и «чуждое наслаждения действие», это — противоречие, на котором господин Грюн заставляет Виланда и Клопштока разыгрывать приведенные выше вариации, заимствовано из собрания сочинений М. Гесса. Единственный источник, которого здесь недостает, это сама история литературы, которая понятия не имеет о приведенном выше хламе и поэтому с полным основанием игнорируется господином Грюном.

Так как мы как раз говорим о Шиллере, уместно привести следующее замечание господина Грюна: «Шиллер был всем, чем только можно быть, не будучи только Гете» (стр. 311). Pardon, ведь можно было бы быть и господином Грюном. — Впрочем, здесь наш автор пашет волами Людвига Баварского:

Rom, dir fehlt das, was Neapel hat, diesem just was du besitzt;
Wäret ihr beide vereint, wär's für die Erde zu viel.¹

Этой исторической конструкцией подготовлено появление Гете в немецкой литературе. «Человек» Лессинга, «поставленный на голову», только в руках Гете может проделывать дальнейшую эволюцию. Господину Грюну принадлежит заслуга открытия в Гете

¹ Рим, тебе недостает того, что имеет Неаполь. Неаполю
как раз того, что есть у тебя;
Если бы вы были соединены вместе, это было бы слишком
много для земли.

«человека», — не того естественного человека, веселого и плотского, который рождается от мужчины и женщины, а человека в высшем смысле, человека как такового, *carut mortuum, cousin germain* гомункулуса из «Фауста», не человека, о котором говорит Гете, а «человека», о котором говорит господин Грюн. Но кто этот «человек», о котором говорит Грюн?

«В Гете все *человеческое*» (стр. XVI). На стр. XXI мы узнаем, что Гете представлял себе и изображал *человека таким, каким мы хотели бы его сегодня осуществить в действительности*. На стр. XXII: «Гете в настоящее время, — таковы именно его произведения, — есть *подлинный кодекс человечества*». Гете — это *«совершенная человечность»* (стр. XXV). «Поэтические произведения Гете — *это идеал человеческого общества*» (стр. 12). «Гете не мог стать национальным поэтом, так как он был призван быть *поэтом человеческого*» (стр. 25). И все же на стр. 14 *«наш народ»*, т. е. немцы, должен в Гете «видеть в проясненном виде свое собственное существо». Здесь нам дается первое разъяснение «существа человека», и мы при этом тем более можем положиться на господина Грюна, что он, несомненно, чрезвычайно глубоко исследовал «понятие человек». Гете так представляет «человека», как господин Грюн его «осуществляет» в действительности, и в то же время он представляет немецкий народ; таким образом, «человек» есть не кто иной, как «проясненный немец». Это подтверждается повсюду. Подобно тому как Гете «не национальный поэт», но «поэт человеческого», так и немецкий народ «не национальный» народ, но народ «человеческого». Поэтому на стр. XVI мы читаем: «Поэтические произведения Гете, возникнув из жизни, не имели и не имеют ничего общего с действительностью». Точь-в-точь, как и «человек», как и немцы. А на стр. 4: «И сейчас еще *французский социализм* хочет осчастливить *Францию*; *немецкие же* писатели имеют перед своими глазами весь *род человеческий*» (между тем как «род человеческий» имеет их в большинстве случаев не «перед глазами», а перед отдаленной и противоположной частью тела). Так господин Грюн во многих местах выражает свою радость по поводу того, что Гете хотел «освободить человека изнутри» (см., напр., стр. 225), но из этого чисто германского освобождения все еще ничего не выходит.

Констатируем пока это первое разъяснение. «Человек» — это «*проясненный немец*».

Проследим, в чем заключается признание господином Грюном Гете «поэтом человеческого», признание «человеческого содержания в Гете». Мы увидим, что господин Грюн открывает здесь

сокровеннейшие мысли истинного социализма, как и вообще в своем усердии перекричать всю свою компанию он выбалтывает миру вещи, о которых прочая братия предпочла бы хранить молчание. Ему, впрочем, тем легче было превратить Гете в «поэта человеческого», что Гете сам часто в несколько эмфатическом смысле употреблял слова «человек» и «человеческий». Гете употреблял их, правда, в том смысле, в каком они употреблялись в его время и позже Гегелем, когда слово человеческий применялось по отношению к грекам в противоположность языческим и христианским варварам, задолго до того, как эти выражения получили у Фейербаха свое таинственно-философское значение. У Гете в большинстве случаев они имеют совершенно нефилософское, телесное значение. Лишь господину Грюну принадлежит заслуга превращения Гете в ученика Фейербаха и в истинного социалиста.

О самом Гете мы не можем, конечно, говорить здесь подробно. Мы обращаем внимание лишь на один пункт. — Гете в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и вообще во время итальянского путешествия; он восстает против него, как Гец, Прометей и Фауст, осьпает его горькой насмешкой Мефистофеля. Или он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его «Кротких ксений» и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в «Маскараде», защищает его от напирającego на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, что Гете признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гете то колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирующий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гете был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (*misère*) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить. Гете был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу; он был слишком про-

ницателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его силы, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка. Перед этой дилеммой — существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать, — перед этой дилеммой Гете находился постоянно, и чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, *de guerre lasse*, перед незначительным веймарским министром. Мы не упрекаем Гете, как это делают Берне, Менцель, за то, что он не был либерален, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные Авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и *menus plaisirs* ничтожнейшего немецкого двора. Мы вообще не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точки зрения; мы не измеряем Гете ни моральным, ни политическим, ни «человеческим» масштабом. Мы не можем здесь представить Гете в связи со всей его эпохой, с его литературными предшественниками и современниками в его развитии и в жизни. Мы ограничиваемся поэтому лишь тем, что констатируем факт.

Мы увидим, с какой из указанных сторон произведения Гете являются «подлинным кодексом человечества», «совершенной человечностью», «идеалом человеческого общества».

Обратимся сначала к гетевской критике существующего общества, чтобы затем перейти к положительному изложению «идеала человеческого общества». При богатстве содержания книги Грюна мы, само собой понятно, приведем в обоих случаях лишь несколько наиболее характерных блестящих мест.

Гете в качестве критика общества действительно совершает чудеса. Он «проклинает цивилизацию» (стр. 34 — 36), повторяя романтические жалобы, что цивилизация стирает в человеке все характерное, индивидуальное. Он «предсказывает мир буржуазии» (стр. 79), изображая в «Прометее» *tout bonnement* возникновение частной собственности. Он — на стр. 229 — «судья мира... Минос цивилизации». Но все это лишь мелочи.

На стр. 253 господин Грюн цитирует «*Katechisation*»:

Откуда у тебя, дитя, дары все эти?
 Ведь без источника нет ничего на свете. —
 Да что ж, я их от папы получил. —
 А папа от кого? — От дедушки. — Но дал их
 Кто ж деду твоему? — Он *взял* их.

Ура! во весь голос кричит господин Грюн, *la propriété c'est le vol* — вот настоящий Прудон!

Леверрье со своими планетами может итти домой и уступить свой орден господину Грюну, так как здесь перед нами нечто большее, чем Леверрье, большее даже, чем Джексон и пары сернистого эфира. Кто свел как никак беспокоящую многих мирных буржуа фразу Прудона о краже к размерам приведенной выше эпиграммы Гете, заслуживает *grand cordon* Почетного легиона.

«Гражданский генерал» доставляет уже больше хлопот. Господин Грюн оглядывает его некоторое время со всех сторон, вопреки своему обыкновению делает несколько гримас, становится озабоченным: «да, да... довольно безвкусно... революция здесь не осуждена» (стр. 150)... Стой, нашел, о каком предмете здесь идет речь! *О горшке молока*. Итак: «не забудем, что это опять... *вопрос о собственности*, выдвинувшийся на первый план» (стр. 151).

Когда на улице, на которой живет господин Грюн, две старухи ссорятся из-за селедочной головки, пусть господин Грюн не откажется от труда спуститься из своей пахнущей розама и резедой комнаты и известит их, что и у них «вопрос о собственности» «выдвинулся» на первый план. Благодарность всех благомыслящих людей будет для него лучшей наградой.

Один из величайших критических подвигов совершил Гете, когда написал «Вертера». «Вертер» стнюдь не простой сентиментальный роман с любовной фабулой, как это думали до сих пор читатели Гете, руководясь «человеческим разумением». В «Вертере» «человеческое содержание нашло для себя такую адекватную форму, что ни в одной литературе нельзя найти ничего такого, что могло бы быть поставлено хоть сколько-нибудь рядом с ним» (стр. 96). «Любовь Вертера к Лотте лишь рычаг, лишь носитель трагедии последовательного эмоционального пантеизма. Вертер, это — человек, который лишен стержня и который еще не сделался субъектом» (стр. 93). Вертер кончает с собой не из-за своей влюбленности, а потому, «что он — злополучное пантеистическое сознание — не мог уяснить своих взаимоотношений с миром» (стр. 94). «Вертер с художественным мастерством выявляет всю гниль современного общества, показывает глубочайшие корни социальных недугов, их религиозно-философ-

скую основу» (каковая «основа», однако, — более позднего происхождения, чем «недуги»); «указывает, как на источник зла, на нечеткость, туманность познания... Чистые, проветренные понятия об истинной человечности» (но прежде всего стержень, господин Грюн, стержень!) «нанесли бы смертельный удар тому отвратительному, со всех сторон изъеденному червями состоянию, которое именуется буржуазным обществом!»

Вот вам пример того, как Вертер «с художественным мастерством» изображает «гниль общества». Вертер пишет: «Авантюры? С какой стати пользуюсь я этим глупым словом?.. Наши буржуазные, наши лживые порядки — вот настоящие авантюры, подлинные уродства!» Этот стон мечтательного плаксы по поводу бездны между буржуазной действительностью и своими, не менее буржуазными, иллюзиями относительно этого строя, этот жалкий, основанный исключительно на отсутствии элементарного опыта вопль господин Грюн на стр. 84 выдает за острую и глубокую критику общества. Господин Грюн утверждает даже, что выраженная в вышеприведенных словах «неизбывная мука жизни, эта болезненная потребность всякую вещь ставить на голову, чтобы она хоть один раз приняла иной облик» (!), в конце концов проложили себе русло французской революции. Революция, в которой перед тем было усмотрено осуществление макиавеллизма, становится теперь лишь осуществлением страданий молодого Вертера. Гильотина, воздвигнутая на революционной площади, оказывается не чем иным, как бледной копией вертеровского пистолета.

После этого не приходится удивляться, что Гете и в «Стелле», как указывается на стр. 108, обработал «социальное содержание», хотя в этом произведении изображены «в высшей степени жалкие взаимоотношения» (стр. 107). Истинный социализм гораздо менее взыскателен, чем наш господь Иисус. Где двое или трое собрались вместе — и вовсе не требуется, чтобы это было во имя его — там он уже среди них и проникнут «социальным содержанием». Он, равно как и его последователь господин Грюн, вообще имеет поразительное сходство с «тем плоским, самодовольным равнодушием, которое во все решительно вмешивается, но ни в чем не в состоянии разобраться» (стр. 47).

Наши читатели, быть может, помнят одно из писем, которое Вильгельм Мейстер в последнем томе «Скитаний» пишет своему свояку и в котором он, — после нескольких довольно плоских замечаний в преимуществах людей, выросших в достатке, — утверждает преосходство дворянского сословия над мещанством и санкционирует,

как не подлежащее в ближайшее время изменению, подчиненное положение всех недворянских классов. Только отдельным личностям при известных обстоятельствах будто бы удается подняться на уровень дворянства. Господин Грюн делает по этому поводу следующее замечание: «То, что Гете говорит о превосходстве высших классов, *безусловно верно*, если отождествлять высший класс с образованным классом, а именно так делает Гете» (стр. 264). На этом мы пока можем успокоиться.

Обратимся к основному, вызвавшему столько толков вопросу: к вопросу об отношении Гете к политике и французской революции. Тут книга господина Грюна может нам показать, что значит идти напролом; тут в полной мере обнаруживается верность господина Грюна.

Чтобы отношение Гете к революции получило свое оправдание, Гете, само собою разумеется, должен стоять *над* революцией, она, еще до своего возникновения, должна быть преодолена им. Поэтому уже на стр. XXI мы узнаем, что «Гете настолько опередил *практическое* развитие своей эпохи, что, по его собственному утверждению, мог отнестись к ней лишь с отрицанием и не приять ее», а на стр. 84, при рассмотрении «Вертера», который, как мы видели, уже заключал в себе *in nuce* всю революцию, сказано: «История датирует 1789 год, а Гете 1889-й». Точно так же на стр. 28 и 29 Гете должен «в двух-трех словах разделаться с бессмысленным криком о свободе»: ведь уже в 70-х годах он напечатал в Франкфуртских ученых записках статью, которая отнюдь не говорит о свободе, требуемой «крикунами», а высказывает лишь некоторые общие и довольно сухие размышления о свободе как таковой, о самом понятии свободы. Далее: на том основании, что Гете в своей докторской диссертации защищал тезис об обязанности каждого законодателя ввести тот или иной культ, — тезис, который сам Гете трактует лишь как забавный парадокс, вызванный провинциальной перебранкой франкфуртских попов (господин Грюн это *сам* цитирует), — на этом основании объявляется, что «студент Гете вместе с изношенными подметками сбросил с себя весь дуализм революции и современного французского строя» (стр. 26, 27). Повидимому, господину Грюну достались в наследство «изношенные подметки студента Гете», и он приделал их к семимильным сапогам своего «социального движения».

Теперь в совершенно новом свете предстают перед нами изречения Гете, относящиеся к революции. Теперь нам ясно, что он, который стоял высоко над ней, который уже пятнадцать лет тому назад «разделался» с ней, сбросил ее с себя «вместе с изношенными

подметками», опередил на полвека, — что он не мог отнестись к ней с сочувствием, не мог заинтересоваться народом «крикунов», с которым свел свои счета уже в году от рождества Христова семьдесят третьем. Теперь для господина Грюна нет никаких трудностей. Пусть Гете облакает в стройные двуступища самую банальную традиционную мудрость, пусть он делает ее предметом самых филистерских размышлений, пусть он испытывает самый архи-мещанский трепет перед великим ледоходом, угрожающим его мирному поэтическому уединению, пусть он доводит до предела свою мелочность, свою трусость, свое лакейство, — ничто не смутит его терпеливого схолиаста. Господин Грюн подымает его на свои неутомимые плечи и несет через грязь; мало того, он всю грязь принимает на счет истинного социализма, — лишь бы не запачкались башмаки Гете. Начиная с «Французской кампании» и кончая «Незаконной дочерью» — все, все без исключения принимает на себя господин Грюн (стр. 133 — 170), обнаруживая преданность, которая могла бы исторгнуть слезы у Бюше и ему подобных. Но когда все бесполезно, когда грязь уж очень густа, тогда привлекается на помощь высшая социальная экзегеза, и господин Грюн парафразирует следующим образом:

Frankreichs traurig Geschick, die Grossen mögen's bedenken,
Aber bedenken fürwahr sollen es Kleine noch mehr.
Grosse gingen zu Grunde; doch wer beschützte die Menge
Wider die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann. ¹

«Кто защитит», — кричит господин Грюн изо всей мочи, с курсивом, с вопросительными знаками, со всеми «носителями трагедии последовательного делового пантеизма», — «т. е. кто защитит немущие массы, так называемую чернь, от имущей толпы, от законодательствующей черни?!» (стр. 137.) «Т. е. кто защитит» Гете от господина Грюна?

Таким вот способом объясняет господин Грюн одно за другим все высокоумные буржуазные наставления из «Венецианских эпиграмм», которые кажутся «пощечинами, наносимыми рукой *Геркулеса*, и которые лишь теперь звучат для нас особенно приятно» (после того как для мещанина миновала опасность), так как мы имеем за спиной «великий и *горький* опыт» (безусловно, более горький для мещанина) (стр. 136).

¹ Печальная судьба Франции, — пусть о ней поразмыслят великие мужи
Но — поистине — малые еще более должны о ней поразмыслить.
Великие кончили гибелью, но кто защитил толпу
От толпы? Толпа стала тираном толпы».

Из «Осады Майнца» господин Грюн «ни в коем случае не хотел бы оставить без внимания следующего места: — Во вторник... я поспешил... выразить мое почтение... моему *государю* и при этом имел счастье *услужить моему неизменно милостивому господину* и т. д.» — То место, где Гете повергает свою верноподданническую преданность к стопам лейб-камердинера, лейб-рогоносца и лейб-сводника прусского короля господина Ритца, — господин Грюн не считает нужным цитировать.

По поводу «Гражданского генерала» и «Переселенцев» мы узнаем: «Вся антипатия Гете к революции, так часто облекавшаяся в поэтическую форму, вызывалась тем, что он видел людей, изгоняемых из *честно нажитых владений*, на которые притязали интриганы, завистники и пр... вызывалась самой *несправедливостью грабежа*... и тем, что все его *домовитое, мирное существо* возмущалось нарушением права владения, опиравшимся на *произвол* и обращавшим целые массы человечества в бегство, ввергая их в нищету» (стр. 151). Поставим это место просто на счет «человека», «мирное и домовитое существо» которого чувствует себя так уютно в условиях «честно нажитого», говоря просто, благоприобретенного владения, что бури революции, сметающие *sans façon* эти условия, он объявляет «произволом», делом «интриганов, завистников и пр.».

Что буржуазная идиллия «Германа и Доротеи» с ее робкими и благоразумными провинциалами, с ее причитающими крестьянами, в суеверном страхе бегущими от армии санкюлотов и от ужасов войны, вызывает у господина Грюна «самое чистое наслаждение» (стр. 165), после всего сказанного не удивляет нас. Господин Грюн «спокойно довольствуется даже ограниченной миссией, которая в конце концов... выпала на долю немецкого народа». Не к лицу немцам продолжать это ужасное движение и бросаться то туда, то сюда. Господин Грюн прав, проливая слезы соболезнования из-за жертв тяжелой эпохи и в патриотическом отчаянии обращая по поводу таких ударов судьбы свои взоры к небу. Ведь и без того не мало есть испорченных людей и вырождков, в груди которых не бьется «человеческое» сердце, которые предпочитают подпевать в республиканском лагере «Марсельезу» и даже в оставленной камерке Доротеи позволяют себе скабрзные шутки. Господин Грюн — честный прямой человек, возмущающийся бесчувственностью, с которой, например, какой-нибудь Гегель смотрит на «тихие цветочки», растоптанные в бурном ходе истории, и насмехается над «скупой канителью личных добродетелей скромности, смирения, человеколюбия и благотворительности», «выдвигаемых» против всемирно-«исторических» актов и их

исполнителей». Господин Грюн прав в этом. На небе он получит заслуженную награду.

Закончим «человеческие» глоссы к революции следующим замечанием: «Подлинный комик мог бы *самый Конвент признать бесконечно смешным*»; а пока не нашлось такого «подлинного комика», господин Грюн дает нам необходимые для этого инструкции (стр. 151 и 152).

Об отношении Гете к политике после революции господин Грюн спясть-таки дает нам ошеломляющие разъяснения. Приведем лишь один пример. Мы уже знаем, какая глубокая злоба против либералов таится в груди «человека». «Поэт человеческого» не может, конечно, сойти в могилу, не оставив памятки для господ Велькера, Ицштейна и компании. Такую памятку наше «самодовольно пронизательное существо» находит в следующем месте («Кротких ксений»:

Да это ж все тот же старый помет !
 Другим бы давно надоело
 Не двигаться с места. Идите ж вперед!
 На месте топтаться не дело.

Высказанный Гете взгляд, — «ничто не внушает большего отвращения, чем *большинство*, так как оно состоит из немногих сильных вожаков, из плутов, которые приспособляются, из слабых, которые ассимилируются, и из массы, которая ковыляет за ними, не зная и в отдаленной степени, чего она хочет», — это типичное мнение обывателя, которое в своем невежестве и близорукости только и возможно было на ограниченной территории немецкого карликового государства, представляется господину Грюну как «критика позднейшего» (т. е. современного) «правового государства». Насколько она значительна, можно убедиться, «например, в любом парламенте» (стр. 268). Таким образом, «брюхо» французской палаты только по невежеству так превосходно печется о себе и ему подобных. Несколькими страницами дальше (стр. 271) «июльская революция» оказывается для господина Грюна «фатальной», и уже на стр. 34 высказывается суровое осуждение *Таможенному союзу*, так как он «еще *удорожает* ломотья, необходимые голому и зябнущему для прикрытия своей наготы, чтобы несколько усилить опору трона (!), свободомыслящих денежных тузов» (которые, как известно, во всем Таможенном союзе находятся в оппозиции к «трону»). «Голыми» и «зябнущими», как известно, обыватель всегда аргументирует в Германии, когда нужно оспаривать покровительственные пошлины или какую-либо другую прогрессивную буржуазную меру, и «человек» присоединяется к обывателю.

Что же разъясняет нам у господина Грюна относительно «существа человека» гетевская критика общества и государства?

Прежде всего «человек», согласно стр. 264, испытывает глубокое уважение к «образованным сословиям» вообще и особое чувство почтительности к высшему дворянству. Далее, для него характерен сильный страх, который он испытывает по отношению ко всякому большому массовому движению, ко всякому энергичному общественному действию, при приближении которого он либо трусливо прячется за печку, либо поспешно удирает со всем своим скарбом. Пока движение продолжается, оно для него лишь «горький опыт»; но едва лишь оно прекратилось, он широко размещается на авансцене, раздает рукой Геркулеса пощечины, звук которых только теперь начинает ему казаться таким приятным, и находит все происшедшее «бесконечно смешным». При этом он всей душой тяготеет к «честно нажитому владению» и является в остальном вполне «домовитым и мирным существом», скромнен, довольствуется малым и желал бы, чтобы никакие бури не мешали ему в его маленьких, тихих радостях. «Человек охотно живет в ограниченной обстановке» (стр. 191; такова *первая фраза* «второй части»); он никому не завидует и благодарит Творца, если его оставляют в покое. Словом, «человек», о котором мы уже знаем, что он — прирожденный *немец*, начинает понемногу, как две капли воды, походить на *немецкого мещанина*.

Действительно, к чему сводится — при посредничестве господина Грюна — гетевская критика общества? Что осуждает «человек» в обществе? Во-первых, то, что оно не отвечает его иллюзиям. Но эти иллюзии являются как раз иллюзиями идеологизирующего, в особенности молодого обывателя, и если обывательская действительность не отвечает этим иллюзиям, то вызывается это тем, что ведь это — иллюзии. Но они зато тем более соответствуют обывательской действительности. Они отличаются от нее лишь так же, как вообще идеологическое выражение какого-либо состояния отличается от этого последнего, и о реализации его не может поэтому быть и речи. Убедительным доказательством этого являются глоссы господина Грюна к «Вертеру».

Во-вторых, полемика «человека» направляется против всего того, что угрожает немецкому режиму обывательщины. В его ненависти к либералам июльской революции, покровительственным пошлинам ясно сказывается ненависть придавленного, косного мещанина к независимой прогрессивной буржуазии. Приведем для иллюстрации этого еще два примера.

Расцветом мещанства, как известно, был цеховой строй. На

стр. 40 господин Грюн говорит, в духе Гете, т. е. «человека»: «В средние века корпорация связывала *сильного* в целях защиты с другими *сильными*». В глазах «человека» члены цехов того времени «сильные люди».

Но во времена Гете цеховой строй уже разрушался, конкуренция прорывалась со всех сторон. Гете, как настоящий обыватель, в одном месте своих мемуаров, которые цитирует господин Грюн на стр. 88, предаётся душу раздирающим жалобам по поводу начинающегося гниения мещанства, разорения состоятельных семей, связанного с этим развала семейной жизни, ослабления домашних связей и прочих мещанских горестей, которые в цивилизованных странах встречают презрение. Господин Грюн видит в этом месте превосходную критику современного общества и до такой степени не в силах умерить свою радость, что все «человеческое содержание» этой цитаты печатает курсивом.

Перейдем теперь к положительному «человеческому содержанию» в Гете. Мы можем теперь быстрее подвигаться вперед, так как мы уже напали на след «человека».

Прежде всего нужно отметить отрадное открытие, что «Вильгельм Мейстер бежит из родительского дома» и в «Эгмонте» «брюссельские граждане отстаивают свои права и привилегии» только для того, чтобы «стать людьми» (стр. XXII).

Господин Грюн поймал уже однажды старика Гете на путях Прудона. На стр. 320 это ему посчастливилось еще раз: «То, чего он желал, чего мы все желаем, это спасти нашу личность, это *анархия* в истинном значении этого слова; Гете говорит об этом:

Затем анархия в наш век
Мне нравится, признаться, очень,
Что может каждый человек, —
Я тоже, значит — жить, как хочет.

Господин Грюн на вершине блаженства; подлинно «человеческую» общественную анархию, возведенную впервые Прудоном и принятую *par acclamation* немцами истинными социалистами, — эту анархию можно обнаружить у Гете. На этот раз он, однако, не доглядел. Гете говорит здесь о существующей «в наш век анархии», которая составляет уже его «выгоду» и согласно которой каждый живет как хочет, т. е. он говорит о независимости в общественном быту, вызванной разложением феодального и цехового строя, возвышением буржуазии и изгнанием патриархальности из общественной жизни образованных классов. О дорогой сердцу господина Грюна *будущей* анархии в высшем смысле здесь не может быть и речи уже по

грамматическим соображениям. Гете вообще говорит здесь не о том, чего он желал бы, а о том, что он нашел готовым.

Но этот маленький стишок не должен портить картины. Ведь мы зато имеем стихотворение «Собственность».

Я знаю, мне принадлежит
Лишь мысль, которую родит
Души моей волнение,
А также каждый миг златой,
Который мне мой рок благой
Дарит для наслаждения.

Если не очевидно, что в этом стихотворении «существовавшая до сих пор собственность исчезает, как дым» (стр. 320), то разум умолкает в господине Грюне.

Но предоставим эти маленькие экзегетические развлеченья господина Грюна их судьбе. Число их легион, и одно неожиданное другого. Присмотримся лучше еще раз к «человеку».

Мы уже слышали, что «человек охотно живет в ограниченной обстановке». Обыватель — тоже. «Первенцы Гете были *чисто социального* (т. е. человеческого) характера... Гете дорожил *ближайшим, незаметным, уютным*» (стр. 88). — Первое положительное, что мы открываем в человеке, это любовь к «незаметной, уютной», тихой жизни мещанина.

«Если мы находим в мире место, — так господин Грюн резюмирует Гете, — где мы можем спокойно жить, не тревожась за то, чем мы владеем, имеем поле, которое нас кормит, дом, который нас укрывает, — разве там не наша родина?» И господин Грюн восклицает: «Разве эти слова не выражают подлинные стремления нашей души?» (стр. 32). — «Человек» носит *redingote à la propriétaire* и обнаруживает себя и тут подлинным мещанином.

Немецкий бюргер, как всякий знает, лишь кратковременно, в молодости, мечтает о свободе. «Человек» отличается тем же свойством. Господин Грюн с удовольствием отмечает, что Гете в позднейшие годы резко осудил стремление к свободе, высказанное еще в «Геце», этом «произведении свободного необузданного мальчика»; он цитирует даже (на стр. 43) трусливое отречение Гете. Что понимает господин Грюн под свободой, можно видеть из того, что он тут же отождествляет свободу французской революции со свободой швейцарцев ко времени путешествия Гете по Швейцарии, т. е. современную конституционную и демократическую свободу с режимом господства патрициев и цехов в средневековых имперских городах и со старогерманской грубостью альпийских скотоводов. Монтань-

яры Бернского нагорья даже и по имени не отличаются от монтаньяров Конвента!

Почтенный бюргер — большой враг всякой фривольности и кощунственных шуток. «Человек» — точно так же. Если Гете в разных местах говорит об этом, как подлинный бюргер, то для господина Грюна и это относится к «человеческому содержанию Гете». И для того, чтобы читатель вполне поверил этому, господин Грюн не только собирает эти жемчужные зерна, но добавляет на стр. 62 кое-что ценное и от себя, напр., что «богохульники... пустые горшки и дураки» и т. д. И это делает честь его сердцу, как сердцу «человека» и бюргера.

Бюргер не может жить без «возлюбленного монарха». И «человек» не может. Поэтому и Гете (на стр. 129) имел в Карле-Августе «превосходного государя». Мужественный господин Грюн бредит anno 1846 о «превосходных государях».

Бюргера каждое событие интересует постольку, поскольку оно непосредственно затрагивает его частные интересы. «Даже события дня становятся для Гете внешними объектами, если они то неблагоприятно, то благоприятно влияют на его *буржуазный уют*, если они могут вызвать у него эстетический или *человеческий*, но отнюдь не политический интерес» (стр. 20). Господин Грюн «приобретает человеческий интерес к какой-либо вещи», лишь если он замечает, что она «то ли неблагоприятно, то ли благоприятно влияет на его буржуазный уют». Господин Грюн признает здесь прямо, что буржуазный уют — это главное для «человека».

«Фаусту» и «Вильгельму Мейстеру» господин Грюн посвящает специальные главы. Обратимся сначала к «Фаусту».

На стр. 116 мы узнаем: «Только благодаря тому, что Гете напал на след тайны в организации растений», «он оказался в состоянии создать своего гуманистического человека (от «человеческого человека» нам никак не спастись), Фауста. *Ведь* Фауст, как благодаря... так и благодаря естествознанию подымается на вершину своей собственной природы!» Мы уже видели, что и «гуманистический человек» — господин Грюн — «благодаря естествознанию» «подымается на вершину своей собственной природы». Видно, это лежит в крови.

Мы узнаем далее на стр. 231, что «скелет зверя и кости» в первой сцене означают «абстракцию всей нашей жизни»; вообще господин Грюн обращается с «Фаустом» так, точно он имеет пред собой откровение святого Иоанна Богослова. Макрокосм означает «гегелеву философию», которая тогда, когда Гете писал эту сцену (в

1806 г.), еще существовала, может быть, лишь в голове Гегеля и разve лишь в рукописи «Феноменологии», над которой Гегель в то время работал. Но «человеческому содержанию» нет дела до хронологии.

Изображение, во второй части «Фауста», утратившей свое величие Священной римской империи, господин Грюн просто рассматривает как изображение монархии Людовика XIV, «чем, — добавляет он, — *сама собой* дается конституция и республика». «Человеку», конечно, дается «само собой» все то, что другие люди должны добывать тяжелым трудом.

На стр. 246 господин Грюн открывает нам, что вторая часть «Фауста» с естественнонаучной стороны «стала современным канонем, точно так же, как «Божественная комедия» Данте была канонем средневековья». Рекомендуем это замечание вниманию естествоиспытателей, которые до сих пор мало интересовались второй частью «Фауста», и вниманию историков, которые видели до сих пор в проникнутом партийным духом гибеллинов произведении флорентинца что-то совсем не похожее на «канон средневековья». Повидимому, господин Грюн смотрит на историю такими же глазами, какими, согласно стр. 49, Гете смотрит на свое прошлое: «В Италии Гете взглянул на свое прошлое *глазами* Аполлона Бельведерского», каковые *roug comble de malheur* лишены даже главных яблок.

Вильгельм Мейстер — «коммунист», т. е. «в теории стоит на почве эстетического воззрения(!)» (стр. 254). «Er hat sein Sach auf Nichts gestellt, und ihm gehört die ganze Welt» (стр. 257). Конечно, у него достаточно денег, мир принадлежит ему, как всякому буржуа, и для этого ему вовсе не нужно стараться стать коммунистом «на почве эстетического воззрения». Под ауспигиями того «ничто», на карту которого Вильгельм Мейстер поставил свое дело и которое, как выясняется на стр. 256, оказывается довольно пространным и содержательным «ничто», упраздняется и похмелье. Господин Грюн «осушает все бокалы до дна без головной боли». Тем лучше для «человека», который может безнаказанно предаваться пьянству. Для того времени, когда это все осуществится, господин Грюн уже сейчас открывает, что «Ich hab mein' Sach auf Nichts gestellt» — это подлинная застольная песня «истинного человека»; эту песню будут петь, «когда человечество окажется достойно ее». Но господин Грюн сократил ее до трех строф и вытравил все места, не подходящие для молодежи и для «человека».

Гете в «Вильгельме Мейстере» «устанавливает идеал человеческого общества». «Человек — не обучающее, а живущее, деятельное

и действующее существо». «Вильгельм Майстер и есть этот человек». Существо человека составляет «деятельность» (это существо является общим у человека со всякой блохой) (стр. 257, 258, 261).

Наконец, о «Wahlverwandschaften». Этот и без того моральный роман господин Грюн пропитывает моралью еще более, так что кажется, будто он почти поставил себе задачей рекомендовать «Wahlverwandschaften» в качестве подходящего учебника в женских учебных заведениях. Господин Грюн объясняет, что Гете «различал между любовью и браком, причем разница заключалась в том, что любовь для него была *поисками брака*, а брак — *обретенной*, завершенной любовью» (стр. 286). Т. е. любовь есть поиски «обретенной любви». Это разъясняется далее в том смысле, что после «свободы юношеской любви» должен наступить брак как окончательный союз любви (стр. 261), точь-в-точь как в цивилизованных странах, где мудрый отец семейства предоставляет сыну сначала в течение нескольких лет перебеситься, чтобы затем найти ему подходящую жену для «окончательного союза». Но в то время, как в цивилизованных странах в этом «окончательном союзе» давно перестали видеть что-либо морально связывающее, и, напротив, муж содержит любовниц, а жена наставляет мужу рога, в господине Грюне опять побеждает обыватель: «Если у человека был действительно свободный выбор..., если два человека основывают свой союз на разумной воле обоих» (о страсти, плоти и крови здесь нет и речи), «то нужно обладать взглядами развратника (*libertin*), чтобы рассматривать нарушение этого союза как мелочь, а не как страдание и несчастье, как на него смотрит Гете. О *распутстве* у Гете не может быть и речи» (стр. 262).

Это место характерно для робкой полемики против морали, которую господин Грюн позволяет себе время от времени. Обыватель убедился, что у молодых людей нужно кое на что смотреть сквозь пальцы, так как самые беспутные молодые люди потом оказываются самыми лучшими мужьями. Но если они и после свадьбы в чем-либо провинятся, тогда им нет пощады, нет для них милосердия, «так как для этого нужно обладать взглядами развратника».

«Взгляды развратника». «*Libertinage*». Мы так осязательно видим «человека» перед нашими глазами, как он кладет руку на сердце и радостно и гордо восклицает: «Нет, я чист от всякой фривольности, я не знаю «порока», я никогда легкомысленно не нарушил счастья проникнутого довольством брака, я всегда оставался верен и честен и никогда не желал жены ближнего моего, я не развратник!»

«Человек» прав. Он не создан для изысканных приключений с красивыми женщинами, он никогда не строил своих расчетов на соблазне

и супружеской неверности, он не «развратник», а человек совести, честный и добродетельный немецкий обыватель. Он —

лавочник с душой миролюбивой,
 Что вечно трубкою своей пыхтит лениво.
 Как лист, трепещет он перед своей женой;
 Хозяйство властною ведет она рукою,
 А он — нося рога, подчас терпя побои —
 Живет, вполне своей довольствуясь судьбой.

(*Parny, Goddam, Chant III.*)

Нам остается сделать лишь еще одно замечание. Если мы выше рассматривали Гете лишь с одной стороны, то в этом вина исключительно господина Грюна. Он совсем не изображает Гете со стороны его величия. Он спешит проскользнуть мимо всего, в чем Гете действительно велик и гениален, например мимо римских элегий «распутника» Гете, или заливает это широким потоком банальностей, чем только доказывает, что тут ему нечего сказать. Зато с редким для него прилежанием он отыскивает все филистерское, все обывательское, все мелкое, группирует все это, утрирует по всем правилам литературного цеха и каждый раз радуется, когда ему представляется возможность подкрепить какую-либо пошлость авторитетом хотя бы и искаженного Гете.

История отомстила Гете за то, что он каждый раз отрекался от нее, когда оказывался лицом к лицу с ней. Но эта месть не в нападках Менцеля, не в ограниченной полемике Берне. Нет, как

Титания, в стране чудес и фей,
 В объятиях Основы очутилась,

так Гете проснулся однажды в объятиях господина Грюна. Апология господина Грюна, слова горячей благодарности, которые он бормочет по поводу всякого филистерского замечания Гете, это самая жестокая месть оскорбленной истории величайшему немецкому поэту.

А господин Грюн «может умереть с сознанием, что он не осрамил призвания — быть человеком» (стр. 248).

ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ ИЛИ СИСТЕМА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ.

С того момента как прусский король вследствие недостатка денег и кредита вынужден был обнародовать грамоты от 3 февраля, ни у кого не могло возникнуть сомнения в том, что абсолютная монархия в Германии, прежние «христианско-германское» правительство, известное под названием «отеческого правительства», несмотря на сильное сопротивление и на все грозные тронные речи, отошла в вечность. Этот день буржуазия в Германии могла считать началом своего владычества. Грамоты эти представляют не что иное, как туманно выраженное признание власти буржуазии. Значительная часть этого тумана уже рассеялась благодаря слабым протестам объединенного ландтага, но очень скоро все эти христианско-германские ночные привраки совершенно исчезнут.

Но когда началось господство средних классов, то прежде всего должно было быть предъявлено требование, чтобы вся торговая политика Германии в отношении таможенного союза была изъята из неумелых рук немецких князей, их министров и высокомерных, но чрезвычайно ограниченных и невежественных, бюрократов и передана тем, которые обладают необходимым пониманием дела и заинтересованы в нем. Другими словами, вопрос о покровительственных дифференциальных пошлинах или о свободной торговле должен был быть передан на благоусмотрение буржуазии.

Объединенный ландтаг в Берлине показал правительству, что буржуазия знает, чего ей нужно. Во время последних дебатов о пошлинах было в довольно ясных и резких выражениях указано шпандаускому правительству, что оно не в состоянии понять материальных интересов и не может защищать и поддерживать их. Одного краковского дела было бы уже достаточно, чтобы заклеить Вильгельма из Священного союза и его министров печатью величайшего невежества и самого преступного предательства по отношению к благосостоянию страны. Но, к ужасу его величества и его министров, там говорили еще о целой массе вопросов, которые далеко не

могли послужить к чести ни королевских, ни министерских способностей как тех, кто живет, так и тех, кто умер.

Но и среди самой буржуазии в оценке промышленности и торговли существуют два различных взгляда. Не подлежит, однако, ни малейшему сомнению, что партия, отстаивающая покровительственные и дифференциальные пошлины, является самой сильной, самой многочисленной и преобладающей. Буржуазия в самом деле не может удержаться, укрепиться, достигнуть неограниченной власти, если она не будет искусственными мерами защищать и покровительствовать своей промышленности и своей торговле. Без покровительства против иностранной промышленности она в одно десятилетие была бы раздавлена и уничтожена. Весьма возможно, что даже покровительство не в состоянии помочь ей на продолжительный срок. Она слишком долго ждала, слишком спокойно лежала в пеленках, в которые на многие годы ее запеленали дорогие ее монархи. Ее обходили со всех сторон, обгоняли ее, у нее отняли самые лучшие ее позиции, она же спокойно принимала «удары» (Handschnitze) и не проявила даже достаточной энергии, чтобы освободиться от отчасти идиотских, отчасти же совершенно забытых отеческих менторов.

Теперь дело приняло другой оборот. Немецкие князья отныне могут быть только слугами буржуазии, ее придатком.¹ Поскольку власть последней еще имеет в настоящее время шансы, покровительство немецкой промышленности и немецкой торговле является единственной основой, на которую князья могут опираться. А то, чего буржуазия хочет и должна хотеть получить от немецких князей, то она сумеет также и осуществить.

Но рядом с буржуазией есть еще довольно много людей, которых называют пролетариями, трудящийся и неимущий класс. Поэтому спрашивается, что выигрывает этот последний от введения покровительственной системы? Получит ли он вследствие этого несколько большую плату, будет ли он иметь возможность лучше питаться и одеваться, жить в более здоровых условиях, будет ли иметь больше досуга для отдыха, образования, некоторые средства для более разумного и заботливого воспитания своих детей?

Буржуазные защитники покровительственной системы никогда не упускают случая выставлять на первый план благо рабочего класса. Если послушать этих господ, то вместе с введением покровительства промышленности для рабочих наступит истинно рай-

¹ В тексте сказано: «Der Punkt über dem i der Bourgeoisie»

ское житье, Германия превратится благодаря этому в Ханаанскую землю, в которой реки «текут молоком и медом». Но если, с другой стороны, послушать фритредеров, то только при применении *их* системы собственники будут жить, «как у Христа за пазухой» («wie Gott in Frankreich»), т. е. они будут иметь возможность вести веселую и разгульную жизнь.

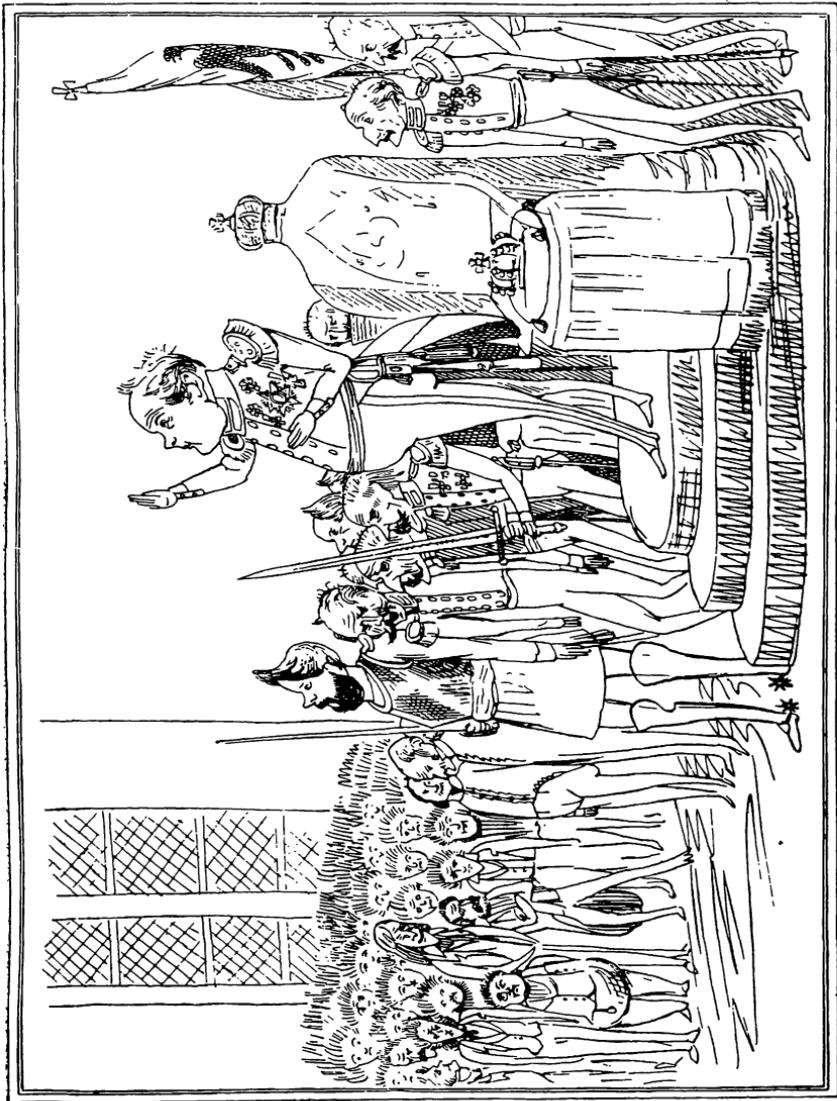
В обеих партиях есть еще довольно много ограниченных людей, которые верят в истинность своих собственных слов. Умные среди них очень хорошо знают, что все это один только обман, рассчитанный на то, чтобы сбить с толку и завоевать массы. Умному буржуа нечего рассказывать сказки о том, что рабочий при покровительственной системе, или при системе свободной торговли, или при смешанной системе не получит большей заработной платы, чем та, которая строго необходима для поддержания самого скудного его существования. Рабочий получает как при одной, так и при другой системе ровно столько, сколько необходимо для поддержания его в качестве рабочей машины.

Можно было бы поэтому думать, что пролетарию, неимущему должно быть совершенно безразлично, одержит ли победу покровительственная система или система свободной торговли.

Но так как буржуазия в Германии, как уже было сказано выше, нуждается в покровительстве против заграницы, чтобы покончить с средневековыми остатками феодальной аристократии и с современной нечистью «божьей милостью» и беспрепятственно развернуть свою настоящую сущность, то и рабочий класс заинтересован в том, чтобы содействовать безраздельному господству буржуазии. Лишь тогда, когда существует только *один* эксплуатирующий и угнетающий класс — буржуазия, когда горе и нищета не могут быть поставлены в вину то одному, то другому сословию или неограниченной монархии и ее бюрократам, — лишь тогда начинается решительная борьба, борьба между имущими и неимущими, борьба между буржуазией и пролетариатом. Тогда поле сражения очищено от всех ненужных перегородок, от всех вводящих в заблуждение элементов, тогда позиция обеих враждебных армий определена и ясна.

С господством буржуазии под давлением обстоятельств рабочие так же достигают того бесконечно важного успеха, что они не выступают и не восстают уже как отдельные единицы или как несколько сотен или тысяч против существующего строя, но что они все вместе, как *один* класс, со своими особыми интересами и принципами, по общему плану, соединенными силами вступают в смертельный бой со своим последним элейшим врагом — с буржуазией.

В исходе этой борьбы не может быть никакого сомнения. Подобно тому как средние классы нанесли смертельный удар аристократам и неограниченной монархии, точно так же буржуазия будет и должна быть низвергнута пролетариатом. Вместе с буржуазией падет и частная собственность, и победа рабочего класса навсегда положит конец всякому классовому и кастовому господству.



Ich und Mein Haus, Wir wollen dem HERRN dienen.

Extra-Beilage zur Deutschen-Brüder-Zeitung (vom 6. Mai 1847) unter der Aufschrift: „Ich und Mein Haus, Wir wollen dem HERRN dienen.“

ТРОННАЯ РЕЧЬ ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМА IV ПРИ ОТКРЫТИИ СОЕДИНЕННОГО ЛАНДТАГА.

(Карикатура Ф. Энгельса.)

ПРИДВОРНАЯ И ГАЗЕТНАЯ УТКА ИЗ САН-СУСИ.

«Allg. Preuss. Ztg» с некоторых пор дарит немецкому отечеству больше уток, чем могут изготовить все парижские корреспонденты и бюро корреспонденций вместе взятые. Конечно, если быть в такой степени *гусем*, как вышеупомянутая газета, то самое меньшее, что можно сделать, это позаботиться об утином потомстве.

Новейшая утка, только что высиженная «Allg. Preuss. Ztg», развилась следующей болтовней.

«*Берлин*, 28 июля. С некоторых пор газеты много говорят о займе, который якобы был предложен прусскому правительству и т. д. . . В самом ли деле речь идет о займе? Мы самым решительным образом можем «отрицательно» ответить на этот вопрос. Ни такое желание, ни такое предложение не имели места, а следовательно, ничего и не могло быть отвергнуто. Вся эта история является простым измышлением и т. д.»

Эта несчастная утка от 28 июля в самом деле достойна сожаления. Ее безжалостная мать, старая гусыня из берлинской Behrenstrasse, уже в первый день ее существования выталкивает ее на холод. Без перьев, едва покрытая нежным детским пушком, желторотая, как прусский юрист, только что сдавший первый государственный экзамен, неопытная, как дочь образованных сословий, только что вышедшая из пансиона для благородных девиц, без материнского совета, без поддержки, без надзора, несчастная принуждена выпрашивать у совершенно чужих ей редакций убежище и корку сухого хлеба. Она должна считать себя счастливой, что один из немногих оставшихся благородных людей, господин Брюггеман, приютил ее в № 212 «Kölnische Zeitung». В самом деле грустно видеть, как несчастная бьется и трепещет. «С некоторых пор газеты много говорят о займе», — испуганно лепечет она; она заявляет, что в газетах «идет речь» о займе, и, чтобы немецкий бюргер знал, как обстоит дело, она сама «заводит речь» об этом займе. А для чего?

Чтобы тут же самым решительным образом уверить нас, что о таком займе и *речи нет!* Итак, ни в газетах, т. е. в нечестивых газетах злонамеренной печати, ни в благочестивой Общей христианской, то бишь, прусской газете! Вся эта утка сочинена и пущена в немецкую печать только для того, чтобы опровергнуть слух, о котором нигде «не было речи!»

Стыдитесь, демагогический господин Брюггеман, такой замечательной фразы вы не выдумали!

Но как детски наивна вышеупомянутая утка, явствует не только из ее неуверенного голоса, не только из того, как она растерянно бьет крыльями, это видно и из ее невинной чистосердечности. Газеты говорят о займе, который якобы был предложен прусскому правительству. Этот слух совершенно неверен — конечно, безжалостная мамаша-утка из Behrenstrasse № 57, и твои читатели знают это так же хорошо, как ты. «Прусскому правительству» никогда не был предложен заем — иначе оно бы обеими руками за него ухватилось, это знают Бодельшвинг, Флотвелль и Ротер, если даже наивный Дуэсберг и не знает этого. Прусскому правительству никогда еще не предлагали денег или денежных ценностей, даже австрийского полкрейцера или акции в 25 сантимов общества уничтожения клопов у Поль де-Кока. Прусскому правительству никогда не давали ничего, кроме пощечин, и, за неимением ничего лучшего, оно принимало их. Но *его величеству Фридриху-Вильгельму IV*, конечно в виде исключения, *деньги предложены* были, и это так же хорошо, как нам, известно лицемерной мамаше-утке, и отрицать это она не решается. Мы здесь не можем заниматься расследованием вопроса, кому и как пришло в голову предложить упомянутому монарху подаяние или задаток в приличной форме аванса, но мы, между прочим, хотим заметить, что мы этой неизвестной всем честным биржам высочайшей особе, или выдаваемому за неизвестный торговому дому не дали бы кредита на стоимость истоптанных подметок и поэтому требуем вперед плату за высочайший абонемент. Что нас главным образом интересует, это нежная заботливость нашей утки об истине. Почему она прямо не говорит, что неверно, будто прусский король получил деньги? Потому что она слишком добродетельна, потому что она не может лгать не краснея! Ах, ты благочестивая и верная мамаша-утка, приправляющая свое наслаждение создания уток целомудренной краской стыда! Кто бы мог подумать, что укермаркский «Moniteur» является единственным в своем роде, который скорее опровергнет слухи, о которых в самом деле не было «речи», чем соврет?

Да благословит и хранит тебя господь, тебя, чистую среди «Mô-niteur'ов». Дай тебе господь уток, сколько тебе нужно, и столь же невинных, как твоя последняя! Да хранит тебе господь в тепле прежде всего твою гузку, чтобы ты могла беспрепятственно высиживать своих настоящих и невыдуманных уток для пользы и для блага немецкого бюргера! А за сим до свидания, до следующей утки!

КОММУНИЗМ «РЕЙНСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ».

В № 70 «Немецкой брюссельской газеты» напечатана статья из «Рейнского обозревателя», которой предпосланы слова: «Рейнский обозреватель в № 206 проповедует коммунизм». Сказаны ли эти слова иронически или нет, коммунисты должны протестовать против того, будто «Рейнский обозреватель» может проповедывать «коммунизм», и в особенности против того, что статья, о которой в № 70 сообщается, — статья коммунистическая.

Если известная часть немецких социалистов не переставала кричать против либеральной буржуазии, и притом таким образом, что никому, кроме немецких правительств, пользы не принесла, и если теперь правительственные газеты, как, напр., «Рейнский обозреватель», опираясь на слова этих господ, утверждают, что не либеральная буржуазия, а правительство представляет интересы пролетариата, — то коммунисты не имеют ничего общего ни с первыми, ни с последними.

На немецких коммунистов старались, правда, ввалить ответственность за эти утверждения, их обвиняли в союзе с правительством. Такое обвинение комично. Правительство не может быть солидарным с коммунистами, коммунисты не могут быть солидарными с правительством, по той простой причине, что из всех революционных партий Германии партия коммунистов является наиболее революционной и что правительство знает это лучше, чем кто-либо другой. Как могут коммунисты соединиться с правительством, которое считает их государственными преступниками и обходится с ними, как с таковыми? Как может правительство проповедывать в своих органах такие принципы, которые во Франции считаются анархическими, бунтовщическими, разрушающими все устои общества и которым наше правительство постоянно приписывает подобные же наиболее разрушительные свойства? Об этом не может быть и речи. Присмотримся поближе к так называемому коммунизму «Рейнского обозревателя», и мы увидим, что этот коммунизм — очень невинного свойства.

Статья начинается следующими словами: «Исследуя *наше* (!) социальное положение, мы открываем повсюду величайшие непорядки и настоятельнейшие нужды (!), и мы должны признать, что сделано много упущений. Это — факт, и вопрос *лишь* (!) в том, что создало и каким образом создано это положение. Мы убеждены, что наш государственный строй в этом неповинен, ибо (!) во Франции и Англии социальное положение масс еще хуже. Тем не менее (!), либерализм видит средство исцеления лишь в народном представительстве: если бы народ имел свое представительство, лекарство нашлось бы. Это, конечно, вполне иллюзорно (!), но точно так же звучит в высшей степени правдоподобно».

В этом отрывке, как живой, встает перед нами «Обозреватель», и мы видим, как он, растерянный, грызет перо, не зная, с чего начать, взвешивает обороты речи, пишет, вычеркивает, опять пишет и, наконец, после долгих усилий изготавляет вышеприведенный великолепный образчик. Чтобы добраться до либерализма, своегого излюбленного конька, он начинает с «нашего социального положения», т. е., точнее выражаясь, с положения «Рейнского обозревателя», которое может, конечно, доставлять некоторые неприятности. Основываясь на крайне тривиальном наблюдении, что наше социальное положение безотраднo и что многое упущено, он при помощи нескольких тяжеловесных изречений доходит до того пункта, где перед ним возникает *лишь* вопрос о том, чем вызывается этот факт? Однако вопрос этот возникает перед ним *лишь* для того, чтобы тотчас же вновь исчезнуть. В самом деле, «Обозреватель» не говорит нам, откуда проистекает социальное зло, не говорит и того, откуда оно *не* проистекает; он высказывает только свое убеждение в непричастности ко злу одного лишь прусского государственного строя, что само собою разумеется. От прусского строя он, при помощи смелого «ибо», переходит к Франции и Англии, а отсюда, чтобы добраться до прусского либерализма, ему остается сделать лишь маленький прыжок, который он легко совершает, опираясь на совершенно немотивированное «тем не менее». И таким образом «Обозреватель», наконец, выбирается на свое излюбленное место, где он может воскликнуть: «это, конечно, вполне иллюзорно, но точно так же в высшей степени правдоподобно». Но точно так же в высшей степени!!!

Неужели же коммунисты опустили до того, что им можно приписывать авторство подобных выражений, таких классических переходов, вопросов, столь же легко возникающих, как исчезающих, этих чудовищных *лишь, ибо, тем не менее* и, в особенности, оборота: «но точно так же в высшей степени»? Кроме «старого полководца»

Арнольда Руге, в Германии найдется мало людей, которые умеют так писать, и эти немногие — все, без исключения — состоят консисторскими советниками при министерстве господина Эйхгорна. Нельзя требовать, чтобы мы занялись содержанием этого маленького введения. В нем нет содержания, нет ничего, кроме беспомощной формы; это просто ворота, через которые мы проникаем в то помещение, где наш обозреватель, консисторский советник, проповедует крестовый поход против либерализма.

Послушаем его: «Либерализм обладает пред бюрократией тем преимуществом, что является народу в более легкой и привлекательной форме, чем эта последняя. (Во всяком случае, так тяжеловесно и угловато не пишет даже г. Дальман или Гервинус.) Либерализм говорит о народном благе и о народных правах. Но на самом деле он выдвигает народ лишь затем, чтобы пугать им правительство, народ служит для него лишь пушечным мясом в великой атаке, направленной против правительственной власти. Завоевание государственной власти — вот истинное стремление либерализма, народное же благо для него — дело второстепенное».

Думает ли господин консисторский советник сказать этим народу что-либо новое? Народ, и в особенности коммунистическая его часть, знает очень хорошо, что либеральная буржуазия преследует лишь свои собственные интересы, что на ее симпатию к народу очень мало можно рассчитывать. Но когда г. консисторский советник делает из этого тот вывод, что, поскольку народ участвует в политическом движении, либеральная буржуазия эксплуатирует его в своих целях, то мы вынуждены ответить ему: это, может быть, и очень правдоподобно в глазах консисторского советника, но точно так же в высшей степени иллюзорно.

Народ, или — заменив это неопределенное, растяжимое понятие более точным — пролетариат, рассуждает совсем иначе, чем могут вообразить себе в министерстве вероисповеданий. Пролетариат не спрашивает о том, является ли народное благо для буржуазии главной или побочной целью, *хочет* ли она воспользоваться пролетариатом как пушечным мясом, или нет. Пролетариат спрашивает не о том, чего буржуазия только *хочет*, а о том, к чему она *вынуждена* стремиться. Вопрос заключается в том, какой строй даст ему больше средств для достижения его собственных целей: теперешний ли политический строй, господство бюрократии, или тот, к которому стремятся либералы, господство буржуазии. Достаточно сравнить политическое положение пролетариата в Англии, Франции и Америке с его положением в Германии, чтобы убедиться в том,

что господство буржуазии не только дает в руки пролетариата совершенно новые орудия борьбы *против* буржуазии, но и обеспечивает за ним совершенно новое положение — положение признанной партии.

Думает ли г. консисторский советник, что пролетариат, все более и более примыкающий к коммунистической партии, не сумеет воспользоваться свободой печати и союзов? Пусть он почитает английские и французские рабочие газеты, пусть он хоть раз посетит чартистский митинг! Но в министерстве вероисповеданий, в котором редактируется «Рейнский обозреватель», имеются совершенно своеобразные представления о пролетариате. Эти господа думают, что имеют дело с померанскими крестьянами или с берлинскими поденщиками. Они воображают, что достигли наивысшей степени глубокомыслия, когда, вместо *panem et circenses*, они обещают теперь народу *panem et religionem*. Они воображают, что пролетариат желает, чтобы ему была оказана помощь, и не допускают мысли о том, что он ни от кого не ожидает помощи, как только от самого себя. Они и не догадываются, что пролетариат так же основательно разбирается во фразах господ консисторских советников о тяжелом социальном положении и «народном благе», как и в подобных же фразах либеральной буржуазии.

А почему, собственно, для буржуазии народное благо является побочной целью? «Рейнский обозреватель» отвечает: «Это доказано соединенным ландтагом, — вероломство либерализма очевидно. Вопрос о подоходном налоге должен был явиться пробным камнем для либерализма, но либерализм не выдержал испытания».

Ах, эти благонамеренные консисторские советники, воображающие в своей наивности, что они могут пустить пролетариату пыль в глаза подоходным налогом! Налог на мясо и хлеб падает непосредственно на заработную плату, подоходный налог падает на капиталистическую прибыль, говорят они. В высшей степени правдоподобно, г. консисторский советник, не правда ли? Но капиталисты не захотят, да и не смогут допустить, обложения своей прибыли. Конкуренция уже сама позаботится об их вознаграждении. Через несколько месяцев после введения подоходного налога заработная плата была бы понижена ровно настолько, насколько фактически она повысилась благодаря понижению цен на жизненные припасы после отмены налога на хлеб и мясо. Высота заработной платы, выраженной не в деньгах, а в необходимых рабочему средствах потребления, т. е. высота реальной, а не номинальной заработной платы, зависит от соотношения между спросом и предложением. Перемена

налоговой системы может вызвать кратковременное нарушение этой зависимости, но длительного влияния она иметь не может. Единственное экономическое преимущество подоходного налога — о чем консistorский советник не упоминает — состоит в большей дешевизне его взимания. Пролетариат, впрочем, и от этого ничего не выиграл бы.

В чем же, однако, источник всех хлопот вокруг подоходного налога? Пролетариат, во-первых, во всем этом вовсе не заинтересован или заинтересован лишь временно. Во-вторых, правительство, которое при взимании налога на мясо и хлеб ежедневно приходит в непосредственное соприкосновение с пролетариатом и противостоит ему как враждебная сила, это правительство при подоходном налоге отступает на задний план и принуждает буржуазию всецело взять на себя ненавистную деятельность по понижению заработной платы. Таким образом, подоходный налог был бы выгоден только правительству, и этим именно объясняется вся злоба консistorских советников по поводу его отклонения.

Но допустим даже на мгновение, что пролетариат заинтересован в подоходном налоге; должен ли был этот ландтаг согласиться на него? Ни в коем случае. Он не должен был вотировать никаких денег и должен был оставить без изменений всю финансовую систему, пока правительство не исполнит всех его требований. Отказ в деньгах является для всех парламентов средством принудить правительство уступить большинству. Этот последовательный отказ в деньгах был единственным вопросом, в котором ландтаг выказал энергию; поэтому-то обманутые в своих расчетах консistorские советники и должны попытаться очернить его перед народом именно в этом пункте.

А между тем, заявляет далее «Рейнский обозреватель», именно либеральные органы собственно и выдвинули вопрос о подоходном налоге. Совершенно верно, потому что это — чисто буржуазное мероприятие. Тем не менее, буржуа могут все-таки отвергнуть этот налог, предложенный им не во-время и такими министрами, которым они не могут доверять ни на йоту. Признание же насчет авторских прав в вопросе о подоходном налоге мы приложим к протоколу: оно впоследствии нам пригодится.

После пустой и сбивчивой болтовни консistorский советник вдруг поперхнулся пролетариатом: «Что такое пролетарий? (Это тоже один из тех вопросов, которые задаются *лишь* для того, чтобы на них не дать ответа.) Не будет преувеличением, если мы (т. е. консistorские советники в «Рейнском обозревателе», а не прочие, обыкновенные газеты) скажем, что треть населения не имеет необхо-

димых средств существования, а другой трети угрожает опасность потерять их. Дело пролетариев, дело огромного большинства нации, это — основная проблема».

Как быстро, однако, один только соединенный ландтаг, с коекакой оппозицией, может образумить этих бюрократов! А давно ли правительство запрещало газетам писать о таких преувеличениях, как существование пролетариата в Пруссии? Давно ли «Трирской газете» и другим грозили закрытием за то, что они, — эти невинные существа, — говоря о тяжелом положении Франции и Англии, давали злонамеренно понять, что нечто подобное существует также и в Пруссии? Но пусть будет так, как угодно правительству. Признание же, что подавляющее большинство нации — пролетарии, мы опять-таки приложим к протоколу.

«Для ландтага, — говорится далее, — отвлеченный вопрос принципа является кардинальным вопросом; для него всего важнее: получит ли высокое собрание государственную власть? А что же получит народ? Ничего. Ни железных дорог, ни земельных банков, ни облегчения налогового бремени! Счастливый народ!»

Заметьте, как понемножку на гладкой маковке консисторского советника приподнимаются лисьи уши. Ландтаг счел принципиальный вопрос вопросом первостепенной важности. И сколько же святой простоты у этой любвеобильной змейки! Вопрос о том, разрешить ли правительству 30-миллионный заем, не поддающийся предварительному учету подходящий налог и учреждение земельного банка, при помощи которого оно могло бы получить 400 или 500 млн. под залог государственных имуществ, — вопрос о том, отдать ли все это в распоряжение теперешнего развратного и реакционного правительства, делая его тем самым навсегда независимым, или же, наоборот, прижать его и заставить, посредством отказа в деньгах, подчиниться общественному мнению, — этот-то вопрос наш пронырливый консисторский советник называет отвлеченным вопросом принципа!

А что же достанется народу? — спрашивает полный участия консисторский советник. Не будет железной дороги, — следовательно, народу не придется платить и налога на покрытие процентов по займу и неизбежных крупных убытков по эксплуатации этой дороги. О земельном банке консисторский советник говорит так, как будто правительство собиралось одарить за его счет пролетариат рентой, а в действительности оно, как раз наоборот, хотело наградить рентой только дворянство, платить же эту ренту пришлось бы народу. Эти банки должны были якобы облегчить крестьянам

выкуп барщинных повинностей. Но если крестьянам придется подождать еще несколько лет, то им, вероятно, не будет уже надобности выкупать их. Когда владельцы феодальных поместий наткнутся на крестьянские вилы, — а до этого легко может дойти, — тогда феодальные повинности падут сами собой. Нет подоходного налога, — но пока подоходный налог не приносит народу никакого дохода, последний может относиться к нему вполне безразлично.

«Счастливым народ, — продолжает консисторский советник, — ты, однако, торжествуешь победу принципа! А если ты не понимаешь, что это за штука, то предоставь своим представителям дать тебе объяснения, и за их длинными речами ты, может быть, забудешь про свой голод».

Кто же посмеет утверждать после этого, что немецкая печать несвободна? «Рейнский обозреватель» совершенно безнаказанно говорит здесь вещи, которые любой провинциальный судья во Франции признал бы, без дальних рассуждений, за возбуждение одного класса населения против другого и подверг бы виновника наказанию.

Консисторский советник выказывает, однако, чрезвычайную беспомощность. Он хочет льстить народу и в то же время не допускает, чтобы он мог понять, что это за штука принципиальный вопрос. Свое вынужденное притворство насчет сочувствия голодному народу он вымещает на том же народе, объявляя его глупым и совершенно неспособным к политике. Пролетариат, однако, хорошо знает, что за штука вопрос о принципах, и он упрекает ландтаг не за то, что тот настаивал на них, а за то, наоборот, что он *не добился* их торжества. Пролетариат упрекает ландтаг за то, что он придерживался оборонительной тактики, что он не перешел в наступление, что он не пошел в десять раз дальше. Пролетариат упрекает ландтаг за то, что он не действовал с нужной решительностью для того, чтобы дать рабочим возможность принять участие в движении. Пролетариат не мог, конечно, проявить особого интереса к сословным правам. Но ландтаг, который потребовал бы суда присяжных, равенства перед законом, отмены феодальных повинностей, свободы печати, свободы союзов и настоящего народного представительства, ландтаг, который раз навсегда порвал бы с прошлым и направил бы свои требования, сообразуясь, вместо старых законов, с потребностями настоящего времени, — такой ландтаг мог бы рассчитывать на активную поддержку пролетариата.

«Обозреватель» продолжает: «И дай бог, чтобы этот ландтаг не добился правительственной власти, ибо в таком случае всем

социальным улучшениям было бы поставлено непреодолимое препятствие». — Господин консисторский советник может успокоиться. С таким ландтагом, который не сможет справиться с прусским правительством, пролетариат, в случае нужды, легко справится.

«Говорилось, — продолжает обозревать консисторский советник, — что подоходный налог ведет к революции, к коммунизму. И он действительно ведет к революции, т. е. к преобразованию социальных отношений, к устранению безграничной нищеты». — Одно из двух: или консисторский советник насмехается над своей публикой и хочет только сказать, что подоходный налог уничтожает безграничную нищету, чтобы заменить ее ограниченной, т. е. преподнести ей плохонький берлинский анекдот, или в экономических вопросах он — величайший и бесстыднейший невежда, какого только свет породил. Он не знает, что в Англии подоходный налог существует уже семь лет, ни в какой мере не изменив социальных отношений, не устранив ни на волос социального зла. Он не знает, что именно там, где в Пруссии господствует самая безграничная нужда — среди силезских и равенсбергских деревенских ткачей, среди мелких силезских (рейнских) и познанских крестьян, живущих по Мозелю и Висле, — что именно там существует классовый, т. е. подоходный, налог.

Впрочем, разве можно серьезно возражать на такие пустяки? Далее значится: «Также и к коммунизму, в обычном его понимании... Там, где, с развитием торговли и промышленности, все отношения так переплетены между собою и подвержены такому текущему, вечному изменению, что отдельный человек не в состоянии удержаться в потоке конкуренции, там каждый индивид силою вещей вынужден искать опоры в обществе, которое должно во всем изгладить результаты общей неустойчивости. Общество несет коллективную ответственность за существование своих членов».

Вот он каков коммунизм «Рейнского обозревателя»! Общество, подобно нашему, в котором ни одному человеку не обеспечено существование и жизнь, обязано обеспечить каждому его существование! Сначала консисторский советник признает, что существующее общество этого сделать не в состоянии, а затем он требует от него, чтобы оно все же это невозможное совершило.

Оно должно, видите ли, исправлять в отдельности то, чего не может не разрушить в своем движении. Консисторский советник так понимает это дело. «Одна треть народа не имеет необходимых средств существования, а другой трети угрожает потеря их». Таким образом, мы насчитываем десять миллионов людей, которым

следует помочь поодиночке. Неужели консисторский советник серьезно полагает, что с этой задачей справится бедное прусское правительство? Да, он считает это возможным, и именно при помощи подоходного налога, ведущего к коммунизму, как его понимает «Рейнский обозреватель».

Превосходно. После пустейшей болтовни о мнимом коммунизме, после заявления, что общество несет коллективную ответственность за существование своих членов, что оно должно заботиться о них, хотя и не в состоянии это сделать, — после всей этой путаницы, всех противоречий и невыполнимых требований, нам предлагают еще принять подоходный налог в качестве той меры, которая призвана разрешить все противоречия, сделать возможным все невозможное, восстановить солидарность между всеми членами общества. Мы обращаем внимание на докладную записку о подоходном налоге, представленную ландтагу г. фон-Дуэсбергом. В этой записке распределялась до последней копейки вся сумма подоходного налога. У стесненного в средствах правительства не оставалось ни гроша на сглаживание последствий неустойчивости в обществе и выполнение коллективной обязанности всего общества перед каждым отдельным его членом. И если бы силою вещей к г. Дуэсбергу вынуждены были обратиться за помощью не десять миллионов, а всего только десять человек, то г. Дуэсберг должен был бы отказать и этим десятерым.

Но нет, мы ошибаемся. Кроме подоходного налога, г. консисторский советник знает еще одно средство для осуществления коммунизма, как он его понимает: «Что составляет альфу и омегу христианского вероучения? Учение о первородном грехе и об искуплении. В этом заключается солидарная связь между людьми в ее наивысшей потенции. Все за одного и один за всех».

Счастливый народ! Основная проблема разрешена для всех времен. Под двойным осенением прусского орла и святого духа пролетариат обретет два неисчерпаемых источника жизни: во-первых, излишек подоходного налога над обыкновенными и чрезвычайными государственными расходами, — излишек, равный нулю; во-вторых, доход от небесных поместий: первородного греха и искупления, — также равный нулю. Эти два нуля дают прекрасную почву для существования одной трети населения, не имеющей средств к существованию, и могучую опору для другой трети, стоящей перед угрозой потерять их. Нужно полагать, что воображаемые излишки, первородный грех и искупление, лучше успокоят народный голод, чем длинные речи либеральных депутатов.

Далее говорится: «В молитве «Отче наш» мы просим: «не введи нас во искушение». И то, о чем мы просим для себя, мы должны просить и для ближних наших. Наши социальные условия ставят нас перед большим искушением, а избыток горя приводит к преступлению». А мы, — гг. бюрократы, судьи и консисторские советники прусского государства, — из уважения к этой молитве колесуем, рубим головы, заточаем в тюрьмы и стегаем плетью, сколько влезет, и «вводим» всем этим «во искушение» пролетариев, чтобы впоследствии вновь колесовать, обезглавливать, заточать в тюрьмы и стегать их плетью. Так оно и будет, конечно.

«Такого положения, — заявляет г. консисторский советник, — христианское государство не должно терпеть, оно должно помочь несчастным». Да, нелепой болтовней о коллективной ответственности общества, воображаемыми остатками и дутыми векселями на бога-отца, сына и компанию.

«Можно даже оставить в покое, — полагает наш обозреватель, консисторский советник, — и без того скучные речи о коммунизме. Если только призванные к тому лица будут пропагандировать социальные принципы христианства, то коммунисты скоро замолчат».

Социальные принципы христианства имели в своем распоряжении 1800 лет, чтобы развиваться, и ни в какой дальнейшей пропаганде со стороны прусских консисторских советников не нуждаются.

Социальные принципы христианства оправдывали античное рабство, превозносили средневековое крепостничество и умеют также, в случае нужды, защитить, хотя и с жалкой гримасой, современное угнетение пролетариата.

Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов — господствующего и поработаемого, — и для последнего у них находится лишь благочестивое пожелание, чтобы первый ему благодетельствовал.

Социальные принципы христианства переносят на небо обещанное консисторским советником вознаграждение за все перенесенные на земле мерзости и тем самым оправдывают продолжение этих мерзостей на земле.

Социальные принципы христианства провозглашают все гнусности угнетателей против угнетаемых либо справедливым наказанием за первородный и другие грехи, либо испытанием, которое господь в своей премудрости ниспосылает искупленным им людям.

Социальные принципы христианства превозносят трусость, презрение к самому себе, самоунижение, подчинение, смирение, словом — все качества черни, но для пролетариата, который не желает,

чтобы с ним обращались, как с отребьем человечества, для пролетариата смелость, самосознание, чувство гордости и независимости — важнее хлеба.

На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества, пролетариат же — революционер.

Вот как дело обстоит с социальными принципами христианства.

Далее: «Мы признали, что социальные реформы составляют важнейшую задачу монархии». Разве признали? До сих пор об этом не было и речи. Но пусть так. А в чем состоят социальные реформы монархии? В проведении подоходного налога, украденного у либералов, налога, который должен дать излишки, не известные министру финансов; в злосчастных земельных банках, в прусской восточной железной дороге и главным образом в процентах с громадного капитала, составленного из первородного греха и искупления!

«Этого требуют интересы самого королевства», — как низко же пало это королевство! «Этого требуют нужды общества», — которое в данный момент скорее требует охранительных пошлин, чем догм. «Это рекомендуется Евангелием», — это вообще рекомендуется всем, только не страшной пустотой прусской государственной кассы, той бездонной пропастью, которая в течение трех лет проглотит пятнадцать русских миллионов без всяких результатов. Евангелие вообще рекомендует очень многое, между прочим и кастрацию как начало социальной реформы по отношению к самому себе (Матф. 25).

«Королевская власть, — поясняет наш консисторский советник, — составляет с народом единое целое». Но это не более, как измененная форма выражения *l'état c'est moi*, совершенно то же выражение, которое употребил Людовик XVI 23 июня 1789 г. против своих мятежных сословий: если вы не будете повиноваться, я отправлю вас по домам — *et seul je ferai le bonheur de mon peuple*. Королевская власть должна чувствовать себя весьма стесненной, если она решается на употребление подобного выражения, и наш ученый консисторский советник знает, конечно, как французский народ отблагодарил тогда Людовика XVI за его исторические слова.

«Трон, — уверяет г. консисторский советник, — должен покоиться на широком народном базисе: тогда он держится прочнее всего». Да, до тех пор, пока широкие плечи народа сильным движением не сбросят в канаву эту обременительную надстройку.

«Аристократия, — заканчивает г. консисторский советник, — оставляет королю его достоинство и придает ему поэтический блеск, но лишает его реальной власти. Буржуазия лишает его и власти.

и достоинства и дает ему только *liste civile*, денежное обеспечение. Народ же сохраняет королю его власть, достоинство и поэзию». Здесь г. консistorский советник, к несчастью, слишком серьезно отнесся к пресловутому обращению Фридриха-Вильгельма в его тронной речи к народу. Последнее слово его — это уничтожение аристократии, уничтожение буржуазии и восстановление монархии, опирающейся на народ. Если бы эти требования не были чистой фантазией, в них заключалась бы полнейшая революция. Мы не хотим даже останавливаться на том, что аристократия не может быть свергнута иначе, как только совместными усилиями буржуазии и народа; что господство народа в стране, где рядом еще существуют аристократия и буржуазия, есть чистой бессмыслица. На подобные рассказы консistorского советника при Эйхгорне нельзя отвечать серьезным обсуждением вопроса.

Мы сделаем несколько благожелательных замечаний тем господам, которым хотелось бы спасти находящуюся в тисках прусскую королевскую власть при помощи *salto mortale* в народ. Из всех политических элементов самым опасным для короля является народ. Не тот народ, о котором говорит Фридрих-Вильгельм и который со слезами на глазах благодарит за пинки и гроши, — этот народ безусловно не опасен, ибо он существует лишь в фантазии короля. Но настоящий народ, пролетариат, мелкое крестьянство и плебе — это, как выражается Гоббс, *puer robustus sed malitiosus*, сильный и злой мальчик; он не дается в руки ни тощим, ни жирным королям.

Этот народ прежде всего вырвал бы из рук его величества конституцию с всеобщим избирательным правом, свободу союзов, свободу печати и другие неприятные вещи. И когда он добился бы всего этого, он воспользовался бы приобретенной властью для того, чтобы по возможности скорее объявить власть, достоинство и поэзию королевского сана излишними. Нынешний почтенный обладатель королевской власти сможет почитать себя счастливым, если народ даст ему тогда место публичного декламатора при берлинском ремесленном фереине с содержанием в 250 талеров и кружкой холодного пива каждый вечер. Если бы гг. консistorские советники, от которых зависят ныне судьбы прусской монархии и «Рейнского обозревателя», усомнились в этом, то пусть они обратятся к истории. История преподносит королям, апеллирующим к своему народу, и не такие еще гороскопы.

Карл I английский тоже апеллировал к своему народу против поведения сословий. Он призывал народ к оружию против парламента. Но народ выступил против короля, выбросил из парламента

всех депутатов, не являвшихся представителями народа, и заставил, наконец, парламент, ставший, таким образом, настоящим народным представительством, казнить короля. Вот чем кончилось обращение Карла I к своему народу. Это случилось 30 июня 1649 г., и в 1849 г. наступит двухсотлетний юбилей этого события.

Людовик XVI французский тоже апеллировал к своему народу. Три года под ряд он апеллировал к одной части народа против другой, он искал *свой* народ, истинный народ, преданный ему народ, и нигде его не находил. В конце концов он нашел его в кобленцском лагере, в арьергарде прусских и австрийских войск. Но его народу во Франции это показалось уже чересчур. 10 августа 1792 г. он запер апеллянта в Темплъ и созвал Национальный конвент, который представлял его во всех отношениях. Этот Конвент объявил себя компетентным рассмотреть апелляцию короля и, после нескольких совещаний, послал апеллянта на Площадь Революции, где он и был гильотинирован 21 января 1793 г.

Вот что выходит из апелляции королей к своим народам. А что выходит из того, когда консисторские советники берутся создавать демократические монархии, — чтобы это увидеть, нам придется еще подождать.

ТЮРЕМНЫЙ КОНГРЕСС В БРЮССЕЛЕ.

Наш век может быть назван веком конгрессов: начиная с 1814 г. — конгрессов монархов и их министров, чтобы вновь скрепить во многих местах ослабевшие цепи европейских народов, чтобы со ссылкой на троицу, под знаком которой совершаются все позорные деяния могущественных и знатных разбойников, заключать священные союзы деспотов и подавлять порывы к свободе в Италии, Испании, Португалии и т. д.; в новейшее же время — конгрессов естествоиспытателей, врачей, представителей сельского и лесного хозяйства, филологов, котельщиков, торговков, германистов и даже — филантропов. Зуд все более и более тревожил и филантропов, и когда им стало не в мочоту, они также решили созвать конгресс.

Мы отнюдь не отрицаем пользы, которая проистекала и может проистекать от конгрессов естествоиспытателей, врачей, сельских хозяев и т. п. Взаимное общение большего или меньшего числа лиц с целью обмена мнениями по вопросам естествознания, сельского хозяйства и т. д. всегда окажет известное влияние на ту специальность или те специальности, которые относятся к компетенции данного конгресса. Но если специальность эта до последней степени смешна и еще смешнее те лица, которые по вопросам этой специальности заседают на конгрессах, то единственная проистекающая отсюда польза заключается в потехе, которую может испытать присутствующая в качестве зрителей публика.

И вот из всех специальностей самой смешной является та, которая в прошлом году объединила филантропов на конгрессе во Франкфурте-на-Майне и соберет их теперь, 20 сентября, в 9 часов утра, в готическом зале Брюссельской ратуши.

Прежде всего — что следует понимать под словом «филантропы»? В буквальном переводе это слово означает: друзья человечества. Филантропы — люди, которые от мизинца ноги до кончиков волос, — предполагают, что таковые у них имеются, — начинены любовью к людям. Что и говорить, таких людей, к сожалению, очень мало, и они заслуживают всеобщей благодарности и всяческого подражания.

Да нет же, они вовсе не редки, к сожалению — наоборот; а что касается их достоинств, то присмотримся к ним поближе, прежде чем вынести окончательное суждение.

Филантропы, или друзья человечества, это — господа, которые или занимают доходные места, щедро оплачиваемые из народного кармана, или обладают приобретенным посредством наследования или спекуляции состоянием, которое приносит им 5—10—20 и больше тысяч талеров ежегодного дохода. Все эти господа без исключения принадлежат к тому классу, который не только *честно* кормится за счет чужого труда, но и живет в прекрасной обстановке, держит превосходную кухню, понимает толк в хороших винах, изысканно и роскошно одевается, ездит на курорты, устраивает охотничьи празднества, содержит в тихом деревенском уединении или в своем родном городе одну или несколько любовниц, помогает стряпать законы, изливает потоки елейных слов о нравственности, дисциплине и порядке и претворя все любит мир и покой. Что касается наружности этих господ, то замечено, что обвислый живот и тройной подбородок особенно располагают к филантропии, или к человеколюбию. Но, может быть, вернее обратное — человеколюбие ведет к ожирению. Опыт как будто подтверждает это. Вспомним Фридриха-Вильгельма IV в Сан-Суси. Однако можно встретить и множество тощих, веретенообразных филантропов. У этих человеколюбие превращается скорее в воду, нежели в жир.

Блаженство филантропов не знало бы границ, если бы они могли им наслаждаться без помех. Увы! Об этом не может быть и речи. Один филантроп, имея в своих заповедных лесах в изобилии дичь, гордясь и радуясь этому, должен часто переживать неприятности от того, что какие-то простолюдины, по большей части в отряпьях, убивают его лучших козуль, оленей, зайцев и т. д. У другого филантропа его картофельные и свекловичные поля, огороды и плодовые сады тайно посещают не-филантропы, карманы которых так же пусты, как и желудки. В рощах третьего не-филантропические пролетарии, наперекор закону, собирают хворост и рубят лес, чтобы иметь возможность сварить себе водянистый суп. В дом четвертого в ночную пору забираются воры и уносят все, что в спешке подвернулось под руку. Тысячью всяких способов нарушается блаженство филантропа. Страх и забота обволакивают его сердце и его кошелек.

И вот, чтобы избавиться от страха и оградить от всякого посягательства мирную жизнь филантропа, преступления должны быть искоренены. Но ведь лучше всего сделать это, не истребляя преступников, а превращая их в непроступников, наподобие филантропов!

К достижению этой цели энергично стремятся в настоящее время филантропы. Они слишком культурны, образованы, слишком христиане, чтобы избавляться от преступников прежним наивно-быстрым способом — посредством топора, колеса и виселицы. Правда, и прежде не мало сажали людей в тюрьмы, но ведь отмечалось, что большинство из них скоро возвращалось оттуда.

Филантропы поставили поэтому вопрос: каким образом воспрепятствовать рецидивам?

Вопрос этот ими тщательно изучался, и был дан следующий ответ: таким образом, что посредством одиночного заключения, принудительного молчания, поповских поучений, филантропических проповедей мы так дойдем и, доняв, исправим заключенных, что навсегда парализуем их способность и волю вновь нарушить изданные нами и в наших интересах законы. Так возникло филантропическое изобретение — тюрьмы принудительного молчания и одиночного заключения.

При системе донимающего исправления филантроп-буржуа имеет ту выгоду, что выпущенный из тюрьмы покорно, как овца, работает на капиталистов в стенах фабрик, в поместьях, в копиях, на железных дорогах, на водных путях и т. д., содействует им в извлечении прибыли и, с голодным желудком проходя через картофельное поле, не решится взять ни единого клубня. В таком состоянии он гораздо полезнее филантропу, чем если бы он был обезглавлен. Стоит только миллионам неимущих каждой страны указанным образом перевоспитаться в изобретенных филантропами тюрьмах одиночного заключения и принудительного молчания, как все пойдет наилучшим образом в этом лучшем из миров. С одной стороны, — благопристойно, без усилий, в мире и покое наслаждающиеся жизнью филантропы и капиталисты; в их сердцах — неисчерпаемый запас человеколюбия; с другой стороны — совершенно исправившиеся или имеющие в скором времени исправиться рабочие, почитающие за радость и за честь работать за картофель и соль для денежного мешка этих господ.

Для осуществления этого золотого века недостает лишь деталей, от которых зависит, чтобы скорее начали действовать указанные филантропические заведения. Что касается принципа, то он уже окончательно принят в прошлом году во Франкфурте.

Господа филантропы в этом году с особенным рвением займутся поэтому деталями на открывающемся 20 сентября конгрессе в Брюсселе.

Неоднократно публиковавшаяся программа конгресса, есте-

ственно, как и все, что исходит от господ филантропов, весьма ценна и является отблеском их прекрасных душ. К сожалению, однако, мы не находим в ней одного положения, а именно, чтобы каждый, кто пожелал бы выступить на конгрессе, предварительно по меньшей мере в течение двух лет в полном молчании подвергался издевательствам и исправлению в стенах одиночной камеры. ¹

¹ NB редакции «Deutsche Brüsseler Zeitung» — Тот самый г. Дюкпесио, который теперь пропагандирует систему одиночного заключения, в то же время является любезным светским человеком, другом самых различных партий, как правых, так и левых, — веселым жуиром, знатоком вин, обладающим рентой в несколько десятков тысяч франков, любящим свои сигары, но строго запрещающим табак, это единственное удовольствие заключенных, в находящемся под его надзором тюрьмах, — этот самый г. Дюкпесио, который теперь письменно и устно отстаивает одиночное заключение, эту ужасающую, бесчеловечную, варварскую пытку, несколько лет тому назад, — когда сам по политическим причинам был *au secret* на несколько дней арестован, — написал самые яркие протесты против одиночного заключения (*au secret*)!

Таким образом, г. Дюкпесио находится в полном противоречии с самим собой, и потому мы спрашиваем:

Противоречие природы
Объясни мне, филантроп.

КОММУНИСТЫ и К. ГЕЙНЦЕН.

Статья первая.

Сегодняшний номер «Немецко-брюссельской газеты» содержит статью Гейнца, в которой последний, под предлогом самозащиты от незначительного упрека редакции, открывает длинную полемику против коммунистов.

Редакция советует обеим сторонам отказаться от полемики. В таком случае, однако, ей следовало бы опубликовать из статьи Гейнца только ту ее часть, в которой он действительно защищается против упрека в том, будто он первый обрушился на коммунистов. Если Гейнец и «не имеет в своем распоряжении никакого органа печати», то это еще не является достаточным основанием для того, чтобы в его распоряжение была предоставлена газета для опубликования нападок, которые сама редакция этой газеты считает нелепыми.

Впрочем, нельзя себе представить лучшей услуги, чем та, которая была оказана коммунистам опубликованием этой статьи. Никогда ни против одной партии не выдвигались более глупые и более бессодержательные обвинения, чем те, которые Гейнец здесь бросает по адресу коммунистов. Статья является лучшим оправданием коммунистов. Она доказывает, что если коммунисты до сих пор не нападали на Гейнца, то они должны были бы это немедленно сделать.

Господин Гейнец с самого начала выступает как представитель всех немецких радикалов, не примыкающих к коммунистам. Он хочет спорить с коммунистами, как партия с партией. Он «имеет право требовать», он устанавливает с величайшей решительностью, «на что коммунисты способны», чего от них «следует ожидать» и что «является долгом истинных коммунистов». Он отождествляет *свое* расхождение с коммунистами с расхождением последних с «немецкими республиканцами и демократами» и выступает, как «мы», от имени этих республиканцев.

Кто такой господин Гейнец и кого он представляет?

Господин Гейнцен — бывший либеральный мелкий чиновник, который еще в 1844 г. воодушевлялся идеей прогресса в пределах законности и немецко-конституционного убожества и который в лучшем случае в дружеской беседе шопотом признавался, что, пожалуй, в очень отдаленном будущем республика станет желательной и возможной. Господин Гейнцен, однако, ошибся насчет возможности борьбы на почве закона в Пруссии. Он вынужден был бежать из-за своей плохой книги о бюрократии (даже Яков Венедей написал несколько лет тому назад гораздо лучшую книгу о Пруссии). Теперь он прозрел. Он объявил борьбу с прусским правительством на почве закона невозможной, стал революционером и, конечно, республиканцем. В Швейцарии он познакомился с *savant sérieux* Руге, который приобщил его к своей незатейливой философии, представляющей путаную смесь из фейербаховского атеизма и идеи человечества, отрывочных мыслей из Гегеля и штирнеровской риторики. Вооруженный всем этим, г. Гейнцен счел свое духовное развитие законченным и, опираясь справа на Руге, слева на Фрейлиграта, начал свою революционную пропаганду.

Мы, разумеется, не ставим г-ну Гейнцену в укор его переход от либерализма к кровожадному радикализму. Мы, однако, утверждаем, что он этот переход сделал только под влиянием личных невзгод. До тех пор, пока г. Гейнцен мог вести борьбу в пределах законности, он нападал на всех тех, которые поняли неизбежность революции. Но как только эта легальная борьба для него сделалась невозможной, он поспешил объявить ее невозможной вообще, не считаясь с тем, что для немецкой буржуазии эта легальная борьба пока еще вполне возможна, что она неизменно ведет борьбу в высшей степени легальными средствами. Как только для *него* была отрезана возможность возвращения, он прокламировал необходимость немедленной революции. Вместо того, чтобы приняться за изучение политических и социальных условий Германии, чтобы ориентироваться в них и отсюда заключить, какого рода сдвиг, какое развитие и какие мероприятия необходимы и возможны, вместо того, чтобы разобраться в сложном отношении отдельных классов Германии между собой и их взаимоотношении с правительством и отсюда вывести, какой политики следует держаться, вместо того, одним словом, чтобы приспособить свою тактику к ходу развития Германии, г-н Гейнцен самым бесцеремонным образом требует, чтобы развитие Германии приспособлялось к нему.

Господин Гейнцен был резким противником философии, пока *она еще была прогрессивна*. Когда же она стала реакционной, когда она

стала убежищем всех нерешительных, калек и пишущих промышленников, тогда именно г-н Гейнцен на беду свою примкнул к ней. Да, еще худшее случилось с г-ном Гейнценом. Г-н Руге, который всю свою жизнь сам был простым прозелитом, приобрел в лице г-на Гейнца своего единственного прозелита. Господин Гейнцен должен, таким образом, служить утешением для г-на Руге в том отношении, что в лице первого нашелся, по крайней мере, хоть один человек, полагающий, что ему понятны писания г-на Руге.

За что, собственно, агитирует г-н Гейнцен? За немедленную германскую республику, в которой традиции американской революции и 1793 г. сочетаются с некоторыми мероприятиями, позаимствованными у коммунистов и которая имеет яркий черно-красно-желтый цвет. Германия занимает в силу своей промышленной отсталости такое жалкое положение в Европе, что она никогда не возьмет на себя инициативу, никогда первая не сможет прокламировать революцию, никогда на свой страх и риск без Франции и Англии не провозгласит республики.

Всякое представление о том, будто германская республика может быть создана независимо от борьбы цивилизованных стран, будто германская революция может быть сделана на свой страх и риск и, как это представлено у г-на Гейнца, не считаться при этом с действительным движением классов в Германии, — все такие представления о республике и революции являются свободной черно-красно-желтой фантастикой. И чтобы сделать эту славную германскую республику еще более славной, г-н Гейнцен ее рисовывает соответственно фейербаховской идее человечества, переделанной по методу Руге, и прокламирует ее как царство «человека», которое уже почти наступило. И все эти, не знающие удержку, фантазии немцы должны осуществить.

Какие методы пропаганды применяет, однако, великий «агитатор» г-н Гейнцен? Он объявляет государей главными виновниками всего горя, всей нужды. Это утверждение не только смешно, но и чрезвычайно вредно. Г-н Гейнцен не мог бы сильнее польстить немецким государям, чем он это делает в данном случае, приписывая этим бессильным и слабоумным марионеткам какое-то фантастическое, сверхземное, демоническое всемогущество. Утверждая, что государи могут причинить столько несчастий, г-н Гейнцен этим признает за ними силу творить в таких же размерах и добро. Выводом отсюда является не необходимость революции, а благочестивое пожелание иметь на троне благородного государя, доброго императора Иосифа. Впрочем, народ сам лучше знает, чем г-н Гейнцен,

кто его угнетает. Г-ну Гейнцену никогда не удастся направить против государей ту ненависть, которую испытывает закрепощенный крестьянин против помещика, рабочий — против своего работодателя. Но г-н Гейнцен работает, несомненно, в интересах помещиков и капиталистов, когда он вину за эксплуатацию, которой подвергается народ со стороны этих двух классов, приписывает не этим последним, а государям. А между тем именно эксплуатация помещиков и капиталистов порождает девятнадцать двадцатых немецкой нищеты!

Г-н Гейнцен призывает к немедленному восстанию. Он печатает в этом смысле прокламации и старается их распространить в Германии. Мы спрашиваем: не вредит ли скорее такая бессмысленная, действующая вслепую, пропаганда интересам немецкой демократии? Мы спрашиваем: не доказал ли опыт, насколько такая пропаганда бесполезна? Разве не были в Германии в эпоху значительно большего общественного возбуждения, чем нынешняя эпоха, а именно в тридцатых годах, распространены сотни тысяч подобных летучих листов, брошюр и т. д. и разве имел хоть один из них какой-нибудь успех?

Мы спрашиваем: может ли хоть один человек в здравом уме думать, что народ будет сколько-нибудь прислушиваться к такого рода политическим проповедям и призывам? Мы спрашиваем: содержали ли когда-нибудь летучие листки г-на Гейнца что-нибудь, кроме проповеди и призывов? Мы спрашиваем: не смехотворно ли оглашать мир призывами к революции без смысла и понимания, без знания и представления о действительно существующих отношениях?

Какова задача партийной прессы? Прежде всего обсудить, обосновать, развивать и защищать требования партии, отвергать и опровергать претензии и утверждения противной партии. Какова задача немецкой демократической прессы? Доказать необходимость демократии, выводя ее из негодности существующего правительства, представляющего более или менее интересы дворянства, из неудовлетворительности системы конституционализма, отдающей власть буржуазии, из невозможности для народа улучшить свое положение, пока он не обладает политической властью. Она должна выяснить тот гнет, которому подвергаются пролетарии, мелкое крестьянство и мелкое мещанство — ибо эти-то классы и составляют в Германии «народ» — со стороны бюрократии, дворянства и буржуазии; она должна выяснить, чем обусловлено возникновение не только политического, но прежде всего социального гнета, и какими средствами он может быть устранен; она должна доказать, что завоевание политической власти пролетариями, мелкими крестьянами

и мелким городским мещанством является первым условием для осуществления этих средств. Она должна дальше исследовать, в какой мере можно рассчитывать на немедленное осуществление демократии, какие средства находятся в распоряжении партии и к каким другим партиям она должна примкнуть, пока она еще слишком слаба, чтобы действовать самостоятельно. И вот, выполнил ли г-н Гейнцен хоть одну из этих задач? Нет. Он себе не дал труда сделать это. Он ничего не объяснил народу, т. е. пролетариям, мелким крестьянам и мелким мещанам. Он никогда не исследовал положения классов и партий. Он только разыгрывал вариации на тему: «встань, подымайся!» И к кому обращается г-н Гейнцен со своим кровавым призывом? Прежде всего к мелким крестьянам, к тому классу, который в наше время менее всего способен проявить революционную инициативу. На протяжении последних шестисот лет все прогрессивные движения были настолько связаны с городом, что самостоятельные демократические движения сельского населения (Уот Тайлер, Кэд, жакерия, крестьянские войны), во-первых, всякий раз носили реакционный характер, а во-вторых, всякий раз подавлялись. Промышленный пролетариат городов стал венцом всякой современной демократии; мелкая буржуазия и еще больше крестьяне зависят всецело от его инициативы. Это доказывает французская революция 1789 г. и новейшая история Англии, Франции и Северо-Американских Штатов. А г-н Гейнцен возлагает надежды на крестьянский бунт теперь, в XIX столетии?

Г-н Гейнцен, однако, обещает и социальные реформы. Конечно, равнодушие народа к его призывам постепенно вынудило его к этому. А что это за реформы? Именно такие, какие сами коммунисты предлагают как подготовительные меры к устранению частной собственности. То единственное, что заслуживает признания у Гейнца, последний позаимствовал у коммунистов, на которых он так резко нападает. Да и это под его руками превратилось в сплошную нелепость и в чистую фантазию. Все мероприятия с целью ограничения конкуренции, с целью ограничения скопления больших богатств в руках немногих, всякое ограничение или упразднение права наследства, всякая государственная организация работы и т. д. — все эти мероприятия в качестве революционных мероприятий не только возможны, но даже необходимы. Они возможны потому, что весь восставший пролетариат стоит за ними и вооруженной рукой охраняет их. Они возможны, несмотря на все указанные экономистами затруднения. Все эти затруднения заставят только пролетариат идти все дальше и дальше до полного

упразднения частной собственности. Пролетариат вынужден будет это сделать, чтобы не потерять снова того, что было им уже завоевано. Они возможны как подготовительные мероприятия, как переходные промежуточные ступени к упразднению частной собственности, но только в качестве таковых.

Но г-н Гейнцен требует этих мероприятий как прочных и окончательных мероприятий. Они ничего не должны готовить, они должны быть окончательными. Они для него не средство, а цель. Они рассчитаны не на революционные, а на спокойные условия буржуазного развития. В силу этого они становятся невозможными и одновременно реакционными. Буржуазные экономисты совершенно правы, указывая в полемике с Гейнценом, что эти мероприятия являются реакционными в сравнении со свободной конкуренцией. Свободная конкуренция есть последняя, высшая, наиболее развитая форма существования частной собственности. Все мероприятия, следовательно, имеющие своей предпосылкой сохранение института частной собственности и все же направленные против свободной конкуренции, — реакционны и клонятся к реставрированию низших ступеней развития собственности. Они должны поэтому в последнем счете быть снова вытеснены конкуренцией и в результате повлечь за собою восстановление нынешнего положения вещей. Эти возражения буржуазных экономистов, теряющие всю свою силу, поскольку мы рассматриваем указанные выше социальные реформы как простые *mesures de salut public*, как революционные и переходные мероприятия, — эти возражения являются уничтожающими для аграрно-социалистически-черно-красно-желтой республики г-на Гейнцена.

Г-н Гейнцен воображает, конечно, что можно изменить и организовать по произволу отношения собственности, наследственное право и т. д. Г-н Гейнцен — один из невежественнейших людей этого столетия — может, конечно, не знать, что отношения собственности каждой эпохи являются необходимым результатом способа производства и обмена этой эпохи. Г-н Гейнцен может, конечно, не знать, что нельзя превратить крупное землевладение в мелкое, не изменив всей системы агрикультуры, и что в противном случае крупное землевладение будет очень скоро снова восстановлено. Г-н Гейнцен может не знать, какая тесная связь существует между современной крупной промышленностью, концентрацией капиталов и ростом пролетариата. Г-н Гейнцен может не знать, что такая экономически зависимая и поработанная страна, как Германия, может себе позволить предпринять на свой страх и риск только такое пре-

образование своих отношений собственности, которое лежит в интересах буржуазии и свободной конкуренции.

Коротко говоря: у коммунистов эти мероприятия имеют разумный смысл, потому что они понимаются не как произвольные мероприятия, а как результаты, которые сами собою необходимо будут вытекать из развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, средств сообщения, из развития обусловленной этим классово-вой борьбы между буржуазией и пролетариатом, причем будут вытекать не как окончательные мероприятия, а как меры переходного характера, как средства «общественного спасения преходящей классовой борьбы».

У г-на Гейнца они не имеют никакого смысла, ибо они выступают у него как произвольно придуманные, мещанские планы исправления мира, ибо у него нет и намека на связь этих мероприятий с историческим развитием, ибо г-н Гейнцен несколько не заботится о практической осуществимости своих проектов, ибо он стремится не формулировать экономические необходимости, а, наоборот, декретами опрокинуть эти необходимости. Тот же г-н Гейнцен, для которого требования коммунистов приемлемы только после того, как он их предварительно жестоко исказил и превратил в чистые фантазии, — этот же г-н Гейнцен упрекает коммунистов в том, что они «производят путаницу» в головах необразованных людей, что они «гонятся за призраками» и «теряют почву действительности (!) под ногами»!

Таков г-н Гейнцен во всей своей агитаторской деятельности, и мы прямо и открыто заявляем, что считаем ее безусловно вредной и компрометирующей для всей демократической партии. Партийный публицист должен обладать совсем другими качествами, чем те, которыми обладает г-н Гейнцен, который, как сказано, является одним из невежественнейших людей нашего столетия. Г-н Гейнцен, может быть, и преисполнен самых благих намерений, он, может быть, является самым благомыслящим человеком во всей Европе; мы знаем также, что лично он честный человек и обладает мужеством и стойкостью. Но всего этого недостаточно, чтобы быть партийным публицистом. Для этого требуется нечто большее, чем твердость характера, благие намерения и голос Стентора. Для этого требуется немного больше ума, немного больше ясности, лучший стиль и больше знаний, чем у г-на Гейнца. Долголетний опыт показывает, что г-н Гейнцен и неспособен приобрести эти качества.

Вынужденный, однако, покинуть родину, г-н Гейнцен был поставлен в необходимость сделаться партийным публицистом. Он был

вынужден сделать попытку организовать себе партию среди радикалов. Он, таким образом, занял положение, которое ему не по плечу, и его безуспешные усилия оказаться на высоте этого положения делают его только смешным. Он бы поставил этим в смешное положение и немецких радикалов, если бы они дали повод думать, что он их представляет, что он делает себя смешным по их поручению.

Но г-н Гейнцен не представляет немецких радикалов. Эти имеют совсем иных представителей, — напр., Якоби и др. Г-н Гейнцен не представляет никого и никем не признан представителем, за исключением немногих немецких буржуа, которые поддерживают деньгами его агитацию. Впрочем, мы ошибаемся. Один класс в Германии признает его своим представителем, восторженно поклоняется ему, шумно агитирует в его пользу, в ресторанах покрывая своим голосом голоса всех ресторанных гостей (точь-в-точь как, по словам Гейнца, «коммунисты перекричали всю литературную оппозицию»). Этим классом является многочисленный, просвещенный, стойкий в убеждениях и влиятельный класс коммивояжеров.

И этот г-н Гейнцен требует от коммунистов, чтобы они его признали представителем радикальных буржуа и дискутировали с ним как с таковым.

Все изложенное до сих пор дает уже достаточно оснований для оправдания полемики коммунистов против г-на Гейнца. В следующем номере мы остановимся на тех упреках, которые г-н Гейнцен в № 77 делает коммунистам. Если бы мы не были твердо убеждены, что г-н Гейнцен абсолютно не годится для роли партийного публициста, мы бы ему советовали внимательно проштудировать «Нищету философии» Маркса. Теперь, однако, мы можем ответить на его совет нам читать «Новую политику» Фребеля другим советом ему, а именно: сидеть тихо и ждать спокойно «боя». Мы убеждены, что г-н Гейнцен окажется в такой же мере хорошим батальонным командиром, в какой мере он оказался плохим публицистом.

Чтобы не дать повода г-ну Гейнцену жаловаться на анонимные нападки, мы подписываем эту статью:

Статья вторая.

Коммунисты — как мы это выяснили в первой статье — не за то нападают на Гейнца, что он не коммунист, а за то, что он плохой публицист демократической партии. Они нападают на него не как коммунисты, а как демократы.

Простая случайность, что именно коммунисты открыли полемику против него. Если бы не было никаких коммунистов на земном шаре, то против Гейнцена должны были бы выступить демократы. Во всем этом споре речь идет только о следующем: 1) способен ли г-н Гейнцен, как партийный публицист и агитатор, принести пользу демократии, что мы отрицаем; 2) правильны ли или, по крайней мере, терпимы ли агитационные методы г-на Гейнцена, на что мы также отвечаем отрицательно. Речь идет, таким образом, не о коммунизме и не о демократии, а о личности и о личных причудах г-на Гейнцена.

Коммунисты не только не склонны в настоящий момент начать бесполезные споры с демократами, но скорее сами выступают, как демократы во всех практических вопросах партийной политики. Демократия имеет во всех цивилизованных странах своим необходимым следствием политическое господство пролетариата, а политическое господство пролетариата является первой предпосылкой всяких коммунистических мероприятий. Пока, следовательно, демократия еще не завоевана, до тех пор коммунисты и демократы борются рука об руку, и интересы демократов являются также интересами и коммунистов. До этого момента разногласия между обеими партиями имеют чисто теоретический характер, и они могут теоретически обсуждаться без всякого ущерба для их совместных действий. Можно будет даже столкнуться о некоторых мероприятиях, которые следовало бы осуществить немедленно по завоевании демократии в интересах угнетенных классов, напр. о переходе в управление государством крупной промышленности, железных дорог, о воспитании всех детей на государственный счет и т. д.

Перейдем, однако, к г-ну Гейнцену.

Г-н Гейнцен заявляет, что не он начал спор с коммунистами, а они с ним. Мы имеем перед собой, таким образом, известный аргумент носильщика, по поводу которого мы с ним препираться не будем. Он называет свой конфликт с коммунистами «бессмысленным расколом, который коммунисты вызвали в лагере немецких радикалов». Гейнцен утверждает, что он уже три года тому назад стремился всеми силами, пользуясь всяким поводом, предотвратить надвигающийся раскол. За этими бесплодными усилиями последовали нападки коммунистов против него.

Три года тому назад, как хорошо известно, г-н Гейнцен не был вовсе еще в лагере радикалов. Он был тогда легальным прогрессистом и либералом. Расхождение с ним вовсе не означало, следовательно, раскола в лагере радикалов.

Г-н Гейнцен встретился с коммунистами здесь, в Брюсселе, в начале 1845 г. Эти последние не только не думали нападать на г-на Гейнца за его якобы политический радикализм, но и прилагали все усилия к тому, чтобы привести либерального тогда г-на Гейнца в лагерь именно этих радикалов. Эти усилия, однако, не увенчались успехом. Только в Швейцарии г-н Гейнцен стал демократом.

«Позже я все более и более (1) стал убеждаться в необходимости энергичной борьбы против коммунистов», — следовательно, в необходимости бессмысленного раскола в лагере радикалов! Мы спрашиваем немецких демократов, годится ли в партийные публицисты тот, кто так смехотворно противоречит самому себе?

Но кто такие те коммунисты, которые, по утверждению г-на Гейнца, выступили с нападками против него? Выше приведенные указания и следующие за ними упреки по адресу коммунистов дают на это ясный ответ. Коммунисты, говорится там, «заглушили своим криком голос литературной оппозиции, они создали сумятицу в головах необразованных людей, дискредитировали беспощаднейшим образом самых радикальных людей, они... по мере сил старались парализовать политическую борьбу, даже объединились, наконец, с реакцией. Сверх того, они часто опускались, очевидно под влиянием доктрины, в практической жизни до роли *подлых и лицемерных интриганов*»...

Из туманной неопределенности этих обвинений вырисовывается ясно различимый образ: образ писателя-промышленника г-на Карла Грюна. Г-н Грюн имел три года тому назад личные счеты с г-ном Гейнцем. Вслед за этим г-н Грюн выступил с нападками на г-на Гейнца в «Трирской газете». Г-н Грюн попытался перекричать весь лагерь литературной оппозиции. Г-н Грюн старался по возможности парализовать политическую борьбу и т. д.

С каких это пор, однако, г-н Грюн является представителем коммунистов? Если он три года тому назад сделал попытку сблизиться с коммунистами, то он никогда не был открыто признан коммунистом, никогда сам себя публично таковым не объявлял и более года тому назад счел даже нужным выступить против коммунистов.

Г-н Маркс уже тогда дезавуировал в полной мере господина Грюна перед господином Гейнцем и изобразил публично этого самого г-на Грюна в его настоящем виде.

Что касается, наконец, «подлой и лицемерной» инсинуации г-на Гейнца по адресу коммунистов, то она имеет своей основой инцидент, происшедший между г-ном Грюном и г-ном Гейнцем.

и — ничего больше. Инцидент этот касается обоих названных выше господ, но никак не коммунистов. Мы даже не знаем подробностей этого инцидента настолько, чтобы быть в состоянии составить себе мнение о нем. Предположим, однако, что г-н Гейнцен прав. Если, однако, г-н Гейнцен выставляет этот инцидент как неизбежное последствие коммунистической доктрины после того, как Марко и другие коммунисты дезавуировали его виновника, после того, как выяснилось с полной очевидностью, что инкриминируемое лицо никогда не было коммунистом, — то это является со стороны г-на Гейнца безграничным вероломством.

Если, впрочем, г-н Гейнцен со своими вышеприведенными обвинениями имеет в виду и других лиц помимо г. Грюна, то он может иметь в виду только тех «истинных социалистов», чьи действительно реакционные теории давно были дезавуированы коммунистами. Все способные к развитию элементы этого ныне совершенно распавшегося направления перешли к коммунистам и сами ныне нападают на истинный социализм там, где он еще выступает. Г-н Гейнцен, следовательно, снова обнаруживает обычное для него глубокое невежество, когда снова выкапывает эти давно похороненные фантазии, чтобы их поставить в вину коммунистам. Выдвигая здесь обвинения против истинных социалистов, которых он смешивает с коммунистами, г-н Гейнцен вслед затем бросает по адресу коммунистов те же нелепые обвинения, которые выдвигали против них истинные социалисты. Он, следовательно, не имеет даже права нападать на истинных социалистов, ибо в одной части он сам принадлежит к ним. И в то время, когда коммунисты резко выступали в печати против социалистов, этот же г-н Гейнцен сидел в Цюрихе, где г-н Руге посвящал его в те обрывки истинного социализма, которые могли уместиться в его путаной голове. Воистину, г-н Руге нашел достойного его ученика!

Но где же остаются действительные коммунисты? Гейнцен говорит о почтенных исключениях и талантливых людях, которые, как он предвидит, отклонят солидарность с коммунистами (1). Коммунисты *уже* отклонили от себя всякую солидарность с писаниями и действиями истинных социалистов. Из всех выше приведенных упреков ни один не относится к коммунистам, за исключением заключительных слов всей тирады, которые гласят следующим образом: «Коммунисты... в надменном самомнении пренебрегают всем тем, что только способно было бы служить основой объединения *честных людей*». Г-н Гейнцен, очевидно, этим намекает на то, что коммунисты потешались над его высокоморальными аллюрами и высмеивали

все те святые и возвышенные идеи, добродетель, справедливость, мораль и т. д., о которых г-н Гейнцен воображает, что они составляют основу всякого общества. Этот упрек мы принимаем. Коммунисты, несмотря на моральное негодование *честного* г-на Гейнца, не перестанут высмеивать эти *вечные истины*. Коммунисты к тому же утверждают, что эти вечные истины ни в коем случае не являются основой, а, наоборот, продуктом того общества, в котором они фигурируют.

Если, впрочем, г-н Гейнцен предвидел, что коммунисты откажутся солидаризоваться с теми людьми, которых ему угодно причислить к их лагерю, — к чему тогда все его нелепые упреки и бесовестные инсинуации? Если г-н Гейнцен знает коммунистов только по наслышке (а есть основание думать, что это так), если он так мало знает, кто они, что он от них требует, чтобы они сами себя более точно охарактеризовали, чтобы они, так сказать, *представились* ему, — какое же бесстыдство надо иметь, чтобы при этих условиях полемизировать против них?

«Конкретное указание тех лиц, которые, собственно, представляют коммунизм или которые представляют его в наиболее чистом виде, вероятно, привело бы к отпадению от коммунизма главной массы тех, которые являются его опорой и *служат ему орудием*, но против такого требования будут, конечно, протестовать одни только *господа* из «Грирской газеты». И несколькими строками дальше: «Те, которые действительно являются коммунистами, будут, надо думать, настолько последовательны и *честны* (о, добродетельный филистер!), чтобы откровенно выяснить свою доктрину и отречься от тех, которые не являются коммунистами. *Надо полагать*, что они не смогут (что за филистерские обороты!) поддерживать *недобросовестно* (!) ту путаницу, которая порождена в головах многих тысяч *страдающих* и *необразованных* людей тем, что коммунисты мечтательно рисуют себе или выдают как возможность, но что является фактически невозможностью (!!), изображением пути, ведущего от существующих условий действительности к осуществлению их доктрины (!). Тем, которые примыкают к ним без ясного представления о коммунизме, действительные коммунисты нравственно *обязаны* (опять этот добродетельный филистер!) или разъяснить с исчерпывающей полнотой сущность их доктрины и твердо вести их к намеченной цели, или же они должны *отделиться* от них, *не делать их своим орудием*».

Г-н Руге мог бы себя поздравить, если бы он мог написать три подобных периода. Филистерским требованиям соответствует

филистерская путаница мыслей, которая заботится только о существе, а не о форме, и которая именно поэтому говорит как раз противоположное тому, что она хочет сказать. Г-н Гейнцен требует, чтобы действительные коммунисты отмежевались от мнимых коммунистов. Они должны положить конец той путанице, которая (так он хочет сказать) происходит от смешения двух различных направлений. Но как только эти два слова, «коммунисты» и «путаница», сталкиваются в его голове, в ней самой возникает путаница. Г-н Гейнцен теряет нить мыслей. Выставленное им положение, что коммунисты *вообще* производят путаницу в головах необразованных людей, расплывается между пальцев, он забывает о действительных коммунистах и о мнимых коммунистах, в комичной беспомощности он спотыкается о всякого рода невозможности, которые рисуются ему и кажутся возможностями, и падает, наконец, плашмя на почву действительных отношений, где он опять приходит в себя. Теперь ему приходит в голову, что он, собственно, хотел говорить о чем-то совершенно другом, что речь была совсем не о том, возможно ли то или другое. Он снова возвращается к своей теме, но он еще так оглушен, что забывает вычеркнуть ту замечательную фразу, которая представляла скачок в сторону. Таково положение, поскольку дело касается стиля г-на Гейнца. Что касается существа дела, то мы повторяем, что г-н Гейнцен, как добропорядочный немец, слишком поздно приходит со своими требованиями и что коммунисты уже давно дезавуировали истинных социалистов. Затем мы снова видим тут, что под сурдинку пушковые в ход инсинуации вполне совместимы с характером добродетельного филистера. Г-н Гейнцен именно вполне прозрачно намекает, что коммунистические публицисты только используют коммунистических рабочих. Он прямо заявляет, что откровенное формулирование этими публицистами их задач повело бы к отпадению от них главной массы тех, которые служат коммунистам орудием. Он усматривает в коммунистических публицистах пророков, жрецов, или попов, обладающих тайной мудрости, которую они скрывают от необразованной массы, чтобы тем легче вести ее на помочах. Все его добродетельно-филистерские заявления о необходимости *прояснить сознание* тех членов коммунистической партии, которые не имеют ясного представления об ее задачах и целях, о том, что эти последние *не* должны быть *использованы* в качестве орудия, все эти заявления исходят, очевидно, из предположения, будто коммунистические литераторы заинтересованы в недостаточной сознательности рабочих, будто они только используют их так, как и просветители прошлого столетия хотели

использовать народ. Этим нелепым представлением объясняется и неоднократно выдвигаемый им — и везде вне всякой связи с контекстом — упрек в путанице, порождаемой в головах необразованных людей; вся эта стилистическая неслаженность является наказанием за неумение выступить с открытым забралом. Мы только отмечаем эту инсинуацию, не распространяясь о ней дальше. Мы предоставляем коммунистическим рабочим самим судить о ней.

Наконец, после всех этих предварительных замечаний, уклонений в сторону, требований, инсинуаций и неожиданных поворотов г-на Гейнца, мы приходим к его теоретическим нападкам, к его аргументам против коммунистов.

Г-н Гейнц «суматривает коротко и ясно основу коммунистической доктрины в упразднении частной собственности (также и приобретенной собственным трудом) и в неизбежно вытекающем из этого упразднения принципе совместного пользования земными благами».

Г-н Гейнц воображает, что коммунизм есть известная *доктрина*, которая исходит из определенного теоретического принципа, как из своей *основы*, и отсюда делает дальнейшие умозаключения. Г-н Гейнц очень ошибается. Коммунизм не доктрина, а *движение*. Он исходит не из принципов, а из *фактов*. Коммунисты имеют своей предпосылкой не ту или другую философию, а весь исторический процесс и, в частности, его фактические результаты в современных цивилизованных странах. Коммунизм есть следствие крупной промышленности и ее неизбежных спутников: возникновения мирового рынка и обусловленной им безудержной конкуренции, все более расширяющихся, принимающих все более катастрофический характер торговых кризисов, ставших уже теперь вполне мировыми, возникновения пролетариата и концентрации капиталов, имеющих своим следствием классовую борьбу между пролетариатом и буржуазией. Коммунизм, поскольку он является теорией, является теоретическим выражением положения пролетариата в этой борьбе и теоретическим суммированием условий освобождения пролетариата.

Г-н Гейнц из этого может заключить, что для оценки коммунизма требуется нечто большее, чем простое представление о том, что его основой является упразднение частной собственности; он может видеть, что лучше было бы ему взяться за изучение экономических вопросов, чем праздно болтать об упразднении частной собственности, что он не может иметь ни малейшего представления о тех *последствиях*, к которым должно привести упразднение собственности, если он не знает его предпосылок.

Что же касается этого последнего вопроса, то тут невежество

г-на Гейнца настолько велико, что он даже думает, будто совместное пользование земными благами (тоже недурное выражение) есть *следствие* упразднения частной собственности. Верно как раз обратное. Так как крупная индустрия, развитие машин, средств сообщения, мировой торговли принимает такие колоссальные размеры, что их эксплуатирование частными капиталистами с каждым днем становится все более и более невозможным; так как все усиливающиеся кризисы мирового рынка дают нам самое убедительное доказательство этого; так как производительные *силы и средства обмена* современного *способа* производства и обращения с каждым днем все больше перерастают рамки индивидуального обмена и частной собственности; так как, одним словом, наступает момент, когда общественное управление промышленностью, сельским хозяйством, обменом становится материальной необходимостью для промышленности, для сельского хозяйства и для обмена как таковых, — то частная собственность благодаря всему этому будет упразднена.

Когда г-н Гейнцен упразднение частной собственности, которое, конечно, является предпосылкой освобождения пролетариата, изолирует таким образом от его конкретных условий, когда он ее рассматривает вне всякой связи с действительным миром, как простую кабинетную выдумку, то она становится чистейшей фразой, о которой он может сказать только плоский вздор, вроде следующего:

«Указанным упразднением всякой частной собственности коммунизм необходимо упраздняет также и *самостоятельное существование* отдельных лиц (г-н Гейнцен, таким образом, обвиняет нас в стремлении сделать людей сиаемскими близнецами). Следствием этого является опять-таки зачисление каждой отдельной личности в общее хозяйство казарменного типа, организованное, вероятно (!), по общинам (просим снисходительного читателя заметить себе, что это является следствием только собственного вздора г-на Гейнца о самостоятельном существовании отдельных лиц). Этим коммунизм уничтожает индивидуальность, независимость, свободу. (Старый вздор истинных социалистов и буржуа. Как будто можно уничтожить еще какую-нибудь индивидуальность в современных искусственных индивидуумах, ставших благодаря системе разделения труда помимо их воли сапожниками, фабричными рабочими, буржуа, юристами, крестьянами, т. е. рабами определенной специальности и соответствующих ей нравов, образа жизни, предрассудков, узости горизонта и т. д.) Коммунизм приносит в жертву отдельную личность с ее необходимым атрибутом или основой (это *«или»* — превосходно!) *приобретенной* частной собственности «призраку общества»

(и здесь Штирнер!), между тем как общество может и должно (должно!) быть не целью, а средством для каждой отдельной личности».

Г-н Гейнцен придает особенное значение *приобретенной* частной собственности и доказывает этим лишний раз свое абсолютное незнакомство с предметом, о котором он говорит. Филистерская справедливость Гейнца, которая каждому дает то, что он заработал, наталкивается, к сожалению, на противодействие крупной промышленности. Пока крупная промышленность еще не достигла такого уровня развития, при котором она может окончательно освободиться от оков частной собственности, до тех пор она не допускает никакого иного распределения продуктов, чем ныне существующее, до тех пор будет капиталист класть в карман свою прибыль, а рабочий будет все больше и больше знакомиться на практике с тем, что за вещь такая минимум заработной платы.

Г-н Прудон сделал попытку развить принцип *приобретенной* собственности и привести его в связь с существующими отношениями и, как известно, потерпел полный крах. Г-н Гейнцен, правда, никогда не решится на такую попытку, ибо для этого ему пришлось бы заняться основательным изучением вопроса, чего он никогда не сделает. Но пример г-на Прудона мог бы ему послужить уроком, чтобы больше не выступать публично со своей «приобретенной собственностью».

Если после всего этого г-н Гейнцен бросает коммунистам упрек в том, что они гонятся за призраками и теряют почву действительности под ногами, то мы теперь знаем, по чьему адресу этот упрек должен быть действительно направлен.

Г-н Гейнцен высказывает дальше еще многое другое, в разбор чего мы входить не будем. Заметим только, что по мере развития статьи периоды г-на Гейнца становятся все более и более тяжеловесными. Его литературная беспомощность, не умеющая никогда находить подходящего слова, была бы уже сама по себе достаточна, чтобы компрометировать всякую партию, которая вздумала бы признать его своим литературным представителем. Твердость его убеждений приводит его к тому, что он каждый раз говорит не то, что он хочет сказать. Каждое из его предложений содержит, таким образом, двойную бессмыслицу: во-первых, бессмыслицу, которую он хочет сказать, и, во-вторых, ту, которой он не хочет сказать, но которую он тем не менее говорит. Мы это выше иллюстрировали. Заметим только еще, что г-н Гейнцен повторяет свой старый суеверный взгляд относительно всемогущества государей, когда он говорит, что *власть*, которую надо свергнуть (он имеет в виду только

государственную власть), является теперь, как и всегда, источником и оплотом всякого бесправия, и что он стремится организовать действительное *правовое государство* и внутри этого фантастического здания «провести все те социальные реформы, теоретическая правильность (!) и практическая осуществимость (!) которых доказаны всеобщим развитием (!)»!!!

Намерения его в такой же мере хороши, как стиль плох. Такова уж судьба добродетели на этой скверной земле:

Обращен он духом века
В матерого санкюлота.
Хоть плохой плясун, но с строем
Лучших чувств в груди косматой;
В смысле воня не безгрешен,
Но талант, — зато характер.

Г-н Гейнцен будет приведен нашими статьями в справедливое негодование оскорбленного добродетельного филистера, однако из-за этого он не изменит ни своей писательской манеры, ни своей компрометирующей и бесцельной формы агитации. Его угроза фонарем в день решительных действий доставила нам несколько веселых минут.

Одним словом, с немецкими радикалами коммунисты должны и хотят совместно работать, но они оставляют за собой право выступить против всякого публициста, который компрометирует всю партию. По этой причине и по многим другим соображениям мы сочли нужным выступить против Гейнца.

NB. Мы только-что получили написанную рабочим брошюру «Государство Гейнца, критика Стефана». Берн, Рецер. Г-н Гейнцен мог бы радоваться, если бы он хоть наполовину обладал даром изложения этого рабочего. Из этой брошюры для г-на Гейнца. помимо других вещей, должно стать также вполне ясным, почему рабочие отвергают его аграрную республику. Заметим еще, что это первая написанная рабочим брошюра, которая не выступает замаскированно, а стремится свести политические битвы современности к взаимной борьбе различных общественных классов.

МОРАЛИЗИРУЮЩАЯ КРИТИКА И КРИТИЗИРУЮЩАЯ МОРАЛЬ.

(К истории немецкой культуры.)

Против Карла Гейнца — Карл Маркс.

Невадолго до реформации и во время нее у немцев создалась своеобразная литература, уже одно название которой поражает, — литература грубиянов. В настоящее время мы — накануне революционной эпохи, аналогичной XVI веку. Неудивительно, что у немцев снова появляется подобная литература. Интерес к историческому развитию без труда побеждает то чувство эстетического отвращения, которое этого рода писания вызывают и уже вызывали в XV и XVI столетиях у людей даже с мало развитым вкусом.

Плоская, хвастливая, наглая, претенциозно-грубая в нападениях и истерически-чувствительная к чужой грубости; с огромной затратой сил заносщая меч, чтобы затем со всего размаха опустить его плашмя; неустанно проповедующая добрые нравы, и то и дело эти добрые нравы нарушающая; смехотворно сплетающая пафос с вульгарностью; афиширующая свой интерес лишь к объективной стороне дела и все время ее игнорирующая; с одинаковой надменностью противопоставляющая народной мудрости мещанскую, книжную полуученость, а науке — так называемый «здоровый смысл»; с какой-то самодовольной несдержанностью растекающаяся в беспредельную ширь; мещанское содержание облекающая в плебейскую форму; борющаяся с литературным языком, чтобы придать ему — если так можно выразиться — чисто телесный характер; охотно показывающая за строками писаний фигуру самого автора, руки которого так и чешутся показать мощь своей длани, широту своих плеч и вытянуться во весь свой богатырский рост; прокламирующая здоровый дух в здоровом теле и, сама того не ведая, зараженная мелочной грызней и физической лихорадкой XVI столетия; сдавленная в тисках догматических, бескрылых понятий и в то же время контролирующая деятельность разума ничтожной житейской практикой; негодующая на реакцию и злобно реагирующая на прогресс; бессильная выставить противника в смешном виде и по-

тому оглушающая его всей гаммой смехотворной ругани; Соломон и Маркольф, Дон-Кихот и Санчо-Панса, мечтатель и провинциал в одном лице; хамская форма возмущения, обличие возмущенного хама; все это погруженное в атмосферу *честного* самосознания самодовольного ничтожества, — такова была *литература* грубиянов XVI столетия. Если нас не обманывает память, народное остроумие водрузило ей лирический памятник в виде песенки «Heinecke, der starke Knecht». Г-ну Гейнцену принадлежит честь быть одним из возрожденных этой литературы, и поэтому его можно считать за одну из немецких ласточек наступающей весны народов.

Манифест Гейнцена, напечатанный в «Deutsche Brüsseler Zeitung» № 84, дает нам материал для изучения этого рода литературы, на историческое значение которой для Германии мы выше указали. На основании его манифеста мы охарактеризуем ту разновидность литературы, представителем которой является г-н Гейнцен, точно так же, как историки литературы на основании дошедших до нас произведений XVI века характеризуют, напр., «Гусино проповедника»: ¹

Бирон: Спрячь свое лицо, Ахилл, сюда идет вооруженный Гектор.

Король: Гектор в сравнении с ним был не более, как простой троянец.

Бойе: Разве это Гектор?

Дерен: Гектор, кажется, был совсем другого сложения.

Бирон: Решительно, это не Гектор!

Дерен: Он или бог, или живописец, потому что делает рожи.

Но в том, что г-н Гейнцен — настоящий Гектор, нет никакого сомнения. «Уже давно, — признается он, — томило меня предчувствие, что я паду от руки какого-нибудь коммунистического Ахилла. Ныне, после того как я подвергся нападению со стороны Терсита, отражение опасности снова вселяет в меня мужество и т. д.». Лишь Гектору дано предчувствовать, что он падет от руки Ахилла.

Впрочем, быть может, г-н Гейнцен почерпнул свои представления об Ахилле и Терсите не из Гомера, а из шлегелевского перевода Шекспира. В таком случае он присваивает себе роль Аякса.

Приглядимся же поближе к Аяксу Шекспира.

¹ Я отвечаю господину Гейнцену не для того, чтобы парировать удар, направленный против Энгельса. Статья господина Гейнцена не заслуживает ответа. Я отвечаю потому, что манифест Гейнцена дает забавный материал для анализа.

Аякс: Поговори еще, поговори! Я тебя изомну, как тесто, и сделаю из тебя красавца!

Терсит: Скорее мои насмешки превратят тебя в умного человека; твоя лошадь, и та скорее выучит наизусть любую проповедь, чем ты выучишь наизусть хоть одну молитву. Умеешь драться? Да или нет? Дерись, дерись, возьми тебя чесотка с твоими лошадиными наклонностями.

Аякс: Говори, поганый гриб, что давеча там провозглашали?

Терсит: Глупость твою, разумеется.

Аякс: Проклятое отродье!

Терсит: Так! Бей! бей!

Аякс: Ведьмин помет!

Терсит: Так его! Так его! Шелудивый храбрый осел! Бей, ослиная голова, бей! Ты ведь только на то и годен, чтобы давить троянцев, а для умных людей ты — дикий хам. У *вашего* брата ум сосредоточен в мышцах.

Терсит: Чудо!

Ахилл: В чем дело?

Терсит: Аякс ходит взад и вперед и ищет себя самого.

Ахилл: Как так?

Терсит: Завтра ему предстоит поединок, и он так пророчески горд героической потасовкой, что он, не говоря ни слова, безумствует.

Ахилл: Как же так?

Терсит: А вот так: он шагает взад и вперед, как павлин; сделает шаг и остановится; шепчет себе под нос, как хозяйка, которой приходится в голове составлять счет за попойку; кусает себе губы с видом государственного мужа и словно хочет сказать: в этой голове ума палата, показаться бы ему только оттуда. Я предпочел бы быть вошью в овечьей шерсти, чем такой отважной глупостью».

Под чьей бы маской ни появился г-н Гейнцен — Гектора или Аякса, — стоило ему только выступить на арену, как уже он громовым голосом заявлял зрителям, что его противнику не удалось положить его на лопатки. Со всей непосредственностью и эпическим многословием гомеровских героев разъясняет он причины своего спасения: «Природному пороку, — рассказывает он нам — я обязан своим спасением. Природа не приспособила меня к уровню моего противника». Он двумя головами выше, и вот почему «сделанные со всего размаха» удары его «маленького палача» не задели его «литературной шеи». Г-н Энгельс — это несколько раз подчеркивается — «мал»: он — «маленький палач», он — «маленькая персона». Мы

находим ватем одну из тех фраз, которые можно встретить лишь в старых героических поэмах или в балаганной пьесе о Голиафе и маленьком Давиде: «Если бы вы висели на самой верхушке фонарного столба, вас не нашел бы никто на свете». Это юмор богатыря, веселый и вместе с тем вселяющий трепет.

Не только свою «шею», но и всю свою «природу», все свое тело «литературно» демонстрирует г-н Гейнцен. Своего «маленького противника» он поставил рядом с собой, чтобы с помощью контраста с подобающей рельефностью показать совершенство своего телосложения. «Маленький» уродец держит под мышками топор палача, — быть может, одну из тех игрушечных гильотин, которые в 1794 г. дарили детям. Наоборот, он сам, грозный богатырь, с насмешливой улыбкой на устах держит в руках лишь «розгу», которая, как он дает понять, давно карала коммунистических «мальчиков» за их «проказы». Богатырь в припадке педагогического снисхождения говорит с своим «насекомообразным противником», вместо того, чтобы растоптать его ногой. Он говорит с ним как «друг детей», делает ему наставление, ставит ему на вид его грехи, а именно его «лживость», «нелепую, мальчишескую лъстивость», его «наглость», его «задорный тон», его «непочтительность» и другие пороки юного возраста. Если при этом розга наставляющего на путь истины богатыря время от времени взвизгивает над головой воспитанника, если по временам какое-нибудь слишком грубое выражение прерывает поток нравственных изречений и даже отчасти уничтожает их действие, то не следует ни на минуту забывать, что не может же богатырь вести моральное воспитание так, как его ведут обычные школьные наставники, вроде *Квинтуса Фикслейна*, и что природа, если ее прогнать в двери, вернется через окно. К тому же не следует упускать из виду, что выражения, которые в устах такого уродца, как Энгельс, произвели бы отвратительное впечатление, пленяют наш слух и сердце подобно звукам природы, когда они произносятся этим колоссом. Да и уместно ли героический язык измерять масштабом мещанской речи? Разумеется, нет, как нельзя обвинять, напр., Гомера в грубости, когда он одного из своих любимых героев, Аякса, называет «упрямым, как осел».

У богатыря были такие добрые намерения, когда он в «*Deutsche Brüsseler Zeitung*» показал коммунистам розгу! А «маленький» уродец, которому он даже не предложил взять слово, — много раз выражает он свое богатырское изумление по поводу этой ничем необъяснимой нескромности пигмея, — так неблагоприятно отплатил ему. «К моему обращению отнеслись без внимания, — жалуется

он. — Г-н Энгельс жаждет моей гибели; он хочет убить меня, злодей». А ведь он, Гейнцен, как и по отношению к прусскому правительству, так и в этом случае, «с одушевлением выступил на борьбу, неся под воинственным сюртуком мирные предложения, сердце, стремящееся к гуманному примирению противоречий современности». ¹ Но — увы! — *одушевление* это было облито *едкой влагой* вероломства.

Волк был ужасен и дик. Он лапы свои растопырил
И с отверстием пастью быстро с места сорвался.
Рейнеке легко скакнул в сторону и поспешно
Хвост свой пушистый смочил острой и едкой влагой
И в песке обвалял, чтобы пылью он мелкой покрылся.
Ивегрим было уже думал, что тут-то он Лиса и хватит,
Как проказник его в глаза хвостом своим мокрым
Вдруг ударил, — и зренья у Волка тотчас помутилось.
На проделку такую Лис часто и прежде пускался
И уже много зверей, много невинных созданий
Вредоносную силу урины его испытали.

«Я был республиканцем, г-н Энгельс, с тех пор, как занимаюсь политикой, и убеждения мои не вертелись туда и сюда, как головы многих коммунистов».

«Революционером, правда, я стал только теперь. Коммунисты, сознавая свою несправимость, делают упреки своим противникам, когда те исправляются. Такова их тактика».

Г-н Гейнцен отнюдь *не стал* республиканцем; он им был со дня своего политического рождения. Таким образом, на его стороне неизменность, устойчивость, последовательность. На стороне его противников непостоянство, шаткость, беспрерывные повороты. Г-н Гейнцен не всегда *был* революционером, он им *стал*. Правда, на этот раз г-н Гейнцен повинен *в повороте*; но зато этот поворот обернул свой безнравственный характер, и поворот стал «исправлением». Наоборот, на стороне коммунистов *неизменность* потеряла свой *высоконравственный* характер. Во что превратилась она? В «неисправимость».

Стоять или ворочаться — то и другое нравственно, то и другое безнравственно: нравственно у честного мещанина, безнравственно у его противника. Искусство критикующего мещанина в том именно и заключается, чтобы знать, в какой момент надо крикнуть «ура», а в какой — «караул».

Невежество вообще считается недостатком. Мы привыкли рас-

¹ Карл Гейнцен, Steckbrief.

смаатривать его как *отрицательную* величину. Посмотрим, как волшебная палочка честной критики превращает интеллектуальный минус в моральный плюс.

Г-н Гейнцен сообщает, между прочим, что в философии он все так же несведущ, как был в 1844 г. «Язык» Гегеля «так и остался *непереваримым* для него».

Таков факт. А затем моральное препарирование. В силу того, что для господина Гейнца гегелевский язык с самого начала был «непереваримым», он не поддался, как «Энгельс и другие», безнравственному искушению использовать для своих целей этот самый гегелевский язык, подобно тому как вестфальские крестьяне, насколько известно, не претендуют на использование санскритского языка. Но ведь нравственное поведение состоит как раз в том, чтобы избегать всякого *повода* к безнравственному поведению; а где же лучший способ оградить себя от безнравственного обращения с тем или другим языком, чем в благоразумном отказе понимать этот язык!

Г-н Гейнцен, ничего не понимающий в философии, потому и не ходил, по его мнению, к философам в «школу». Его школой были «здравый смысл» и «гуща жизни».

«Благодаря этому, — восклицает он с скромной гордостью праведника, — я избег опасности *отречься* от своей школы».

Против моральной опасности *отречься* от школы нет более испытанного средства, как никогда не посещать ее.

Всякое развитие, независимо от его содержания, можно представить как ряд ступеней, таким образом связанных друг с другом, что каждая из них является отрицанием остальных. Если, напр., народ развивается от абсолютной монархии к монархии конституционной, то он *отрицает* свое прежнее, политическое бытие. Ни в одной области нельзя проделать свое развитие, не отрицая своих прежних форм существования. На языке же морали *отрицать* значит *отрекаться*.

Отречение! Этим словом критикующий мещанин может заклеить любое развитие, ничего не понимая в нем; свою неспособную к развитию недоразвитость он может с торжеством выставлять как нравственную незапятнанность. Так религиозная фантазия народов заклеила *историю* человечества, поместив век невинности, золотой век в период *доисторический*, в ту эпоху, когда еще вообще не существовало никакого исторического развития и поэтому не было никакого отрицания, никакого отречения. Так в шумные революционные эпохи, в периоды страстного отрицания и отречения, как

XVIII век, появляются честные и добродетельные мужи, воспитанные и приличные сатиры, в роде *Геспера*, которые исторической скверне противопоставляют не знающее развития состояние *идиллии*. В похвалу этим идиллическим поэтам — тоже в своем роде критикующим моралистам и морализирующим критикам — надо, однако, сказать, что они добросовестно колеблются, кому вручить пальму первенства в отношении морали — пастухам или овцам.

Впрочем, предоставим апостолу честности невозбранно наслаждаться своими собственными добродетелями. Последуем за ним туда, где он *готовится* перейти к «делу». С этим методом нам придется сталкиваться повсюду.

«Я ничего не могу сделать, если г-н Энгельс и наши коммунисты так *слепы*, что не видят, что власть господствует и над *собственностью*, и несправедливость в *отношениях собственности* поддерживается одной лишь властью. Я называю *дураком* и *трусом* всякого, кто враждует с буржуа из-за его *денег* и оставляет в покое короля с его *властью*».

«Власть господствует над собственностью».

Собственность, во всяком случае, тоже представляет из себя своего рода власть. Экономисты, напр., называют капитал «властью над чужим трудом».

Итак, перед нами двоякого рода власть: с одной стороны — власть собственности, т. е. собственников, с другой стороны — политическая власть, власть государственная. «Власть господствует и над собственностью». Это значит: собственность не имеет в своих руках политической власти, и последняя даже раздражает ее, напр., произвольным введением налогов, конфискациями, привилегиями, ненужным вмешательством бюрократии в ход промышленности и торговли и т. п.

Другими словами: буржуазия еще не конституировалась политической, как класс. Государственная власть еще не превратилась в ее собственную власть. Для стран, где буржуазия уже завоевала себе политическую власть, где политическое господство стало не чем иным, как господством не отдельного буржуа над своими рабочими, а класса буржуазии над всем обществом, для таких стран утверждение г-на Гейнцена теряет свой смысл. Лишенные собственности, конечно, не затрагиваются политическим господством, поскольку последнее касается непосредственно собственности. Г-н Гейнцен воображает, что изрек истину, столь же вечную, как и оригинальную; на самом же деле он лишь отметил тот факт, что немецкая буржуазия должна завоевать себе политическую власть, т. е. сказал то же самое,

что говорил Энгельс, но сказал он это бессознательно, искренне воображая, что говорит нечто диаметрально противоположное. Преходящее отношение между немецкой буржуазией и немецкой государственной властью он торжественно провозгласил в качестве вечной истины, показав, таким образом, как делается из «движения» «твердое ядро».

«Несправедливость в отношениях собственности, — продолжает г-н Гейнцен, — поддерживается только властью». Одно из двух: или под «несправедливостью в отношениях собственности» г-н Гейнцен понимает упомянутый выше гнет, который немецкой буржуазии приходится испытывать даже в своих «священнейших» интересах от абсолютной монархии, и в таком случае он лишь повторяет только что им сказанное; или под «несправедливостью в отношениях собственности» он понимает экономические отношения рабочих, и тогда его откровение имеет следующий смысл:

Современные *буржуазные* отношения собственности «поддерживаются» государственной властью, которую буржуазия организовала для защиты своих отношений собственности. Следовательно, там, где политическая власть находится уже в руках буржуазии, пролетарии должны ее низвергнуть. Они должны сами стать властью, прежде всего революционной властью. Г-н Гейнцен опять бессознательно говорит то самое, что сказал Энгельс, и опять искренно убежден, что говорит нечто совершенно противоположное. Он высказывает не то, что думает, а того, что думает, не высказывает.

Впрочем, если буржуазия политически, т. е. при помощи своей государственной власти, «поддерживает несправедливость в отношениях собственности», то она не создает ее. «Несправедливость в отношениях собственности», обусловленная современным разделением труда, современной формой обмена, конкуренцией, концентрацией и т. д., никоим образом не обязана своим происхождением политическому господству буржуазных классов, а, наоборот, политическое господство буржуазии вытекает из современных отношений производства, выдаваемых буржуазными экономистами за его необходимые и вечные законы. Поэтому, если пролетариат свергнет политическое господство буржуазии, его победа будет лишь мимолетной: она окажется лишь моментом в ходе самой же *буржуазной революции*, моментом, который служит ее дальнейшему развитию, как это было в 1794 г., и победа пролетариата останется таковой до тех пор, пока в ходе истории, в ее «движении» не выработались еще материальные условия, создающие необходимые предпосылки для устранения буржуазного способа производства, а

следовательно — и окончательного падения политического господства буржуазии. Господство террора во Франции могло повтому послужить лишь к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции. Буржуазия, с ее тревожной осмотрительностью, не справилась бы с такой работой в течение десятилетий. Кровавые действия народа лишь выровняли ей, следовательно, дорогу. Точно так же мимо-летно было бы и падение абсолютной монархии, если бы экономические условия недостаточно созрели для господства буржуазного класса. Люди строят себе новый мир не из «богатств земных», как предполагает предрассудок грубиянов, а из исторических приобретений своего отживающего мира. В самом ходе своего развития они должны сперва *создать материальные условия* нового общества, и никакие усилия мысли или воли не могут освободить их от этой судьбы.

Вся *грубость* «здравого человеческого рассудка», который черпает из «полноты жизни» и не калечит своих *естественных* наклонностей никакими философскими или другими научными занятиями, сказывается в том, что там, где ему удается заметить *различие*, он не видит *единства*, а там, где он видит *единство*, он не замечает *различия*. Когда он устанавливает *различающие определения*, они тотчас же окаменевают у него под руками, и он видит самую вредную софистику в стремлении так столкнуть между собою эти отверделые понятия, чтобы они вспыхнули огнем.

Когда г-н Гейнцен, напр., говорит, что *деньги и власть, собственность и господство, приобретение денег и завоевание власти* — не одно и то же, он высказывает *тавтологию*, заключающуюся уже в самых словах, и это чисто словесное различие кажется ему героическим подвигом, который он, с полным сознанием своего *ясновидения*, выдвигает против «слепых» коммунистов, не останавливающихся на этом первом, чисто детском наблюдении.

Каким образом «приобретение денег» превращается в «приобретение власти», а «собственность» в «политическое господство», т. е. каким образом, вместо твердо установленного различия, возведенного г-ном Гейнценом в *догмат*, устанавливаются взаимоотношения двух сил до их полного слияния, — понять довольно легко. Для этого г-ну Гейнцену следует только справиться о том, каким путем крепостные *покупали* себе свободу, а коммуны — свои муниципальные права; как горожане при помощи торговли и промышленности, с одной стороны, вытягивали деньги из кармана феодала и посредством долговых обязательств придавали подвижность поземельной

собственности, а с другой стороны — помогали победе абсолютной монархии над ослабленными крупными феодалами и *покупали* себе их привилегии; как они впоследствии эксплуатировали финансовый кризис самой абсолютной монархии и т. д., и т. д. Г-ну Гейнцену следует обратить внимание на то, как благодаря системе государственных долгов — продукт современной индустрии и современной торговли — даже самые абсолютные монархии делаются зависимыми от биржевых королей; как в интернациональных отношениях народов промышленная монополия непосредственно переходит в политическое господство, как это было, напр., с владельческими князьями священного союза, являвшимися в «германской освободительной войне» не более как наемными солдатами Англии, и т. д., и т. д.

Но только «здравый человеческий рассудок» грубияна в своем самомнении может возвести такие различия, как *приобретение денег* и *приобретение власти*, в «вечные истины», к которым «несомненным образом» должно относиться так-то и так-то; посредством этих, не подлежащих колебанию, догматов он создает себе желательную позицию, с которой удобно заливать своим нравственным возмущением «слепоту», «глупость» или «испорченность» противников догмы, приготавливая в то же время из этих сердечных излиний ту подливку, в которой должна плавать имеющаяся в запасе пара чахлых, захудалых истин.

Г-н Гейнцен доживет еще до той поры, когда власть собственности вступит, даже в Пруссии, в насильственный брак с политической властью. Послушаем дальше: «Вы хотите сделать *социальные вопросы* главнейшей задачей нашего времени и не видите, что нет более *важного социального вопроса*, как вопрос о *монархии и республике*». Только-что г-н Гейнцен видел лишь *различие* между властью денег и политической властью; теперь же он не видит ничего, кроме *единства* между *политическими* вопросами и *социальными*. Впрочем, «смешную слепоту» и «презренную трусость» своих антиподов он видит, конечно, попрежнему.

Политические отношения между людьми являются, конечно, в то же время и *социальными*, *общественными* отношениями, как и все отношения, в которых люди сталкиваются между собою. Поэтому и все вопросы, касающиеся взаимных отношений между людьми, тоже являются социальными вопросами. И такими-то наивностями место которым в катехизисе для восьмилетних детей, невинность грубиянов не только хочет что-то такое сказать, а даже предполагает бросить значительную тяжесть на весы современных коллизий.

Случайно оказывается, что «социальные вопросы», которыми

в *наше* время занимались, становятся все важнее по мере того, как мы выходим из области абсолютной монархии. Социализм и коммунизм берут свое начало не в Германии, а в Англии, Франции и Северной Америке. Первое появление действительной активной коммунистической партии мы видим во время буржуазной революции в тот момент, когда устранена была конституционная монархия. Наиболее последовательные *республиканцы*, в Англии *левеллеры*, во Франции *Бабеф*, *Буонарроти* и т. д., первые подняли эти «социальные вопросы». «Заговор Бабефа», описанный его другом и товарищем по партии Буонарроти, показывает, как эти республиканцы из «движения» почерпнули то убеждение, что, с устранением социального вопроса, в монархии и республике для пролетариата ни один «социальный вопрос» еще не был решен.

Вопроса о *собственности*, как он ставится в «наше время», в формулировках Гейнца нет и следа. «*Справедливо ли*, — спрашивает он, — чтобы один человек *обладал* всем, а другой ничем, чтобы отдельный человек вообще *мог* чем-нибудь обладать» и т. п., — вопросы совести и фразы о праве.

Действительный вопрос собственности является перед нами в различных постановках, соответственно уровню, достигнутому общим развитием промышленности, и соответственно различным ступеням этого развития, достигнутым отдельными странами.

Для *галицийских* крестьян, напр., вопрос собственности сводится к превращению феодальной земельной собственности в мелкобуржуазную земельную собственность. Он имеет для них тот же смысл, как и для *французского* крестьянства 1789 г. *Английский* сельский рабочий, наоборот, не имеет никаких отношений с землевладельцем. Он имеет отношение только к арендатору, т. е. к промышленному предпринимателю, ведущему сельское хозяйство на тех же основах, что и фабрику. С своей стороны, этот промышленный капиталист, платящий ренту землевладельцу, находится в непосредственных отношениях с землевладельцем. Поэтому уничтожение собственности на землю составляет самый важный вопрос собственности для английской промышленной буржуазии, и борьба против хлебных законов имела именно этот смысл. Для сельских наемных рабочих, наоборот, уничтожение прав собственности на капитал является в Англии таким же важнейшим вопросом собственности, как и для фабричных рабочих.

Для английской, как и для французской, революции вопрос собственности состоял в свободе конкуренции и уничтожении всех феодальных отношений собственности: помещичьей власти, цехов,

монополий и т. д., которые превратились в цепи для развившейся в течение XVI — XVIII столетий индустрии. В «наше время», наконец, вопрос собственности состоит в уничтожении коллизий, порожденных крупной индустрией, развитием мирового рынка и свободной конкуренцией.

Вопрос собственности всегда был жизненным вопросом того или другого — в зависимости от степени развития промышленности — класса. В XVII и XVIII столетиях, когда речь шла об отмене феодальных отношений собственности, вопрос собственности был жизненным вопросом буржуазии. В XIX столетии, когда дело идет об отмене буржуазных отношений собственности, вопрос собственности является жизненным вопросом *рабочего класса*.

Тот вопрос собственности, который в «наше время» является всемирно-историческим вопросом, имеет, следовательно, смысл лишь в *современном буржуазном обществе*. Чем более развито это общество, чем, следовательно, буржуазия в какой-нибудь стране более развита экономически и чем более поэтому и государственная власть приняла буржуазный характер, тем резче выступает социальный вопрос: во Франции резче, чем в Германии, в Англия резче, чем во Франции, в конституционной монархии резче, чем в абсолютной, в республике резче, чем в конституционной монархии. Так, напр., колебания кредитной системы, спекуляции и т. д. нигде не выступают в более острой форме, чем в Северной Америке. Нигде также и социальное неравенство не обнаруживается с большей яркостью, чем в восточных штатах Северной Америки, потому что здесь оно менее, чем где бы то ни было, затушевано политическим неравенством. Если пауперизм здесь не так развился еще, как в Англии, то это обусловлено экономическими условиями, на которых мы здесь не можем подробно останавливаться. Тем не менее, и здесь пауперизм делает блестящие успехи.

«В этой стране, где нет привилегированных сословий, где все *классы* обладают *одинаковыми правами*» (но затруднения заключаются в существовании этих *классов*), «и где наше население еще не так густо, чтобы давить на средства существования, — видеть такой быстрый рост пауперизма поистине ужасно». (Отчет г-на Мередита пенсильванскому Конгрессу.) «Доказано, что в течение 25 лет пауперизм в Массачузетсе возрос на 60%» (американец Niles, Register.).

Один из известнейших северо-американских политико-экономов, вдобавок радикал, *Томас Купер* предлагает: во-первых, запретить бездомным вступление в брак; во-вторых, *отменить всеобщее избирательное право*, «ибо, — восклицает он, — общество основано для

защиты собственности. Какое разумное притязание на право издавать законы о чужой собственности могут иметь люди, по неизменным экономическим законам навеки лишенные собственности? Какие общие мотивы и интересы могут иметь эти два *класса* населения? Одно из двух: или рабочий класс настроен неревOLUTIONно, — тогда он отстаивает интересы работодателей, от которых зависит его существование. Так, при последних выборах в Новой Англии фабриканты, желая обеспечить за собою голоса избирателей, отпечатали имя своего кандидата на коленкоре, и каждый рабочий носил этот кусок коленкора в виде банта. Или же благодаря совместной жизни и т. д. рабочий класс делается революционным, — и тогда *политическая власть в стране* раньше или позже перейдет в его руки, и при этой системе никакая собственность не будет обеспечена.¹

Как в *Англии* в организации *чартистов*, так в Северной Америке в рядах сторонников аграрной реформы рабочие образуют политическую партию, боевым кличем которой ни в коем случае не является: монархия или республика, а *господство рабочего класса* или *господство буржуазии*.

А так как именно в современном буржуазном обществе, с соответствующими ему государственными формами конституционного или республиканского представительного строя, «вопрос собственности» сделался наиважнейшим «социальным вопросом», то лишь ограниченность потребностей *немецкого* бюргера может заставить его кричать, что вопрос о монархии есть важнейший «социальный вопрос нашего времени». Подобным же образом д-р *Лист* в предисловии к «Политической экономии» наивно выражает свое огорчение по поводу того, что важнейшим социальным вопросом нашего времени принято считать *пауперизм*, а не *покровительственные пошлины*.

Различие между деньгами и насилием было заодно и *персональным* различием двух борцов.

«Маленький» является нам в образе особого рода воришки, который враждует только с владельцами «денег»; баснословно сильный человек, в отличие от него, борется с «сильными» мира сего. *In dosso la corazza e l'elmo in testa.*² Но он бормочет при этом: «ваша особа находится, однако, в лучшем положении, чем моя».

В наилучшем положении находятся, однако, «сильные» мира сего, вздохнувшие облегченно, когда г-н Гейнцен набросился на своего ученика: «Теперь вы, как все коммунисты, потеряли способность познавать *связь между политикой и социальными условиями*».

¹ *Thomas Cooper, Lectures on political economy. Kolumbia, pp. 361, 365.*

² *Ариосто, Неистовый Роланд: «Панцырь на спине и шлем на голове».*

Мы только-что выслушали моральную лекцию, в которой великий человек в общих чертах раскрыл с поражающей простотой взаимную связь между *политикой* и *социальными условиями*. На примере монархии он тут же наглядным образом объясняет своему ученику, как применять общую теорию.

Монархи (или монархия), рассказывает он, являются «главной причиной горя и нищеты». С отменой монархии отменяется, конечно, и это объяснение, так что рабство, которое привело к гибели античные республики, *рабство*, которое приведет к страшнейшим потрясениям в южных штатах северо-американской республики,¹ это рабство могло бы воскликнуть словами Фальстафа: «Ах, если бы эти аргументы были так же дешевы, как ежевика».

Но прежде всего: кто же, или что, состряпало *монархов* или *монархию*?

Было время, когда ради общественных интересов народ должен был выдвинуть на первое место наиболее выдающихся людей. Потом этот пост сделался наследственным и переходил в семье из рода в род. И, наконец, по своей глупости и испорченности, люди терпели это зло целые века.

Если бы устроить конгресс прирожденных болтунов всей Европы, они не могли бы дать другого ответа. И если вы просмотрите все сочинения г-на Гейнцена, вы тоже не найдете в них другого ответа,

Настоящий «здравый человеческий смысл» полагает, что объяснил *монархию* уже тем одним, что объявил себя ее *противником*. Но самое трудное для этого нормального рассудка должно, казалось бы, заключаться в объяснении того, откуда же взялся противник здравого человеческого смысла и морального человеческого достоинства и каким образом он с поразительным упорством тянул свое существование в течение целых столетий. Нет ничего проще. Все эти столетия обходились без здравого человеческого смысла и человеческого достоинства. Другими словами: разум и мораль столетий отвечали идее королевской власти, вместо того, чтобы противоречить ей. И именно этот разум и эту мораль прошлых столетий не в состоянии понять «здравый человеческий смысл» нашего времени. Не понимает, но зато презирает. Из области истории он убегает в область морали и здесь может пустить в ход всю тяжелую артиллерию своего нравственного возмущения.

И точно так же, как политический «здравый человеческий смысл» объясняет здесь происхождение и существование монархии как

¹ См. по этому поводу мемуары Джефферсона, одного из основателей республики, бывшего несколько раз ее президентом.

результат неразумия, так же точно религиозный «здравый смысл» объясняет ересь и неверие делом рук дьявола. И таким же образом антирелигиозный «здравый человеческий смысл» объясняет религию делом других дьяволов — попов.

Но раз г-н Гейнцен уже обосновал, при помощи общих мест морали, *происхождение* монархической власти, то вполне *естественно* заключить отсюда и о «связи монархической власти с социальными условиями». Слушайте: «Один человек забирает в свои руки все государство, приносит в жертву себе и своим приверженцам весь народ не только в материальном отношении, но и в моральном, создает в его среде различные степени уничтожения, разделяет его, точно тощий и жирный скот, сословными предрассудками и, по существу, в угоду лишь своей собственной особе делает каждого члена государства *официальным врагом всех остальных*».

Г-н Гейнцен видит монархов на верхушке социального здания в Германии. Он не сомневается ни минуты в том, что это они создали ее общественную основу и продолжают ее создавать. Разве можно *проще* объяснить связь монархии с общественными условиями, *официальным* политическим выражением которых она является, как превращая государей в творцов этой связи? В какой взаимной связи находятся представительные учреждения с современным буржуазным обществом, которое они представляют? *Сделали их*, — и все тут. Так политическое божество, с его аппаратом и иерархией, создало грешный мир, для которого оно является святыней. Как раз по образцу *религиозного* божества, создавшего мировой порядок, который и отражается в нем в перенесенном на небеса фантастическом виде.

Грубяны, проповедующие с соответствующим пафосом подобную премудрость домашнего изготовления, естественно, должны с изумлением и нравственным возмущением смотреть на противника, старающегося доказать ему, что яблоко не создало яблони.

Современная историография доказала, что *абсолютная монархия* возникает в переходные эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, а средневековое сословие горожан складывается в современный класс буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не взяла еще перевеса над другой. Таким образом, элементы, на которых зиждется абсолютная монархия, ни в коем случае не являются ее продуктом, наоборот, они образуют ее социальную основу, историческое происхождение которой слишком известно, чтобы говорить о ней здесь. Тот факт, что в Германии абсолютная монархия возникла позднее и держится дольше, объясняется лишь уродливым разви-

тием немецкой буржуазии. Решение загадки такого хода ее развития можно найти в истории торговли и промышленности.

Упадок мещанских свободных городов Германии, уничтожение рыцарского сословия, поражение крестьян и усиление, вследствие этого, владетельных прав князей; упадок немецкой индустрии и торговли, основывавшихся на чисто средневековом строе, как раз в тот момент, когда открылся великий мировой рынок и возникла крупная мануфактура; обезлюдение страны и варварское состояние, завещанное 30-летней войной; характер вновь оживших национальных отраслей промышленности, как, напр., мелкого льняного производства, которому соответствовали патриархальные отношения и условия; характер предметов вывоза, состоявших главным образом из продуктов земледелия, вследствие чего возрастали почти исключительно лишь материальные источники существования земельного дворянства и увеличивалось его относительное могущество в ущерб городскому населению; стесненное положение Германии на мировом рынке вообще, вследствие чего главным источником национальных доходов оказывались субсидии, выплачиваемые государям чужеземцами, и последовавшая отсюда зависимость горожан от государева двора и т. д., и т. д. — все эти обстоятельства, благодаря которым выработался характер немецкого общества и соответствующая ему политическая организация, превращаются для грубиянов «здорового человеческого смысла» в несколько мудрых изречений, вся соль которых заключается именно в том, что «немецкие властители» создали «немецкое общество» и ежедневно вновь продолжают «создавать» его.

Легко объяснить тот оптический обман, который позволяет здравому человеческому смыслу «познать» в владетельных правах немецких государей источник происхождения немецкого общества, вместо того, чтобы видеть в немецком обществе источник власти немецких государей.

С первого же взгляда, — который ему кажется чрезвычайно пронизательным, — он замечает, что немецкие государи поддерживают и крепко держатся за старые немецкие общественные порядки, с которыми тесно связано их собственное существование, и *насилственно* борются с разрушительными элементами. С другой стороны, он видит ясно, что разрушительные элементы тоже борются с государственною властью. Таким образом, здоровые чувства, все пять сразу, показывают, что государственная власть является *основой* старого общества, его сословных подразделений, его предрассудков и противоречий.

Но при внимательном рассмотрении это явление лишь опровергает тот простодушный взгляд, для которого оно невинно послужило поводом.

Насильственно реакционная роль, в какой выступает государственная власть, показывает лишь то, что в порах старого общества образовалось новое, чувствующее давление политической оболочки, естественно покрывающей старое общество, как давление противоестественных оков, которое оно должно взорвать. Чем слабее развиты эти новые разрушительные элементы общества, тем консервативнее кажется даже самая злая реакция старой политической власти. Чем более развиты эти новые разрушительные элементы общества, тем реакционнее кажется даже самая невинная консервативная политика старой политической власти. Реакция немецких государей, — вместо того, чтобы доказывать, что эти государи создают старое общество, — доказывает, наоборот, что с ними самими будет покончено, как только окончательно исчезнут материальные условия существования старого общества. Их реакция есть, вместе с тем, и реакция самого старого общества, которое остается еще *официальным* обществом и поэтому также и *официальным* обладателем *официальной* власти.

Когда материальные условия существования общества развились настолько, что преобразование его официальных политических форм стало для него жизненной необходимостью, тогда изменяется вся физиономия старой политической власти. Так, абсолютная монархия, вместо того, чтобы *централизовать*, — а в этом ведь, собственно, и состояла вся ее цивилизаторская деятельность, — делает попытки к *децентрализации*. Выросшая на развалинах феодальных сословий и принимавшая деятельнейшее участие в их разрушении, она стремится теперь сохранить хоть *видимость* феодальных подразделений. В то время как раньше она покровительствовала торговле и промышленности и, следовательно, возникновению класса буржуазии, видя в них необходимые предпосылки как национального могущества, так и собственного блеска, — теперь эта абсолютная монархия повсеместно становится поперек дороги дальнейшему развитию торговли и промышленности, ставшему слишком опасным орудием в руках могущественной буржуазии. От *города*, этой колыбели ее величия, абсолютная монархия обращает свои робкие и оступившие взоры на *сельские округа*, удобренные трупами поверженных *великанов*, ее старых врагов.

Но под «связью между политикой и социальными условиями» г-н Гейнцен понимает, собственно, лишь связь между немецкой государственной властью и немецкой нуждой и нищетой.

С материальной своей стороны монархия, как и всякая другая государственная форма, существует для рабочего класса непосредственно лишь в форме *налогов*. В налогах заключается экономически выраженное существование государства. Чиновники и попы, солдаты и балетные танцовщицы, школьные учителя и полицейские, греческие музеи и готические башни, содержание государей и вельмож, — все эти сказочные создания скрываются, как зародыши, в одном общем семени — в *налогах*.

И какой рассуждающий обыватель не укажет голодающему народу на налоги, на эти неправдой добытые деньги государей, как на источник его нужды? Немецкие государи и немецкая нищета! Налоги, на которые пируют государи и которые народ оплачивает своим кровавым потом! Какой неисчерпаемый материал для декламирующих спасителей человечества!

Монархия требует больших расходов. Без сомнения. Возьмите хотя бы северо-американский государственный бюджет и сравните с этим, сколько должны уплачивать наши 38 миниатюрных отечеств за то, чтобы ими управляли и держали их на узде! Шумливым выпадам этой надменной демагогии отвечают коротко и ясно даже не коммунисты, а *буржуазные* экономисты, как, напр., Рикардо, Сениор и т. п.

Экономическую основу государства составляют *налоги*.

Экономическую основу существования рабочего составляет *заработная плата*.

Требуется установить *отношение* между налогами и заработной платой.

Средний уровень заработной платы необходимо низводится *конкуренцией* до минимума, т. е. до такой заработной платы, которая позволяет рабочему с трудом поддерживать свое собственное существование и существование своего рода. Налоги составляют часть этого минимума, ибо политическое призвание рабочих состоит именно в том, чтобы платить налоги. Если бы все налоги, падающие на рабочий класс, были совершенно уничтожены, то естественным последствием этого было бы то, что заработная плата уменьшилась бы на всю сумму налогов, входящих ныне в плату как ее составная часть. Благодаря этому непосредственно увеличилась бы соответственно или *прибыль* работодателя, или произошла бы перемена в *форме* взимания налогов. Вместо того, чтобы в виде заработной платы выплачивать также и налог, который должен платить рабочий, капиталист выплачивал бы теперь этот налог не обходным путем, а непосредственно государству. Если в Северной Америке заработная

плата выше, чем в Европе, то это ни в коем случае не является следствием уменьшения налогов. Высокая заработная плата в Северной Америке является следствием территориального положения, коммерческого и промышленного состояния страны. Спрос на рабочих в сравнении с предложением там гораздо выше, чем в Европе. И эту истину знает каждый ученик уже из Адама Смита. Для буржуазии же, напротив того, распределение и взимание налогов, равно как и их расходование, составляет жизненный вопрос как благодаря влиянию, оказываемому налоговой системой на торговлю и индустрию, так и потому, что налоги являются той золотой цепью, которою можно задушить абсолютную монархию.

После всяких глубоких объяснений по поводу «связи между политикой и общественным состоянием» и между «классовыми отношениями» и государственной властью г-н Гейнцен торжествующе восклицает: «В своей революционной пропаганде я не грешил «узостью коммунистов», которые обращаются не к людям, а к «классам» и *направляют* людей одной «профессии» на представителей другой, ибо я допускаю «возможность», что «человечество» не всегда определяется «классом» или «объемом мошны».

«Здравый человеческий смысл» грубияна превращает классовое различие в различие «размера мошны» и классовое противоречие в «ремесленную свару». Размер кошелька — это чисто количественное различие, из-за которого можно *направлять* друг на друга членов *одного* и того же класса. Что средневековые *цехи* боролись друг с другом, защищая интересы отдельных *ремесл*, это известно. Но не менее известно и то, что современное классовое различие ни в коем случае не основано на «ремесле»; наоборот, разделение труда создает *различные* формы труда внутри *одного и того же* класса. И эту свою собственную «узость», целиком почерпнутую из собственной «полноты жизни» и собственного «здроваго человеческого смысла», г-н Гейнцен насмешливо называет «узостью коммунистов».

Но допустим на мгновение, что г-н Гейнцен знает, о чем он говорит и, следовательно, говорит не о «различном размере мошны» и не о «ремесленной сваре». Весьма «возможно», что отдельные индивиды не «всегда» определяются классом, к которому они принадлежат; но этот факт имеет так же мало решающего значения для классовой борьбы, как мало значил для французской революции переход некоторых дворян на сторону *tiers état*. Но и тогда дворяне присоединялись, по крайней мере, к определенному классу, именно — к революционному классу, к буржуазии. А по мнению г-на Гейнца

все классы исчезают перед торжествующей идеей «человечности».

Но если г-н Гейнцен думает, что *целые классы*, существование которых покоится на *экономических*, от их воли не зависящих условиях, не становятся в самые враждебные отношения друг к другу; если г-н Гейнцен думает, что благодаря присущему всем людям свойству «человечности» целые классы могут подняться над действительными условиями своего существования, то как легко должно быть какому-нибудь монарху при помощи своей «человечности» подняться выше своего положения, своего «монархического ремесла»? Почему же г-н Гейнцен не может простить Энгельсу, когда последний за его революционными фразами усматривает «бравого императора Иосифа»?

Но если, с одной стороны, в своем обращении к неопределенной «человечности» немцев г-н Гейнцен до такой степени уничтожает *все различия*, что вынужден включить в это безразличие даже *монархов*, то, с другой стороны, он все же не может не установить *различия* между людьми немецкой крови, ибо без различий нет противоречий, а без противоречий нет материала для политических проповедей капуцина.

Итак, г-н Гейнцен *разделяет* немцев на *монархов* и *подданных*. Усмотрев и выразив это противоречие, г-н Гейнцен обнаружил моральную силу, дал доказательство индивидуальной смелости, политического понимания, возмущенного человеческого чувства, серьезной дальновидности, достойной уважения храбрости. Доказательством же интеллектуальной слепоты и полицейского образа мыслей может служить подчеркивание того обстоятельства, что подданные делятся на привилегированных и непривилегированных; что первые не только не усматривают в политической иерархии унизительной для себя деградации, но, наоборот, видят в ней почетную восходящую линию; что, наконец, даже теми подданными, которые считают подданство цепями, тяжесть этих цепей воспринимается различно.

Но вот являются эти «узкие» коммунисты и отмечают не только политическое *различие* между *монархами* и *подданными*, но и общественное различие между *классами*. В то время как моральное величие г-на Гейнца за минуту перед тем состояло в том, чтобы усмотреть известное различие и выразить его, теперь оно выражается в том, чтобы не замечать различия, не считаться с ним, скрыть его. Признание *противоречия* из языка революции превращается в язык реакции и злостного натравливания друг на друга объединенных *человечностью* братьев.

Известно, что вслед за июльской революцией победоносная буржуазия в своих *сентябрьских законах*, — тоже, вероятно, ради «человечности», — объявила «натравливание различных классов населения друг на друга» величайшим политическим преступлением, каравшимся тюрьмой, денежным штрафом и т. д. Известно далее, что в английской буржуазной прессе обвинение чартистских вождей и писателей в натравливании одних классов населения на других практиковалось предпочтительно перед всеми другими доносами. Известно даже и то, что немецких писателей заживо хоронят в тюрьмах за натравливание различных классов населения друг на друга. Не говорит ли в данном случае г-н Гейнцен языком французских сентябрьских законов, английских буржуазных газет и немецкого уголовного кодекса?

Но нет. Благомыслящий г-н Гейнцен опасается только, что коммунисты *пытаются предохранить* государей от опасности посредством революционной фонтанели».

Подобно тому как *бельгийские* либералы уверяют, что *радикалы* состоят в тайном союзе с католиками, а французские утверждают, что *демократы* сговорились с легитимистами, английские фритредеры говорят, что *чартисты* солидарны с ториями, — либеральный г-н Гейнцен уверяет, что *коммунисты* согласны с государями.

Германия, как я уже доказывал в «Немецко-французских летописях», поражена особым христианско-германским недугом. Ее буржуазия настолько запоздала, что она начинает свою борьбу с абсолютной монархией и стремится утвердить свою политическую власть в такое время, когда во всех развитых странах буржуазия уже ведет ожесточеннейшую борьбу с рабочим классом и когда ее политические иллюзии уже пережиты в европейском сознании. В этой стране, где, с одной стороны, существует еще политическое убожество абсолютной монархии с целым сонмом пришедших в упадок полуфеодальных сословий и отношений, — существуют уже, отчасти вызванные развитием промышленности и зависимостью Германии от мирового рынка, современные противоречия между буржуазией и рабочим классом и проистекающая отсюда борьба; примером тому могут послужить рабочие бунты в Силезии и Богемии. Таким образом, немецкая буржуазия очутилась в противоречии с пролетариатом еще прежде, чем она политически конституировалась как класс. Борьба между «подданными» возгорелась прежде, чем государи и дворянство были изгнаны из страны вопреки всем гамбахским песням.

В объяснение этого полного противоречий положения вещей, естественно отражающегося и в немецкой литературе, г-н Гейнцен

не находит ничего лучшего, как взвалить его на совесть своих противников и выставить его как следствие контр-революционных происков коммунистов.

Между тем немецкие рабочие хорошо знают, что *абсолютная монархия* ни минуты не поколеблется и не может поколебаться, чтобы приветствовать пролетариат картечью и нагайками, если того требуют *интересы буржуазии*. Ради чего же тогда они предпочтут грубое притеснение абсолютного правительства и его полуфеодальной свиты *непосредственному господству буржуазии*? Рабочие очень хорошо знают, что буржуазия не только в политическом отношении сделает им большие уступки, чем абсолютная монархия, но что в интересах своей торговли и промышленности, против своей воли, буржуазия создаст условия для объединения рабочих, а это объединение является первым условием их победы. Рабочие знают, что уничтожение *буржуазных* отношений собственности не может быть достигнуто при помощи сохранения *феодальных* отношений. Они знают, что революционное движение буржуазии против феодализма и абсолютной монархии может лишь ускорить и их собственное революционное движение. Они знают, что их собственная борьба с буржуазией начнется лишь в тот день, когда буржуазия сама окажется победительницей. Несмотря на все это, они не разделяют буржуазных иллюзий г-на Гейнца. Они могут и должны участвовать в *буржуазной революции*, так как она является необходимым условием для начала *рабочей революции*. Но рабочие ни одного мгновения не могут смотреть на буржуазную революцию как на свою конечную цель.

Что рабочие действительно таким образом поступают, этому блестящий пример дали в новейшее время чартисты в их отношении к движению Лиги борьбы с хлебными законами. Ни одной минуты они не верили лживым или беспочвенным уверениям буржуазных радикалов, ни на минуту они не прекращали своей борьбы с ними, но они с полным сознанием помогли своим врагам одержать победу над ториями; а на другой день после отмены хлебных законов на поле избирательной борьбы стояли друг против друга не тории и фритредеры, а фритредеры и чартисты. И, противостоя этим буржуазным радикалам, они приобрели себе место в парламенте.

Столь же мало, как рабочих, г-н Гейнц понимает и *буржуазных либералов*, хотя бессознательно и трудится в их интересах. Он считает необходимым твердить им по-старому о вреде немецкого «добродушия» и смирения. Честный добряк, он принимает за чистую монету раболопные речи, которыми дебютировали гг. Кампаузен и Ганзман. Гг. буржуа будут смеяться над такой наивностью. Они

лучше знают, где жмет сапог. Они знают, что во время революции *чернь* делается дерзкой и заходит слишком далеко. Гг. буржуа поэтому стараются, поскольку возможно, преобразовать *абсолютное* королевство в *буржуазное* без революции, мирным путем.

Но абсолютное королевство в Пруссии, как раньше в Англии и Франции, не желает добровольно превратиться в буржуазное государство. Убраться по добру, по здорову оно не согласно. Кроме личных предрассудков монархам связывает руки целая бюрократическая армия, гражданская, военная и духовная, — эта составная часть абсолютной монархии, которая ни в коем случае не желает променять свое господствующее положение на служебную роль при буржуазии. С другой стороны, феодальные сословия упорно держатся за старое: для них дело идет о том, быть или не быть, т. е. о сохранении собственности или об экспроприации. Понятно, что абсолютный монарх, несмотря на верноподданнические уверения в преданности со стороны буржуазии, видит, что его истинные интересы совпадают с интересами этих старых сословий.

Поэтому так же, как сладкие речи Лалли Толландаля, Мунье, Малузэ и Мирабо не могли убедить Людовика XVI решительно стать на сторону буржуазии против феодалов и остатков абсолютной монархии, так же мало песни сирен, Кампгаузена и Ганземана, убедят Фридриха-Вильгельма IV.

Но г-н Гейнцен не имеет дела ни с германской буржуазией, ни с германским пролетариатом. Его партия — это «партия *человечества*», т. е. честных, великодушных мечтателей, которые под видом «человеческих» целей сражаются за «буржуазные» интересы, не сознавая в то же время ясно той связи, которая существует между идеалистическими фразами и их реалистической сущностью.

Своей партии, партии человечества, или той его части, которая обитает в Германии, основатель государств Карл Гейнцен предлагает «наилучшую республику», им самим придуманную, наилучшую «федеративную республику с социальными учреждениями». *Руссо* некогда набросал проект наилучшего политического устройства для поляков, а *Мабли* — для корсиканцев. Великий женеvский гражданин нашел еще более великого последователя.

«Составить республику я могу только» — какая скромность! — «из чисто республиканских элементов, как цветок из *цветочных лепестков*». Кто умеет из цветочных лепестков *составить* цветок, будь то хотя бы *маргаритка*, тому, наверное, удастся и композиция «наилучшей республики», что бы ни говорил об этом испорченный свет.

Наперекор злословию, бравый основатель государств берет себе за образец конституцию северо-американской республики. Все то, что претит ему, он вычеркивает своею кистью грубияна. Таким путем он получает, наконец, исправленное издание республики — *ad usum delphini*, т. е. для пользы и отрады «немецкого человечества». И после того как он нарисовал «картину республики, и именно определенной республики», он поднимает своего «маленького» непочтительного ученика «за коммунистические уши» и огорошивает вопросом: в состоянии ли он также «сделать мир», да еще «наилучший мир»? И он не перестает тащить «маленького» «за коммунистические уши» «вверх» до тех пор, пока он не «сталкивает» его «носом» с гигантской картиной «нового мира», — наилучшей республики. Эту гигантскую картину проектируемого им мира он, собственно, повесил на высочайшую вершину швейцарских Альп.

Sacatum non est pictum, — раздается голос «маленького» не раскаявшегося змееныша. И возмущенный республиканский Аякс сбрасывает на землю коммунистического Терсита, и из его широкой мохнатой груди вырываются ужасные слова: «Вы доводите смешное до крайности, г-н Энгельс!»

И в самом деле, г-н Энгельс! Неужели вы не признаете, что «американская федеративная система» есть «наилучшая политическая форма», «которую до сих пор изыскало государственное искусство»? Вы качаете головкой? Что? Вы вообще отрицаете, что «американская федеративная система» изыскана «государственным искусством»? И что существуют *in abstracto* «наилучшие политические общественные формы»? Но ведь тут же конец всему!

В то же время вы так «бесстыдны и бессовестны», что даете нам понять, будто честный немец, который хочет воспользоваться северо-американской конституцией — да еще украшенной и исправленной — для блага дорогой отчизны, подобен тому глупому кушцу, который, скопировав торговые книги своего богатого соперника, вообразил, что вместе с копией вступил во владение и его богатством!

С «топором палача» в ручонке вы, кажется, грозите нам своей игрушкой, гильотиной, подаренной вам 1794 годом? Барбару, бормочете вы, и другие высоко поднявшиеся люди были в то время, как мы играли гильотиной, укорочены на целую голову, потому что раскричались невзначай о том, что «американская федеративная система» есть «наилучшая политическая форма». И так будет со всеми другими Голиафами, которые при какой-либо демократической революции в Европе, и особенно в растерзанной еще феодализмом Германии, вместо единой нераздельной республики и ее нивелирующей

централизации будут стремиться насадить «американскую федеративную республику».

Но, боже мой! Ведь члены Comité du salut public и стоявшие за ними якобинские кровопийцы были чудовищами, а «наилучшая» гейнценская «республика» есть «наилучшая политическая форма», «придуманная» «современным государственным искусством» для «человечества»; она предназначена для «человеков», для хороших людей, для человеческих людей.

Действительно! «Вы доводите смешное до крайности, г-н Энгельс!»

К тому же основывающий государства Геркулес вовсе не копирует точка в точку северо-американской республики. Он украшает ее «социальными учреждениями», он обещает «регулировать отношения собственности на разумных основаниях», и семь великих «мероприятий», при помощи которых он устраняет «неурядицы» старого буржуазного общества, ни в коем случае не являются жалкими отбросами, подобранными в различных вредоносных коммунистических и социалистических кухмистерских. Своими рецептами для «гуманизирования общества» великий Карл Гейнцен обязан «инкам» и «Детским рассказам Кампе», также как и своей последней глубокомысленной фразой он обязан не философу и померанцу Руге, а поседевшему в мудрости «перуанцу». А г-н Энгельс называет все это произвольно измышленными, мещанскими мечтами об улучшении мира!

Да, мы живем в такое время, когда «все более и более исчезают лучшие люди», а самые «наилучшие» — те остаются совсем непопнятыми.

Возьмите, к примеру, какого-нибудь благомыслящего бюргера и спросите его по совести, чем страдают современные «отношения собственности»? Добрый человек приложит указательный палец к кончику своего носа, дважды глубокомысленно вздохнет и потом, «если угодно», выскажется в том смысле, что это — повор, когда многие не имеют «ничего», даже самого необходимого, а другие, не только во вред неимущим босякам, но и почтенным бюргерам, аристократически накопляют в своих руках бесстыдные миллионы. *Aurea mediocritas!* Золотая середина! — восклицает честный представитель среднего сословия. Лишь бы избежать крайности! Никакое разумное государственное устройство невозможно при крайностях, при этих крайностях, при этих в высшей степени вредоносных крайностях.

А теперь обратите свой взор на гейнценскую «федеративную республику» с «социальными учреждениями» и с семью мероприя-

тиями для «гуманизирования общества». Здесь каждому гражданину обеспечен «*minimum*» состояния, ниже которого он не может спуститься, и предписан «*maximum*» состояния, выше которого он не может подняться. Не разрешил ли г-н Гейнцен всех затруднений, когда он благочестивое пожелание всех бюргеров, чтобы никто не имел ни слишком много, ни слишком мало, выразил в форме государственных декретов и этим как бы осуществил его?

И подобным, настолько же простым, как и великолепным, образом г-н Гейнцен разрешил все экономические коллизии. На *разумных основаниях*, соответствующих чувству справедливости честных людей, он *регулировал* собственность. И не говорите ему, что «разумные порядки собственности и суть именно «экономические законы», перед бездушной неизбежностью которых должны отступить все справедливые «мероприятия», хотя бы они были рекомендованы как инками, так и Кампе в его писаниях для детей и горячо поддерживались самыми лучшими патриотами.

Как несправедливо выдвигать *экономические* соображения перед человеком, который не хвастает, подобно другим, «изучением политической экономии», а, наоборот, в скромности своей сумел во всех своих сочинениях сохранить отблеск девственной невинности, еще не сделавшей самых первых шагов в изучении политико-экономических наук. Именно примитивности познания этого человека следует поставить в высокую заслугу то обстоятельство, что против коммунистических врагов своих он с важным видом выдвигает все те соображения, которые через посредство «*Augsburger Allgemeine Zeitung*» известны всем немецким читателям с 1842 г., как, напр., положение о «приобретенной» собственности, о «личной свободе и индивидуальности» и т. п. И как же далеко должна была зайти деморализация коммунистических писателей, если они выбирают себе противников из людей с экономическим и философским образованием и оставляют без ответа «непосредственные» выдумки простецкого здравого смысла, которому они должны были бы преподавать сначала элементарные сведения об экономических условиях данных буржуазных отношений, чтобы иметь затем возможность обсуждать их вместе с ними.

Так как *частная собственность*, напр., не есть отвлеченное понятие или принцип; так как она представляет собою не простое отношение, а всю совокупность *буржуазных* отношений производства (речь идет не о подчиненной, прошедшей, а о существующей теперь буржуазной частной собственности); так как все эти буржуазные отношения производства суть классовые отношения, что должно быть известно каждому школьнику из Адама Смита или Рикардо,— то

изменение, не говоря уже об уничтожении этих отношений, может, конечно, произойти лишь с изменением самих классов и их взаимных соотношений; изменение же соотношений между классами есть такое историческое изменение, которое может явиться лишь результатом всей совокупности общественной деятельности, продуктом определенного, «исторического движения». Писатель может использовать факт этого исторического движения, но само собою разумеется, что он не может создать его.

Так, напр., чтобы сделать понятным установление буржуазных отношений собственности, современные историки должны были изложить весь процесс движения, благодаря которому буржуазия достигла ступени развития, когда жизненные условия ее оказались достаточно развитыми для того, чтобы уничтожить феодальные сословия и свои собственные феодальные условия существования, а следовательно, и феодальные отношения производства, при которых вели свое производство эти феодальные сословия. Таким образом, отмена феодальных отношений собственности и основание современного буржуазного общества ни в коем случае не были результатом известного действия, которое исходило бы из какого-нибудь определенного теоретического принципа и явилось бы последовательным выводом из него. Наоборот, принципы и теории, развитые представителями буржуазии во время ее борьбы с феодализмом, были не чем иным, как теоретическим выражением практического движения, причем можно с точностью проследить, как выражение это бывало более или менее утопическим, догматическим, доктринерским, соответственно более или менее развитым фазам того действительного движения, которое стражали теории.

В этом именно смысле, перед лицом своего страшного противника, — Геркулеса, основывающего государство, — Энгельс имел неосторожность говорить о коммунизме, поскольку он является теорией, как о теоретическом выражении «движения».

Но, — восклицает ярый борец в суровом возмущении; — «я хотел указать неизбежные практические последствия, я хотел довести «представителей» коммунизма до того, чтобы они признали эти последствия», именно те бессмысленные последствия, которые для человека, не имеющего ничего, кроме фантастических представлений о буржуазной частной собственности, неизбежно связаны с отменой последней. Он хотел вынудить Энгельса «защищать все бессмыслицы», которые он, по смелому плану г-на Гейндена, «вызвал бы на свет божий». Но Рейнеке-Энгельс так сильно разочаровал честного Изегрима, что последний не находит уже в коммунизме никакого «ядра»,

которое можно было бы «раскусить», и удивленно спрашивает: «каким образом приводится это явление в съедобный вид?»

И тщетно пытается добрый человек успокоить себя остроумными увертками, спрашивая, напр., не является ли историческое движение «движением человеческого чувства» и т. д., и заклинает даже дух великого «Руге», чтобы тот разгадал ему эту тайну природы!

«После того, что случилось,— восклицает разочарованный человек, мое сердце охватывает *сибирский холод*; после того, что случилось, я *предчувствую только предательство*, мне представляются одни лишь *козни*». ¹

И в конце концов он, действительно, объясняет себе дело тем, что Энгельс «отрицает свою собственную школу», «совершает столь же трусливое, как и смешное отступление», «компрометирует весь род человеческий, чтобы только не скомпрометировать свою собственную персону», «в решительный момент бросает свою партию на произвол судьбы» и пр. в том же жанре морализирующего бешенства. Точно так же и различие, проводимое Энгельсом между «истинным социализмом» и «коммунизмом», между утопическими коммунистическими системами и критическим коммунизмом, есть не что иное, как «предательство» и «коварство». Да, чисто иезуитское, только теперь нарочно выдуманное различие, так как до сих пор, по крайней мере, никто о нем не сообщал, и даже бурный вихрь полноты жизни не донес о нем, повидимому, до ушей Гейнцена ни звука.

А ведь как тонко умеет г-н Гейнцен намекать на эти разногласия, поскольку они нашли себе литературное выражение!

«Вот Вейтлинг, который, правда, толковее вас, но все же может считаться несомненным коммунистом».

Или: «Что, если бы г-н Грюн пожелал стать коммунистом и исключил бы г-на Энгельса?»

Само собой понятно, что, дойдя до этого пункта, честный человек, не сумевший настолько эмансипироваться, чтобы считать *верность* и *доверие*, как бы старомодны они ни были, «совершенно излишними между разумными людьми», начинает угощать нас самой абсурдной *ложью*, напр. будто Энгельс собирался писать о «социальном движении в Англии и Франции», но тут г-н Грюн «забежал вперед», и Энгельс «не нашел издателя для своего скучного повторения», и прочими измышлениями, сделанными г-ном Гейнценом, «как последствия известного принципа».

Такой жалкий результат морализирующей критики зависит от

¹ Карл Гейнцен, Steckbrief.

самого «рода» этой критики и никоим образом не может быть приписан личным недостаткам Аякса Теламонида. При всех своих глупостях и плоскостях, этот святой грубиян имеет то нравственное качество, что свои глупости и плоскости он говорит по убеждению, что он — цельный человек.

Но, что бы там ни говорили «факты», которые сам великий Карл Гейнцен предоставляет их «спокойному течению»: «Я,— восклицает он, трижды бия себя в честную грудь,— я продолжаю безбоязненно носить с собой свой принцип и не выбрасываю его за борт, когда меня о нем спрашивают».

Генрих XLII Рейс-Шлейц-Эберсдорфский тоже лет двадцать уже ездит верхом на своем «принципе».

Примечание. Мы рекомендуем читателям «Немецкой брюссельской газеты» критику Стефана: «Государство Гейнца» («Der Heitzen'sche Staat»). Гейнцен послужил автору только предлогом, он с таким же успехом мог бы говорить о всяком другом литературном пустомеле Германии, чтобы противопоставить резонерствующего, злобствующего мелкого буржуа точке зрения действительно революционного рабочего. Г-н Гейнцен не нашел лучшего способа ответить Стефану, как обозвав его статью жалким произведением (Machwerk). Такова критика по существу. Так как он лично не знает Стефана, то он просто обзывает его мальчишкой (gamin), приказчиком (commis voyageur). Но, не считая этого достаточно оскорбительным для своего противника, он еще в довершение всего превращает его в полицейского агента. Насколько справедливо последнее обвинение, можно видеть из того, что французская полиция, вероятно в согласии с г-ном Гейнценом, конфисковала 100 экземпляров брошюры Стефана.

Преподав указанным способом практический урок морали рабочему Стефану, г-н Гейнцен обращается к нему со следующими, преисполненными благородства, словами: «Что касается меня, то, хотя я охотно вступил бы в дебаты с рабочим, я все же не могу в нахальстве видеть средство заменить знание». — Немецкие рабочие почувствуют себя польщенными перспективой, что демократ Карл Гейнцен готов вступить с ними в дебаты, если они скромно и прилично будут себя вести по отношению к великому человеку.

Г-н Гейнцен старается за нахальством своего выпада скрыть свою неосведомленность по отношению к Стефану.



Ф. ЭНГЕЛЬС В СЕРЕДИНЕ 40-Х ГОДОВ,

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ШВЕЙЦАРИИ.

Наконец-то положен будет предел не прекращающейся хвастливой болтовне о «колыбели свободы», о «внуках Телля и Винкельрида», о храбрых победителях при Земпахе и Муртене! Наконец-то выяснилось, что колыбель свободы есть не что иное, как центр варварства и питомник иезуитов; что внуков Телля и Винкельрида нельзя образумить никакими доводами, кроме пушечных ядер; что храбрость при Земпахе и Муртене была не чем иным, как отчаянием грубых и суеверных горных племен, упрямо противившихся цивилизации и прогрессу.

Истинное счастье, что европейская демократия освободится, наконец, от этого первобытно-швейцарского, благонаправленного и реакционного балласта. Пока демократы продолжали взывать к добродетели, счастью и патриархальной простоте альпийских пастухов, до тех пор на них самих падала тень реакции. Теперь, когда демократы поддерживают борьбу цивилизованной, промышленной, современно-демократической Швейцарии против грубой христианско-германской демократии древних скотоводческих кантонов, — теперь они повсюду являются носителями прогресса, теперь исчезает даже последнее реакционное мерцание, теперь они доказывают, что научились понимать значение демократии в XIX столетии.

Существуют в Европе две страны, где древнее христианско-германское варварство сохранилось в своем первобытном виде почти вплоть до питания желудями: это — Норвегия и Верхние Альпы, т. е. древние кантоны Швейцарии. Как Норвегия, так и первобытная Швейцария дают еще подлинные образчики той человеческой расы, которая некогда в Тевтобургском лесу побилла римлян истинно по-вестфальски — дубинами и цепями. Как Норвегия, так и старые швейцарские кантоны организованы на демократических началах. Но существуют различного рода демократии, и необходимо, чтобы демократы цивилизованных стран сняли, наконец, с себя ответственность за норвежскую и древне-швейцарскую демократии.

Демократическое движение во всех цивилизованных странах стремится, в конечном счете, к политическому господству проле-

тариата. Оно, следовательно, предполагает существование как пролетариата, так и промышленности, породившей пролетариат и приведшей к господству буржуазии.

Ничего этого нет ни в Норвегии, ни в старых кантонах Швейцарии. В Норвегии мы находим столь прославленный крестьянский режим (*bonde regime*), а в древних кантонах Швейцарии, несмотря на демократическую конституцию, населением, состоящим из невежественных пастухов, управляют на патриархальных началах несколько богатых землевладельцев. Буржуазия в Норвегии имеется лишь в виде исключения, а в древних кантонах ее совсем нет. Пролетариат почти отсутствует.

Таким образом, демократия цивилизованных стран, современная демократия, не имеет ничего общего ни с норвежской, ни с древне-швейцарской демократией. Она стремится водворить не норвежские или древне-швейцарские порядки, а совершенно иные. Но все же мы остановимся подробнее на этой первобытно-германской демократии, имея при этом в виду древние кантоны Швейцарии, которые нас здесь, главным образом, интересуют.

Какой немецкий мелкий буржуа не восторгается Вильгельмом Теллем, освободителем отечества? Какой школьный учитель не ставит Моргартена, Земпаха и Муртена рядом с Марафоном, Платеей и Саламином? Где та истеричная старая дева, которая не мечтала бы о крепких ногах и стройном стане нравственно-чистых альпийских юношей? От Эгидиуса Чуди до Иоганна Мюллера, от Флориана до Шиллера — все без конца воспевали в прозе и в стихах величие древне-швейцарской храбрости, свободы, энергии и мощи. Пушки и ружья двенадцати кантонов служат теперь комментарием к этим восторженным хвалебным гимнам.

Древние швейцарцы дважды обратили на себя внимание в истории. Первый раз, когда они доблестно освободили себя от австрийской тирании, второй раз — в настоящий момент, когда они, во имя божие, выступили на борьбу за иезуитов и отечество.

Уже доблестное освобождение из когтей австрийского орла не выдержит пристального рассмотрения при свете дня. Австрийский дом выказал себя прогрессивным один только раз за все время своего существования. Это было в начале его карьеры, когда он соединился с мелкой городской буржуазией против дворянства и стремился основать немецкую монархию. Прогрессивность эта была в высшей степени мелкобуржуазной, но все же Австрийский дом был прогрессивным. И кто же наиболее решительно сопротивлялся тогда ему? — Тогдашние коренные швейцарцы. Их борьба против Австрии, славная

клятва на Грютли, геройский выстрел Телля, незабвенная победа при Моргартене, — все это было борьбой упрямых пастухов против напора исторического развития, борьбой упорных, неподвижных местных интересов против интересов всей нации, борьбой невежества против образованности, варварства против цивилизации. Пастухи одержали тогда победу над цивилизацией, и в наказание за это они были отрезаны от всей дальнейшей цивилизации.

Мало того. Эти честные, упорные альпийские пастухи были вскоре наказаны еще другим путем. Они освободились от господства австрийского орла, чтобы попасть под иго цюрихских, люцернских, бернских и базельских буржуа. Эти горожане заметили, что коренные швейцарцы так же сильны и так же глупы, как и их быки. Они вошли в швейцарский союз и с тех пор спокойно сидели дома за прилавком, в то время как твердоголовые альпийские пастухи воевали за них с дворянством и князьями. Так было при Земпахе, Грансоне, Муртене и Нанси. Им оставили при этом право устраивать свои внутренние дела по своему усмотрению, и они оставались в счастливейшем неведении относительно того, как эксплуатируют их возлюбленные братья по союзу.

С тех пор о них мало было слышно. В страхе божием и с полной благопристойностью предавались они доению коров, приготовлению сыра, целомудрию и пению своих альпийских песен (Jodeln). Время от времени они сходились на народные собрания, делились на партии рогов, когтей и другие группы по звериным признакам и устраивали между собою самую сердечную, христианско-германскую потасовку. Они были бедны, но отличались чистотой нравов; глупы, но набожны и богоугодны; грубы, но широкоплечи; имели мало мозга, но плотные икры. Время от времени их становилось слишком много, и тогда молодые люди уходили прочь, т. е. нанимались на военную службу к чужеземцам и с непоколебимой верностью отстаивали до конца чужое знамя, чего бы им это ни стоило. О швейцарцах можно сказать только, что они позволяли убивать себя за свое жалованье с величайшей добросовестностью.

Величайшей гордостью этих дюжих швейцарцев издревле было то, что они никогда не отступали ни на йоту от обычаев своих предков, что в потоке столетий они сохранили в неприкосновенности простые, целомудренные, суровые и добродетельные нравы своих отцов. И это правда: всякая попытка цивилизации бессильно отскакивала от гранитных стен их утесов и их черепов. С того дня, как первый предок Винкельрида гнал на девственные пастбища Фирвальдштедтского озера свою корову с неизбежным идилическим колокольчиком

на шее, вплоть до настоящего момента, когда попы благословляют ружья последних потомков Винкельрида, — все дома строятся у них по одному и тому же образцу, все коровы доятся одним и тем же способом, косы заплетаются одним и тем же образом, сыры изготавливаются все той же формы и дети производятся все тем же порядком. Здесь, в горах, еще сохранился рай, здесь еще не было грехопадения. И когда такой невинный сын альпийских гор попадает в широкий свет и на мгновение дает завлечь себя соблазнам больших городов, нарядным приманкам испорченной цивилизации и порокам тех грешных стран, где нет гор и растет рожь, — он никогда не доходит до окончательной гибели, его глубокая невинность всегда спасает его. Пусть только коснется его уха родной напев, хоть только две ноты той пастушеской песни, которая так сильно смахивает на собачий вой, — и он уже, потрясенный, в слезах бросается на колени, вырывается из объятий соблазна и не успокоится, пока не упадет к ногам своего старика-отца: «Отец, я согрешил перед родными горами и перед тобою, я недостойн называться твоим сыном!»

Два нападения были сделаны в новейшее время на эту простоту нравов и первобытную мощь. Первым было вторжение французов в 1798 г. Но французы, которые всюду заносили хоть немного цивилизации, не имели успеха у жителей древних кантонов. Здесь не осталось никаких признаков их пребывания, они ни на волос не пошатнули старых нравов и добродетелей. Второе нашествие произошло приблизительно двадцать лет спустя и дало все же кое-какие результаты. Это было нашествие английских туристов, лондонских лордов и сквайров и бесчисленных свечных фабрикантов, мыловаров, торговцев бакалеей и костями, следовавших за ними. Это нашествие привело, по крайней мере, к тому, что старому гостеприимству пришел конец, и честные обитатели альпийских хижин, едва знавшие до того, что такое деньги, превратились в самых жадных и заgreбистых плутов, каких только где-либо можно встретить. Но этот прогресс отнюдь не затрагивает старой простоты нравов. Эти не совсем чистоплотные мошенничества как нельзя лучше уживаются с патриархальными добродетелями, целомудрием, трудолюбием, честностью и верностью. Даже набожность их не пострадала: поп с особенным удовольствием разрешал их от всех мошенничеств, совершенных в отношении британских еретиков.

Но теперь, кажется, эта чистота нравов будет разрушена до основания. Надо надеяться, что посланные для экзекуции войска сделают все возможное, чтобы уничтожить всю эту честность, первобытную силу и наивность. Но тогда плачьте вы, мещане! Тогда

не будет бедных, но довольных пастухов, чьей безмятежной беззаботности вы могли желать для себя по воскресеньям, после шестидневного употребления дикорного кофе и чая из тернового цвета. Плачьте вы, школьные учителя, ибо кончилась ваша надежда на новый Земпах, Марафон и другие классические акты героизма! Плачьте все истерические девы старше 30 лет, ибо не будет больше шестидюймовых икр, вид которых улащает вашу одинокую мечту; не будет больше красоты Антиноя в швейцарских парнях; не будет крепких ног в узких брюках, так неотравимо влекущих вас в альпийские горы! Вдыхайте и вы, нежные и малокровные цветки пансионеров, уже мечтающие, по Шиллеру, о целомудренной и все же столь действительной любви быстроногих охотников за сернами, ибо наступил конец вашим нежным иллюзиям, и вам не остается ничего, как читать Генриха Стеффенса и мечтать о холодных норвежцах.

Но довольно! С этими первобытными швейцарцами недостаточно бороться лишь насмешкой. Не за их патриархальные добродетели только приходится демократии посчитаться с ними.

Кто 14 июля 1789 г. защищал Бастилию против восставшего народа? Кто из-за крепких стен расстреливал рабочих Сент-Антуанского предместья картечью и ружейными залпами? — Швейцарцы из области Зондербунда, внуки Телля, Штауффахера и Винкельрида. Кто защищал 10 августа 1792 г. предателя Людовика XVI в Лувре и в Тюильри против справедливого народного гнева? — Коренные швейцарцы Зондербунда. Кто с помощью Нельсона подавил неаполитанскую революцию 1798 г.? — Все те же швейцарцы. Кто с помощью австрийцев восстановил в 1823 г. в Неаполе абсолютную монархию? — Швейцарцы Зондербунда. Кто 29 июля 1830 г. боролся до последней возможности за изменника-короля и снова расстреливал из окон и из-за колоннад Лувра парижских рабочих? — Швейцарцы Зондербунда. Кто с прогремевшей на весь мир жестокостью, и опять же в союзе с австрийцами, подавил восстание в Романьи в 1830 и 1831 гг.? — Швейцарцы Зондербунда. Одним словом, кто повсюду, вплоть до настоящего момента, подавлял итальянцев, вынуждая их склоняться под тяжким игом аристократов, князей и попов? Кто был в Италии правой рукой Австрии? Кто еще и сейчас дает возможность кровожадной собаке, Фердинанду Неаполитанскому, держать в узде возмущенный народ? Кто еще и поныне играет роль палача при устраиваемых им массовых расстрелах? — Опять все те же древние швейцарцы из области Зондербунда, опять все те же внуки Телля, Штауффахера и Винкельрида!

Одним словом: где бы и когда бы ни вспыхивало революцион-

ное движение во Франции, которое прямо или косвенно служило делу демократии, всегда швейцарские наемные солдаты с величайшим упорством и до последнего издыхания боролись против него. Так было в особенности в Италии, где швейцарские наемники постоянно оставались самыми верными слугами и орудиями Австрии. Справедливое наказание за доблестное освобождение Швейцарии из когтей двуглавого орла!

Пусть не думают, что эти наемники являются подонками народа, что их земляки отрекаются от них. Ведь воздвигли же люцернцы у ворот своего города громадного льва, высеченного в скале благочестивым исландским резцом Торвальдсеном: пронзенный стрелой и истекающий кровью лев покрывает своей верной до самой смерти лапой лилии бурбонского щита. Памятник поставлен в честь швейцарцев, погибших в Лувре 10 августа 1792 г. Так чтит Зондербунд наемную верность своих сынов. Он живет этой торговлей людьми и чтит ее.

Могут ли с такими демократами иметь нечто общее английские, французские и немецкие демократы?

Сама буржуазия своей промышленностью и торговлей, своими политическими учреждениями работает над тем, чтобы вырвать мелкие, разрозненные, живущие лишь своими местными интересами провинции из их изолированности; она стремится связать их, слить их интересы воедино, расширить их провинциальный кругозор, уничтожить их провинциальные обычаи, костюмы и взгляды и из многих независимых друг от друга провинций и местностей создать великую нацию с общими интересами, нравами и воззрениями. Сама буржуазия много сделала в интересах централизации. Пролетариату это не только не наносит ущерба, но, наоборот, именно эта централизация дает ему возможность объединиться, почувствовать себя классом, найти в демократии соответствующее политическое мировоззрение и победить в конце концов буржуазию. Демократическому пролетариату нужна централизация не только в том виде, в каком она начата буржуазией, но он должен будет провести ее значительно дальше. В тот короткий период французской революции, когда, при господстве партии Горы, пролетариат очутился у власти, он проводил централизацию всеми средствами, при помощи пушек и гильотины. Демократический пролетариат, если он теперь опять достигнет власти, должен будет централизовать не только каждую страну в отдельности, но как можно скорее объединить все цивилизованные страны, вместе взятые.

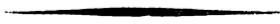
Древние кантоны Швейцарии, напротив того, всегда всеми си-

лами боролись против централизации. С настоящим животным упорством они отстаивали свою оторванность от всего остального мира, свои местные обычаи, нравы, предрассудки, свою провинциальную ограниченность и замкнутость. В сердце Европы они остались неприкосновенными в своем первобытном варварстве, в то время как все другие нации, даже остальные швейцарцы, ушли вперед по пути прогресса. Со всем упрямством полудиких древних германцев они настаивают на суверенности кантонов, т. е. на своем праве остаться на веки вечные глупыми, суеверными, грубыми, невежественными, упрямыми и продажными, как бы ни страдали от этого их соседи. Когда речь идет об их собственном зверином состоянии, они не признают никакого большинства, ни соглашения, ни обязательств. Но в XIX столетии уже невозможно, чтобы две части одной и той же страны существовали рядом без всяких взаимных сношений и взаимного влияния. Радикальные кантоны влияют на Зондербунд, который, в свою очередь, влияет на радикальные кантоны, где встречаются еще очень отсталые элементы. Радикальные кантоны, следовательно, заинтересованы в том, чтобы Зондербунд расстался со своим ханжеством, невежеством и консерватизмом, а если он не пожелает, его упрямство должно быть сломлено силою. Это именно и происходит в настоящую минуту.

Таким образом, происходящая сейчас гражданская война будет лишь полезна делу демократии. Хотя в радикальных кантонах тоже сохранилось много первобытно-германской неотесанности; хотя и в них за демократией часто скрывается то крестьянский, то буржуазный режим, то смесь того и другого вместе; хотя самые цивилизованные кантоны отстали от развития европейской цивилизации и лишь медленно пробиваются в них действительно современные течения, — все же это ровно ничего не говорит в пользу Зондербунда. Необходимо, настоятельно необходимо, чтобы это последнее убежище грубого первобытного германизма, варварства, ханжества, патриархальной простоты и чистоты нравов, неподвижности и верности до гроба всякому, кто больше заплатит, — чтобы это убежище было, наконец, разрушено. Чем энергичнее поведут дело швейцарские радикалы, чем основательнее встряхнет заседающее теперь собрание это старое поповское гнездо, тем больше права получит оно на поддержку со стороны всех истинных демократов, тем лучше докажет оно, что понимает свое положение. Но пять великих держав стоят на страже, и самим радикалам страшно.

Характерно, однако, для Зондербунда, для этих истинных сынов Вильгельма Телля, что им пришлось молить о помощи австрийский

дом, этого исконного врага Швейцарии, и молить именно теперь, когда Австрия пала ниже, стала грязнее, презреннее и ненавистнее, чем когда-либо. Это тоже добавочное наказание за доблестное освобождение Швейцарии из когтей двуглавого орла и бесконечное хвастовство по этому поводу. И, в довершение всего, сама Австрия оказывается в таких тисках, что совершенно не в состоянии помочь потомкам Телля.



ЗАМЕТКА ПРОТИВ А. БАРТЕЛЬСА.

Господин Адольф Бартельс утверждает, что его общественная жизнь кончена. И в самом деле, он ушел в частную жизнь с тем, чтобы не выходить из нее. Каждый раз, когда происходит какое-нибудь политическое событие, он ограничивается упорными заверениями и высокомерными заявлениями, что он принадлежит самому себе, что движение возникло без него, г-на Бартельса, и против его, г-на А. Бартельса, воли и что он имеет право отказать ему в своей верховной санкции. Всякий согласится, что это своего рода способ участия в общественной жизни и что посредством всех этих деклараций, заявлений, заверений под скромной внешностью частного человека скрывается человек общественный. Так проявляет себя непонятый и непризнанный гений.

Господин А. Бартельс очень хорошо знает, что, организуя союз под названием демократической ассоциации, демократы различных наций не ставили себе другой цели, кроме обмена мнений и желания столкнуться относительно принципов, которые могли бы служить для объединения и братства народов. Само собою разумеется, что в обществе, которое ставит себе подобную цель, обязанность всех иностранцев откровенно изложить свои мнения, и прямо смешно называть их учителями каждый раз, когда они берут слово для исполнения своего долга по отношению к ассоциации, к которой принадлежат. Если г-н Бартельс обвиняет иностранцев в желании поучать, то это объясняется тем, что они отказываются от его поучений.

Г-н А. Бартельс вспомнит, без сомнения, что во временном комитете, членом которого он состоял, он предложил даже составить из общества немецких рабочих ядро будущего нового общества. Я должен был отклонить это предложение от имени немецких рабочих. Или, может быть, г-н А. Бартельс хотел расставить нам сети, чтобы избавить себя от необходимости ложного доноса?

Г-н Бартельс имеет, конечно, право дискредитировать наши доктрины как «гнилые и варварские». Он не критикует, он не

доказывает, он осуждает и доказывает свою ортодоксальность, осуждая то, чего он не понимает.

Мы более терпеливы, чем г-н А. Бартельс. Мы прощаем ему его хандру, которая имеет совершенно невинный характер.

Так как г-н А. Бартельс больше теократ, чем демократ, то вполне естественно, что он нашел себе помощника в «Journal de Bruxelles». Эта газета обвиняет нас в том, что мы стремимся к улучшению «человеческого рода». Пусть она успокоится. К счастью, нам, немцам, не безызвестно, что, начиная с 1640 г., монополия на улучшение человеческого рода принадлежала исключительно конгрегации *de propaganda fide*. Мы слишком скромны и слишком ничтожны, чтобы стремиться конкурировать с почтенными отцами в этом гуманитарном промысле. Пусть они дадут себе труд сравнить отчет «Gazette Allemande de Bruxelles» с отчетом «Northern Star» и они убедятся, что только по ошибке «Northern Star» заставляет меня сказать: «Чартисты... вас будут приветствовать как *спасителей рода человеческого*».

«Journal de Bruxelles» проникнут большим человеколюбием, когда напоминает нам об Анахарсисе Клоотсе, казненном за то, что он хотел быть большим патриотом, чем патриоты 1793 и 1794 гг. В этом отношении почтенным отцам нельзя сделать никакого упрека. Они никогда не были большими патриотами, чем патриоты. Наоборот, их всегда и везде упрекали, что они хотели быть реакционнее реакционеров и, хуже того, что они хотели быть больше правительством, чем им было национальное правительство. Когда мы думаем о их недавнем печальном опыте в Швейцарии, мы готовы признать, что наставления, которые они нам делают, дабы мы избегли противоположной крайности и аналогичных опасностей, указывают на их великодушие, достойное первых христиан. Мы им за это благодарны.

ЛАМАРТИН И КОММУНИЗМ.

Французские газеты опять печатают письмо господина Ламартина. На этот раз поэтический социалист высказывается, наконец, откровенно о коммунизме, вызванный к этому Кабэ. При этом Ламартин обещает в ближайшем будущем подробно высказаться об этом «важном предмете». На этот раз он ограничивается несколькими краткими изречениями оракула: «Мой взгляд на коммунизм, — говорит он, — может быть резюмирован (!) в следующем чувстве: если бы бог предоставил мне для цивилизации и превращения их в культурных людей общество дикарей, то первое, с чем я бы их познакомил, был бы институт собственности».

«Это закон природы и условие жизни, — продолжает господин Ламартин, — что человек присваивает себе элементы. Человек посредством дыхания присваивает себе воздух, посредством передвижения пространство, посредством обработки землю, и он присваивает себе даже время, увековечивая себя потомством; собственность есть воплощение принципа жизни во вселенной; коммунизм был бы смертью для труда и для всего человечества».

«Ваша мечта слишком прекрасна для нашей земли, — говорит в заключение господин Ламартин в утешение Кабэ».

Господин Ламартин выступает, таким образом, против коммунизма и не только против коммунистической системы, но он защищает «вечность частной собственности». Его «чувство» подсказывает ему три вещи: 1) что собственность цивилизует людей; 2) что она является осуществлением принципа жизни во вселенной и 3) что отрицание ее (собственности), коммунизм, — слишком прекрасная мечта для этого испорченного мира.

Господин Ламартин «чувствует», без сомнения, лучший мир, в котором «принцип жизни» иначе «осуществлен». Но в этом испорченном мире «присвоение» является условием существования.

Нам нет надобности анализировать смутное чувство господина Ламартина, чтобы обнаружить его противоречия. Заметим лишь одно. Господин Ламартин полагает, что доказал вечность буржуазной

собственности, указывая на то, что собственность вообще составляет переход от дикого состояния к цивилизации и давая понять, что процесс дыхания и производство потомства, так же как и общественная и частная собственность, заранее предполагают право собственности.

Господин Ламартин не видит различия между эпохой перехода из дикого состояния в состояние цивилизации и нашей эпохой, как и между «присвоением» воздуха и «присвоением» общественных продуктов, так как и то и другое является «присвоением», подобно тому как обе эпохи «являются переходными эпохами».

Господин Ламартин найдет, без сомнения, возможность в своей «подробной» полемике против коммунизма «логически» дополнить эти, вытекающие из его «чувства», общие фразы целым рядом еще более общих фраз. — Может быть, и мы тогда точно так же найдем возможным «подробнее» рассмотреть его фразы. На этот раз мы ограничиваемся передачей нашим читателям тех «чувств», которые противопоставляет монархически-католическая газета чувствам господина Ламартина. «Union monarchique» во вчерашнем своем номере следующим образом высказывается против чувств господина Ламартина: «Мы видим здесь, как эти просветители человечества оставляют его без руководителей. Несчастные! Они отняли у бедняка бога, который давал ему утешение; они отняли у него небо, они оставили человека одного с его лишениями, с его нищетой. А затем они приходят и говорят: ты хочешь владеть землею; она не для тебя. Ты хочешь пользоваться благами жизни; они принадлежат другим. Ты хочешь получить свою долю богатств; это невозможно; оставайся бедным, оставайся нагим, оставайся покинутым, умри!»

«Union monarchique» утешает пролетариев богом. «Bien Public», газета господина Ламартина, утешает их «принципом жизни».

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 1847 ГОДА.

1847 год был, несомненно, самым богатым событиями среди целого ряда последних лет. Он принес с собою в Пруссии — конституцию и Соединенный ландтаг, в Италии — неожиданно резкое пробуждение политической жизни и всеобщее выступление против Австрии, в Швейцарии — гражданскую войну, в Англии новый парламент определенно радикальной окраски, во Франции — ряд скандалов и банкетов в честь реформы, в Америке — завоевание Мексики Соединенными Штатами. Иными словами, мы видим целый ряд изменений и движений, подобных которым мы не найдем ни за один из последних годов.

1830 год был последним поворотным пунктом истории. Июльская революция во Франции и билль о реформе (Reform bill) в Англии закрепили окончательную победу буржуазии, причем в Англии это была победа промышленной буржуазии, фабрикантов, над непромышленною — рантьерами. За названными странами последовали Бельгия и отчасти Швейцария, в которых также одержала победу буржуазия. В Польше произошло восстание, Италия отвечала судорогами на гнет Меттерниха, в Германии шло всеобщее брожение. Все страны готовились к великим битвам.

Но после 1830 г. волна пошла на убыль. Польша пала, восставшие романьолы были рассеяны, движение в Германии подавлено. Французская буржуазия разбила республиканцев в собственной стране и предала либералов в других странах, которых она сама подстрекнула к восстанию. Либеральное министерство в Англии не в состоянии было провести в жизнь ни одного пункта из своей программы. Таким образом, к 1840 г. мы видим полный расцвет реакции. Польша, Италия, Германия политически мертвы; в Пруссии на престоле восседает «Берлинский политический еженедельник»; в Ганновере — разлетелась в прах премудрая конституция г-на Дальмана; постановления Венской конференции 1834 г. торжествуют по всей линии. В Швейцарии преуспевают консерваторы и иезуиты; в Бельгии у кормила правления находятся католики; во Франции побеждает Гизо; в Англии правительство вигов находится

при последнем издыхании под ударами растущего могущества Пия; чартисты предпринимают тщетные попытки организовать вновь после большого поражения 1839 г. Повсюду торжествует реакционная партия, прогрессивные же партии находятся в полном разложении и совершенно разгромлены. Итак, конечным результатом великих битв 1830 г., казалось, была полная приостановка исторического движения.

Но точно так же, как 1830 год был кульминационным пунктом революционного движения буржуазии, 1840 год оказался кульминационным пунктом реакции. С 1840 г. снова начинают возникать движения, направленные против существующих порядков. Они терпят неоднократно поражения, но постепенно все больше и больше завоевывают почву. Так, в Англии чартистам удалось снова организовать и укрепиться больше, чем когда-либо, в то время как Пиль совершает одну измену своей партии за другой, наносит ей смертельный удар уничтожением хлебных законов и, наконец, сам вынужден подать в отставку. В Швейцарии радикалы одерживают успехи, в Германии, и особенно в Пруссии, требования либералов звучат из года в год все громче. В Бельгии либералы также побеждают при выборах 1847 г. Лишь Франция в избирательной кампании 1846 г. дает неслыханное большинство своему реакционному министерству, да еще Италия пребывает в состоянии летаргии вплоть до восшествия на святейший престол Пия IX, который предпринял некоторые весьма сомнительные попытки реформ к концу 1846 г.

Таково было положение к началу прошедшего года, принесшего целый ряд побед прогрессивным партиям во всех почти странах. Даже там, где они терпели поражения, последние приносили им больше пользы, чем могла дать немедленная победа.

1847 год не принес никаких окончательных решений, но он повсюду резко и ясно противопоставил друг другу партии; он не разрешил ни одного вопроса в окончательной форме, но все вопросы оказались поставленными так, что разрешение их сделалось неизбежным.

Самые значительные из движений и перемен 1847 г. имели место в Пруссии, Италии и Швейцарии.

В Пруссии Фридрих-Вильгельм IV был, наконец, вынужден дать конституцию. Бесплодный Дон-Кихот из Сан-Суси, после долгой борьбы и долгих мук, разрешился от бремени конституцией, которая, по его мысли, должна была обеспечить на веки веков победу феодально-патриархально-самодержавно-бюрократически-поповской реакции. Но он ошибся в своих расчетах. Буржуазия уже достаточно

окрепла для того, чтобы использовать даже эту конституцию в качестве оружия против него самого и всех реакционных классов общества. Как и повсюду, она и в Пруссии начала с отказа в средствах монарху. Король был в отчаянии. Можно сказать, что в первые дни после отказа в кредитах в Пруссии вовсе не было короля: страна находилась в состоянии полнейшей революции, сама этого не зная. Но тут, к счастью, явились 15 млн из России: Фридрих-Вильгельм снова стал королем, буржуазия во всей стране в испуге пала на колени, и грозные тучи революции рассеялись. Прусская буржуазия была на время разбита, но все же она сделала громадный шаг вперед, завоевав себе арену борьбы, дав королю доказательство своей силы и приведя в возбуждение всю страну. Вопрос о том, кому должно принадлежать господство в Пруссии: союзу ли дворянства, бюрократии и попов с королем во главе, или же буржуазии, — поставлен теперь так остро, что он должен быть определенно разрешен в пользу одной или другой стороны. В Соединенном ландтаге была еще возможность соглашения между обеими партиями, теперь же она исчезла. Между ними предстоит теперь борьба на жизнь и смерть. К этому следует еще прибавить, что в момент, когда пишутся эти строки, должны собраться комиссии — эта злосчастная выдумка берлинских конституционных дел мастеров. Комиссии, несомненно, еще больше запутают и без того запутанные правовые вопросы, так что ни один человек уже окончательно не сможет в них разобраться. Эти вопросы сплетутся в Гордиев узел, который сможет быть разрублен только мечом. Таким образом, комиссиям предстоит сделать последние приготовления для *буржуазной* революции в Пруссии.

Мы можем поэтому с полным спокойствием ожидать ее начала. В 1849 г. придется снова созвать Соединенный ландтаг, захочет ли того король, или нет. Мы можем дать его величеству срок до этого момента, но не дальше. Тут уже ему придется уступить свой скипетр и свою знаменитую «неослабленную»¹ корону христианским и еврейским буржуа своего королевства.

Итак, 1847 год был весьма благоприятен для политических дел прусских буржуа, несмотря на их поражение в данный момент. Буржуа и мещане остальных германских государств прекрасно поняли это и проявили живейшую симпатию к своим прусским собратиям, ибо они знают, что победа последних есть их собственная победа.

¹ Намек на тронную речь, произнесенную прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV при открытии Соединенного ландтага: «Унаследовав неослабленную корону, которую я должен и желаю передать своим преемникам также неослабленную . . .» — *Прим. ред.*

Италия показала нам необычайное зрелище того, как человек, занимающий самый реакционный пост во всей Европе, представляющий собою окаменевшую идеологию средневековья, — как римский папа стал во главе либерального движения. Движение это в мгновение ока приобрело могучий размах; оно увлекло за собою австрийского эрцгерцога в Тоскане и предателя Карла, — Альберта Сардинского; оно расшатало устои трона Фердинанда в Неаполе; его волны перекатываются через Ломбардию до Тирольских и Штирийских Альп.

Современное движение в Италии вполне соответствует тому, которое происходило в Пруссии в 1807—1812 гг. Сейчас в Италии, как в свое время в Пруссии, оно имеет две цели: внешнюю независимость и внутренние реформы. Пока не требуют конституции, а добиваются лишь административных реформ; пока — что избегают серьезных конфликтов с правительством для того, чтобы сохранить наибольшее единство перед лицом иноземного засилия. Но каково свойство требуемых реформ и кому они должны пойти на пользу? Прежде всего буржуазии. Печать ставится в более благоприятное положение, бюрократия приспосабливается к интересам буржуазии (напр., сардинские реформы, римская консульта и реорганизация министерств); в местном самоуправлении буржуа получают широкое влияние, а дискреционная власть дворянства и бюрократии подвергается ограничению; буржуазия *получает* в свои руки *оружие* под видом гражданской гвардии (*guardia civica*). До настоящего момента все реформы производятся исключительно в интересах буржуазии, и иначе оно не могло быть. Интересно сравнить с этим прусские реформы наполеоновского периода. Последние носили тот же самый характер, хотя шли значительно дальше во многих отношениях: администрация подчинялась интересам буржуазии, произволу дворянства и бюрократии ставился предел, вводилось городское самоуправление, ландвер (народное ополчение), отменялись крепостные повинности. Как в Пруссии указанного периода, так и сейчас в Италии буржуазия становится, благодаря росту своего богатства, а особенно благодаря возросшему значению промышленности и торговли для жизни всего народа, тем классом, от которого главным образом и зависит освобождение страны от чужеземного господства.

Движение в Италии является, таким образом, совершенно определенным буржуазным движением. Все сочувствующие реформам классы, начиная от князей и дворянства и кончая пифферари и лаццарони, выступают сейчас как буржуа, а папа в данный момент

играет роль первого буржуа Италии. Но все эти классы испытывают жесточайшее разочарование, как только удастся свергнуть австрийское иго. Как только буржуазия справится с внешним врагом, она произведет у себя дома отделение овец от козлиц. И тогда князьям и графам снова придется обращаться с воплями о помощи к Австрии, но уже будет поздно; рабочие же Милана, Флоренции и Неаполя увидят, что *их* работа еще только начинается.

Наконец, *Швейцария*. Впервые за все время своего существования Швейцария заняла определенную позицию в системе европейских государств; впервые она отважилась на решительное действие и обрела смелость выступить не как аггломерат из двадцати двух совершенно чуждых друг другу кантонов, а в качестве федеральной республики. Подавив весьма решительными мерами гражданскую войну, Швейцария обеспечила супрематию центральной власти, иными словами, она централизовалась. Централизация, существующая уже *de facto*, и должна получить свое легальное выражение в предстоящей реформе союзной конституции.

И опять-таки спрашивается, кому на пользу пойдут результаты войны, реформа союза, реорганизация кантонов Зондербунда? Очевидно — победившей партии, той партии, которая одержала верх в отдельных кантонах между 1830 и 1834 гг.: либералам и радикалам, т. е. буржуа и крестьянству. Патрицианская власть прежних имперских городов была свергнута уже в результате июльской революции. Там, где она фактически была впоследствии восстановлена, как, напр., в Берне и в Женеве, произошли революции в 1846 г. Там, где она оставалась неприкосновенной, как в кантоне Базель-город, ее власть была сильно поколеблена в том же году. Феодалное дворянство имелось в Швейцарии в незначительном количестве; там, где оно существовало, главная его сила покоилась на союзе с пастухами альпийских высот. Эта группа представляла собой последних упорнейших и заклятейших врагов буржуазии. На нее опирались реакционные элементы в либеральных кантонах. Она оплела всю Швейцарию сетью реакционного заговора при помощи иезуитов и пиетистов (напр., кантон Ваадт). Она опрокинула все планы буржуазии в Союзном совете (Tagsatzung), она же воспрепятствовала окончательному поражению мещанского патрициата бывших имперских городов.

Но эти последние противники швейцарской буржуазии были окончательно разгромлены в 1846 г.

Швейцарские буржуа имели уже ранее почти во всех кантонах довольно значительную свободу действий в области торговли и

промышленности. Хотя кое-где еще и сохранились цехи, они весьма мало мешали развитию буржуазии. Внутренних таможен, можно сказать, не существовало. Там, где буржуазия успела достигнуть известного уровня развития, политическая власть находилась в ее руках. Но в то время как она преуспевала в отдельных кантонах, служивших ей точкой опоры, ей недоставало самого главного — централизации. Если феодализм, патриархальные порядки и мещанский строй городов успешно развиваются в изолированных провинциях и в отдельных городах, то буржуазия требует для своего развития возможно более широкой территории. Вместо 22 маленьких кантонов ей необходима была большая Швейцария. Суверенность кантонов, бывшая наиболее подходящей политической формой для *старой* Швейцарии, сковывала несносными путами буржуазию. Последняя нуждалась в центральной власти, которая была бы достаточно сильной, чтобы направлять по определенному общему пути законодательство отдельных кантонов и чтобы сглаживать своим влиянием разницу в их государственном устройстве и в законах. Она же должна была устранить остатки феодального, патриархального и мещанского законодательства и энергично отстаивать интересы швейцарской буржуазии во внешних сношениях.

Такую центральную власть буржуазии и удалось себе завоевать.

Но, спрашивается, разве не принимало участия в свержении Зондербунда также и крестьянство? Несомненно, принимало. Что касается крестьян, то они на ближайшее время будут играть ту же служебную роль по отношению к буржуазии, которую они так долго исполняли на пользу мелкого мещанства. Крестьяне будут продолжать служить той физической силой, которую эксплуатирует буржуазия. Их руками последняя будет выигрывать свои битвы. Эти руки будут ткать для буржуазии ситец и ленты; из рядов крестьянства будет рекрутироваться пролетариат. Да и какую другую линию оно могло бы вести? Будучи собственниками, наравне с буржуазией, крестьяне имеют с нею покуда во всех отношениях общие интересы. Все политические мероприятия, которые они способны осуществить, принесут буржуазии еще большую пользу, чем им самим. Но, по сравнению с буржуазией, крестьянство слабо, ибо первая значительно богаче и держит в своих руках рычаг всякой политической власти нашего века — промышленность. Вместе с буржуазией крестьянство может добиться многого, против буржуазии — ничего.

Правда, придет некогда время, когда обедневшая часть крестьянства, чьи соки будут высосаны, присоединится к пролетариату, — а последний к тому времени успеет сильно развиться, —

и они вместе объявят войну буржуазии; но не об этом идет теперь речь.

Сейчас нам достаточно констатировать факт, что изгнание иезуитов и их приверженцев, этих организованных врагов буржуазии, повсеместное введение *гражданского* воспитания вместо религиозного, конфискация государством большинства церковных имуществ, — что все эти реформы прежде всего идут на пользу буржуазии.

Итак, три наиболее выдающихся движения 1847 г. имеют между собою то общее, что все они произошли прежде всего и в большей своей части в интересах буржуазии. Прогрессивная партия была повсюду партией буржуазии.

И действительно, характерным признаком всех этих движений является тот факт, что именно те страны, которые отстали в 1830 г., сделали в прошедшем году первые решительные шаги к достижению уровня, завоеванного другими в 1830 г.; иными словами, в них закрепила свою победу буржуазия.

Итак, мы видели из всего предыдущего, что 1847 год был для буржуазии годом блестящих успехов.

Теперь пойдем далее.

В *Англии* мы имеем новый парламент, который, по словам кавалера Джона Брайта, является наиболее определенным буржуазным парламентом из всех когда-либо существовавших. Сам же Джон Брайт — типичнейший английский буржуа и, следовательно, наилучший авторитет в этом вопросе, какого только можно пожелать. Но буржуа Джон Брайт — это не тот буржуа, который правит Францией или который раздражается патетическими бравадами против Фридриха-Вильгельма IV. В устах Джона Брайта слово буржуа означает фабриканта. В Англии отдельные фракции буржуазии стоят у власти уже с 1688 г.; но для того, чтобы облегчить себе завоевание господствующего положения, они оставили у кормила правления вполне зависимых от них должников — аристократов.

Таким образом, политическая борьба в Англии является, в действительности, борьбой между отдельными группами самой буржуазии — между рантье и фабрикантами. Но фабриканты имеют, благодаря указанной особенности, возможность выдавать ее за борьбу между аристократией и буржуазией, а когда это удобно, — даже за борьбу между аристократией и народом. Фабриканты отнюдь не заинтересованы в том, чтобы сохранить видимость господства за аристократией: им-то лорды, баронеты и сквайры не должны ни копейки. Наоборот, они весьма заинтересованы в том, чтобы уничтожить даже

эту видимость, ибо с нею вместе падает последняя точка опоры для рантье. Эту задачу и выполнит нынешний буржуазный парламент фабрикантов. Он превратит старую Англию, с ее феодальными формами, в более или менее современную страну, организованную по буржуазному. Он приблизит английскую конституцию к французскому или бельгийскому типу и завершит таким образом торжество английской промышленной буржуазии.

И в данном случае мы видим, следовательно, успех буржуазии, ибо победа более передовой группы в ее среде ведет к расширению и усилению владычества буржуазии в целом.

Повидимому, исключение составляет одна *Франция*. Власть, доставшаяся в 1830 г. всей совокупности крупной буржуазии, из года в год все больше и больше сводится к власти богатейшей группы этой крупной буржуазии: рантье и спекулянтов-биржевиков. Последние сумели подчинить себе большую часть крупной буржуазии; меньшинство же, во главе которого стоит часть фабрикантов и судовладельцев, становится все малочисленнее. Это меньшинство теперь объединилось с лишенными избирательного права средними и мелкими буржуа и закрепляет этот союз на банкетах в пользу реформы. Оно окончательно изверилось в возможности добиться участия во власти вместе и с помощью нынешних полноправных избирателей. Поэтому, после долгих колебаний, эта группа решила обещать долю участия в политической власти тому слою буржуазии, который стоит непосредственно на следующей ступени и, в частности, буржуазным идеологам, адвокатам, врачам и т. п. как представляющим наименьшую опасность. Правда, она еще очень далека от реальной возможности выполнить свои обещания.

Таким образом во *Франции* приближается момент начала той борьбы внутри буржуазного класса, которая в *Англии* почти уже закончилась. Разница лишь в том, что во *Франции*, как всегда, положение имеет гораздо более резко очерченный революционный характер. Но такое решительное разделение на два лагеря является тоже прогрессом буржуазного порядка.

В *Бельгии* буржуазия одержала решительную победу при выборах 1847 г.: католическое министерство вынуждено было уйти, и здесь у власти пока также находится либеральная буржуазия.

В *Америке* на наших глазах произошло завоевание Мексики, чему можно только радоваться. Если страна, до того времени исключительно занятая своими внутренними делами, раздираемая на части вечными гражданскими войнами, препятствующими всякому движению вперед, — страна, которой в лучшем случае предстояло стать

промышленным вассалом Англии, — если такая страна насильственно втягивается в общий исторический поток, то в этом также следует видеть прогресс. В интересах развития самой Мексики выгодно, чтобы она в будущем находилась под опекой Соединенных Штатов. В интересах развития всей Америки в целом выгодно, что Соединенные Штаты, благодаря присоединению Калифорнии, получают господство на Тихом океане. Но опять-таки, спрашиваем мы, кто извлечет наибольшую пользу из войны? — Никто как буржуазия. Североамериканцы получают в Калифорнии и Новой Мексике новые области, в которых они смогут производить новый капитал, т. е. создавать новых буржуа и обогащать уже имеющихся, ибо весь капитал, какой производится в наше время, попадает в руки буржуазии. А кому принесет пользу предполагаемое прорытие Техуантепекского перешейка, как не американским судовладельцам? И кто извлечет выгоду из господства на Тихом океане, как не те же судовладельцы? Наконец, кто будет снабжать товарами новых потребителей продуктов промышленности, которые появятся в завоеванных странах, если не американские фабриканты?

Таким образом в Америке буржуазия также сделала крупные успехи; и если ее представители в парламенте стоят в оппозиции к войне, то это доказывает лишь, что они опасаются, как бы эти успехи в некоторых отношениях не обошлись слишком дорого.

Даже в совершенно варварских странах буржуазия делает завоевания. В России промышленность развивается колоссальными шагами и превращает даже русских бояр все более и более в буржуа. Крепостная зависимость подвергается ограничениям в России и в Польше, что означает ослабление дворянства в интересах буржуазии и создание свободного крестьянского класса, в котором буржуазия всюду нуждается. Евреи преследуются, но это делается в интересах оседлых буржуа-христиан, которым странствующие торговцы составляют нежелательную конкуренцию. В Венгрии феодальные землевладельцы все больше и больше превращаются в оптовых торговцев зерном, шерстью и скотом, и их выступления в сейме носят последовательно буржуазный характер. А все эти блестящие успехи «цивилизации» в Турции, Египте, Тунисе, Персии и других варварских странах — в чем ином заключаются они, как не в подготовке условий к расцвету будущей буржуазии? В этих странах исполняется ныне слово пророка: «Готовьте пути господу... Широко раскройте врата и распахните двери мира, чтобы вошел царь славы!» Кто же этот царь славы? Это — буржуа.

Куда мы ни посмотрим, буржуазия делает колоссальные успехи.

Она высоко держит голову и уверенно бросает вызов врагам. Она ждет решительных побед, и ее надежды не будут обмануты. Она собирается перековать весь мир по своей мерке, и на значительной части земной поверхности это ей удастся.

Всем известно, что мы не являемся друзьями буржуазии. Но на этот раз мы ей охотно предоставляем торжествовать. Мы можем отнестись со спокойной улыбкой к высокомерному взгляду, который она бросает сверху вниз — особенно в Германии — на столь ничтожную, новидимому, кучку демократов и коммунистов. Повторяем, мы ничего не имеем против того, чтобы ей удалось повсюду осуществить свои намерения.

Более того. Мы не можем удержаться от иронической усмешки при виде той страшной серьезности, того патетического вдохновения, с которым буржуа почти всюду добиваются осуществления своих задач. Эти господа серьезно думают, что они работают для самих себя. Они достаточно ограничены, чтобы считать, что их победа даст миру его окончательные очертания. А между тем, яснее ясного, что буржуазия повсюду прокладывает путь для нас — демократов и коммунистов; что она добьется лишь максимум нескольких лет торжества, и то беспокойного, чтобы после этого быть свергнутой в свою очередь. Всюду за спиной буржуазии стоит пролетариат. В одних местах он принимает участие в ее борьбе и отчасти разделяет ее иллюзии, как, напр., в Италии и в Швейцарии. В других странах он держится молча в стороне, но под рукою готовится свержение буржуазии, напр. во Франции и Германии. Наконец, в третьих странах, в Англии и Америке, пролетариат находится в открытом восстании против господствующей буржуазии.

Но мы можем пойти еще дальше. Мы можем все это сказать буржуазии, не таясь, можем раскрыть свои карты. Пусть буржуазия знает наперед, что она работает лишь нам на пользу. И все же она, несмотря на это, не сможет прекратить свою борьбу против абсолютной монархии, дворянства и попов. Ей предстоит победить в этой борьбе или погибнуть уже сейчас.

Более того, уже в ближайшее время ей придется обратиться в Германии за помощью именно к нам.

Итак, продолжайте смело вашу борьбу, милостивые государи от капитала! Пока вы нам нужны; кое-где мы нуждаемся даже в вашем господстве. На вашу долю выпадает задача убрать с нашего пути остатки средневековья и абсолютную монархию. Вы должны уничтожить патриархальный строй, должны осуществить централизацию, должны превратить все более или менее неимущие классы в настоя-

щих пролетариев — наших будущих сторонников. При помощи ваших фабрик и торговых связей вы должны создать основу тех материальных средств, в которых пролетариат нуждается для своего освобождения.

В награду за все это вы получите короткий период власти. Вам предоставляется диктовать законы, нежиться в лучах созданной вами славы. Вы можете пировать в королевском зале и взять в жены прекрасную королевскую дочь, но не забывайте одного —

Палач стоит у порога

НАЧАЛО КОНЦА АВСТРИИ.

«Меня и Меттерниха она (Австрия) еще выдержит»,—сказал покойный император Франц. Если Меттерних не хочет, чтобы его повелитель оказался лжецом, то он должен умереть как можно скорее.

Пестрая, но кусочкам унаследованная и наворованная австрийская монархия, эта организованная путаница из десяти языков и наций, эта бессистемная смесь самых противоречивых обычаев и законов, — начинает, наконец, распадаться.

Добрый немецкий бюргер уже много лет усиленно преклоняется перед управителем этой скрипучей государственной машины, трусливым мошенником и убийцей Меттернихом. Талейран, Луи-Филипп и Меттерних, — три весьма посредственные головы, весьма подходящие для нашего посредственного времени, — являются в глазах немецкого бюргера теми тремя богами, которые в течение 30 лет управляют всемирной историей, как кукольным театром на веревочках. Исходя из своего повседневного опыта, честный бюргер усматривает в истории лишь кабацкий заговор и бабью сплетню, только в несколько более широком масштабе.

Несомненно одно: ни для одной страны бурный поток революции и троекратное нашествие Наполеона не прошли так бесследно, как для Австрии. Несомненно также, что ни в одной стране феодализм, патриархальность и рабское мещанство, охраняемые отеческой дубинкой, не сохранились в столь неприкосновенном и полном виде, как в Австрии. Но разве в этом повинен Меттерних?

На чем основаны могущество, стойкость и прочность австрийского императорского дома?

В последней половине средневековья Италия, Франция, Англия, Бельгия, а также северная и западная Германия — все эти страны, одна за другой, вышли из состояния феодального варварства; развилась их промышленность, распространилась торговля, возвысились города, городское население приобрело политический вес. Но одна часть Германии далеко отстала от уровня развития Западной Европы. Буржуазная цивилизация развилась вдоль морских берегов и по течению больших рек. Земли же, лежащие в глубине материка,

и особенно неплодородные и труднопроходимые горные страны, сохранили и варварство, и феодальный строй. В особенности прочно это варварство держалось в южно-германских и в юго-славянских странах, расположенных далеко от моря. Путь к итальянской цивилизации преграждался для них Альпами, к германской — богемскими и моравскими горными цепями; к тому же названные страны имели сомнительное счастье принадлежать к бассейну единственной реакционной реки Европы. Ведь Дунай не только не открывал им пути в цивилизованный мир, а, наоборот, связывал их с областью еще более отсталого варварства.

Когда в Западной Европе прогресс буржуазной цивилизации привел к образованию крупных монархий, внутренние страны верхнего Дуная также вынуждены были объединиться в большое монархическое государство. Этого требовали уже интересы обороны. Здесь, в самом центре Европы, отсталые народы всех наречий и племен соединялись под скипетром Габсбургского дома. Ядром этого конгломерата, отличавшимся сплошным варварством, была Венгрия.

Дунай, Альпы, скалистые уступы богемских гор — вот основы существования австрийского варварства и австрийской монархии.

Если габсбургская династия в течение известного периода времени оказывала поддержку горожанам против дворянства, городам против государей, то объясняется это тем, что лишь при этом условии вообще может существовать крупная монархия. Если впоследствии династия вновь стала оказывать покровительство мелкому мещанству, то лишь потому, что мелкие буржуа во всей остальной Европе стали уже самым реакционным элементом по сравнению с крупной буржуазией. И в том, и в другом случае Габсбурги поддерживали мелких буржуа из-за определенных реакционных расчетов. Только теперь это средство оказывается недействительным.

Таким образом, Австрийский дом был с самого начала представителем варварства, неподвижности и реакции в Европе; его могущество основывалось на ограниченности патриархального строя, забаррикадировавшегося за непроходимыми горами, и на беспримерной грубости варваров. Дюжина народностей, резко отличавшихся друг от друга по своим нравам, характеру и по своим учреждениям, тем не менее крепко держались друг друга в силу общего им всем отвращения к цивилизации.

Поэтому австрийская династия была непобедимой до тех пор, пока сохранялось в неприкосновенности варварство ее подданных. Ей грозила лишь одна опасность — проникновение буржуазной цивилизации в ее владения.

Но эта единственная опасность была зато неотвратима. От буржуазной цивилизации можно было на некоторое время огородиться; в течение некоторого дальнейшего времени ее можно было приспособлять к австрийской некультурности и подчинить последней. Но рано или поздно она все же должна была преодолеть феодальное варварство, и тем самым были бы порваны последние узы, связывавшие воедино разнохарактерные провинции.

В этом и заключалась причина пассивной, колеблющейся, трусливой, бесчестной и коварной австрийской политики. Австрия не может уже попрежнему проявлять явную некультурность и варварство: с каждым годом развития цивилизации она должна делать уступки последней, с каждым годом она становится все менее уверенной в своих собственных подданных. Всякий решительный шаг привел бы к какой-нибудь перемене либо внутри страны, либо у соседей; каждая же перемена явилась бы трещиной в плотине, за которой Австрия с трудом прячется от напирających волн современной цивилизации. Первой жертвой всякого переворота была бы сама австрийская династия, которая на жизнь и на смерть связана с варварством. В 1823 и 1831 гг. Австрия могла еще разгонять при помощи артиллерийских снарядов пьемонтских, неаполитанских и романьольских повстанцев. Но уже в 1846 г. она вынуждена была сама вызвать к жизни в Галиции не развившийся еще революционный элемент — крестьянство. А в 1847 г. Австрия вынуждена была остановить свои войска у Феррары и вступить на путь заговора для овладения Римом. Контр-революционная Австрия прибегает к революционным средствам — несомненное доказательство, что песенка ее спета!

После подавления итальянских инсurreкций в 1831 г. и польской революции 1830 г.; после того как французская буржуазия представила гарантию своего хорошего поведения, император Франц мог отправляться к праотцам; казалось, настало такое подленькое время, для которого был бы хорош и его... выродившийся отпрыск.

От революции империя была, видимо, пока еще обеспечена. Но кто мог ее спасти от *причин* революции?

Пока промышленность сохраняла форму домашнего промысла, пока каждая крестьянская семья или, во всяком случае, каждая отдельная деревня сама производила необходимое ей количество продуктов промышленности, лишь в весьма малой степени прибегая к торговле, до тех пор сама промышленность сохраняла феодальные формы и великолепно подходила к общей обстановке австрийского варварства. До тех пор, пока сама она оставалась на уровне ману-

фаktуры и сельской промышленности, ей приходилось вывозить лишь небольшое количество продуктов изнутри страны за границу; внешняя торговля оставалась весьма скромной, промышленность существовала лишь в некоторых кругах и легко приспособлялась к австрийскому *status quo*. Если даже в Англии и во Франции в период мануфактуры возникла весьма немногочисленная крупная буржуазия, то в слабо населенной и отдаленной Австрии этот период мог создать в лучшем случае скромное среднее сословие, да и то лишь в немногих местах. При ручном труде Австрия была в безопасности.

Но вот были изобретены машины, и машины положили конец ручному труду. Цены продуктов промышленности упали так быстро и так низко, что это привело к гибели сначала мануфактуры, а постепенно даже и старой феодальной домашней промышленности.

Австрия попыталась отгородиться от влияния машин при помощи последовательно выдержанной запретительной системы. Но все было тщетно. Как раз запретительная система привела к вывозу машин в Австрию. В Богемии развилась хлопчатобумажная промышленность, в Ломбардии машинное шелкоткачество, а в самой Вене начало появляться даже машиностроение.

Последствия не заставили себя ждать. Рабочие мануфактур остались без хлеба; все население мануфактурных округов было выбито из рамок привычного образа жизни. Из прежних мелких мещан выработались крупные буржуа, распорядившиеся теперь сотнями рабочих, как некогда их соседи, князья и графы, — сотнями крепостных крестьян. Крепостное крестьянство благодаря гибели старой промышленности потеряло привычные источники существования, а благодаря развитию новой промышленности у них появились новые потребности. Феодальные способы сельского хозяйства и ее организация стали невозможными наряду с современной индустрией. Уничтожение крепостных повинностей стало настоятельной необходимостью; феодальную зависимость крестьян от помещиков нельзя было больше сохранить. Города достигали значительного уровня развития. Цеховые порядки стали стеснительными для потребителей, бесполезными для членов цехов и невыносимыми для промышленников. Пришлось закрывать глаза на существование конкуренции. Положение всех общественных классов изменилось коренным образом. Старые классы все больше и больше отступали на задний план перед обоими новыми классами, буржуазией и пролетариатом, — уменьшился удельный вес сельского хозяйства по сравнению с промышленностью, деревня должна была уступить свои позиции городам.

Таковы были последствия введения машин в отдельных областях Австрии, а особенно в Богемии и Ломбардии. Влияние их сказалось в большей или меньшей степени на всем протяжении монархии; повсюду они подрывали основы прежнего варварства и тем самым почву, на которой строилось могущество Австрийского дома. В 1831 г., в то самое время, когда в Романьи вымуштрованные австрийские солдаты отвечали картечью на возгласы «Viva l'Italia», в Англии были построены первые железные дороги. Подобно машинам и железные дороги стали тотчас же необходимыми для всех европейских стран. Австрия в свою очередь *должна была* их принять по доброй воле или против своей воли. Не желая увеличивать мощь и без того растущей буржуазии, правительство само взялось за их постройку. Но при этом оно попало от Спиллы к Харибде. Если, с одной стороны, ему удалось воспрепятствовать возникновению могущественных акционерных обществ, составленных из буржуа, то оно могло достичь этого лишь путем займов на постройку железных дорог у тех же буржуа, попадая таким образом в зависимость к Ротшильдам, Арнштейнам и Эскелесам, Зина и пр.

Еще в меньшей степени Австрийскому дому удалось уклониться от последствий функционирования железных дорог.

Горные преграды, отделявшие австрийскую монархию от внешнего мира, Богемию от Моравии и Австрии, Австрию от Штирии, Штирию от Иллирии, Иллирию от Ломбардии,— эти преграды перестают существовать при возникновении железных дорог. Гранитные стены, позволявшие каждой провинции сохранять свой особый национальный состав и вести замкнутую местную жизнь, перестают служить преградой. Продукты крупной промышленности, машинного производства, стремительно и почти без всяких издержек на перевозку проникают в отдаленнейшие уголки монархии, разрушают старый ручной труд и пробуждают от сна феодальное варварство.

Торговля провинций между собой, внешняя торговля с цивилизованными странами приобретает невиданное прежде значение. Дунай, текущий в глубь глухих стран, перестает быть артерией монархии; Альпы и Богемский лес как бы перестают существовать; новая артерия ведет от Триеста до Гамбурга, Остенде и Гавра далеко за пределы империи, прорезая стены гор и проникая до отдаленных берегов Северного моря и Атлантического океана. Связь с общими интересами всего государства, более того — с ходом событий внешнего мира, навязывается с неизбежной необходимостью. Провинциальное варварство исчезает. В одних местах прекращается прежняя общность интересов, в других она создается наново. Здесь происходит разде-

ление национальностей, там возникают новые связи между ними; из пестрого конгломерата чуждых друг другу провинций выделяются определенные крупные группы, имеющие общие тенденции и интересы.

«Меня и Меттерниха она еще выдержит». Да, она выдержала даже французскую революцию, Наполеона и июльские бури. Но *пара* она выдержать не может. Пар проложил себе путь сквозь Альпы и Богемский лес, пар лишил Дунай его роли; пар разорвал в клочки австрийское варварство и тем самым вырвал почву из-под ног Габсбургского дома.

Европейская и американская публика имеет в настоящий момент удовольствие видеть, как Меттерних и весь Габсбургский дом раздавливаются между колесами паровой машины, как австрийская монархия разрезается на куски ее собственными локомотивами. Это весьма веселое зрелище. В Италии восстают ее вассалы, а Австрия не смеет пикнуть; чума либерализма охватывает Ломбардию, а Австрия колеблется, топчется на месте и дрожит перед своими собственными подданными. В Швейцарии старейшие из крамольников, восставшие некогда против Австрийского дома, — жители первичных швейцарских кантонов, — отдаются под покровительство Австрии; на них нападают другие, а Австрия немеет от испуга перед смелой фразой Оксенбейна: «Если хотя бы один австрийский солдат вступит на швейцарскую землю, я брошу двадцать тысяч человек в Ломбардию и провозглашу итальянскую республику», а Австрия тщетно умоляет о помощи презираемые ею дворы Мюнхена, Штуттгарта и Карлсруэ! В Богемии сословия отказывают в 50 000 гульденов налога; Австрии они крайне нужны; но войско ей еще более нужно в альпийских землях — и впервые за все время своего существования монархия видит себя вынужденной уступить сословиям и отказаться от 50 тысяч гульденов! В Венгрии в сейме разрабатываются революционные предложения, и не подлежит сомнению, что им обеспечено большинство; Австрия же, которой нужны венгерские гусары в Милане, Модене и Парме, — Австрия сама вносит в сейм революционные предложения, прекрасно зная, что они означают ее смерть! Эта непоколебимая Австрия, этот извечный оплот варварства, не знает, куда ей броситься. Она покрыта неизлечимой сыпью: почешется спереди, а уже зудит свади, почешется свади — зуд является спереди.

Эти гримасы означают конвульсию Австрийского дома.¹

Если старый Меттерних не поторопится последовать за своим честным Францем, то ему, может быть, придется дожить до распада

¹ Непереводимая игра слов: «Und mit diesem possierlichen Kratzen kratzt das Haus Oesterreich ab».

империи, которую он с такими трудами удерживает в целости, до перехода большей ее части во власть буржуа. Ему, быть может, придется пережить неслыханный позор, когда «мещане-портные» или «мещане-бакалейщики» перестанут снимать перед ним шапки в Пратере и будут называть его просто «господин Меттерних». Еще несколько потрясений, еще несколько дорого стоящих военных предприятий — и вся австрийская монархия окажется в мощне Шарля Ротшильда.

Мы ожидаем победы буржуа над австрийской императорской властью с чувством живейшего удовольствия. Если мы чего и желаем, так это того, чтобы сия старая почтенная империя была приобретена с торгов наиболее пошлыми, наиболее грязными, истинно-еврейскими буржуа. Это отвратительное, палочное, опекающее и гнусное правительство заслужило того, чтобы быть побежденным гнуснейшим, пейсатым и скверно пахнущим противником. Г-н Меттерних может быть, однако, уверен в том, что в дальнейшем мы расправимся с его противником так же немилосердно, как этот противник в ближайшем будущем расправится с самим Меттернихом.

Для нас, немцев, падение Австрии будет иметь особое значение. Австрия повинна в том, что мы пользуемся дурной славой угнетателей других наций и наемников реакции во всех странах. Под австрийским флагом немцы держат в рабстве Польшу, Богемию и Италию. Если на всем протяжении от Сиракуз до Триента и от Генуи до Венеции немцев ненавидят как презренных ландкнехтов деспотизма, то этим мы обязаны австрийской монархии. Тот, кому воочию пришлось видеть, какая смертельная ненависть, какая жажда кровавой и совершенно справедливой мести царит в Италии против «тедески», ¹ уже по одному этому должен сам смертельно ненавидеть Австрию и будет с радостью приветствовать падение этого оплота варварства, этого позорища Германии.

Мы имеем все основания надеяться на то, что сами немцы стомстят Австрии за тот позор, которым она покрыла немецкое имя. Мы имеем все основания надеяться, что именно немцы свергнут Австрию и уничтожат препятствия, стоящие на пути к свободе славян и итальянцев. Все уже готово, жертва повергнута и ожидает ножа, который перережет ей горло. Пусть же немцы на этот раз не упустят момента, пусть у них хватит смелости произнести то слово, которого не осмелился громко сказать сам Наполеон: «La dynastie de Habsbourg a cessé de regner». ²

¹ немцев. ² «Династия Габсбургов более не царствует!»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ГАЗЕТЕ «RIFORMA».

Газета «Riforma» из Лукки отвечает на одну из тех известных подлых статей, которые «Аугсбургская газета» обыкновенно печатает по приказанию венской придворной канцелярии.

Гнусная лехская газета не только превозносила до небес верность 518 000 австрийских солдат их безмозглому Фердинанду, но утверждала еще, что все эти солдаты — богемцы, поляки, словаки, гайдуки, валахи, венгры, итальянцы и т. д. — мечтают о единстве Германии и готовы отдать за это единство свою жизнь, *если только на то будет воля императора!*

Как будто как раз это не является несчастьем, что Германия, пока существует Австрия, должна рисковать тем, что ее единство защищается гайдуками, кроатами и валахами, как будто, пока жива Австрия, единство Германии является чем-то другим, чем единством Германии с кроатами, валахами, мадьярами и итальянцами!

«Riforma» очень удачно отвечает «Всеобщей газете» (der All-Gemeinen¹) на ее лживое утверждение, будто Австрия защищает в Ломбардии немецкие национальные интересы, и заканчивает призывом к немцам, проводя параллель между итальянским движением 1848 г. и немецкими освободительными войнами 1813 и 1815 гг.

«Riforma», очевидно, думала сделать этим комплимент немцам; в противном случае она не стала бы, против своего искреннейшего убеждения, сравнивать прогрессивное современное итальянское движение именно с самыми реакционными войнами, которым Италия как раз обязана своим порабощением Австрии, которым Германия обязана тем, что в ней вновь, в пределах возможного, восстановлены хаос, раздробленность и тирания, и которым вся Европа обязана самыми низкими договорами.

«Riforma» может нам поверить: Германия прекрасно осведомлена о характере этих освободительных войн как по результатам этих

¹ Непереводаемая игра слов: Allgemeine — Всеобщая, All-Gemeine — Всеобщая. — Прим. ред.

войн, так и по бесславному концу, который постиг героев этой славной эпохи. Только продажные правительственные газеты могут еще напыщенно восхвалять это бессмысленное время; общество смеется над ним, и даже железный крест краснеет от стыда.

Именно эти газеты, именно эти отъявленные французеды 1813 г. в настоящее время поднимают такой же вой против итальянцев, как тогда против французов, поют хвалебные гимны христианско-германской Австрии и проповедуют крестовый поход против романского коварства и романской пустоты, — ибо итальянцы ведь такие же романцы, как и французы!

Если итальянцы хотят иметь пример того, на какое они могут рассчитывать участие со стороны грубых болтунов освободительной эпохи, какое представление имеют эти рыжие фанатики об итальянской нации, то мы приведем им известное стихотворение А.-А.-Л. Фоллена:

Пусть прославляют край, где мандолины
С гитарами звенят и апельсины
Сверкают сквозь густую сеть листья;
А мне немецкой сливы мил багрянец
И яблока борсдорфского румянец —

и т. д. в том же роде — поэтический транс вечно трезвого человека. Затем идут самые забавные представления о бандитах, кинжалах, огнедышащих горах, романском коварстве, неверности итальянских женщин, клопах, скорпионах, ядах, змеях, убийцах из-за угла и т. д., и т. д.; все это добродетельный любитель слив видит на каждом шагу на итальянских дорогах. В заключение мечтательный филистер благодарит своего бога за то, что он находится в стране любви и дружбы, в стране, где происходят побоища стульями, в стране голубоглазых, верных пасторских дочерей, в стране честности и добродушия, одним словом — в стране немецкой верности. Такие нелепые фантастические представления об Италии, которой они, конечно, никогда не видали, имеют герои 1813 г. «Riforma» и деятели итальянского движения вообще могут поверить: общественное мнение в Германии решительно на стороне итальянцев. Немецкий народ так же заинтересован в падении Австрии, как и итальянский. Он с радостью приветствует каждый успех итальянцев, и мы надеемся, что в надлежащий момент он будет участвовать на поле сражения, чтобы раз навсегда положить конец всему австрийскому великолепию.

Б. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

РЕЧИ ПО ПОЛЬСКОМУ ВОПРОСУ

(22 ФЕВРАЛЯ 1848 Г.)

РЕЧЬ МАРКСА.

Господа, есть в истории поразительные аналогии. Якобинец 1793 г. стал коммунистом наших дней. В 1793 г., когда Россия, Австрия, Пруссия разделили между собой Польшу, эти три державы ссылались на конституцию 1791 г., которая была по общему соглашению отвергнута за ее якобы якобинские принципы.

Что же провозглашала польская конституция 1791 г.? Не что иное, как конституционную монархию: законодательная власть в руках народных представителей; свобода печати, свобода совести, публичность судов, отмена крепостного права и т. д. И все это тогда называлось чистейшим якобинством! Такова, вы видите, господа, ирония истории. Якобинство тех времен теперь, как либерализм, стало чем-то как нельзя более умеренным.

Три державы шли с веком наравне. В 1848 г., когда, присоединив Краков к Австрии, они уничтожили последние остатки польской национальности, они стали называть коммунизмом все то, что некогда именовалось якобинством.

Что же такое коммунизм краковской революции? Является ли она коммунистической потому, что имела желание восстановить польскую национальность? С таким же основанием можно было бы сказать, что война европейской коалиции против Наполеона за спасение национальностей была коммунистической войной и что Венский конгресс состоял из коронованных коммунистов. Или, быть может, краковская революция являлась коммунистической потому, что она стремилась к установлению демократического правительства? Но никто ведь не будет приписывать гражданам миллионерам Берна и Нью-Йорка коммунистических поползновений.

Коммунизм отрицает необходимость существования классов; он хочет упразднить всякий класс, самое классовое различие. А краковские революционеры хотели устранить лишь политическое различие классов; различным классам они хотели дать одинаковые права.

В каком же отношении краковская революция является, наконец, коммунистической?

Не потому ли, может быть, что она стремилась разбить цепи феодализма, освободить крепостную собственность и превратить ее в собственность свободную, современную?

Если бы французским собственникам сказали: «Знаете ли вы, чего хотят польские демократы? Польские демократы хотят ввести у себя ту форму собственности, какая уже существует у вас», — то французские собственники ответили бы: «Они поступают очень хорошо». Но давайте вместе с г-ном Гизо скажем французским собственникам: «Поляки хотят упразднить собственность, которую вы установили путем революции в 1789 г. и которая у вас существует еще и сейчас». «Как! — закричат они, — значит это революционеры, коммунисты! Надо раздавить этих гадов». Упразднение цехов, корпораций, введение свободной конкуренции называется теперь в Швеции *коммунизмом*. «Journal des Débats» рассуждает лучше: упразднить доход, который дает право подкупа двумстам тысячам избирателей, это значит уничтожить источник доходов, разрушить приобретенную собственность, это значит быть коммунистом. Без сомнения, краковская революция также хотела упразднить один из видов собственности. Но какой же именно? Тот, который нельзя было бы уничтожить в остальной Европе, так же как нельзя уничтожить *Sonderbund* в Швейцарии, — и того, и другого здесь больше не найти.

Никто не станет отрицать, что в Польше политический вопрос связан с социальным. Во все времена они неотделимы друг от друга.

Впрочем, спросите лучше у реакционеров! В эпоху реставрации сражались ли они только с политическим либерализмом и со собственным ему вольтерьянством?

Один очень известный реакционный писатель открыто признал, что в конечном счете самая высокая метафизика какого-нибудь де-Мэстра или Бональда сводилась к вопросу денег, а всякий вопрос денег не является ли вопросом социальным? Деятели реставрации не скрывали, что для того, чтобы вернуться к правильной политике, следует вернуть хорошую собственность, собственность феодальную, собственность моральную. Все знают, что монархическая преданность не может обойтись без десятины и барщины.

Оглянемся назад. В 1789 г. политический вопрос о правах человека заключал в себе социальный вопрос о свободной конкуренции.

А что же происходит в Англии? Во всех вопросах, начиная с билля о реформе (*Reformbill*) вплоть до отмены хлебных законов, боролись ли политические партии за что-либо другое, чем за изме-

нение в имущественных отношениях, из-за вопросов собственности, вопросов социальных?

А здесь, в самой Бельгии, борьба либерализма и католицизма не является ли борьбой промышленного капитала и крупной земельной собственности?

А не являются ли те политические вопросы, которые дебатировались в течение семнадцати лет, в сущности вопросами социальными?

Итак, какова бы ни была точка зрения, на которую вы станете, либеральная ли, радикальная, или даже аристократическая, как могли бы вы после этого упрекнуть краковскую революцию за то, что она связывала вопрос социальный с политическим?

Люди, которые стояли во главе краковского революционного движения, имели глубокое убеждение в том, что только демократическая Польша могла быть независимой и что польская демократия невозможна без упразднения феодальных прав, без аграрного движения, которое превратило бы крепостных крестьян в свободных собственников, собственников современных.

Поставьте на место русского самодержца польских аристократов, и вы натурализуете деспотизм. Точно так же немцы в их борьбе с иностранцами обменяли одного Наполеона на тридцать шесть Меттернихов.

Если над польским помещиком не будет тяготеть русский помещик, над польским крестьянином тем не менее будет помещик, но помещик свободный, а не порабощенный. Это политическое освобождение ничего не изменило бы в его социальном положении.

Краковская революция дала Европе славный пример, отождествив национальное дело с делом демократии и с освобождением угнетенного класса.

Хотя эта революция и была на время задушена кровавыми руками наемных убийц, она воскресает теперь со славой и триумфом в Швейцарии и Италии. Она нашла подтверждение своих принципов в Ирландии, где узко-национальная партия сошла в могилу вместе с О'Коннелем и где новая национальная партия является прежде всего партией реформ, демократической партией.

Польша снова проявила инициативу, но эта Польша уже не феодальная, а демократическая Польша, и с этого момента ее освобождение становится вопросом чести для всех демократов Европы.

РЕЧЬ ЭНГЕЛЬСА.

Господа, то восстание, годовщину которого мы празднуем сегодня, не удалось. После нескольких дней героического сопротивления Краков был взят, и кровавый призрак Польши, на мгновение представший пред ее убийцами, вернулся в могилу.

Краковская революция окончилась поражением, весьма при-
скорбным поражением. Воздадим последние почести павшим героям, пожалеем об их неудаче, проявим наше сочувствие к 20 миллионам поляков, порабощение которых упрочено этой неудачей.

Но, господа, разве это все то, что мы должны сделать? Разве достаточно пролить слезу на могиле несчастной страны и поклясться в непримиримой, но до сих пор бессильной ненависти к ее угнетателям?

Нет, господа! Годовщина краковского восстания есть не только день траура, это для нас, демократов, день праздника, так как в самом поражении заключается победа, плоды которой сохранились для нас, между тем как результаты поражения лишь временны.

Эта победа есть победа молодой демократической Польши над старой аристократической Польшей.

Да, последней борьбе Польши против ее чужеземных поработителей предшествовала скрытая, тайная, но решительная борьба в недрах самой Польши, борьба угнетаемых поляков против поляков-угнетателей, борьба демократии против польской аристократии.

Сравните 1830 и 1846 гг., сравните Варшаву и Краков. В 1830 г. господствующий класс в Польше оказался настолько же эгоистическим, ограниченным и трусливым в законодательном собрании, насколько самоотверженным, полным энтузиазма и мужественным он был на поле битвы.

Чего хотела польская аристократия в 1830 г.? Отстоять приобретенные ею права от посягательств со стороны императора. Она ограничивала восстание той небольшой территорией, которую Венскому конгрессу угодно было назвать Царством Польским; она сдерживала порыв, обнаруживавшийся в других польских областях;

она оставляла неприкосновенным рабство, благодаря которому крестьяне опускаются до положения скота, унижительное положение евреев. Если во время восстания аристократия была вынуждена сделать уступки народу, то она сделала их только тогда, когда было уже слишком поздно, когда восстание уже было обречено на гибель.

Скажем прямо: восстание 1830 г. не было ни национальной революцией (оно исключало три четверти Польши), ни социальной или политической революцией; оно ничего не изменяло во внутреннем положении народа; это была консервативная революция.

Но в недрах этой консервативной революции, в самом национальном правительстве нашелся человек, который резко нападал на узость взглядов господствующего класса. Он предложил действительно революционные меры, смелость которых устрасила аристократов сейма. Призывая к оружию всю старую Польшу, обращая таким образом войну за независимость Польши в европейскую войну, предоставляя гражданские права евреям и крестьянам, наделяя последних землей, восстанавливая Польшу на основах демократии и равенства, он хотел превратить национальную борьбу в борьбу за свободу, он хотел отождествления интересов всех народов с задачами польского народа. Нужно ли назвать того гениального человека, который задумал этот столь обширный и в то же время столь простой план? Это был Лелевель.

В 1830 г. аристократическое большинство в своем корыстном ослеплении постоянно отвергало эти предложения. Но те же самые принципы, продуманные и выясненные благодаря испытаниям, пережитым во время пятнадцатилетнего порабощения, были формулированы на знамени краковского восстания. Ведь в Кракове уже не оказывалось людей, которым пришлось бы много потерять, не было аристократов, все принятые там меры отличались тою демократическою, я сказал бы почти пролетарскою смелостью, которой нечего терять, кроме нищеты, и которой предстоит приобрести целое отечество, целый мир. Там не было колебаний, не было нерешительности: нападали сразу на три державы, провозглашали свободу крестьян, аграрную реформу, предоставление евреям гражданских прав, нисколько не смущаясь тем, что это могло бы задеть те или иные аристократические интересы.

Краковская революция не требовала ни восстановления старой Польши, ни сохранения тех старинных польских учреждений, которые не были уничтожены иностранными правительствами; она не была ни реакционна, ни консервативна.

Нет, она была еще более враждебна по отношению к самой Польше, чем по отношению к ее иностранным угнетателям, — враждебна по отношению к старой варварской, феодальной, аристократической Польше, в основе которой лежало порабощение большинства народа. Вовсе не желая восстановления этой Польши, она желала окончательно разрушить ее и создать на ее развалинах с помощью совершенно нового класса, с помощью большинства народа, новую, современную, цивилизованную, демократическую Польшу, достойную XIX века, такую Польшу, которая в самом деле являлась бы передовым стражем цивилизации.

Различие между 1830 и 1846 г.; огромный прогресс, совершившийся в недрах самой несчастной, окровавленной, растерзанной Польши; полное обособление польской аристократии от польского народа и ее присоединение к угнетателям отечества; бесповоротный переход польского народа на сторону демократии; наконец, появление в Польше такой же борьбы классов, этой основной причины всего социального процесса, как и здесь, — вот в чем заключалась победа демократии, отмеченная краковской революцией, вот в чем заключался результат, который еще принесет плоды, когда поражение восставших будет отомщено.

Да, господа, благодаря краковскому восстанию польское дело обратилось из национального дела, которым оно было до тех пор, в дело всех народов; прежде всего оно вызывало сочувствие демократов, и с тех пор они стали заинтересованы в его успехе. До 1846 г. мы должны были мстить за преступление; с этого момента мы должны поддерживать союзников и мы сделаем это.

И прежде всего наша Германия должна радоваться этой вспышке демократического движения в Польше. Мы сами накануне совершения демократической революции; нам придется бороться против варварских орд Австрии и России. До 1846 г. мы могли сомневаться относительно того, на чью сторону станет Польша в случае демократической революции в Германии. Краковская революция устранила всякое сомнение. Отныне немецкий и польский народы навсегда стали союзниками. У нас одни и те же враги, одни и те же притеснители, потому что русское правительство оказывает такое же давление на нас, как и на поляков. Первым условием освобождения Германии и Польши является переворот, который изменил бы нынешнее политическое состояние Германии, вызвал бы падение Пруссии и Австрии, оттеснение России за Днестр и за Двину.

Итак, союз этих двух наций не является ни прекрасной мечтой, ни соблазнительной иллюзией; нет, господа, этот союз оказывается

неизбежной необходимостью, вытекающей из общих интересов обеих наций, и он стал необходим благодаря краковской революции. Немецкий народ, который до сих пор проявлял себя почти исключительно в словах, поскольку дело шло о нем самом, проявит себя в действиях в интересах своих польских собратьев; и подобно тому как мы, присутствующие здесь немецкие демократы, протягиваем руку польским демократам, весь немецкий народ отпразднует свой союз с польским народом на поле первой битвы, в которой они совместными силами одолеют своих общих угнетателей.

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В «RÉFORME»

Ф. ЭНГЕЛЬС. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ I, II, III.
К. МАРКС. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ IV.

I

Прошло уже около двух лет, как рабочие-чартисты основали ассоциацию, целью которой является покупка земель и их распределение в виде маленьких ферм между своими членами.

Надеялись этим способом уменьшить чрезмерную конкуренцию, которую создают рабочие мануфактур друг другу, устранив с рынка труда часть этих рабочих с тем, чтобы создать совершенно новый и, по самому существу своему, демократический класс мелких земледельцев.

Проект этот, автором которого является не кто иной, как сам Фергус О'Коннор, имел такой успех, что *Земельное общество чартистов* уже насчитывает в своих рядах от двух до трехсот тысяч членов, располагает капиталом в шестьдесят тысяч фунтов стерлингов (миллион с половиной франков), а поступления, сведения о которых публикуются в «Northern Star», превосходят 2 500 фунтов стерлингов в неделю. Наконец, общество, о котором позднее я предполагаю дать вам более подробный отчет, стало проводить такие мероприятия, что вызвало беспокойство земельной аристократии, ибо очевидно, что это движение, если пропаганда будет продолжаться в тех же размерах, как она велась до сих пор, *завершится тем, что превратится в национальную агитацию за захват всех земель страны народом.* Буржуазия теперь более не находит, что общество это отвечает ее вкусу. *В ее глазах общество есть рычаг в руках народа, который позволит ему освободиться, не нуждаясь в помощи среднего класса.* В особенности это относится к мелкой буржуазии, более или менее либеральной, которая относится к Земельному обществу весьма недоброжелательно, так как она уже находит, что чартисты стали гораздо более независимыми от ее поддержки, чем это было до основания ассоциации, тем более, что сами эти радикалы, *неспособные уяснить себе тот индифферентизм, какой проявляет к ним народ и который является неизбежным следствием их собственной вялости (tièdeur),* настаивают на непрерывном наступлении на г-на О'Коннора как на единственное препятствие к объединению чартистской и

радикальной партий. Достаточно было того, что организация была делом г-на О'Коннора, чтобы навлечь на нее всю ненависть сколько-нибудь радикальных буржуа. Сперва они игнорировали общество; когда же заговор молчания стал уже невозможен, они пытались доказать, что оно было организовано таким образом, что все должно неизбежно кончиться самым скандальным банкротством; наконец, когда и это средство не смогло помешать процветанию общества, они вернулись к той тактике, которую они не переставали применять, и всегда без малейшего успеха, против г-на О'Коннора вот уже в течение десяти лет.

Они старались объявить под подозрением его характер, оспорить его личную незаинтересованность, свести на-нет его право, на что он претендовал, называть себя неподкупным и не состоящим на жалованьи у рабочих заведующим делами общества. Как только г-н О'Коннор, некоторое время тому назад, опубликовал свой годовой отчет, шесть газет открыли против него поход. Это были: «Weekly Dispatch», «Globe», «Non Conformist», «Manchester Examiner», «Lloyds Weekly Newspaper» и «Nottingham Mercury». Они обвиняли г-на О'Коннора в самых бесстыдных кражах и хищениях, они пытались доказать или сделать невероятными цифровые данные самого отчета. Далеко не довольствуясь этим, они стали копаться в личной жизни знаменитого агитатора: целые горы обвинений, одно тяжелее другого, возводились на него, и противники его могли думать, что он будет подавлен ими.

Но О'Коннор, который в течение десяти лет не прекращал борьбы с так называемой радикальной прессой, не согнулся под тяжестью этих клеветнических нападков. Он опубликовал в «Northern Star» этого месяца ответ шести газетам. Этот ответ,—шедевр полемического искусства, напоминающий лучшие памфлеты Виллиама Коббета,—отметал обвинение за обвинением и, переходя в свою очередь в наступление, направлял против шести редакторов свои опасные атаки, полные великолепного презрения. Этого было вполне достаточно, чтобы оправдать О'Коннора в глазах народа. В «Northern Star» от 30 сего месяца приводится итог голосования доверия О'Коннору, проведенного на открытых собраниях чартистов более чем пятидесяти местных организаций. Но О'Коннор хотел дать своим противникам случай напасть на него перед всем народом. Он потребовал, чтобы они явились поддержать свои обвинения на открытом собрании в Манчестере, Ноттингэме.

Никто из них этого не сделал. В Манчестере О'Коннор говорил в продолжение четырех часов перед более чем 10 000 людей,

которые покрыли его речь громом аплодисментов и единодушно подтвердили доверие, которое они питали к нему. Толпа была столь велика что помимо собрания, где О'Коннор вел свою личную защиту, он должен был еще выступить с речью на площади перед толпой в десять или пятнадцать тысяч человек, которые не могли попасть в зал, где многочисленные ораторы произносили свои речи.

Митинги закончились; О'Коннор сообщил, что к нему только-что поступили списки записавшихся в члены *Земельного общества*, вместе со взносами, и что сумма, им полученная за этот вечер, превысила тысячу фунтов стерлингов (25 000 франков).

В Ноттингэме, где О'Коннор созвал одно из самых громадных собраний, которые когда-либо имели здесь место, энтузиазм, вызванный его речью, был такой же.

По меньшей мере это уже в сотый раз г-н О'Коннор столь блестяще торжествовал над клеветами буржуазной прессы. Невозмутимый среди всех нападков, неутомимый патриот идет своей дорогой и единодушное доверие к нему английского народа есть лучшее доказательство его смелости, его энергии и неподкупности.

II.

«В своем письме третьего дня я старался защищать чартистов и их вождя, Фергуса О'Коннора, от нападков газет радикальной буржуазии. Сегодня я могу к моему величайшему удовлетворению сообщить вам факт, который подтверждает то, что я заранее предполагал о характере обеих партий. Вы будете иметь возможность сами судить, на чьей стороне должны быть симпатии французской демократии: на стороне ли чартистов, искренних демократов без всякой задней мысли, или на стороне буржуазных радикалов, которые так тщательно избегают даже самых слов *народная хартия, всеобщее избирательное право* и ограничиваются тем, что заявляют себя сторонниками *полного избирательного права*.

В прошлом месяце в Лондоне состоялся банкет, чтобы отпраздновать победу демократов на последних выборах. Были приглашены восемнадцать радикальных депутатов, но так как инициатива этого банкета принадлежала чартистам, то все эти господа отсутствовали, за исключением О'Коннора. Поведение радикалов, как видим, дает возможность предсказать, как радикалы будут верны своим обязательствам, данным ими во время последних выборов.

На банкете обошлись без них, тем более, что они послали одного из своих достойных представителей, доктора Эпса, робкого человека, реформатора в мелочах, снисходительного ко всем, кроме активных и энергичных людей, разделяющих наши взгляды; это буржуазный филантроп, утверждающий, что он горит желанием освободить народ, но не желающий, чтобы народ освободился без него; словом, это достойный приверженец буржуазного радикализма.

Доктор Эпс провозгласил первый тост за суверенитет народа, но общий холодный тон этого тоста, несмотря на несколько более горячих фраз, неоднократно вызывал неудовольствие со стороны собрания.

«Я не думаю, — сказал он, — чтобы посредством революции можно было добиться суверенитета народа. Французы боролись три дня; у них украли суверенитет нации. Я не думаю также, чтобы его можно

было добиться большими речами. Те, которые меньше всего говорят, больше всего делают. Я не люблю людей, которые много шумят; не громкими словами делаются большие дела».

Эти косвенные выпады против чартистов были встречены многочисленными проявлениями неодобрения. Да иначе и не могло быть, в особенности, когда доктор Эппс прибавил следующие слова:

«Буржуазию оклеветали перед рабочими, как будто буржуазия не является именно тем классом, который один только и может добыть политические права для рабочих! (Нет! нет!) Нет? Разве не буржуа являются избирателями? А разве не избиратели одни только и могут дать избирательное право тем, которые его не имеют? Есть ли среди вас кто-нибудь, кто не сделался бы буржуа, если бы мог? А если бы рабочие отказались от кабаков и табаку, у них оставались бы деньги, чтобы поддерживать свою политическую агитацию, и у них была бы сила, которая способствовала бы их освобождению и т. д., и т. д.»...

Таковы речи тех господ, которые отталкивают О'Коннора и чартистов!

Ораторы, выступавшие после г-на Эппса, блестяще опровергли, при многочисленных аплодисментах собрания, странные доктрины радикального доктора.

Г-н Мак Грат, член исполнительного комитета ассоциации чартистов, напомнил, что народ не должен доверять буржуа и что он собственными силами должен завоевать свои права: не соответствует достоинству народа вымаливать то, что ему принадлежит.

Г-н Джонс напомнил собранию, что буржуазия всегда забывала народ, а теперь, сказал он, видя успехи демократии, буржуазия хочет при ее помощи ниспровергнуть земельную аристократию, чтобы потом, как только она достигнет преследуемой ею цели, раздавить демократов.

Г-н О'Коннор, отвечая г-ну Эппсу, еще более прямо спросил его: кто, если не буржуазия, разорил страну громадными долгами? Кто, если не буржуазия, лишил рабочих их политических и социальных прав? Кто, если не те семнадцать почтенных буржуа, которым демократы так неудачно отдали свои голоса, сегодня же вечером отказались ответить на приглашение народа? Нет, нет, капитал никогда не является представителем труда! Скорее будет заключен мир между тигром и ягненком, чем капиталистов и рабочих будут объединять одни и те же интересы и одни и те же чувства!

Г-н Гарни, редактор «Northern Star» («Полярной звезды»), провозгласил последний тост: *«За наших братьев, демократов всех стран! За успех их усилий для установления свободы и равенства!»* Короли,

аристократы, священники, капиталисты всех стран мира, сказал он, объединились между собой. Пусть же демократы всех стран мира последуют этому примеру! Везде демократия быстро идет вперед. Во Франции одни банкеты в пользу избирательной реформы следуют за другими, и движение принимает такие размеры, что оно должно привести к благоприятному результату. Будем надеяться, что на этот раз массы извлекут пользу из этой агитации; что реформа, завоеванная французами, будет лучше той, которую мы получили в 1831 г.

До тех пор, пока весь суверенитет не принадлежит нации, нет истинной реформы; но до тех пор, пока принципы конституции 1793 г. не будут осуществлены, не будет суверенитета нации.

Г-н Гарни затем нарисовал картину успехов демократии в Германии, в Италии, в Швейцарии и закончил с своей стороны осуждением в самых сильных выражениях тех странных доктрин, которые развивал г-н Эппс относительно прав буржуазии».

III.

Открытие недавно избранного парламента, насчитывающего среди своих членов выдающихся представителей народной партии, не могло не вызвать сильного возбуждения в рядах демократии. Местные организации чартистов везде реорганизируются; число митингов увеличивается; на них предлагаются и обсуждаются самые разнообразные способы действия. Исполнительный комитет ассоциации чартистов взял на себя руководство этим движением, наметив в адресе к британской демократии план кампании, которым партия будет руководиться во время настоящей сессии.

«Через несколько дней, — сказано там, — соберется собрание, которое открыто осмеливается называть себя собранием общин Англии. Через несколько дней это собрание, избранное одним классом общества, начнет свою незаконную и гнусную деятельность, чтобы поддерживать, в ущерб народу, интересы этого класса.

«Необходимо, чтобы народ с самого начала выразил протест против законодательных функций, захваченных этим собранием. Вы, чартисты Соединенного королевства, имеете возможность сделать это, и вы обязаны это сделать. Мы поэтому предлагаем вам новую национальную петицию о народной хартии. Покройте ее миллионами ваших подписей, постарайтесь, чтобы мы могли ее представить как выражение воли нации, как торжественный протест народа против всякого закона, изданного без согласия народа, — наконец, как *билль* о восстановлении суверенитета нации, украденного столько веков тому назад.

«Но одна только петиция не может, однако, удовлетворить требований момента. Мы, правда, завоевали одно место в законодательном собрании г-ну О'Коннору. Демократические депутаты встретят в нем преданного и деятельного руководителя. Но необходимо, чтобы О'Коннор встретил поддержку в *давлении извне*, а это давление извне, это сильное и внушительное общественное мнение должны создать именно вы. Везде секции нашей ассоциации должны быть реорганизованы; все прежние члены должны вступить в наши

ряды; везде следует устраивать митинги; везде хартия должна быть подвергнута обсуждению; везде следует делать сборы для увеличения нашего фонда. Будьте деятельны, проявите традиционную английскую энергию, и начинающаяся теперь кампания будет самой славной из всех кампаний, которые мы вели для победы демократии».

Общество братских демократов, составленное из демократов почти всех европейских наций, также открыто и целиком присоединилось к агитации чартистов. Оно приняло следующую резолюцию:

«Принимая во внимание, что английский народ лишь постольку в состоянии будет надлежащим образом поддерживать борьбу демократии в других странах, поскольку он завоюет для себя демократическое управление;

«что наше общество, основанное для поддержки воинствующей демократии во всех странах, обязано поддержать усилия английских демократов добиться избирательной реформы на основе хартии, —

«общество братских демократов обязуется всеми силами поддерживать агитацию за народную хартию».

Это братское общество, которое насчитывает среди своих членов самых выдающихся демократов, как английских, так и иностранных, имеющее свое постоянное местопребывание в Лондоне, с каждым днем приобретает все большее значение. Оно так разрослось, что лондонские либералы нашли полезным противопоставить ему буржуазную *интернациональную лигу*, руководимую крупнейшими парламентскими деятелями *free trade* (свободной торговли). Эта новая ассоциация, во главе которой стоят г. д-р Боуринг, полковник Томпсон и другие поборники свободы торговли, ставит себе исключительную цель пропаганды свободы торговли среди иностранцев под прикрытием филантропических и либеральных фраз. Но она, кажется, не будет иметь большого успеха. За шесть месяцев своего существования она почти ничего не сделала, между тем как братские демократы открыто высказались против всякого акта угнетения с чьей бы то ни было стороны. И демократия, — как английская, так и иностранная, — находящаяся в Лондоне, присоединилась к братским демократам, заявляя в то же самое время, что она не даст себя эксплуатировать в интересах фритредерских фабрикантов Англии.

IV.

Редактору газеты „Réforme“.

Господин редактор!

В этот момент бельгийское правительство целиком перешло на сторону политики Священного союза. Его реакционные неистовства падают с неслыханной жестокостью на немецких демократов. Если бы мы не были так возмущены преследованиями, специальным объектом которых мы являемся, то весело рассмеялись бы над глупостями, которые выделяет министерство Рожье, обвиняя нескольких немцев в желании учредить в Бельгии республику, вопреки желанию бельгийского населения. Но при тех особенных обстоятельствах, о которых мы говорим, гнусное берет верх над смешным.

Прежде всего, господин редактор, необходимо знать, что все брюссельские газеты редактируются французами, которые в большинстве бежали из Франции, чтобы избежать позорного наказания, угрожавшего им на родине. Эти французы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы защищать независимость Бельгии, которую они предали в 1833 г. Король, министры и их приближенные пользуются подобного рода листками, чтобы создать впечатление, что бельгийская революция в республиканском смысле будет полной противоположностью «*Franquillnerie*»¹ и что вся демократическая агитация, которая наблюдается сейчас в Бельгии, провоцируется только экзальтированными немцами.

Немцы абсолютно не отрицают, что они открыто объединены с бельгийскими демократами, но они это сделали без всякой экзальтации. В глазах королевского прокурора это, однако, было возбуждением рабочих против буржуа, это было выражением недоверия немцев королю бельгийцев, которого они так любят, это было открытием дверей Бельгии для французского завоевания.

После того как я получил 4 марта, в пять часов вечера, приказ покинуть Бельгийское королевство в 24 часа, я в ту же ночь занялся приготовлениями к отъезду, как вдруг комиссар полиции, сопрово-

¹ Это слово означает на фламандском жаргоне французов.

ждаемый десятком муниципальных гвардейцев, проник в мою квартиру, обыскал весь дом и закончил моим арестом под предлогом, что я не имею документов. Не говоря уже о находившихся в полном порядке документах, которые г. Дюшатель мне вручил, высылая меня из Франции, я держал в руке паспорт для выезда, предоставленный мне Бельгией всего только несколько часов тому назад.

Я не стал бы вам говорить о моем аресте и о грубостях, которым я подвергся, если бы они не были связаны с обстоятельством, которое с трудом можно понять даже в Австрии.

Непосредственно после моего ареста жена моя отправилась к г. Жоттрану, председателю Бельгийского демократического союза, чтобы попросить его принять необходимые меры. Вернувшись домой, она встретила у своей двери муниципального сержанта, который ей сказал с изысканной вежливостью, что если она хочет говорить с г. Марксом, то может следовать за ним. Моя жена охотно приняла это предложение. Ее провели в полицейское бюро, и комиссар объявил ей прежде всего, что Маркса здесь не было; после он грубо спросил ее, кто она, что она собиралась делать у г. Жоттрана и имеет ли она с собой документы. Бельгийский демократ Жиго, который провожал мою жену в полицейское бюро вместе с муниципальным сержантом, возмущаясь глупыми и грубыми вопросами этого комиссара, был вынужден к молчанию гвардейцами, которые схватили его и бросили в тюрьму. Под предлогом бродяжничества моя жена была уведена в тюрьму «Hôtel de ville» и заперта вместе с проститутками в темной комнате. В 11 часов утра она была переведена среди белого дня под конвоем жандармов в камеру судебного следователя. В течение двух часов она была заключена в карцере, несмотря на настоятельные протесты, которые раздавались со всех сторон. Она оставалась там, терпя суровый холод и, кроме того, возмутительнейшее обращение жандармов.

Наконец, она была отведена к следователю, который был очень удивлен, что полиция в своем усердии не арестовала также и маленьких детей. Допрос был только формальным. Вся вина моей жены состояла лишь в том, что, принадлежа к прусской аристократии, она все же разделяет демократические убеждения своего мужа.

Я не вхожу в детали этого возмутительного дела. Скажу только, что когда мы были выпущены на свободу, 24-часовой срок уже кончился, и мы были вынуждены уехать, не забрав самого необходимого.

Вице-президент Брюссельской демократической ассоциации

Карл Маркс.

Б. МАРБС

ПИСЬМО П. В. АППЕЦКОВУ.

ПИСЬМО П. В. АННЕНКОВУ.

Брюссель, 28 декабря. Rue d'Orléans, 42, Fbg. Namur.

Дорогой г. Анненков!

Вы уже давно имели бы от меня ответ на Ваше письмо от 1 ноября, если бы мой книгопродавец не задержал до прошлой недели присылку мне книги г-на Прудона «Philosophie de la misère». Я пробежал ее в два дня, чтобы иметь возможность тотчас же сообщить Вам свое мнение. Так как я прочел книгу очень бегло, то я не в состоянии останавливаться на деталях, — я могу говорить только об общем впечатлении, произведенном ею на меня. Если бы Вы выразили желание, я мог бы более подробно разобрать ее в следующем письме.

Признаюсь откровенно, что, в общем, я нахожу эту книгу плохой — и очень плохой. Вы сами шутите в своем письме по поводу «уголка немецкой философии», которым г-н Прудон щеголяет в этой бесформенной и претенциозной работе, но Вы полагаете, что его экономические построения не были отравлены ядом его философии. Я также далек от того, чтобы приписывать погрешности экономических построений г. Прудона — его философии. Г-н Прудон дает нам ложную критику политической экономии не потому, что он является обладателем смехотворной философии, — он преподносит нам смехотворную философию потому, что совершенно не понял современного общественного строя в его сцеплениях (*dans son engrenement*), употребляя термин, который г-н Прудон заимствует у Фурье, как заимствует у него многое другое.

Почему г-н Прудон говорит о боге, о всеобщем разуме, о безличном разуме человечества, который никогда не ошибается, который всегда самому себе равен, о котором нужно только составить себе правильное представление, чтобы оказаться обладателем истины? Почему прибегает он к плохо усвоенному гегельянству, чтобы изображать из себя глубокого мыслителя?

Он сам дает нам ключ к этой загадке. Г-н Прудон видит в истосрии известный ряд общественных эволюций; он полагает, что прогрессосуществляется в истории; он считает, наконец, что люди, взятые

как индивидуумы, действуют бессознательно, что они не понимают своего собственного развития, т. е. что их общественное развитие кажется на первый взгляд явлением отличным, обособленным, независимым от их индивидуального развития. Он не в состоянии объяснить эти факты — и находит выход в гипотезе о проявляющем себя в истории всеобщем разуме. Нет ничего легче, как придумать мистические причины, т. е. фразы, лишённые всякого смысла.

Но разве г-н Прудон, сознаваясь, что не понимает исторического развития человечества, — а он сознается в этом, когда прибегает к громким словам «всеобщий разум», «бог» и т. п., — разве тем самым он не признаётся неизбежно и в том, что он не в состоянии разобраться и в процессе *экономического развития*?

Что такое общество, какова бы ни была его форма? — Продукт взаимодействия людей. Свободны ли люди в выборе той или другой формы общественного строя? — Ни в малейшей мере. Предположите известную степень развития производительных способностей (*facultés*) людей — и вы получите определенную форму обмена и потребления. Предположите известную стадию развития производства, обмена, потребления, — и вы получите определенную форму общественного устройства, определенную организацию семьи, сословий или классов, словом — определенную форму гражданского общества. Предположите данную форму гражданского общества, — и вы получите определенный политический строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества. Вот чего г-н Прудон никогда не поймет, ибо он уверен, что делает великое дело, когда апеллирует от государства к гражданскому обществу, т. е. от официального выражения общества — к самому официальному обществу.

Нет надобности добавлять, что люди отнюдь не могут свободно распоряжаться *своими производительными силами*, которые являются базисом всей их истории, ибо всякая производительная сила есть сила уже завоеванная, продукт предшествующей деятельности. Таким образом, производительные силы являются результатом действительной энергии людей, но сама эта энергия ограничена условиями, в которые люди поставлены уже завоеванными производительными силами, формой общественного устройства, существовавшей до них, которую они поэтому не создают и которая является продуктом деятельности предшествующего поколения. В силу того простого факта, что каждое последующее поколение получает в свое распоряжение производительные силы, которые завоеваны были предшествующим поколением и которые служат ему

как бы сырым материалом для нового производства, — образуется преемственная связь в истории людей, образуется история человечества, которая тем полнее становится историей человечества, чем больше разрастаются производительные силы людей и, следовательно, их общественные отношения. Этим обуславливается необходимое следствие: общественная история людей является всегда, — сознают они это или нет, — лишь историей их индивидуального развития. Их материальные отношения образуют базу всех их отношений. Эти материальные отношения являются лишь необходимой формой, в которой осуществляется их материальная и индивидуальная деятельность.

Г-н Прудон смешивает идеи и вещи. Люди никогда не отказываются от того, что уже добыли, но это вовсе не означает, что они никогда не отказываются от общественной формы, в которой завоеваны были известные производительные силы. Совсем наоборот. Чтобы не лишиться добытых результатов, чтобы не потерять плодов цивилизации, люди вынуждены, как только способ их общения (*commerce*) между собою перестает соответствовать уже завоеванным производительным силам, изменить все традиционные общественные формы. Я употребляю здесь слово «*commerce*» в самом общем смысле этого слова, в том же, в каком мы на немецком языке употребляем слово «*Verkehr*». Например: привилегии, цеховые и корпоративные учреждения, режим регламентации средних веков были общественными отношениями, которые одни только соответствовали тогда уже завоеванным производительным силам и предшествовавшему общественному строю, породившему эти учреждения. Под охраной корпоративного режима и режима регламентации накопились капиталы, развилась морская торговля, основаны были колонии, и люди стали бы терять плоды своих усилий, если бы они пожелали сохранить формы, под охраню которых эти плоды созрели. Вот почему и прокатились два громовые удара — революции 1640 и 1688 гг. Все старые экономические формы, общественные отношения, им соответствовавшие, политический строй, бывший официальным выражением старого гражданского общества, были сломлены в Англии.

Таким образом, экономические формы, в рамках которых люди производят, потребляют, совершают обмен, являются *проходящими и историческими*. С завоеванием новых производительных способностей (*facultés*) люди меняют свой способ производства, а вместе со способом производства они меняют все экономические отношения, которые были лишь необходимыми отношениями этого определенного способа производства.

Этого-то г-н Прудон не понял, а еще меньше он это доказал. Г-н Прудон, который не в состоянии вскрывать реальное движение истории, преподносит нам фантазмагорию, претендующую на то, чтобы прослыть фантазмагорией диалектической. Он не чувствует надобности говорить нам о XVII, XVIII или XIX веках, ибо его история протекает в туманной среде фантазии и витает высоко над временем и пространством. Словом, — это гегельянский хлам, это не история вообще, это не светская история, история людей, — а история священная, история идей. С его точки зрения человек — только орудие, которым идея, или вечный разум, пользуется для своего развития. *Эволюции*, о которых говорит г-н Прудон, это — особого рода эволюции, протекающие в мистическом тумане абсолютной идеи. Попробуйте сорвать покров с его мистической фразеологии — и вы увидите, что г-н Прудон описывает нам только распорядок, в котором экономические категории расположены внутри его головы. Мне не понадобится много усилий, чтобы Вам доказать, что это распорядок весьма беспорядочной головы.

Г-н Прудон начинает свою книгу диссертацией о *стоимости* — своим излюбленным коньке (*son dada*). На этот раз я не буду останавливаться на разборе этой диссертации.

Ряд экономических эволюций вечного разума открывается *разделением труда*. Для г-на Прудона разделение труда — совсем простая вещь. Но разве кастовый строй не был известным видом разделения труда? Разве цеховой строй не был другим видом разделения труда? И разве разделение труда в мануфактурный период, который начинается в середине XVII века и заканчивается в Англии в последней части XVIII века, не отличалось радикально от разделения труда при крупной индустрии, индустрии новейшей?

Г-н Прудон так далек от истины, что пренебрегает даже тем, что обычно делают экономисты. В своих рассуждениях о разделении труда он даже не испытывает надобности касаться мирового *рынка*. А между тем, разве разделение труда в XIV и XV веках, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, когда с восточной Азией сносились лишь через посредство Константинополя, не должно было решительно во всех отношениях отличаться от разделения труда в XVII веке, когда существовали уже обширные колонии?

Но и это еще не все. Разве вся внутренняя организация народов, все их международные отношения являются чем-либо иным, как не выражением известного вида разделения труда? И не должны ли они изменяться вместе с изменением разделения труда?

Г-н Прудон так мало понял вопрос о разделении труда, что он даже не упоминает об отделении города от деревни, — отделение, которое, в Германии, например, произошло с IX по XII век. И так как г-н Прудон не знает ни происхождения этого отделения, ни хода его развития, то оно должно ему представляться извечно существующим. И на протяжении всей книги он рассуждает так, точно бы этому со зданию определенного способа производства предстояло сохраниться на вечные времена. Все, что г-н Прудон говорит о разделении труда, есть не больше, как резюме, и к тому же весьма поверхностное, весьма неполное резюме того, что до него говорили Адам Смит и тысяча других.

Вторая эволюция, это — *машины*. У г-на Прудона внутренняя связь между разделением труда и машинами — совсем мистическая. Каждый вид разделения труда имел специфические орудия производства. Например, с середины XVII до середины XVIII века люди не все делали руками. Они обладали инструментами, и инструментами очень сложными, как станки, корабли, рычаги и т. д., и т. д.

Поэтому нет ничего смешнее, как объяснять происхождение машин влиянием разделения труда вообще.

Отмечу еще мимоходом, что г-н Прудон, так мало понявший историческое происхождение машин, еще менее понял процесс их развития. Можно сказать, что до 1825 г. — времени первого всеобщего кризиса — нужды потребления вообще возрастали быстрее, нежели производство, и что развитие машин властно обуславливалось расширявшимися нуждами рынка. После 1825 г. изобретение и применение машин обуславливается лишь войною между хозяевами и рабочими. Это, впрочем, верно только по отношению к одной Англии. Что касается европейских народов, то их вынуждала применять машины конкуренция Англии как на их собственных рынках, так и на мировом рынке. Наконец, в Северной Америке введение машин вызывалось и конкуренцией других народов, и недостатком рабочих рук, т. е. несоответствием между количеством населения и промышленными потребностями Северной Америки. Из этих фактов Вы можете заключить, какую мудрую проницательность обнаруживает г-н Прудон, когда он заклинает фантом конкуренции, которую он считает третьей эволюцией, антитезой машин!

Да и вообще, ведь это же поистине нелепость — возводить *машину* в экономическую категорию на-ряду с разделением труда, конкуренцией, кредитом и т. п.!

Машина не в большей мере является экономической категорией, нежели бык, который тащит плуг. Современное *применение*

машин есть одно из отношений нашего современного экономического строя, но способ эксплуатации машин есть нечто совершенно отличное от самих машин. Порох остается тем же порохом, употребляется ли он для того, чтобы нанести рану человеку, или для того, чтобы лечить причиненную ему рану.

Но г-н Прудон превосходит самого себя, когда он раздувает в своей голове значение конкуренции, монополии, налога или общественного порядка, торгового баланса, кредита, собственности, выстраивая их в том порядке, в каком я их перечислил. Почти все кредитные учреждения были уже развиты в Англии в начале XVII столетия, — следовательно, до изобретения машин. Государственный кредит являлся лишь новым способом выплывать налоги и покрывать, таким образом, новые потребности, вызывавшиеся приходом буржуазного класса к власти.

Наконец, *собственность* образует последнюю категорию в системе г-на Прудона. В мире реальном, наоборот, разделение труда и все остальные категории г-на Прудона суть лишь общественные отношения, образующие в совокупности то, что в настоящее время называется *собственностью*; вне этих отношений буржуазная собственность является только метафизической или юридической иллюзией. Собственность другой эпохи, феодальная собственность, развивается среди совсем других общественных отношений. Г-н Прудон, выставляя собственность как самостоятельное отношение, совершает нечто худшее, чем простую методологическую ошибку; он ясно показывает, что не уяснил себе связи, объединяющей все формы *буржуазного* производства, что он не понял *исторического* и *переходящего* характера форм производства в определенную эпоху. Г-н Прудон, не видящий в наших общественных учреждениях исторических продуктов, не понимающий ни их происхождения, ни процесса их развития, может подвергать их только догматической критике.

Поэтому-то г-н Прудон и вынужден прибегнуть к *фикции*, чтобы объяснить их развитие. Он воображает, что разделение труда, кредит, машины и т. п. были изобретены к услугам его навязчивой идеи, идеи равенства. Его объяснение поистине чарующе-наивно. Эти вещи изобретены были для равенства, но, к сожалению, они повернулись против равенства. Все его рассуждение сводится к этому. Другими словами, он строит совершенно произвольное предположение, и, так как реальное развитие и его фикция противоречат друг другу на каждом шагу, он из этого заключает, что существует противоречие. Но при этом он скрывает, что противоречие существует лишь между его навязчивыми идеями и реальным движением.

Таким образом, г-н Прудон, прежде всего вследствие недостаточности своих исторических познаний, не понял, что люди, развивая свои производительные способности (*facultés*), т. е. живя, создают между собою известные отношения и что формы этих отношений необходимо изменяются вместе с изменением и ростом этих производительных способностей. Он не заметил, что *экономические категории* суть лишь *абстракции* этих реальных отношений, что они лишь постольку являются истинами, поскольку эти отношения действительно существуют. Таким образом, он впадает в ошибку буржуазных экономистов, которые считают эти экономические категории вечными законами, а не законами историческими, каковые остаются законами лишь для известной стадии исторического развития, для определенной стадии развития производительных сил. Таким же образом, вместо того, чтобы рассматривать эти политико-экономические категории как абстракции реальных, преходящих, исторических общественных отношений, г-н Прудон, переворачивая в своем мистическом воображении все построение в обратную сторону, видит в реальных отношениях лишь воплощение этих абстракций. И сами эти абстракции являются формулами, дремавшими в недрах бога-отца с начала сотворения мира.

Но тут добрый г-н Прудон впадает в великий интеллектуальный транс. Если все эти экономические категории суть эманации сердца божия, если они — скрытая и вечная жизнь людей, то каким образом получается, во-первых, то, что существует развитие, и, во-вторых, то, что г. Прудон не консерватор? И он объясняет эти явные противоречия целой системой антагонизмов.

Для выяснения этой системы антагонизмов возьмем пример.

Монополия — вещь хорошая, ибо это — экономическая категория, следовательно — эманация бога. Конкуренция тоже хорошая вещь, ибо это также экономическая категория. Но что не хорошо, — это реальность монополии и реальность конкуренции. Что еще хуже, — это, что монополия и конкуренция взаимно друг друга пожирают. Как же нужно тут поступить? Так как обе эти вечные мысли бога друг другу противоречат, г-ну Прудону представляется очевидным, что у бога имеется и синтез этих двух мыслей, синтез, в котором зло монополии уравнивается конкуренцией — и обратно. Борьба между обеими идеями приведет к тому, что они будут проявлять только свои хорошие стороны. Поэтому нужно вырвать у бога его скрытую мысль, затем применить ее в жизни — и все пойдет по-хорошему; нужно путем откровения выявить синтетическую формулу, скрытую во тьме безличного разума человечества.

И господин Прудон ни одной минуты не колеблется стать прорицателем.

Но обратите на минуту свой взор на реальную жизнь. В современной экономической жизни вы находите не только конкуренцию и монополию, но и их синтез, который представляет собой не *формулу*, а *движение*. Монополия порождает конкуренцию, конкуренция порождает монополию. Однако это уравнение не только не устраняет трудности современного положения, как воображают буржуазные экономисты, но создает положение более трудное и более запутанное. Так, изменяя базис, на котором строятся современные экономические отношения, уничтожая современный *способ* производства, вы уничтожаете не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их единство, их синтез, — движение, которое действительно уравнивает конкуренцию и монополию.

Теперь я Вам приведу пример диалектики г-на Прудона.

Свобода и рабство образуют антагонизм. Мне нет надобности говорить ни о хороших, ни о дурных сторонах свободы. Что касается рабства, то мне не нужно говорить о его дурных сторонах. Единственная вещь, которую надлежит объяснить, это — хорошая сторона рабства. Речь идет не о косвенном рабстве, рабстве пролетария; речь идет о рабстве прямом, рабстве чернокожих в Суринаме, Бразилии, в южных областях Северной Америки.

Прямое рабство является основой современного нашего индустриализма в такой же мере, как машины, кредит и т. п. Без рабства — нет хлопка, без хлопка — нет современной индустрии. Рабство сделало колонии ценными, колонии вызвали мировую торговлю, а мировая торговля является необходимым условием крупной машинной индустрии. Поэтому до установления торговли неграми колонии давали Старому свету весьма мало продуктов и оказывали очень слабое влияние на общее положение мира. Таким образом рабство является чрезвычайно важной экономической категорией. Без рабства Северная Америка, самая прогрессивная страна, превратилась бы в страну патриархальную. Вычеркните только Северную Америку из карты народов — и вы получите анархию, полное падение современной торговли и современной цивилизации. А уничтожить рабство значило бы вычеркнуть Америку из карты народов. И так как рабство есть экономическая категория, то оно именно поэтому встречается с начала мира у всех народов. Современные народы сумели лишь замаскировать рабство у себя самих и открыто импортировать его в Новый свет. Как же поступит наш добрый г-н Прудон после этих размышлений о рабстве? Да он станет искать

синтез свободы и рабства, подлинную золотую середину, иначе говоря — равновесие между рабством и свободой.

Г-н Прудон очень хорошо понял, что люди производят сукно, холст, шелковые материи. Велика, подумаешь, заслуга понять так мало! Но чего г-н Прудон не понял — это что люди, в меру своих способностей, создают также *общественные отношения*, в которых они производят сукно и холст. Еще меньше г-н Прудон понял то, что люди, которые создают общественные отношения в соответствии с их материальной производительностью, создают также *идеи, категории*, т. е. абстрактные, идеальные выражения этих самых общественных отношений. Таким образом, категории в такой же малой степени вечны, как и отношения, ими выражаемые. Они являются продуктами историческими и преходящими. Для г-на Прудона, наоборот, первопричиной являются абстракции, категории. По его мнению, именно они, а не люди, творят историю. *Абстракция, категория, взятая как таковая*, т. е. отдельно от людей и их материальной деятельности, конечно, бессмертна, несокрушима, бесстрастна; она — существо чистого разума, что означает лишь, что абстракция, взятая как таковая, абстрактна. Великолепная *тавтология!*

Следовательно, экономические отношения, рассматриваемые в форме категорий, являются для г-на Прудона вечными формулами, не имеющими ни начала, ни развития.

Скажем другими словами: г-н Прудон не утверждает прямо, что *буржуазная жизнь* представляется ему *вечной истиной*, но он это говорит косвенно, обожествляя категории, являющиеся в форме мысли выражением буржуазных отношений. Он принимает продукты буржуазного общества за существа спонтанейные, одаренные самостоятельной жизнью, вечные, как только они встают перед ним в виде категорий, в виде мысли. Он, следовательно, не поднимается выше буржуазного горизонта. И так как он оперирует буржуазными идеями, предполагая их вечно истинными, то он ищет синтеза этих идей, их равновесия — и не замечает, что их современный способ уравнивать друг друга есть единственный возможный способ.

В действительности он поступает точно так же, как поступают все добрые буржуа. Все они говорят, что конкуренция, монополия и пр. в принципе, т. е. взятые как абстрактные идеи, представляют собою единственную основу жизни, но что на практике они оставляют желать лучшего. Все они хотят конкуренции без губительных последствий конкуренции. Все они желают невозможного,

т. е. условий буржуазной жизни без неизбежных последствий этих условий. Все они одинаково не понимают, что буржуазная форма производства есть форма историческая и преходящая в такой же мере, как была форма феодальная. Эта ошибка проистекает из того, что в их глазах человек-буржуа представляет собою единственную возможную основу всякого общества, из того, что они не представляют себе такого строя общества, при котором человек перестал бы быть буржуа.

Поэтому г-н Прудон является по необходимости *доктринером*. Историческое движение, потрясающее современный мир, разрешается для него в проблеме открытия справедливого равновесия, синтеза двух буржуазных идей. Путем тонких и деликатных розысков ловкий малый вскрывает скрытую мысль бога, единство двух обособленных идей, являющихся обособленными только потому, что г-н Прудон обособил их от практической жизни, от современного производства, которое представляет собою комбинацию реальностей, выражаемых этими идеями. На место великого исторического движения, зарождающегося на почве конфликта между уже завоеванными производительными силами людей и их общественными отношениями, перестающими соответствовать этим производительным силам; на место ужасающих битв, которые готовятся между различными классами каждой нации и между различными нациями; на место практического и насильственного действия масс, которое одно лишь в состоянии будет разрешить эти коллизии; на место этого обширного, длительного и сложного движения г-н Прудон ставит ребяческое (*sacadaurhin*) движение своей собственной головы. И таким-то образом оказывается, что ученые, люди, способные похитить у бога его интимную мысль, творят историю. А черни народной остается лишь проводить в жизнь их откровения.

Вы понимаете теперь, почему г-н Прудон такой решительный противник всякого политического движения. Разрешение современных проблем заключается для него не в общественной деятельности, а в диалектических круговращениях его собственной головы. Именно потому, что для него категории являются движущими силами, нет надобности изменять практическую жизнь, чтобы изменить категории. Совсем наоборот. Нужно изменить категории — и следствием этого явится изменение реального общества.

В своем желании примирить противоречия г-н Прудон даже не задается вопросом, не необходимо ли уничтожить самую основу этих противоречий. Он совсем напоминает того политического доктринера, который требует короля, палаты депутатов и палаты лордов

как интегральных частей общественной жизни, как вечных категорий. Он ищет только новой формулы равновесия между этими органами власти (между тем как равновесие между ними заключается именно в современном движении, когда каждый из этих органов то является победителем над другими, то превращается в поработченного). Точно таким же образом и в XVIII столетии множество посредственных голов занято было отыскиванием формулы, которая установила бы равновесие между общественными сословиями, дворянством, королем, парламентами и т. п., а на следующий день не оказалось уже ни короля, ни парламентов, ни дворянства. Действительным равновесием между этими антагонизмами было ниспровержение всех общественных отношений, служивших основанием для этих феодальных созданий и для антагонизма между ними.

Так как г-н Прудон ставит, с одной стороны, вечные идеи, категории чистого разума, а с другой — людей и их практическую жизнь, которая, как он утверждает, является применением этих категорий, то вы с самого начала наталкиваетесь у него на *дуализм* между жизнью и идеями, между душою и телом, — дуализм, который затем выплывает у него в разных формах. Вы видите теперь, что этот антагонизм есть лишь неспособность г. Прудона понять земное происхождение и земную историю категорий, им обожествляемых.

Мое письмо слишком растянулось уже, чтобы я мог еще оставаться на смехотворных нападках г-на Прудона на коммунизм. Вы согласитесь со мною пока, что человек, который не понял современного общественного строя, должен еще меньше понимать движение, стремящееся к его низвержению, как и литературные проявления этого революционного движения.

Единственный пункт, в котором я совершенно согласен с г-ном Прудоном, это — его отвращение к социалистической сентиментальности. Еще раньше него я вызвал много неприязни к себе тем, что высмеивал социализм овечий, сентиментальный, утопический. Но не тешит ли себя г-н Прудон странными иллюзиями, когда противопоставляет свою сентиментальность мелкого буржуа, — я хочу сказать: свои декламации о семье, супружеской любви и всяких подобных банальностях, — социалистическому сентиментализму, который у Фурье, например, гораздо более глубок, чем претенциозные плоскости нашего доброго Прудона? Сам он настолько чувствует ничтожество своих аргументов, свою полную неспособность говорить об этих вещах, что, не помня себя, впадает в бешенство, предается восклицаниям, *iraе hominis probi* (гневу благородного человека), брызжет пеной, бранится, обвиняет, вопиет

о поворе, о чуме, колотит себя в грудь и бахвалится перед богом и людьми, что не повинен в сих социалистических гнусностях. Он не борется, как критик, с социалистической сентиментальностью или с тем, что он считает сентиментальностью. Точно святой, точно папа, он отлучает бедных грешников и воспевает славу мелкой буржуазии и ее жалких любовных и патриархальных иллюзий домашнего очага. И отнюдь не случайно. Г-н Прудон с головы до ног — философ и экономист мелкой буржуазии. *Мелкий буржуа* в развитом обществе, в силу самого своего положения, становится, с одной стороны, социалистом, с другой — экономистом, другими словами — он ослеплен великолепием крупной буржуазии и симпатизирует страданиям народа. Он в одно и то же время и буржуа и народ. В глубине души он чванится тем, что беспристрастен, что нашел истинное равновесие, которое имеет претензию отличаться от золотой середины. Такой мелкий буржуа обожествляет *противоречие*, ибо в противоречии вся его сущность. Весь он — живое, действующее общественное противоречие. Он обязан обосновывать теорией то, чем он является на практике. И г-ну Прудону принадлежит заслуга быть научным истолкователем французской мелкой буржуазии, что является действительной заслугой, ибо мелкая буржуазия будет необходимой участницей всех подготавливаемых социальных революций.

Я желал бы послать Вам вместе с этим письмом и мою книгу о политической экономии, но до сих пор я не имел возможности издать эту работу и критику немецких философов и социалистов, о которой я Вам говорил в Брюсселе. Вы не поверите, на какие препятствия наталкивается в Германии такое издание, во-первых, со стороны полиции, во-вторых, — со стороны книгоиздателей, которые сами являются заинтересованными представителями тех начал, на которые я нападаю. А что касается нашей собственной партии, то она бедна, а кроме того значительная фракция германской коммунистической партии недовольна мною в том, что я борюсь с ее утонпиями и декламациями.

Ваш *Карл Маркс*.

P. S. Вы, пожалуй, спросите меня, почему я Вам пишу на скверном французском языке, вместо того, чтобы писать на хорошем немецком? Это потому, что дело идет о французском писателе.

Премного меня обяжете, не откладывая слишком долго своего ответа, дабы я знал, поняли ли Вы меня под этой оболочкой варварского французского языка.

К. МАРКС

НИЦЕТА ФИЛОСОФИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

К несчастью г. Прудона, его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там его считают хорошим немецким философом. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что там его считают одним из сильнейших французских экономистов. Мы, в качестве немца и экономиста, намерены протестовать против этой двойной ошибки.

Читатель увидит, что в этом неблагодарном труде нам часто приходилось отказываться от критики г. Прудона, чтобы приниматься за критику немецкой философии и одновременно делать критические замечания по предмету политической экономии.

Брюссель.
15 июня 1847 г.

Карл Маркс.

Труд г-на Прудона не просто какой-нибудь политико-экономический трактат и не какая-нибудь обыкновенная книга, это целая библия; там есть все: «тайны», «секреты, вырванные из недр божества», «откровения». Но так как в наше время пророков критикуют строже, чем обыкновенных авторов, то мы считаем нужным предложить читателю пройти вместе с нами область сухой и туманной эрудиции книги «Бытия», чтобы потом уже подняться с г-ном Прудоном в эфирные и плодоносные страны супра-социализма (см. «Philosophie de la misère», Prologue, p. 3, eh. 20).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ.

I. Противоположность потребительной стоимости и меновой стоимости.

«Способность всех продуктов, создаваемых самою природой или производимых промышленностью, служить для поддержания человеческого существования, — носит особое название *потребительной стоимости*. Способность же их обмениваться друг на друга называется *меновой стоимостью*... Каким же образом потребительная стоимость делается меновой? Происхождение идеи стоимости (меновой) не было с достаточной тщательностью выяснено экономистами, поэтому нам необходимо остановиться на этом пункте. Так как многие нужные мне предметы существуют в природе в ограниченном количестве или даже вовсе не встречаются, то я принужден способствовать производству того, чего мне недостает; а так как я не могу лично взяться за производство всех нужных мне вещей, то я *предложу* другим людям, моим сотрудникам в различных отраслях труда, уступить мне часть производимых ими продуктов в *обмен* на продукт, производимый мною». (*Прудон*, т. I, гл. 2.)

Г-н Прудон задается целью, прежде всего, выяснить нам двойственную природу стоимости, «*различие в стоимости*», процесс, который делает из стоимости потребительной стоимость меновую. Нам приходится остановиться, вместе с г-ном Прудоном, на этом акте *пресущствления*. Вот каким образом совершается этот акт по мнению нашего автора.

Весьма большое количество продуктов не дается самою природою, а производится промышленностью. Раз потребности превосходят количество продуктов, доставляемых самою природою, — человек оказывается вынужденным прибегнуть к промышленному производству. Что же такое эта промышленность по мнению г-на Прудона? Каково ее происхождение? Отдельный человек, нуждающийся в очень большом количестве вещей, «не может один производить

такую массу различных вещей». Многообразие потребностей для удовлетворения предполагает многообразие вещей, подлежащих производству; без производства нет продуктов; а многообразие подлежащих производству вещей предполагает участие в производстве более чем одного человека. Но раз вы допускаете, что производством занимается более чем один человек, вы уже целиком допускаете производство, основанное на разделении труда. Таким образом, предполагаемая г-ном Прудонем потребность предполагает уже разделение труда во всем его целом. Предполагая разделение труда, вы вступаете в область обмена, а следовательно, и в сферу меновой стоимости. С таким же точно правом можно было бы с самого начала предположить существование меновой стоимости.

Но г-н Прудон почему-то предпочитает сделать обход. Последуем за ним во всех его изворотах, которые постоянно будут приводить нас опять к его исходной точке.

Чтобы покинуть тот порядок вещей, где каждый производит в одиночку, и чтобы прийти к обмену, «я обращаюсь, — говорит Прудон, — к моим сотрудникам по различным отраслям труда». Итак, я имею сотрудников, которые все заняты различными отраслями труда, хотя ни я, ни все другие не выходим, по предположению г-на Прудона, из одиночного и изолированного положения Робинзонов. Сотрудники и различные отрасли труда, разделение труда и обмен, им обусловливаемый, все это просто-напросто падает с неба.

Резюмируем: я имею потребности, основанные на разделении труда и обмене. Предполагая эти потребности, г-н Прудон тем самым предполагает уже существование обмена и меновой стоимости, «возникновение» которой он именно хотел «определить с большим старанием, чем другие экономисты».

Г-н Прудон мог бы с таким же правом перевернуть порядок вещей, не извращая этим самым справедливости своих собственных заключений. Чтобы объяснить меновую стоимость, нужен обмен. Чтобы объяснить обмен, нужно разделение труда. Чтобы объяснить разделение труда, нужно существование потребностей, которые вызывают необходимость разделения труда. Чтобы объяснить эти потребности, нужно их «предположить», что не значит, однако, отрицать их, в противность первой аксиоме пролога г-на Прудона: «Предполагать бога — значит отрицать его». (Пролог, стр. 1.)

Теперь спрашивается, каким образом г-н Прудон, принимая разделение труда за известное, объясняет при его помощи меновую стоимость, которая все еще остается для него чем-то неизвестным?

«Человек» решается *«предложить»* другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям труда», установить обмен и провести различие между потребительной стоимостью и меновой. Соглашаясь на предложение признать это различие, сотрудники оставляют г-ну Прудону только одну «заботу»: констатировать совершившийся факт, отметить, «занести» в свой политико-экономический трактат «возникновение идеи стоимости». Однако нам-то он все-таки должен выяснить «возникновение» этого предложения, он должен, наконец, сказать, каким образом этому единичному человеку, этому Робинзону, внезапно пришла в голову мысль сделать «своим сотрудникам» предложение *известного* рода, и почему эти сотрудники приняли его предложение без всякого протеста.

Г-н Прудон не входит в эти генеалогические подробности. Он просто принимает факт обмена и, так сказать, удостоверяет его приложением исторической печати, представляя его в виде предложения, внесенного третьим лицом, старающимся установить этот обмен.

Вот образец «исторического и описательного метода» г-на Прудона, выражающего свое величественное презрение к «историческому и описательному методу» всяких Адамов Смитов и Рикардо.

Обмен имеет свою особую историю, он прошел различные фазы развития.

Было время, как, напр., средние века, когда обменивался только избыток, излишек производства над потреблением.

Было еще другое время, когда не только излишек, но все продукты целиком, все произведения промышленности перешли в область торговли, когда производство стало в полную зависимость от обмена. Как объяснить эту вторую фазу обмена — возведение меновой стоимости во вторую степень?

Г-н Прудон, конечно, имеет на это готовый ответ: допустим, что известный человек *«предложил»* другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям производства», возвести меновую стоимость во вторую степень.

Наконец, пришло время, когда все, на что люди привыкли смотреть как на неотчуждаемое, делается предметом обмена и торга, становится отчуждаемым. В это время даже те вещи, которые до того были передаваемы другим, но не обмениваемы, были даруемы, но не продаваемы, были приобретаемы, но не покупаемы, — добродетель, любовь, убеждение, знание, совесть, — все стало, наконец, продажным. Это — время общей порчи, время всеобщей продажности или — выражаясь языком политической экономии — время, когда всякая вещь, физическая *или моральная*, сделавшись продажной

стоимостью, выносятся на рынок, чтобы найти там оценку, соответствующую ее истинной стоимости.

Каким образом объяснить эту новую и последнюю фазу обмена — возведение меновой стоимости в третью степень?

Г-н Прудон имеет и на это готовый ответ: предположите, что человек «предложил другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям производства», сделать из добродетели, любви и пр. продажную стоимость — возвести меновую стоимость в ее третью и последнюю степень.

Как видите, «исторический и описательный метод» г-на Прудона на все годится, на все отвечает и все объясняет; так, напр., идет ли дело о том, чтобы объяснить исторически «возникновение экономической идеи», г-н Прудон предполагает человека, который предлагает другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям производства, совершить этот акт возникновения — и вопрос исчерпывается окончательно.

Отныне мы принимаем «возникновение» меновой стоимости за совершившийся факт; теперь нам остается только выяснить отношение меновой стоимости к потребительной. Послушаем г-на Прудона.

«Экономисты очень ясно обнаружили двойственный характер стоимости; но они не выяснили с такою же отчетливостью ее *противоречивой природы*; здесь-то и начинается наша критика... Недостаточно указать на этот изумительный контраст между меновой и потребительной стоимостью, контраст, на который экономисты привыкли смотреть как на вещь очень простую: следует сверх того показать, что эта мнимая простота скрывает в себе глубокую тайну, которую мы обязаны раскрыть... Выражаясь техническим языком, мы можем сказать, что потребительная и меновая стоимости находятся в обратном отношении одна к другой».

Если мы хорошо уловили мысль г-на Прудона, то вот те четыре пункта, которые он берется установить:

1) Потребительная и меновая стоимости составляют «паразитальный контраст», противоположность друг другу.

2) Потребительная и меновая стоимости находятся в обратном отношении друг к другу, во взаимном противоречии.

3) Экономисты не заметили и не поняли ни противоположности их, ни противоречия.

4) Критика г-на Прудона начинается с конца.

Мы также начнем с конца, и, чтобы снять с экономистов обвинения, возводимые на них г-ном Прудоном, мы предоставим говорить самим за себя двум довольно видным экономистам.

Сисмонди: «Торговля все приводит к противоположности между потребительною и меновою стоимостями» и т. д. («Этюды, т. II, стр. 162, бруссельского издания.)

Лодердаль: «Национальное богатство (потребительная стоимость) в виде общего правила уменьшается по мере того, как — с возрастанием меновой стоимости — увеличиваются индивидуальные богатства; и по мере того, как уменьшаются эти последние, в силу понижения меновой стоимости, увеличивается национальное богатство». («Исследования о природе и происхождении общественного богатства», перевод Лажанти де-Лаваис, Париж 1808 г.)¹

На *противоположности* между потребительною стоимостью и меновою стоимостью Сисмонди построил свое главное учение, по которому уменьшение дохода пропорционально возрастанию производства.

Лодердаль основал свою систему на принципе обратного отношения между двумя родами стоимости, и его доктрина была даже настолько популярна ко времени Рикардо, что последний мог говорить о ней как о вещи всем известной. «Лишь благодаря смешению идеи меновой стоимости с идеей богатства (потребительной стоимости) некоторые могли думать, что, уменьшая количество необходимых, полезных или приятных для жизни вещей, можно увеличить богатство». (*Рикардо*, Основания политической экономии, перевод Констансио, с примечаниями Ж.-Б. Сэя, Париж, 1835 г., т. II, глава *О стоимости и богатстве*.)

Мы видим, что экономисты ранее г-на Прудона «указали» на глубокую тайну противоположности и противоречия. Посмотрим теперь, как г-н Прудон объясняет, в свою очередь, эту тайну после экономистов.

Если спрос остается неизменным, то меновая стоимость продукта понижается по мере того, как увеличивается предложение; другими словами, чем изобильнее продукт *по отношению к спросу*, тем ниже его меновая стоимость, или его цена. И *наоборот*: чем слабее предложение по отношению к спросу, тем выше делается меновая стоимость, или цена предлагаемого продукта; другими словами, чем более редки предлагаемые продукты по отношению к спросу, тем более возрастает их дороговизна. Меновая стоимость продукта зависит от его изобилия или от его редкости, но всегда по отношению к спросу.

¹ В подлиннике переводчик ошибочно назван Ларжантиль де-Лавез. В немецком издании К. Каутский ошибочно указал год издания — 1807. Возможно, что это неправильное указание он заимствовал у *Quénard, La France littéraire*, т. IV, 1830, p. 641. — *Прим. ред.*

Предположите продукт более чем редкий, пожалуй единственный в своем роде, — этот единственный продукт будет более чем изобилен, он будет излишен, если на него нет спроса. Наоборот, предположите, что количество продукта увеличилось в миллионы раз, — и он всетаки будет редок, если он не удовлетворяет спроса, т. е. если на него существует слишком большой спрос.

Эти истины почти банальны, а между тем нам нужно было их воспроизвести здесь, чтобы быть в состоянии понять тайны г-на Прудона.

«Таким образом, следя за принципом до его крайних выводов, мы придем к следующему, самому логическому в мире заключению: те вещи, потребление которых необходимо и количество которых безгранично, должны цениться ни во что; те же вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов, должны иметь бесконечно большую цену. Наше затруднение довершается еще тем, что практика не допускает этих крайностей: с одной стороны, ни один производимый человеком продукт не может никогда возрасти в безграничной степени; с другой стороны, наиболее редкие вещи нуждаются отчасти в том, чтобы представлять из себя полезности, без чего они не могли бы иметь какой бы то ни было стоимости. Потребительная и меновая стоимости остаются, таким образом, фатально связанными одна с другой, хотя по своей природе они постоянно стремятся исключить друг друга». (Т. I, стр. 30.)

Что же, собственно, доводит затруднение г-на Прудона до высшей точки? Просто-напросто то, что он забыл о *спросе* и о том, что всякая вещь может быть редкою или изобильною лишь постольку, поскольку на нее существует спрос. Оставляя спрос в стороне, он отождествляет меновую стоимость с *редкостью*, а потребительную — с *изобилием*. В самом деле, говоря, что «вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов, имеют бесконечно большую цену», — он просто выражает ту мысль, что меновая стоимость есть только редкость. «Крайняя редкость и равная нулю полезность» — это не что иное, как редкость в самом чистом виде. «Безгранично большая цена» — это максимум меновой стоимости, это меновая стоимость в своем наиболее чистом виде. Между этими двумя терминами он ставит знак равенства. Итак, меновая стоимость и редкость суть выражения однозначные. Приходя к этим мнимым «крайним выводам», г-н Прудон в действительности доводит до крайности не вещи, а только термины, служащие для их выражения, и этим самым обнаруживает гораздо большую способность к риторике, чем к логике.

MISÈRE

ou

LA PHILOSOPHIE.

REPONSE A

LA PHILOSOPHIE DE LA MISÈRE

DE M. PROUDHON,

Par Karl Marx.



PARIS.
A. FRANK,
69, rue Richelieu

BRUXELLES.
C. G. VOGLER.,
2, petite rue de la Madeleine.

1847

Он лишь снова находит свои первоначальные гипотезы во всей их наготе, в то время как думает, что обрел новые, вытекающие из них следствия. Тем же самым способом ему удастся отождествить потребительную стоимость с изобилием, в его чистом виде.

Поставив знак равенства между меновой стоимостью и редкостью, между потребительной стоимостью и изобилием, г-н Прудон очень изумляется, не находя ни потребительной стоимости в редкости и меновой стоимости, ни меновой стоимости в изобилии и потребительной стоимости; и так как он видит затем, что практика не допускает этих крайностей, то ему остается только верить в тайну. Для него существует безгранично большая цена именно потому, что для него не существует покупателей, и он никогда не найдет этих покупателей, если не перестанет отвлекаться от спроса.

С другой стороны, изобилие г-на Прудона представляет из себя, как кажется, нечто самопроизвольно возникающее. Он совершенно забывает, что есть люди, которыми создано это изобилие, и в интересах которых — никогда не терять из виду спроса. В противном случае, как мог бы сказать г-н Прудон, что очень полезные вещи должны иметь чрезвычайно низкую цену или даже ничего не стоить? Ему, напротив, следовало бы заключить, что необходимо уменьшить изобилие, сократить производство вещей, обладающих значительную полезностью, если хотят возвысить их цену, их меновую стоимость.

Старинные хозяева виноградников во Франции, добивавшиеся издания закона, воспрещающего разведение новых виноградников, точно так же, как и голландцы, сжигавшие азиатские пряности и вырывавшие гвоздичные деревья на Молуккских островах, — желали просто-напросто уменьшить изобилие, чтобы этим возвысить меновую стоимость. Во все продолжение средних веков люди действовали по тому же самому принципу, ограничивая законами число подмастерьев, которых имел право нанимать один мастер, и число инструментов, которые он мог употреблять. (См. *Андерсон*, История торговли.)

Отождествив изобилие с потребительной стоимостью и редкость с меновой, — ничего нет легче, как доказать, что изобилие и редкость находятся в обратном отношении друг к другу, — г-н Прудон отождествляет затем потребительную стоимость с *предложением*, а меновую — с *спросом*. Чтобы сделать антитезу еще более резкой, он изменяет терминологию, называя *меновую стоимость* — *стоимостью*, *определяемую мнением*. Таким образом борьба переносится на другую почву, и мы имеем, с одной стороны, *полезность* (потребительную стоимость, предложение), а с другой стороны — *мнение* (меновую стоимость, спрос).

Как примирить эти два противоположные фактора? Как согласить их? Можно ли найти хотя бы общий им обоим пункт?

«Конечно, — восклицает г-н Прудон, — такой пункт есть; это — *свободная воля*. Цена, которая является результатом этой борьбы между спросом и предложением, между мнением и полезностью, не может быть выражением вечной справедливости».

Г-н Прудон развивает эту антитезу далее:

«В качестве *свободного покупателя* я становлюсь судьей моих потребностей, судьей удобства, доставляемого предметом, судьей цены, которую *я хочу* дать за него. С другой стороны, вы, в качестве *свободного производителя*, — господин над *средствами производства* и, следовательно, вы имеете возможность сокращать ваши издержки». (Т. I, стр. 42.)

А так как спрос, или меновая стоимость, тождественны с мнением, то г-н Прудон вынужден сказать:

«Доказано, что именно *свободная воля* человека и вызывает противоположность между потребительной и меновой стоимостями. Как разрешить эту противоположность, пока будет существовать свободная воля? И как пожертвовать этой волей, не жертвуя человеком?» (Т. I, стр. 51.)

Таким образом мы не приходим ни к какому результату. Существует лишь борьба между двумя, так сказать, несоизмеримыми силами, между полезностью и мнением, между свободным покупателем и свободным производителем.

Взглянем на вещи несколько ближе.

Предложение не представляет собою исключительно полезности, спрос не представляет исключительно мнения. Разве тот, кто предьявляет спрос, не предлагает также какого-нибудь продукта или денег, — знака, служащего представителем всех продуктов? А предлагая их, разве он не представляет, согласно самому г-ну Прудону, полезности или потребительной стоимости?

С другой стороны, разве тот, кто предлагает, не спрашивает, в свою очередь, какого-либо продукта или денег, — знака, представляющего все продукты? И не делается ли он, таким образом, представителем мнения, стоимости, определяемой мнением, или меновой стоимости?

Спрос есть в то же время предложение, предложение есть в то же время спрос. Таким образом, антитеза г-на Прудона, отождествляющая предложение с полезностью, а спрос с мнением, покоится лишь на пустой абстракции.

То, что г-н Прудон называет потребительной стоимостью, дру-

гими экономистами с таким же точно правом называется стоимостью, определяемой мнением. Мы укажем только на Шторха («Курс политической экономии», Париж, 1823 г., стр. 88 и 89).

По словам Шторха, *потребностью* называется вещь, в которой мы чувствуем потребность; *стоимостью* — вещь, которой мы приписываем стоимость. В большинстве случаев вещи имеют стоимость только потому, что они удовлетворяют потребностям, вызываемым мнением. Мы можем изменить свое мнение о наших потребностях; поэтому и полезность вещей, выражающая только отношение этих вещей к нашим потребностям, также может изменяться; даже естественные потребности постоянно изменяются. В самом деле, какая разница между предметами, служащими главной пищей у разных народов!

Борьба завязывается не между полезностью и мнением: она завязывается между продажной стоимостью, которую предлагает спрашивающий, и продажной стоимостью, которой требует предлагающий. Меновою стоимостью продукта является каждый раз равнодействующая этих, одна другой противоречащих, оценок.

В последнем счете спрос и предложение ставят лицом к лицу производство и потребление, но производство и потребление, основанные на обмене между отдельными индивидами.

Полезность предлагаемого продукта не безусловна. Она определяется потребителем. И если даже за продуктом признана полезность, то он все-таки не представляет одной только полезности. В течение процесса производства продукт обменивался на все издержки производства, как, напр., на сырой материал, рабочую плату и пр., словом, на такие вещи, которые имеют продажную стоимость. Следовательно, продукт представляет в глазах производителя сумму продажных стоимостей. Производитель предлагает не только полезный предмет, но, сверх того и в особенности, продажную стоимость.

Что касается спроса, то он действителен только при том условии, если он имеет в своем распоряжении средства обмена. Эти средства, в свою очередь, суть продукты, продажные стоимости.

Таким образом, в предложении и спросе мы находим: с одной стороны — продукт, на производство которого затрачены продажные стоимости, и необходимость продать этот продукт; с другой стороны — средства, на приобретение которых также затрачены продажные стоимости, и желание купить.

Г-н Прудон противопоставляет *свободного покупателя свободному производителю*; и тому, и другому он придает чисто метафизические качества. Потому-то он и может сказать: «Доказано, что именно

свободная воля человека вызывает противоположность между потребительной и меновой стоимостями».

Производитель принужден продавать, если только он производит в обществе, основанном на разделении труда и на обмене, — а такова именно гипотеза г-на Прудона. Г-н Прудон делает производителя господином средств производства; но он согласится с нами, что не от *свободной воли* зависит обладание средствами производства. Даже более: значительная часть этих средств состоит из продуктов, получаемых производителем извне, и при современном способе производства он не свободен даже настолько, чтобы производить продукты в желательном ему количестве. Данная степень развития производительных сил принуждает его производить в том или ином масштабе.

Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и потребностях. И те, и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в свою очередь, от общественной организации в ее целом. Конечно, и рабочий, покупающий картофель, и содержанка, покупающая кружева, следуют своему собственному мнению. Но различие их мнений объясняется различием положений, занимаемых ими в обществе, а положения их являются продуктами общественной организации.

На чем основывается вся система потребностей — на мнении или на всей организации производства? Чаще всего потребности вытекают прямо из производства или из порядка вещей, основанного на производстве. Почти все движение мировой торговли обуславливается влиянием потребностей не личного потребления, а производства. Точно так же, выбирая другой пример, мы спросим — не предполагает ли нужда в нотариусах существования данного гражданского права, представляющего только выражение известного развития собственности, т. е. производства?

Г-н Прудон не довольствуется устранением только-что упомянутых элементов из отношения между спросом и предложением. Он доводит абстракцию до последних пределов, сплавления всех производителей в *одного* производителя, всех потребителей в *одного* потребителя и заставляя этих двух химерических лиц вступать в борьбу друг с другом. Но в действительном мире вещи происходят иначе. Конкуренция в рядах предлагающих, а также и конкуренция в рядах спрашивающих составляют необходимый элемент борьбы между покупателями и продавцами — борьбы, результатом которой является продажная стоимость.

Устранив из своих рассуждений издержки производства и кон-

курению, г-н Прудон с большим удобством может привести к абсурду формулу спроса и предложения.

«Предложение и спрос, — говорит он, — суть не что иное, как две *церемониальные формы*, служащие к тому, чтобы поставить лицом к лицу потребительную и меновую стоимости и вызвать их примирение.¹ Это два электрические полюса, соединение которых должно вызывать явление сродства, называемое *обменом*». (Т. I, стр. 49 и 50.)

С таким же правом можно было бы сказать, что обмен есть только «церемониальная форма», нужная для того, чтобы поставить лицом к лицу потребителя и предмет потребления. С таким же правом можно было бы сказать, что все экономические отношения суть только «церемониальные формы», с помощью которых совершается непосредственное потребление. Предложение и спрос, — не в большей и не в меньшей степени, чем индивидуальные акты обмена, — представляют собою отношения данного производства.

Итак, в чем же состоит вся диалектика г-на Прудона? В замене понятий о потребительной и меновой стоимости, о спросе и предложении — такими абстрактными и противоречивыми понятиями, как редкость и изобилие, полезность и мнение, *один* производитель и *один* потребитель, причем оба последние оказываются *рыцарями свободной воли*.

К чему же хотел он прийти таким путем?

К тому, чтобы сохранить возможность ввести впоследствии один из им же самим устраненных элементов — и именно *издержки производства* — в качестве *синтеза* между потребительной и меновой стоимостями. Благодаря этому приему издержки производства и получают в его глазах значение *синтетической* или *конституированной* (установленной) *стоимости*.

II. Конституированная или синтетическая стоимость.

«Стоимость (меновая) есть краеугольный камень экономического здания». Стоимость «*конституированная*» (*установленная*) есть краеугольный камень системы экономических противоречий.

Что же это за «*конституированная стоимость*», составляющая все открытие г-на Прудона в политической экономии?

Раз признана полезность продукта, труд является источником

¹ В подлиннике у Маркса и в немецком переводе ошибочно поставлено слово «обращение» (circulation). У Прудона говорится о «conciliation» (примирение). См. *Proudhon, Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère*, t. I, 1846, p. 49. — *Прим. ред.*

его стоимости. Мерилом труда служит время. Относительная стоимость продуктов определяется продолжительностью труда, который нужно было употребить на их производство. Цена есть денежное выражение относительной стоимости продукта. Наконец, *конституированная* стоимость продукта есть просто-напросто стоимость, конституируемая количеством воплощенного в нем труда.

Как Адам Смит открыл *разделение труда*, так г-н Прудон, в свою очередь, претендует на открытие *«конституированной стоимости»*. Конечно, в этом открытии нет «чего-либо неслыханного», но нужно иметь в виду, что вообще нет ничего неслыханного ни в одном открытии экономической науки. Чувствуя всю важность своего открытия, г-н Прудон старается, однако, уменьшить его значение, «чтобы успокоить читателя насчет своих претензий на оригинальность и примирить с собою умы, по своей робости мало склонные к восприятию новых идей». Но оценка всего сделанного каждым из его предшественников для определения стоимости волей-неволей приводит его к откровенному признанию того обстоятельства, что ему принадлежит в этом деле наибольшая часть, львиная доля.

«Синтетическая идея стоимости была уже смутно понята Адамом Смитом... Но у Адама Смита эта идея стоимости была совершенно интуитивной, а общество не изменяет своих привычек в силу веры в интуиции; оно убеждается только фактами. Нужно было, чтобы указанная нами антиномия выразилась более заметным и отчетливым образом; Ж.-Б. Сэй был ее главным истолкователем».

Итак, вот вся история открытия синтетической стоимости; у Адама Смита смутная интуиция, у Ж.-Б. Сэя — антиномия, у Прудона — истина, конституирующая и «конституированная». И пусть не забывают этого: все другие экономисты, от Ж.-Б. Сэя до Прудона, не шли дальше антиномии. «Невероятно, что столько разумных людей могли в течение 40 лет выбиваться из сил в борьбе против такой простой идеи. Но нет, *стоимости сравниваются между собою, не имея ни одного пункта сравнения и никакой единицы меры*, — вот что решились утверждать *экономисты XIX столетия* против всех и вопреки всем, вместо того, чтобы усвоить революционную теорию равенства. *Что скажет об этом потомство?*» (Т. I, стр. 68.)

Спрошенное столь внезапно потомство прежде всего придет в смущение насчет хронологии. Ему необходимо придется задаться вопросом: разве Рикардо и его школа не были экономистами XIX столетия? Система Рикардо, основанная на том принципе, что «относительная стоимость товаров исключительно зависит от количества труда, требуемого на их производство», восходит к 1817 г.

Рикардо — глава целой школы, господствующей в Англии со времени реставрации. Учение Рикардо служит строгим, безжалостным выражением всей английской буржуазии, которая, в свою очередь, служит типом современной буржуазии. «Что скажет об этом потомство?» Оно не скажет, что г-н Прудон вовсе не знал Рикардо, ибо он говорит о нем, говорит долго, постоянно возвращается к нему и кончает тем, что обзывает «путаницей» все учение этого экономиста. Если когда-либо потомство вмешается в этот вопрос, то оно скажет, может быть, что г-н Прудон, боясь шокировать англофобию своих читателей, предпочел сделаться ответственным издателем идей Рикардо. Но как бы то ни было, оно найдет очень наивным, что г-н Прудон выдает за «революционную теорию будущего» то, что Рикардо научным образом изложил как теорию современного буржуазного общества; потомство удивится, что г-н Прудон принимает таким образом за разрешение антиномии между полезностью и меновой стоимостью ту самую формулу, которую Рикардо и его школа задолго до него представляли как научную формулу одной стороны антиномии: *меновая стоимость*. Но, раз навсегда, оставим потомство в стороне и приведем г-на Прудона на очную ставку с его предшественником Рикардо. Вот выписка из этого автора, резюмирующая его учение о стоимости:

«Полезность не может быть мерилom меновой стоимости, хотя последняя без нее немислима» (*Рикардо*, Начала политической экономии. Французский перевод Констансио. Париж 1835 г., т. I, стр. 3. Русский перевод Д. Б. Рязанова, 1910 г., стр. 5).

«Раз товары обладают полезностью, то свою меновую стоимость они черпают из двух источников: своей редкости и количества труда, требующегося для их добывания. Существуют некоторые товары, стоимость которых определяется исключительно их редкостью. Никаким трудом нельзя увеличить их количество, и потому стоимость их не может понизиться вследствие роста предложения. К такого рода товарам принадлежат некоторые редкие статуи и картины... Стоимость их... изменяется в зависимости от богатства и вкусов лиц, которые желают приобрести их». (Т. I, стр. 4 — 5; русск. перев., стр. 6.)

«Но в массе товаров, ежедневно обращающихся на рынке, такие товары составляют лишь незначительную долю. Подавляющее большинство всех благ, являющихся предметом желания, доставляется трудом. Количество их может быть увеличиваемо до бесконечности не только в одной стране, но и во в ряде стран, если только мы расположены затратить необходимый для этого труд». (Т. I, стр. 5; русск. перев., стр. 6.) «Вот почему, говоря о товарах, их меновой стоимости

и законах, управляющих их относительными ценами, мы всегда имеем в виду только такие товары, количество которых может быть увеличено человеческим трудом и в производстве которых соперничество не подвергается никаким ограничениям». (Т. I, стр. 5; русск. перев., стр. 6.)

Рикардо цитирует Адама Смита, который, по его мнению, «определил с *большой точностью* первоначальный источник всякой меновой стоимости» (Смит, т. I, гл. 5), затем он прибавляет:

«Эта теория, по которой основателем меновой стоимости всех товаров, кроме тех, количество коих не может быть увеличено человеческой промышленностью, является труд, имеет для политической экономии чрезвычайно важное значение: ничто не порождало так много ошибок и разногласий в этой науке, как именно неопределенность понятий, которые связывались со словом *стоимость*». (Т. I, стр. 8; русск. перев., стр. 7.) «Если меновая стоимость товаров определяется количеством труда, овеществленного в них, то всякое возрастание этого количества должно увеличивать стоимость соответствующего товара, а всякое уменьшение — понижает ее». (Т. I, стр. 8; русск. перев., стр. 7.)¹

Затем Рикардо упрекает А. Смита в том, что он:

1) Дает стоимости другое мерило: «иногда стоимость хлеба, иногда количество труда, которое можно купить за этот предмет» и пр. (Т. I, стр. 9 и 10; русск. перев., стр. 7.)

2) «Принимает безусловно самый принцип и, однако, ограничивает его приложение первобытным и грубым состоянием общества, предшествующим накоплению капиталов и обращению земель в частную собственность». (Т. I, стр. 21.)

Рикардо старается доказать, что поземельная собственность, т. е. рента, не может изменить относительной стоимости продуктов и что накопление капиталов оказывает лишь преходящее и колебательное действие на относительные стоимости, определяемые сравнительным количеством труда, употребленного на их производство. Для защиты этого положения он создает свою знаменитую теорию поземельной ренты, разлагает капитал на его составные части и в конечном счете не находит в нем ничего, кроме накопленного труда. Затем он развивает целую теорию заработной платы и прибыли; доказывает, что колебания заработной платы и прибыли, — которые повышаются и понижаются в обратном отношении друг к другу, —

¹ В подлиннике ошибочно показана стр. 9 французского перевода Рикардо. Прим. ред.

не влияют на относительную стоимость продукта. Он не игнорирует того влияния на эту стоимость, которое может быть оказано накоплением капиталов, природным их различием (капиталы основные и капиталы оборотные), равно как и тем или другим уровнем заработной платы. Эти вопросы главным образом и занимают Рикардо.

«Экономия в труде никогда не преминет понизить относительную стоимость товара,¹ все равно, касается ли она труда, необходимого для изготовления самого товара, или же необходимого для образования капитала, с помощью которого товар производится. (Т. I, стр. 28; ² русск. перев., стр. 15.) «Поэтому, так как труд одного дня доставляет те же самые соответственные количества рыбы и дичи, естественная норма обмена останется без изменения... как бы при этом ни изменялась заработная плата и прибыль и какое бы действие ни оказывало накопление капитала. (Т. I, стр. 32; русск. перев., стр. 16.)

«Но если мы считаем труд основной стоимости товаров, а сравнительное количество труда, необходимого для их производства, — нормой, определяющей относительное количество товаров, которые должны обмениваться друг на друга, то из этого еще не следует, что мы отрицаем случайные и временные отклонения действительной или рыночной цены товаров от этой их первичной и естественной цены. (Т. I, стр. 105; русск. перев., стр. 49.) «Цена товаров в конечном счете регулируется издержками производства, а не, как это часто утверждали, отношением между предложением и спросом». (Т. I, стр. 253; русск. перев., стр. 261.)

Лорд Лодердаль исследовал изменения меновой стоимости, исходя из закона предложения и спроса или редкости и изобилия по отношению к спросу. По его мнению, стоимость вещи может увеличиваться, когда количество ее уменьшается или когда спрос на нее увеличивается; она может уменьшаться в случае увеличения количества или уменьшения спроса. Таким образом, стоимость вещи может изменяться под влиянием восьми различных причин, а именно: четырех причин, относящихся к самой вещи, и четырех

¹ Рикардо определяет, как известно, стоимость товара «количеством труда, потребного на его изготовление». Но форма обмена, господствующая при всяком товарном производстве, а следовательно, и при капиталистическом способе производства, приводит к выражению этой стоимости не прямо в количестве труда, а в количестве какого-нибудь другого товара. Стоимость товара, выраженная в определенном количестве другого товара (будут ли это деньги, или нет — все равно), называется у Рикардо относительной стоимостью. — Ф. Энгельс.

² В подлиннике ошибочно показана стр. 48 французского перевода Рикардо. *Прим. ред.*

причин, относящихся к деньгам или ко всякому иному товару, служащему мерою ее стоимости. Вот возражение Рикардо:

«Цена товаров, составляющая предмет монополии отдельного лица или компании, изменяется в согласии с законом, который был изложен лордом Лодердалем: она понижается, если продавцы увеличивают их количество, и повышается в соответствии с усилением требования на них со стороны покупателей. Цена их не стоит ни в какой необходимой связи с их естественной стоимостью. Что же касается цены товаров, составляющих предмет конкуренции и количество которых может быть увеличено в умеренной степени, то она в конечном счете зависит не от отношения между спросом и предложением, а от увеличения или уменьшения издержек их производства». (Т. II, стр. 259; ¹ русск. перев., стр. 263 — 264.)

Мы предоставляем самому читателю сравнить точный, ясный и простой язык Рикардо с риторическими упражнениями, к которым прибегает г-н Прудон для определения относительной стоимости рабочим временем, потраченным на производство.

Рикардо показывает нам действительное движение буржуазного производства — движение, устанавливающее стоимость. Г-н Прудон, отвлекаясь от этого действительного движения, «выбивается из сил», чтобы изобресть новые способы переустройства мира по новой будто бы формуле, представляющей лишь теоретическое выражение реального движения, так хорошо изображенного Рикардо. Рикардо берет за точку отправления современное общество, чтобы показать нам, каким образом оно устанавливает (конституирует) стоимость; г-н Прудон берет за точку отправления «установленную» (конституированную) стоимость, чтобы *установить* новый социальный мир при посредстве этой стоимости. По мнению г-на Прудона, конституированная стоимость должна вращаться в кругу и снова стать конституирующим началом по отношению к миру, уже целиком конституированному именно по этому способу оценки. Для Рикардо определение стоимости рабочим временем есть закон меновой стоимости; для г-на Прудона оно есть синтез потребительной и меновой стоимости. Теория стоимости Рикардо есть научное истолкование современной экономической жизни; теория стоимости г-на Прудона есть утопическое истолкование теории Рикардо. Рикардо констатирует истинность своей формулы, выводя ее из всех экономических отношений и объясняя с ее помощью все явления, даже те, которые на первый взгляд кажутся противоречащими ей, как, напр., рента, накопление капиталов и отно-

¹ В подлиннике ошибочно показана стр. 159 французского перевода Рикардо. — *Прим. ред.*

шение заработной платы к прибыли; именно это и делает из его теории научную систему. Г-н Прудон, вновь — и притом лишь посредством совершенно произвольных гипотез — открывший эту формулу Рикардо, принужден затем изыскивать отдельные экономические факты, которые он извращает и фальсифицирует с целью употребления их в дело в качестве примеров, в качестве существующих уже приложений, в качестве начала реализации его преобразовательной идеи. (См. наш § 3, «Приложение конституированной стоимости».)

Перейдем теперь к выводам, которые делает г-н Прудон из конституированной (определенной рабочим временем) стоимости.

— Данное количество труда равноценно продукту, созданному тем же количеством труда.

— Всякий день труда стоит другого дня труда, т. е. взятый в равном количестве труд одного рабочего стоит труда другого рабочего: между ними нет качественной разницы. При равном количестве труда, продукт одного обменивается на продукт другого. Все люди суть наемные работники, и притом работники, получающие равную плату за равное рабочее время. Обмен совершается на началах полного равенства.

Представляют ли собою эти заключения естественные, строгие следствия стоимости «конституированной» или определенной рабочим временем?

Если относительная стоимость товара определяется количеством труда, требуемого на его производство, то отсюда само собою следует, что относительная стоимость труда, или заработная плата, точно так же определяется количеством труда, необходимого для производства самой заработной платы. Заработная плата, т. е. относительная стоимость или цена труда, определяется, следовательно, количеством труда, нужного для производства всего того, что требуется для поддержания жизни рабочего. *Уменьшите издержки производства шляп, и цена их, в конце концов, понизится до размеров их новой естественной цены, хотя спрос мог бы удвоиться, утроиться или учетвериться. Уменьшите посредством понижения естественной цены предметов пищи и одежды, служащих для поддержания жизни, издержки производства средств существования людей, и заработная плата, в конце концов, упадет, несмотря на то, что спрос на рабочих может очень сильно увеличиться.* (Т. II, стр. 253; русск. перев., стр. 261.)

Конечно, язык Рикардо циничен до крайности. Ставить на одну доску издержки производства шляп и издержки на содержание человека — это значит превращать человека в шляпу. Но не будем слишком громко кричать о цинизме. Цинизм заключается в вещах, а не

в словах, выражающих эти вещи. Французские писатели, как, напр., гг. Дров, Бланки, Росси и др., доставляют себе невинное удовольствие доказывать свое превосходство над английскими экономистами путем соблюдения приличий «гуманного» языка; но если они ставят цинизм языка в упрек Рикардо и его школе, то делают это лишь потому, что им неприятно видеть, как изображаются во всей их грубой наготе современные экономические отношения и разоблачаются тем самым тайны буржуазии.

Резюмируем: труд, будучи сам по себе товаром, измеряется в качестве такового количеством того труда, который необходим для производства труда-товара. А что нужно для производства труда-товара? Для этого нужно именно то рабочее время, которое затрачивается на производство предметов, необходимых для непрерывного поддержания труда, т. е. для доставления работнику возможности жить и воспроизводить свою расу. Естественная цена труда есть не что иное, как минимум заработной платы.¹ Если рыночная цена заработной платы поднимается выше ее естественной цены, то случается это именно потому, что закон стоимости, возведенный г-ном Прудонем в принцип, находит свой противовес в колебаниях отношения спроса к предложению. Но минимум заработной платы остается, тем не менее, центром, к которому тяготеют рыночные цены заработной платы.

Таким образом, измеряемая рабочим временем относительная стоимость роковым образом оказывается формулой современного рабства работника, вместо того, чтобы быть, как того желает г-н Прудон, «революционной теорией» освобождения пролетариата.

Посмотрим теперь, во скольких случаях применение рабочего времени, в качестве мерила стоимости, оказывается несовместимым

¹ Закон, по которому «естественная», т. е. нормальная, цена рабочей силы совпадает с минимумом заработной платы, т. е. с эквивалентом стоимости средств существования, безусловно необходимых для жизни рабочего и продолжения его расы, — этот закон был впервые установлен мною в «Umriss zu einer Kritik der Nationalökonomie» («Deutsch-Französische Jahrbücher», Paris 1844) и в «Lage der arbeitenden Klasse in England». Как видно из вышеизложенного, Маркс принял тогда этот закон. У нас обоих заимствовал его Лассаль. Но, хотя заработная плата и имеет в действительности постоянное стремление приблизиться к своему минимуму, упомянутый закон все-таки не верен. Тот факт, что рабочая сила оплачивается обыкновенно в среднем ниже своей стоимости, не может изменить ее стоимости. В «Капитале» Маркс исправил вышеприведенное положение (отдел: «Покупка и продажа рабочей силы»), а также выяснил обстоятельства (глава XXIII: «Всеобщий закон капиталистического накопления»), позволяющие при капиталистическом производстве все более и более опускать цену рабочей силы ниже ее стоимости. — Ф. Э.

с существующим антагонизмом классов и с неравным распределением продукта труда между его непосредственным производителем и его обладателем (капиталистом).

Возьмем какой-нибудь продукт, напр., полотно. Этот продукт, как таковой, включает в себе известное количество труда. Это количество труда останется неизменным, как бы ни изменилось взаимное положение лиц, участвовавших в производстве нашего продукта.

Возьмем другой продукт: сукно, и положим, что его производство потребовало того же количества труда, что и полотно.

Обменивая эти продукты один на другой, мы обмениваем равные количества труда. Обменивая равные количества труда, мы еще не заставляем производителей поменяться своим взаимным положением, точно так же, как не изменяем взаимного отношения работников и фабрикантов. Утверждать, что этот обмен продуктов, стоимость которых измеряется рабочим временем, ведет к равному вознаграждению всех производителей, это значит предполагать, что равное участие в продукте существовало еще до совершения обмена. Когда произойдет обмен сукна на полотно, производители сукна получают часть полотна, соответствующую прежней их части в сукне.

Г-н Прудон принимает за следствие то, что в лучшем случае есть не более, как голословное предположение. Отсюда и происходит его иллюзия.

Пойдем далее.

Принимая рабочее время за мерилло стоимости, предполагаем ли мы, по крайней мере, что рабочие дни *эквивалентны* и что день одного человека стоит дня другого? Нет.

Допустим на минуту, что день ювелира равноценен трем дням ткача; в этом случае всякое изменение стоимости алмазов по отношению к тканям, — оставляя в стороне временные изменения, вызываемые колебаниями в спросе и предложении, — может быть причинено лишь уменьшением или увеличением рабочего времени, употребленного той или другой стороной на производство. Если три дня труда различных работников будут относиться между собой, как 1 : 2 : 3, то всякое изменение в относительной стоимости их продуктов будет пропорционально этим же числам — 1 : 2 : 3. Таким образом можно измерять стоимость рабочим временем, независимо от различия в стоимости рабочих дней; но, чтобы прилагать подобное мерилло, нужно иметь сравнительную таблицу стоимостей различных рабочих дней; эта сравнительная таблица устанавливается конкуренцией.

Стоит ли час вашей работы часа моей? Это вопрос, разрешаемый конкуренцией.

Конкуренция, по мнению одного американского экономиста, определяет, сколько дней простого (неквалифицированного) труда содержится в одном дне сложного (квалифицированного) труда. Не предполагает ли это приведение дней сложного труда к дням простого, что за мерило стоимостей принимается именно простой труд? То обстоятельство, что мерилом стоимости служит одно лишь количество труда, без всякого отношения к его качеству, предполагает, в свою очередь, что простой труд сделался основой промышленности. Оно предполагает, что различные роды труда уравниваются путем подчинения человека машине или путем крайнего разделения труда, что труд оттесняет человеческую личность на задний план, что часовой маятник сделался точною мерою относительной деятельности двух работников, точно так же, как он служит мерою скорости двух локомотивов. Поэтому не следует говорить, что час (труда) одного человека стоит часа другого, но вернее будет сказать, что человек в течение одного часа стоит человека в течение другого часа. Время — все, человек — ничто: он только воплощение времени. Теперь уже нет более речи о качестве. Количество решает все: час за час, день за день; но такое уравнение труда не есть дело вечной справедливости г-на Прудона: оно просто-напросто результат современной индустрии.

На фабрике, работающей с помощью машин, труд одного рабочего почти ничем не отличается от труда другого: рабочие могут различаться только количеством времени, употребляемого ими на работу. Тем не менее, эта количественная разница делается, с известной точки зрения, качественной, поскольку время, употребляемое на труд, зависит отчасти от причин чисто материальных, каковы, напр., физическое сложение, возраст, пол; отчасти же от чисто отрицательных моральных условий, каковы, напр., терпение, бесстрашие, прилежание. Наконец, если и встречается качественная разница в труде различных рабочих, то это — качество наихудшего качества, которое далеко не представляет собою специальной отличительной особенности. Вот каково в последнем счете положение вещей в современной промышленности. И по этому-то, уже осуществившемуся, равенству машинного труда г-н Прудон проводит рубанком «уравнения», которое он надеется повсюду осуществить в «будущем времени».

Все «уравнительные» следствия, выводимые г-ном Прудоном из учения Рикардо, основываются на коренном заблуждении. Дело в том, что он смешивает стоимость товаров, измеряемую количеством заключенного в них труда, со стоимостью товаров, измеряемой

«стоимостью труда». Если бы эти два способа измерения стоимости товаров сливались в один, то можно было бы с одинаковым правом сказать: относительная стоимость какого бы то ни было товара измеряется количеством заключенного в нем труда; или: она измеряется количеством труда, которое можно *на нее* купить; или еще иначе: она измеряется количеством труда, за которое можно *ее* купить. Но дело происходит далеко не так. Стоимость труда так же мало может служить мерой стоимостей, как и стоимость всякого другого товара. Достаточно нескольких примеров, чтобы еще лучше уяснить сказанное.

Если мера хлеба стоит теперь двух дней труда, между тем как прежде она стоила одного, то стоимость ее возрастет вдвое против своей первоначальной величины; но эта мера хлеба не может приводить в действие вдвое большего количества труда, потому что она продолжает содержать в себе все то же количество пищевых веществ, что и прежде. Таким образом, стоимость хлеба, измеряемая количеством труда, употребленного на его производство, возрастает вдвое; но измеряемая количеством труда, которое может быть за нее куплено, или количеством труда, которое может *ее* купить, она была бы еще очень далека от удвоения. С другой стороны, если бы тот же самый труд стал производить вдвое больше одежды, чем прежде, то относительная стоимость одежды упала бы на половину; но, тем не менее, покупательная сила этого двойного количества одежды по отношению к труду не стала бы вдвое меньше, или, иначе, за то же самое количество труда нельзя было бы купить вдвое большего количества одежды; и это потому, что половина изготовляемого теперь платья будет всегда оказывать рабочему такую же услугу, как и раньше.

Таким образом, определять относительную стоимость продуктов стоимостью труда — значит противоречить фактам экономическим. Это значит определять относительную стоимость посредством другой относительной стоимости, которая сама еще требует определения; это значит возвращаться в порочном кругу.

Нет никакого сомнения в том, что г-н Прудон смешивает два способа измерения — измерение посредством рабочего времени, необходимого для производства какого-либо товара, и измерение посредством стоимости труда. «Труд всякого человека, — говорит он, — может купить стоимость, которую он в себе заключает». Таким образом, по его мнению, известное количество труда, заключенного в продукте, равняется вознаграждению рабочего, т. е. равняется стоимости труда. На том же самом основании он смешивает издержки производства с заработной платой.

«Что такое заработная плата? Это издержки производства хлеба и т. д., это полная цена всякого товара». Несколько далее он говорит: «Заработная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство». Что такое заработная плата? Это стоимость труда.

Адам Смит иногда принимает за меру стоимости рабочее время, необходимое для производства товара, а иногда стоимость самого труда. Рикардо раскрыл эту ошибку, ясно показав различия между обоими способами измерения. Г-н Прудон еще усиливает ошибку Адама Смита, отождествляя два понятия, которые тот ставит лишь рядом.

Г-н Прудон ищет мерила относительной стоимости товаров для того, чтобы найти затем правильную пропорцию, в которой рабочие должны участвовать в продукте, или, другими словами, чтобы определить относительную стоимость труда. Для определения же мерила относительной стоимости товаров он не придумал ничего лучшего, как выдать за эквивалент определенного количества труда ту сумму продуктов, которая им создана, что равносильно предположению, будто все общество состоит из одних только рабочих, получающих свой собственный продукт в виде заработной платы. Кроме того, он принимает за существующий факт равноценность рабочих дней различных работников. Словом: он ищет мерила относительной стоимости товаров, чтобы найти равное вознаграждение трудящихся, и принимает за существующий факт равенство заработных плат, чтобы, исходя из этого равенства, найти мерило относительной стоимости товаров. Какая удивительная диалектика!

«Сэй и следовавшие за ним экономисты замечали, что, принимая труд за принцип и действительную причину стоимости, мы попадаем в порочный круг, так как труд сам подлежит оценке и является таким же товаром, как и все другие. Замечу с дозволения экономистов, что, говоря таким образом, они обнаруживают поразительную невнимательность. Труд приписывается *стоимость* не потому, что он сам есть товар, а потому, что, по предположению, он потенциально (в возможности) заключает в себе стоимость. Стоимость труда есть фигуральное выражение, вторжение причины в сферу следствия. Это такая же фикция, как и *производительность капитала*. Труд производит, капитал стоит. Опуская средние термины, говорят о стоимости труда... Труд, как и свобода... по своей природе есть нечто неясное и неопределенное, качественно определяющееся лишь в своем объекте; иначе сказать, он становится реальностью через свой продукт.

«Но к чему настаивать? Когда экономист (читайте: г-н Прудон)

изменяет название вещей, *vera rerum vocabula*, он сам косвенно сознается в своем бессилии и слагает оружие». (Прудон, I, стр. 188.)

Как мы уже видели, Прудон превращает стоимость труда в «действительную причину» стоимости продуктов, так что *заработная плата*—официальное название «стоимости труда»—составляет, по его мнению, полную цену всякой вещи. Вот почему его смущает возражение Сэя. В труде-товаре, этой ужасной действительности, он видит только грамматическое сокращение. Значит, и все современное общество, основанное на труде-товаре, опирается отныне лишь на поэтическую вольность, на фигуральное выражение. И если общество захочет «уничтожить все те неудобства», от которых оно страдает, то ему стоит только устранить неблагозвучные выражения, изменить язык; а для этого ему нужно обратиться к Академии и потребовать нового издания ее словаря. После всего нами слышанного не трудно понять, зачем в сочинении, посвященном политической экономии, г-н Прудон счел нужным войти в длинные рассуждения об этимологии и о других частях грамматики. Так, он пускается, напр., в ученое обсуждение устарелого словообразования *servus* и *servare*. Эти филологические рассуждения имеют глубокий эвотерический смысл, они составляют существенную часть аргументации г-на Прудона.

Поскольку труд продается и покупается, он есть такой же товар, как и все другие, и имеет, следовательно, меновую стоимость. Но стоимость труда, или труд в качестве товара, так же мало производит, как стоимость хлеба, — или хлеб как товар, — служит пищею.

Труд «стоит» больше или меньше, смотря по большей или меньшей дороговизне съестных припасов, по той или иной величине спроса и предложения рабочих рук и пр., и пр.

Труд вовсе не есть «нечто неопределенное». Продается и покупается не труд вообще, а совершенно определенный труд. И если он качественно определяется объектом, то и объект, в свою очередь, определяется специфическими качествами труда.

Поскольку труд продается и покупается, он сам есть товар. Зачем его покупают? «Потому что он потенциально заключает в себе стоимость». Но когда говорят, что такая-то вещь есть товар, то речь идет уже не о цели, ради которой ее покупают, т. е. не о пользе, которую хотят извлечь из нее, не об употреблении, которое думают из нее сделать. Она — товар как предмет торговли. Все рассуждения г-на Прудона сводятся к следующему: труд покупается не ради непосредственного потребления. Конечно, нет, — его покупают в качестве средства производства, как купили бы, напр., машину. Поскольку труд есть товар, он имеет стоимость, но не производит.

Г-н Прудон мог бы с таким же точно правом сказать, что товаров вовсе не существует, так как всякий товар покупается лишь ради той или иной его полезности и никогда в качестве товара как такового.

Измеряя стоимость товаров трудом, г-н Прудон сам смутно догадывается, что нельзя не подвести под это общее мерило и труд, поскольку труд имеет стоимость, является товаром. Он предчувствует также, что это значит признать минимум заработной платы естественной и нормальной ценой непосредственного труда, а следовательно помириться с современным общественным строем. Чтобы увернуться от этого фатального вывода, он делает крутой поворот и утверждает, что труд не товар и не может иметь стоимости. Он забывает при этом, что сам же принял стоимость труда за мерило, забывает, что вся его система основана на труде-товаре, на труде-предмете торговли, который продается, покупается, обменивается на продукты и т. д., наконец, на труде, составляющем непосредственный источник дохода рабочего. Он забывает все.

Чтобы спасти свою систему, он решается пожертвовать ее основой.

Et propter vitam vivendi perdere causas!

Мы пришли теперь к новому определению *«конституированной стоимости»*.

«Стоимость есть отношение пропорциональности продуктов, составляющих богатство».

Заметим, во-первых, что в простом выражении *«относительная или меновая стоимость»* содержится уже понятие о том или другом отношении, в котором продукты обмениваются друг на друга. Называя это отношение *«отношением пропорциональности»*, вы ровно ничего не изменяете в относительной стоимости, кроме выражения. Повышение или понижение стоимости продукта нисколько не уничтожает его свойства — находиться в том или другом *«отношении пропорциональности»* к другим продуктам, составляющим богатство.

К чему же этот новый термин, не вносящий нового понятия?

«Отношение пропорциональности» наводит на мысль о многих других экономических отношениях: напр., о пропорциональности производства, о правильной пропорции между спросом и предложением и т. д.; и обо всем этом думал г-н Прудон, формулируя свою дидактическую парафразу меновой стоимости.

Прежде всего: так как относительная стоимость продуктов определяется сравнительным количеством труда, употребленного на производство каждого из них, то в данном случае отношение пропорциональности обозначает относительное количество различ-

ных продуктов, могущих быть произведенными в данный промежуток времени и способных поэтому обмениваться друг на друга.

Посмотрим, что выводит г-н Прудон из этого отношения пропорциональности.

Каждому известно, что в тех случаях, когда спрос и предложение взаимно уравниваются, относительная стоимость каждого продукта с точностью определяется заключенным в нем количеством труда, т. е. эта относительная стоимость выражает отношение пропорциональности именно в том смысле, который мы только что установили. Г-н Прудон извращает действительный порядок вещей. Начинайте с измерения относительной стоимости продуктов количеством заключенного в них труда, — говорит он, — и тогда спрос и предложение, несомненно, придут в равновесие. Производство будет соответствовать потреблению, продукты всегда будут обмениваться беспрепятственно, их рыночные цены будут с точностью выражать их истинную стоимость. Вместо того, чтобы говорить, как все люди: в хорошую погоду можно встретить много гуляющих, г-н Прудон отправляет людей гулять, чтобы обеспечить им хорошую погоду.

То, что г-н Прудон выдает за следствие, вытекающее из априорного определения меновой стоимости рабочим временем, могло бы иметь место разве лишь в силу закона приблизительно такого содержания: отныне продукты должны обмениваться в точном соответствии с потраченным на них рабочим временем. Каково бы ни было отношение спроса к предложению, обмен товаров всегда должен совершаться так, как будто бы произведенное количество их вполне соответствовало спросу. Пусть г-н Прудон возьмется формулировать и провести такой закон; в таком случае мы не будем требовать от него доказательств. Но если он, напротив, желает оправдать свою теорию как экономист, а не как законодатель, то он должен будет доказать, что необходимое на производство товара *время* с точностью обозначает степень его *полезности* и выражает его пропорциональное отношение к спросу, а следовательно и к сумме общественного богатства. В таком случае, при продаже продуктов по цене, равной издержкам их производства, предложение и спрос всегда будут находиться в равновесии, так как предполагается, что издержки производства выражают истинное отношение предложения к спросу.

Г-н Прудон, действительно, старается доказать, что рабочее время, необходимое для производства продукта, выражает истинное отношение его к потребностям, так что вещи, на производство

которых нужно наименее времени, имеют наиболее непосредственную полезность, и так далее, в том же порядке. Производство какого-нибудь предмета роскоши уже доказывает, по этой теории, что у общества есть излишнее время, дающее ему возможность удовлетворять известную потребность в роскоши.

Что касается доказательства этого положения, то г-н Прудон находит его в том замеченном им факте, что наиболее полезные вещи требуют наименьшего времени для своего производства и что общество всегда начинает с самых легких отраслей промышленности, постепенно переходя затем к «производству предметов, стоящих большего количества рабочего времени и соответствующих потребностям высшего порядка».

Г-н Прудон заимствует у Дюпуйе пример добывающей промышленности, — сбор плодов, пастушество, охота, рыболовство и пр., — промышленности самой легкой, требующей наименьших издержек и поэтому начатой человеком «в первый же день его второго творения». Первый день его первого творения изложен в Книге Бытия, где бог является первым в мире промышленником.

В действительности дело идет совсем иначе, чем думает г-н Прудон. С самого начала цивилизации производство основывается на антагонизме сословий, состояний, классов, наконец — антагонизме накопленного труда и труда живого. Без антагонизма нет прогресса: таков закон, которому подчинялась цивилизация до наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря господству классового антагонизма. Говорить, что люди потому могли предаваться производству предметов высшего порядка и более сложным отраслям промышленности, что все потребности всех работников были удовлетворены, — значит отвлекаться от антагонизма классов и извращать весь ход исторического развития. С таким же правом можно было бы сказать, что во времена римских императоров мурены только потому откармливались в искусственных прудах, что для всего римского народа имелась изобильная пища; между тем как совершенно наоборот: римскому народу нехватало необходимых средств для покупки пищи, римские же аристократы, действительно, не имели недостатка в рабах, чтобы кормить ими своих мурен.

Цены жизненных припасов почти постоянно возрастали, тогда как цены мануфактурных продуктов и предметов роскоши почти постоянно падали. Возьмем хотя бы сельское хозяйство: самые необходимые предметы — хлеб, мясо и т. п. — дорожают, цена же хлопка, сахара, кофе и т. п. постоянно, и в поразительной пропор-

цпи, понижается. Даже между собственно съестными припасами предметы роскоши, вроде артишоков или спаржи, стоят в настоящее время сравнительно дешевле, чем припасы первой необходимости. В наше время излишнее производится легче необходимого. Наконец, в различные исторические эпохи взаимное отношение цен не только различно, но противоположно. Во все продолжение средних веков земледельческие продукты были относительно дешевле мануфактурных; в новейшие же времена между ними существует обратное отношение. Следует ли из этого, что полезность земледельческих продуктов уменьшилась со времени средних веков?

Потребление продуктов определяется социальными условиями, в которые поставлены потребители, а сами эти условия основаны на классовом антагонизме.

Хлопок, картофель и водка представляют собою наиболее распространенные предметы потребления. Картофель породил золотуху; хлопок в большинстве случаев вытеснил лен и шерсть, хотя эти последние продукты во многих отношениях — напр., с чисто гигиенической точки зрения — гораздо полезнее хлопка; наконец, водка взяла верх над пивом и вином, хотя по общему признанию водка, как предмет потребления, оказывается ядом. В течение целого века правительства тщетно боролись с этим европейским опиум. Экономика победила; она продиктовала свои законы потреблению.

Почему же хлопок, картофель и водка стали краеугольным камнем буржуазного общества? Потому, что их производство требует наименьшего труда, и они имеют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему минимум цены обуславливает максимум потребления? Уж не вследствие ли абсолютной, внутренней полезности дешевых предметов, их способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего как человека, а не человека как рабочего? — Нет, это потому, что в обществе, основанном на *нищете*, самые *нищенские* продукты имеют роковое преимущество служить для потребления широких масс населения.

Говорить, что так как самые дешевые предметы имеют наиболее широкий круг потребления, то они обладают, следовательно, самую большую полезностью, — говорить это теперь значит утверждать, что громадное распространение водки, обуславливаемое дешевизной ее производства, есть самое убедительное доказательство ее полезности; это значит говорить пролетарию, что для него картофель полезнее мяса; это значит признать существующий порядок вещей; это значит, наконец, вместе с г-ном Прудоном выступать апологетом общества, которого не понимаешь.

В будущем обществе, где исчезнет антагонизм классов, где не будет и самих классов, потребление не будет определяться *минимумом* времени, необходимого на производство, а, наоборот, количество времени, которое будут посвящать на производство того или другого предмета, будет определяться степенью его полезности.

Возвратимся, однако, к тезису г-на Прудона. Коль скоро рабочее время, необходимое на производство предмета, не говорит о степени его полезности, то и меновая стоимость этого предмета, заранее определенная воплощенным в нем рабочим временем, ни в каком случае не может регулировать правильного отношения предложения к спросу, т. е. отношения пропорциональности в том смысле, который придает ему пока г-н Прудон.

Отношение пропорциональности между предложением и спросом, т. е. пропорциональное отношение данного продукта ко всей совокупности производства, устанавливается вовсе не продажей этого продукта по цене, равной издержкам его производства. Лишь *колебания спроса и предложения* указывают производителям то количество, в котором следует произвести данный товар, чтобы получить в обмен на него по крайней мере издержки производства. И так как эти колебания непрерывны, то непрерывно также и движение прилива и отлива капиталов в различных отраслях промышленности.

«Только путем таких изменений и уделяется ровно столько капитала, сколько требуется, а не больше, на производство различных товаров, на которые существует спрос. С повышением или понижением цен, прибыль поднимается выше или падает ниже общей нормы, и капитал то притекает в известную отрасль промышленности, в которой произошло такое изменение, то уходит из нее». «Когда мы посмотрим на рынки большого города и заметим, как регулярно снабжаются они местными и иностранными товарами в требуемом количестве при всех обстоятельствах, несмотря на изменения спроса в зависимости от прихотей или перемены в величине населения, как редко происходит переполнение от слишком изобильного предложения или возникает непомерная дороговизна от несоответствия между спросом и предложением, — мы должны будем признать, что принцип, распределяющий капитал по всем отраслям производства в требуемых размерах, проявляет свое действие гораздо сильнее, чем обыкновенно полагают». (*Рикардо*, т. I, стр. 105 и 108; русск. перев., стр. 49 и 50.)

Если г-н Прудон признает определение стоимости продуктов рабочим временем, то он должен признать также и это колебательное движение, которое одно только и делает из рабочего времени мерило

стоимости. ¹ Конституированного «отношения пропорциональности» вовсе не существует, а есть только конституирующее движение.

Мы только-что видели, в каком смысле можно справедливо говорить о «пропорциональности» как о следствии определения стоимости рабочим временем. Теперь мы увидим, как это измерение стоимости временем, названное г-ном Прудоном «законом пропорциональности», превращается в закон *диспропорциональности*.

Всякое новое изобретение, дозволяющее производить в один час то, что производилось прежде в два часа, обесценивает все однородные продукты, имеющиеся на рынке. Конкуренция вынуждает производителя продавать продукт двух часов не дороже продукта одного часа. Она реализует закон, по которому относительная стоимость продукта определяется рабочим временем, необходимым для его производства. Тот факт, что рабочее время служит мерилom меновой стоимости, становится, таким образом, законом постоянного *обесценения* труда. Более того. Обесценение распространяется не только на товары, вынесенные на рынок, но и на орудия производства — на всю мастерскую. На этот факт указывает уже Рикардо, говоря: «Постоянно увеличивая легкость производства, мы постоянно уменьшаем стоимость некоторых ранее произведенных вещей». (Т. II, стр. 59.) ² Сисмонди идет еще дальше. Он видит в этой «стоимости, конституированной» рабочим временем, источник всех противоречий между современной промышленностью и торговлей. «Меновая стоимость, — говорит он, — всегда определяется в конечном счете количеством труда, необходимого на приобретение данной вещи; не труда, действительно на нее потраченного, а того, которого она впредь будет стоить при данных, быть может, усовершенствованных средствах производства. Это количество труда, хотя и не легко определяемое с точностью, всегда верно устанавливается конкуренцией... Оно служит основанием для расчетов как при запросе цен со стороны продавца, так и при предложении цены со стороны покупателя. Первый станет, быть может, утверждать, что вещь стоила ему десяти дней труда, но если второй знает, что впредь она может производиться в восемь дней и если конкуренция представит тому убедительные для обеих сторон доказательства, то стои-

¹ Как видно из рукописной заметки Энгельса, фотокопия которой хранится в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса, Энгельс предполагал в данном месте добавить следующие слова: «в обществах, основанных на индивидуальном обмене». — *Прим. ред.*

² В подлиннике ошибочно показана стр. 58 французского перевода Рикардо. *Прим. ред.*

мость сведется к восьми дням, и торг будет заключен по этой цене. И продавец, и покупатель знают, конечно, что вещь полезна, что она желательна, что без потребности в данной вещи нет возможности продать ее; но определение цены вещи не сохраняет никакого отношения к ее полезности». («Этюды», т. II, стр. 267, брюссельское издание.)

Очень важно не упускать из виду того обстоятельства, что стоимость вещи определяется не временем, в продолжение которого она была произведена, а *минимумом* времени, в которое она может быть произведена; этот минимум констатируется конкуренцией. Предположим на минуту, что исчезла конкуренция, и нет, следовательно, никакой возможности констатировать минимума труда, необходимого на производство данного продукта. Что тогда произойдет? Достаточно будет употребить на производство предмета шесть часов труда, чтобы иметь право требовать за него, по теории г-на Прудона, в шесть раз больше, чем требует тот, кто потратил лишь один час на производство такого же предмета.

Вместо «отношения пропорциональности» мы имеем отношение диспропорциональности, если только вообще мы еще сохраняем какие бы то ни было отношения, хорошие или плохие.

Постоянное обесценение труда есть лишь одна сторона, лишь одно из следствий оценки товаров рабочим временем. Этим же способом оценки объясняется также чрезмерное повышение цен, излишнее производство и много других проявлений промышленной анархии.

Но порождает ли рабочее время, принятое за мерилло стоимости, хотя бы то пропорциональное разнообразие продуктов, которое так восхищает г-на Прудона?

Как раз наоборот: оно приводит в товарном мире к господству той же монополии со всею ее монотонностью,— монополии, которая, как известно всем и на глазах у всех, охватывает уже область орудий производства. Быстро прогрессировать могут еще лишь некоторые отрасли промышленности, как, напр., хлопчатобумажная. Естественным следствием такого прогресса является быстрое понижение цен на продукты, положим, хлопчатобумажной мануфактуры; но по мере того, как удешевляется хлопок, цена льна испытывает сравнительное повышение. Что же выходит из этого? Лен заменяется хлопком. Таким образом, лен изгнан уже почти из всей Северной Америки, и вместо пропорционального разнообразия продуктов мы имеем царство хлопка.

Что же остается от этого «отношения пропорциональности»?

Ничего, кроме пожеланий добросовестного человека, которому хочется, чтобы товары производились в пропорциях, позволяющих продавать их по добросовестным ценам. Во все времена добрые буржуа и экономисты-филантропы любили выражать это невинное пожелание.

Дадим слово старику Буагильберу:

«Цена товаров, — говорит он, — всегда должна быть *пропорциональна*, так как только подобное их согласие позволяет им жить вместе и дает им способность *в каждую данную минуту* (вот она, прудоновская постоянная способность к обмену) взаимно порождать друг друга... Богатство есть не что иное, как этот непрерывный обмен между людьми, занятиями и т. д., поэтому было бы ужасным ослеплением искать причины нищеты вне перерывов в этих сношениях, — перерывов, причиняемых нарушениями пропорциональности цен». («Dissertation sur la nature des richesses», édit. Daire.)

Послушаем также и современного экономиста:

«Великий закон, который должен быть применен к производству, есть *закон пропорциональности* (the law of proportion); только он один может сохранить непрерывность стоимости... Эквивалент должен быть обеспечен... Все нации пытались в различные эпохи, посредством многочисленных торговых регламентов и ограничений, осуществить, до известной степени, этот закон пропорциональности; но присущий человеческой природе эгоизм побуждает людей низвергать всю эту систему регламентаций. Производство, поставленное в надлежащей пропорции (proportionate production), есть полное осуществление истинной социально-экономической науки». (W. Atkinson, Principles of political economy, Лондон, 1840 г., стр. 170 — 195.)

Fuit Troja. Эта истинная пропорция между спросом и предложением, снова начинающая являться предметом таких горячих пожеланий, давно уже перестала существовать. Она перешла в разряд древностей. Она была возможна лишь в те времена, когда средства производства были ограничены, и обмен не выходил из самых узких пределов. С появлением крупной промышленности правильная пропорциональность должна была исчезнуть, и производство принуждено роковым образом проходить через ряд непрерывно сменяющих друг друга состояний: процветания, депрессии, кризиса, застоя, нового процветания и т. д.

Люди, подобно Сисмонди, желающие возвратиться к правильной пропорциональности производства, сохраняя, однако, все основы современного общества, являются реакционерами, так как, ради

последовательности, они должны желать возвращения и всех прочих условий промышленности прошедших времен.

Что удерживало производство в более или менее правильных пропорциях? Спрос, господствовавший над предложением и ему предшествовавший. Производство, шаг за шагом, следовало за потреблением. Крупная промышленность, вынуждаемая своими собственными орудиями производства производить все в больших и больших размерах, не может ждать спроса. Производство предшествует потреблению, предложение вызывает спрос.

В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, являясь источником стольких бедствий, есть в то же время источник всякого прогресса.

Итак, одно из двух:

Или вы желаете правильной пропорциональности прошлых веков вместе с современными средствами производства и являетесь, в таком случае, одновременно и реакционером, и утопистом.

Или вы желаете прогресса без анархии; тогда, чтобы сохранить производительные силы, откажитесь от индивидуального обмена.

Индивидуальный обмен совместим лишь с мелкой промышленностью прошлых веков и со свойственной ей «правильной пропорциональностью» или — с крупной промышленностью вместе со всей ее свитой нищеты и анархии.

Изо всего нами сказанного очевидно, что определение стоимости рабочим временем, т. е. та формула, которую г-н Прудон выдает нам за формулу будущего возрождения, есть не что иное, как научное выражение экономических отношений современного общества, что, задолго до г-на Прудона, было точно и ясно доказано Рикардо.

Но принадлежит ли г-ну Прудону, по крайней мере, «уравнительное» применение этой формулы? Он ли первый задумал преобразовать общество путем превращения всех людей в непосредственных работников, обменивающихся равными количествами труда? Имеет ли он право упрекать коммунистов — людей, лишенных всяких познаний в политической экономии, «людей упрямо глупых», «райских мечтателей» — упрекать их в том, что они не нашли до него «решения проблемы пролетариата»?

Кто хоть сколько-нибудь знаком с развитием политической экономии в Англии, тот не может не знать, что в разное время почти все социалисты этой страны делали уравнительные выводы из теории Рикардо. Мы могли бы указать г-ну Прудону на «Политическую

экономии» Гопкинса,¹ выпешую в 1822 г.; на сочинения: *Виллиама Томпсона*, An inquiry into the Principles of the distribution of wealth, most conducive to human happiness, 1824 г.;² *Т. Р. Эдмондса*, Practical, moral and political Economy, 1828 г., и проч., и проч., и проч. и еще четыре страницы таких и проч., и проч., и проч. Мы приведем только слова одного английского коммуниста, Брэй. Мы выпишем главнейшие места из его замечательного произведения: «Labour's wrongs and Labour's remedy», Leeds 1839; и мы довольно долго остановимся на нем, во-первых, потому, что Брэй мало еще известен во Франции, а во-вторых, еще и потому, что в произведениях этого писателя мы нашли, как нам кажется, ключ ко всем прошедшим, настоящим и будущим сочинениям г-на Прудона.

«Выяснение основных принципов есть единственное средство достичь истины. Поднимаемся же сразу к самому источнику происхождения правительств. Исследуя причины этого явления, мы найдем, что всякая правительственная форма, всякая социальная и политическая несправедливость вытекает из господствующей в настоящее время социальной системы, — из *института собственности в его современной форме* (the institution of property as it at present exists). Поэтому, чтобы навсегда прекратить существующие несправедливости и бедствия, необходимо *разрушить современный общественный строй в самой его основе...* Поражая экономистов их собственным оружием и на их собственной почве, мы отнимаем повод к бессмысленной болтовне о сторонниках «*делезки*» и о *доктринерах*, болтовне, которую они всегда готовы подхватить. Если только экономисты не захотят отступить от тех общественных истин и принципов, на которых построены их собственные аргументы, то они не будут в состоянии опровергнуть выводов, к которым мы придем, следуя этому методу» (Брэй, стр. 17 и 41). «*Только труд создает стоимости* (it is labour alone which bestows value)... Каждый человек имеет неоспоримое право на все, что может доставить ему его честный труд. Присваивая себе плоды своего труда, он не совершает никакой несправедливости по отношению к другим людям, так как нисколько не нарушает их права действовать таким же образом... Все понятия о высших и низших, о господах и слугах порождены пренебрежением к основным принципам и возникшим отсюда *неравенством* имуществ (and to the consequent rise of

¹ Повидимому, у Маркса идет речь о книге Томаса Гопкинса: «Economic inquiries relative to the laws, which regulate rent, profit, wages and the value of money» (London, 1822). — *Прим. ред.*

² В подлиннике год издания был ошибочно указан 1827. — *Прим. ред.*

inequality of possessions). Пока сохранится это неравенство, не будет возможности ни искоренить такие идеи, ни ниспровергнуть основанные на них учреждения. До сих пор еще многие питают напрасную надежду улучшить господствующий теперь противоестественный порядок вещей посредством уничтожения *существующего неравенства*, не касаясь при этом его *причины*; но мы скоро докажем, что правительство является не причиной, а следствием, что оно не создает, а, наоборот, само создано, что, словом, оно само составляет *результат неравенства имущества* (the offspring of inequality of possessions) и что неравенство имущества неразрывно связано с существующей теперь социальной системой». (Брэй, стр. 33, 36 и 37.)

«Система равенства имеет за себя не только величайшие преимущества, но еще и высшую справедливость... Каждый человек является необходимым звеном в той цепи действий, которая отправляется от идеи, чтобы прийти, быть может, к производству штуки сукна. Поэтому из различия наших склонностей к тем или другим профессиям нельзя еще вывести заключения, что труд одного должен вознаграждаться лучше труда другого. Изобретатель, кроме заслуженного им денежного вознаграждения, всегда получит еще дань удивления, которое вызывает в нас только гений».

«По самой природе труда и обмена, строгая справедливость требует, чтобы выгоды обменивающихся были не только *взаимны*, но и *равны* (all exchangers should be not only mutually, but they should likewise be equally benefitted). Существует только два предмета, которые люди могут между собою обменивать, а именно: труд и продукты труда. При справедливой системе обмена стоимость всех продуктов определялась бы *полною совокупностью издержек их производства*, и *равные стоимости обменивались бы всегда на равные стоимости* (if a just system of exchanges were acted upon, the value of all articles would be determined by the entire cost of production, and equal values should always exchange for equal values). Напр., если шляпочник, употребляющий день на производство шляпы, и башмачник, изготовляющий в то же время пару башмаков (предполагая, что оба употребляют сырой материал одинаковой стоимости), обмениваются этими продуктами, извлеченная ими выгода будет взаимна и в то же время равна. Здесь выгода одной стороны не может быть убытком для другой, так как обе доставили одинаковое количество труда и употребляли материалы одинаковой стоимости. Но если бы, при тех же предположенных выше условиях, шляпочник приобрел *две* пары башмаков за *одну* шляпу, то очевидно, что обмен

был бы несправедлив. Шляпочник лишил бы ба皮鞋ника одного дня труда и, поступая таким образом при всяком обмене, приобрел бы за свой *полугодовой* труд продукт *целого года* труда другого лица. До сих пор мы постоянно следовали этой в высшей степени несправедливой системе обмена: *рабочие* постоянно *отдавали* капиталисту труд целого года в обмен за стоимость полугода (the workmen have given the capitalist the labour of a whole year, in exchange for the value of only half a year). Именно отсюда, а вовсе не из предполагаемого неравенства физических и умственных сил индивидуумов, произошло неравенство богатства и власти. Неравенство в обмене, различие цен при покупках и продажах может сохраниться лишь при том условии, что капиталисты навсегда останутся капиталистами, а рабочие — рабочими; одни — классом тиранов, другие — классом рабов... Эта сделка (между капиталистами и рабочими) ясно показывает, что за недельный труд рабочего капиталисты и собственники дают ему лишь часть богатства, полученного ими от него же в течение истекшей недели, следовательно, они удерживают у рабочего *ничто*, не давая ему за это *ничего* (nothing for something)... Вся сделка между рабочим и капиталистом оказывается простою комедией; в действительности это по большей части не что иное, как наглый, хотя и *законный*, *грабёж* (the whole transaction between the producer and the capitalist is a mere farce: it is in fact in thousands of instances no other than a barefaced though *legal robbery*). (Брэй, стр. 45, 48, 49 и 50.)

«Прибыль предпринимателя всегда будет потерей для рабочего, пока обмен между ними останется неравным, обмен же не может сделаться равным, пока общество делится на капиталистов и производителей, причем одни живут своим трудом, тогда как другие жируют от прибыли с чужого труда»...

«Ясно — продолжает г-н Брэй, — что, какую бы форму правления вы ни установили... сколько бы ни проповедывали во имя нравственности и братской любви... взаимность не совместима с неравенством обмена. Неравенство обмена, являясь источником неравенства состояний, есть тайный враг, который нас пожирает» (No reciprocity can exist, where there are unequal exchanges... Inequality of exchanges, as being the cause of inequality of possessions, is the secret enemy that devours us). (Брэй, стр. 51 и 52.)

«Исследуя цель и задачи общества, я прихожу к тому заключению, что не только все люди должны трудиться для того, чтобы иметь возможность взаимно обмениваться продуктами, но что обмениваться должны равные стоимости на равные стоимости. Далее, для того,

чтобы прибыль одного не могла составить потери для другого, стоимость должна определяться издержками производства. Мы видели, однако, что при существующем социальном строе прибыль капиталистов и богачей всегда является потерей для рабочих, мы видели также, что этот результат неизбежен и что при всех формах правления бедный будет отдан на произвол богатого, пока сохранится неравенство обмена. Равенство же обмена может быть обеспечено лишь таким социальным порядком, при котором признавалась бы общеобязательность труда... Равенство обмена произвело бы постепенный переход богатств из рук современных капиталистов в руки рабочего класса». (*Брэй*, стр. 54 и 55.)

«Пока остается в силе система неравенства обмена, производители всегда будут так же бедны, невежественны и чрезмерно отягчены работой, как и в настоящее время, если бы даже были *отменены все правительственные подати и все налоги*... Только полное изменение системы, только введение равенства труда и обмена может улучшить этот порядок и обеспечить людям истинное равенство прав... Производителям достаточно одного усилия, — а именно от них-то и должны исходить все усилия для их собственного спасения, — и их цепи будут навсегда разбиты... В качестве цели политическое равенство есть ошибка, оно оказывается также ошибкой и в качестве средства» (As an end the political equality is there a failure, as a means, also, it is there a failure).

«При равенстве обмена прибыль одного не может быть потерей для другого, потому что всякий обмен является тогда простым *перенесением* труда и богатства, не требующим никаких жертв. Таким образом, при господстве социальной системы, основанной на равенстве обмена, производитель может обогатиться и посредством сбережений, но его богатство будет лишь накопленным результатом его собственного труда. Он может обменивать свое богатство или дарить его другим, но, прекратив работу, он не будет иметь возможности остаться богатым на более или менее продолжительное время. С установлением равенства обмена, богатство потеряет присущую ему теперь способность возобновляться и воспроизводиться, так сказать, собственною силою; оно не будет уже в состоянии пополнять потери, понесенные им от потребления, так как раз потребленное богатство будет навсегда потеряно и может быть воспроизведено лишь новым трудом. При равенстве обмена не может более существовать то, что мы называем теперь *прибылью и процентом*. Как производители, так и лица, занятые распределением, будут получать одинаковое вознаграждение, и стоимость каждого произведен-

ного и доставленного потребителю продукта будет определяться общей суммой потраченного на них труда».

«Принцип равенства обмена должен, следовательно, по самой своей природе привести *к всеобщности труда*». (Брэй, стр. 76, 88, 89, 92 и 109.)

Опровергнув возражения экономистов против *коммунизма*, г-н Брэй продолжает:

«Если, с одной стороны, для успешного осуществления социальной системы, основанной на общности, в ее совершенной форме необходимо изменение человеческого характера; если, с другой стороны, существующий строй не дает ни удобств, ни возможности для такого изменения характера и для приготовления людей к лучшему, всем нам одинаково желательному порядку, то отсюда ясно, что порядок вещей необходимо должен остаться таким, как он есть, если не будет открыт и применен переходный общественный строй, — процесс, принадлежащий как к современной, так и к будущей системе, основанной на общности, — род переходного состояния, в которое общество вступило бы со всеми своими излишествами и безумствами, чтобы впоследствии выйти из него обогащенным качествами и свойствами, составляющими необходимое условие коммунистической системы». (Брэй, стр. 136.)

«Для всего этого переходного процесса необходима была бы лишь самая простая форма кооперации... Издержки производства при всяких обстоятельствах определяли бы стоимость продукта, и равные стоимости постоянно обменивались бы на равные стоимости. Если одно лицо работало бы неделю, а другое лишь половину этого времени, то вознаграждение первого вдвое превышало бы вознаграждение второго; но этот излишек платы не был бы получен одним в ущерб другому; потери последнего никоим образом не пошли бы на пользу первому. Каждый обменивал бы лично полученную им заработную плату на предметы одинаковой с нею стоимости, и выгоды, полученные каким-нибудь лицом и какою-нибудь отраслью промышленности, ни в коем случае не составляли бы потери для других лиц или для других отраслей. Труд каждого лица был бы *единственным мерилом* его прибыли или его потери...»

«...Количество различных, нужных для потребления продуктов, относительная стоимость каждого предмета по сравнению его с другими (число рабочих, требуемых различными отраслями труда), словом, все, относящееся до общественного производства и распределения, определялось бы посредством общих и местных контор (boards of trade). В применении к целой нации эти расчеты соверша

лись бы с такою же малою затратою времени и с такою же легкостью, с какими делаются они, при существующей системе, частными обществами... Как и в настоящее время, личности группировались бы тогда в семьи, семьи — в общины... Даже разделение населения на городское и деревенское, как ни вредно такое разделение, не было бы уничтожено сразу. Каждая личность сохранила бы в этой ассоциации предоставленную ей в настоящее время полную свободу накапливать сколько ей угодно и употреблять свои сбережения по собственному усмотрению... Наше общество было бы, так сказать, большой акционерной компанией, составленной из бесконечного числа маленьких акционерных компаний, которые все трудились бы, производили и обменивали свои продукты на основе полнейшего равенства... Наша новая система акционерных компаний, являясь лишь уступкой, сделанной современному обществу с целью перехода к коммунизму, позволяет совместное существование *индивидуальной собственности* продуктов с *общественной собственностью* производительных сил; она ставит судьбу каждой личности в зависимость от ее собственной деятельности и дает ей равную долю в выгодах, доставляемых природою и успехами техники. Поэтому такая система может быть применена к обществу в его современном состоянии и может приготовить его к дальнейшим изменениям». (*Брэй*, стр. 158, 160, 162, 168, 194 и 199.)

Мы ответим лишь в нескольких словах г-ну Брэю, заменившему помимо нас и даже против нашей воли г-на Прудона, с тою, однако, разницею, что г-н Брэй не только не выдает предлагаемых им мер за последнее слово человечества, но считает их пригодными лишь для эпохи, переходной между современным обществом и коммунистической системой.

Рабочий час Петра обменивается на рабочий час Павла. Вот основная аксиома г-на Брэя.

Предположим, что Петр проработал двенадцать часов, а Павел только шесть часов; в таком случае Петр может обменяться с Павлом только шестью часами на шесть часов, остальные же шесть часов останутся у него в запасе. Что сделает он с этими часами?

Или ровно ничего не сделает, и таким образом шесть рабочих часов пропали для него даром, или он прогуляет другие шесть часов, чтобы восстановить равновесие, или, наконец, — и это для него последний исход, — он отдаст эти нужные ему шесть часов Павлу в придачу к остальным.

Итак, что же, в конце концов, выигрывает Петр по сравнению с Павлом? Рабочие часы? Нет. Он выигрывает только часы досуга,

он будет вынужден бить баклуши в продолжение шести часов. Чтобы не только терпеть это новое право безделья, но еще и дорожить им, будущее общество должно видеть в лености величайшее благополучие, считать труд тяжелым бременем, от которого следует избавиться во что бы то ни стало. И если бы еще эти часы досуга были для Петра действительным выигрышем! Но нет. Павел, начавший шестью часами труда, достигает посредством регулярной и правильной работы того же результата, как и Петр, начавший чрезмерным трудом. Каждый захочет быть Павлом, и возникнет конкуренция лености с целью достичь положения Павла.

Что же принес нам обмен равных количеств труда? Перепроизводство, обесценение, чрезмерный труд, сменяемый застоем, словом, все существующие в современном обществе экономические отношения, за исключением конкуренции труда.

Но нет, мы ошибаемся. Существует еще одно средство спасения для нового общества Петров и Павлов. Петр сам потребит продукт своего шестичасового труда. Но раз Петр может производить, не прибегая к обмену, ему нет также надобности и производить для обмена, а этим разрушаются все предположения об обществе, основанном на разделении труда и обмене. Равенство обмена было бы спасено только прекращением всякого обмена: Павел и Петр превратились бы в Робинзонов.

Итак, если даже предположенное общество состоит из непосредственных работников, то обмен равного количества рабочих часов возможен лишь при условии предварительного соглашения насчет числа часов, необходимых для материального производства. Но такое соглашение есть отрицание индивидуального обмена.

Мы придем к тому же заключению, если, вместо распределения произведенных продуктов, возьмем за точку отправления самый акт производства. В крупной промышленности Петр не может произвольно определить время своего труда, так как без содействия всех остальных Петров и Павлов, входящих в состав мастерской, его труд не имеет значения. Этим как нельзя лучше объясняется упорное противодействие английских фабрикантов *десятичасовому биллю*. Они слишком хорошо знали, что уменьшение на два часа рабочего времени детей и женщин должно повести за собою такое же сокращение труда взрослых. Сама природа крупной промышленности требует равного для всех рабочих времени. То, что является сегодня результатом действия капитала и конкуренции между рабочими, завтра, с устранением отношения труда к капиталу, будет достигаться посредством соглашения, основанного на

отношении суммы производительных сил к сумме существующих потребностей.

Но такое соглашение является смертным приговором индивидуальному обмену; значит, мы снова приходим к нашему первому результату.

Строго говоря, нет обмена продуктов, но есть обмен участвующих в производстве видов труда. От способа обмена производительных сил зависит и способ обмена продуктов. Вообще способ обмена продуктов соответствует форме производства. Измените эту последнюю, и изменение формы обмена явится как следствие. Точно так же и в истории обществ мы видим, что способ обмена продуктов определяется способом их производства. Индивидуальный обмен тоже соответствует определенному способу производства, который, в свою очередь, соответствует антагонизму классов. Поэтому без классового антагонизма не может быть и индивидуального обмена.

Но совесть честных буржуа отказывается признать этот очевидный факт. Пока человек остается буржуа, он не может не видеть в этих отношениях, основанных на антагонизме, царства гармонии и вечной справедливости, никому не позволяющей выдвигаться за счет других. По мнению буржуа, индивидуальный обмен может существовать без антагонизма классов, для него эти два явления не имеют между собою ничего общего. Индивидуальный обмен, каким воображает его буржуа, имеет очень мало сходства с индивидуальным обменом, существующим в действительности.

Г-н Брэй возводит *иллюзию* честного буржуа в *идеал*, который он желал бы осуществить. Очищая индивидуальный обмен, устраняя из него все заключающиеся в нем элементы антагонизма, он воображает, что нашел «*уравнительные*» отношения, которые следует ввести в общественную жизнь.

Г-н Брэй не подозревает, что то *уравнительное* отношение, тот *совершенствующий идеал*, который он желал бы ввести в мир, сам является лишь отражением существующего мира и что поэтому абсолютно невозможно перестроить общество на основе, которая есть не более, как его собственная разукрашенная тень. По мере того, как эта тень облекается плотью, оказывается, что, вместо рисовавшегося в воображении светлого образа, плоть эта является лишь современным общественным телом.¹

¹ Теория г. Брея, как и всякая другая теория, также нашла себе сторонников, обманутых ее видимостью. В Лондоне, в Шеффилде, в Лидсе и во многих других городах Англии были основаны equitable-labour-exchange bazars (базары для справедливого обмена продуктов труда). Поглотив значи-

III. Приложение закона пропорциональности стоимости.

А. Деньги.

«Золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась».

Итак, золото и серебро оказываются первыми приложениями «стоимости, конституированной»... г-ном Прудоном. А так как г-н Прудон конституирует стоимость продуктов, определяя ее сравнительным количеством труда, заключенного в этих продуктах, то ему оставалось только доказать, что *колебания* в стоимости золота и серебра всегда объясняются колебаниями в количестве труда, необходимого на их производство. Но г-н Прудон и не думает об этом. Он говорит о золоте и серебре как о деньгах, а не как о товаре.

Вся его логика, если только тут есть логика, ограничивается тем, что на все товары, стоимость которых может измеряться рабочим временем, он распространяет свойство золота и серебра — служить деньгами. Конечно, во всем этом фокусе больше наивности, чем влого умысла.

Если стоимость данного полевого предмета определена необходимым на его производство рабочим временем, то он всегда может быть принят в обмен. Доказательство этому мы видим в золоте и серебре, находящихся в искомых условиях «обмениваемости», — восклицает г-н Прудон. Значит, золото и серебро представляют собою стоимость в ее конституированном виде, т. е. воплощение идеи г-на Прудона. Он как нельзя более счастлив в выборе своего примера. Помимо того, что золото и серебро являются товарами, стоимость которых, как и всяких других товаров, измеряется количеством труда, — они имеют еще свойство служить всеобщим средством обмена — т. е. быть деньгами. Поэтому, принимая золото и серебро за приложение «стоимости, конституированной» рабочим временем, нет ничего легче, как доказать, что каждый товар, стоимость которого будет определена (конституирована) рабочим временем, получит постоянную способность к обмену, станет деньгами.

тельные капиталы, все эти базары потерпели скандальное банкротство. Это навсегда отбило от них охоту. Предостережение для г. Прудона! — К. М.

Как известно, г. Прудон не воспользовался этим предостережением. В 1849 г. он сам пытался устроить меновой банк в Париже. Но банк этот потерпел крах даже раньше, чем начал правильно действовать. Судебное преследование против г. Прудона заслонило собою этот крах. — Ф. Э.

В уме г-на Прудона возникает совершенно простой вопрос: почему золото и серебро пользуются привилегией служить типом «конституированной стоимости»?

«Специальная функция, которую обычай присвоил драгоценным металлам — служить средством обращения, — есть функция вполне условная, и каждый товар мог бы выполнять ее так же основательно, хотя, быть может, и с меньшими удобствами; это признается экономистами, и можно указать не мало подобных примеров. Где же причина этой привилегии служить деньгами, которою пользуются драгоценные металлы, и как объяснить такую специализацию функции денег, не имеющую аналогии в политической экономии?.. Нельзя ли *восстановить тот ряд явлений*, из которого деньги были, повидимому, вырваны, и тем привести их (деньги) к их истинному принципу?»

Ставя вопрос в таких выражениях, г-н Прудон уже заранее предполагает *деньги*. Прежде всего он должен бы спросить себя, почему обмен, в своей современной форме, потребовал, так сказать, индивидуализации меновой стоимости, выразившейся в выделении специального средства обмена? Деньги не вещь, а общественное отношение. Почему отношение, называемое деньгами, как и всякое другое экономическое отношение, как разделение труда и пр., есть производственное отношение? Если бы г-н Прудон составил себе ясное представление об этом отношении, деньги не казались бы ему исключением, оторванным членом неизвестного или искомого ряда.

Он нашел бы, наоборот, что это отношение есть лишь одно из звеньев целой цепи других экономических отношений, с которою оно поэтому очень тесно связано; он признал бы, что это отношение соответствует определенному способу производства, точно так же, как соответствует ему индивидуальный обмен. Что же он делает? Он начинает с того, что выделяет деньги из всей совокупности современного способа производства, чтобы сделать их, впоследствии, первым членом воображаемого ряда, который нужно еще открыть.

Раз признана необходимость в специальном средстве обмена, т. е. необходимость денег, остается лишь выяснить, почему эта особая функция досталась золоту и серебру, а не какому-нибудь иному товару. Это вопрос второстепенный, и его объяснения следует искать не в общей связи отношений производства, а в специальных материальных свойствах золота и серебра. Отсюда ясно, что если экономисты «вышли» в этом случае «из пределов своей науки и заговорили о физике, механике, истории и пр.», в чем упрекает их г-н Прудон, то они сделали лишь то, что должны были сделать. Вопрос лежит вне области политической экономии.

«Чего не видел и не понял ни один экономист, — говорит г-н Прудон, — это *экономической причины* того преимущества, которым пользуются драгоценные металлы».

Г-н Прудон увидел, понял и завещал потомству эту экономическую причину, которой никто — по совершенно достаточной причине — не видел и не понимал.

«Никто не заметил именно того факта, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась. В патриархальном периоде золото и серебро составляют еще предмет торговли, обмениваются еще в слитках, но уже с видимым стремлением к преобладанию и с заметным предпочтением. *Мало-по-малу* правители овладевают драгоценными металлами и отмечают их своей печатью; эта-то правительственная санкция и порождает деньги, т. е. товар по преимуществу, товар, сохраняющий определенную пропорциональную стоимость при всех потрясениях рынка и принимаемый при всех платежах... Отличительная черта золота и серебра происходит, повторяю, от того, что благодаря своим металлическим свойствам, трудности добывания, а главное вмешательству государственной власти, они в качестве товаров рано приобрели устойчивость и несомненную подлинность».

Говорить, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась, — это значит, как видно из вышеизложенного, сказать только, что золото и серебро первые сделались деньгами. Вот великое открытие г-на Прудона, вот та истина, которой никто не знал до него.

Если бы г-н Прудон хотел этим сказать, что время, необходимое на производство золота и серебра, было известно раньше, чем время, необходимое для производства других товаров, то это опять было бы одним из тех предположений, которыми он так щедро дарит своих читателей. И если бы мы желали придерживаться этой патриархальной эрудиции, мы сообщили бы г-ну Прудону, что прежде всего было установлено время, необходимое для производства предметов первой необходимости, каковы железо и пр. Мы не говорим уже о классическом луке Адама Смита.

Но каким образом г-н Прудон может еще, после всего этого, толковать о конституированной стоимости, несмотря на то, что ни одна стоимость не может конституироваться в отдельности? Стоимость конституируется не временем, необходимым на производство данного продукта в отдельности, а пропорционально количеству всех других продуктов, могущих быть произведенными в этот же самый промежуток времени. Таким образом, конституирование

стоимости золота и серебра заранее предполагает уже конституирование стоимости целой массы других продуктов.

Следовательно, не товар стал «конституированной стоимостью» в виде золота и серебра, а, наоборот, «конституированная стоимость» г-на Прудона стала — в виде золота и серебра — деньгами.

Рассмотрим теперь ближе *экономические причины*, когорым золото и серебро обяваны, по мнению г-на Прудона, тем преимуществом, что благодаря конституированию их стоимости эти металлы раньше других товаров были возведены в достоинство денег.

Эти экономические причины суть: «видимое стремление к преобладанию», «заметное предпочтение» еще «в патриархальном периоде» и другие словесные выражения того же самого факта, которые только увеличивают наше затруднение, так как благодаря возрастанию числа случаев, приводимых г-ном Прудонем для объяснения факта, увеличивается число фактов, требующих объяснения. Но г-н Прудон не исчерпал еще всех так называемых экономических причин. Вот причина величайшей, непреодолимой силы:

«От правительственной санкции рождаются деньги. Правители овладевают золотом и серебром и налагают на них свою печать».

Итак, произвол правителей является, по мнению г-на Прудона, решающей причиной в области политической экономии!

Поистине нужно не иметь никаких исторических сведений, чтобы не знать того факта, что во все времена правители вынуждены были подчиняться экономическим условиям и никогда не могли предписывать им закона. Как политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений.

Правительства ли овладели золотом и серебром, чтобы приложением своей печати сделать из них всеобщие средства обмена, или, наоборот, эти всеобщие средства обмена овладели правителями и добились от них приложения печати и политической санкции?

Штемпель, который прикладывали и прикладывают к «серебру», говорит не о его стоимости, а о его весе. То постоянство и подлинность, о которых толкует г-н Прудон, относятся только к пробе монеты, и эта проба указывает, сколько чистого металла в ней заключается. «Единственная внутренняя стоимость марки серебра, — говорит Вольтер со своим обычным здравым смыслом, — есть марка серебра, полфунта серебра весом в восемь унций. Только вес и проба создают эту внутреннюю стоимость» (*Вольтер, Система Ло*). Но вопрос: сколько стоит унция золота или серебра? — все еще остается неразрешенным. Если бы на кашемире из магазина Grand Colbert

выставлялось фабричное клеймо с надписью: *чистая шерсть*, то подобное фабричное клеймо еще ничего не сказало бы нам о стоимости кашемира. Нам все еще оставалось бы узнать, сколько стоит шерсть. «Французский король Филипп I, — говорит г-н Прудон, — примешал к турецкому ливру Карла Великого одну треть лигатуры. Он вообразил, что, обладая монопольным правом чеканить монету, он может поступать с нею, как поступает со своим товаром каждый торговец-монополист. Что же такое в сущности представляет собою эта подделка монеты, которую вечно ставят в упрек Филиппу и его наследникам? Соображение, очень верное с точки зрения коммерческой рутин и совершенно ложное с точки зрения экономической науки, а именно следующее: так как стоимость регулируется спросом и предложением, то можно повысить оценку, а тем самым и стоимость продуктов, произведя искусственную редкость или же завладев их исключительным производством; и это так же верно в применении к золоту и серебру, как и в применении к хлебу, вину, маслу или табаку. А между тем, едва только обнаружилось мошенничество Филиппа, его монеты пали до их истинной стоимости, и он потерял все то, что надеялся выиграть за счет своих подданных. Та же судьба постигла и все аналогичные попытки».

Во-первых, много и много раз было уже доказано, что когда государь решается подделывать монету, то он же и теряет при этом. То, что выигрывается один раз при первом выпуске, теряется затем каждый раз, когда фальсифицированные монеты возвращаются ему в виде налогов и пр. Но Филипп и его наследники умели более или менее уберечься от этой потери, так как, пустив в обращение поддельную монету, они тотчас же спешили издать приказ о всеобщей перечеканке монеты по старому образцу.

К тому же, если бы Филипп I действительно рассуждал, как г-н Прудон, то его рассуждение вовсе не было бы так хорошо «с коммерческой точки зрения». Ни Филипп I, ни г-н Прудон вовсе не обнаруживают больших коммерческих способностей, воображая, что стоимость золота или какого бы то ни было иного товара может быть изменена по той одной причине, что стоимость определяется отношением предложения к спросу.

Если бы король Филипп приказал назвать одну меру хлеба двумя мерами, он оказался бы мошенником. Он обманул бы всех получателей ренты, всех людей, которым предстояло бы получить по 100 мер хлеба; по его милости, вместо 100 мер, они получили бы только по 50. Предположите, что король был должен кому-нибудь 100 мер хлеба; он мог бы в данном случае заплатить только 50. Но

в торговле 100 мер стоили бы ничуть не больше прежних 50. Перемена названия не изменяет вещи. Ни спрос, ни предложение хлеба не уменьшится и не увеличится от одной перемены имени. Поэтому, раз отношение предложения к спросу не изменится, несмотря на эту перемену имени, то и цена хлеба тоже не потерпит никакого действительного изменения. Когда говорят о спросе и предложении, то под этим понимают спрос и предложение вещей, а не их названий. Филипп I не создавал золота и серебра, как это выходит из слов г-на Прудона, он создавал только названия монет. Выдайте свои французские кашемиры за азиатские, и очень может быть, что вам удастся обмануть одного или двух покупателей, но едва только плутня откроется, — цена ваших так называемых азиатских кашемиров упадет до цены французских. Прикладывая лживые клейма к золоту и серебру, Филипп I мог обманывать людей лишь до той минуты, пока его проделка не была открыта. Как и всякий другой лавочник, он обманывал своих клиентов ложным обозначением товаров; но это могло длиться лишь некоторое время. Рано или поздно законы торговли должны были отозваться на нем во всей своей суровости. Это ли хотел доказать г-н Прудон? Нет, не это. По его мнению, не торговля, а правительство дает деньгам их стоимость. А что доказал он в действительности? Что торговля сильнее правительства, что правительство приказывает марке сделаться отныне двумя марками, а торговля продолжает твердить, что эти две новые марки стоят не больше одной старой.

Но все это ни на шаг не подвигает вопроса о стоимости, определяемой количеством труда. Все еще остается решить, определяется ли стоимость этих двух марок, — снова превратившихся в одну прежнюю марку, — издержками производства или законом спроса и предложения?

Г-н Прудон продолжает: «Следует даже заметить, что если бы, вместо подделки монет, король мог удвоить их массу, меновая стоимость золота и серебра тотчас же упала бы на половину все по той же причине пропорциональности и равновесия».

Если верен этот взгляд, разделяемый г-ном Прудоном с другими экономистами, то он говорит лишь в пользу их теории спроса и предложения, а вовсе не в пользу пропорциональности г-на Прудона. В самом деле, какое бы количество труда ни было заключено в удвоенной массе золота и серебра, стоимость их упала бы на половину, если бы спрос остался неизменным при удвоенном предложении. Или на этот раз *«закон пропорциональности»* случайно совпадает со столь презираемым законом спроса и предложения?

Впрочем, эта истинная пропорциональность г-на Прудона до такой степени эластична, подвержена стольким изменениям, перестановкам и колебаниям, что легко может совпасть иной раз и с отношением предложения к спросу.

Приписывать «всякому товару если не фактическую, то, по крайней мере, юридическую способность к обмену» и ссылаться при этом на роль золота и серебра — значит не понимать этой роли. Золото и серебро имеют юридическую способность к обмену лишь потому, что обладают фактической способностью к нему, а этой последней они обладают потому, что современная организация производства нуждается во всеобщем средстве обмена. Право есть лишь официальное признание факта.

Мы видели, что пример денег, как практического приложения конституированной стоимости, избран г-ном Прудоном лишь с целью провести контрабандным образом всю его теорию постоянной способности к обмену, т. е. с целью доказать, что всякий товар, оцениваемый по издержкам производства, должен сделаться деньгами. Все это было бы прекрасно, не будь того маленького неудобства, что из всех товаров именно золото и серебро в качестве монеты (т. е. как знаки стоимости) составляют единственное исключение и не определяются издержками производства; это до такой степени верно, что в обращении они могут быть заменены бумагой. Пока соблюдается известная пропорция между потребностями обращения и количеством выпущенной монеты — будь она бумажная, золотая, платиновая или медная — не может быть и речи о соблюдении пропорции между внутренней (определяемой издержками производства) и номинальной стоимостью монеты. Без сомнения, в международной торговле монеты, как и всякий другой товар, определяются рабочим временем. Но дело в том, что в международной торговле даже золото и серебро являются средством обмена лишь в своем качестве продуктов, а не в качестве денег, т. е. они теряют там свойства «устойчивости», «подлинности» и «правительственной санкции», составляющие, по мнению г-на Прудона, их специфический характер. Рикардо так хорошо понял эту истину, что, основав всю свою систему на стоимости, определяемой рабочим временем, и сказав, что «золото и серебро так же, как и все другие товары, имеют лишь стоимость, соответствующую количеству труда, необходимого на производство и доставку их на рынок», — он добавляет, тем не менее, что стоимость денег определяется не воплощенным в них рабочим временем, а лишь законами предложения и спроса.

«Конечно, бумажные деньги не имеют никакой внутренней стоимости, но путем ограничения их количества меновая стоимость их может стать так же велика, как стоимость монеты такого же наименования или слитка в этой монете. В силу того же самого принципа, а именно путем ограничения количества, стертая монета может обращаться по стоимости, которую она имела бы, если бы обладала законным весом и пробой, а не по той стоимости, которую она действительно имеет. Вот почему в истории британского монетного дела мы часто замечаем, что деньги никогда не обесценивались прямо пропорционально уменьшению их веса. Причина этого лежит в том, что количество их никогда не увеличивалось прямо пропорционально уменьшению их внутренней стоимости». (*Рикардо*, цит. соч., русск. перев., стр. 239.)

Вот что замечает Ж.-Б. Сэй по поводу этих слов Рикардо:

«Этого *примера* достаточно, мне кажется, чтобы убедить автора, что основанием всякой стоимости служит не количество труда, необходимого на производство товара, а потребность в нем, сопоставленная с его редкостью».

Итак, деньги, которые не представляют, по мнению Рикардо, стоимости, определяемой рабочим временем и именно по этой причине принимаются Сэем за пример, годный для убеждения Рикардо в том, что и другие стоимости не могут определяться рабочим временем,— эти самые деньги, говорю я, которые Сэй приводит как пример стоимости, определяемой исключительно предложением и спросом, являются, по мнению г-на Прудона, наилучшим примером приложения стоимости, конституированной... рабочим временем.

Чтобы покончить с этим, заметим, что если деньги не представляют собою «стоимости, конституированной» рабочим временем, то еще того меньше могут они иметь что-нибудь общее с справедливою пропорциональностью Прудона. Золото и серебро всегда способны к обмену потому, что имеют специальную функцию служить всеобщим средством обмена, а вовсе не потому, что находятся в количестве, пропорциональном общей сумме богатств; или, лучше сказать, они всегда пропорциональны, потому что они одни из всех товаров служат деньгами, всеобщим средством обмена, каково бы ни было их количество по отношению к общей сумме богатств. «Каково бы ни было количество средств обращения, оно никогда не может оказаться излишним, ибо, уменьшая их стоимость, вы в той же самой пропорции увеличиваете их количество, а увеличивая их стоимость, вы уменьшаете их количество». (*Рикардо*, русск. перев. стр. 238.)

«Какая путаница, эта политическая экономия!» — восклицает г-н Прудон.

«Проклятое золото!» — не без комизма кричит коммунист устами г-на Прудона. С таким же правом можно бы сказать: проклятая пшеница, проклятый виноград, проклятые овцы! — потому что, «подобно золоту и серебру, *всякая стоимость* в сфере торговли должна прийти к точному и строгому определению».

Мысль о сообщении денежных свойств овцам и винограду не отличается новизною. Во Франции она принадлежит веку Людовика XIV. В эту эпоху, когда стало упрочиваться всемогущество денег, слышались жалобы на обесценение всех других товаров, и с нетерпением ожидали того момента, когда «все стоимости в сфере торговли достигнут точного и строгого определения, сделаются деньгами». Вот что находим мы уже у Буагильбера, одного из старейших экономистов Франции:

«Тогда деньги благодаря вторжению бесчисленных конкурентов в лице самих товаров, восстановленных в их истинной стоимости, будут введены в свои естественные границы. (*Economistes financiers du dix-huitième siècle*, p. 422, édit. Daire.)

Как видно, первые иллюзии буржуазии являются также и последними ее иллюзиями.

Б. Излишек труда.

«В политико-экономических сочинениях встречается иногда следующая нелепая гипотеза: *если бы удвоилась цена всех продуктов...* Как будто цена всех продуктов не есть их отношение, и как будто отношение, пропорция или закон могут быть удвоены!» (Прудон, т. I, стр. 81.)

Экономисты впали в это заблуждение благодаря тому, что не умели применить «закон пропорциональности» и «конституированной стоимости».

К несчастью, на стр. 110 первого тома сочинения самого г-на Прудона мы встречаемся с той нелепой гипотезой, по которой «возросла бы цена всех продуктов, если бы заработная плата испытала общее повышение». Кроме того, если в политико-экономических сочинениях и попадает упомянутая фраза, то там же находится и ее объяснение. «Если говорят, что повышается или понижается цена всех товаров, то при этом всегда исключается тот или другой товар; обыкновенно так поступают с деньгами или с трудом» (*Encyclopaedia Metropolitana or Universal Dictionary of Knowledge*, vol. IV,

статья «Political Economy by Senior», London, 1836. См. также относительно этого выражения: *Дж.-Ст. Милль*, Essays on some unsettled questions of political economy, London, 1844, и *Тук*, An history of prices etc., London, 1838).

Перейдем теперь ко *второму приложению* «конституированной стоимости» и других пропорциональностей, единственный недостаток которых заключается в том, что они мало пропорциональны; посмотрим также, не будет ли г-н Прудон в этом случае счастливее, чем в попытке превращения *овец в деньги*.

«Общим признанием экономистов пользуется та аксиома, по которой всякий труд должен оставлять известный излишек. Для меня это положение имеет значение всеобщей и безусловной истины; это — необходимое дополнение закона пропорциональности, который можно рассматривать как сжатое выражение всей экономической науки. Но пусть извинят меня гг. экономисты: с точки зрения их теории, принцип, по которому *всякий труд должен оставлять известный излишек*, — не имеет смысла и не может подлежать какому бы то ни было *доказательству*» (Прудон).

Чтобы доказать, что всякий труд должен оставлять известный излишек, г-н Прудон персонифицирует общество; он делает из него *общество-лицо*, которое далеко не то же самое, что общество, состоящее из лиц, потому что у него есть свои особые законы, чуждые всякой связи с составляющими общество лицами, у него есть свой «собственный ум» — не обыкновенный человеческий ум, а ум, не имеющий обычного здравого смысла. Г-н Прудон упрекает экономистов в непонимании того, что это коллективное существо имеет свою личность. Мы считаем не лишним противопоставить его словам следующую выписку из сочинения одного американского экономиста, который упрекает других экономистов в совершенно противоположном: «Моральному лицу (the moral entity), грамматическому существу (the grammatical being), называемому обществом, были приписаны свойства, на самом деле существующие лишь в воображении тех, которые превращают слова в вещи... Вот что причинило в политической экономии множество трудностей и печальных ошибок» (*Th. Cooper, Lectures on the Elements of Political Economy, Columbia, 1826*).

«По отношению к отдельным личностям, — продолжает г-н Прудон, — этот принцип излишка труда верен лишь потому, что он порожден обществом, которое распространяет, таким образом, на них благодеяния своих собственных законов».

Хочет ли г-н Прудон этим сказать, что лицо, живущее в обще-

стве, может произвести гораздо больше, чем изолированная личность? Имеет ли он в виду излишек производства ассоциированных личностей сравнительно с производством лиц, не связанных между собою? Если — да, то мы можем указать ему целую сотню экономистов, выразивших эту простую истину без того мистицизма, которым окружает ее г-н Прудон. Вот что пишет, например, г-н Садлер:

«Соединенный труд дает такие результаты, к каким никогда не мог бы привести труд индивидуальный. Значит, по мере того как человечество будет возрастать в своей численности, продукты его совокупного промышленного труда будут значительно превышать ту сумму, которая получается от простого сложения чисел, соответствующих приросту населения... В настоящее время как в механических искусствах, так и в научных работах каждый человек может в один день сделать больше, чем изолированная личность сделала бы во всю свою жизнь. В применении к нашей науке оказывается неверной математическая аксиома, гласящая, что целое равно своим частям. Что касается труда, этой великой опоры человеческого существования (*the great pillar of human existence*), то можно сказать, что продукт соединенных усилий далеко превышает все, что когда-либо могли создать индивидуальные и разъединенные усилия» (*T. Sadler, The law of population, London, 1830.*)

Возвратимся к г-ну Прудону. Излишек труда, — говорит он, — находит свое объяснение в обществе-лице. Жизнь этого лица подчиняется таким законам, которые противоположны законам, определяющим деятельность человека как индивида; г-н Прудон хочет доказать это «*фактами*».

«Никакой новый прием в области производства никогда не может принести своему изобретателю выгоды, равной той, которую он приносит обществу... Было замечено, что железнодорожные предприятия служат в гораздо меньшей степени источником обогащения предпринимателей, чем государства... Провоз товаров на подводах обходится средним числом по 18 сантимов с тонны-километра, с нагрузкой и разгрузкой включительно. Было рассчитано, что при таком тарифе обыкновенное железнодорожное предприятие не дало бы и 10% чистого дохода, т. е. принесло бы почти столько же, сколько дает перевозка по шоссейным дорогам. Но предположим, что скорость перевозки по железным дорогам относится к скорости перевозки по шоссейным путям как 4 к 1; так как для общества само время есть стоимость, то, при равенстве цен, железная дорога будет давать по сравнению с шоссе прибыль в 400%. Между тем, эта огромная,

очень реальная для общества прибыль далеко не реализуется в той же пропорции для железнодорожника: доставляя обществу 400% прибыли, он не приобретает для себя и 10%. В самом деле, предположим для большей наглядности, что железная дорога подняла тариф до 25 сантимов, тогда как подводы продолжают перевозить по 18; в таком случае первая тотчас же лишилась бы всех товарных грузов. Отправители и получатели все возвратились бы к старым фурам или даже, если бы понадобилось, и к телегам. Локомотив был бы покинут: общественная прибыль в 400% была бы принесена в жертву частной потере в 35%. И понятно почему: выгода от быстроты железнодорожного движения есть выгода чисто общественная; каждый в отдельности пользуется ею лишь в самых незначительных размерах (не следует забывать, что речь идет теперь лишь о перевозке товаров), тогда как потеря падает прямо и лично на потребителя. Общественная прибыль, равная 400, представляет для отдельной личности, — если общество состоит только из миллиона человек, — всего-навсего четыре десятитысячных; потеря же каждым потребителем 33% предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона». (*Прудон.*)

Пусть бы еще г-н Прудон выражал учетверенную скорость в 400% первоначальной скорости. Но сопоставлять проценты скорости с процентами прибыли и устанавливать пропорцию между двумя отношениями, которые, — если и измеряются каждое в отдельности, процентами, — остаются, тем не менее, не соизмеримыми между собою, это значит устанавливать пропорцию между процентами не обращая внимания на различие их наименования.

Проценты всегда остаются процентами, 10% и 400% соизмеримы, они относятся друг к другу как 10 к 100. Следовательно, решает г. Прудон, 10% прибыли стоят в 40 раз меньше учетверенной скорости. Чтобы сохранить подобие истины, он замечает, что для общества время есть стоимость (*time is money*). Он впадает в эту ошибку потому, что смутно припоминает о каком-то отношении между стоимостью и рабочим временем, и спешит отождествить рабочее время с временем перевозки, т. е. принимает за целое общество только кочегаров, кондукторов и т. п., рабочее время которых есть действительно время перевозки. Таким образом, внезапно превратив скорость в капитал, он уже с полным правом говорит, что «прибыль в 400% будет принесена в жертву потере в 33%». Установив в качестве математика это странное положение, он объясняет его нам с точки зрения экономиста.

«Общественная прибыль, равная 400, представляет для отдель-

ной личности, если общество состоит только из миллиона человек, всего-навсего четыре десятитысячных». Согласен; но ведь дело идет не о 400, а о 400%; прибыль же в 400% и для отдельной личности представляет не больше, не меньше как 400%. Каков бы ни был капитал, дивиденды всегда будут в этом случае равняться 400%. Что же сделал г. Прудон? Он принял проценты за капитал и, точно опасаясь, что наделанная им путаница окажется не достаточно очевидной и не вполне «освятельной», он продолжает:

«Понесенная потребителем потеря в 33% предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона». Понесенная одним потребителем потеря в 33% останется потерей в 33% и для миллиона потребителей. И как это г-н Прудон может утверждать, что в случае потери, равной 33%, общественный дефицит достигнет 33 миллионов; ведь он не знает ни величины общественного капитала, ни даже размеров капитала отдельного заинтересованного лица? Таким образом, г-н Прудон не довольствуется тем, что смешивает *капитал с процентами*, но превосходит самого себя, отождествляя *капитал* предприятия с *числом* заинтересованных в нем лиц.

«В самом деле, предположим для большей наглядности» какой-нибудь определенный капитал. Общественная прибыль в 400%, распределенная между миллионом участников,— внесших по одному франку каждый,— дает 4 франка прибыли на человека, а не 0,0004, как думает г-н Прудон. Точно так же понесенная каждым из участников потеря в 33% представляет собою общественный дефицит в 330 000 франков, а не в 33 000 000 ($100 : 33 = 1\ 000\ 000 : 330\ 000$).

Занятый своей теорией общества-лица, г-н Прудон забывает разделить на 100; он получает, таким образом, 330 000 франков потери¹; но 4 франка прибыли на человека составляют для общества прибыль в 4 000 000. Таким образом, чистый доход для общества остается в 3 670 000 франков. Это точное вычисление доказывает совершенно противоположное тому, что хотел доказать г-н Прудон, а именно, что выгоды и потери общества вовсе не обратно пропорциональны выгодам и потерям отдельных личностей.

Исправив эти маленькие арифметические ошибки, рассмотрим те следствия, к которым пришли бы мы, если бы решились принять для железных дорог указываемое г-ном Прудоном отношение скорости к капиталу, без свойственных его вычислениям арифметических ошибок. Предположим, что четверо более быстрая перевозка стоит

¹ Маркс, повидимому, имеет в виду ту цифру, которую Прудон получил бы, если бы он не допустил ошибок в своих расчетах. — *Прим. ред.*

вчетверо дороже; в таком случае эта перевозка приносила бы не меньшую прибыль, чем перевозка на подводах, вчетверо более медленная и стоящая вчетверо дешевле. Значит, если перевозка на подводах обходится по 18 сантимов, то железная дорога могла бы брать по 72 сантима. Это было бы «строго-математическим следствием» из предположений г. Прудона, опять-таки очищенных от его арифметических ошибок. Но совершенно неожиданно он объявляет нам, что если бы железная дорога стала брать даже не 72, а только 25 сантимов, то и тогда никто не захотел бы перевозить по ней товары. Конечно, в таком случае, очевидно, пришлось бы вернуться к фурам и даже к телегам. Мы советуем, однако, г-ну Прудону не забывать производить деление на сто в своей «Программе прогрессивной ассоциации». Но увы! У нас нет ни малейшей надежды на то, что наш совет будет услышан, ибо г-н Прудон до такой степени восхищен своим «прогрессивным» расчетом, соответствующим «прогрессивной ассоциации», что у него вырывается напыщенное восклицание: «Разрешением антиномии стоимости я уже, во второй главе, показал, что полезное открытие неизмеримо менее выгодно для самого изобретателя, — как бы ни заботился он о своей выгоде, — чем для целого общества; доказательство этой мысли доведено мною до *математической точности!*»

Возвратимся к фикции общества-лица, фикции, введенной с единственной целью доказать ту простую истину, что каждое новое открытие понижает рыночные цены продуктов, давая возможность посредством того же количества труда производить большее количество товаров. Общество выигрывает при этом не потому, что приобретает большее количество меновых стоимостей, а потому, что та же стоимость дает ему больше товаров. Что же касается до изобретателя, то, под влиянием конкуренции, его прибыль постепенно падает до общего уровня. Доказал ли г-н Прудон это положение, которое он хотел доказать? Нет. Но это не помешало ему, однако, упрекнуть экономистов в том, что они оставили это положение недоказанным. Чтобы убедить его в противном, процитируем только Рикардо и Лодердаль. Рикардо — глава школы, определяющей стоимость рабочим временем; Лодердаль — один из решительнейших защитников определения стоимости спросом и предложением. Но и тот, и другой доказывают одно и то же положение.

«Увеличивая непрестанно легкость производства, мы в то же время уменьшаем стоимость некоторых из товаров, произведенных прежде, хотя этим самым путем мы увеличиваем не только национальное богатство, но и производительные силы будущего».

«Как только с помощью машин или естественных наук мы ставляем силы природы выполнять работу, которая прежде совершалась человеком, то меновая стоимость этой работы понижается пропорционально этому содействию. Если до сих пор мельница приводилась в движение трудом десяти человек, и новое устройство позволяет заменить этот труд действием воздуха или воды, то стоимость муки, поскольку последняя является продуктом работы мельницы, понизится соответственно количеству сбереженного труда. Общество стало бы богаче на всю сумму товаров, которые могли бы быть произведены трудом десяти человек, так как фонд, назначенный на их содержание, нисколько не уменьшился бы». (*Рикардо*, русск. перев., стр. 182, 190 — 191).

С своей стороны, Лодердаль говорит:

«Прибыль на капитал получается или вследствие того, что он берет на себя ту часть работы, которая иначе должна была бы выполняться руками людей, или вследствие того, что капитал выполняет часть работы, которая превысила бы личные силы человека и оказалась бы для него невыполнимою. Незначительность прибыли, достоящейся владельцам машин, по сравнению ее с ценой труда, ими замещаемого, даст, быть может, повод усомниться в правильности нашего взгляда. Так, например, паровой насос в один день выкачивает из камменноугольной копи больше воды, чем могли бы вынести триста человек, если бы даже они расположились цепью; и не подлежит никакому сомнению, что насос выполняет эту работу с гораздо меньшими издержками. То же можно сказать и относительно всех других машин. Они выполняют по удешевленной цене тот труд, который совершался прежде руками замещенных ими людей... Предположим, что изобретатель машины, заменяющей труд четырех человек, получил патент; так как вследствие исключительной привилегии у него не может быть иной конкуренции, кроме рабочих рук, то ясно, что, пока длится привилегия, он может сообразовать цену своих продуктов с заработной платой замещенных его машиной рабочих; следовательно, чтобы обеспечить себе заказы, изобретатель должен требовать за машины немного меньше, чем составляет заработная плата за труд, замещенный машинами. Но, как только кончается срок привилегии, появляются другие машины того же самого рода и вступают в конкуренцию с его собственной. Тогда цена его продуктов подчиняется влиянию общего закона и становится в зависимость от количества машин. Хотя прибыль на затраченный капитал и является результатом замещенного труда, но в окончательном счете она регулируется не стоимостью этого труда, а конкуренцией

между владельцами капиталов, как это мы видим и во всех других случаях. Сила же такой конкуренции всегда определяется отношением между количеством предлагаемых для данной цели капиталов и спросом на них».

В конце концов, оказывается, следовательно, что если в новой отрасли промышленности прибыль будет выше, нежели в остальных, то капиталы будут устремляться в нее до тех пор, пока прибыль не упадет до общего уровня.

Мы только-что видели, насколько пример железных дорог способен пролить хоть какой-нибудь свет на фикцию общества-лица. Однако г-н Прудон смело продолжает свое рассуждение: «Коль скоро выяснена эта сторона дела, — нет ничего легче, как объяснить, почему труд каждого производителя должен приносить ему излишек».

Далее следует нечто, относящееся к области классической древности, а именно — поэтический рассказ, на котором может отдохнуть читатель, утомленный строгой точностью предшествовавших математических доказательств. Г-н Прудон дает своему обществу-лицу имя *Прометей* и следующим образом прославляет его подвиги:

«Сначала, выйдя из недр природы, Прометей пробуждается к жизни в бездействии, полном прелести, и проч., и проч. Но вот Прометей принимается за дело, и с первого же дня (первого со времен второго творения) продукт его труда, т. е. его богатство и благосостояние, равняется десяти. На второй день Прометей приходит к разделению своего труда, и его продукт возрастает до ста. На третий и в каждый из следующих дней Прометей изобретает машины, открывает новые, полезные свойства тел, новые силы природы... С каждым шагом его промышленной деятельности увеличивается цифра его производства, обещая ему увеличение его счастья. Наконец, так как для него потреблять значит производить, то ясно, что каждый день потребления, унося с собою лишь продукт предыдущего дня, оставляет ему излишек для завтрашнего потребления».

Престранная особа, этот Прометей г. Прудона! Он так же слаб в логике, как и в политической экономии. Пока он ограничивается тем, что поучает нас, каким образом разделение труда, применение машин, пользование силами природы и силою научной техники увеличивают производительные силы людей и дают излишек по сравнению с продуктами изолированного труда, этот новый Прометей грешит только тем, что является слишком поздно. Но как только Прометей пускается в рассуждение о производстве и потреблении, — он положительно делается смешным. Потреблять для него значит

производить; он ежедневно потребляет лишь продукт предыдущего дня и таким образом всегда имеет один рабочий день в запасе. Этот запасной день и составляет его «излишек труда». Но, потребляя сегодня продукт вчерашнего производства, Прометей должен был в первый день, не имевший предыдущего, поработать сразу на два дня, чтобы иметь, затем, один рабочий день в запасе. Как мог он достичь этого излишка в первый день, когда не было ни разделения труда, ни машин, ни знакомства с другими силами природы, кроме силы огня? Таким образом, отодвигая вопрос к «первому дню второго творения», мы не уясняем его ни на волос. Этот отчасти греческий, отчасти еврейский, одновременно и мистический и аллегорический прием объяснения явлений дает г-ну Прудону полное право сказать: «Закон, по которому всякий труд должен оставлять излишек, доказан мною как с помощью теоретических соображений, так и посредством фактов».

Факты, это — знаменитое прогрессивное исчисление; роль теории играет миф о Прометее.

«Но этот принцип, обладающий несомненностью арифметических истин, осуществлен еще далеко не для всех на свете, — продолжает г-н Прудон. — Между тем как прогресс коллективной промышленности постоянно увеличивает продукт каждого индивидуального рабочего дня и между тем как необходимым следствием этого увеличения должно бы быть, при условии сохранения прежней заработной платы, постепенное обогащение работника, — мы видим, что некоторые группы общества обогащаются, другие же гибнут от нищеты».

В 1770 г. население Соединенного королевства Великобритании достигало 15 миллионов, производительная же часть населения составляла три миллиона. Производительная сила технических усовершенствований соответствовала приблизительно 12 миллионам рабочих, следовательно общая сумма производительных сил равнялась 15 миллионам. Таким образом, производительные силы относились к населению как 1 к 1, производительность же технических усовершенствований относилась к производительности ручного труда как 4 к 1.

В 1840 г. население не превосходило 30 миллионов, его производительная часть равнялась 6 миллионам, тогда как производительность технических усовершенствований достигла 650 миллионов, т. е. относилась к общей сумме населения как 21 к 1, к производительности же ручного труда — как 108 к 1.

Производительность рабочего дня в английском обществе увеличилась, следовательно, в течение семидесяти лет на 2700 процентов,

т. е. в 1840 г. было произведено в двадцать семь раз больше, чем в 1770. Г-н Прудон должен был бы спросить: почему английский рабочий 1840 г. не сделался в двадцать семь раз богаче рабочего 1770 г.? Такой вопрос заранее, конечно, предполагает, что англичане могли бы произвести все это богатство помимо тех исторических условий, при которых оно было произведено, т. е. без накопления частных капиталов, без современного разделения труда, без употребления машин, без анархической конкуренции, без наемных рабочих рук, словом, — без всего того, что основывается на антагонизме классов. Но именно эти-то условия и были существенно необходимы для развития производительных сил и возрастания излишка продуктов. Следовательно, чтобы достичь такого развития производительных сил и получить такой излишек продуктов, необходимо было существование классов, из которых одни богатели, другие же погибали от нищеты.

Но что же такое, наконец, этот воскрешенный г-ном Прудонем Прометей? Это — общество, это — основанные на антагонизме классов общественные отношения, т. е. не отношения одного отдельного лица к другому лицу, а отношение рабочего к капиталисту, арендатора к землевладельцу и проч. Уничтожьте эти общественные отношения, и вы уничтожите все общество. Ваш Прометей превратится в привидение без рук и без ног, т. е. без машин и без разделения труда, наконец, без всего того, чем вы заранее его снабдили для получения излишка продуктов.

Если в теории было достаточно — как это и делает г-н Прудон — дать уравнительную интерпретацию формулы излишка продуктов труда, не принимая во внимание современных условий производства, то и на практике было бы достаточно разделить поровну между рабочими существующие теперь богатства, ничего не изменяя в современных условиях производства. Такой дележ не упрочил бы, конечно, за своими участниками особенно большого благополучия.

Однако г-н Прудон вовсе не такой пессимист, каким он может показаться. Так как для него все дело сводится к пропорциональности, то в своем во всеоружии явившемся Прометее, т. е. в современном обществе, он не может не видеть начала осуществления своей излюбленной идеи.

«Но прогресс богатства, т. е. *пропорциональность стоимостей*, везде является господствующим законом; и когда экономисты противопоставляют жалобам социалистической партии усиливающийся рост национального богатства и облегчения положения даже самых

несчастных классов общества, то, сами того не подозревая, они провозглашают истину, осуждающую их же теории».

Что такое в сущности общественное богатство, национальное благосостояние? Это — богатство буржуазии, но не богатство каждого отдельного буржуа. Прекрасно; но экономисты только доказали, что при существующих условиях производства растет и должно еще более расти богатство буржуазии. Что же касается рабочего класса, то большой еще вопрос — улучшилось ли его положение вследствие увеличения так называемого общественного богатства. Когда в защиту своего оптимизма экономисты ссылаются на пример английских рабочих, занятых в хлопчатобумажной промышленности, то они рассматривают их положение лишь в редкие моменты промышленного процветания. К эпохам кризиса и застоя такие моменты находятся в «правильно-пропорциональном» отношении 3 к 10. Или, говоря об улучшении, экономисты имеют в виду те миллионы рабочих, которые должны были погибнуть в Ост-Индии, чтобы доставить $1\frac{1}{2}$ миллионам занятых в той же отрасли промышленности английских рабочих 3 года процветания в каждые 10 лет?

Что касается временного участия в росте национального богатства, то это — вопрос другой. Факт этого временного участия объясняется теорией экономистов. Он подтверждает ее, а никоим образом не «осуждает» — как говорит г-н Прудон. Если что-нибудь и подлежит осуждению, то, конечно, система г-на Прудона, которая сводит, как мы видели, рабочих на минимум заработной платы, несмотря на рост богатства. Только осудив рабочего на минимум заработной платы, Прудон мог применить к труду принцип правильной пропорциональности стоимостей, принцип «стоимости, конституированной»... рабочим временем. Лишь потому, что под влиянием конкуренции заработная плата колеблется, то поднимаясь выше, то падая ниже необходимых для его существования жизненных средств — только потому рабочий и может в некоторой, хотя бы самой ничтожной, степени воспользоваться ростом общественного богатства. Но именно потому для него возможна также и голодная смерть. Это и есть теория экономистов, которые чужды, в данном случае, каких бы то ни было иллюзий.

После долгих отступлений по вопросу о железных дорогах, о Прометее и о новом обществе, которое нужно переконституировать (перестроить) на основе «конституированной стоимости», г-н Прудон впадает в сосредоточенное настроение, им овладевает наплыв чувств, и он восклицает отеческим тоном:

«Я *заключаю* экономистов хоть однажды подумать искренно,

отрешившись в глубине души от смущающих их предрассудков, от забот о занимаемых или ожидаемых ими местах, об интересах, которым они служат, об избирательных голосах, которых они добиваются, об отличиях, льстящих их тщеславию, — подумать и сказать: представлялся ли им до сих пор принцип, в силу которого всякий труд должен давать излишек, со всею цепью сделанных нами посылок и выводов?»

ГЛАВА ВТОРАЯ.

МЕТАФИЗИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.

1. Метод.

Теперь мы в самом сердце Германии! Рассуждая о политической экономии, мы должны будем в то же самое время рассуждать о метафизике. И в этом случае мы последуем лишь за «противоречиями» г-на Прудона. Только-что заставлял он нас говорить по-английски, превращаться в большей или меньшей степени в англичанина. Теперь сцена меняется. Г-н Прудон переносит нас в наше дорогое отечество и заставляет нас опять превратиться в немца — против нашей воли.

Если англичанин превращает людей в шляпы, то немец превращает шляпы в идеи. Англичанин — это Рикардо, богатый банкир и выдающийся экономист; немец — это Гегель, скромный профессор философии в Берлинском университете.

Людовик XV, бывший последним абсолютным королем и представителем упадка французской монархии, имел лейб-медика, который, в свою очередь, был первым экономистом Франции. Этот медик, этот экономист, был представителем близкого и верного торжества французской буржуазии. Доктор Кенэ сделал из политической экономии науку; он резюмировал ее в своем знаменитом сочинении «*Tableau économique*». Кроме тысячи и одного комментария, которые были написаны к этому сочинению, мы имеем комментарий, автором которого был сам доктор. Это — «*L'analyse du Tableau économique*», сопровождаемый «семью важными замечаниями».

Г-н Прудон есть новый доктор Кенэ. Он — Кенэ метафизики политической экономии.

Но метафизика, как и вся вообще философия, резюмируется, по мнению Гегеля, в методе. Мы должны, следовательно, постараться выяснить метод г-на Прудона, по меньшей мере столь же темный, как и «*Tableau économique*». С этой целью мы сами сделаем

семь более или менее важных замечаний. Если доктор Прудон останется недоволен нашими замечаниями, то в таком случае он может принять на себя роль аббата Бодо и написать «объяснение экономико-метафизического метода».

Первое замечание.

«Мы имеем эдесь в виду не ту историю, которая соответствует порядку времен, а ту, которая соответствует последовательности идей. Экономические фазы или категории иногда бывают одновременны в своих проявлениях, иногда же идут в обратном порядке. Тем не менее, экономические категории имеют свою логическую последовательность и свою связь (серию) в разуме; именно эту-то связь и последовательность нам и удалось, как мы думаем, открыть» (Прудон, т. I, стр. 146.)

Поистине г-н Прудон хотел нагнать страху на французов, забрасывая их этими, будто бы гегельянскими, фразами. Оказывается, что мы имеем теперь дело уже с двумя писателями: во-первых, с г-ном Прудоном, а во-вторых — с Гегелем. Чем отличается г-н Прудон от других экономистов? Какую роль играет Гегель в политической экономии г-на Прудона?

Экономисты изображают отношения буржуазного производства — разделение труда, кредит, деньги и т. д. — как вечные, неизменные, неподвижные категории. Г-н Прудон, который имеет пред собою эти категории в совершенно законченном виде, хочет объяснить нам образование и происхождение всех этих категорий, принципов, законов, идей, мыслей.

Экономисты объясняют нам, как совершается производство при этих данных отношениях; но у них остается невыясненным способ производства самих этих отношений, т. е. то историческое движение, которое их порождает. Так как г-н Прудон принимает эти отношения за принципы, за категории, за абстрактные мысли, то ему остается лишь привести в порядок эти мысли, которые можно найти в алфавитном указателе, в конце любого трактата по политической экономии. Материалом для экономистов служит деятельная и подвижная человеческая жизнь; материалом для г-на Прудона служат догмы экономистов. Но раз мы упускаем из виду историческое развитие производственных отношений, для которых категории служат лишь теоретическим выражением, раз мы видим в этих категориях лишь идеи, лишь независимые от действительных отношений мысли, мы волей-неволей должны искать происхождения этих

мыслей в движении чистого разума. Как порождает эти мысли чистый, вечный, безличный разум? Каким образом создает он их?

Если бы по отношению к гегельянству мы обладали неустрашимостью г-на Прудона, то мы сказали бы, что разум различается в самом себе от самого себя. Что это значит? Так как безличный разум не имеет вне себя ни почвы, на которую он мог бы стать, ни объекта, которому он мог бы противостоять, ни субъекта, с которым он мог бы соединиться, то он поневоле должен делать прыжки, ставя самого себя, противопоставляя себя самому же себе и соединяясь с самим собою: положение, противоположение, сложение, или по-гречески: тезис, антитезис, синтезис. Что касается читателей, не знакомых с гегельянским языком, то мы откроем им таинственную формулу: она означает положение, отрицание, отрицание отрицания. Вот смысл этих слов. Это, конечно, не древне-еврейский язык, с позволения г-на Прудона, а язык этого, столь чистого разума, взятого отдельно от личности. Вместо обыкновенного индивидуума, с его обыкновенной манерой говорить и мыслить, мы имеем здесь не что иное, как эту обыкновенную манеру в ее чистом виде без самого индивидуума.

Можно ли удивляться тому, что в последней степени абстракции — так как мы имеем здесь дело с абстракцией, а не с анализом — всякая вещь является в виде логической категории? Можно ли удивляться тому, что, устраняя мало-по-малу все, составляющее отличительную особенность данного дома, отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, которая ему свойственна, — мы получаем, наконец, лишь тело вообще; что, отвлекаясь от размеров этого тела, мы оставляем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической категорией количества? Последовательно отвлекаясь таким образом от всякого субъекта, от всех его так называемых случайных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей, — мы можем сказать, что в последней степени абстракции у нас есть лишь логические категории как единственная субстанция. С своей стороны, метафизики, — воображающие, что эти абстракции составляют анализ, и думающие, что, все более и более удаляясь от предмета, они приближаются к его пониманию, — метафизики по-своему правы, говоря, что в нашем мире вещи представляют собою лишь узоры, для которых логические категории служат канвою. Этим-то и отличается философ от христианина. Вопреки логике, христианин знает лишь одно воплощение Logos'a («Слова»); у философа нет

конца этим воплощениям. Все существующее, все живущее на земле или в воде может быть сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно ли, что весь реальный мир может, таким образом, потонуть в море абстракций и логических категорий.

Все существующее, все живущее на земле или в воде существует и живет лишь в силу известного движения. Так, историческое движение создает общественные отношения, промышленное движение дает нам промышленные продукты и т. д.

Как посредством абстракции мы превращаем всякую вещь в логическую категорию, точно так же нам стоит только отвлечься от отличительных признаков различных родов движения, чтобы прийти к движению в абстрактном виде, к чисто формальному движению, к чисто логической формуле движения. И если в логических категориях мы видим субстанцию всех вещей, то нам не трудно вообразить, что в логической формуле движения мы нашли *абсолютный метод*, который не только объясняет каждую вещь, но и включает в себя движение каждой вещи.

Об этом абсолютном методе Гегель выражается следующим образом: «Метод есть абсолютная, единственная, высшая, бесконечная сила, которой ничто не может противостоять; это — стремление разума найти и познать себя в каждой вещи» («Логика», т. III). Если всякая вещь сводится к логической категории, а всякое движение, всякий акт производства — к методу, то отсюда само собою следует, что всякая совокупность продуктов и производства, предметов и движения сводится к прикладной метафизике. Г-н Прудон хочет сделать для политической экономии то же, что Гегель сделал для религии, права и т. д.

Итак, что же такое абсолютный метод? Абстракция движения. Что такое абстракция движения? Движение в абстрактном виде. Что такое движение в абстрактном виде? Чисто логическая формула движения, или движение чистого разума. В чем состоит движение чистого разума? В том, что он полагает себя, противопоставляет себя самому себе и слагается с самим собою, в том, что он формулируется в тезис, антитезис и синтезис, или, наконец, в том, что он себя утверждает, отрицает и отрицает свое отрицание.

Но каким же образом полагает себя разум, каким образом он ставит себя как определенную категорию? Это уже дело самого разума и его апологетов.

Но раз он поставил себя как тезу, эта теза, эта мысль, противопоставляясь сама себе, разделяется на две мысли, противоречащие одна другой, — на положение и отрицание, на *да* и *нет*. Борьба

этих двух заключающихся в антитезе противоположных элементов образует диалектическое движение. *Да* превращается в *нет*, *нет* превращается в *да*, *да* становится одновременно и *да* и *нет*, *нет* становится одновременно и *нет* и *да*. Таким путем противоположности взаимно уравниваются, нейтрализуются и парализуются. Слияние этих двух мыслей, противоречащих одна другой, образует новую мысль — их синтезис. Эта новая мысль опять разделяется на две противоположные мысли, которые, в свою очередь, сливаются в новом синтезисе. Этот процесс рождения создает группу мыслей. Группа мыслей подчиняется тому же диалектическому движению, как и простая категория, и имеет в качестве своей антитезы другую, противоположную ей группу. Из этих двух групп мыслей рождается новая группа мыслей — их синтезис.

Как из диалектического движения простых категорий рождается группа, так из диалектического движения групп возникает серия, а диалектическое движение серий порождает всю совокупность системы.

Приложите этот метод к категориям политической экономии, и вы получите логику и метафизику политической экономии, или, другими словами, вы переведете всем известные экономические категории на мало известный язык, благодаря которому они получают такой вид, как будто бы только-что родились в голове, полной чистого разума: до такой степени эти категории кажутся порождающими одни другие, связанными и переплетенными одни с другими посредством одного только диалектического движения. Пусть читатель не пугается этой метафизики со всем ее зданием категорий, групп, серий и систем. Несмотря на величайшее старание взобраться на высоту *системы противоречий*, г-н Прудон никогда не мог подняться выше двух первых ступеней: простой тезы и антитезы, да и сюда он доходил лишь два раза, причем один раз перекувырнулся и упал.

До сих пор мы излагали только диалектику Гегеля. Ниже мы увидим, каким образом г-ну Прудону удалось привести ее к более жалким размерам. По мнению Гегеля, все, что происходило, и все, что происходит еще в мире, тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. Таким образом, философия истории оказывается лишь историей философии, и притом — его собственной философии. Нет более истории, «соответствующей порядку времени»; существует лишь «последовательность идей в разуме». Он воображает, что строит мир посредством движения мысли, между тем как в действительности он лишь систематически перестраивает и

располагает согласно своему абсолютному методу те мысли, которые находятся в головах у всех и у каждого.

Второе замечание.

Экономические категории представляют собою лишь теоретические выражения, абстракции общественных отношений производства. Как истинный философ, г-н Прудон понимает вещи наизусть и видит в действительных отношениях лишь воплощение принципов и категорий, которые дремали, как сообщает нам тот же г-н Прудон-философ, в недрах «безличного разума человечества».

Г-н Прудон-экономист очень хорошо понял, что люди выделяют сукно, полотно, шелковые ткани и проч. при определенных производственных отношениях. Но он не понял того, что эти определенные общественные отношения так же точно произведены людьми, как и полотно, лен и т. д. Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, — они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом.

Те же самые люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно своему способу материального производства, создают также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям.

Таким образом, эти идеи, эти категории столь же мало вечны, как и выражаемые ими отношения. Они представляют собою *исторические и преходящие продукты*.

Непрерывно совершается движение роста производительных сил, разрушение общественных отношений, возникновение идей, неподвижна лишь абстракция движения.

Третье замечание.

В каждом обществе производственные отношения образуют одно целое. Г-н Прудон рассматривает экономические отношения как соответствующее количество общественных фаз, которые порождают одна другую, вытекают одна из другой как антитеза из тезы и в своей логической последовательности осуществляют безличный разум человечества.

Единственное неудобство этого метода состоит в том, что, принимаясь за исследование одной из этих фаз, г-н Прудон не может объяснить ее без помощи всех других общественных отношений, тех самых отношений, которых он не успел еще вызвать к жизни посредством своего диалектического движения. А когда г-н Прудон переходит затем, с помощью чистого разума, к созданию других фаз, то он обращается с этими последними, как с новорожденными детьми, забывая, что они столь же стары, как и первая фаза.

Таким образом, чтобы конституировать стоимость, которая есть, по его мнению, основа всякого экономического развития, он не мог обойтись без разделения труда, без конкуренции и т. д. А между тем, эти отношения не существовали еще *в серии, в разуме* г-на Прудона, *в логической последовательности*.

Воздвигая при помощи политико-экономических категорий здание идеологической системы, мы разъединяем между собою различные члены общественной системы. Мы превращаем эти различные члены в соответственное число отдельных обществ, следующих одно за другим. В самом деле, каким образом простая логическая формула движения последовательности во времени могла бы служить для объяснения общественного тела, в котором все отношения существуют одновременно и опираются одно на другое?

Четвертое замечание.

Посмотрим теперь, каким видоизменениям подвергает г-н Прудон гегелевскую диалектику, прилагая ее к политической экономии.

По его, г-на Прудона, мнению, всякая экономическая категория имеет две стороны: хорошую и дурную. Он рассматривает категории, как мелкий буржуа рассматривает великих исторических деятелей: *Наполеон* — великий человек; он сделал много добра, но он принес также много зла.

Взятые вместе, *хорошая сторона и дурная сторона, выгода и неудобство* составляют, по мнению г-на Прудона, *противоречие*, свойственное каждой экономической категории.

Таким образом, необходимо решить следующую задачу: сохранить хорошую сторону и устранить дурную.

Рабство есть такая же экономическая категория, как и всякая другая. Следовательно, оно также имеет две стороны. Оставим дурную сторону рабства и рассмотрим хорошую. Само собою разумеется, что при этом речь идет лишь о настоящем рабстве, о

рабстве чернокожих в Суринаме, в Бразилии, в южных штатах Северной Америки.

Подобно машинам, кредиту и пр., это рабство представляет собою краеугольный камень буржуазной промышленности. Без рабства не было бы хлопка; без хлопка немыслима современная промышленность. Рабство дало значение колониям, колонии создали мировую торговлю, мировая торговля есть необходимое условие крупной промышленности. Следовательно, рабство представляет собою в высшей степени важную экономическую категорию.

Без рабства Северная Америка, эта страна наиболее быстрого прогресса, превратилась бы в патриархальную страну. Сотрите Северную Америку с карты земного шара, — и вы произведете анархию, полный упадок современной торговли и цивилизации. Уничтожьте рабство, — и вы сотрете Америку с географической карты.¹

Так как рабство есть экономическая категория, то оно всегда входило в число учреждений различных народов. Новейшие народы сумели лишь замаскировать рабство в своей собственной стране, а в Новом Свете ввели его неприкрытым образом.

Что предпримет г-н Прудон для спасения рабства? Он предложит *задачу*: сохранить хорошую сторону этой экономической категории и устранить дурную.

У Гегеля нет задач. Он знает лишь диалектику. Г-н Прудон заимствовал из диалектики Гегеля только язык. Его собственный диалектический метод состоит лишь в догматическом различении хорошего от дурного.

Примем на время самого г-на Прудона за категорию. Исследуем его дурную и его хорошую сторону, его преимущества и его недостатки.

Если, сравнительно с Гегелем, он обладает тем преимуществом, что умеет ставить задачи, — которые и предоставляет себе решить для блага человечества, — то он имеет также и недостаток:

¹ Для 1847 г. это было совершенно справедливо. В то время торговля Соединенных Штатов с остальным миром ограничивалась главным образом ввозом иммигрантов и продуктов промышленности и вывозом хлопка и табаку, т. е. продуктов рабского труда Юга. Северные штаты производили главным образом хлеб и мясо для рабовладельческих штатов. Отмена рабства стала возможна лишь с того времени, как Север начал производить хлеб и мясо для вывоза и сделался промышленной страной, а хлопковая монополия Америки встретила сильную конкуренцию со стороны Индии, Египта, Бразилии и т. д. Да и тогда следствием этой отмены было разорение Юга, которому не удалось заменить открытого рабства негров замаскированным рабством индийских и китайских кули. — Ф. Э.

он обнаруживает полнейшее бесплодие там, где речь идет о порождении при помощи диалектики какой-либо новой категории. Существование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и их слияние в одну новую категорию составляют сущность диалектического движения. Если вы ограничиваетесь лишь тем, что ставите себе задачу устранения дурной стороны, то вы разом кладете конец всему диалектическому движению. Вы имеете дело уже не с категорией, которая полагает себя и противопоставляется самой себе в силу своей противоречивой природы; вы имеете дело лишь с г-ном Прудон, который бьется, мучится и выбивается из сил между двумя сторонами категории.

Попав таким образом в тупик, из которого трудно выбиться с помощью законных средств, г-н Прудон делает отчаянное усилие и одним прыжком переносится в область новой категории. Тогда-то раскрывается пред его восхищенными очами *серия в разуме*.

Он схватывает первую попавшуюся категорию и произвольно приписывает ей свойство устранить неудобства категории, подлежащей очищению. Так, налоги залечивают, если верить г-ну Прудону, неудобства монополии; торговый баланс устраняет неудобства налогов, поземельная собственность — неудобства кредита.

Перебирая, таким образом, последовательно все экономические категории одну за другой и делая одну категорию *противоядием* по отношению к другой, г-н Прудон сочиняет с помощью этой смеси противоречий и противоядий от противоречий два тома противоречий, которые он справедливо называет «Системой экономических противоречий».

Пятое замечание.

«В абсолютном разуме все эти идеи... одинаково просты и всеобщы... В действительности мы приходим к науке лишь посредством сооружения из наших идей чего-то вроде строительных лесов. Но, взятая сама по себе, истина не зависит от этих диалектических фигур и свободна от комбинаций нашего ума». (*Прудон*, т. II, стр. 97.)

Таким образом, неожиданно, посредством особого рода поворотного движения, секрет которого нам теперь известен, метафизика политической экономии превращается в иллюзию! Никогда еще г-н Прудон не высказывал более справедливого мнения. Само собою понятно, что раз весь процесс диалектического движения сводится к простому приему противоположения добра злу, к постановке задач, смысл которых заключается в устранении зла и в употреблении

одной категории в качестве противоядия против другой, — то категории утрачивают свое самостоятельное движение; идея *«не функционирует больше»*; в ней уже нет внутренней жизни. Она уже не может ни полагать себя в виде категорий, ни разлагаться на них. Последовательность категорий превращается в какие-то строительные леса. Диалектика уже не представляет собою движения абсолютного разума. Она совершенно исчезает, и на ее месте оказывается в лучшем случае только мораль.

Когда г-н Прудон говорил *о серии в разуме, о логической последовательности категорий*, он положительно заявил, что имеет в виду не ту историю, которая соответствует последовательности времен, причем под этим выражением он понимал историческую последовательность, в которой категории *проявлялись*. Все совершалось тогда у него в *чистом эфире разума*. Все должно было вытекать из этого эфира посредством диалектики. Теперь, когда дело идет о практическом применении этой диалектики, разум изменяет ему. Диалектика г-на Прудона приходит в разлад с диалектикой Гегеля, и г-н Прудон оказывается вынужденным признать, что порядок, в котором он излагает экономические категории, не соответствует тому порядку, в котором они порождают одна другую. Экономические эволюции не совпадают более с эволюциями чистого разума.

Что же, однако, дает нам г-н Прудон? Действительную историю, т. е., — как понимает это разум г-на Прудона, — последовательность, в которой категории *проявлялись* во времени? — Нет. Историю, как она совершается в самой идее? Еще того менее. Значит, он не дает нам ни обыкновенной истории категорий, ни их священной истории! Но какую же историю дает он нам? — Историю своих собственных противоречий. Посмотрим же, как шествуют эти противоречия и как они увлекают за собой г-на Прудона.

Прежде чем приступить к этому исследованию, которое послужит поводом к шестому важному замечанию, мы должны сделать еще одно менее важное замечание.

Предположим вместе с г-ном Прудоном, что действительная история, история, соответствующая порядку времен, представляет собою ту историческую последовательность, в которой проявлялись идеи, категории и принципы.

Каждый принцип имел особый век для своего проявления. Так, например, принципу авторитета соответствовал X^{II} век, принципу индивидуализма — XVIII век. Рассуждая последовательно, мы должны согласиться, что век принадлежал принципу, а не прин-

цип веку. Другими словами, принцип создавал историю, а не история создавала принцип. Но если, — чтобы спасти как принцип, так и историю, — мы спросим себя, наконец, почему же данный принцип проявлялся в XI или в XVIII, а не в каком-нибудь другом столетии, то мы будем вынуждены тщательно исследовать, каковы были люди в XI веке, каковы они были в XVIII, каковы были в каждом из этих столетий их нужды, их производительные силы, их способ производства, сырые материалы их производства; каковы, наконец, были те отношения человека к человеку, которые вытекали из всех этих условий существования. Разве исследовать все эти вопросы не значит написать действительную, обыкновенную историю людей каждого столетия, изобразить этих людей, в одно и то же время, как авторов и актеров их собственной драмы? Но раз вы изображаете людей как актеров и авторов их собственной истории, вы приходите окольным путем к истинной точке отправления, потому что вы покидаете вечные принципы, от которых вы отправлялись сначала.

Г-н Прудон не подвинулся достаточно далеко даже на том окольном пути, по которому следует идеолог, чтобы выйти на большую дорогу истории.

Шестое замечание.

Пройдемся с г-ном Прудоном по окольной дороге.

Предположим, что экономические отношения, рассматриваемые как *неизменные законы*, как *вечные принципы*, как *идеальные категории*, предшествовали людям и их деятельности; предположим, кроме того, что эти законы, эти принципы, эти категории от начала веков дремали в недрах «безличного разума человечества». Мы уже видели, что все эти неизменные, неподвижные вечности не оставляют места для истории; в самом лучшем случае мы имеем историю в идее, т. е. историю, отражающуюся в диалектическом движении чистого разума. Говоря, что в диалектическом движении идеи уже не *«дифференцируются»*, г-н Прудон уничтожает как всякую *тень движения*, так и всякое *движение теней*, с помощью которых можно было бы создать хоть какое-нибудь подобие истории. Не заботясь об этом, он приписывает истории свое собственное бессилие и обвиняет в нем всех и все, до французского языка включительно. «Говоря, что какая-нибудь вещь *происходит*, что какая-нибудь вещь *создается*, мы выражаемся не точно, — сообщает нам г-н Прудон-философ, — в цивилизации, как и во вселенной, все существует и действует от века... *То же самое мы видим и во всей общественной экономике*». (Т. II, стр. 102.)

Производительная сила противоречий, *функционирующих* и заставляющих функционировать самого г-на Прудона, так велика, что, стремясь объяснить историю, он оказывается вынужденным отрицать ее; стремясь объяснить последовательное появление общественных отношений, он не допускает, чтобы какая-нибудь *вещь могла произойти*; желая объяснить производство и все его фазы, он не признает возможности *производства каких бы то ни было вещей*.

Таким образом, для г-на Прудона нет более ни истории, ни последовательности идей; а между тем продолжает существовать его книга, та самая книга, которая, по его собственному выражению, есть не что иное, как *«история, соответствующая последовательности идей»*. Г-н Прудон — человек формулы, поэтому мы можем спросить себя, как была найдена та формула, которая помогла ему *одним прыжком* перепрыгнуть через все эти противоречия?

Чтобы найти ее, он изобрел новый разум, равно отличный как от абсолютного, чистого и девственного разума, так и от обыкновенного разума людей, действовавших в различные исторические эпохи; это — совершенно особенный разум, разум общества-лица, субъекта-человечества, разум, который под пером г. Прудона иногда является также в виде *«общественного гения»*, или в виде *«всеобщего разума»*, или, наконец, в виде *«человеческого разума»*. Однако этот обремененный множеством имен разум ежеминутно оказывается индивидуальным разумом г-на Прудона со всеми его хорошими и дурными сторонами, с его противоядиями и задачами.

«Человеческий разум не создает истины», таящейся в глубине абсолютного и вечного разума. Он может только открывать ее. Но открытые им до сих пор истины неполны, недостаточны и потому противоречивы. Экономические категории, представляющие собою истины, открытые и разоблаченные человеческим разумом, общественным гением, — также неполны и носят в себе зародыш противоречия. До г-на Прудона общественный гений видел лишь *враждебные друг другу элементы* и не находил *синтетической* формулы, хотя и формула, и элементы одновременно таятся в *абсолютном разуме*. Так как экономические отношения являются лишь земным осуществлением этих недостаточных истин, этих неполных категорий, этих противоречивых понятий, то и они содержат в себе противоречие, и они представляют две стороны: хорошую и дурную.

Найти совершенную истину, полное понятие, синтетическую формулу, разрешающую противоречие, — такова задача, которую должен разрешить гений общества. Вот почему этот гений общества

в воображении г. Прудона вынужден был переходить от одной категории к другой, не будучи, однако, до сих пор в состоянии, несмотря на целую батарею своих категорий, вырвать у бога, у вечного разума, искомую синтетическую формулу.

«Сначала общество (гений общества) устанавливает первый факт, выдвигает *гипотезу*... истинную антиномию, антагонистические следствия которой развиваются в общественной экономике совершенно в таком же порядке, в каком их можно вывести в качестве следствий из чистого разума. Так что промышленное развитие, совершенно совпадая с дедукцией идей, подразделяется на два направления: одно из них соответствует полезным, другое — вредным действиям этого развития... Чтобы гармонически конституировать этот двойственный принцип, чтобы разрешить это противоречие, — общество заставляет его породить новое, *второе* противоречие, за которым вскоре следует третье и т. д.; так будет *шествовать* гений общества до тех пор, пока, исчерпав все свои противоречия, — я предполагаю, хотя это не доказано, что свойственные человечеству противоречия имеют конец, — пока, исчерпав все свои противоречия, он не возвратится одним прыжком ко всем своим прежним положениям и не разрешит всех своих задач *единой формулой*». (Т. I, стр. 185.)

Как прежде *антитеза* (противоположение) становилась *противоядием*, так и теперь *теза* превращается в *гипотезу*. Но теперь нас уже не удивляет более эта совершаемая г-ном Прудона переменна терминов. Человеческий разум, который всего менее чист, так как обладает лишь ограниченным круговоротом, на каждом шагу наталкивается на новые задачи, требующие решения. Каждое новое положение, каждая новая теза, открытая им в абсолютном разуме и представляющая собою отрицание новой тезы, становится для него синтезом и наивно принимается им за искомое решение задачи. Так выбивается из сил этот разум в вечно новых противоречиях, пока, приближаясь к концу этих противоречий, он не замечает, что все эти тезы и синтезы представляют собою не более как противоречивые гипотезы. В этом затруднении «человеческий разум, гений общества, возвращается одним прыжком ко всем своим прежним положениям и разрешает все свои задачи единой формулой». Заметим мимоходом, что эта единая формула составляет истинное открытие г-на Прудона. Она есть не что иное, как *конституированная стоимость*.

Гипотезы создаются лишь с какою-нибудь определенной целью. Цель, которую прежде всего ставит себе говорящий устами г-на Прудона гений общества, заключается в устранении всех дурных и в

удержании всех хороших сторон каждой экономической категории. Для гения общества — добро, высшее благо, истинная практическая цель сводится к *равенству*. Почему же гений общества предпочитает равенство неравенству, или братству, или католицизму, или какому-либо другому принципу? Потому, что «человечество лишь потому и осуществляло одну за другою столько частных гипотез, что имело в виду одну высшую гипотезу», которая именно и есть равенство. Другими словами — потому, что равенство есть идеал г-на Прудона. Он воображает, что разделение труда, кредит, фабрика, словом — все экономические отношения были изобретены лишь для того, чтобы послужить на пользу равенства, и, однако, они постоянно обращались, в конце концов, против этого последнего. Из того, что история на каждом шагу противоречит фикции г-на Прудона, он заключает о существовании противоречия. Но если противоречие и существует, то лишь между его навязчивой идеей и действительным историческим движением.

Отныне хорошою стороною каждого экономического отношения оказывается та, которая ведет к равенству, дурною — та, которая отрицает его и ведет к неравенству. Всякая новая категория есть гипотеза гения общества, имеющая целью устранение неравенства, порожденного предыдущей гипотезой. Словом, равенство есть *изначальное намерение, мистическая тенденция, провиденциальная цель*, которую гений общества никогда не теряет из виду, вращаясь в кругу экономических противоречий. Поэтому *провидение* есть локомотив, с помощью которого весь экономический багаж г-на Прудона движется гораздо скорее, чем с помощью чистого эфирного разума. Наш автор посвятил провидению целую главу, следующую за главою о налогах.

Провидение, провиденциальная цель — вот великое слово, которое употребляется ныне для объяснения хода истории. В сущности, это слово не объясняет ровно ничего. Это есть не более как риторическая форма, один из многих приемов словесного выражения явлений.

Известно, что благодаря развитию английской промышленности возросла стоимость поземельной собственности в Шотландии. Промышленность открыла новые рынки для сбыта шерсти. Чтобы производить шерсть в больших размерах, нужно было превратить пахотные поля в пастбища. Чтобы совершить это превращение, нужно было концентрировать собственность. Чтобы концентрировать собственность, нужно было уничтожить мелкие наследственные фермы, согнать тысячи фермеров с их родной земли и заменить их несколькими пастухами, пасущими миллионы овец. Оказывается, что шот-

ландская поземельная собственность, путем своих последовательных превращений, привела к вытеснению людей баранами. Поэтому предположим, что провиденциальной целью института шотландской поземельной собственности было изгнание людей баранами, и мы получим провиденциальную историю.

Конечно, стремление к равенству свойственно нашему веку. Но говорить, что все предшествовавшие столетия со всеми их совершенно различными потребностями, средствами производства и т. д. были провиденциально предназначены для осуществления равенства, говорить это — значит, во-первых, ставить людей и средства нашего века на место людей и средств предшествовавших столетий, а кроме того, это значит игнорировать то историческое движение, посредством которого различные поколения преобразовывали результаты, добытые предшествовавшими им поколениями. Экономисты очень хорошо знают, что та же самая вещь, которая является окончательным продуктом труда одного лица, другому служит лишь сырым материалом для нового производства.

Предположите вместе с г-ном Прудоном, что гений общества произвел или, лучше, импровизировал, феодальных сеньеров, имея в виду провиденциальную цель превращения *крепостных крестьян в ответственных и равных между собою работников*, и вы сделаете произвольную подстановку целей и лиц, вполне достойную того самого провидения, которое создало шотландскую поземельную собственность, чтобы доставить себе случай позлорадствовать при изгнании людей овцами.

Но так как г-н Прудон относится к провидению со столь нежным участием, то мы отсылаем его к «Истории политической экономии» г. Вилььева-Баржемона, который также стремится к провиденциальной цели. Но его целью является уже не равенство, а — католицизм.

Замечание седьмое и последнее.

Экономисты употребляют очень странный прием в своих рассуждениях. Для них существует только два рода учреждений: одни — естественные, другие — искусственные. Феодальные учреждения — искусственны, буржуазные — естественны. В этом случае экономисты похожи на теологов, которые также имеют два сорта религий. Всякая чужая религия есть, по их мнению, дело людей, между тем как их собственная религия есть эманация бога. Говоря, что существующие отношения, — т. е. отношения буржуазного производства, — естественны, экономисты хотят этим сказать, что при

этих отношениях производство богатства и развитие производительных сил совершаются сообразно законам природы. Поэтому и сами названные стношения оказываются естественными законами, независимыми от влияния времени. Общество всегда должно находиться под влиянием этих вечных законов. Таким образом, прежде была история, но теперь ее уже нет. История была — потому что были феодальные учреждения и потому что в этих феодальных учреждениях мы находим такие производственные отношения, которые совершенно не похожи на буржуазные, выдаваемые экономистами за естественные и потому вечные.

Феодализм также имел своих пролетариев — крепостных, заключавших в себе все зародыши буржуазии. Феодальное производство, в свою очередь, заключало в себе два антагонистических элемента, которые называют также *хорошей и дурной стороной* феодализма, не замечая при этом, что, в конце концов, дурная сторона всегда берет верх над хорошею. Именно дурная сторона, порождая борьбу, создает историческое движение. Если бы в эпоху господства феодализма экономисты, очарованные рыцарскими добродетелями, гармонией между правами и обязанностями, патриархальной жизнью городов, процветанием домашней промышленности в деревнях, развитием производства, организованного в корпорации, гильдии и цехи, словом — если бы они, очарованные всем тем, что составляет хорошую сторону феодализма, поставили себе задачей устранить обратную сторону медали — рабство, привилегии, анархию, — к чему могли бы привести их усилия? Все элементы, порождающие борьбу, были бы уничтожены, развитие буржуазии было бы прервано в самом зародыше. Экономисты поставили бы себе нелепую задачу устранить историю.

Когда взяла верх буржуазия, то уже не было более речи ни о хорошей, ни о дурной стороне феодализма. Буржуазия вступила в обладание производительными силами, развитыми ею при господстве феодализма. Но вместе с тем были разбиты все старые экономические формы, все соответствовавшие им гражданские отношения, равно как и политический порядок, служивший официальным выражением старого гражданского общества.

Таким образом, чтобы правильно судить о феодальном производстве, нужно рассматривать его как способ производства, основанный на антагонизме. Нужно показать, как создавалось богатство в этой основанной на антагонизме среде, как параллельно с развитием борьбы классов развивались производительные силы, как один из этих классов, — представлявший собою дурную неудобную сто-

рону общества, — постепенно рос до тех пор, пока не созрели, наконец, материальные условия его освобождения. Но, поступая таким образом, не признаете ли вы, что способы производства, равно как и те отношения, при которых совершается развитие производительных сил, вовсе не составляют вечных законов, а соответствуют известному развитию людей и их производительных сил; не признаете ли вы также, что всякое изменение в области принадлежащих людям производительных сил необходимо ведет за собою изменение в производственных отношениях? Так как необходимо прежде всего сохранить приобретенные производительные силы, — эти плоды цивилизации, — то приходится разбить традиционные формы, в которых они были произведены. Вслед за этим моментом прежний революционный класс становится консервативным.

Буржуазия начинает свое историческое развитие вместе с пролетариатом, который, в свою очередь, есть остаток пролетариата феодальных времен. В течение своего исторического развития буржуазия необходимо развивает свойственный ей антагонистический характер, который первоначально очень неясен и существует лишь в скрытом состоянии. По мере развития буржуазии, в недрах ее развивается новый пролетариат, современный пролетариат; между пролетариатом и буржуазией завязывается борьба, которая, прежде чем обе стороны ее почувствовали, заметили, оценили, поняли, признали и громко провозгласили, проявляется лишь в частичных и переходящих конфликтах и в разрушительных действиях. С другой стороны, если все члены современной буржуазии имеют один и тот же интерес, поскольку они образуют особый класс, противоречащий другому классу, то в их собственных взаимных отношениях интересы их враждебны и противоположны. Эта противоположность интересов вытекает из экономических условий их буржуазной жизни.

Таким образом, с каждым днем становится все более и более очевидным, что характер тех производственных отношений, в пределах которых совершается движение буржуазии, отличается двойственностью, а вовсе не единообразием и простотою; что при тех же самых отношениях, при которых производится богатство, производится также и нищета; что при тех же самых отношениях, при которых совершается развитие производительных сил, развивается также и сила угнетения; что эти отношения создают *буржуазное богатство*, т. е. богатство буржуазного класса, лишь при условии постоянного уничтожения богатства отдельных членов этого класса и образования постоянно растущего пролетариата.

Чем более обнаруживается этот антагонистический характер,

тем более приходят в разлад с своей собственной теорией научные представители буржуазного производства — экономисты; образуются различные школы.

Есть экономисты *фаталисты*, которые так же индифферентны в своей теории к тому, что они называют неудобствами буржуазного производства, как сами буржуа нечувствительны на практике к страданиям пролетариев, с помощью которых они приобретают свои богатства. Эта фаталистическая школа имеет своих классиков и своих романтиков. Классики — как, например, Адам Смит и Рикардо — являются представителями того периода развития буржуазии, когда она, находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от этих феодальных пятен, развить производительные силы, придать новый размах промышленности и торговле. Пролетариат, принимающий участие в этой борьбе и поглощенный этой лихорадочной деятельностью, знает в этом периоде только преходящие, случайные бедствия и сам смотрит на них как на таковые. Задача экономистов, вроде Адама Смита и Рикардо, являющихся историками этой эпохи, состоит лишь в том, чтобы уяснить, каким образом приобретается богатство при буржуазных производственных отношениях, формулировать эти отношения в виде законов и категорий и показать, насколько эти законы и категории удобнее для производства богатств, чем законы и категории феодального общества. В их глазах нищета является лишь болезнью, сопровождающею всякое рождение как в природе, так и в промышленности.

Романтики принадлежат нашей эпохе, — эпохе, когда буржуазия стала в прямую противоположность с пролетариатом, когда нищета порождается в таком же огромном изобилии, как и богатство. Тогда экономисты разыгрывают из себя разочарованных фаталистов, с высоты своего величия бросающих презрительный взгляд на те машины в человеческом образе, трудом которых создается богатство. Они подражают всем приемам своих предшественников, но индифферентизм, бывший у тех наивностью, у этих становится кокетством.

Затем является *гуманитарная школа*, принимающая близко к сердцу дурную сторону современных производственных отношений. Для успокоения своей совести она старается по возможности сгладить существующие контрасты; она искренно оплакивает бедствия пролетариев и ожесточенную конкуренцию между буржуа; она советует рабочим быть умеренными, хорошо работать и родить поменьше детей. Она предлагает буржуазии умерить свой производственный пыл. Вся теория этой школы состоит в бесконеч-

ных различениях между теорией и практикой, между принципом и его последствиями, между идеей и ее приложением, между содержанием и формой, между сущностью и действительностью, между правом и фактом, между хорошей и дурной стороною.

Филантропическая школа есть усовершенствованная гуманитарная школа. Она отрицает необходимость антагонизма; она хочет всех людей превратить в буржуа, она хочет осуществить теорию, поскольку эта теория отличается от практики и не содержит в себе антагонизма. Само собою разумеется, что не трудно отвлекаться в теории от противоречий, встречаемых в действительности на каждом шагу. Подобная теория представляет собою лишь идеализированную действительность. Таким образом, филантропы хотят сохранить категории, выражающие собою буржуазные отношения, и устранить тот антагонизм, который неотделим от этих категорий, так как составляет их сущность. Филантропам кажется, что они серьезно борются против буржуазной практики, между тем как сами они буржуазны более, чем кто бы то ни было.

Так же точно, как *экономисты* служат научными представителями буржуазного класса, — *социалисты и коммунисты* являются теоретиками пролетариата. Пока пролетариат не настолько еще развит, чтобы конституироваться как класс, пока самая борьба пролетариата с буржуазией не имеет еще, следовательно, политического характера и пока производительные силы еще не до такой степени развились в недрах самой буржуазии, чтобы можно было обнаружить материальные условия, необходимые для освобождения пролетариата и для образования нового общества, — до тех пор эти теоретики являются лишь утопистами, которые, чтобы помочь нуждам угнетенного класса, придумывают системы и стремятся найти возрождающую науку. Но, по мере того, как подвигается вперед история, а вместе с тем и яснее обрисовывается борьба пролетариата, — для них становится излишним искать научную истину в своих собственных головах; им нужно только отдавать себе отчет в том, что совершается на их глазах, и стать выразителями действительных событий. Поскольку они ищут науку и придумывают системы, поскольку они переживают лишь начало борьбы, они видят в нищете только нищету, не замечая ее революционной разрушительной стороны, той стороны, которая низвергнет старое общество. Но раз замечена эта сторона, наука становится сознательным продуктом исторического движения; она перестает быть доктринерской, она делается революционной!

Возвратимся к г-ну Прудону.

Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою дурную сторону — это единственный пункт, на котором г-н Прудон не побивает самого себя жесточайшим образом. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — обличается социалистами. У экономистов он заимствует понятие о необходимости вечных экономических отношений; у социалистов — ту иллюзию, в силу которой они видят в нищете только нищету. Он соглашается и с теми, и с другими, причем старается опереться на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к ничтожным размерам научной формулы; он находится в вечной погоне за формулами.¹ Сообразно с этим, г-н Прудон льстит себя уверенностью, что он сумел дать критику как политической экономии, так и коммунизма; на самом же деле он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов — потому, что он, как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические детали; ниже социалистов — потому, что у него не хватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться выше буржуазного горизонта, хотя бы только в области умозрений...

Он хочет быть синтезом и остается не более, как сложной ошибкой.

Он хочет, как муж науки, витать над буржуа и пролетариями, будучи лишь мелким буржуа, постоянно колеблющимся между трудом и капиталом, между политической экономией и коммунизмом.

II. Разделение труда и машины.

Разделением труда открывается, по мнению г-на Прудона, серия *экономических эволюций*.

Хорошая сторона разделения труда.

«В сущности, разделение труда есть способ осуществления равенства положений и умственных способностей». (Т. I, стр. 93.)

«Разделение труда сделалось для нас источником бедствий». (Т. I, стр. 99.)

Дурная сторона разделения труда.

Другой вариант.

«Труд, разделяясь сообразно свойственному ему закону, составляющему важнейшее условие его производительности, приходит, в конце концов, к отрицанию своей цели и сам себя уничтожает». (Т. I, стр. 94.)

Задача.

«Найти новое сочетание, которое устранило бы вредные стороны разделения, сохраняя при этом его полезное действие». (Т. I, стр. 97.)

¹ Слова: «он находится в вечной погоне за формулами» отсутствуют во 2-м французском издании; в немецком переводе они сохранены. — *Прим. ред.*

Разделение труда есть, по мнению г-на Прудона, вечный закон, простая и абстрактная категория. Он должен, следовательно, найти в абстракции, в идее, в слове достаточное объяснение разделения труда в различные эпохи истории. Касты, цехи, мануфактура и крупная промышленность должны быть объяснены одним словом: *разделение*. Изучите хорошенько смысл слова «делить», и вам уже не нужно будет исследовать те многочисленные влияния, которые в каждую эпоху дают разделению труда его определенный характер.

Конечно, сводить исторические явления к категориям г-на Прудона значит слишком уже упрощать их. Ход истории не так категоричен. Целых три столетия понадобились Германии для того, чтобы установить первое крупное разделение труда: отделить город от деревни. По мере того, как видоизменялось одно только это отношение между городом и деревней, видоизменялось и все общество. Обращая внимание лишь на одну упомянутую сторону разделения труда, мы находим, с одной стороны, древние республики, с другой — христианский феодализм; там — старую Англию, с ее землевладельцами-баронами, здесь — современную Англию, с ее хлопчатобумажными баронами (*cotton lords*). В XIV и XV столетиях, когда не было никаких колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, а с Азией сношения велись лишь через Константинополь, когда Средиземное море было центром торговой деятельности, — в то время разделение труда имело совсем иной вид и характер, чем в XVII столетии, когда Испания, Португалия, Голландия, Англия и Франция приобрели колонии во всех частях света. Размер рынка и его особая физиономия придают разделению труда, в различные эпохи, такие характерные черты, такие особенности, вывести которые из одного слова «делить», из идеи, из категории «разделения труда», было бы слишком затруднительно.

«Все экономисты, начиная с Адама Смита, — говорит г-н Прудон — указывали на *выгодные* и *вредные* стороны закона разделения труда, но они придавали гораздо большее значение первым, как более соответствующим их оптимизму; при этом ни один из экономистов не задал себе вопроса, что такое в сущности вред, вытекающий из того или другого закона... Каким образом один и тот же принцип, строго проведенный во всех своих последствиях, приводит к диаметрально противоположным результатам? Ни один экономист ни до, ни после Адама Смита даже не заметил здесь задачи, требующей разрешения. Сэй доходит лишь до признания, что в разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает также и зло». (Т. I, стр. 95, 96.)

Адам Смит был дальновиднее, чем думает г-н Прудон. Он прекрасно видел, что «в действительности различие природных способностей между индивидуумами гораздо менее значительно, чем нам кажется. Эти столь несходные способности, свойственные, повидимому, людям, занятым в различных профессиях и достигшим зрелого возраста, составляют не столько *причину*, сколько *следствие* разделения труда». Первоначальное различие между носильщиком и философом менее значительно, чем между цепной и борзой собакой. Пропасть между ними вырыта разделением труда. Все это не мешает г-ну Прудону утверждать в другом месте, что Адам Смит не имел ни малейшего понятия о вредном действии разделения труда и что Ж.-Б. Сэй *первый* признал, «что в разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает также и зло».

Но послушаем, что говорит Лемонтэ: *suum cuique*.

«Г-н Ж.-Б. Сэй сделал мне честь, внеся в свое прекрасное сочинение по политической экономии принцип, *выясненный мною* в отрывке о нравственном влиянии разделения труда. Несколько легкомысленное заглавие моей книги было, без сомнения, причиной, помешавшей ему сослаться на меня. Только этим я и могу объяснить молчание писателя, слишком богатого собственными заслугами, чтобы не признать такого маленького заимствования». (*Lemontey, Oeuvres complètes, t. I, p. 245, Paris, 1840.*)

Отдадим должное Лемонтэ: он с большим умом изобразил вредные следствия разделения труда в том виде, в каком оно существует в настоящее время, так что г-н Прудон не нашел ничего к этому прибавить. Но раз уже, по вине г-на Прудона, мы затронули вопрос о приоритете, то скажем мимоходом, что задолго до Лемонтэ, и за 17 лет до Адама Смита, ученика А. Фергусона, последний ясно изложил этот предмет в главе, специально посвященной разделению труда.

«Можно бы даже усомниться, увеличиваются ли общие способности нации пропорционально прогрессу ее техники. Во многих механических искусствах... цель вполне достигается без всякого участия ума и чувства, и невежество является матерью промышленности так же, как и суеверий. Размышление и воображение подвержены ошибкам, но привычное движение руки или ноги не зависит ни от того, ни от другого. Таким образом, можно бы сказать, что по отношению к мануфактуре наивысшее совершенство заключается в том, чтобы совершенно отделаться от всякого участия духа, так что мастерскую можно рассматривать как машину, составленную из людей... Генерал может отличаться большим искусством в военном

деле, тогда как вся задача солдата сводится к выполнению некоторых движений рук и ног. Первый выиграл, быть может, то, что потерял последний... В том периоде, когда все разделяется, само мышление может превратиться в отдельное ремесло». (А. Фергусон, *Essai sur l'histoire de la société civile*. Paris, 1783.)

В заключение нашего литературного обзора, мы положительно отрицаем, будто «все экономисты придавали гораздо большее значение выгодным, чем вредным сторонам разделения труда». Достаточно назвать Сисмонди.

Итак, что касается *выгодных* сторон разделения труда, то г-ну Прудону оставалось только перефразировать более или менее напыщенным слогом общие, всем известные фразы.

Посмотрим теперь, каким образом из разделения труда, рассматриваемого как общий закон, как категория, как идея, выводятся связанные с ним *вредные* следствия. Каким образом эта категория, этот закон приводит к неравному распределению труда во вред уравнительной системе г-на Прудона?

«В этот торжественный час разделения труда бурный ветер начинает носиться над человечеством. Прогресс совершается не для всех равным и одинаковым образом... Он начинает с того, что овладевает небольшим числом привилегированных... Это-то лицепрятие прогресса по отношению к личностям и заставляло так долго верить в естественное, провиденциальное неравенство положений, породило касты и создало иерархический строй всех обществ». (Прудон т. I, стр. 94).

Разделение труда создало касты, а так как касты составляют вредное следствие разделения труда, то отсюда ясно, что разделение труда создало вредные вещи. *Quod erat demonstrandum*. Если мы захотим пойти дальше и спросим, что привело разделение труда к созданию каст, иерархического строя и привилегий, то г-н Прудон ответит нам, что привел к этому прогресс. А что вызвало прогресс? Ограничение. Ограничением г-н Прудон называет лицепрятие прогресса по отношению к личностям.

За философией следует история. Теперь уже не описательная и не диалектическая история, а — сравнительная. Г-н Прудон проводит параллель между современным и средневековым типографским рабочим, между рабочим гигантских плавильных заводов Крезо и деревенским кузнецом, между современным писателем и средневековым писателем; он заставляет чашку весов склоняться на сторону тех, которые в большей или меньшей степени служат представителями разделения труда, существовавшего в средние века или

доставшегося нам от них по наследству. Он противопоставляет разделение труда одной исторической эпохи разделению труда другой эпохи. Это ли должен был сделать г-н Прудон? Нет. Он должен был показать нам вредные стороны разделения труда вообще, разделения труда как категории. Зачем, однако, останавливаться на этой части произведения г-на Прудона, когда, как мы увидим дальше, он сам формально отрицает все относящиеся сюда так называемые исследования?

«Первым следствием «раздробленного труда», — продолжает г-н Прудон, — после *растления души*, является удлинение рабочего дня, который растет обратно пропорционально количеству затраченных умственных сил... Но так как длина рабочего дня не может превышать шестнадцати — восемнадцати часов, то с того момента, когда становится невозможным увеличение количества расходуемого времени, начинается уменьшение цены и падает заработная плата... Несомненно одно, и только это одно нам и необходимо здесь отметить: *совесть всех людей* признает, что труд мастера не может быть поставлен на одну доску с трудом черно-рабочего. *Следовательно*, понижение цены рабочего дня необходимо, и таким образом рабочий, душа которого была изувечена принижающим его родом труда, неизбежно должен понести и физические лишения от уменьшения вознаграждения». (Т. I, стр. 97, 98.)

Мы не будем останавливаться на логическом достоинстве этих силлогизмов, которые Кант назвал бы отводящими в сторону паралогизмами.

Вот их сущность:

Разделение труда сводит рабочего к принижающей его функции; этой принижающей функции соответствует изувеченная душа, а изувечению души соответствует постоянно усиливающееся падение заработной платы. И чтобы доказать, что уменьшенная заработная плата действительно причисляется изувеченной душе, г-н Прудон, для успокоения своей совести, утверждает, что такова воля совести всеобщей. Интересно знать, входит ли душа г-на Прудона в число составных частей этой всеобщей совести?

Машины являются у г-на Прудона «логической антитезой разделения труда»; для подкрепления этой диалектики он немедленно превращает машины в *мастерские*.

Для того, чтобы из разделения труда вывести нищету, г-н Прудон первоначально предполагал наличие современной мастерской (фабрики); теперь он предполагает созданную разделением труда нищету, чтобы прийти к фабрике и иметь возможность представить

ее в качестве диалектического отрицания этой нищеты. Принизив рабочего в нравственном отношении *принижаящими функциями*, в физическом — недостаточной заработной платой; поставив его в *зависимость от мастера*, приравняв его труд к *труду чернорабочего*, г-н Прудон сваливает теперь вину на фабрики и машины, которые *принижают* рабочего путем «подчинения его *хозяину*» и довершают его падение, заставляя его «спуститься с положения ремесленника до положения *чернорабочего*». Прекрасная диалектика! И если бы он хоть на этом остановился. Но нет, ему требуется еще новая история разделения труда, на этот раз уже не для извлечения из нее противоречий, а для того, чтобы перестроить фабрику на свой лад. Для достижения этой цели он вынужден забыть все только что сказанное им о разделении труда.

Труд организуется и разделяется различно, смотря по орудиям, которыми он располагает. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая. Начать с разделения труда вообще, чтобы дойти до специального орудия производства, до машины, это значит просто проявить полнейшее неуважение к истории.

Машины так же мало составляют экономическую категорию, как и быки, которые тащат плуг. Это производительные силы — не более. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория.

Посмотрим теперь, как происходит дело в блестящем воображении г-на Прудона.

«В обществе постоянное введение новых и новых машин является антитезой, обратной формулой труда: это *протест* промышленного гения против *раздробленного и человекоубийственного труда*. Что такое, в самом деле, машина? *Это особый род соединения различных частей труда*, разъединенных его разделением. Каждую машину можно рассматривать как соединение многих операций... Следовательно, посредством машины совершается *восстановление рабочего*... Машины, являющиеся в политической экономии противоположностью разделения труда, представляют собою синтез, который в человеческом уме противоположен анализу... Разделение лишь разъединяло различные части труда, предоставляя каждому предаваться той специальности, к которой он чувствовал наибольшую склонность; фабрика группирует рабочих сообразно отношению каждой части к целому... она вводит в область труда принцип авторитета... Но это еще не все: *машина* или *фабрика*,

принизив рабочего путем подчинения его хозяину, довершает его унижение, заставляя спуститься с положения ремесленника до состояния чернорабочего... Период машин, нами теперь переживаемый, отличается одной характерной особенностью, а именно *наемным трудом*. Наемный труд появился *позже* разделения труда и обмена».

Сделаем г-ну Прудону одно простое замечание. Разъединение различных частей труда, предоставляющее каждому возможность отдаваться той специальности, к которой он чувствует наибольшую склонность, это разъединение, начало которого г-н Прудон относит к первым дням мироздания, существует только в современной промышленности, при господстве конкуренции.

Далее г-н Прудон дает нам чрезвычайно «интересную генеалогию», показывающую, каким образом фабрика произошла из разделения труда, а наемный труд — из фабрики.

1) Он предполагает человека, который «заметил, что, разделяя производство на его различные части и предоставляя исполнение каждой из этих частей отдельному рабочему», мы увеличиваем производительные силы.

2) Следя за нитью своей идеи, этот человек говорит себе, что, образовав постоянную группу рабочих, подобранных для *предложенной* им специальной цели, он достигнет более регулярного производства и т. д.

3) Этот человек делает другим людям *предложение* с целью заставить их усвоить его идею и последовать за ее нитью.

4) При начале промышленности этот человек уславливается, как *равный с равным*, со своими *товарищами*, которые становятся впоследствии его *рабочими*.

5) «Понятно, конечно, что это первоначальное равенство должно было быстро исчезнуть ввиду выгодного положения хозяина и зависимости наемного рабочего».

Таков новый образчик *описательного* и *исторического метода* г-на Прудона.

Рассмотрим теперь с исторической и экономической точки зрения, действительно ли *принцип авторитета* введен в общество фабрикою и машиной позже принципа разделения труда; произошло ли при этом, с одной стороны, восстановление рабочего, хотя он, с другой стороны, был подчинен авторитету; представляет ли, наконец, машина воссоединение разделенного труда, его *синтез*, противоположный его *анализу*?

Общество, как целое, имеет с внутренним устройством фабрики

ту общую черту, что и в нем тоже существует свое разделение труда. Если мы возьмем за образец разделение труда на современной фабрике, чтобы применить его затем к целому обществу, то мы найдем, что наилучшим образом организованное для производства богатств общество должно было бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего между различными членами общества их работу по заранее составленным правилам. Но в действительности мы видим не то. Тогда как внутри современной фабрики разделение труда в деталях определяется властью предпринимателя, современное общество для распределения своего труда не имеет никаких правил, никакой власти, кроме свободной конкуренции.

В патриархальный период, при существовании каст, при феодальном и корпоративном строе, разделение труда в целом обществе совершалось по определенным правилам. Были ли эти правила установлены волею законодателя? Нет. Рожденные первоначально условиями материального производства, они были возведены в законы лишь гораздо позже. Именно таким образом эти различные формы разделения труда и легли в основу различных общественных организаций. Что же касается разделения труда внутри мастерской, то его развитие, при всех упомянутых общественных формах, было очень незначительно.

Можно даже принять за общее правило, что, чем менее власть участвует в разделении труда внутри общества, тем сильнее развивается разделение труда внутри мастерской и тем сильнее подчиняется оно власти одного лица. Таким образом, по отношению к разделению труда, власть в мастерской и власть в обществе *обратно пропорциональны* друг другу.

Посмотрим теперь, что представляет собою мастерская, в которой занятия резко разделены, где задача каждого рабочего сводится к очень простой операции и где власть, т. е. капитал, группирует и направляет работы. Как произошла эта мастерская-фабрика? Чтобы ответить на поставленный вопрос, нам следовало бы рассмотреть, как развивалась собственно мануфактурная промышленность. Я говорю о той промышленности, которая не превратилась еще в современную промышленность с ее машинами, но не представляет уже ни средневекового ремесла, ни домашней промышленности. Мы не будем входить в большие подробности, а наметим только несколько главнейших пунктов, из которых будет видно, что не формулами создается история.

Необходимейшим условием образования мануфактурной про-

мышленности было накопление капиталов, облегченное открытием Америки и ввозом ее драгоценных металлов.

Достаточно доказано, что следствием увеличения средств обмена было, с одной стороны, уменьшение заработной платы и земельной ренты, а с другой — возрастание промышленной прибыли. Иными словами: насколько пали классы поземельных собственников и рабочих, феодальные сеньеры и народ, настолько поднялся класс капиталистов — буржуазия.

Были и другие обстоятельства, одновременно содействовавшие развитию мануфактурной промышленности: увеличение количества находящихся в обращении товаров, последовавшее за открытием торговых сношений с Восточною Индией, морским путем, вокруг мыса Доброй Надежды; затем колониальная система и развитие морской торговли.

Другим условием, — которому еще не было уделено достаточно внимания в истории мануфактурной промышленности, — было распушение многочисленной свиты феодальных сеньеров, второстепенные члены которой превратились в бродяг, прежде чем поступить в мастерские. Созданию мануфактурной мастерской предшествовало в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях почти всеобщее бродяжничество. Мануфактурная мастерская нашла, кроме того, могущественную поддержку в большом числе крестьян, которые в продолжение целых столетий приливали в города, так как превращение полей в луга и успехи земледелия, уменьшившие количество необходимых для обработки земли рук, постоянно гнали их из деревень.

Расширение рынка, накопление капиталов, перемены в социальном положении классов, целая масса людей, лишенных своих прежних источников дохода, — вот исторические условия образования мануфактуры. Не полюбовные сделки между равными, как думает г-н Прудон, собрали людей в мастерские. Мануфактура зародилась даже не в недрах старых корпораций. Во главе новой мастерской стоял купец, а не старый цеховой мастер. Почти всюду между мануфактурой и ремеслом велась ожесточенная борьба.

Накопление и концентрация орудий производства и рабочих предшествовали развитию разделения труда внутри мастерской. Отличительным свойством мануфактуры было скорее соединение многих рабочих и различных процессов труда в одном месте, в одном здании, под командой одного капитала, чем разложение труда на его составные части и приспособление отдельных рабочих к очень простым специальностям.

Полезность мастерской заключалась не столько в разделении

труда, в собственном смысле слова, сколько в том обстоятельстве, что производство велось здесь в бóльших размерах, сберегалось много лишних расходов и пр. В конце шестнадцатого и в начале семнадцатого века голландская мануфактура была еще едва знакома с разделением труда.

Развитие разделения труда предполагает предварительное соединение рабочих в одной мастерской. Ни в шестнадцатом, ни в семнадцатом столетиях мы не встречаем ни одного примера такого значительного разделения различных отраслей одного и того же ремесла, при котором достаточно было бы соединить их в одном месте, чтобы получилась законченная мануфактурная мастерская. Но раз люди и орудия производства соединялись в одном месте, разделение труда, в том виде, в каком оно существовало в цеховых корпорациях, непременно отражалось и воспроизводилось внутри мастерской.

Для г-на Прудона, который, если и видит вещи, то видит их навыворот, разделение труда, в смысле Адама Смита, является на свет раньше мастерской, между тем как ею-то и обуславливается его существование.

Машины, в собственном смысле слова, появляются лишь в конце восемнадцатого столетия. Нет ничего нелепее, как видеть в них *антитезу* разделения труда, *синтез*, восстанавливающий единство раздробленного труда.

Машина есть соединение орудий труда, а вовсе не комбинация работ для самого рабочего. «Когда каждая отдельная операция приведена разделением труда к употреблению одного простого инструмента, тогда соединение этих инструментов, приводимых в действие одним двигателем, образует машину» (*Babbage, Traité sur l'économie des machines, etc. Paris, 1833*). Простые орудия; собрания простых орудий; сложные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем — руками человека; приведение этих инструментов в действие силами природы; машина; система машин, имеющая один двигатель; система машин, имеющая автоматический двигатель, — вот ход развития машин.

Концентрация орудий производства и разделение труда так же неотделимы одно от другого, как в области политики неразлучны концентрация государственной власти и разделение частных интересов. Англия, при своей концентрации земель, этих орудий земледельческого труда, имеет также разделение земледельческого труда и применяет машины к обработке земли. Франция же, где орудие земледельческого труда, земля, раздроблена на мелкие участки, не

имеет, говоря вообще, ни разделения земледельческого труда, ни приложения машин к земледелию.

По мнению г-на Прудона, концентрация орудий труда есть отрицание разделения труда. В действительности мы опять-таки видим противное. По мере концентрации орудий развивается также разделение труда, и *vice versa*. Вот почему за каждым крупным механическим изобретением следует усиление разделения труда, а усиление этого разделения ведет, в свою очередь, к новым изобретениям в механике.

Нам не нужно напоминать, что великие успехи в разделении труда начались в Англии после изобретения машин. Так, ткачи и прядильщики были, по большей части, такими же крестьянами, каких мы и до сих пор встречаем в отсталых странах. Изобретение машин dokonчило отделение мануфактурной промышленности от земледельческой. Ткач и прядильщик, соединенные прежде в одной семье, были разделены машиной. Благодаря этой последней прядильщик может теперь жить в Англии, в то время как ткач находится в Восточной Индии. До изобретения машин промышленность страны направлялась главным образом на обработку сырых материалов, производимых ее собственной почвой. Так, Англия обрабатывала шерсть, Германия — лен, Франция — шелк и лен, Восточная Индия и Левант — хлопок и т. д. Благодаря применению машин и пара разделение труда приняло такие размеры, что крупная промышленность, оторванная от национальной почвы, зависит уже единственно от мирового рынка, от международного обмена и международного разделения труда. Наконец, машина имеет такое влияние на разделение труда, что, как только в производстве какого-нибудь предмета является возможность частичного применения механически действующих орудий, фабрикация тотчас же разделяется на две независимые одна от другой отрасли.

Нужно ли говорить о *провиденциальной* и филантропической цели, открытой г-ном Прудоном в первоначальном изобретении и введении машин?

Когда английская торговля приняла такие размеры, что ручной труд не мог уже удовлетворять существующему на рынках спросу, почувствовалась потребность в машинах. Тогда стали думать о приложении механических знаний, уже вполне развившихся в восемнадцатом веке.

Первые действия мастерской, работавшей при помощи машин, были как нельзя менее филантропичны. Кнутом удерживали там детей за работой; дети сделались предметом барышничества, и о до-

ставке их заключали контракты с сиротскими домами. Все законы относительно ремесленного обучения рабочих были отменены, так как, употребляя выражение г-на Прудона, не было уже более необходимости в *синтетических* рабочих. Наконец, начиная с 1825 г., почти все новые изобретения были результатом конфликтов между рабочими и предпринимателями, которые всеми силами старались обесценить труд работников-специалистов. После каждой скольконибудь значительной стачки появляется новая машина. Рабочий же не только не видел в машине своей реабилитации, или своего *восстановления*, как говорит г-н Прудон, но в восемнадцатом веке долго боролся с зарождающимся господством автоматической силы.

«Уайт, — говорит доктор Юр, — гораздо ранее Аркрайта изобрел прядильные пальцы (ряд снабженных желобками валиков)... Но главная трудность заключалась не столько в изобретении автоматического механизма... Она состояла главным образом в недостатке дисциплины, которая заставила бы людей отказаться при работе от их неправильных привычек, заставила бы их отождествить себя с неизменной правильностью движения большой автоматической машины. Изобретение и проведение на практике кодекса мануфактурной дисциплины, приноровленного к потребностям и скорости автоматической системы, — было задачей, достойной Геркулеса. И эту-то благородную задачу выполнил Аркрайт».

Итак, благодаря введению машин усилилось разделение труда внутри общества и упростилась задача рабочего внутри мастерской, увеличилась концентрация капитала, а человек стал еще более раздробленным.

Когда у г-на Прудона является желание быть экономистом и покинуть на минуту «развитие серии идей в разуме», он черпает свою эрудицию у А. Смита, писавшего в то время, когда автоматическая фабрика только зарождалась. Разница между разделением труда, существовавшим во времена А. Смита, и тем, какое мы видим в современной автоматической фабрике, действительно громадна. Для полного ее понимания достаточно будет процитировать некоторые места из «*Philosophie des manufactures*» доктора Юра.

«Когда А. Смит писал свое бессмертное творение об основах политической экономии, система машинной промышленности едва была известна. Разделение труда справедливо казалось ему великим принципом совершенствования мануфактуры. На примере производства булавок он показал, что рабочий, совершенствуясь от упражнения в одной и той же частности, производит и быстрее,

и дешевле. Он видел, что согласно этому принципу, в каждой отрасли мануфактуры выполнение некоторых операций, — вроде разрезывания медной проволоки на равные части, — значительно облегчается; другие же операции, — как, например, обделывание и прикрепление булавочных головок, — остаются сравнительно трудными; из этого он заключил, что будет совершенно естественно приспособить к каждой из этих операций рабочего, плата которого будет соответствовать его искусству. Это *приспособление* и составляет сущность разделения труда. Но то, что могло служить хорошим примером во времена доктора Смита, в настоящее время может лишь ввести публику в заблуждение относительно истинного принципа фабричной промышленности. В самом деле, распределение или, вернее, приспособление работ к различным индивидуальным способностям вовсе не входит в план действий автоматической фабрики; напротив, в каждом процессе, требующем большой ловкости и точности, рука искусного, но часто склонного к разным неправильностям рабочего заменяется особым механизмом, автоматическая работа которого так правильна, что даже ребенок может надзирать за нею.

«Принцип автоматической системы заключается, следовательно, в вытеснении ручного труда машинным и в замене разделения труда между ремесленниками разложением процесса на его составные части. При системе ручного труда заработная плата составляла обыкновенно наиболее дорогой элемент каждого продукта, но при автоматической системе труд искусных ремесленников постепенно вытесняется простым трудом надзора за машинами.

«Такова уже слабость человеческой природы, что чем искуснее рабочий, тем он своевольнее и несговорчивее и тем менее он пригоден поэтому для механической системы, общий ход которой может значительно пострадать от его капризных выходов. Главная задача современного мануфактуриста заключается, следовательно, в том, чтобы, сочетая свои капиталы с наукой, свести всю задачу рабочих к употреблению в дело одной лишь ловкости и бдительности, — качеств, которые быстро совершенствуются в молодости, *если бывают направлены на один и тот же предмет.*

«При старой системе градаций труда требуется многолетнее обучение, прежде чем глаза и руки рабочего достигнут искусства, необходимого для выполнения некоторых особенно трудных механических операций; но при системе, разлагающей производство на его составные части, которые исполняются автоматической машиной, эти части можно поручить рабочему, одаренному самыми посредствен-

ными способностями, подвергнув его лишь небольшому испытанию; в крайних случаях можно даже переводить его от одной машины к другой по воле директора заведения. Такие перемещения находятся в явном противоречии со старой рутинной, которая, разделяя труд, одному рабочему предоставляла выделывать головки булавок, другому оттачивать концы, — скучные занятия, однообразие которых отупляло рабочих... Но по принципу *уравнения*, т. е. при автоматической системе, способности рабочего подвергаются лишь приятному упражнению и прочее... Так как его занятие ограничивается надзором за правильно действующим механизмом, то он может изучить его в очень короткое время; когда же он переносит свои услуги от одной машины к другой, — в его работу вносится разнообразие, которое расширяет его кругозор размышлением об общих комбинациях, вытекающих из его труда и труда его товарищей. Поэтому, при обыкновенных обстоятельствах, система *равного распределения работ* не может вести к тому подавлению способностей, сужению кругозора и остановке в телесном развитии рабочего, которые, и не без причины, приписывались разделению труда».

«В действительности постоянной целью и стремлением каждого механического усовершенствования является полное устранение нужды в человеческом труде или понижение его цены путем замены мужского труда женским и детским, труда искусных ремесленников — трудом простых поденщиков... Это стремление вместо опытных рабочих употреблять только детей с ясными глазами и гибкими пальцами доказывает, что схоластический догмат разделения труда по различным степеням искусства отброшен, наконец, нашими просвещенными промышленниками» (*André Ure, Philosophie des manufactures ou économie industrielle, t. I, ch. 1.*)

Разделение труда внутри современного общества характеризуется тем, что оно порождает специальности, специалистов, а вместе с тем и свойственный им профессиональный идиотизм.

«Мы приходим в величайшее удивление, — говорит Лемонтэ, — видя, что у древних одно и то же лицо являлось часто одновременно замечательным философом, поэтом, оратором, историком, священником, администратором и полководцем. Нас ужасает такое обширное поприще. Каждый отгораживает себе известное пространство и запирается в нем. Я не знаю, увеличивается ли через это раздробление общее поле деятельности, но человек несомненно мельчает».

Разделение труда на автоматической фабрике характеризуется тем, что труд совершенно теряет здесь характер специальности. Но как только прекращается всякое специальное развитие, является

потребность в универсальности, чувствуется стремление индивидуума ко всестороннему развитию. Автоматическая фабрика стирает специальности и свойственный им профессиональный идиотизм.

Г-н Прудон, не понявши даже этой, единственной революционной стороны автоматической фабрики, делает шаг назад и предлагает рабочему не ограничиваться одною двенадцатою частью булавки, а делать поочередно все двенадцать частей. Таким образом, рабочий достиг бы полного и всестороннего понимания булавки. Вот в чем заключается «синтетический труд» г-на Прудона. Без сомнения, шаг вперед и шаг назад вместе составляют тоже синтетическое движение.

В конце концов, г-н Прудон не пошел дальше идеала мелкого буржуа. И для осуществления этого идеала он не придумал ничего лучшего, как возвратить нас к состоянию средневекового подмастерья или, самое большее, средневекового мастера. Достаточно сделать в своей жизни лишь одно образцовое произведение, шедевр, один лишь раз почувствовать себя человеком, говорит он в другом месте своей книги. Не есть ли это — и по форме, и по существу — тот самый шедевр, который требовался средневековыми цехами?

III. Конкуренция и монополия.

<i>Хорошая сторона конкуренции.</i>	{ «Конкуренция имеет для труда такое же существенное значение, как и разделение... Она необходима для наступления равенства».
<i>Дурная сторона конкуренции.</i>	{ «Ее принцип отрицает сам себя. Неизбежным ее следствием является гибель тех, кого она увлекает».
<i>Общее соображение.</i>	{ «Как вредные следствия конкуренции, так равно и доставляемые ею выгоды... логически вытекают из ее принципа».
<i>Задача.</i>	{ «Найти примиряющий принцип, который должен исходить из закона, стоящего выше самой свободы». <p style="text-align: center;">Д р у г о й в а р и а н т.</p> «Речь идет, следовательно, вовсе не об уничтожении конкуренции, что так же невозможно, как и уничтожение свободы; все дело в том, чтобы найти равновесие, и я бы охотно сказал даже: найти полицию конкуренции».

Г-н Прудон начинает с защиты вечной необходимости конкуренции против людей, желающих заменить ее *соревнованием*.¹

«Бесцельного соревнования» не существует. «Предмет каждой страсти всегда аналогичен самой страсти. Женщина является предметом страсти для влюбленного, власть — для честолюбца, золото — для скупца, лавровый венок — для поэта; точно так же и предметом промышленного соревнования необходимо является *прибыль*. Соревнование есть не что иное, как сама конкуренция».

Конкуренция есть соревнование ради прибыли. Необходимо ли, чтобы промышленное соревнование всегда являлось соревнованием ради прибыли, т. е. конкуренцией? Г-н Прудон доказывает это простым утверждением. Мы уже видели, что утверждать, по его мнению, значит доказывать, так же точно, как предполагать — значит отрицать.

Если непосредственным *предметом* страсти для влюбленного является женщина, то непосредственным предметом промышленного соревнования будет продукт, а не прибыль.

Конкуренция есть торговое, а не промышленное соревнование. В наше время промышленное соревнование существует лишь ввиду торговых целей. Бывают даже такие фазы в экономической жизни современных народов, когда всех охватывает особого рода горячка погони за прибылью без производства. Эта периодически возвращающаяся горячка спекуляции обнаруживает истинный характер конкуренции, которая старается избежать необходимости промышленного соревнования.

Если бы вы сказали ремесленнику четырнадцатого столетия, что привилегии и вся феодальная организация промышленности будут уничтожены и заменены промышленным соревнованием, называемым конкуренцией, он ответил бы вам, что привилегии различных корпораций, цехов и гильдий составляют организованную конкуренцию. То же говорит и г-н Прудон, утверждая, что «соревнование есть не что иное, как сама конкуренция».

«Издайте распоряжение, в силу которого с 1 января 1847 г. всем и каждому гарантировались бы труд и заработная плата; тотчас же горячее напряжение промышленности сменится сильнейшим застоєм».

Вместо предположения, утверждения и отрицания мы имеем теперь распоряжение, издаваемое г-ном Прудоном с нарочитой целью доказать необходимость конкуренции, ее вечность как категории и пр.

¹ Т. е. против фурийеров. — Ф. Э.

Если мы вообразим, что для уничтожения конкуренции нужны только распоряжения, то мы никогда от конкуренции не освободимся. Доходить же до предложения уничтожить конкуренцию, сохраняя заработную плату, значит предлагать учредить посредством королевского декрета полнейшую бессмыслицу. Но народы развиваются не по королевским декретам. Прежде чем прибегать к таким декретам, народы должны изменить сверху донизу все условия своего промышленного и политического существования, а следовательно и весь свой образ жизни.

Г-н Прудон ответит нам со своей неизменной самоуверенностью, что это — гипотеза «изменения человеческой природы независимо от условий исторического прошлого» и что он имел бы право *устранить* нас от спора», не знаем уже в силу какого распоряжения.

Г-н Прудон не знает, что вся история есть не что иное, как непрерывное изменение человеческой природы.

«Будем держаться фактов. Французская революция была сделана столько же ради промышленной свободы, сколько и ради политической; и хотя Франция 1789 г. не предвидела всех следствий того принципа, осуществления которого требовала, она — скажем это во всеуслышание — не обманулась, однако, ни в своих желаниях, ни в ожиданиях. Кто попробует отрицать это, тот потеряет в моих глазах всякое право на критику: я никогда не стану спорить с противником, который в принципе допускает произвольную ошибку двадцати пяти миллионов людей... Если бы конкуренция не была *принципом* общественной экономии, *декретом судьбы*, *потребностью человеческой души*, то было бы странно, почему, вместо *уничтожения* корпораций, цехов и гильдий, не предпочли подумать об их *исправлении*».

Отсюда следует, что так как французы восемнадцатого столетия уничтожили корпорации, цехи и гильдии, вместо того, чтобы видоизменить их, то французы девятнадцатого столетия должны видоизменить конкуренцию, вместо того, чтобы уничтожить ее. Так как конкуренция установилась во Франции восемнадцатого столетия в силу исторических потребностей, то она не должна быть уничтожена во Франции девятнадцатого века ради новых исторических потребностей. Не понимая, что установление конкуренции было тесно связано с действительным развитием людей восемнадцатого столетия, г-н Прудон делает из нее потребность *человеческой души in partibus infidelium*. Как определил бы он значение «великого Кольбера» для семнадцатого столетия?

После революции наступает современный нам порядок вещей.

Г-н Прудон и здесь находит факты, подтверждающие вечную необходимость конкуренции, доказывая, что все те отрасли промышленности, где, как, например, в земледелии, эта категория недостаточно развита, находятся в состоянии упадка и отсталости.

Указание на то, что некоторые отрасли промышленности не доразвились еще до конкуренции, а другие не достигли еще уровня буржуазного производства, — есть простая болтовня, нисколько не доказывающая вечности конкуренции.

Вся логика г-на Прудона резюмируется следующим образом: конкуренция есть общественное отношение, в котором мы в настоящее время развиваем наши производительные силы. Этой истине он дает не логическое развитие, а лишь очень напыщенные формы, говоря, что конкуренция есть промышленное соревнование, современный способ быть свободным, ответственность в труде, конституирование стоимости, условие наступления равенства, принцип общественной экономии, декрет судьбы, потребность человеческой души, наитие вечной справедливости, свобода в разделении, разделение в свободе, экономическая категория.

«Конкуренция и ассоциация опираются друг на друга. Они не только не исключают одна другую, но даже *не расходятся* между собою. Конкуренция необходимо предполагает *общую цель*. Следовательно, конкуренция не есть *эгоизм*, и самое печальное заблуждение социализма заключается в том мнении, что конкуренция разрушает общество».

Конкуренция предполагает общую цель, а это, с одной стороны, доказывает, что конкуренция есть ассоциация, а с другой — что конкуренция не есть эгоизм. А разве *эгоизм* не предполагает также общей цели? Всякий эгоизм действует в обществе и посредством общества. Он предполагает, следовательно, общество, т. е. общие цели, общие потребности, общие средства производства и проч., и проч. Уж не поэтому ли конкуренция и ассоциация, о которой говорят социалисты, даже не расходятся между собою?

Социалисты прекрасно знают, что современное общество основано на конкуренции. Каким же образом могли бы они упрекать конкуренцию в разрушении современного общества, которое они сами хотят разрушить? С другой стороны, как могли бы они обвинять конкуренцию в разрушении будущего общества, в котором они видят, наоборот, уничтожение самой конкуренции?

Г-н Прудон говорит далее, что конкуренция есть *противоположность монополии* и что, следовательно, она не может быть *противоположна ассоциации*.

Феодализм был с самого начала своего существования противоположен патриархальной монархии; но он не был противоположен конкуренции, еще не существовавшей в то время. Следует ли из этого, что конкуренция не противоположна феодализму?

Обществом, ассоциацией можно назвать всякое общество, как феодальное, так и буржуазное, которое есть ассоциация, основанная на конкуренции. Каким же образом могут явиться социалисты, намеревающиеся уничтожить конкуренцию одним словом: *ассоциация*? И как это сам г-н Прудон может думать, что, называя конкуренцию просто *ассоциацией*, он тем самым защищает ее от социалистов?

Все, только что сказанное нами, относится к хорошей стороне конкуренции, в том виде, как понимает ее г-н Прудон. Перейдем теперь к дурной, т. е. к отрицательной, стороне конкуренции, к ее вредным следствиям, к ее разрушительным, превратным, злым свойствам.

Картина, нарисованная для нас г-ном Прудоном, заключает в себе нечто крайне мрачное.

Конкуренция порождает нищету, она раздувает гражданскую войну, «изменяет естественные условия земных поясов», перемешивает национальности, вносит смуту в семьи, развращает общественную совесть, «извращает понятие о правосудии, о справедливости», о нравственности и, что хуже всего, она разрушает честную и свободную торговлю, не давая взамен этого даже *синтетической стоимости*, постоянной, честной цены. Конкуренция разочаровывает всех, не исключая самих экономистов. Она доходит до самоуничтожения.

После всего худого, сказанного г-ном Прудоном о конкуренции, не представляется ли она самым разлагающим, самым разрушительным элементом для его принципов и иллюзий, а также для отношений буржуазного общества?

Заметим, что влияние конкуренции на буржуазные *отношения* становится все более и более разрушительным по мере того, как она вызывает лихорадочное стремление к созданию новых производительных сил, т. е. материальных условий нового общества. В этом отношении дурная сторона конкуренции могла бы представить и нечто хорошее.

«С точки зрения ее происхождения конкуренция, как положение или экономическая фаза, есть необходимое следствие... теории сокращения издержек производства».

Вероятно, г-н. Прудон думает, что кровообращение есть результат теории Гарвея.

«Монополия есть неизбежное завершение конкуренции, которая порождает ее непрерывным самоотрицанием. В этом происхождении монополии заключается уже ее оправдание... Монополия составляет естественную противоположность конкуренции... но если конкуренция необходима, то она заключает уже в себе идею монополии, потому что каждая конкурирующая личность как бы восседает на монополии».

Мы радуемся вместе с Прудонем, что ему посчастливилось хоть однажды удачно применить свою формулу тезы и антитезы. Всем известно, что современная монополия порождается самой же конкуренцией.

Что же касается содержания, то г-н Прудон придерживается поэтических образов. Конкуренция делала «из каждого подразделения труда как бы независимое государство, в котором всякий индивидуум проявлял свою силу и независимость». На монополии «восседает каждая конкурирующая личность». Один оборот стоит другого.

Г-н Прудон говорит только о современной монополии, порожденной конкуренцией. Но всем известно, что конкуренция была порождена феодальной монополией. Следовательно, первоначально конкуренция была противоположностью монополии, а не монополия противоположностью конкуренции. Поэтому современная монополия не есть простая антитеза, а является, наоборот, настоящим синтезом.

Теза: Феодальная монополия, предшествовавшая конкуренции.

Антитеза: Конкуренция.

Синтез: Современная монополия, которая, поскольку она предполагает господство конкуренции, представляет собою отрицание феодальной монополии и в то же время, поскольку она является монополией, отрицает конкуренцию.

Таким образом, современная, буржуазная монополия есть монополия синтетическая, отрицание отрицания и единство противоположностей. Она есть монополия в чистом, нормальном, рациональном виде. Г-н Прудон становится в противоречие со своей собственной философией, принимая буржуазную монополию за монополию в ее первобытном, *простом*, противоречивом, спазматическом состоянии. Г-н Росси, которого г-н Прудон несколько раз цитирует по вопросу о монополии, повидимому, лучше понял синтетический характер буржуазной монополии. В своем «Cours d'économie politique» он делает различие между искусственной и естественной монополией. Феодальные монополии, говорит он, были искусственны,

т. е. произвольны; буржуазные же монополии естественны, т. е. рациональны.

Монополия — хорошая вещь, рассуждает г-н Прудон, потому что она представляет экономическую категорию, эманацию «безличного разума человечества». Конкуренция тоже прекрасная вещь, потому что она, в свою очередь, является экономической категорией. Но что нехорошо, так это способ осуществления как монополии, так и конкуренции. А еще хуже то, что монополия и конкуренция пожирают друг друга. Что делать? Стараться найти синтез этих двух вечных идей, вырвать его из недр божества, где он хранится с незапамятных времен.

В практической жизни мы находим не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их синтез, который есть не формула, а движение. Монополия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию. Монополисты конкурируют между собою, конкурирующие становятся монополистами. Если монополисты ограничивают взаимную конкуренцию посредством частичных ассоциаций, то усиливается конкуренция между рабочими; и чем более растет масса пролетариев по отношению к монополистам данной нации, тем разнузданнее становится конкуренция между монополистами различных наций. Синтез заключается в том, что монополия может держаться лишь благодаря тому, что она ведет постоянную конкурентную борьбу.

Чтобы диалектически вывести *налоги*, которые следуют за *монополией*, г-н Прудон говорит нам о *гении общества*. Этот гений *бесстрашно шествует по зигзагообразному пути*, он идет уверенным шагом, *без раскаяния* и без остановок, и, доходя до *монополии*, бросает *меланхолический* взгляд назад и, по глубоком размышлении, облагает налогами все предметы производства, создает целую административную организацию для того, чтобы *все должности были отданы пролетариям и оплачивались монополистами*.

Что сказать об этом гении, прогуливаемомся натоцак, зигзагами? И что сказать о самой прогулке, не имеющей иной цели, как раздавить буржуа налогами, тогда как налоги служат именно средством сохранения за буржуазией положения господствующего класса?

Чтобы дать читателю некоторое понятие о способе обращения г-на Прудона с экономическими деталями, достаточно сказать, что по его мнению, *налог на потребление* был установлен, в видах равенства, с целью оказать помощь пролетариям.

Налог на потребление достиг полного развития лишь с победой

буржуазии. В руках промышленного капитала, — т. е. трезвого и бережливого богатства, которое сохраняется, воспроизводится и увеличивается путем непосредственной эксплуатации труда, — налог на потребление служил средством эксплуатации легкомысленного, веселого и расточительного богатства крупных дворян, занимавшихся одним лишь потреблением. Джэмс Стюарт, в своем сочинении «*Inquiry into the principles of political economy*», опубликованном за десять лет до появления книги Адама Смита, прекрасно изложил эту первоначальную цель налога на потребление.

«В неограниченных монархиях, — говорит он, — государи относятся как бы с некоторого рода завистью к росту богатств и поэтому собирают налоги с тех, кто богатеет, — облагают производство. При конституционных же правительствах налоги падают главным образом на тех, кто беднеет, — облагается потребление. Так, монархи налагают подать на промышленность... Поголовная подать, например, и налог на имущество (*taille*) пропорциональны предполагаемому богатству плательщиков. Каждый платит соразмерно той прибыли, которую, по предположению, может получить. При конституционных правительствах налоги взимаются обыкновенно с потребления. Каждый платит соразмерно величине своих расходов».

Что же касается до *логической последовательности* появления — в разуме г-на Прудона — налогов, торгового баланса и кредита, то мы заметим только, что английская буржуазия, достигнув при Вильгельме Оранском политического господства и получив возможность свободно развивать условия своего существования, сразу создала новую систему налогов, общественный кредит и систему покровительственных пошлин.

Этого обзора совершенно достаточно, чтобы дать читателю верное понятие о глубокомысленных исследованиях г-на Прудона по вопросам о полиции или о налогах, о торговом балансе, кредите, коммунизме и народонаселении. Мы ручаемся, что ни один критик, как бы ни был он снисходителен, не будет в состоянии серьезно рассматривать относящиеся сюда главы.

IV. *Собственность или рента.*

В каждую историческую эпоху собственность развивалась различно и при совершенно различном складе общественных отношений. Поэтому определить буржуазную собственность — значит

сделать не что иное, как описание всех общественных отношений буржуазного производства.

Стремиться определить собственность как независимое отношение, как особую категорию, как абстрактную и вечную идею — значит впадать в метафизическую или юридическую иллюзию.

Хотя г-н Прудон и делает вид, будто говорит о собственности вообще, но он рассуждает лишь о *земельной собственности и о земельной ренте*.

«Происхождение ренты, так же как и собственности, лежит, так сказать, за пределами экономики: оно коренится в психологических и нравственных соображениях, стоящих лишь в очень отдаленной связи с производством богатства». (Т. II, стр. 269.)

Таким образом, г-н Прудон признает свою неспособность найти экономическое объяснение возникновения ренты и собственности. Он сознается, что эта неспособность принуждает его прибегать к соображениям психологического и морального свойства, которые, находясь действительно лишь в очень отдаленной связи с производством богатств, тесно связаны, однако, с узостью его исторического кругозора. Г-н Прудон утверждает, что в происхождении собственности есть нечто *мистическое и таинственное*. Но приписывать происхождению собственности таинственность, т. е. превращать в тайну отношение самого производства к распределению средств производства, — не значит ли это, говоря языком г-на Прудона, отказываться от всяких притязаний на экономическую науку?

Г-н Прудон *ограничивается* напоминанием, что в седьмую эпоху экономической эволюции, — в эпоху *кредита*, — когда действительность была вытеснена фикцией и человеческой деятельности грозила опасность потеряться в пустоте, явилась необходимость *крепче привязать человека к природе*, и рента была ценою этого нового контракта». (Т. II, стр. 265.)

«Человек с сорока эю» предчувствовал, очевидно, появление г-на Прудона: «Воля ваша, господин создатель: каждый — хозяин в своем мире, но вы никогда не уверите меня, чтобы мир, в котором мы живем, был из стекла». В вашем мире, где кредит был средством *потеряться в пустоте*, быть может, и явилась необходимость в поземельной собственности для *прикрепления человека к природе*. Но в мире действительного производства, где поземельная собственность всегда предшествует кредиту, немислим и *hogrog vasui* г-на Прудона.

Каково бы ни было происхождение ренты, но раз она существует, то становится предметом сделки между фермером и земель-

ным собственником. Каков же конечный результат этой сделки, или, другими словами, какова средняя величина ренты? Вот что говорит г-н Прудон:

«Теория Рикардо отвечает на этот вопрос. В начале общественной жизни, когда человек, новичок на земле, имел в своем распоряжении огромные леса, когда земли было много, а промышленность только зарождалась, рента должна была равняться нулю. Еще невозделанная тогда земля была полезностью, а не меновой стоимостью, она была общей, но не общественной. Мало-по-малу, вследствие размножения семейств и прогресса земледелия, земля начала приобретать цену. Труд сообщил почве свою стоимость, и отсюда родилась рента. Каждое поле тем более ценилось, чем более плодов приносило оно при равном количестве труда; при этом собственники всегда стремились присвоить себе все количество приносимых землей продуктов, за исключением заработной платы фермера, т. е. за исключением издержек производства. Таким образом, собственность следует за трудом, чтобы отнимать у него все то количество продуктов, которое превосходит действительные издержки производства. В то время как собственник исполняет мистическую обязанность и по отношению к колону является представителем общества, фермер в предначертаниях провидения есть не более, как ответственный работник, обязанный давать обществу отчет во всем, собранном им сверх следуемой ему по праву заработной платы... По существу своему и назначению рента является, следовательно, орудием распределяющей справедливости, одним из многих средств, употребляемых экономическим гением для достижения равенства. Это огромный кадастр, совершаемый с противоположных сторон собственниками и фермерами, без возможности столкновения и ради высшей цели. Конечным результатом такого кадастра должно быть уравнение владения землею между земледельцами и промышленниками... Нужна была вся магическая сила собственности, чтобы вырвать у земледельца излишек продукта, на который он не мог не смотреть как на лично ему принадлежащий, считая себя единственным его творцом. Рента, или, лучше сказать, поземельная собственность, сокрушила земледельческий эгоизм и породила солидарность, которой не могла бы создать никакая сила, никакой передел земель... В настоящее время, когда моральный результат собственности достигнут, остается произвести распределение ренты».

Весь этот набор громких слов сводится к следующему: Рикардо говорит, что мерило ренты дается излишком цены земледельческих продуктов над издержками производства, включая в эти издержки

обычную прибыль и процент на капитал. Г-н Прудон поступает лучше: он заставляет вмешаться в дело собственника, являющегося как *deus ex machina*, чтобы вырвать у колона весь излишек его продукта над издержками производства. Он пользуется вмешательством собственника, чтобы объяснить собственность, и вмешательством ренты, чтобы объяснить ренту. Он отвечает на вопрос, повторяя его и прибавляя к нему лишний слог.

Заметим еще, что, определяя поземельную ренту различием в плодородии почвы, г-н Прудон приписывает ей новое происхождение, так как прежде, чем стали ценить землю по различной степени ее плодородия, она «не имела», по мнению г-на Прудона, «менового стоимости, но была общей». А куда же девалась фикция ренты, порожденной *необходимостью* вернуть к земле человека, который готов был *потеряться в бесконечной пустоте?*

Освободим теперь учение Рикардо от всех провиденциальных, аллегорических и мистических фраз, в которые так старательно облек его г-н Прудон.

Рента, в смысле Рикардо, есть земельная собственность в буржуазном состоянии, т. е. феодальная собственность, подчиненная условиям буржуазного производства.

Мы видели, что, по учению Рикардо, цена всех предметов определяется, в последнем счете, издержками производства, включая сюда промышленную прибыль; другими словами, она определяется количеством потраченного рабочего времени. В мануфактурной промышленности цена продукта, произведенного наименьшим количеством труда, определяет цену всех остальных товаров того же рода, если только количество наиболее дешевых и наиболее производительных средств производства может быть увеличиваемо до бесконечности, а свободная конкуренция создает рыночную цену, т. е. создает одну общую цену для всех продуктов одного и того же рода.

В земледельческой же промышленности цена всех продуктов одного и того же рода определяется, наоборот, ценою продукта, произведенного наибольшим количеством труда. Во-первых, здесь нельзя, как в мануфактурной промышленности, увеличивать по произволу количество орудий производства одинаковой степени производительности, т. е. земель одинаковой степени плодородия. Затем постепенный рост народонаселения приводит здесь к обработке земель низкого качества или к вложению в прежние участки новых капиталов, являющихся менее производительными по сравнению с прежде вложенными. В том и другом случае тратится большее ко-

личество труда для приобретения сравнительно меньшего количества продукта. Так как необходимость в этом излишке труда создана потребностями населения, то продукт земли, потребовавшей более дорогой обработки, непременно находит точно такой же сбыт, как и продукт почвы, обработка которой обходится дешевле. А так как конкуренция нивелирует рыночные цены, то продукты плодородной почвы будут продаваться так же дорого, как и продукты почвы низкого достоинства. Этот-то излишек в цене продуктов, собранных с земли лучшего качества, над издержками их производства и составляет ренту. Если бы всегда имелись под руками земли одинакового плодородия; если бы земледелие было в одних условиях с мануфактурной промышленностью, где всегда есть возможность прибегнуть к менее стоящим и более производительным машинам, или если бы последующие вложения капитала в землю приносили столько же, как и первые, то цена земледельческих продуктов определялась бы ценою части их, произведенной при помощи наилучших средств производства, как мы это видели относительно цены мануфактурных продуктов. Но тогда исчезла бы и рента.

Для того, чтобы теория Рикардо в общем была верна, необходимо, чтобы капиталы могли свободно прилагаться к различным отраслям промышленности; чтобы сильно развитая конкуренция между капиталистами привела прибыль к одному уровню; чтобы фермер превратился в обыкновенного промышленного капиталиста, который требует на свой капитал, раз он вкладывает его в землю низкого качества, прибыль, равную той, которую он мог бы выручить, напр., в хлопчатобумажной промышленности; чтобы обработка земли велась по системе крупной промышленности; чтобы, наконец, сам землевладелец не искал ничего, кроме денежного дохода.

В Ирландии еще не существует ренты, хотя фермерство достигло там крайнего развития. Так как рента является избытком не только над заработной платой, но и над промышленной прибылью, то она не может существовать в стране, подобной Ирландии, где доход землевладельца является вычетом из заработной платы.

Следовательно, рента не только не превращает фермера в *простого рабочего* и не «вырывает у колона избытка продукта, на который он не может не смотреть как на свой собственный», но ставит, наоборот, перед землевладельцем, вместо раба, вместо крепостного, оброчного или наемного рабочего, — промышленного капиталиста. (С тех пор как установился институт ренты, землевладелец получает лишь излишек сверх издержек производства, включая в последние не только заработную плату, но также прибыль на капитал.

Следовательно, с установлением ренты именно землевладелец лишился части своих доходов.) Прошло много времени, прежде чем феодальный арендатор был вытеснен промышленным капиталистом. В Германии такое превращение началось лишь в последней трети восемнадцатого столетия, и лишь в Англии эти отношения между промышленным капиталистом и поземельным собственником достигли полного развития.

Пока существовали лишь *колоны* г-на Прудона, — ренты не было. Но раз существует рента, — колоном является уже не фермер, а рабочий становится колоном фермера. Приращение земледельца до роли простого рабочего, поденщика, наемника, работающего на промышленного капиталиста; появление промышленного капиталиста, эксплуатирующего землю на таких же основаниях, как любую фабрику; превращение поземельного собственника из мелкого владетельного принца в обыкновенного ростовщика, — вот различные отношения, выражаемые рентой.

Рента, в смысле Рикардо, есть превращение патриархального земледелия в промышленное, приложение промышленного капитала к земле, перенесение городской буржуазии в деревню. Вместо того, чтобы *«привязать человека к природе»*, рента только связала земледелие с конкуренцией. Раз будучи установлена в виде ренты, поземельная собственность сама является уже *результатом конкуренции*, так как с этих пор она становится в зависимость от рыночной цены земледельческих продуктов. В качестве ренты поземельная собственность мобилизуется и становится предметом торговли. Рента возможна лишь с того момента, когда развитие городской промышленности и созданная им общественная организация вынуждают землевладельца стремиться к одной лишь торговой прибыли, к одному только денежному доходу от своих земледельческих продуктов и не позволяют ему видеть в своей поземельной собственности ничего, кроме машины, кующей ему деньги. Рента до такой степени отделила землевладельца от земли, от природы, что он может даже вовсе не знать своих поместий, как это случается в Англии. Что же касается до фермера, до промышленного капиталиста и земледельческого рабочего, то они не более привязаны к земле, из которой извлекают доход, чем привязан мануфактурный предприниматель или рабочий к тому хлопку или к той шерсти, которую они обрабатывают; привязанность они чувствуют лишь к цене продуктов, к денежному доходу. Отсюда все иеремиады реакционных партий, всей душой призывающих возврат к феодализму, к доброй патриархальной жизни, к простым нравам и ве-

ликим добродетелям наших предков. Подчинение земли законам, управляющим другими отраслями промышленности, служит и всегда останется предметом корыстных сожалений. Рента была, можно сказать, той движущей силой, которая увлекла идиллию на путь исторического движения.

Рикардо, предположив буржуазное производство как необходимое условие существования ренты, переносит, тем не менее, понятие о ренте на поземельную собственность всех времен и народов. Это общее заблуждение всех экономистов, которым отношения буржуазного производства представляются в виде вечных категорий.

От провиденциальной цели ренты — превращения *колона в ответственного работника* — г-н Прудон переходит к распределению ренты по принципу равенства.

Рента образуется, как мы видели, *равенством цен* продуктов, собранных с участков земли *неравного плодородия*, так что гектолитр хлеба, стоивший 10 франков, продается за 20 франков, если издержки производства на земле низшего качества поднимаются до этой суммы.

Пока необходимость принуждает потребителей покупать все земледельческие продукты, доставленные на рынок, их рыночная цена определяется издержками производства наиболее дорогих продуктов. Следовательно, 10 франков ренты, достающиеся собственнику лучшей земли с каждого проданного его фермером гектолитра, созданы именно этим уравнением цен, вытекающим из конкуренции, а вовсе не из различия в плодородии почвы.

Предположим на время, что цена хлеба определяется количеством труда, необходимого на его производство; тогда гектолитр хлеба, собранный с земли лучшего качества, будет продаваться по 10 фр., между тем как такой же гектолитр, собранный с земли худшего качества, будет стоить 20 фр. Допустив это, мы увидим, что средняя рыночная цена будет 15 фр., тогда как по закону конкуренции она достигает 20 фр. Если бы средняя цена равнялась 15 фр., то не могло бы быть ни уравнительного, ни иного распределения ренты, так как не было бы самой ренты. Рента потому только и существует, что гектолитр хлеба, стоящий производителю 10 фр., продается за 20 фр. Г-н Прудон предполагает равенство рыночных цен, при неравных издержках производства, для того, чтобы прийти к равному распределению продукта неравенства.

Мы понимаем, почему экономисты, как Милль, Шербюлье, Гильдич и другие, требовали присвоения ренты государством и употребления ее для замены налогов. Это было лишь открытое

выражение ненависти промышленного капиталиста к поземельному собственнику, являющемуся в его глазах излишним и бесполезным в общем ходе буржуазного производства.

Но брать по 20 фр. за гектолитр хлеба, чтобы заняться затем распределением лишних 10 фр., взятых с потребителя, — этого действительно совершенно достаточно для того, чтобы *гений общества меланхолически шествовал по зигзагообразному пути* и разбил себе голову о первый попавшийся *выступ*.

Рента становится под пером г-на Прудона «громadным *кадастром*, выполняемым с противоположных сторон собственниками и фермерами... ради высшей цели... ввиду конечного результата, состоящего в уравнивании владения землею между землевладельцами и промышленниками».

Только в условиях современного общества тот или иной создаваемый рентой кадастр может иметь какую-нибудь практическую цену.

Но мы уже доказали, что средняя арендная плата, уплачиваемая фермером землевладельцу, является более или менее точным выражением ренты лишь в странах, наиболее развитых в промышленном и товарном отношениях. Да и тут в арендную плату включается процент на капитал, вложенный в землю ее собственником. Положение земельных участков, соседство городов и многие другие обстоятельства влияют также на арендную плату и видоизменяют ренту. Одних этих оснований было бы достаточно, чтобы доказать неточность кадастра, основанного на ренте.

С другой стороны, рента не может служить и постоянным указателем степени плодородия данного участка земли, так как современное приложение химии беспрестанно меняет природу почвы, а геологические знания начинают именно в настоящее время разрушать всю старую оценку сравнительного плодородия. Лишь около двадцати лет тому назад началась разработка обширных земель в восточных графствах Англии, остававшихся до тех пор необработанными вследствие незнания отношения между черноземом и составом подпочвы.

Таким образом, история не только не дает нам в ренте готового кадастра, но постоянно изменяет и ниспровергает все существующие кадастры.

Наконец, плодородие вовсе не есть такое уж природное качество почвы, как это может показаться: оно тесно связано с современными общественными отношениями. Земля может быть очень плодородна при обработке под хлеб, и, тем не менее, рыночные цены

могут заставить землевладельца обратить ее в искусственный луг и сделать, таким образом, бесплодной.

Г-н Прудон изобрел свой кадастр, не могущий равняться даже с обыкновенным кадастром, лишь для того, чтобы воплотить в нем *провиденциально-уравнительную цель* ренты.

«Рента, — продолжает г-н Прудон, — есть процент, который платят за никогда не уничтожающийся капитал, т. е. за землю. И так как материальный состав этого капитала не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться по отношению к способам употребления, то отсюда вытекает, что, в то время как вследствие изобилия капиталов процент за ссуды (*mutuum*) имеет тенденцию постоянно уменьшаться, — рента стремится к постоянному увеличению, так как в результате промышленного совершенствования являются улучшения в обработке земли... Такова рента по своей сущности». (Т. II, стр. 265.)

На этот раз г-н Прудон видит в ренте все признаки процента, с тем лишь отличием, что она является процентом на особого рода капитал. Этот капитал есть земля, капитал вечный, «материальный состав которого не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться по отношению к способам употребления». В прогрессивном ходе цивилизации процент стремится к постоянному понижению, рента же — к повышению. Процент падает в силу изобилия капиталов, рента повышается вследствие технических усовершенствований, результатом которых являются все лучшие и лучшие способы использования земли.

Такова сущность мнения г-на Прудона.

Рассмотрим сперва, насколько можно называть ренту процентом на капитал.

Для самого землевладельца рента есть процент на тот капитал, который заплачен им за землю или мог бы быть выручен при ее продаже. Но, продавая или покупая землю, он продает или покупает только ренту. Цена, которую он платит за приобретение ренты, соразмеряется с общим уровнем процента и не имеет ничего общего с самой природой ренты. Процент на капитал, вложенный в землю, обыкновенно ниже процента на промышленный или торговый капитал. Таким образом, если не отличать от самой ренты процента, приносимого землею ее собственнику, то окажется, что процент с капитала, вложенного в землю, падает еще ниже процента с других капиталов. Но дело идет не о продажной или покупной цене ренты, не об ее денежной стоимости, но о ренте капитализированной, но о ренте самой по себе.

Арендная плата, кроме собственно ренты, может еще заключать в себе процент на капитал, вложенный в землю. В таком случае эту часть арендной платы землевладелец получает не в качестве землевладельца, а в качестве капиталиста. Это, однако, не та рента, в собственном смысле слова, о которой идет речь.

Пока землю не пользуют в качестве средства производства, до тех пор она не представляет собою капитала. Земля-капитал может увеличиваться так же точно, как и другие средства производства. Говоря языком г-на Прудона, мы ничего не прибавляем к ее материи, но увеличиваем количество земли, служащей средством производства. Уже одним новым вложением капиталов в землю, служащую средством производства, мы увеличиваем землю-капитал, без всякого увеличения материи, т. е. земного пространства. Под материей земли г-н Прудон понимает землю в ее пространственной ограниченности. Что касается до вечности, приписываемой им земле, то мы ничего не имеем против присвоения ей, как материи, этого качества. Но земля-капитал не более вечна, чем всякий другой капитал.

Золото и серебро, приносящие процент, так же прочны и вечны, как земля. Если цена золота и серебра падает, а цена земли растет, то этим она ни в коем случае не обязана своей более или менее вечной природе.

Земля-капитал есть основной капитал, но основной капитал так же изнашивается, как и оборотный. Улучшенные качества почвы требуют воспроизведения и поддержки; они служат лишь известное время, и в этом отношении совершенно подобны всем другим улучшениям, служащим для превращения материи в средство производства. Если бы земля была вечным капиталом, то некоторые страны имели бы совсем иной вид, чем теперь: римская Кампанья, Сицилия и Палестина оставались бы такими же цветущими, какими они были в древности.

Могут даже встретиться случаи, когда капитал-земля исчезает, между тем как внесенные в нее улучшения остаются неприкосновенными.

Во-первых, это случается каждый раз, когда рента, в собственном смысле слова, уничтожается вследствие конкуренции новых, более плодородных земель; во-вторых, улучшения, имевшие свою цену в известную эпоху, теряют ее с того момента, когда развитие агрономии делает их всеобщими.

Представителем капитала-земли является не землевладелец, а фермер; доход, приносимый землею в качестве капитала, — это не рента, а процент и предпринимательская прибыль. Есть земли,

которые приносят этот процент и прибыль, не принося ренты.

Словом, земля, приносящая процент, есть капитал, но в качестве капитала она не дает ренты и не образует поземельной собственности. Рента есть результат общественных отношений, при которых совершается обработка земли. Она не может быть следствием более или менее прочной, более или менее вечной природы земли. Рента обязана своим происхождением не земле, а обществу.

По мнению г-на Прудона, «улучшения в обработке земли» — следствие «технических усовершенствований» — составляют причину постоянного возрастания ренты. Эти улучшения, наоборот, причиняют ее периодическое падение.

В чем состоит вообще всякое улучшение, все равно — в земледелии или мануфактуре? В том, что с помощью того же количества труда производится большее количество продуктов или при меньшем количестве труда производится столько же или даже больше продуктов, чем прежде. Благодаря таким улучшениям фермеру нет надобности употреблять большее количество труда для приобретения сравнительно меньшего продукта. Ему нет надобности переходить к обработке земель низшего качества, и его последовательные вклады капитала в одну и ту же землю остаются одинаково производительными. Таким образом, в противоположность мнению г-на Прудона, эти улучшения не только не поднимают ренты, но составляют, наоборот, временное препятствие к ее повышению. Английские землевладельцы семнадцатого века настолько знали эту истину, что боролись против успехов земледелия, опасаясь уменьшения своих доходов. (См. Петти, английского экономиста времен Карла II.)

V. Стачки и рабочие коалиции.

«Никакое увеличение заработной платы не может вести ни к чему иному, кроме повышения цены хлеба, вина и проч., т. е. к тому же результату, как и недостаток в припасах. Что такое, в самом деле, заработная плата? Это стоимость производства хлеба и проч.; это полная цена всех вещей. Пойдем далее. Заработная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство и каждый день производительно потребляемых массой рабочих. Поэтому удвоить заработную плату... значило бы выдать каждому производителю часть, превышающую доставленный им продукт, что само в себе заключает противоречие. Если же повышение захватит лишь небольшую часть отраслей промышленности, то оно вызовет всеобщее замешательство в обмене, одним словом — *дороговизну*.

Я утверждаю, что за стачками, вызвавшими увеличение заработной платы, не может не последовать *всеобщего повышения цен*; это так же верно, как дважды два — четыре». (*Прудон*, т. I, стр. 110 и 111.)

Из всех этих положений мы не отрицаем только одного: что дважды два — четыре.

Во-первых, не может быть *всеобщего вздорожания*. Если цена всех предметов удваивается одновременно с заработной платой, то от этого не происходит никакого изменения цен, а изменяются лишь выражения.

Во-вторых, общее повышение заработной платы никогда не может привести к более или менее общему вздорожанию товаров. В самом деле, если бы все отрасли промышленности употребляли одинаковое количество рабочих по отношению к своему основному капиталу (к применяемым орудиям труда), всеобщее повышение заработной платы повело бы ко всеобщему понижению прибыли, рыночные же цены товаров не потерпели бы никакого изменения.

Но так как отношение ручного труда к основному капиталу не во всех отраслях промышленности одинаково, то отрасли, употребляющие сравнительно больший основной капитал и меньшее число рабочих, принуждены будут раньше или позже понизить цену своих товаров. В противном случае, если бы цена их товаров не понизилась, то их прибыль поднялась бы выше общего уровня прибылей. Ведь машины не получают заработной платы. Поэтому общее повышение заработной платы было бы менее чувствительно для отраслей промышленности, употребляющих сравнительно с другими большее количество машин и меньшее число рабочих. Но повышение той или другой прибыли над общим уровнем, при постоянном стремлении конкуренции к их уравниванию, может быть только временным. Таким образом, помимо некоторых колебаний, общее повышение заработной платы повело бы не к общему повышению цен, как думает Прудон, а к частичному понижению, т. е. к удешевлению рыночных цен товаров, изготовляемых преимущественно при помощи машин.

Повышение и понижение прибыли и заработной платы выражают лишь пропорцию, в которой капиталисты и рабочие участвуют в продукте рабочего дня, вовсе не влияя, в большинстве случаев, на цену продукта. Но чтобы «стачки, вызвавшие увеличение заработной платы, вели ко всеобщему увеличению цен и даже к большей дороговизне», — это одна из тех идей, которые могут зародиться лишь в мозгу не понятого поэта.

В Англии стачки постоянно служили поводом к изобретению и применению тех или других новых машин. Машины были, можно

сказать, оружием капиталистов против возмущений квалифицированных рабочих. *Self-acting mule* (автоматический прядильный станок), величайшее изобретение новейшей промышленности, прогнал с поля битвы возмутившихся прядильщиков. И если бы коалиции и стачки приводили только к тому, что рабочим были бы противопоставлены механические изобретения, то и тогда они оказывали бы громадное влияние на развитие промышленности.

«Я читаю, — продолжает г-н Прудон, — в статье г-на Леона Фоше... за сентябрь 1845 г., что с некоторого времени английские рабочие отвыкают от *коалиций* (прогресс, с которым их, конечно, можно только поздравить); при этом оказывается, что такое улучшение нравственности рабочих является главным образом следствием их экономического образования. «Не от фабрикантов зависит заработная плата, — воскликнул на митинге в Болтоне один прядильщик. — Во время застоя хозяева выполняют, так сказать, только роль кнута в руках необходимости и должны быть им волей или неволей. Регулирующим принципом является отношение между спросом и предложением, а над ним хозяева не властны»... В добрый час, — восклицает г-н Прудон, — вот, наконец, прекрасно выдресированные, образцовые рабочие и проч., и проч. «Этой беды еще только недоставало Англии, но через пролив она не перейдет». (Т. I, стр. 261 и 262.)

Из всех английских городов именно в Болтоне радикализм наиболее развит. Рабочие Болтона известны за самых ярых революционеров. Во время большой агитации против хлебных законов английские фабриканты не считали возможным бороться с землевладельцами, не выдвигая вперед рабочих. Но так как между рабочими и фабрикантами существует не меньшая противоположность интересов, чем между этими последними и землевладельцами, то фабриканты естественно должны были терпеть поражения на митингах рабочих. Что же делали фабриканты? Они организовывали показательные митинги, состоящие по большей части из мастеров, из небольшого числа преданных им рабочих и из *друзей торговли* в собственном смысле этого слова. Когда затем настоящие рабочие пытались проникнуть на эти митинги, — как это было в Болтоне и Манчестере, — чтобы протестовать против таких поддельных демонстраций, им запрещали вход, под тем предлогом, что это были *ticketmeetings*, т. е. митинги, на которые допускаются лишь лица, снабженные входными билетами. Между тем, афиши на стенах объявляли о публичных митингах. Журналы фабрикантов давали напыщенные и подробные отчеты о речах, произносившихся на этих

митингах. Нечего говорить, что все речи принадлежали мастерам. Лондонские газеты перепечатавали их с буквальной точностью. Г-н Прудон имел несчастье принять мастеров за настоящих рабочих и строжайшим образом запретил им переплывать канал.

Если в 1844—1845 гг. стало меньше слышно о стачках, так это потому, что 1844—1845 гг. являются первыми годами процветания английской промышленности с 1837 г. И, тем не менее, ни один из профессиональных союзов (*trades-unions*) не был распущен.

Послушаем теперь болтонских мастеров. По их мнению, фабриканты не имеют власти над заработной платой, потому что не от них зависит цена продуктов; а цена продукта не зависит от них потому, что они не имеют власти над мировым рынком. Наши ораторы утверждают, что по этой причине не следует устраивать коалиций с целью вырвать у хозяев увеличение заработной платы. Г-н Прудон, наоборот, запрещает коалиции из опасения, чтобы они не привели к повышению заработной платы, что вызвало бы всеобщую дороговизну. Нам нет надобности указывать, что в одном пункте между мастерами и г-н Прудон существует самое трогательное согласие: и он, и они думают, что повышение заработной платы равносильно повышению цены продуктов.

Но действительно ли досада г-на Прудона вызывается опасением дороговизны? Нет. Он сердится на болтонских мастеров просто за то, что они определяют стоимость *спросом и предложением* и нимало не заботятся о *конституированной стоимости*, о стоимости, достигшей состояния конституированности, о конституировании стоимости, включая сюда *постоянную обмениваемость* и все остальные *пропорциональности отношений и отношения пропорциональности*, с дополнением сверх всего этого еще провидения.

«Стачка рабочих *противозаконна*; это говорит не только уголовный кодекс, но также и экономическая система и необходимость установленного порядка... Свобода каждого отдельного рабочего располагать своей личностью и своими руками может быть терпима, но общество не может позволить рабочим прибегать, посредством коалиций, к насилию над монополией». (Т. I, стр. 235 и 237).

Г-н Прудон старается выдать статью уголовного кодекса за всеобщий и необходимый результат отношений буржуазного производства.

В Англии коалиции дозволены актом парламента, и именно современная экономическая система вынудила парламент издать такой закон. Когда в 1825 г., во время министерства Гескиссона, парламент должен был изменить законодательство, чтобы привести

его в большее соответствие с порядком вещей, созданным свободной конкуренцией, он не мог не отменить и всех законов, запрещавших рабочие коалиции. Чем сильнее развиваются современная промышленность и конкуренция, тем более является элементов, вызывающих и поддерживающих коалиции, а когда коалиции становятся экономическим фактом, с каждым днем приобретающим все большую и большую устойчивость, то они по необходимости становятся в скором времени фактом законным.

Поэтому соответствующая статья уголовного кодекса доказывает только, что во время Учредительного собрания и при Империи крупная промышленность и конкуренция не были еще достаточно развиты.

Экономисты и социалисты¹ единогласно осуждают *коалиции*. Разница заключается лишь в мотивировке приговора.

Экономисты говорят рабочим: «Не составляйте коалиций. Прибегая к ним, вы задерживаете правильный ход промышленности, мешаете фабрикантам удовлетворять заказчиков, вносите замешательство в торговлю и ускоряете введение машин, которые, делая бесполезной часть вашего труда, принуждают вас тем самым принимать еще более пониженную заработную плату. К тому же ваши усилия напрасны. Ваша заработная плата всегда будет определяться отношением между спросом на рабочие руки и их предложением; возмущение против вечных законов политической экономии так же смешно, как и опасно».

Социалисты говорят рабочим: «Не соединяйтесь в коалиции, так как, в конце концов, что же вы этим выиграете? Повышение заработной платы? Экономисты докажут вам с полной очевидностью, что, даже в случае успеха, за кратковременным выигрышем нескольких грошей последует новое и уже прочное падение заработной платы. Искусные счетчики высчитают вам, что пройдут целые годы, прежде чем увеличение заработной платы вознаградит вас хотя бы за издержки по организации и поддержке коалиций. Мы же, в качестве социалистов, скажем вам, что, даже помимо этого денежного вопроса, вы и при коалиции останетесь все такими же рабочими, а ваши хозяева останутся хозяевами. Итак, не соединяйтесь в коалиции, не занимайтесь политикой: ведь устраивать коалиции и значит заниматься политикой».

Экономисты хотят, чтобы рабочие оставались в обществе, ка-

¹ То есть социалисты того времени: фурьеристы во Франции и последователи Оуэна в Англии. — Ф. Э.

ким оно сложилось в настоящее время и было записано и пропечатано экономистами в их учебниках.

Социалисты советуют оставить в покое старое общество, чтобы с тем большею легкостью войти в новое, подготовленное ими, социалистами, с такою предусмотрительностью.

Но, вопреки тем и другим, вопреки учебникам и утопиям, коалиции ни на минуту не переставали идти вперед и увеличиваться вместе с развитием и ростом современной промышленности. Можно даже сказать в настоящее время, что степень развития коалиций в данной стране с точностью указывает место, занимаемое ею в иерархии мирового рынка. Англия, где промышленность достигла наивысшей степени развития, имеет также самые обширные и наилучшим образом организованные коалиции.

Английские рабочие не остановились на частичных коалициях, временно возникавших в виду стачки и исчезающих вместе с нею. Они создали постоянные союзы, *trades-unions*, которые служат оплотом рабочих в их борьбе против предпринимателей. В настоящее время все эти местные профессиональные союзы объединены в *Национальную ассоциацию профессиональных союзов* (*National Association of United Trade*), насчитывающей до 80 000 членов и имеющей центральный комитет в Лондоне. Устройство стачек, коалиций, *trades-unions* шло одновременно с политической борьбой рабочих, составляющих в настоящее время, под именем *чартистов*, большую политическую партию.

Первые попытки рабочих к объединению между собою всегда принимают форму коалиций.

Крупная промышленность скопляет в одном месте массу не известных друг другу людей. Конкуренция разъединяет их интересы. Но охрана заработной платы от падения, — этот общий им всем и противоположный хозяйскому интерес, — соединяет рабочих на одной и той же мысли о сопротивлении, о *коалиции*. Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель: прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы быть в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом. Если первой целью сопротивления являлось лишь поддержание заработной платы, то потом, по мере объединения самих капиталистов на идее обуздания рабочих, отдельные коалиции этих последних формируются в группы, и, в противовес всегда объединенному капиталу, сохранение союза становится для них даже более необходимым, чем охрана заработной платы от падения. До какой степени это верно, показывает тот факт, что рабочие, к крайнему удивлению английских экономистов, жертвуют

значительной частью своей заработной платы в пользу союзов, основанных, по мнению этих экономистов, лишь ради заработной платы. В этой борьбе — настоящей гражданской войне — объединяются и развиваются все необходимые элементы будущих битв. Дойдя до этой ступени, коалиция принимает политический характер.

Экономические условия превратили сперва массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, по отношению к капиталу, масса является уже классом, но сама для себя она еще не класс. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазисах, сплоченная масса конституируется как класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами. Но борьба между классами есть борьба политическая.

В истории буржуазии мы должны различать два фазиса: в первом — она складывалась в класс под господством феодального порядка и абсолютной монархии; во втором, — уже образовав из себя класс, — она низвергла феодализм и монархию, чтобы из старого общества сделать общество буржуазное. Первый из этих фазисов был длиннее второго и потребовал наибольших усилий. Он тоже начался с частичных коалиций против феодальных сеньеров.

Существует не мало исследований, изображающих различные исторические фазисы, пройденные буржуазией, начиная с городских общин до образования из нее самостоятельного класса.

Но когда приходится дать себе ясный отчет относительно стачек, коалиций и других форм, в которых пролетариат на наших глазах организуется как класс, то одних охватывает самый реальный страх, другие выказывают *трансцендентальное* презрение.

Существование угнетенного класса составляет жизненное условие каждого общества, основанного на антагонизме классов. Освобождение угнетенного класса необходимо подразумевает, следовательно, создание нового общества. Возможность этого освобождения угнетенного класса является лишь на той ступени развития, когда приобретенные уже производительные силы и существующие общественные отношения не могут более уживаться рядом. Изю всех орудий производства наибольшую производительную силу представляет сам революционный класс. Организация революционных элементов в класс предполагает существование всех тех производительных сил, которые могли зародиться в недрах старого общества.

Значит ли это, что с падением старого общества наступит господство нового класса, выражающееся в новой политической власти? Нет.

Условие освобождения трудящегося класса есть уничтожение всех классов; так же точно, как условием освобождения третьего, буржуазного, сословия было уничтожение всех сословий.¹

Идя по пути своего развития, трудящийся класс заменит старое гражданское общество ассоциацией, исключающей как классы с их антагонизмом, так и политическую власть в собственном смысле, так как политическая власть есть именно официальное выражение антагонизма классов в гражданском обществе.

А до тех пор антагонизм между пролетариатом и буржуазией останется классовой борьбой, которая, будучи доведена до высшей степени своего напряжения, является полною революцией. Да и удивительно ли, что общество, основанное на *противоположности* классов, приходит, как к последней развязке, к грубому *противоречию*, к физическому столкновению людей?

Не говорите, что социальное движение исключает политическое. Никогда не существовало политического движения, которое не было бы в то же время и социальным.

Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. До тех же пор, накануне каждого полного переустройства общества, последним словом социальной науки будет:

«Война или смерть; кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса» (Жорж Занд).

¹ Слово «сословие» употребляется здесь в историческом смысле сословий феодального государства с определенными, ограниченными сословными привилегиями. Буржуазная революция уничтожила сословия вместе с их привилегиями. Буржуазное общество знает только классы. Поэтому тот, кто называет пролетариат «четвертым сословием», впадает в полнейшее противоречие с историей. — Ф. Э.

Е. МАРКС

НАЕМНЫЙ ТРУД И КАПИТАЛ

НАЕМНЫЙ ТРУД И КАПИТАЛ.

[Нас упрекали с разных сторон, что мы не дали анализа тех *экономических отношений*, которые образуют материальную основу современной классовой и национальной борьбы. Мы планомерно касались этих отношений только тогда, когда они непосредственно выпячивались в политических столкновениях.

Прежде всего необходимо было следить за проявлениями классовой борьбы в повседневной исторической практике и, опираясь на существующий и с каждым днем вновь создаваемый исторический материал, показывать на опыте, что одновременно с порабощением рабочего класса, совершившего февральскую и мартовскую революции, побеждены были и его противники — буржуазные республиканцы во Франции и боровшиеся против феодального абсолютизма буржуазные и крестьянские классы на всем европейском континенте; что победа «честной республики» во Франции была в то же время поражением всех народов, ответивших на февральскую революцию героическими войнами за независимость; что, наконец, Европа, победив революционных рабочих, опять впала в свое старое двойное рабство, в *англо-русское* рабство. Июньская борьба в Париже, падение Вены, трагикомедия берлинского ноября 1848 г., отчасти усилия Польши, Италии и Венгрии, истощение Ирландии — вот главные моменты, в которых воплотилась европейская классовая борьба между буржуазией и рабочим классом и на анализе которых мы показали, что всякое революционное восстание, как бы далекой ни казалась цель его от классовой борьбы, должно окончиться поражением, пока не победит революционный рабочий класс, что всякая социальная реформа останется утопией, пока пролетарская революция и феодальная контр-революция не померяются оружием в *мировой войне*. В нашем изображении, как и в действительности, *Бельгия* и *Швейцария* представляли трагикомические, карикатурные жанровые наброски в великой исторической критике: первая — образцовое государство буржуазной монархии, вторая — образцовое государство буржуазной республики, обе — государства,

воображающие, что они так же независимы от классовой борьбы, как и от европейской революции.

Теперь, после того как наши читатели видели, как развивалась в колоссальных политических формах классовая борьба 1848 г., будет вполне своевременно рассмотреть поближе те экономические отношения, на которых основаны как существование буржуазии и ее классовое господство, так и рабство рабочих.

В трех крупных отделах мы изобразим: 1) отношение *наемного труда к капиталу*, рабство рабочего, господство капиталиста; 2) *неизбежное разорение средних буржуазных классов и крестьянства при современной системе*; 3) *торговое порабощение и эксплуатацию буржуазных классов различных европейских наций — Англией, деспотом всемирного рынка.*

Мы будем стараться сделать наше изложение по возможности простым и популярным, мы не будем предполагать знакомство даже с элементарнейшими понятиями политической экономии. Мы хотим, чтобы нас понимали рабочие. К тому же в Германии господствуют поразительнейшее невежество и путаница понятий в области простейших экономических отношений — начиная с патентованных защитников существующего порядка и кончая *социалистическими чудотворцами и непризнанными политическими гениями*, которыми разъединенная Германия еще богаче, чем отцами отечества.]

Итак, прежде всего — первый вопрос:

Что такое заработная плата? Чем она определяется?

На вопрос: «как велика ваша заработная плата?», рабочий ответит: «я получаю от моего буржуа один франк за рабочий день», другой: «я получаю два франка» и т. д. В зависимости от различных отраслей труда, в которых они заняты, сумма денег, получаемая ими от буржуа за выполнение определенной работы, — напр., за то, чтобы соткать аршин холста или набрать печатный лист, — окажется равной. Но при всем различии денежных сумм смысл всех ответов будет один и тот же: заработная плата есть сумма денег, которую буржуа платит за определенное рабочее время или за выполнение определенной работы.

Стало быть, буржуа *покупает* за деньги труд рабочих, а рабочие за деньги *продают* ему свой труд. За ту же сумму денег, за которую буржуа купил их труд, напр., за два франка, он мог бы купить два фунта сахару или известное количество какого-нибудь другого товара. Два франка, за которые он покупает два фунта сахару, со-

ставляют *цену* двух фунтов сахару. Два франка, за которые он покупает 12 часов труда, составляют цену двенадцатичасового труда. Труд, стало быть, товар, такой же точно товар, как и сахар. Но труд измеряется часами, а сахар — весами.

Свой товар-труд рабочие обменивают на товар капиталиста, на деньги — и притом этот обмен совершается в определенной пропорции. Столько-то денег за столько-то труда. За двенадцатичасовой труд ткача — два франка. Но не представляют ли разве эти два франка все другие товары, которые можно купить за два франка? На самом деле, рабочий, стало быть, обменял свой товар-труд на всевозможные товары, — обменял в определенной пропорции. Получив от буржуа два франка, он тем самым получил от него столько-то мяса, столько-то платья, столько-то топлива, освещения и пр. в обмен на свой рабочий день. Эти два франка выражают, следовательно, отношение, существующее при обмене труда на другие товары, выражают *меновую стоимость* его труда. Меновая же стоимость товара, выраженная в *деньгах*, называется его *ценой*. *Заработная плата* есть, следовательно, лишь особое название для *цены труда*, для цены того своеобразного товара, хранилищем которого служит только человеческая плоть и кровь.

Возьмем любого рабочего, напр. ткача. Буржуа снабжает его ткацким станком и пряжей. Ткач садится за работу, и пряжа превращается в холст. Буржуа берет себе этот холст и продает его — скажем — за двадцать франков. Теперь, спрашивается, представляет ли заработная плата ткача выпадающую на его долю *часть* полотна, двадцати франков, часть продукта его труда? Ни в каком случае. Ведь ткач получил свою заработную плату еще задолго до того, как холст был продан, быть может задолго до того, как он был им соткан. Капиталист, стало быть, платит за работу не из тех денег, которые он выручит за полотно, а из запасных денег. Товары, получаемые ткачом в обмен за свой товар, за труд, столь же мало составляют продукт его труда, как ткацкий станок и пряжа, доставленные ему хозяином. Может случиться, что буржуа вовсе не найдет покупателя на свой холст. Может случиться, что он при продаже холста не выручит даже расходов на заработную плату. Может также случиться, что он при продаже получит большой барыш по сравнению с расходами его на заработную плату. Ткачу до всего этого нет никакого дела. Из того же своего наличного имущества, из того же своего капитала, одна часть которого пошла на покупку сырого материала — пряжи — и орудия труда — ткацкого станка, — капиталист расходует другую часть на покупку рабочей силы ткача.

Сделав эти покупки, — а к ним относится также необходимый для производства холста труд, — капиталист приступает к производству с сырыми материалами и орудиями труда, принадлежащими ему одному. Конечно, и то сказать, — к числу орудий труда относится и наш добрый ткач, который так же мало имеет долю в продукте или его цене, как ткацкий станок.

Заработная плата есть, следовательно, доля рабочего в произведенном им товаре. Заработная плата есть часть имеющихся уже налицо товаров, за которую капиталист покупает известное количество производительного труда.

Итак, труд есть товар, который обладатель его, наемный рабочий, продает капиталу. Зачем он продает этот товар? Для того, чтобы жить.

Но труд — это жизненная деятельность самого рабочего, проявление его собственной жизни. И эту-то *жизненную деятельность* он продает другому, чтобы обеспечить себе необходимые *средства к жизни*. Его жизненная деятельность является, значит, для него лишь средством, дающим ему возможность существовать. Он работает для того, чтобы жить. Труд не является для него частью его жизни. Наоборот, трудиться — значит для него жертвовать жизнью. Труд — это товар, проданный им третьему лицу. Поэтому и продукт его деятельности не составляет цели его деятельности. Шелк, который он ткет, золото, которое он добывает на приисках, дворец, который он строит, — все это он производит не для себя самого. Для себя самого он производит *заработную плату*, а шелк, золото, дворец для него превращаются в известное количество предметов первой необходимости, быть может, в холщевую куртку, в медную монету, в квартиру где-нибудь в подвале. А считает ли рабочий, который двенадцать часов в сутки ткет, прядет, буравит, вертит, строит, копает, разбивает камни, переносит тяжести и т. д., — считает ли он это двенадцатичасовое тканье, пряденье, сверленье, верченье, копанье, разбивание камней проявлением своей жизни, жизнью? Наоборот, жизнь для него начинается тогда, когда эта деятельность прекращается, — за обеденным столом, на трактирной скамье, в постели. Двенадцатичасовой труд не имеет для него никакого смысла как тканье, пряденье, сверленье и т. д., — он имеет для него значение *заработка*, дающего ему возможность поест, пойти в трактир, лечь в постель. Если бы шелковичный червь прядл для того, чтобы существовать только в виде гусеницы, он был бы настоящим наемным рабочим.

Не всегда труд был *товаром*. Не всегда труд был наемным, т. е.

свободным трудом. Как вол не продает своей работы крестьянину, так и *раб* не продает своего труда рабовладельцу. Раб, вместе со своим трудом, раз навсегда продан своему господину. Он — товар, который может переходить из рук одного собственника в руки другого. *Сам он* — товар, но его труд не *его* товар. *Крепостной* продает только часть своего труда. Не он получает плату от собственника земли, а, наоборот, собственник земли получает от него оброк. Крепостной есть принадлежность земли и приносит доход собственнику земли. Напротив того, *свободный рабочий* сам продает себя, и притом продает себя по частям. С публичного торга продает он 8, 10, 12, 15 часов своей жизни, изо дня в день, тому, кто больше дает, — обладателю сырых материалов, орудий труда и средств существования, т. е. капиталистам. Рабочий не принадлежит ни собственнику, ни земле, но 8, 10, 12, 15 часов его ежедневной жизни принадлежат тому, кто их покупает. Рабочий оставляет хозяина, которому он нанялся, когда он хочет, а хозяин рассчитывает рабочего, когда он находит это выгодным, — как только он не может больше извлечь из него никакой пользы или же только предполагавшейся пользы. Но рабочий, единственный источник дохода которого состоит в продаже труда, не может покинуть *весь класс покупателей*, т. е. *класс капиталистов*, иначе, как под угрозой голодной смерти. Он принадлежит не тому или другому буржуа, а *всему классу буржуазии*; и при этом он сам должен позаботиться о том, чтобы найти для себя господина, т. е. покупателя в этом классе буржуазии.

Прежде чем перейти к подробному разбору отношений между капиталом и наемным трудом, мы вкратце изложим наиболее общие отношения, играющие роль при определении заработной платы.

Заработная плата есть, как мы видели, *цена* определенного товара — труда. Заработная плата определяется, следовательно, теми же законами, которыми определяется цена всякого другого товара. Итак, спрашивается, *чем определяется цена товара?*

Чем определяется цена товара?

Конкуренцией между покупателями и продавцами, отношением между спросом и предложением, между снабжением и требованием. Конкуренция, определяющая цену товара, имеет *три стороны*.

Один и тот же товар предлагается различными продавцами. Кто продает товары того же качества по самой дешевой цене, тот уверен, что вытеснит остальных продавцов и обеспечит за собой наибольший сбыт. Продавцы оспаривают, следовательно, друг у

друга сбыт, рынок. Каждый из них желает продать как можно больше и по возможности устранить всех других продавцов. Поэтому один старается продавать дешевле другого. Итак, существует *конкуренция между продавцами, понижающая* цену предлагаемых товаров.

Но существует также *конкуренция и между покупателями*, которая, с своей стороны, *повышает* цену предлагаемых товаров.

Наконец, существует *конкуренция между покупателями и продавцами*. Первые желают возможно дешевле купить, последние — возможно дороже продать. Результат этой конкуренции между покупателями и продавцами будет зависеть от того или иного положения двух первых сторон конкуренции, т. е. от того, где конкуренция сильнее: в рядах ли покупателей, или в рядах продавцов. Промышленность выводит в поле друг против друга две армии, в каждой из которых в то же время происходит междоусобная борьба в собственных рядах. Победительницей остается та армия, в которой происходит наименее жестокая драка.

Положим, что на рынке находится 100 кип хлопка, между тем как покупателям нужно 1000 таких кип. В этом случае спрос, следовательно, больше предложения в десять раз. Конкуренция между покупателями будет поэтому очень сильна; каждый из них будет стараться, если это возможно, закупить всю наличную сотню кип. Этот пример не есть произвольное предположение. В истории торговли мы переживали времена недорода хлопка, когда несколько стакнувшихся капиталистов старались закупить не сотню кип, а весь имеющийся на земном шаре запас хлопка. Итак, в приведенном нами примере каждый покупатель будет стараться отстранить другого, предлагая за каждую кипу хлопка относительно более высокую цену. Замечая крайне жаркую междоусобную схватку в рядах неприятельского войска и будучи вполне уверены в продаже всех ста кип, продавцы хлопка, с своей стороны, будут избегать всяких враждебных действий друг против друга, дабы не понизить цены своего товара в то самое время, когда их противники наперерыв друг перед другом стараются ее повысить. В рядах продавцов, таким образом, вдруг воцаряются мир и согласие. Как *один* человек стоят они перед покупателями, философски скрестив руки, и их требованиям не было бы меры, если бы предложения самых рьяных охотников до хлопка, с своей стороны, не имели определенных границ.

Итак, если предложение какого-нибудь товара меньше спроса на этот товар, то конкуренция между его продавцами очень слаба или даже вовсе не имеет места. Но в той же степени, в какой ослабевает конкуренция между продавцами, она усиливается между

покупателями. Следствием этого является более или менее значительное повышение цен товаров.

Как известно, чаще имеет место обратный случай с обратным следствием. Предложение значительно превышает спрос: происходит отчаянная конкуренция между продавцами, обнаруживается недостаток в покупателях, и товары сбываются за бесценок.

Но что значит повышение и понижение цен, что значит высокая и низкая цена? Песчинка, рассматриваемая в микроскоп, кажется высокою, а башня низка в сравнении с горою. Если цена определяется отношением между спросом и предложением, то чем определяется отношение между спросом и предложением?

Обратитесь к первому встречному, и он, не задумавшись ни на минуту, как новый Александр Македонский, разрубит этот метафизический узел с помощью таблицы умножения. Если производство продаваемого мною товара, — ответит он нам, — стоило мне 100 франков, а я выручаю при его продаже 110 франков, — по истечении года, разумеется, — то это будет совершенно обычной честной, законной прибылью. Получаю я при обмене за товар 120, 130 франков, — то это высокая прибыль; наконец, если я выручаю целых 200 франков, то это уже чрезвычайная, огромная прибыль. Что же служит для буржуа мерою прибыли? *Издержки производства* его товара. Если он в обмен за свой товар получает такое количество других товаров, производство которых стоило меньше, чем производство его товара, то он — в убытке. Если же в обмен за свой товар он получает такое количество товаров, производство которых стоило больше, то он — в выигрыше. Понижение или повышение своей прибыли он измеряет числом градусов, на которое меновая стоимость его товара находится ниже или выше нуля — *издержек производства*.

Мы уже видели, как изменение отношения между спросом и предложением обуславливает собою то повышение, то понижение цен, то высокие, то низкие цены. Если цена одного товара, вследствие недостаточного предложения или несоразмерно увеличившегося спроса, значительно повышается, то цена другого товара неизбежно должна соответственно понизиться, так как цена какого-нибудь товара выражает в деньгах лишь отношение, в каком другие товары даются в обмен на него. Если, напр., цена метра шелковой материи поднимается с пяти франков на шесть, то цена серебра понижается по отношению к шелковой материи, и точно так же понижаются в цене, по отношению к той же материи, все другие товары, цены которых остались неизменными. Теперь нужно будет дать

большее количество товаров, чтобы получить в обмен такое же количество шелковой материи, как прежде. К чему ведет повышение цены какого-нибудь товара? Масса новых капиталов приливает в процветающую отрасль промышленности, и этот прилив капиталов в наиболее выгодно поставленную промышленность продолжается до тех пор, пока прибыль в данной отрасли не упадет до обыкновенного уровня, или, вернее, пока цена данных продуктов, вследствие перепроизводства, не упадет ниже издержек производства.

Наоборот, — если цена какого-нибудь товара упадет ниже издержек его производства, то капиталы отхлынут из данной отрасли производства. За исключением того случая, когда данная отрасль промышленности уже отжила свое время и потому должна исчезнуть, производство данного товара, т. е. предложение его на рынке, вследствие отлива капиталов, будет уменьшаться до тех пор, пока оно не придет в соответствие со спросом, стало быть, до тех пор, пока цена товара не поднимется снова до уровня издержек его производства; или, вернее, производство будет уменьшаться, пока предложение не упадет ниже спроса, т. е. цена товара не будет опять превышать издержек его производства, *так как рыночная цена товара всегда стоит выше или ниже издержек его производства.*

Мы видим, что капиталы находятся в непрерывном движении, непрерывно переходят из одной области производства в другую. Высокие цены вызывают слишком сильный прилив, низкие цены — слишком сильный отлив капиталов.

Становясь на другую точку зрения, мы могли бы показать, что не только предложение, но и спрос определяется издержками производства. Это, однако, отвлекло бы нас слишком далеко от нашего предмета.

Мы только-что видели, каким образом колебания спроса и предложения все снова приводят цену товара к уровню издержек производства. *Правда, в действительности цена товара всегда стоит выше или ниже издержек производства; но повышение и понижение взаимно уравновешиваются,* — так что, вместе взятые, промышленные приливы и отливы приводят к тому, что в течение определенного промежутка времени товары в общем счете обмениваются один на другой соответственно издержкам производства, а следовательно, и цена их определяется издержками производства.

Это определение цены издержками производства не следует понимать в том смысле, в каком его понимают экономисты. Они говорят, что *средняя цена* товаров равняется издержкам производства; таков, по их мнению, *закон*. Они считают случайностью то

беспорядочное движение, в котором повышение цены уравновешивается ее падением, а падение — повышением. С таким же правом можно было бы, наоборот, колебания цен считать законом, а определение их издержками производства — случайностью, как это, впрочем, и делали другие экономисты. На самом же деле, только эти колебания, которые, при ближайшем рассмотрении, оказываются причиной ужаснейших опустошений и, подобно землетрясениям, потрясают буржуазное общество до основания, — только эти непрерывные колебания и приводят к тому, что цена определяется издержками производства. Общий ход этого беспорядка и составляет его порядок. В процессе этой промышленной анархии, в этом круговороте конкуренция, так сказать, заглаживает одну крайность — другою.

Итак, определение цены товара издержками производства совершается таким образом: время, в течение которого цена данного товара превышает издержки его производства, уравновешивается временем, в течение которого она падает ниже издержек его производства, и обратно. Это, разумеется, относится не к каждому отдельному промышленному продукту, а только к целой отрасли промышленности. Это, следовательно, относится также не к отдельному промышленнику, а только к целому классу промышленников.

Определение цены издержками производства сводится к определению цены рабочим временем, нужным на производство данного товара, так как издержки производства состоят: 1) из сырых материалов и орудий труда, т. е. из продуктов промышленности, производство которых стоило известного количества рабочих дней, которые, стало быть, представляют известное количество рабочего времени, и 2) из непосредственного труда, мерой которого служит также время.

Те же общие законы, которые регулируют цену товаров вообще, регулируют, конечно, и *заработную плату, цену труда*.

Заработная плата будет то повышаться, то падать в зависимости от того или иного отношения между спросом и предложением, в зависимости от того или иного характера конкуренции между покупателями труда, капиталистами, и продавцами труда, рабочими. Колебания заработной платы соответствуют вообще колебаниям товарных цен. *Но в пределах этих колебаний цена труда в последнем счете определяется издержками производства, рабочим временем, нужным на производство этого товара — труда.*

Каковы же издержки производства самого труда?

Это — издержки, которые требуются, чтобы сохранить рабочего, как такового, и образовать из него рабочего.

Поэтому, чем менее подготовки требует какой-нибудь труд, тем меньше будут издержки производства рабочего, тем ниже будет цена его труда, его заработная плата. В тех отраслях промышленности, в которых не требуется почти никакой подготовки и достаточно простой физической силы рабочего, — издержки, нужные на его производство, сводятся почти к тем только товарам, которые нужны для поддержания его существования. Поэтому *цена его труда определяется ценою необходимых средств существования.*

При этом нужно принять во внимание еще одно обстоятельство.

Фабрикант, высчитывая издержки производства, а соответственно с ними и цену продуктов, принимает в расчет и изнашивание орудий труда. Если машина, стоившая ему, напр., тысячу франков, делается негодной к употреблению через десять лет, то он ежегодно присчитывает к цене товара по сто франков, чтобы иметь возможность, по прошествии десяти лет, заменить испорченную машину новой. Точно так же издержки производства простого труда должны заключать в себе и издержки на размножение, дающие рабочему классу возможность размножаться и замещать ставших неспособными к работе новыми рабочими. Постепенное уменьшение годности рабочего к труду принимается, значит, в расчет точно так же, как и изнашивание машины.

Итак, издержки производства простого труда сводятся к *издержкам на поддержание жизни и на размножение рабочего.* Цена этих издержек на поддержание жизни и на размножение составляет заработную плату. Заработная плата, определенная этими издержками, называется *минимумом заработной платы.* Этот минимум заработной платы, как и вообще определение товарных цен издержками производства, применим не к *отдельной особи*, а ко *всему виду.* Отдельные рабочие, миллионы рабочих получают меньше, чем нужно для поддержания жизни и для размножения; но *заработная плата всего рабочего класса* в пределах своих колебаний сводится в общем счете к этому минимуму.

Выяснив общие законы, регулирующие заработную плату, равно как и цену всякого другого товара, мы можем приступить к более подробному разбору нашего предмета.

Капитал состоит из сырых материалов, орудий труда и всякого рода средств существования, употребляемых на производство новых сырых материалов, новых орудий труда и новых средств существования. Все эти составные части капитала создаются трудом, суть

продукты труда, — *накопленный труд*. Накопленный труд, служащий средством для нового производства, есть капитал.

Так говорят экономисты.

Что такое негр-раб? Это — человек черной расы. Одно объяснение стоит другого.

Негр есть негр. Лишь в определенных условиях становится он *рабом*. Бумагопрядильная машина есть машина для прядения хлопка. Лишь в определенных условиях становится она *капиталом*. Вне этих условий она столь же мало капитал, как золото само по себе — *деньги*, или сахар — *цена сахара*.

В производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство.

В зависимости от того или иного характера средств производства изменяются, конечно, и общественные отношения, в которые производители вступают друг к другу, изменяются условия, при которых они обмениваются своей деятельностью и участвуют в совокупном производстве. С изобретением нового орудия войны, огнестрельного оружия, необходимо должна была измениться вся внутренняя организация армии, должны были измениться те отношения, на основании которых отдельные личности сплачиваются в армию и могут действовать как армия, равно как и взаимные отношения различных армий.

Следовательно, общественные отношения, при которых люди занимаются производством, *общественные отношения производства изменяются, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производительных сил. Отношения производства, в своей совокупности, образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития*, — общество с своеобразным отличительным характером. Античное общество, феодальное общество, буржуазное общество представляют собою такие совокупности отношений производства, — совокупности, каждая из которых вместе с тем отмечает особую ступень развития в истории человечества.

Капитал также представляет собою общественное отношение производства, а именно — *буржуазное отношение производства*,

отношение производства в буржуазном обществе. Разве составные части капитала — средства существования, орудия труда, сырые материалы — произведены и накоплены вне данных общественных условий, вне определенных общественных отношений? Разве не в данных же общественных условиях, не при тех же определенных общественных отношениях употребляются они на новое производство? И разве не этот именно определенный общественный характер превращает в *капитал* продукты, служащие для нового производства?

Капитал состоит не только из средств существования, орудий труда и сырых материалов, — не только из материальных продуктов; он состоит в то же время из *меновых стоимостей*. Все продукты, из которых он состоит, суть *товары*. Капитал есть, следовательно, не только сумма материальных продуктов, но и сумма товаров, меновых стоимостей, *общественных величин*.

Капитал останется таким же капиталом, возьмем ли мы вместо шерсти — хлопок, вместо хлеба — рис, вместо железных дорог — пароходы, если только хлопок, рис, пароходы — это тело капитала — имеют ту же меновую стоимость, ту же цену, что шерсть, хлеб, железные дороги, в которых он воплощался прежде. Тело капитала может постоянно изменяться, не подвергая этим самый капитал ни малейшему изменению.

Но если всякий капитал есть сумма товаров, т. е. меновых стоимостей, то далеко не всякая сумма товаров, меновых стоимостей, есть капитал.

Всякая сумма меновых стоимостей есть меновая стоимость. Всякая отдельная меновая стоимость есть сумма меновых стоимостей. Так, напр., дом, стоящий тысячу франков, есть меновая стоимость в тысячу франков. Кусок бумаги, стоящий один сантим, есть сумма меновых стоимостей, равная ста сотым сантима. Продукты, которые можно обменивать на другие, суть *товары*. Определенная пропорция, в которой они обмениваются, составляет их *меновую стоимость*, или, будучи выражена в деньгах, — их *цену*. Количество этих продуктов нисколько не изменяет их назначения — быть *товаром*, или представлять *меновую стоимость*, или иметь определенную *цену*. Дерево остается деревом, как бы велико или как бы мало оно ни было. Изменится разве характер железа, как товара, как меновой стоимости, если мы будем обменивать его на другие продукты не центнерами, а лотами? В зависимости от массы оно является товаром большей или меньшей стоимости, более высокой или менее высокой цены.

Каким же образом известное количество товаров, меновых стоимостей, превращается в капитал?

Да просто потому, что оно как самостоятельная общественная сила, т. е. сила *одной части общества*, сохраняется и умножается путем обмена на *непосредственный, живой труд*. Существование класса, не имеющего ничего, кроме способности к труду, есть необходимое предварительное условие существования капитала.

Только господство накопленного, прошедшего, овеществленного труда над непосредственным, живым трудом превращает накопленный труд в капитал.

Отличительный признак капитала заключается не в том, что накопленный труд служит живому труду средством для нового производства, а в том, что живой труд служит накопленному труду средством для сохранения и увеличения его меновой стоимости.

Что происходит при обмене между капитал[истом] и наемным трудом?

В обмен за свой труд рабочий получает средства существования, а капиталист в обмен за свои средства существования получает труд, производительную деятельность рабочего, творческую силу, благодаря которой рабочий не только возмещает потребленную им стоимость, но и *придает накопленному труду большую стоимость, чем этот труд имел прежде*. Рабочий получает от капиталиста часть имеющихся налицо средств существования. Для чего служат ему эти средства существования? Для непосредственного потребления. Но раз я потребил данные средства существования, они для меня безвозвратно потеряны, если только я не воспользовался временем, в продолжение которого я жил ими, для производства новых средств существования, для того, чтобы, во время потребления, создать своим трудом новые стоимости вместо уничтоженных потреблением стоимостей. Но эту-то именно воспроизводительную благородную силу рабочий и уступает капиталисту в обмен за полученные средства существования. Для него самого она, следовательно, потеряна безвозвратно.

Возьмем пример. Арендатор дает своему поденщику по пяти зильбергрошей в день. За эти пять зильбергрошей рабочий трудится на поле арендатора целый день и обеспечивает ему доход в десять зильбергрошей. Арендатор не только получает обратно стоимости, данные им поденщику, — он получает вдвое больше стоимостей. Он, следовательно, израсходовал, потребил данные им поденщику пять зильбергрошей плодотворным, производительным образом. За эти пять зильбергрошей он купил труд и силу поденщика,

которые производят земледельческие продукты двойной стоимости, которые превращают пять зильбергрошей в десять. Напротив того, поденщик за производительную силу, результаты которой он уступил арендатору, получает взамен пять зильбергрошей, которые он обменивает на средства существования, потребляемые им в течение более или менее продолжительного времени. Эти пять зильбергрошей потреблены, следовательно, двояким образом: *производительно* — капиталом, так как они обменены на рабочую силу, произведшую десять зильбергрошей, и *непроизводительно* — рабочим, так как они обменены на средства существования, которые исчезли навсегда и стоимость которых он может снова получить, лишь повторяя тот же обмен с арендатором. *Итак, капитал предполагает наемный труд, а наемный труд предполагает капитал. Они обуславливают и создают друг друга.*

Производит ли рабочий на хлопчатобумажной фабрике только хлопчатобумажную материю? Нет, он производит капитал. Он производит стоимости, которые снова служат для того, чтобы господствовать над его трудом и при помощи его труда создавать новые стоимости.

Капитал может увеличиваться лишь путем обмена на труд, лишь вызывая к жизни наемный труд. Наемный труд может обмениваться на капитал, лишь увеличивая капитал, лишь усиливая власть, которая его порабощает. *Поэтому увеличение капитала равносильно численному увеличению пролетариата, т. е. рабочего класса.*

Интересы капиталиста и рабочего, стало быть, *одни и те же*, — утверждают буржуа и их экономисты. В самом деле! Рабочий погибает, если капитал не дает ему занятия. Капитал погибает, если он не эксплуатирует труда, а чтобы его эксплуатировать, он должен его купить. Чем скорее увеличивается капитал, предназначенный для производства, производительный капитал, чем более процветает промышленность, чем более обогащается буржуазия, чем лучше идут дела, — тем больше рабочих нужно капиталисту, тем дороже продает себя рабочий.

Неизбежным условием сколько-нибудь сносного положения рабочего является, следовательно, *возможно более быстрое возрастание производительного капитала.*

Но что же означает возрастание производительного капитала? Возрастание власти накопленного труда над живым трудом, усиление господства буржуазии над рабочим классом. Если наемный труд производит господствующее над ним чужое богатство, враждебную ему силу, капитал, то эта сила дает ему занятие, т. е. средства к су-

ществованию под тем условием, чтобы он себя снова превратил в часть капитала, в рычаг, служащий для дальнейшего ускорения роста капитала.

Интересы капитала и труда одни и те же — это означает только следующее: капитал и наемный труд суть две стороны одного и того же отношения. Одна сторона обуславливает другую, как обуславливают друг друга ростовщик и мот.

Пока наемный рабочий остается наемным рабочим, участь его зависит от капитала. Именно к этому сводится хваленая общность интересов рабочего и капиталиста.

Если капитал возрастает, то возрастает количество наемного труда, увеличивается число наемных рабочих, — одним словом, господство капитала распространяется на большее число личностей. Представим себе самый благоприятный случай: с возрастанием производительного капитала увеличивается спрос на труд, повышается, следовательно, цена труда, заработная плата.

Каковы бы ни были размеры данного дома, он будет удовлетворять всем требованиям, какие можно предъявлять в данном обществе к жилищу, пока окружающие его дома также не отличаются большим размерами. Но, если рядом с домиком возвысится дворец, то ваш домик будет уже казаться жалкой хижинкой. Теперь незначительные размеры домика будут свидетельствовать о том, что его обладателю приходится быть очень невзыскательным; и как бы размеры домика ни увеличивались с ходом развития цивилизации, но если соседний дворец увеличивается в той же или еще в большей степени, — обитатель относительно маленького домика будет себя чувствовать в своих четырех стенах все более несчастным, неудовлетворенным и угнетенным.

Сколько-нибудь заметное увеличение заработной платы предполагает быстрый рост производительного капитала. Быстрый рост производительного капитала вызывает столь же быстрый рост богатства, роскоши, общественных потребностей и общественных наслаждений. Поэтому, несмотря на то, что доступные рабочему наслаждения возросли, доставляемое ими удовлетворение понизилось, в виду увеличившихся, недоступных рабочему, наслаждений капиталиста, в виду более высокой ступени общественного развития вообще. Наши потребности и наслаждения возникают из общества; поэтому мы прикладываем к ним общественную мерку, а не измеряем их самими предметами, служащими для их удовлетворения. Именно, общественный характер наших потребностей и наслаждений делает их относительными.

Вообще заработная плата определяется не только количеством товаров, которое я могу получить в обмен за нее. Она имеет различные стороны.

Прежде всего, рабочий получает за свой труд определенное количество денег. Этим ли только количеством денег определяется заработная плата?

В XVI столетии, вследствие открытия рудников в Америке, увеличилось количество обращавшегося в Европе золота и серебра. Поэтому стоимость золота и серебра упала по отношению к стоимости других товаров. Рабочие получали за свой труд то же количество серебряной монеты, что и раньше. Денежная цена их труда осталась та же, но, несмотря на это, их заработная плата понизилась, потому что в обмен за то же количество серебра они стали получать меньшее количество других товаров. Это было одним из обстоятельств, способствовавших возрастанию капитала, усилению буржуазии в XVI столетии.

Возьмем другой случай. Зимой 1847 г., вследствие неурожая, значительно вздорожали самые необходимые средства существования: хлеб, мясо, масло, сыр и т. д. Допустим, что рабочие получали за свой труд то же количество денег, что и прежде. Разве их заработная плата не упала? Конечно, упала. В обмен за те же деньги они стали получать меньше хлеба, мяса и т. д. Их заработная плата упала не потому, что стоимость серебра уменьшилась, а потому, что стоимость средств существования увеличилась.

Предположим, наконец, что денежная цена труда остается неизменной, между тем как все земледельческие и мануфактурные товары упали в цене вследствие применения новых машин, хорошего урожая и пр. За те же деньги рабочие теперь могут купить больше всякого рода товаров. Следовательно, их заработная плата увеличилась потому именно, что денежное выражение ее стоимости осталось неизменным.

Денежная цена труда, номинальная заработная плата не совпадает, следовательно, с реальной заработной платой, т. е. с количеством товаров, которое на самом деле дается в обмен за заработную плату. Поэтому, говоря о повышении и понижении заработной платы, мы должны иметь в виду не одну только денежную цену труда, не одну только номинальную заработную плату.

Но ни номинальная заработная плата, т. е. сумма денег, за которую рабочий продает себя капиталисту, ни реальная заработная плата, т. е. количество товаров, которое он может купить за эти деньги, не исчерпывают всех сторон заработной платы.

Кроме того и прежде всего заработная плата определяется отношением к прибыли, барышу капиталиста, это — относительная заработная плата.

Реальная заработная плата выражает цену труда по отношению к цене остальных товаров; напротив, относительная заработная плата выражает цену непосредственного труда в отношении к цене накопленного труда, относительную стоимость наемного труда и капитала, взаимную стоимость капиталиста и рабочего.

Реальная заработная плата может остаться неизменной, она может даже повыситься и, тем не менее, относительная заработная плата может понизиться. Допустим, что все средства существования упали в цене на две трети, между тем как поденная плата упала только на одну треть, напр., с трех франков до двух. Хотя теперь рабочий может приобрести за эти два франка большее количество товаров, чем прежде за три, — но все-таки его заработная плата уменьшится по отношению к прибыли капиталиста. Прибыль капиталиста (напр. фабриканта) увеличится на один франк, — другими словами, за меньшее количество меновых стоимостей, получаемое от капиталиста, рабочий теперь должен прозвести большее количество меновых стоимостей, чем прежде. Доля капитала увеличилась по отношению к доле труда. Распределение общественного богатства между капиталом и трудом сделалось еще более неравномерным. То же количество капитала отдает в распоряжение капиталиста большее количество труда. Власть класса капиталистов над рабочим классом возросла, общественное положение рабочих ухудшилось, рабочие опустились еще на одну ступень ниже капиталистов.

Каков же общий закон, определяющий взаимное отношение между понижением и повышением заработной платы и прибыли?

Заработная плата и прибыль находятся в обратном отношении друг к другу. Меновая стоимость капитала, прибыль, повышается в той же пропорции, в какой понижается меновая стоимость труда, поденная плата, — и обратно. Прибыль увеличивается в той же степени, в какой уменьшается заработная плата; она уменьшается в той же степени, в какой увеличивается заработная плата.

Нам могут, пожалуй, возразить, что капиталист может получить больше прибыли благодаря выгодному обмену своих продуктов на продукты других капиталистов, благодаря увеличению спроса на его товар, вследствие ли открытия новых рынков или вследствие временного возрастания потребностей на старых рынках и т. п.; что, следовательно, прибыль капиталиста может увеличиться за счет прибыли других капиталистов, одураченных при обмене, —

независимо от повышения или понижения заработной платы, меновой стоимости труда. Могут также возразить, что прибыль капиталиста может увеличиться и вследствие улучшения орудий труда, вследствие нового применения сил природы и т. д.

Но, прежде всего, придется признать, что во всех этих случаях получается тот же результат, хотя и противоположным путем. Правда, прибыль увеличилась не потому, что заработная плата уменьшилась, но зато заработная плата уменьшилась потому, что прибыль увеличилась. За то же количество труда капиталист приобретает большее количество меновых стоимостей, не платя за труд больше прежнего; это значит, что плата за труд падает по отношению к чистому доходу, приносимому трудом капиталисту.

Припомним, к тому же, что, несмотря на колебания товарных цен, средняя цена каждого товара, пропорция, в какой он выменяется на другие товары, определяется *издержками его производства*. Поэтому изменения в величине прибыли отдельных капиталистов неизбежно выравниваются в целом классе капиталистов. Улучшение машин, новое применение в производстве сил природы делают возможным в данное количество времени, с тем же количеством труда и капитала создавать большее количество продуктов, но никак не большее количество меновых стоимостей. Если, благодаря применению прядильной машины, я могу произвести в час вдвое больше пряжи, чем до изобретения этой машины, напр. сто фунтов вместо пятидесяти, то я в обмен за эти сто фунтов, в конце концов, получу не больше товаров, чем прежде за пятьдесят фунтов, потому что издержки производства уменьшились вдвое, потому что с теми же издержками я могу произвести вдвое больше продуктов.

Наконец, в какой бы пропорции класс капиталистов, буржуазия — одной ли страны или всего мира — ни делила в своей среде чистый доход производства, общая сумма чистого дохода в целом всегда равняется сумме стоимостей, прибавленной к накопленному труду непосредственным трудом. Эта общая сумма растет, следовательно, в той же степени, в какой труд увеличивает капитал, т. е. в той же степени, в какой прибыль увеличивается по отношению к заработной плате.

Итак, даже *не выходя за пределы взаимных отношений между капиталом и наемным трудом*, мы видим, что *интересы капитала и интересы наемного труда прямо противоположны*.

Быстрое увеличение капитала равносильно быстрому увеличению прибыли. Прибыль может быстро увеличиваться лишь в том случае, когда меновая стоимость труда, когда относительная зара-

ботная плата столь же быстро уменьшается. Относительная заработная плата может упасть, несмотря на то, что в то же время реальная заработная плата повышается вместе с номинальной заработной платой, денежной стоимостью труда, если только она повышается не в той же степени, в какой повышается прибыль. Если, напр., при благоприятном ходе дел, заработная плата повысится на пять процентов, а прибыль — на тридцать процентов, то относительная заработная плата не *увеличится*, а *уменьшится*.

Если, следовательно, с быстрым ростом капитала увеличивается доход рабочего, то в то же время увеличивается и общественная пропасть, отделяющая рабочего от капиталиста, увеличивается власть капитала над трудом, зависимость труда от капитала.

Сказать, что рабочий заинтересован в быстром возрастании капитала, это только значит сказать следующее: чем быстрее рабочий увеличивает чужие богатства, тем более жирные крохи достаются ему самому, тем больше рабочих могут получить заработок, тем больше может увеличиться число рабочих, рабов капитала.

Итак, мы видим:

Даже самое благоприятное для рабочего класса положение, возможно более быстрое возрастание капитала, как бы оно ни улучшало материальную жизнь рабочих, не уничтожает противоположности между их интересами и интересами буржуа, капиталистов. Прибыль и заработная плата неизменно остаются в обратном отношении друг к другу.

При быстром росте капитала заработная плата может, пожалуй, увеличиться, но несравненно быстрее увеличивается, во всяком случае, прибыль капиталиста. Материальное положение рабочего улучшается, но улучшается за счет его общественного положения. Общественная пропасть, отделяющая его от капиталиста, расширяется.

Наконец:

Самое благоприятное для наемного труда условие есть возможно более быстрый рост производительного капитала; это означает лишь следующее: чем быстрее рабочий класс умножает и увеличивает враждебную ему силу, господствующую над ним чужое богатство, тем благоприятнее становятся условия, на которых ему разрешается продолжать работать над увеличением буржуазного богатства, над усилением могущества капитала, причем он должен довольствоваться возможностью ковать самому себе золотые цепи, которыми буржуазия тащит его за собой.

Но действительно ли *рост производительного капитала* так

неразрывно связан с *повышением заработной платы*, как это утверждают буржуазные экономисты? Нельзя верить им на слово. Нельзя поверить им даже и в том, что чем жирнее капитал, тем лучше откармливаются его рабы. Буржуазия слишком просвещена, слишком расчетлива, чтобы разделять предрассудки феодала, щеголяющего блеском своей челяди. Буржуазия должна быть расчетлива по самым условиям своего существования.

Мы должны поэтому точнее исследовать вопрос:

Как влияет возрастание производительного капитала на заработную плату?

Если производительный капитал буржуазного общества, взятый в целом, возрастает, то происходит *более многостороннее* накопление труда. Число капиталистов и размеры их капиталов увеличиваются. *Увеличение числа капиталистов усиливает конкуренцию между капиталистами. Возрастающие размеры капиталов дают возможность вывести в поле промышленной битвы более сильные армии рабочих, вооруженные еще более гигантскими военными орудиями.*

Один капиталист может разбить другого и завладеть его капиталом лишь в том случае, если он продает дешевле. Чтобы продавать дешевле и не разориться, он должен производить дешевле, другими словами, как можно более увеличить производительность труда. Производительность же труда увеличивается, прежде всего, вследствие *большого разделения труда*, вследствие более всестороннего применения и постоянного улучшения *машин*. Чем многочисленнее армия рабочих, среди которых труд разделен, чем более огромную область захватывают машины, тем больше уменьшаются, относительно, издержки производства, тем производительнее становится труд. Поэтому капиталисты взапуски стараются увеличить разделение труда и расширить область применения машин, вместе с тем увеличивая как можно больше размеры производства.

Если какой-нибудь капиталист, благодаря более значительному разделению труда, применению и улучшению новых машин, более выгодной и более обширной эксплуатации сил природы, получает возможность с тем же количеством непосредственного или накопленного труда производить большее количество продуктов, товаров, чем его конкуренты; если, напр., за то же рабочее время, в продолжение которого его конкуренты ткнут поларшина холста, он может производить целый аршин, — то как поступит этот капиталист?

Он мог бы продавать поларшина холста по прежней цене; но в таком случае он не мог бы вытеснить своих конкурентов с рынка и увеличить сбыт своего товара. А между тем потребность его в сбыте

возросла в той же степени, в какой увеличились размеры его производства. Применение усовершенствованных и более дорогих средств производства *дает* ему, правда, *возможность* продавать товар дешевле, но в то же время *вынуждает* его продавать больше товаров, обеспечить за собой гораздо *большой* сбыт; поэтому наш капиталист будет продавать поларшина холста дешевле, чем его конкуренты.

Но капиталист не станет продавать целый аршин холста по той же цене, по какой его конкуренты продают поларшина, несмотря на то, что производство целого аршина стоит ему не дороже, чем другим производство поларшина. Продавая он по такой дешевой цене, он не получил бы никакой прибыли, — он выручил бы только издержки производства. И если бы его доход все-таки увеличился, то увеличился бы лишь потому, что он пустил в оборот *большой* капитал, а не потому, что этот капитал принес более высокую прибыль, чем капиталы конкурентов. К тому же, он может достигнуть желаемой цели, продавая товар лишь на несколько процентов дешевле, чем его конкуренты. *Продавая дешевле*, он их вытесняет с рынка или, по крайней мере, отвоевывает у них часть их сбыта. Припомним, наконец, что рыночная цена всегда *выше или ниже издержек производства*, смотря по тому, сбывается ли данный товар в благоприятный или неблагоприятный промышленный сезон. Капиталист, применивший новые, более плодотворные средства производства, будет продавать свой товар дороже своих действительных издержек производства на большее или меньшее число процентов, сообразуясь с тем, стоит ли рыночная цена аршина холста выше или ниже обычных издержек производства.

Но даже *привилегия* нашего капиталиста недолговечна: другие капиталисты наперерыв спешат ввести те же машины, то же разделение труда, увеличивая при этом размеры производства в той же или еще в большей степени, — и эти нововведения становятся столь общими, что цена холста падает *ниже не только старого уровня издержек производства, но и нового их уровня*.

Капиталисты оказываются, следовательно, по отношению друг к другу в том же положении, в каком они находились *до* введения новых средств производства, и если они могут благодаря этим средствам производства за ту же цену доставлять двойное количество продуктов, то они *теперь* вынуждены продавать это двойное количество по более *низкой* цене, чем прежде. С новым уровнем издержек производства повторяется старая история: снова вводится большее разделение труда, больше машин, снова растут размеры

производства и снова конкуренция приводит к той же реакции против наличного результата.

Мы видим, таким образом, что способ производства, средства производства непрерывно изменяются, революционизируются, что *разделение труда неизбежно влечет за собой большее разделение труда, применение машин — еще более широкое применение машин, производство в крупном масштабе — производство в еще более крупном масштабе.*

Таков закон, который снова и снова выбивает буржуазное производство из проторенной колеи и принуждает капитал развивать дальше производительные силы труда, — *именно потому*, что он их раньше развивал; таков закон, который не дает капиталу ни минуты отдыха и постоянно нашептывает ему: Вперед! Вперед!

Это — тот самый закон, который в пределах периодических колебаний торговли неизбежно приводит цену товара *к уровню издержек производства.*

Какие бы могучие средства производства ни применял капиталист, конкуренция сделает их применение всеобщим, и с этого момента единственным следствием большей производительности капитала оказывается лишь то, что капиталисты в состоянии *за ту же цену* доставлять в 10, 20, 100 раз больше продуктов, чем прежде. Но теперь он должен продать, быть может, в 1000 раз больше, чтобы выиграть на количестве сбытого продукта то, что он теряет на его низшей продажной цене; массовая продажа необходима ему теперь не только для того, чтобы получить прибыль, а для того, чтобы возместить издержки производства, потому что самые орудия производства становятся, как мы видели, все дороже. А так как массовая продажа является теперь вопросом жизни не для него одного, но и для его соперников, то снова завязывается старая борьба, *тем более беспощадная, чем производительнее изобретенные уже средства производства. Разделение труда и применение машин будут, следовательно, развиваться дальше в несравненно большей степени.*

Каково бы ни было могущество примененных средств производства, конкуренция старается лишить капитал золотых плодов этого могущества, низводя цену товара до уровня издержек производства, делая, таким образом, более дешевое производство, доставку все большего количества продуктов за старую цену, обязательным законом именно по мере того, как производство удешевляется, т. е. по мере того, как то же количество труда может производить больше продуктов. Таким образом, капиталист своими собственными усилиями не выигрывает ничего, кроме обязательства производить

в продолжение того же рабочего времени больше товаров, — словом, ничего, кроме *более тяжелых условий для извлечения прибыли из своего капитала*. Вот почему капиталист постоянно старается пережить конкуренцию, — которая преследует его со своим законом издержек производства и направляет против него самого всякое оружие, выкованное им против своих соперников, — неутомимо торопясь вводить новые, более дорогие, но зато дешевле производящие машины и новое разделение труда, прежде чем конкуренция успеет превратить эти новые средства производства в устаревшие.

Представим себе теперь это лихорадочное возбуждение одновременно *на всем всемирном рынке*, — и мы поймем, каким образом рост, накопление и концентрация капитала влекут за собой беспрерывное, бешено-стремительное развитие разделения труда, применения новых машин и усовершенствования старых, при все более и более исполинских размерах производства.

Как же влияют эти обстоятельства, неразрывно связанные с ростом производительного капитала, на определение заработной платы?

Большее *разделение труда* делает одного рабочего способным выполнить работу пяти, десяти, двадцати человек, усиливает, стало быть, конкуренцию между рабочими в пять, десять, двадцать раз. Конкуренция между рабочими выражается не только в том, что один рабочий продает себя дешевле другого, но и в том, что *один* рабочий выполняет работу пяти, десяти, двадцати человек; и к этого рода конкуренции принуждает рабочих *разделение труда*, вводимое и все более и более развиваемое капиталом.

Далее. В той же степени, в какой *разделение труда* увеличивается, труд *упрощается*. Особая ловкость рабочего утрачивает всякую цену. Он превращается в простую однообразную производительную силу, от которой не требуется ни физического, ни умственного напряжения. Его труд становится доступным для всех трудом. Поэтому конкуренты набрасываются на него со всех сторон. Припомним к тому же, что чем проще какая-нибудь работа, чем легче подготовка к ней; чем меньше издержек производства требуется, чтобы ее усвоить, тем ниже падает заработная плата, потому что заработная плата, как и цена всех других товаров, определяется издержками производства.

Следовательно, конкуренция между рабочим усиливается, а заработная плата падает в той же степени, в какой труд приносит все меньшие удовлетворения и вызывает все большие отвержения. Чтобы отстоять прежнюю величину своей заработной платы, рабочий начинает больше работать, работая больше часов в день или доставляя

больше продуктов в течение того же рабочего времени. Погоняемый нуждою, он, таким образом, еще больше усиливает губительные последствия разделения труда. В результате, *он получает тем меньшую плату, чем больше он работает*, по той простой причине, что, чем больше он работает, тем более сильную конкуренцию он делает своим товарищам и поэтому тем более сильную конкуренцию вызывает и с их стороны, вынуждая их предлагать свой труд на таких же невыгодных условиях, как и он. В последнем счете он, стало быть, *конкурирует с самим собою — как с членом рабочего класса*.

Машины производят то же самое действие в гораздо более значительных размерах, замещая искусных рабочих — неискусными, мужчин — женщинами, взрослых — детьми, выбрасывая на улицу целую массу ремесленников, при первом своем появлении, и вытесняя с фабрик отдельные группы рабочих, по мере своего дальнейшего развития, улучшения, усовершенствования. Выше мы изобразили в беглых чертах промышленную войну капиталистов между собой; эта война имеет ту особенность, что победа достается в ней не столько благодаря увеличению рабочей армии, сколько благодаря ее уменьшению. Полководцы, капиталисты спорят друг с другом, кто сможет отпустить большее число промышленных солдат.

Правда, экономисты рассказывают нам, что рабочие, вытесненные машинами, находят заработок в *новых* отраслях промышленности.

Они не осмеливаются прямо утверждать, что те же самые рабочие, которых вытесняют машины, находят заработок в новых отраслях труда. Факты слишком громко вопиют против такой лжи. Собственно говоря, они утверждают только, что новые пути заработка открываются для *других частей рабочего класса*, напр., для той части молодого рабочего поколения, которая готовилась уже вступить в исчезнувшую отрасль промышленности. Это, конечно, большое утешение для погибших рабочих. Господам капиталистам не будет недостатка в свежих, годным для эксплуатации, мясе и крови, — и пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Этими рассуждениями буржуа утешают скорее самих себя, чем рабочих. Ведь, если бы машины уничтожили весь класс наемных рабочих, — какие ужасные времена настали бы для капитала, который без наемного труда перестает быть капиталом!

Допустим, однако, что как рабочие, вытесненные машинами непосредственно, так и вся та часть молодого поколения, которая рассчитывала уже на заработок в данной отрасли, *находят себе новое занятие*. Можно ли ожидать, что новое занятие будет так же хо-

рошо оплачиваться, как потерянное занятие? *Это противоречило бы всем законам экономии.* Мы видели, как развитие современной промышленности ведет к постоянной замене сложных, высших занятий упрощенными, низшими.

Возможно ли, стало быть, чтобы рабочие, выброшенные машинами из одной отрасли промышленности, нашли убежище в другой иначе, как под условием *низшей, худшей платы?*

Как на исключение, указывали на рабочих, занятых изготовлением самих машин. При этом рассуждали так: как только в промышленности требуется и потребляется больше машин, число их неизбежно должно увеличиться, т. е. должно увеличиться производство машин, а вместе с тем и число занятых в этом производстве рабочих; рабочие же, занятые в этой отрасли промышленности, принадлежат к числу искусных, более того — образованных рабочих

Это рассуждение, уже и прежде верное лишь наполовину, потеряло всякую тень правды с 1840 г., — с тех пор, как для изготовления машин, точно так же, как для изготовления хлопчатобумажной пряжи, все более и более стали употребляться машины, так что рабочие машиностроительных заводов, на ряду с весьма совершенными машинами, могут играть роль разве лишь весьма несовершенных машин.

Но вместо одного вытесненного машиной мужчины на фабрике находят занятие, быть может, *трое* детей и *одна* женщина, — восклицают буржуа. Но разве заработная плата не должна была быть достаточною для прокормления трех детей и одной женщины? Разве минимум заработной платы не должен был быть достаточноым для поддержания жизни и размножения рабочего класса? Что же доказывают эти излюбленные буржуазные фразы? Лишь то, что теперь тратится вчетверо больше рабочих жизней, чем прежде, для того, чтобы обеспечить существование *одной* рабочей семьи.

Подведем итог всему сказанному: *чем более возрастает производительный капитал, тем более развивается разделение труда и применение машин. Чем более развивается разделение труда и применение машин, тем сильнее становится конкуренция между рабочими, тем более уменьшается их заработная плата.*

К тому же рабочий класс рекрутируется еще и из *ищущих слоев общества*: в ряды пролетариата переходит масса мелких промышленников и мелких рантье, которые принуждены немедленно же вынести на рынок свои руки рядом с руками рабочих. Таким образом, лес протянутых и ищущих работы рук становится все гуще, а сами руки — все более тощими.

Само собой понятно, что мелкий промышленник не может выдержать борьбу, одним из первых условий которой является постоянное расширение размеров производства, другими словами — обладание средствами крупного, а не мелкого промышленника.

Не нуждается, полагаем, ни в каких дальнейших пояснениях и то обстоятельство, что проценты с капитала уменьшаются в той же степени, в какой возрастает капитал, в какой увеличиваются его масса и численность; что мелкий рантье поэтому лишается возможности существовать на свою ренту и должен обратиться к промышленности, т. е. пополнить собою ряды мелких промышленников и, вместе с тем, увеличить число кандидатов на звание пролетария.

Наконец, в той же степени, в какой вышеописанный ход развития вынуждает капиталистов эксплуатировать существующие уже исполинские средства производства в более широких размерах и приводить для этого в движение все пружины кредита, — в той же степени учащаются землетрясения, от которых торговый мир может спастись, лишь принося в жертву подземным богам часть богатства, продуктов и даже производительных сил, — словом, учащаются *кризисы*. Они учащаются и усиливаются уже потому, что по мере увеличения массы продуктов, а следовательно, по мере усиления потребности в широком сбыте, — все более ограничивается возможность расширения всемирного рынка, все более уменьшается число рынков, не затронутых еще торговлею, так как каждый из предшествующих кризисов подчинил всемирной торговле новые или до того времени лишь поверхностно затронутые ею рынки. Капитал *живет*, однако, не только на счет труда: как знатный варвар-рабовладелец, он уносит с собой в могилу трупы своих рабов, — целые гекатомбы рабочих, погибающих во время кризисов. Мы видим, таким образом, что *быстрый рост капитала вызывает несравненно более быстрое усиление конкуренции между рабочими, другими словами — ведет к тем большему относительному уменьшению источников заработка, средств существования рабочего класса; а между тем быстрый рост капитала является самым благоприятным условием для наемного труда.*

К. МАРКС

РЕЧЬ О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ

РЕЧЬ О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ. ¹

Господа!

Отмена хлебных законов в Англии есть величайший триумф свободной торговли в XIX веке. Всюду, где фабриканты говорят о свободной торговле, они имеют в виду главным образом торговлю хлебом и вообще сырыми материалами. Гнусно облагать пошлинами ввоз иностранного хлеба, это значит спекулировать на го-лоде народа.

Дешевый хлеб, высокая заработная плата,— cheap food, high wages,— вот единственная цель, для достижения которой английские приверженцы свободной торговли затратили миллионы; их энтузиазм сообщился уже их братьям на континенте. Вообще, когда требуют свободы торговли, то требуют ее для улучшения положения рабочих классов.

Но странное дело! Народ, которому во что бы то ни стало хотят доставить дешевый хлеб, оказывается весьма неблагодарным. К дешевому хлебу относятся теперь в Англии с таким же недоверием, как к дешевому правительству — во Франции. В людях полных самоотвержения, в Боуринге, в Брайте и комп., народ видит своих злейших врагов и самых бесстыдных лицемеров.

Всякому известно, что борьба между либералами и демократами в Англии есть в то же время борьба между приверженцами свободной торговли и чартистами.

Посмотрим же, каким образом английские сторонники свободной торговли убеждали народ в благородстве намерений, руководящих их действиями.

Они говорили фабричным рабочим:

Пошлина на хлеб есть налог на заработную плату, уплачиваемый вами сеньерам, крупным землевладельцам, этим средневековым аристократам; если ваше положение в высшей степени печально, то вы обязаны этим дороговизне предметов первой необходимости.

С своей стороны, рабочие спрашивали фабрикантов:

¹ (Произнесена 9 января 1848 г. в демократическом обществе в Брюсселе.)

— Чему приписать то обстоятельство, что в течение последних тридцати лет, когда развитие нашей промышленности достигло наивысшего пункта, наша заработная плата понизилась в гораздо большей пропорции, чем повысилась цена хлеба.

Налог, который мы, по вашим словам, платим землевладельцам, достигает для рабочего приблизительно трех пенсов в неделю; заработная же плата ткачей при ручных станках в период времени от 1815 до 1842 г. упала с 28 до 5 шиллингов в неделю; недельная плата ткачей, работающих на машинах, с 1823 по 1843 г. понизилась с 20 до 8 шиллингов.

В течение всего этого времени налог, платимый нами землевладельцам, ни разу не превышал 3 пенсов. Далее: что говорили вы нам в 1834 г., когда хлеб был дешев, а промышленность находилась в цветущем состоянии? «Вы несчастны потому, что родите слишком много детей, ваши браки оказываются плодовитее, чем ваши ремесла».

Это подлинные слова, с которыми вы к нам тогда обращались, и вы фабриковали новые законы о бедных, вы строили новые рабочие дома, эти бастилии для пролетариев.

Фабриканты отвечали на это:

— Вы правы, господа рабочие; не одна только цена хлеба, но кроме того также и конкуренция между ищущими труда рабочими руками определяет высоту заработной платы.

Но обратите внимание на то обстоятельство, что наша почва состоит лишь из скал и песков. Вы не думаете, конечно, что хлеб можно сеять в цветочных горшках. Если бы,— вместо того, чтобы терять самый капитал и свой труд на обработку совершенно бесплодной почвы, — если бы мы совсем оставили земледелие и посвятили себя исключительно промышленности, то вся Европа вынуждена была бы закрыть свои фабрики, а Англия представляла бы собою один большой фабричный город, чьей деревней была бы вся остальная Европа.

Этот разговор фабриканта с его собственным рабочим прерывает мелкий лавочник, котсрый, в свою очередь, требует ответа:

— Если мы отменим хлебные законы, то хотя мы и подорвем свое земледелие, но этим мы еще не заставим другие страны обращаться с заказами на наши фабрики и закрывать свои собственные.

Каков будет результат? Я потеряю своих деревенских покупателей, а внутренняя торговля лишится своего рынка.

Фабрикант поворачивается спиною к рабочему и отвечает лавочнику:

— Что касается последнего, то лишь позвольте нам действовать. Раз будет отменена хлебная пошлина, мы станем привозить из-за границы более дешевый хлеб. Тогда мы понизим заработную плату, которая одновременно с этим повысится в других странах, снабжающих нас хлебом.

Таким образом, кроме тех выгод, которыми мы пользуемся уже в настоящее время, к нашим услугам будет более низкая заработная плата; с помощью всех этих преимуществ мы заставим континент покупать у нас промышленные изделия.

Но вот в спор вмешиваются фермер и сельский работник.

— А мы-то, — восклицают они, — что же будет с нами? Неужели мы должны способствовать произнесению смертного приговора тому самому земледелию, которое нас кормит? Неужели мы должны дозволить, чтобы у нас вырывали из-под ног почву?

Вместо всякого ответа, Anti-Corn Law League (Лига для отмены хлебных законов) довольствуется назначением премии за три лучшие сочинения по вопросу о благотворном влиянии отмены хлебных законов на английское земледелие.

Эти премии достались гг. Гопу, Морзу и Грэгу, произведения которых распространялись в деревнях в тысячах экземпляров.

Один из получивших премию всеми силами старался доказать, что от ввоза иностранного хлеба не пострадают ни фермер, ни сельский рабочий, а единственно землевладелец.

— Английский фермер не должен бояться отмены хлебных законов, — восклицает он, — потому что ни одна страна не может производить такого хорошего и такого дешевого хлеба, какой производит Англия.

Таким образом, если бы цена хлеба и понизилась, то это не повредило бы вам, так как подобное положение отразилось бы на ренте, которая стала бы меньше, но никоим образом оно не коснулось бы прибыли и заработной платы, которые удержались бы на прежнем уровне.

Второй из получивших премию авторов, г-н Морз, утверждает, наоборот, что следствием отмены хлебных законов должно быть возрастание хлебных цен. С бесконечными усилиями старается он доказать, что покровительственная пошлина никогда не может обеспечить достаточно высокой цены на хлеб.

В доказательство своего положения он ссылается на то обстоятельство, что хлебные цены значительно повышались в Англии всякий раз, когда ввозился иностранный хлеб, и что цены эти обыкновенно падали, когда ввоз уменьшался. Автор забывает, что

не ввоз хлеба был причиною высоких цен, а высокие цены были причиною ввоза.

И в противоположность утверждениям своего награжденного также премией товарища он уверяет, что каждое повышение хлебных цен идет на пользу фермера и работника, а не землевладельца.

Третий автор, г-н Грэг, крупный фабрикант, обращающийся в своей книге к классу крупных фермеров, не мог удовлетвориться подобными глупостями. Его язык более научен.

Он признает, что хлебные законы лишь потому повышают ренту, что они вызывают повышение хлебных цен, а оно вызвано ими лишь благодаря тому, что они вынуждают капитал обращаться к почве низшего качества, что можно объяснить просто.

По мере того, как возрастает народонаселение, приходится, — если нет привоза в страну заграничного хлеба, — обращаться к менее плодородным участкам, обработка которых требует больших затрат, а продукты оказываются, в результате, более дорогими.

Так как при растущем спросе сбыт произведенного таким образом хлеба обеспечен, то цена его необходимым образом поднимается до уровня цены того продукта, который получен с наименее плодородных участков. Разность между этой ценой и издержками производства хлеба на лучших участках образует собою ренту.

И если с отменю хлебных законов падет цена хлеба, а следовательно и рента, то это происходит потому, что менее плодородная почва перестает подвергаться обработке. Отсюда следует, что понижение ренты необходимо влечет за собою разорение некоторой части фермеров.

Эти замечания были необходимы для понимания г-на Грэга.

Мелкие фермеры, — говорит он, — которые не в состоянии будут оставаться при своих земледельческих занятиях, найдут источник существования в промышленности. Что же касается крупных фермеров, то они останутся при этом в выигрыше. Землевладельцы вынуждены будут или продавать им по очень дешевой цене свои участки, или заключать с ними арендные контракты на очень долгие сроки. Это даст крупным фермерам возможность прилагать к земле большие капиталы, прибегать в более широких размерах к машинной обработке и сберегать, таким образом, рабочую силу человека, которая, впрочем, в свою очередь будет дешевле благодаря всеобщему понижению заработной платы как необходимому следствию отмены хлебных законов.

Доктор Боуринг придал всем этим доказательствам религиозную санкцию, воскликнув на одном публичном митинге: «Иисус

Христос есть свободная торговля, свободная торговля есть Иисус Христос!»

Понятно, что все это лицемерие вовсе не имело целью сделать дешевый хлеб менее горьким для рабочих.

Да и как поверили бы рабочие внезапной филантропии фабрикантов, тех самых людей, которые продолжали вести упорную борьбу против десятичасового билля, предложенного для ограничения рабочего дня десятью часами вместо двенадцати!

Чтобы дать вам понятие о человеколюбии этих фабрикантов, я напомним вам, господа, о фабричных правилах, принятых на всех фабриках.

Каждый фабрикант имеет для своего частного обихода настоящий уголовный кодекс, устанавливающий наказания за все умышленные или неумышленные проступки; рабочий платит, напр., столько-то, если он имел несчастье присесть на стуле, если он будет шушукаться, разговаривать, улыбаться, если он хотя бы на несколько минут опоздает, если сломается какая-либо часть машины, если качество его продуктов не соответствует установленным требованиям и т. д., и т. д. Штрафы всегда превышают действительно причиненный рабочим вред. Чтобы по возможности облегчить рабочим навлечение на себя штрафов, фабричные часы переводятся вперед, выдается плохой материал, из которого рабочий должен приготовить хороший продукт. Мастер, не обладающий достаточной ловкостью для увеличения числа нарушений фабричных правил, обыкновенно увольняется.

Вы видите, господа, что это частное законодательство создано специально для того, чтобы плодить проступки, а проступки плодятся для того, чтобы получать деньги. Таким образом, фабрикант всеми средствами старается понизить номинальную плату и эксплуатировать даже такие случайности, за которые рабочий не может быть ответстен.

И эти-то фабриканты являются филантропами, они стараются убедить рабочих в своей готовности затратить огромные суммы денег единственно и исключительно для улучшения положения этих самых рабочих.

Так, с одной стороны, они самым мелочным образом урезают плату рабочего посредством своих фабричных правил, с другой стороны, они приносят огромнейшие жертвы для того, чтобы повысить эту плату с помощью *Anti-Corn Law League*.

Они строят дорогие дворцы, в которых, как известно, помещается управление Лиги, они посылают во все концы Англии целую

армию миссионеров для проповеди религии свободной торговли. Они печатают и бесплатно раздают целые тысячи брошюр, чтобы разъяснить рабочим их собственные интересы. Они расходуют огромные суммы для привлечения на свою сторону прессы. Они организуют огромный административный аппарат для руководства движением в пользу свободной торговли, и пускают в ход все дары своего красноречия на публичных митингах. Именно на одном из этих митингов один рабочий воскликнул:

— Если бы землевладельцы продавали наши кости, то вы, фабриканты, первые поспешили бы купить их и отправить на паровые мельницы для выделки муки.

Английские рабочие очень хорошо поняли значение борьбы между землевладельцами и капиталистами. Они очень хорошо знали, что понижение цены хлеба нужно было капиталистам лишь для уменьшения заработной платы и что прибыль на капитал возросла бы настолько же, насколько упала бы рента.

Взгляд Рикардо, этого апостола английских фритредеров, самого замечательного экономиста XIX столетия, совершенно совпадает в этом случае с мнением рабочих.

Он говорит в своем знаменитом труде о политической экономии: «Если, вместо того, чтобы производить хлеб у себя дома, мы открыли бы новый рынок, на котором мы могли бы покупать его по более дешевой цене, — то в таком случае понизилась бы заработная плата и возросла бы прибыль. Удешевление продуктов сельского хозяйства понижает заработную плату не только земледельческих рабочих, но также и всех тех, которые заняты в промышленности и торговле».

И не думайте, господа, что рабочий, получавший прежде пять франков, может без всякого для себя убытка получать четыре франка при более дешевой цене на хлеб.

Разве не уменьшилась его плата *по отношению* к прибыли?

И не ясно ли отсюда, что его социальное положение ухудшилось сравнительно с положением капиталиста? Но кроме того он несет еще другую фактическую потерю.

Пока цена хлеба, — а с нею и заработная плата, — стояла на более высоком уровне, рабочему достаточно было небольшой экономии в употреблении хлеба, чтобы иметь возможность удовлетворять другие потребности. Но как скоро цена хлеба, а следовательно и заработная плата, испытала очень значительное понижение, он уже ничего не может сберегать на хлебе для покупки других предметов потребления.

Английские рабочие дали почувствовать сторонникам свободной торговли, что их не могут сбить с толку все увертки и вся ложь этих последних; и если, тем не менее, они присоединялись к ним в борьбе против землевладельцев, то решились они на это с целью разрушить последние остатки феодализма, чтобы иметь потом дело лишь с одним врагом. Рабочие не обманулись в своих расчетах; чтобы отомстить фабрикантам, землевладельцы перешли на сторону рабочего класса в борьбе за десятичасовой билль, которого напрасно требовали рабочие в течение тридцати лет и который был проведен немедленно после отмены хлебных законов.

Когда на конгрессе экономистов доктор Боуринг предъявил длинный список того количества скота, ветчины, сала, кур и т. д., которое было ввезено в Англию, по его словам, для прокормления рабочего класса, то он забыл, к сожалению, прибавить, что в то же самое время рабочие Манчестера и других фабричных городов выбрасывались на улицу вследствие наступающего кризиса.

Вообще, в политической экономии никогда нельзя строить общих законов на основании цифр, относящихся к одному только году. Нужно всегда брать средние цифры за шесть или семь лет, т. е. за тот промежуток времени, в течение которого современная промышленность совершает свой неизбежный круговорот, проходя через различные фазы процветания, перепроизводства, застоя, кризиса.

Само собою понятно, что если падает цена всех товаров,— а ее падение есть необходимое следствие свободы торговли,— то я за каждый франк могу приобрести гораздо более вещей, чем прежде. Понятно также, что франк рабочего стоит ровно столько же, сколько всякий другой франк. В этом смысле свободная торговля очень выгодна для рабочих. Но с этой выгодой связано одно маленькое неудобство, а именно: прежде чем обменять свой франк на другие товары, рабочий *должен совершить обмен своего труда на капитал*. Если бы, совершая этот обмен, он попрежнему продолжал получать франк за данное количество труда, между тем как понизилась бы цена всех других товаров, то он всегда оставался бы в выгоде при такой сделке. Трудная сторона вопроса заключается вовсе не в доказательстве того положения, что при падении товарных цен за те же самые деньги можно купить большее количество товаров.

В своих рассуждениях о цене труда экономисты всегда имеют в виду тот момент, когда труд обменивается на другие товары, но они совершенно оставляют без внимания другой момент, — когда совершается обмен труда на капитал. Если приготавливающая товары машина может быть пущена в ход с меньшими издержками, то равным

образом станут дешевле и те вещи, называемые рабочими, которые необходимы для поддержания этой машины. Если все товары станут дешевле, то понизится в цене и труд, который также представляет собою товар, и, как мы увидим ниже, этот товар-труд понизится относительно гораздо более, чем все другие товары. И если рабочий все таки будет полагаться на аргументацию экономистов, то он найдет, что франк уменьшился в его кармане, так что ему остается теперь не более пяти су.

Экономисты возражат на это:

Пусть так, мы допускаем, что конкуренция между рабочими, которая не уменьшится, конечно, при господстве свободной торговли, очень скоро приведет заработную плату в соответствие с более низкой ценою товаров. Но, с другой стороны, низкая цена товаров будет способствовать увеличению потребления; увеличившееся потребление вызовет расширение производства, за которым последует возрастание спроса на рабочую силу, а возрастание спроса на рабочую силу поведет за собою повышение заработной платы.

Вся эта аргументация сводится к тому положению, что свободная торговля увеличивает производительные силы. Когда промышленность возрастает, когда богатство, производительные силы, словом — производительный капитал увеличивает спрос на труд, то повышается цена труда, а следовательно и заработная плата. Возрастание капитала есть самое благоприятное условие для рабочего. С этим нельзя не согласиться. Если капитал находится в застое, то промышленность не только останавливается, но идет назад, и рабочий оказывается первой жертвой такого явления. Он гибнет прежде капиталиста. Но, спрашивается, какова же будет его судьба в случае возрастания капитала, т. е. при этом, как мы сказали, *наиболее благоприятном* для рабочего условия? Ему и тогда предстоит гибель. Возрастание производительного капитала связано с концентрацией капиталов и скоплением всех их в немногих руках. Следствием централизации капиталов является большее разделение труда и более значительное применение машин в производстве. Большее разделение труда лишает значения профессиональное искусство рабочего; заменяя это профессиональное искусство таким родом труда, к которому каждый способен без особенной подготовки, — разделение труда увеличивает конкуренцию между рабочими.

Эта конкуренция возрастает тем более, что благодаря разделению труда один рабочий получает возможность исполнить работу, для которой прежде нужно было три человека. Употребление машин приводит к тому же результату, и притом в еще большей степени.

Рост производительного капитала требует от капиталистов-промышленников постоянного расширения производительных средств и этим разоряет мелких промышленников, толкая их в ряды пролетариата. Далее, так как по мере накопления капиталов понижается уровень процента, то мелкие рантье, не будучи более в состоянии прожить на свою ренту, оказываются вынужденными обратиться к промышленному труду и тем увеличивать число пролетариев.

Наконец, чем больше растет производительный капитал, тем более обнаруживается необходимость производить для рынка, потребности которого не известны. Чем более производство опережает потребности, тем более предложение стремится увеличить спрос, и тем более возрастает число и интенсивность кризисов. Но каждый кризис, с своей стороны, ускоряет централизацию капиталов и увеличивает ряды пролетариата.

Следовательно, чем более растет производительный капитал, тем более усиливается конкуренция между рабочими, и притом в гораздо более сильной степени. Плата за труд уменьшается *для всех*, для некоторых же увеличивается и тяжесть работы.

В 1829 г. в Манчестере было 1 088 прядильщиков, которые работали на 36 фабриках. В 1841 г. прядильщиков было только 448, и эти рабочие пускали в ход на 53 353 веретен больше, чем 1 088 прядильщиков в 1829 г. Если бы спрос на рабочие руки увеличивался в той же пропорции, как и производительные силы, то число рабочих должно было бы возрасти до 1 848; значит, технические усовершенствования оставили без работы 1 100 рабочих.

Мы наперед знаем ответ экономистов. Эти оставшиеся без работы люди найдут себе другое занятие, говорят они. Г-н доктор Боуринг не преминул привести этот аргумент на конгрессе экономистов. Но он не преминул также опровергнуть самого себя.

В 1838 г. г-н Боуринг произнес в Палате общин речь о 50 000 лондонских ткачей, которые давно уже голодают, не будучи в состоянии найти это новое занятие, обещанное им в будущем сторонниками свободной торговли.

Выслушаем наиболее замечательные места этой речи г-на доктора Боуринга.

«Нищета ткачей, занятых при ручных станках, — говорит он, — есть неизбежная судьба всякой работы, которой легко обучиться и которая ежеминутно может быть заменена более дорогими средствами производства. Так как в этом случае конкуренция между рабочими чрезвычайно велика, то малейшее уменьшение спроса вызывает кризис. Эти ткачи находятся как бы на крайней границе

человеческого существования. Еще шаг, — и их существование становится невозможным. Достаточно самого ничтожного толчка, чтобы обречь их на гибель. Прогресс техники, который все более и более устраняет ручной труд, неизбежно ведет за собою много временных бедствий в переходную эпоху. Национальное благосостояние может быть куплено лишь ценою бедствий некоторых лиц. Развитие промышленности совершается лишь за счет отсталых, и из всех изобретений именно паровой ткацкий станок принес наиболее вреда ручным ткачам. Уже теперь в производстве многих изделий, приготовлявшихся прежде с помощью ручного труда, ткачи совершенно сбиты с позиций, но им предстоит еще поражение во многих отраслях, донныне употребляющих ручной труд.

«У меня в руках переписка генерал-губернатора Ост-Индии с Ост-индской компанией. Эта переписка касается ткачей Даккского округа. Губернатор говорит в своих письмах следующее: «Несколько лет тому назад Ост-индская компания покупала от 6 до 8 миллионов штук хлопчатобумажной ткани, приготовлявшейся на местных ручных станках. Спрос падал постоянно и дошел до миллиона штук. В настоящую же минуту он почти совсем прекратился. Более того. В 1800 г. Северная Америка получила из Индии почти 800 000 штук хлопчатобумажной ткани. В 1830 г. она вывозила уже не более 4 000 штук. Наконец, в 1800 г. до миллиона штук ткани отправлялось в Португалию. В 1830 г. Португалия получала не более 20 000 штук.

«Известия о бедствиях индийских ткачей ужасны; и что же их вызвало? — Появление на рынке английских продуктов, производство хлопчатобумажной ткани с помощью парового ткацкого станка.

«Очень большое число ткачей погибло в нищете. Остальные обратились к другим занятиям, и именно к сельским. Не иметь возможности найти новое занятие — значит быть осужденным на смерть. В настоящее время Даккский округ наводнен английскими тканями и пряжей. Даккский муслин, известный всему свету своей красотой и прочностью, также исчез благодаря конкуренции английских машин. Во всей истории промышленности трудно указать пример бедствий, подобных тем, которые должны были, таким образом, испытывать целые классы в Ост-Индии».

Речь г-на доктора Боуринга тем замечательнее, что упомянутые в ней факты совершенно верны, а фразы, которыми он старается прикрыть их, являются тем же лицемерием, что и все речи приверженцев свободной торговли. Он изображает рабочего в виде средств

DISCOURS

SUR LA QUESTION

DU LIBRE ÉCHANGE,

PRONONCÉ A

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE

DE BRUXELLES,

Dans la Séance Publique du 9 Janvier 1848,

PAR CHARLES MARX.

Imprimé aux frais de l'Association Démocratique.

Messieurs,

L'abolition des lois céréales en Angleterre est le plus grand triomphe que le libre échange ait remporté au 19^{me} siècle. Dans tous les pays où les fabricants parlent de libre échange ils ont principalement en vue le libre échange des grains et des matières premières en général. Frapper de droits protecteurs les grains étrangers, c'est infâme, c'est spéculer sur la famine des peuples.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА БРОШЮРЫ «РЕЧЬ О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ».

производства, которые должны быть заменены другими, более дешевыми средствами. Он рассуждает так, как будто тот род труда, о котором он говорит, представляет собою совершенно исключительный труд, а истребляющая ткачей машина — столь же исключительную машину. Он забывает, что нет ни одной отрасли ручного труда, которая могла бы не испытать со временем судьбу ткацкого промысла.

«В действительности, постоянной целью и стремлением каждого механического усовершенствования является полное устранение нужды в человеческом труде или понижение его цены путем замены мужского труда — женским и детским, труда искусных ремесленников — трудом простых чернорабочих.

«В большей части прядилен, которые работают при помощи чесальной машины, по-английски *throstb mill*, прядением занимаются исключительно девочки 16 лет и моложе. Введение автоматической мюльной машины вместо простой машины «дженни» вело за собою увольнение большей части взрослых прядильщиков и удержание лишь детей и подростков».

Эти слова самого страстного приверженца свободной торговли, г-на доктора Юра, могут служить хорошим дополнением к признаниям г-на доктора Боуринга. Г-н Боуринг говорит о некоторых индивидуальных бедствиях и сообщает нам в то же время, что эти индивидуальные бедствия осуждают на гибель целые классы; он говорит о временных бедствиях переходной эпохи и в то же время не скрывает, что эти бедствия переходного времени были для большинства переходом от жизни к смерти, а для остальных — переходом от лучшего положения к худшему. Замечая потом, что бедствия этих рабочих неразлучны с прогрессом промышленности и необходимы для национального благосостояния, он просто-напросто признает, что необходимым условием благосостояния буржуазного класса являются бедствия рабочих.

Утешение, с которым обращается г-н Боуринг к погибающим при этом рабочим, и всю созданную приверженцами свободной торговли теорию компенсации можно выразить так:

«Вы, тысячи гибнущих рабочих, не унывайте. Вы можете умирать спокойно. Ваш класс не вымрет. Он всегда будет достаточно многочислен для того, чтобы капитал мог истреблять его, не опасаясь за полное его уничтожение. Да и как нашел бы капитал полезное для себя употребление, если бы он не позаботился о том, чтобы обеспечить себе материал для эксплуатации рабочих, которых он мог бы затем эксплуатировать снова и снова?»

Но зачем же спорить тогда, как о нерешенном вопросе, о влиянии провозглашенной свободной торговли на положение рабочего класса? Все законы, формулированные экономистами от Кене до Рикардо основываются на том предположении, что не существует более препятствий, до сих пор стесняющих свободу торговли. В той же мере, в какой осуществляется свобода торговли, растет и сила этих законов. Первый из них гласит, что конкуренция понижает цену всякого товара до минимума издержек его производства. Поэтому минимум заработной платы есть естественная цена труда. А что такое минимум заработной платы? Именно то, что требуется для производства предметов, без которых рабочий не мог бы прожить сам и не мог бы продолжать свою расу в нужных пределах.

Не заключайте отсюда, что рабочий не может получить более этого минимума заработной платы; еще того более: не думайте, что он всегда может получить этот минимум.

Нет, по смыслу этого закона для рабочего класса бывают более счастливые времена. Иногда ему случается получать больше, чем минимум заработной платы, но это превышение нормы только уравнивает собою те случаи, когда он получает менее указанного минимума, как это бывает во время промышленного востоя. Это значит вот что: если мы возьмем известный, периодически возвращающийся промежуток времени, в течение которого промышленность совершает свой круговорот, проходя, одну за другою, фазы процветания, чрезмерного производства, востоя и кризиса, — если возьмем этот промежуток и сосчитаем все, что рабочий класс получает сверх или менее необходимого, то увидим, что в целом он имеет не больше и не меньше этого минимума; а это значит, что испытавший нищету, переживший бедствия, оставивший столько-то и столько-то трупов на промышленном поле битвы, — рабочий класс, как класс, не прекратит своего существования. О чем же и толковать? Рабочий класс остается, и даже более: численность его возрастает.

Это, однако, не все. Прогресс промышленности доставляет менее дорогие средства существования. Так, водка заменила пиво, хлопчатая бумага — шерсть и полотно, картофель вступил место хлеба.

Так как постоянно находятся новые способы прокормления рабочих более дешевыми и более плохими предметами, то минимум заработной платы постоянно понижается. И прежде этот уровень платы не давал человеку возможности жить без постоянного труда; теперь он даже дает ему, в конце концов, средства к жизни, но эта жизнь стала жизнью машины. Его существование утратило всякое

значение, помимо существования в качестве простой производительной силы; сообразно этому обращается с ним и капиталист. Этот закон товара-труда, минимума заработной платы, осуществляется в той же самой мере, в какой входит в жизнь, становится действительностью свобода торговли, эта основная предпосылка экономистов. Таким образом, остается одно из двух: или отрицать всю политическую экономию, в основе которой лежит предположение о свободе торговли, или согласиться с тем, что при свободе торговли экономические законы обрушиваются на рабочих всею своею тяжестью.

Итак, что же такое свобода торговли при современных общественных отношениях? Свобода капитала. Устраните те немногие национальные преграды, которые продолжают стеснять свободное развитие капитала, — и вы лишь откроете ему свободное поле деятельности. До тех пор, пока продолжают существовать отношения наемного труда и капитала, обмен товаров, — хотя бы он совершался при самых благоприятных условиях — всегда будет создавать класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. Трудно, в самом деле, понять претензии приверженцев свободной торговли, воображающих, что более выгодное употребление капитала уничтожит противоположность между промышленными капиталистами и наемными рабочими. Совершенно наоборот. Единственным следствием этого будет еще более ясное обнаружение противоположности этих двух классов.

Вообразите, что нет более ни хлебных законов, ни общинных и государственных пошлин, словом — представьте себе на миг, что совершенно исчезли все те побочные обстоятельства, которые рабочий мог принимать за причины своего бедственного положения; вместе с этим разорвались бы все те завесы, которые скрывали до тех пор от него истинного врага.

Он увидал бы тогда, что свободный капитал так же точно обращает его в раба, как и капитал, обложенный пошлинами.

Господа, не позволяйте обманывать себя абстрактным словом *свобода*! Чья свобода? Это слово не означает свободы одной личности по отношению к другой. Оно означает свободу, которою капитал пользуется для угнетения рабочего.

Зачем освящать свободную конкуренцию этой идеей свободы? Ведь эта идея свободы сама представляет собою продукт того порядка вещей, который основывается на свободной конкуренции.

Мы показали, какого рода братство устанавливается свободной торговлей во взаимных отношениях различных классов одной и той же нации. Не более братскими свойствами отличалось бы и то

братство, которое было бы создано свободной торговлей во взаимных отношениях различных наций. Только у буржуазии могла явиться мысль назвать всеобщим братством космополитический вид эксплуатации. Все разрушительные явления, обусловливаемые свободной конкуренцией внутри данной отдельной страны, повторяются на всемирном рынке в еще более огромных размерах. Пора уже кончить с софизмами, измышленными по этому поводу приверженцами свободной торговли и ровно настолько же заслуживающими внимания, как и аргументы трех получивших премию авторов — Гопа, Морза и Грэга.

Нам говорят, напр., что свободная торговля вызвала бы международное разделение труда и тем указала бы каждой стране тот род производства, который наиболее соответствует естественным выгодам ее положения.

Вы можете подумать, господа, что производство кофе и сахара представляет собою естественное призвание Вест-Индии.

Двести лет тому назад природа, очень мало думающая о торговле, совсем не разводила там ни кофейных деревьев, ни сахарного тростника. И не пройдет, быть может, пятидесяти лет, как там нельзя уже будет найти ни кофе, ни сахару, так как дешевое производство Ост-Индии уже начало победоносную борьбу против этого мнимого естественного призвания Вест-Индии.

И эта-то, богатая дарами природы, Вест-Индия составляет для англичан такое же тяжелое бремя, как и ткачи Даккского округа, от начала веков предназначенные для ручного ткачества.

При этом не нужно упускать из виду еще одного, а именно следующего обстоятельства. Так как все обращается ныне в монополию, то имеются некоторые отрасли промышленности, господствующие над всеми другими и обеспечивающие господство на всемирном рынке тем народам, которые заняты главным образом ими. Так, напр., в международном обмене хлопчатая бумага одна имеет гораздо более важное торговое значение, чем вся совокупность других сырых материалов, служащих для приготовления одежды. Приверженцы свободной торговли становятся поистине смешными, когда, указывая на две—три специальности в каждой отрасли производства, они противопоставляют их предметам повседневного употребления, производство которых дешевле всего в тех странах, где промышленность достигает наибольшего развития.

Нет ничего удивительного в том, что приверженцы свободной торговли не в состоянии понять, каким образом одна страна может обогащаться на счет другой; ведь эти самые господа еще того менее

хотят понять, каким образом внутри данной страны один класс может обогатиться на счет другого.

Не думайте, однако, господа, что, критикуя свободу торговли, мы намерены защищать покровительственную систему.

Можно нападать на конституционализм, не становясь через это сторонником абсолютизма.

Впрочем, покровительственная система есть лишь средство, с помощью которого насаждается в данной стране крупная промышленность, т. е. создается зависимость этой страны от всемирного рынка. Но уже с той минуты, как она ставится в зависимость от всемирного рынка, она начинает в свою очередь более или менее зависеть от свободной торговли. Кроме того покровительственная система развивает свободную конкуренцию внутри страны. Поэтому мы видим, что в тех странах, где буржуазия начинает становиться классом, — как, напр., в Германии, — она употребляет огромные усилия, чтобы добиться покровительственных пошлин. Они служат ей оружием против феодализма и абсолютной власти, они дают ей средство сконцентрировать свои силы и осуществить свободу торговли внутри страны.

Но, вообще говоря, покровительственная система является теперь консервативной, между тем как система свободной торговли действует разрушительно. Она разлагает прежние национальности и доводит до крайности противоположность между пролетариатом и буржуазией. Словом, система свободной торговли ускоряет социальную революцию. И только в этом, революционном смысле, господа, я высказываюсь за свободную торговлю.

Ф. ЭНГЕЛЬС

ПРИНЦИПЫ КОММУНИЗМА

МАРКС-ЭНГЕЛЬС

МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПРИНЦИПЫ КОММУНИЗМА.

1-й вопрос: Что такое коммунизм?

Ответ: Коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата.

2-й вопрос: Что такое пролетариат?

Ответ: Пролетариатом называется тот общественный класс, который получает средства к существованию исключительно от продажи своего труда, а не от прибыли с какого-нибудь капитала. Благополучие этого класса, его жизнь и смерть, все его существование зависят от спроса на труд, т. е. от смены хорошего и дурного положения в делах, от колебаний ничем не сдерживаемой конкуренции. Одним словом, пролетариат, или класс пролетариев, есть рабочий класс XIX столетия.

3-й вопрос: Значит, не всегда существовали пролетарии?

Ответ: Нет, не всегда. Бедные и трудящиеся классы имелись всегда и обычно трудящиеся классы пребывали в бедности. Но такие бедняки, такие рабочие, которые жили бы в только-что указанных условиях, т. е. пролетарии, существовали не всегда. Не всегда конкуренция была вполне свободной и неограниченной.

4-й вопрос: Как возник пролетариат?

Ответ: Пролетариат возник благодаря промышленной революции, которая произошла в Англии во второй половине XVIII столетия и которая с тех пор повторялась во всех цивилизованных странах мира. Эта промышленная революция была вызвана изобретением паровой машины, различных прядильных машин, механического ткацкого станка и целого ряда других механических приспособлений. Эти машины, которые стоили очень дорого и были доступны только крупным капиталистам, изменили существовавший до тех пор способ производства и вытеснили прежних рабочих. Дело в том, что машины изготовляли товары дешевле и лучше, чем рабочие могли их сделать со своими несовершенными веретенами и ткацкими станками. Тем самым эти машины отдали промышленность целиком в руки крупных капиталистов и совершенно обесценили ту ничтожную собственность,

которая принадлежала рабочим (инструменты, ткацкие станки и т. д.), и капиталисты вскоре захватили все в свои руки, а у рабочих не осталось ничего. Благодаря этому в области изготовления материи для одежды введена была фабричная система. Как только был дан толчок к введению машин и фабричной системы, последняя быстро распространилась и в других отраслях промышленности, особенно в печатании тканей и книг, в изготовлении глиняных и металлических изделий. Работа стала все больше и больше делиться между отдельными рабочими, так что рабочий, который раньше выполнял всю работу, теперь стал делать только часть ее. Это разделение труда позволило изготовлять продукты быстрее, а потому и дешевле. Оно свело деятельность каждого рабочего к одному какому-нибудь, весьма простому, постоянно повторяющемуся, механическому приему, который с таким же успехом и даже еще лучше мог быть выполнен машиной. Вследствие этого все отрасли промышленности, одна за другой, подпали под власть пара, машин и фабричной системы, точно так же, как это имело место в прядильном и ткацком производстве. Но тем самым они окончательно переходили в руки крупных капиталистов, и рабочие лишались здесь последнего остатка своей самостоятельности. Постепенно, кроме мануфактуры в собственном смысле этого слова, фабричная система стала все больше и больше завладевать ремеслом, так как и здесь крупные капиталисты вытесняли мелких мастеров, устраивая большие мастерские, в которых можно было сэкономить на многих расходах и тоже ввести разделение труда. В результате мы пришли теперь к тому, что в цивилизованных странах почти во всех отраслях труда установился фабричный способ производства и почти всюду ремесло и мануфактура вытеснены крупной промышленностью. Вследствие этого прежнее среднее сословие, в особенности мелкие ремесленники, все более разоряются, положение рабочего резко меняется, и создаются два новых класса, которые постепенно поглощают все прочие. А именно:

I. Класс крупных капиталистов, которые во всех цивилизованных странах уже в настоящее время являются почти исключительно обладателями всех продуктов питания и нужных для их производства сырья и инструментов (машин, фабрик). Это класс *буржуа*, или *буржуазия*.

II. Класс совершенно неимущих, которые вынуждены продавать буржуа свой труд, чтобы взамен получать необходимые для их существования средства к жизни. Этот класс называется классом *пролетариев*, или *пролетариатом*.

5-й вопрос: При каких условиях совершается продажа труда пролетариев буржуазии?

Ответ: Труд — такой же товар, как и всякий другой, и цена его определяется теми же законами, как и цена всякого другого товара. При господстве крупной промышленности или свободной конкуренции, что, как мы увидим дальше, есть одно и то же, цена товара в среднем всегда равняется издержкам производства этого товара. Цена труда, следовательно, тоже равна издержкам производства труда, а издержки производства труда состоят из того именно количества продуктов питания, которые нужны, чтобы рабочий был в состоянии сохранять свою работоспособность и чтобы рабочий класс не вымер. Больше того, что нужно для этой цели, рабочий за свой труд не получит. Цена труда, или заработная плата, будет, следовательно, равняться минимуму того, что необходимо для пропитания. Но так как в делах бывает иногда застой, иногда подъем, то рабочий будет получать иногда больше, иногда меньше, совершенно точно так же, как и фабрикант получает то больше, то меньше денег за свой товар. И подобно тому как фабрикант в среднем, если взять хорошие и плохие времена, не получает за свой товар не больше, не меньше того, что составляют его издержки производства, точно так же и рабочий в среднем получит не больше и не меньше этого минимума. Этот экономический закон заработной платы будет проводиться тем строже, чем больше крупная промышленность будет овладевать всеми отраслями труда.

6-й вопрос: Какие существовали трудящиеся классы до промышленной революции?

Ответ: Трудящиеся классы, в зависимости от ступени общественного развития, жили в различных условиях и занимали неодинаковую позицию по отношению к имущим и господствующим классам. В древности трудящиеся были *рабами* своих хозяев, подобно тому как они являются таковыми и теперь во многих отсталых странах и даже в южной части Соединенных Штатов. В средние века они были *крепостными* дворян-землевладельцев, каковыми остаются и по сей час еще в Венгрии, Польше и России. Кроме того в городах в средние века и до промышленной революции существовали ремесленники подмастерья, работавшие у мелкобуржуазных мастеров, а с развитием мануфактуры стали постепенно появляться рабочие, которые нанимались уже крупными капиталистами.

7-й вопрос: Чем отличаются пролетарии от рабов?

Ответ: Раб продан раз-навсегда, пролетарий должен продавать себя сам каждый день и каждый час! Раб является собствен-

ностью господина и уже, вследствие заинтересованности последнего, пользуется обеспеченным существованием, как бы жалко оно ни было. Каждый отдельный пролетарий является, так сказать, собственностью всего буржуазного *класса*. Его труд покупается только тогда, когда кто-нибудь в нем нуждается, и потому он не пользуется обеспеченным существованием. Существование это обеспечено только рабочему *классу* в его целом. Раб стоял вне конкуренции, пролетарий подчинен конкуренции и ощущает на себе все ее колебания. Раб считается вещью, а не членом буржуазного общества. Пролетарий признается личностью, членом буржуазного общества. Раб может жить в лучших условиях, чем пролетарий, но пролетарий принадлежит к обществу, стоящему на более высокой ступени развития, и сам он стоит на более высокой ступени, чем раб. Раб может освободить себя, отменив из всех институтов частной собственности одно только рабство, благодаря чему он станет пролетарием, пролетарий же может освободить себя, только отменив частную собственность вообще.

8-й вопрос: Чем отличается пролетарий от крепостного?

Ответ: Крепостной владеет собственностью и пользуется средством производства, а именно куском земли, за то, что отдает часть извлекаемого из нее дохода, или за то, что выполняет определенные работы. Пролетарий работает с средствами производства, принадлежащими другому, и производит работу за счет этого другого, получая от него часть дохода. Крепостной платит, пролетарий получает плату. Крепостной пользуется обеспеченным существованием, пролетарий этим не пользуется. Крепостной стоит вне конкуренции, пролетарий подчинен конкуренции. Крепостной освобождается, либо убегая в город и становясь там ремесленником, либо уплачивая своему помещику деньги взамен своей работы и продуктов, после чего он становится свободным арендатором, либо же прогоняя своего феодала, после чего он становится сам собственником. Словом, он освобождается благодаря тому, что он так или иначе входит в ряды имущего класса и подчиняется действию конкуренции. Пролетарий освобождается посредством устранения конкуренции, частной собственности и всех классовых различий.

9-й вопрос: Чем отличается пролетарий от ремесленника? ¹

10-й вопрос: Чем отличается пролетарий от рабочего в мануфактуре?

Ответ: Рабочий в мануфактуре XVI—XVIII столетий почти всюду обладал своими средствами производства: своим ткацким стан-

¹ Ответ на 9-й вопрос не сохранился.

ком, веретенами для своей семьи и маленьким участком земли, который он возделывал в свободные от работы часы. У пролетария ничего этого нет. Рабочий мануфактуры живет почти всегда в деревне и состоит в более или менее патриархальных отношениях со своим помещиком или работодателем. Пролетарий обычно живет в больших городах и с работодателем его связывают только денежные отношения. Крупная промышленность выталкивает рабочего в мануфактуре из его патриархального состояния, лишает его собственности, которая еще у него оставалась, и превращает его в пролетария.

11-й вопрос: Каковы ближайшие последствия промышленной революции и разделения общества на буржуа и пролетариев?

Ответ: *Во-первых*, вследствие того, что машины все более понижали цены на изделия промышленности, повсюду прежняя система мануфактуры или промышленности, основанная на ручном труде, была разрушена. Все полуварварские страны, которые до сих пор оставались более или менее чужды историческому развитию и промышленность которых до сих пор опиралась на мануфактуру, теперь насильственным образом были выведены из своего состояния замкнутости. Они стали покупать более дешевые английские товары и обрекли на гибель своих собственных рабочих в мануфактуре. Таким образом, страны, которые в течение десятилетий не делали никакого успеха, как, напр., Индия, подверглись полной революции, и даже Китай в настоящее время идет навстречу революции. Дошло до того, что новая машина, которая сегодня изобретается в Англии, через год лишает хлеба миллионы рабочих в Китае. Таким образом, крупная промышленность связала между собою все народы земли, объединила все маленькие местные рынки в мировой рынок, распространила всюду цивилизацию и прогресс и привела к тому, что все, что совершается в цивилизованных странах, должно оказывать влияние на все остальные страны, так что, если теперь освободят себя рабочие в Англии и во Франции, то это должно вызвать революцию во всех других странах и рано или поздно повести к освобождению и тамошних рабочих.

Во-вторых, всюду, где крупная промышленность заменила мануфактуру, буржуазия в чрезвычайной мере умножила свое богатство и свое влияние и стала первым классом в стране. Результатом этого было то, что повсюду, где совершился такой процесс, буржуазия получила в свои руки политическую власть и вытеснила классы, которые господствовали до тех пор, — аристократию, цеховых мастеров и абсолютную монархию, являвшуюся их представительницей. Буржуазия уничтожила власть аристократии, дворянства, отменив

майораты или запрещения продажи земли для крупных поместий и упразднив все дворянские привилегии. Она разрушила власть цеховых мастеров, упразднив все цехи и отменив все привилегии ремесленников. На их место она поставила свободную конкуренцию, т. е. такое состояние общества, при котором каждый имеет право заниматься любой отраслью промышленности, причем ничто не может ему помешать в этом деле, кроме отсутствия нужного капитала. Введение свободной конкуренции равносильно, таким образом, открытому заявлению, что отныне члены общества не равны между собою лишь постольку, поскольку не равны их капиталы, что капитал становится решающей силой, а капиталисты-буржуа — первым классом в обществе. Но свободная конкуренция необходима для начального периода крупной промышленности потому, что она является единственным общественным состоянием, при котором может создаваться крупная промышленность. Буржуазия, уничтожив таким образом общественную власть дворянства и цеховых ремесленников, уничтожила также и их политическую власть. Подобно тому как она в обществе стала первым классом, она провозгласила себя также первым классом и в политике. Она сделала это посредством введения представительной системы, которая основана на буржуазном равенстве перед законом, на признании законом свободной конкуренции. Эта система введена в европейских странах в виде конституционной монархии. В конституционных монархиях правами избирателей пользуются лишь те, кто обладает известным капиталом, т. е. только буржуа. Эти буржуа избирают депутатов, а их депутаты, при помощи права не допускать взимания налогов, избирают буржуазное правительство.

В-третьих, промышленная революция всюду способствовала развитию пролетариата в той же мере, как и развитию буржуазии. Чем богаче становилась буржуазия, тем многочисленнее становились пролетарии. Так как пролетарии могут найти работу только при содействии капитала, а капитал увеличивается только, когда дает работу рабочим, то рост пролетариата вполне соответствует росту капитала. В то же время промышленная революция собирает буржуа и пролетариев в большие города, где всего выгоднее заниматься промышленностью, и этим скоплением огромных масс на одном месте она внушает пролетариям сознание их силы. Затем, по мере того, как развивается промышленная революция, по мере дальнейшего изобретения новых машин, вытесняющих ручной труд, крупная промышленность все сильнее давит на заработную плату и подгоняет ее, как мы уже сказали, к ее минимуму, вследствие чего положение про-

летариата становится все более и более невыносимым. Так, с одной стороны, вследствие роста недовольства, а с другой — роста мощи пролетариата подготавливается социальная революция, которую произведет пролетариат.

12-й вопрос: Какие были дальнейшие последствия промышленной революции?

Ответ: Крупная промышленность создала, в виде паровой и других машин, средства, позволяющие в короткое время и с небольшими затратами увеличивать до бесконечности промышленное производство. Свободная конкуренция, необходимо связанная с крупной промышленностью, вскоре приняла, благодаря такой легкости производства, чрезвычайно резкий характер. Многие капиталисты бросились в промышленность, и очень скоро производство превысило потребление. В результате нельзя было продать сфабрикованные товары, и наступил так называемый торговый кризис. Фабрики должны были закрыться. Фабриканты обанкротились, и рабочие лишились хлеба. Повсюду наступила ужасная нищета. По истечении некоторого времени излишние продукты были проданы, фабрики снова начали работать, заработная плата поднялась, и постепенно дело пошло еще лучше, чем раньше. Но это было не долго, ибо вскоре снова было произведено слишком много товаров, наступил новый кризис, протекавший совершенно так же, как и предыдущие. Таким образом, с начала этого столетия промышленность постоянно колебалась между эпохами расцвета и эпохами кризиса, и почти регулярно каждые пять — семь лет наступал такой кризис, который всегда был связан со страшными бедствиями для рабочих, с общим революционным возбуждением и с величайшей опасностью для всего существующего положения.

13-й вопрос: Что следует из этих регулярно повторяющихся торговых кризисов?

Ответ: Во-первых, хотя крупная промышленность и создала свободную конкуренцию в первую эпоху своего развития, но в настоящее время уже переросла свободную конкуренцию. Конкуренция и вообще ведение промышленного производства отдельными лицами превратились в цепи, которые крупная промышленность должна порвать и порвет. Крупная промышленность, пока она ведется на нынешних началах, может поддерживать свое существование только благодаря общей смуте, наступающей каждые семь лет, а это всегда является угрозой всей нашей цивилизации и обрекает на гибель не только пролетариев, но и разоряет многих буржуа. Следовательно, необходимо либо упразднить крупную промышлен-

ность, что абсолютно невозможно, или же создать совершенно новую организацию общества, в которой промышленным производством будут руководить не конкурирующие между собою фабриканты, а все общество, по определенному плану и соответственно потребностям всех граждан.

Во-вторых, крупная промышленность и вызываемая ею возможность бесконечного расширения производства позволяют создать такой общественный строй, в котором все необходимое для жизни будет добываться в столь значительных размерах, что каждый член общества будет в состоянии совершенно свободно развивать и применять все свои силы и дарования. Таким образом, именно то свойство крупной промышленности, которое в нынешнем общественном строе является причиной всех бедствий и всех торговых кризисов, сумеет при другой общественной организации уничтожить эти бедствия и вредные колебания. Таким образом, вполне убедительно доказано следующее:

1) что в настоящее время все эти бедствия объясняются только общественным строем, который уже не соответствует условиям времени;

2) что имеются средства для окончательного устранения этих бедствий путем создания нового общественного строя.

14-й вопрос: Каков должен быть этот новый общественный строй?

Ответ: Прежде всего управление промышленностью и другими отраслями производства будет отнято у отдельных индивидов, конкурирующих друг с другом. Вместо этого все отрасли производства будут находиться в управлении всего общества, в его целом, т. е. будут вестись за общественный счет, по общему плану и при участии всех членов общества. Таким образом, конкуренция будет отменена и заменена ассоциацией. Так как управление промышленностью отдельными лицами имеет необходимым своим последствием частную собственность, и так как конкуренция есть не что иное, как способ управления промышленностью посредством отдельных частных собственников, то частная собственность неразрывно связана с независимыми друг от друга промышленными предприятиями и с конкуренцией. Следовательно, надо будет отменить также и частную собственность и заменить ее общим пользованием всеми средствами производства и распределением продуктов по общему соглашению, т. е. надо будет ввести так называемую общность имущества. Отмена частной собственности является даже самым кратким и характерным признаком того преобразования всего общественного строя, которое стало необходимым вследствие развития промышлен-

ности. Поэтому коммунисты вполне правильно объявляют главным своим требованием отмену частной собственности.

15-й вопрос: Значит отмена частной собственности раньше была невозможна?

Ответ: Нет. Всякое изменение в общественном строе, всякий переворот в условиях собственности являлись необходимым последствием развития новых производительных сил, которые не соответствовали старым отношениям собственности. Таким образом возникла и частная собственность, которая тоже не всегда существовала. Когда в конце средних веков создался новый способ производства в виде мануфактуры, не укладывавшийся в рамки тогдашней феодальной и цеховой собственности, то эта мануфактура, которая уже переросла старые условия собственности, создала для себя новую форму собственности — частную собственность. Для мануфактуры и для первой стадии развития крупной промышленности не годилась никакая другая форма собственности, кроме частной собственности, никакой общественной строй, кроме того строя, который имеет своим основанием частную собственность. Пока нельзя производить товары в таком количестве, чтобы не только хватало на всех, но чтобы еще оставался избыток продуктов для увеличения общественного капитала и дальнейшего развития производительных сил, до тех пор должен всегда оставаться класс господствующий, — распоряжающийся производительными силами общества, и другой класс — бедный и угнетенный. Каковы будут эти классы, это зависит от той стадии развития, на которой находится производство. Средние века, зависящие от земледелия, дают барона и крепостного; города позднего средневековья дают цехового мастера, подмастерья и поденщиков; XVII столетие дает владельца мануфактуры и рабочих на мануфактуре; XIX столетие — крупного фабриканта и пролетария. Вполне очевидно, что до сих пор производительные силы не были развиты еще в такой степени, чтобы размеры производства давали всем достаточное количество продуктов. Частная собственность была преградой для развития производительных сил; она их сковывала. Но теперь благодаря развитию крупной промышленности, *во-первых*, имеются капиталисты и производительные силы в размерах, дотоле неслыханных, а также имеются средства, способные в короткое время до бесконечности увеличить эти производительные силы. *Во-вторых*, производительные силы объединены в руках немногих буржуа, тогда как широкие народные массы все более превращаются в пролетариев, причем положение их становится тем бедственнее и невыносимее, чем больше увеличиваются богатства буржуа. *В-третьих*, эти

могучие производительные силы, легко поддающиеся увеличению, до такой степени переросли формы частной собственности и способности буржуазии, что они постоянно вызывают резко насильственные остановки в общественном порядке. Поэтому теперь отмена частной собственности не только возможна, но и вполне необходима.

16-й вопрос: Можно ли провести отмену частной собственности мирным путем?

Ответ: Это было бы желательно, и коммунисты менее всего намерены возражать против этого. Коммунисты прекрасно знают, что всякие заговоры не только бесполезны, но даже вредны. Они прекрасно знают, что революции нельзя делать по произволу и на заказ, а что они всюду и везде являлись необходимым последствием обстоятельств, которые совершенно не зависели от воли и руководства отдельных партий и целых классов. Но, вместе с тем, они видят, что развитие пролетариата почти во всех цивилизованных странах насильственно подавляется и что тем самым противники коммунистов всячески стараются вызвать революцию. Если, таким образом, угнетенный пролетариат в конце концов будет вынужден произвести революцию, то коммунисты сумеют защищать интересы пролетариев на деле так же, как они защищают их теперь на словах.

17-й вопрос: Возможно ли произвести отмену частной собственности сразу?

Ответ: Нет, невозможно, точно так же, как нельзя сразу увеличить имеющиеся средства производства в таких пределах, какие необходимы для совдания общественного производства. Поэтому революция пролетариата, которая, по всей вероятности, произойдет, сумеет только постепенно преобразовать нынешнее общество и отменит частную собственность лишь после того, когда уже будет создана необходимая для того масса средств производства.

18-й вопрос: Каков будет ход этой революции?

Ответ: Прежде всего она создаст демократический строй и тем самым прямо или косвенно политическое господство пролетариата. Прямо — в Англии, где пролетарии уже теперь составляют большинство народа, косвенно — во Франции, Германии, где большинство народа состоит не только из пролетариев, но также из мелких крестьян и буржуа, которые еще находятся в переходной стадии к пролетариату, которые во всех своих политических интересах все более становятся зависимыми от пролетариата и потому вскоре должны будут подчиниться его требованиям. Для этого, может быть, понадобится еще новая борьба, но она закончится непременно победою пролетариата.

Демократия была бы совершенно бесполезна для пролетариата, если ею не воспользоваться немедленно как средством для проведения широких мероприятий, непосредственно посягающих на частную собственность и обеспечивающих существование пролетариата. Главнейшие мероприятия эти, с необходимостью вытекающие из существующих ныне условий, суть следующие:

1. Ограничение частной собственности: прогрессивный налог, высокий налог на наследства, отмена наследования в боковых линиях (братьев, племянников и т. д.), принудительные займы и т. д.

2. Постепенная экспроприация земельных собственников, фабрикантов, владельцев железных дорог и морских судов частью посредством конкуренции со стороны государственной промышленности, частью непосредственно путем выкупа ассигнатами.

3. Конфискация имущества всех эмигрантов и бунтовщиков, восставших против большинства народа.

4. Организация труда или доставление занятий пролетариям в национальных имениях, фабриках и мастерских, благодаря чему будет устранена конкуренция рабочих между собою, и фабриканты, поскольку еще они останутся, будут вынуждены платить такую же высокую плату, как и государство.

5. Одинаковый принудительный труд для всех членов общества до полной отмены частной собственности. Образование промышленных армий, в особенности для сельского хозяйства.

6. Централизация кредитной системы и торговли деньгами в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом. Закрытие всяких частных банков и банкирских контор.

7. Увеличение числа национальных фабрик, мастерских, железных дорог и морских судов, обработка всех земель, остающихся невозделанными и улучшение обработки возделанных уже земель соответственно тому, как увеличиваются капиталы и растет число рабочих, которыми располагает нация.

8. Воспитание всех детей с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода, в государственных учреждениях и на государственный счет.

9. Сооружение больших дворцов в национальных владениях, в качестве общих жилищ для коммун граждан, которые будут заниматься промышленностью, сельским хозяйством и соединять преимущества городского и сельского образа жизни, не страдая от их односторонности и недостатков.

10. Разрушение всех нездоровых и плохо построенных жилищ и кварталов в городах.

11. Одинаковое право наследования для брачных и внебрачных детей.

12. Концентрация всего транспортного дела в руках нации.

Все эти мероприятия нельзя, разумеется, провести сразу, но одно из них будет влечь за собою другое. Стоит только произвести первое радикальное нападение на частную собственность, и пролетариат будет вынужден идти все дальше, все больше концентрировать весь капитал, все земледелие, всю промышленность, весь транспорт, весь товарообмен в руках государства. На это направлены все перечисленные мероприятия, причем осуществимость их будет возрастать и централистические последствия будут развиваться по мере того, как будут возрастать производительные силы страны благодаря труду пролетариата. Наконец, когда весь капитал, все производство, весь обмен объединятся в руках нации, частная собственность упадет сама, деньги станут ненужными, производство усилится в такой степени и люди так изменятся, что можно будет отказаться от всех еще уцелевших способов гражданского оборота прежнего общества.

19-й вопрос: Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране?

Ответ: Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собою все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравнила общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними — главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил. Поэтому она осуществится медленнее и труднее всего в Германии, быстрее и легче всего в Англии. Она окажет также значительное влияние на остальные страны мира и совершенно изменит и чрезвычайно ускорит их прежний ход развития. Она есть всемирная революция и будет поэтому иметь всемирную арену.

20-й вопрос: Каковы будут последствия окончательного устранения частной собственности?

Ответ: Тем, что общество отнимет у частных капиталистов пользование всеми средствами производства и транспорта, а также обмен и распределение продуктов, тем, что оно будет распоряжаться всем этим сообразно плану, приноровленному к размерам этих средств и потребностям всего общества, — будут прежде всего устранены все пагубные последствия, связанные ныне с существованием крупной промышленности. Кризисы прекратятся, расширение производства, которое, при нынешнем общественном строе, вызывает перепроизводство и является столь важной причиной бедствия, тогда окажется недостаточным и должно будет расширяться еще более. Вместо того, чтобы вызывать бедствия, перепроизводство, выходящее за пределы ближайших потребностей общества, будет обеспечивать удовлетворение потребностей всех граждан, будет вызывать новые потребности и одновременно создавать средства для их удовлетворения. Оно явится условием и поводом для дальнейшего прогресса, оно будет осуществлять этот прогресс, не создавая при этом, как раньше, замешательства в общественном строе. Крупная промышленность, освобожденная от гнета частной собственности, разовьется в таких размерах, по сравнению с которыми ее нынешнее состояние будет казаться столь же мизерным, каким нам представляется мануфактура по сравнению с крупной промышленностью нашего времени. Это развитие промышленности доставит обществу достаточное количество продуктов, чтобы удовлетворить потребности всех граждан. Земледелие, которое теперь, вследствие давления, оказываемого частной собственностью, и вследствие дробления участков, затруднено в возможностях применить уже испробованные улучшения и научные методы, — тоже вступит в полосу расцвета и даст обществу вполне достаточное количество продуктов. Таким образом, общество будет производить достаточно продуктов, чтобы организовать распределение и удовлетворить потребности всех своих членов. Тем самым станет излишним деление общества на различные враждебные друг другу классы. Но оно станет не только излишним, оно даже несовместимо с новым общественным строем. Существование классов вызвано разделением труда, а разделение труда в прежнем его виде совершенно исчезнет, так как, чтобы поднять промышленное и земледельческое производство на указанную прежде высоту, недостаточно одних только механических и химических вспомогательных средств. Нужно также в соответственной мере развить способности людей, применяющих эти средства. Подобно тому как в прошлом столетии крестьяне и рабочие в мануфактурах изменили весь свой образ жизни и стали совершенно другими людьми, когда оказались вовлеченными

в крупную промышленность, точно так же общее ведение производства силами всего общества и вытекающее отсюда новое развитие производства будет нуждаться в совершенно новых людях и создаст их. Общественное управление производством не может осуществляться людьми в роде нынешних, из которых каждый подчинен одной какой-нибудь отрасли производства, прикован к ней, эксплуатируется ею, где каждый развивает только одну сторону своих способностей за счет всех других и знает только одну отрасль или часть какой-нибудь отрасли всего производства. Уже нынешняя промышленность все меньше в состоянии пользоваться такими людьми. Тем более промышленность, управляемая всем обществом планомерно и в общественном интересе, нуждается в людях со всесторонне развитыми способностями, в людях, способных ориентироваться во всей системе производства. Разделение труда, распатанное уже в настоящее время машиной и превращающее одного в крестьянина, другого в сапожника, третьего в фабричного рабочего, четвертого в биржевого спекулянта, исчезнет совершенно. Воспитание позволит молодым людям быстро знакомиться со всею системой производства, оно позволит им поочередно переходить от одной отрасли производства к другой, в зависимости от потребностей общества или их собственных склонностей. Таким образом, воспитание освободит их от той односторонности, к которой вынуждает в настоящее время каждого современное разделение труда. Таким образом, общество, организованное на коммунистических началах, даст возможность своим членам всесторонне применить их всесторонне развитые способности. Но, вместе с тем, необходимо исчезают и различные классы. Таким образом, общество, организованное на коммунистических началах, с одной стороны, несовместимо с дальнейшим существованием классов, а, с другой стороны, создание этого общества само дает возможность устранить классовые различия.

Отсюда вытекает, что противоречие между городом и деревней тоже исчезнет. Одни и те же люди будут заниматься земледелием и промышленным трудом, вместо того, чтобы предоставлять это делать двум различным классам. Это является необходимым условием коммунистической ассоциации уже в силу материальных причин. Распыленность земледельческого населения в деревнях и скопление промышленного в больших городах является состоянием, которое соответствует только недостаточно высокому уровню сельского хозяйства и промышленности и является препятствием дальнейшего развития, что уже дает себя сильно чувствовать в настоящее время.

Общая ассоциация всех членов общества в целях совокупной и

планомерной эксплуатации производительных сил и развития производства в таких размерах, чтобы оно удовлетворяло потребности всех; прекращение того состояния, при котором потребности одних людей удовлетворяются за счет других; полное уничтожение всех классов с их противоречиями; всестороннее развитие способностей всех членов общества с устранением прежнего разделения труда благодаря промышленному воспитанию, перемене деятельности, участию всех в благах, которые будут производиться всеми, и благодаря слиянию города с деревней — вот главные результаты отмены частной собственности.

21-й вопрос: Какое влияние окажет коммунистический строй на семью?

Ответ: Отношения полов станут частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц и в которое общество не может вмешиваться. Это возможно благодаря устранению частной собственности и воспитанию детей на общественные средства, вследствие чего обе основы современного брака уничтожаются, а именно зависимость жены от мужа и детей от родителей, возникающие вследствие частной собственности. В этом и заключается ответ на вопль высоко-моральных мещан по поводу коммунистической общности жен. Общность жен представляет собою явление, целиком принадлежащее буржуазному обществу и вполне осуществляемое в настоящее время в проституции. Но проституция основана на частной собственности и должна исчезнуть вместе с ней. Следовательно, коммунистическая организация не введет общность жен, а, наоборот, уничтожит ее.

22-й вопрос: Как будет относиться коммунистическая организация к существующим национальностям?

23-й вопрос: Как будет она относиться к существующим религиям? ¹

24-й вопрос: Чем отличаются коммунисты от социалистов?

Ответ: Так называемые социалисты разделяются на три категории.

Первая категория состоит из сторонников феодального и патриархального общества, которое уничтожено и ежедневно уничтожается крупной промышленностью, мировой торговлею и созданным ими буржуазным обществом. Этот класс делает из бедствий современного общества тот вывод, что следует восстановить патриархальное и феодальное общество, так как оно было свободно от этих бедствий.

¹ Ответы на 22-й и 23-й вопросы в рукописи Энгельса не нашлись. — *Прим. ред.*

Все его предложения прямо или косвенно направлены к этой цели. Эта категория *реакционных* социалистов будет всегда вызывать резкие нападки со стороны коммунистов, несмотря на ее мнимое сочувствие к бедствиям пролетариата и проливаемые по этому поводу горячие слезы. Ибо эти социалисты:

1) стремятся к совершенно невозможному;

2) желают восстановить господство аристократии, цеховых мастеров и владельцев мануфактур, а также связанных с ними самодержавных или феодальных королей, чиновников, солдат и попов, т. е. хотят восстановить общество, которое, правда, было бы свободно от недостатков современного общества, но зато имело бы, по крайней мере, столько же других недостатков и к тому же не открывало бы никаких перспектив на освобождение угнетенных рабочих посредством коммунистической организации;

3) свои подлинные намерения они всегда обнаруживают, когда пролетариат становится революционным и коммунистическим. В этих случаях они немедленно объединяются с буржуазией против пролетариата.

Вторая категория состоит из сторонников современного общества, которые, вследствие бедствий, неизбежно с ним связанных, испытывают опасение за существование этого общества. Они, следовательно, стремятся сохранить современное общество, но устранить связанные с ним бедствия. Для этого одни предлагают простые меры благотворительности, другие — грандиозные планы реформ, которые, под предлогом реорганизации общества, намерены сохранить основания современного общества и само современное общество. Против этих *буржуазных социалистов* коммунисты тоже должны будут вести борьбу, потому что их деятельность идет на пользу врагам коммунистов и они защищают общество, которое коммунисты желают разрушить.

Наконец, третья категория состоит из демократических социалистов, которые так же, как и коммунисты, отстаивают часть мероприятий, указанных в вопросе 18-м, но не в качестве переходных мер, ведущих к коммунизму, а в виде мероприятий, достаточных для устранения бедствий в современном обществе. Эти *демократические социалисты* являются либо пролетариями, которые недостаточно уяснили себе условия освобождения своего класса, или представителями мелкой буржуазии, т. е. класса, который, во многих отношениях, имеет те же интересы, что и пролетарии, вплоть до демократического строя и вытекающих из него социалистических мероприятий. Поэтому коммунисты, когда придется действовать, должны будут вступить

в соглашение с демократическими социалистами и вообще постараться пока-что вести с ними, по возможности, общую политику, если только эти социалисты не пойдут в услужение господствующей буржуазии и не станут нападать на коммунистов. Разумеется, совместные действия не исключают обсуждения тех разногласий, которые существуют между ними и коммунистами.

25-й вопрос: Как относятся коммунисты к остальным современным политическим партиям?

Ответ: Отношения различны в различных странах. В Англии, Франции и Бельгии, где господствует буржуазия, коммунисты имеют пока еще общие интересы с различными демократическими партиями, и интересы эти тем значительнее, чем больше демократы приближаются к коммунистам в тех социалистических мероприятиях, которые они повсюду теперь отстаивают, т. е. чем яснее и определеннее они отстаивают интересы пролетариата и чем больше они опираются на пролетариат. В Англии, напр., чартисты, состоящие из рабочих, гораздо ближе к коммунистам, чем мелкобуржуазные демократы, или так называемые радикалы.

В Америке, где действует демократическая конституция, коммунисты должны будут поддерживать партию, которая желает направить эту конституцию против буржуазии и использовать ее в интересах пролетариата. Такой партией является партия аграрной национальной реформы.

В Швейцарии радикалы, хотя они сами и являются партией очень смешанного состава, будут единственными, с кем могут связать себя коммунисты, а среди этих радикалов опять-таки наиболее прогрессивными являются ваадские и жевевские.

Наконец, в Германии решительная борьба между буржуазией и абсолютной монархией еще впереди. Но так как коммунисты не могут рассчитывать на решительную борьбу с буржуазией, прежде чем буржуазия достигнет господства, то в интересах коммунистов помочь буржуазии возможно скорее достичь этого господства, чтобы затем можно было возможно скорее снова свергнуть ее. Таким образом, коммунисты в отношении правительств всегда должны поддерживать либеральную буржуазию, но должны остерегаться того самообмана, в который впадает буржуазия, и не должны верить ее соблазнительным заявлениям о тех благодетельных последствиях, которые повлечет за собою для пролетариата победа буржуазии. Единственные выгоды от побед буржуазии для коммунистов будут заключаться в следующем: 1) в различных уступках, которые облегчат коммунистам защиту, обсуждение и распространение их принципов и тем

самым объединение пролетариата в тесно сплоченный, готовый к борьбе и организованный класс, и 2) в уверенности, что с того дня, как падут самодержавные правительства, наступит черед для борьбы между буржуа и пролетариями. С этого дня партийная политика коммунистов будет здесь такой же, как и в странах, где господствует уже буржуазия.

МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Для священной травли этого призрака соединились все силы старой Европы — папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские.

Назовите такую оппозиционную партию, которую не шельмовали бы коммунистической ее противники, стоящие у власти, назовите такую оппозиционную партию, которая не посылала бы обратно клеймящего упрека в коммунизме более передовым представителям оппозиции или своим реакционным противникам?

Из этого факта следуют два вывода:

Коммунизм признается уже силою всеми европейскими державами.

Пора уже коммунистам открыто изложить перед целым светом свое мировоззрение, свои цели, свои стремления, и сказке о призраке коммунизма противопоставить Манифест самой партии.

С этой целью коммунисты различных национальностей собрались в Лондон и составили следующий Манифест для обнародования его на английском, французском, итальянском, фламандском и датском языках.

1. БУРЖУА И ПРОЛЕТАРИИ.

История всего предшествующего общества есть история борьбы классов.¹

¹ Говоря точно, та история, о которой существуют *письменные* свидетельства. В 1847 г. была еще почти совершенно неизвестна история первобытного общества, общественная организация, предшествующая всякой писаной истории. С тех пор Гакстаузен открыл общинное землепользование в России, а Маурер показал, что оно было общественной основой, от которой отправлялись в своем историческом развитии все германские племена. Постепенно оказалось также, что сельская община с общинным землепользованием была первоначальной формой общества от Индии до Ирландии. Наконец, внутренняя организация этого первобытного общества, в его типичной форме, раскрыта была

Свободный и раб, патриций и плебей, барон и крепостной, цеховой мастер и подмастерье, короче, угнетатели и угнетаемые находились в постоянной вражде друг с другом, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, которая каждый раз кончалась революционным переустройством всего общества или совместной гибелью борющихся классов.

В предшествовавшие эпохи истории мы находим почти повсюду полное расчленение общества на различные сословия, многообразную лестницу различных общественных положений. В древнем Риме мы встречаем патрициев, всадников, плебеев и рабов; в средние века феодалов, вассалов, цеховых мастеров, подмастерьев и крепостных, и почти в каждом из этих классов еще особые подразделения.

Выросшее на развалинах феодализма современное буржуазное общество не уничтожило различия классов. Оно только поставило новые классы на место старых, выработало новые способы угнетения и новые виды борьбы.

Наша эпоха, — эпоха буржуазии, — отличается, однако, тем, что она упростила классовое противоречие. Общество все более и более разделяется на два больших враждебных лагеря, на два больших, стоящих друг против друга класса: буржуазию и пролетариат.

Из средневековых крепостных образовалось мещанское население первых городов; из этого мещанства развились первые элементы буржуазии.

Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало новое поприще для растущей буржуазии. Ост-индский и китайский рынки, колонизация Америки, обмен с колониями, увеличение количества орудий обращения и вообще товаров дали неслыханный до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем значительно ускорили развитие революционного элемента в разлагавшемся феодальном обществе.

Прежний феодальный цеховой способ производства не в состоянии был удовлетворить спрос, развившийся вместе с открытием новых рынков. Место это заняла мануфактура. Цеховые мастера вытеснены были промышленным средним сословием; разделение труда между различными корпорациями исчезло перед разделением труда внутри мастерской.

Но рынок все более расширялся, спрос постоянно увеличивался.

Морганом, выяснившим истинный характер рода (gens) и место, занимаемое родом в племени. Со времени разложения первобытной общины начинается разделение общества на различные, а затем противоположные классы. (Примечание Энгельса к последнему изданию «Манифеста».)

Мануфактурный способ производства, в свою очередь, оказался недостаточным. Тогда пар и машина произвели революцию в промышленности. Место мануфактуры заняла нынешняя крупная промышленность; место промышленного среднего сословия — миллионеры-промышленники, предводители целых промышленных армий, современные буржуа.

Крупная промышленность создала всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения. Это снова повлияло на развитие промышленности, и в той же степени, в какой росли промышленность, торговля, мореплавание, железные дороги, развивалась буржуазия, увеличивались ее капиталы, и она отодвигала на задний план все классы, унаследованные от средневекового общества.

Мы видим, таким образом, что буржуазия является продуктом длинного хода развития, целого ряда переворотов в способах производства и обмена.

Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровождалась соответствующими ей политическими завоеваниями. То угнетенное под игом феодалов сословие, то вооруженная и самоуправляющаяся ассоциация в городской коммуне ¹ — здесь независимая городская республика, там третье податное сословие монархического государства, затем в эпоху мануфактуры противовес дворянству в монархии абсолютной или сословной, буржуазия, вообще послужившая главной основой больших монархий, завоевала себе, наконец, с появлением крупной промышленности и всемирного рынка, исключительную политическую власть в новейшем конституционном государстве. Современная государственная власть есть не что иное, как комитет, заведующий общественными делами буржуазии.

Буржуазия играла в истории в высшей степени революционную роль.

Всюду, где она достигла господства, буржуазия разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные нити, связывавшие человека с его наследственными повелителями, и не оставила между людьми никакой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. В холодной воде эгоистического расчета потопила она священный порыв набожной мечтательности, рыцарского воодушевления

¹ Так называли горожане Италии и Франции свою городскую общину, после того как им удалось или откупить, или отвоевать у своих феодальных господ первые права самоуправления.

и мещанской сентиментальности. Она превратила в меновую стоимость личное достоинство человека и на место бесчисленного множества видов благоприобретенной и патентованной свободы поставила одну беззастенчивую свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, прямой, бесстыдной и сухой.

Буржуазия лишила обаяния святости все те почетные роды деятельности, на которые до сих пор смотрели с благоговейным трепетом. Врача и юриста, священника и поэта, человека науки она превратила в своих наемных работников.

Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и превратила их в дело простого денежного расчета.

Буржуазия разоблачила, что проявление грубой силы, которой реакция так восхищается в средних веках, имело свое естественное дополнение в самом праздном тунеядстве. Только она показала, что может создать деятельность человека. Она сотворила совершенно иные чудеса, чем египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы; она совершила совсем иные походы, чем переселение народов и крестовые походы.

Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянных переворотов в орудиях производства, а следовательно и в отношениях производства, а следовательно и во всех общественных отношениях. Неизменное сохранение старого способа производства было, напротив, первым условием существования всех предшествовавших ей промышленных классов. Постоянные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечное движение и вечная неуверенность отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Все прочные заржавелые отношения, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и представлениями, разрушаются, все вновь образовавшиеся оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и недвижимое испаряется, все священное оскверняется, и люди вынуждаются, наконец, взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения и свое жизненное положение.

Потребность в постоянно возрастающем сбыте для ее продуктов заставляет буржуазию обегать весь земной шар. Всюду она должна проникнуть, всюду она старается внедриться, всюду она завязывает сношения.

Своей эксплуатацией всемирного рынка буржуазия преобразовала в космополитическом духе производство и потребление всех

стран. К великому огорчению реакционеров, она лишила промышленность национальной почвы. Исконные, национальные отрасли промышленности уничтожены или уничтожаются с каждым днем. Они вытесняются новыми отраслями промышленности, введение которых является вопросом жизни для всех цивилизованных наций, теми отраслями промышленности, которые обрабатывают не только местные сырые продукты, но и произведения самых отдаленных стран, и фабричные продукты которых потребляются не только внутри страны, но и во всех частях света. Прежние потребности, удовлетворявшиеся с помощью местных продуктов, заменились новыми, для удовлетворения которых необходимы произведения отдаленнейших стран и разнообразнейших климатов. Прежняя местная и национальная замкнутость и самодовление уступают место всестороннему обмену и всесторонней взаимной зависимости народов как в области материального, так и в области духовного производства. Плоды умственной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и более невозможными, и из многих национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература.

Быстрым усовершенствованием орудий производства и бесконечно облегченными средствами сообщения буржуазия толкает на путь цивилизации все, даже самые варварские народы. Низкие цены товаров являются в ее руках тяжелой артиллерией, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Она заставляет все нации принять буржуазные способы производства, под угрозой полного их разорения; она заставляет их усвоить так называемую цивилизацию, т. е. сделаться буржуа. Словом, она творит новый мир по своему образу и подобию.

Буржуазия подчинила деревню господству города. Она вызвала к жизни огромные города, в высокой степени увеличила городское население, сравнительно с сельским, и освободила таким образом значительную часть населения от идиотизма деревенской жизни. И рядом с этим подчинением деревни городу она поставила варварские и полуварварские страны в зависимость от цивилизованных, крестьянские народы — от буржуазных, восток — от запада.

Буржуазия все более и более уничтожает раздробление имущества, населения и средств производства. Она сгустила население, централизовала средства производства и концентрировала собственность в немногих руках. Необходимым следствием этого

была политическая централизация. Независимые, связанные почти только союзными отношениями, провинции, с различными интересами, законами, управлением и таможенным тарифом, сплотились в одну нацию, с единым правительством, единым законодательством, единым национальным классовым интересом и единой таможенной линией.

Менее, чем за сто лет своего господства, буржуазия создала более могущественные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятые. Подчинение сил природы, машины, применение химии к земледелию и промышленности, пароходы, железные дороги, электрические телеграфы, распашка целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые как бы из земли выросшие населения — в каком из предшествующих столетий можно было предполагать, что подобные производительные силы дремлют в недрах общественного труда.

Итак, мы видели: средства производства и обмена, которые послужили основанием для развития буржуазии, зародились еще в феодальном обществе. На известной ступени развития этих средств производства и обмена условия, среди которых совершались производство и обмен в феодальном обществе, феодальная организация земледелия и промышленности, словом — феодальные имущественные отношения оказались не соответствующими вызванному к жизни производительным силам. Они мешали производству, а не способствовали ему. Они превратились в столь же многочисленные оковы. Они должны были быть разорваны, и они были разорваны.

Место их заняла свободная конкуренция с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством буржуазии.

На наших глазах происходит подобное же движение. Буржуазные условия производства и сообщения, буржуазные имущественные отношения, современное буржуазное общество, как бы волшебством создавшее такие могущественные средства производства и сообщения, походит на волшебника, который не в состоянии справиться с вызванными его заклинаниями подземными силами. Вот уже несколько десятилетий история промышленности и торговли представляет собой историю возмущения современных производительных сил против современной организации производства, против имущественных отношений, этих условий жизни для буржуазии и ее господства. Достаточно назвать торговые кризисы, которые, возвращаясь периодически, все более и более угрожают существованию всего буржуазного общества. Во время кризисов постоянно уничто-



M a n i f e s t

der

Kommunistischen Partei.

Veröffentlicht im Februar 1848.

Proletarier aller Länder vereinigt Euch!

London.

Gedruckt in der Office der „Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter“
von J. E. Burghard.

46, LIVERPOOL STREET, BISHOPSGATE.

жается значительная часть не только готовых уже продуктов, но и находящихся в распоряжении общества производительных сил. Во время кризисов появляется эпидемия, которая во все предшествовавшие эпохи показалась бы нелепостью, эпидемия излишнего производства. Общество вдруг возвращается на некоторое время в варварское состояние; можно подумать, что голод или всеобщая истребительная война лишили его всех жизненных средств; промышленность и торговля как бы уничтожаются — и почему? Потому, что общество слишком цивилизовано, потому, что оно имеет слишком много жизненных средств, потому, что торговля и промышленность его развиты слишком высоко. Находящиеся в его распоряжении производительные силы не способствуют уже развитию буржуазной цивилизации и буржуазных имущественных отношений; напротив, они стали слишком грандиозными для этих отношений; они встречают в них препятствия, а когда им удается одолеть эти последние, они приводят в расстройство все буржуазное общество, угрожают существованию буржуазной собственности. Буржуазные отношения оказываются слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство. Каким образом буржуазия устраняет кризисы? С одной стороны, путем вынужденного уничтожения целой массы производительных сил; с другой стороны, посредством завоевания новых и более широкой эксплуатации старых рынков. Следовательно, ничем другим, как подготовлением более широких и сильных кризисов и уменьшением средств противодействия им.

Оружие, которым буржуазия на-смерть поразила феодализм, направляется теперь против самой буржуазии.

Но она не только выковала оружие, которое нанесет ей смертельный удар, она также породила и людей, которые направят это оружие — современных рабочих, *пролетариев*.

В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, т. е. капитал, развивается пролетариат, класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее только до тех пор, пока труд их увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные продавать себя в розницу, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому находятся в зависимости от всех случайностей конкуренции, от всех колебаний рынка.

Работа этих пролетариев, благодаря машинам и разделению труда, совершенно лишилась самостоятельного характера и потеряла поэтому всякую привлекательность для рабочих.

Рабочий сделался простым придатком к машине, от которого

требуется лишь ряд самых простых, самых однообразных, легче всего изучаемых движений. Издержки на рабочих ограничиваются поэтому почти одними только средствами существования, в которых он нуждается для своего содержания и поддержания своей расы. А цена всякого товара, следовательно и труда, равняется издержкам его производства. Поэтому, чем более труд теряет свою привлекательность, тем более падает и заработная плата. Даже более: в той же степени, в которой возрастает применение машин и разделение труда, возрастает и тяжесть труда. Это достигается либо при помощи удлинения рабочего дня, или путем увеличения напряжения, требуемого от рабочего в данное время, посредством ускорения движения машин, и так далее.

Современная промышленность превратила маленькую мастерскую патриархального ремесленника в большую фабрику капиталиста. Скученные на фабриках массы рабочих организуются по-солдатски. Как рядовые промышленной армии, становятся они под надзор целой иерархии унтер-офицеров и офицеров. Они рабы не только всего класса буржуазии, буржуазного государства; ежедневно и ежечасно поработаются они машиной, надсмотрщиками, а прежде всего, разумеется, самим буржуа-предпринимателем. И тем мелочнее, тем ненавистнее становится этот деспотизм, тем более оставляет он горечи, чем откровеннее провозглашается нажива его последней целью.

Чем менее ловкости и силы требует ручной труд, т. е. чем более развивается современная промышленность, тем более труд мужской вытесняется трудом женским и детским. По отношению к рабочему классу различие пола и возраста утрачивает всякое общественное значение. Существуют только рабочие инструменты, цена которых изменяется сообразно с возрастом и полом.

Когда фабриканты выжимают все, что можно, из рабочих, и последние получают, наконец, свою заработную плату, на них набрасываются другие части буржуазии: домовладельцы, лавочники, ростовщики и т. д.

Прежние низшие слои среднего сословия, мелкие промышленники, купцы и рантье, ремесленники и крестьяне, все эти классы все более и более опускаются в ряды пролетариата, частью потому, что их незначительный капитал недостаточен для крупного производства и не выдерживает конкуренции больших капиталов, частью потому, что их техническая ловкость теряет свое значение при новых способах производства. Так рекрутируется пролетариат из всех классов населения.

Пролетариат проходит через различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается с самым его существованием.

Сначала рабочие борются по одиночке, потом сплываются рабочие одной фабрики, далее — одной отрасли промышленности в известной местности против отдельных, непосредственно их эксплуатирующих буржуа. Они нападают не только на буржуазные условия производства, но и на самые средства производства: они разбивают машины, уничтожают иностранные конкурирующие товары, поджигают фабрики, они стараются восстановить разрушенное положение средневекового рабочего.

На этой ступени развития рабочие представляют собой рассеянную по всей стране и разьединенную конкуренцией массу. Массовые движения рабочих не являются тогда следствием самостоятельного их сплочения, но вызываются буржуазией, которая, для достижения своих политических целей, должна и пока еще может приводить в движение весь рабочий класс. На этой ступени рабочие борются, следовательно, не с своим собственным неприятелем, они побивают врагов своих врагов — остатки абсолютной монархии, поземельных собственников, непромышленную буржуазию, мелкую буржуазию. Все историческое движение концентрируется, таким образом, в руках буржуазии. Каждая победа, которую удается одержать этим путем, есть победа буржуазии.

Но с развитием промышленности увеличивается не только численный состав пролетариата; он группируется в большие массы, сила его растет, и он все более сознает ее. Интересы и жизненное положение рабочих все более и более приводятся к одному уровню. так как машинное производство все более и более стирает различие между всеми отраслями труда и почти повсюду низводит рабочую плату до одинаково низкого уровня. Усиливающаяся конкуренция предпринимателей и вызываемые ею торговые кризисы обуславливают более сильные колебания заработной платы; непрестанное совершенствование машин, развивающееся с возрастающей быстротой, делает жизненное положение рабочих все менее и менее обеспеченным; столкновения между отдельными работниками и предпринимателями все более и более принимают характер столкновений двух классов общества. Рабочие начинают устраивать коалиции для совместной борьбы против буржуа; совокупными силами отстаивают они свою заработную плату. Они устраивают даже постоянные ассоциации, которые могли бы поддерживать их в минуты активной борьбы. Местами борьба эта переходит в открытые восстания.

Иногда рабочие остаются победителями, но не надолго. Существенным результатом их борьбы является не непосредственный успех, но их все более возрастающая сплоченность. Ей способствует вызываемое развитием крупной промышленности улучшение средств сообщения, которое приводит в соприкосновение рабочих различных местностей. Только это соприкосновение и нужно, чтобы борьбу рабочих отдельных местностей, повсюду носящую один и тот же характер, превратить в национальную классовую борьбу. Но всякая классовая борьба есть борьба политическая. И объединение, для которого средневековым гражданам, с их проселочными дорогами, нужны были столетия, совершается современными рабочими благодаря железным дорогам в немногие годы.

Эта организация пролетариев в отдельный класс, а вместе с тем и в политическую партию, ежеминутно разбивается конкуренцией рабочих между собою. Но она возникает снова и снова, каждый раз крепче, сильнее, могущественнее. Пользуясь взаимными несогласиями различных слоев буржуазии, она добивается признания некоторых интересов рабочих в форме закона. Так было с десятичасовым биллем в Англии.

Несогласия внутри старого общества всегда способствуют, так или иначе, развитию пролетариата. Буржуазия ведет постоянную борьбу: сначала — против аристократии, потом против тех слоев своего класса, интересам которых противоречит развитие крупной промышленности, и постоянно против буржуазии других государств. В каждом из этих случаев буржуазия вынуждена обращаться к пролетариату, просить его помощи и вовлекать его таким образом в политическое движение. Она сама передает, следовательно, пролетариату элементы своего собственного образования, т. е. вручает ему оружие против себя самой.

К тому же, как мы видели, прогресс промышленности толкает целые слои господствующего класса в ряды пролетариата или, по крайней мере, угрожает их условиям существования. Они также являются воспитательным элементом в среде пролетариата.

Наконец, в те периоды, когда борьба классов близится к развязке, процесс разложения в среде господствующего класса, внутри всего старого общества, принимает такой сильный, такой резкий характер, что некоторая часть господствующего класса отделяется от него и примыкает к революционному классу, носителю будущего. Как часть дворянства соединилась некогда с буржуазией, так переходит теперь к пролетариату часть буржуазии, именно буржуа-

идеологи, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения.

Из всех классов, противостоящих теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности; пролетариат же именно ею и создается.

Средние слои, мелкий промышленник, мелкий купец, ремесленник, крестьянин, все они борются против буржуазии, чтобы отстоять свое существование как средних слоев. Следовательно, они не революционны, а консервативны. Более того, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они революционны, то лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не современные, но будущие свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения и становятся на точку зрения пролетариата.

Люмпенпролетариат, этот пассивный продукт разложения самых низших слоев старого общества, местами вовлекается в движение пролетарской революцией, но, по всей своей жизненной обстановке, он гораздо более склонен продавать себя для реакционных козней.

Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизненных условиях пролетариата. Пролетарий не имеет собственности; его отношения к жене и детям не имеют более ничего общего с буржуазными семейными отношениями; современный промышленный труд, современное иго капитала, одинаковое как в Англии, так и во Франции, как в Америке, так и в Германии, стерло с него всякий национальный характер. Законы, мораль, религия являются для него не более, как буржуазными предрассудками, под которыми скрываются те или другие буржуазные интересы.

Все предшествующие пролетариату классы, достигая господства, старались упрочить уже приобретенное ими общественное положение, ставя все общество в условия, наиболее благоприятные для их обогащения. Пролетарии же могут овладеть общественными производительными силами только тогда, когда уничтожат свой собственный, а вместе с тем и все современные способы приобретения имущества. Пролетариям нечего упрочивать, они должны, напротив, разрушать все ранее упрочившиеся способы частного обогащения и частного обеспечения.

Все возникавшие до сих пор движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Движение пролетариата есть самостоятельное движение подавляющего большин-

ства в интересах подавляющего большинства. Пролетариат, самый низший слой современного общества, не может подняться, не может выпрямиться, не уничтожая в прах всю возвышающуюся над ним надстройку из слоев, образующих официальное общество.

Если не по сущности, то по форме борьба пролетариата против буржуазии есть прежде всего борьба национальная. Пролетариат каждой страны, естественно, должен прежде всего покончить с своей собственной буржуазией.

Таким образом, очерчивая самые общие фазы развития пролетариата, мы проследили более или менее скрытую гражданскую войну, происходящую в недрах современного общества, вплоть до того пункта, когда эта война превращается в открытую революцию, и пролетариат, путем насильственного низвержения буржуазии, кладет основание своему господству.

Все донныне существовавшие общества основывались, как мы видели, на противоположности угнетенных и угнетающих классов. Но, чтобы угнетать известный класс, нужно создать условия, среди которых он мог бы, по крайней мере, поддержать свое подневольное существование. Под гнетом лежащего на нем ига крепостной возвысился, однако, до степени члена коммуны, подобно тому как горожанин, несмотря на гнет феодального абсолютизма, вырос до буржуа. Напротив, современный рабочий, вместо того, чтобы возвышаться с прогрессом промышленности, все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится нищим, и нищета развивается еще быстрее, чем население и богатство. Все более делается очевидным, что буржуазия неспособна оставаться господствующим классом и возводить условия своего существования в норму, регулирующую весь общественный строй. Она неспособна к господству, потому что она не может обеспечить своему рабу даже его рабское существование, потому что она вынуждена довести его до такого состояния, в котором она должна кормить его, вместо того, чтобы существовать на его счет. Общество не может более жить под ее властью; другими словами, жизнь буржуазии несовместима с жизнью общества.

Самое важное условие существования и господства буржуазного класса есть накопление богатства в руках частных лиц, образование и умножение капитала. Условие существования капитала есть наемный труд. Наемный труд основывается исключительно на конкуренции рабочих между собою. Прогресс промышленности, безвольным и пассивным носителем которого является буржуазия, ставит на место разъединения рабочих посредством конкуренции

революционное объединение посредством ассоциации. С развитием крупной промышленности вырывается, следовательно, из-под ног буржуазии то самое основание, на котором она производит и присваивает себе продукты. Она производит, прежде всего, своих собственных могильщиков. Ее поражение и победа пролетариата одинаково неизбежны.

II. ПРОЛЕТАРИИ И КОММУНИСТЫ.

В каком отношении стоят коммунисты к пролетариям вообще?

Коммунисты не составляют какой-либо особой партии, противостоящей другим рабочим партиям.

У них нет таких интересов, которые не совпадали бы с интересами всего пролетариата.

Они не выставляют никаких особых принципов, сообразно которым они хотели бы формировать движение пролетариев.

Коммунисты отличаются от других рабочих партий только тем, что: с одной стороны, в движении пролетариев различных партий они выделяют и отстаивают общие, независимые от национальности интересы всего пролетариата; с другой стороны — тем, что на различных стадиях развития, через которые проходит борьба пролетариев против буржуазии, они всегда защищают общие интересы движения в его целом.

Таким образом коммунисты на практике представляют собою самую решительную, всегда толкающую вперед часть рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении они имеют перед остальной массой пролетариата то преимущество, что понимают условия, ход и общие результаты рабочего движения. Ближайшая цель коммунистов та же, что и других рабочих партий: формирование пролетариев в класс, свержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти.

Теоретические положения коммунистов ни в каком случае не основываются на идеях и принципах, открытых и установленных кем или другим обновителем мира.

Они представляют собою лишь общее выражение действительных условий существующей ныне борьбы классов, совершающегося на наших глазах исторического движения. Уничтожение старых форм имущественных отношений не является целью, свойственной исключительно коммунистам.

Имущественные отношения всегда подлежали постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям.

Так, например, французская революция уничтожила феодальную форму собственности в пользу собственности буржуазной.

Характерною особенностью коммунизма является не уничтожение собственности вообще, а уничтожение собственности буржуазной.

Но современная буржуазная частная собственность есть последнее и самое полное выражение способа производства и присвоения продуктов, основанного на антагонизме классов, на эксплуатации одних другими.

В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.

Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим будто бы уничтожить собственность, приобретенную личным трудом, собственность, служащую основанием личной свободы, самостоятельности и самостоятельности.

Заработанная, нажитая, благоприобретенная собственность! Говорите ли вы о мелко-мещанской и о крестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? Нам нечего уничтожать ее: развитие крупной промышленности уничтожило или уничтожает ее ежедневно.

Или вы говорите о современной, буржуазной частной собственности?

Но разве наемный труд, труд пролетария, создает ему собственность? Никогда. Его труд создает капитал, т. е. собственность, эксплуатирующую наемный труд, собственность, которая может умножаться только тогда, когда она создает новый наемный труд, чтобы вновь его эксплуатировать. В ее теперешнем виде собственность основывается на противоположности между капиталом и наемным трудом. Рассмотрим же обе стороны этой противоположности.

Быть капиталистом значит: занимать в производстве не только личное, но и известное общественное положение. Капитал есть продукт общего труда и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов, в последнем счете — всех членов общества.

Следовательно, капитал есть не личная, а общественная сила.

Если поэтому капитал будет обращен в общую, всем членам общества принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится только общественный характер собственности, она потеряет свой классовый характер.

Перейдем к наемному труду.

Средняя цена наемного труда есть минимум заработной платы, т. е. сумма жизненных средств, необходимых для поддержания жизни рабочих. Таким образом, того, что приобретает рабочий своею деятельностью, хватает только для поддержания его существования. Мы вовсе не хотим уничтожить это личное присвоение продуктов труда, необходимых для непосредственного поддержания жизни, это присвоение, которое не оставляет никакого чистого дохода, дающего власть над чужим трудом. Мы хотим только уничтожить нищенский характер этого присвоения, благодаря которому рабочий живет лишь для того, чтобы увеличивать капитал, и живет только до тех пор, пока того требуют интересы господствующего класса.

В буржуазном обществе живой труд есть только средство увеличения накопленного труда. В коммунистическом обществе накопленный труд есть только средство расширить, обогатить, повысить уровень жизни рабочего.

Таким образом, в буржуазном обществе прошедшее господствует над настоящим, в коммунистическом — настоящее над прошедшим. В буржуазном обществе капитал самостоятелен и личен, трудящийся же индивидуум несамостоятелен и безличен.

И уничтожение этих-то отношений буржуазия называет уничтожением личности и свободы! И она права. Речь идет, действительно, об уничтожении буржуазной личности, буржуазной самостоятельности, буржуазной свободы.

При современных буржуазных условиях производства под свободой понимают свободу торговли, свободу купли и продажи.

С падением барышничества падает, конечно, и свободное барышничество. Защита свободного барышничества, как и все буржуазные доводы в защиту свободы, имеет смысл лишь по отношению к не-свободному барышничеству, к подневольному горожанину средних веков, но не по отношению к коммунистическому уничтожению барышничества, буржуазных условий производства и самой буржуазии.

Вы возмущаетесь тем, что мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем теперешнем обществе она уничтожена уже для девяти десятых населения. Она существует именно потому, что не существует для этих девяти десятых. Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим уничтожить такую собственность, необходимой предпосылкой которой является отсутствие ее у огромного большинства членов общества.

Словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. И, действительно, мы хотим этого.

С той минуты, когда работа не будет более превращаться в

капитал, деньги в поземельную ренту, короче — в общественную силу, которая может быть монополизированной, т. е. с той минуты, когда личная собственность не будет превращаться в буржуазную собственность, с этой минуты, заявляете вы, человеческая личность будет уничтожена.

Вы сами сознаетесь, таким образом, что под человеческою личностью вы понимаете только буржуа, обладателя буржуазной собственности. Такая личность, действительно, должна быть уничтожена.

Коммунизм никому не помешает присваивать себе общественные продукты, он устранил только возможность пользоваться этим присвоением для подчинения чужого труда.

Возражают также, что с уничтожением частной собственности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая лень.

Если бы это опасение было основательно, то буржуазное общество давно уже должно было бы разрушиться благодаря всеобщей неохоте к труду; ведь трудящиеся его члены ничего не приобретают, а приобретающие не трудятся. Все эти опасения сводятся к простой тавтологии, что не будет наемного труда там, где не будет более капитала.

Все возражения против коммунистического способа производства и присвоения материальных продуктов распространялись также и на производство и присвоение продуктов умственного труда. Подобно тому как уничтожение классовой собственности представляется буржуазии уничтожением самого производства, так и уничтожение классового характера современного образования кажется ей равносильным уничтожению образования вообще.

Образование, гибель которого буржуазия оплакивает, для огромного большинства является не более, как преобразованием в машину.

Но не спорьте же с нами, оценивая уничтожение буржуазной собственности с точки зрения ваших буржуазных понятий о свободе, образовании, праве и т. д. Ваши идеи сами порождены буржуазными условиями производства и собственности, точно так же, как наше право есть только возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями существования вашего класса.

Эгоистическое представление, при помощи которого вы превращаете ваши производственные и имущественные отношения из отношений, исторически сложившихся и изменяющихся в ходе развития того же производства, в вечные законы природы и разума,

это представление вы разделяете со всеми, прежде вас господствовавшими классами. Когда заходит речь о буржуазной собственности, вы не хотите понять то, что кажется вам понятным, когда говорят о собственности античной или феодальной.

Уничтожение семьи! Даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерением коммунистов.

На чем держится современная буржуазная семья? На капитале, на частной наживе. В совершенно развитом виде она существует только для буржуазии, но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в открытой проституции.

Буржуазная семья, естественно, должна будет пасть вместе с падением этого ее дополнения, и обе они вместе исчезнут с исчезновением капитала.

Упрекнете ли вы нас в том, что мы хотим прекратить эксплуатацию детей родителями? Мы заранее сознаемся в этом преступлении.

Но вы утверждаете, что, заменяя домашнее воспитание общественным, мы уничтожаем самые задушевные отношения.

А разве ваше воспитание не определяется также обществом? Разве не определяется оно общественными отношениями, внутри которых вы воспитываете, прямым и косвенным вмешательством общества, организацией школ и т. д.? Не коммунисты выдумали влияние общества на воспитание; они только меняют характер воспитания, устраняют влияние на него господствующего класса.

Буржуазные разглагольствования о семье и о воспитании, о задушевных отношениях родителей к детям, внушают тем более отвращения, чем более разрушаются все семейные связи в среде пролетариата благодаря крупной промышленности и чем более дети рабочих превращаются в простые предметы торговли и рабочие инструменты.

Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен! — кричит нам хором вся буржуазия.

Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства должны быть предоставлены в общее пользование, и, естественно, приходит к тому заключению, что и женщины подвергнутся той же участи.

Он и не подозревает, что речь идет об устранении того положения женщины, в котором она является простым орудием производства.

Впрочем, нет ничего смешнее высоко нравственного ужаса наших буржуа по поводу воображаемой официальной общности жен коммунистов. Коммунистам не нужно вводить общность жен, она почти всегда существовала.

Не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери пролетариев, не говоря уже об официальной проституции, наши буржуа находят особенное наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга.

В действительности буржуазный брак является общностью жен. Коммунистов можно было бы упрекнуть разве лишь в том, что они хотят поставить официальную, открытую общность жен на место лицемерно скрываемой. Но само собою разумеется, что с уничтожением современных условий производства исчезнет и создаваемая ими общность жен, т. е. официальная и неформальная проституция.

Коммунистов упрекают, далее, в том, что они хотят будто бы уничтожить отечество, национальность.

Рабочие не имеют отечества. Нельзя лишить их того, чего у них нет. Стремясь прежде всего завоевать политическое господство, организоваться в один национальный класс и конституироваться как нация, пролетариат пока все еще остается национальным, хотя совершенно не в том смысле, как понимает это слово буржуазия.

Национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезает благодаря развитию буржуазии, свободе торговли, всемирному рынку, однообразию способов производства и соответствующих им жизненных отношений.

Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Соединение усилий, по крайней мере, цивилизованных стран есть одно из первых условий освобождения пролетариата.

В той же степени, в какой уничтожена будет эксплуатация одного индивидуума другим, уничтожается и эксплуатация одной нации другою.

Вместе с антагонизмом классов внутри нации падут и враждебные отношения наций между собою.

Обвинения, возводимые на коммунистов с точек зрения религиозной, философской и вообще идеологической, не заслуживают более подробного рассмотрения.

Трудно ли понять, что с образом жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытом меняются также и их представления, их воззрения, их понятия, словом, все их сознание?

Что же доказывает история идей, если не то, что умственная деятельность преобразуется вместе с материальной? Господствующими идеями данного времени всегда были только идеи господствующего класса.

Говорят об идеях, которые революционизируют все общество; этим выражается только тот факт, что внутри старого общества образовались элементы нового строя, что рядом с разрушением старых условий жизни идет разложение старых идей.

Когда древний мир пришел в упадок, древние религии были побеждены христианством. Когда христианские идеи уступали место просветительным идеям XVIII века, феодальное общество вело борьбу на жизнь и на смерть с революционной тогда буржуазией. Идеи свободы совести и религии выражали собою лишь господство свободной конкуренции в области знания.

«Но, — скажут нам, — религиозные, нравственные, философские, политические, правовые и т. п. идеи менялись, конечно, в ходе исторического развития; однако религия, нравственность, философия, политика, право всегда сохранялись в этом непрерывном изменении.

«Существуют, кроме того, вечные истины: свобода, справедливость и т. д., которые одинаково принадлежат всем фазам общественного развития. Коммунизм же уничтожает общие истины, он уничтожает религию и нравственность, вместо того, чтобы преобразовать их; он противоречит, следовательно, всему ходу исторического развития».

К чему сводится это обвинение? История всех донныне существовавших обществ основывалась на противоположности классов, принимавшей в различные эпохи различные виды.

Но какую бы форму она ни принимала, эксплуатация одной части общества другою является фактом, общим всем прошлым столетиям. Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря на все различия и на все разнообразие, вращалось до сих пор в известных общих формах, формах сознания, которые исчезнут совершенно лишь с полным уничтожением противоположности классов.

Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв с существующими имущественными отношениями; неудивительно, что она самым радикальным образом разрывает с традиционными идеями.

Оставим, однако, возражения буржуазии против коммунистов.

Мы уже видели выше, что первым шагом рабочей революции должно быть возвышение пролетариата на степень господствующего класса, завоевание демократии.

Пролетариат воспользуется своим политическим господством, чтобы постепенно отнять у буржуазии весь капитал, чтобы центра-

лизовать все орудия труда в руках государства, т. е. организованного в качестве господствующего класса пролетариата, и, по возможности, скорее увеличить массу производительных сил.

Конечно, сначала это может совершиться только путем деспотических вторжений в право собственности и в буржуазные условия производства, следовательно путем мероприятий, которые, с экономической точки зрения, кажутся недостаточными и ненадежными, но которые в ходе движения перерастут самих себя и неизбежны как средство для преобразования всего способа производства.

Эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах.

Однако в наиболее цивилизованных странах могли бы почти повсюду быть приняты следующие общие меры:

1. Экспроприация поземельной собственности и обращение поземельной ренты на покрытие государственных расходов.
2. Высокий прогрессивно-подоходный налог.
3. Уничтожение права наследства.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и бунтовщиков.
5. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и исключительной монополией.
6. Централизация транспорта в руках государства.
7. Увеличение числа государственных фабрик и орудий производства, возделывание и улучшение полей по общему плану.
8. Одинаковая трудовая повинность для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия.
9. Соединение земледельческого труда с фабричным, постепенное уничтожение различия между городом и деревней.
10. Общественное и даровое воспитание всех детей. Устранение фабричной работы детей в современной ее форме. Соединение воспитания с материальным производством и т. д.

Когда, в процессе развития, будут уничтожены различия классов и все производство сосредоточится в руках ассоциированных индивидуумов, общественная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть, в собственном смысле этого слова, есть организованная сила одного класса, имеющая целью подчинение другого класса. Если пролетариат в борьбе против буржуазии необходимо объединяется как класс, путем революции становится господствующим классом и, как господствующий класс, насильственно уничтожает старые условия производства, то вместе с последним он уничтожает также и условия существования антагонизма классов, классы вообще, а тем самым и собственное классовое господство.

Место старого буржуазного общества, с его классами и антагонизмом классов, займет ассоциация, в которой свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех.

III. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Реакционный социализм.

а) Феодальный социализм.

Английская и французская аристократия, по самому историческому ее положению, была призвана писать памфлеты против современного буржуазного общества. Во французской июльской революции 1830 г. и в английском движении в пользу парламентской реформы она еще раз была побеждена ненавистным ей выскочкой. О серьезной политической борьбе не могло быть более и речи. Оставалась только литературная борьба. Но и в литературе говорить языком времен реставрации было уже невозможно.¹ Чтобы приобрести сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что заботится уже не о своих собственных интересах, а составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса. Она доставляла себе таким образом удовольствие сочинять пасквили на своего нового господина и шептать ему на ухо более или менее грозные пророчества.

Так возник феодальный социализм, частью жалоба, частью пасквиль, частью отголосок прошлого, частью угроза будущего, по временам метко поражающий буржуазию горьким, остроумным и едким суждением, но всегда производящий комическое впечатление полною неспособностью понять ход новейшей истории.

Аристократия потрясала нищенской сумой пролетариев, как знаменем, чтобы собрать вокруг себя народ. Но, последовав за нею, он тотчас же замечал на ее спине старые феодальные гербы и разбежался с громким и непочтительным смехом.

Часть французских легитимистов и «молодая Англия» разыграли эту комедию наилучшим образом.

Когда феодалы доказывают, что их способ эксплуатации имел другой вид, чем современная буржуазная эксплуатация, они забывают при этом, что они эксплуатировали при совершенно других, ныне уже вполне отживших, условиях и обстоятельствах. Когда они указывают, что во время их господства не существовало современного

¹ Речь идет не об английской реставрации (1660 — 1689), а о французской (1814 — 1830).—Примечание Энгельса к английскому изданию.

пролетариата, то они забывают, что именно современная буржуазия была необходимым отпрыском их общественного строя.

Впрочем, они так мало скрывают реакционный характер своей критики, что главное обвинение их против буржуазии как раз и состоит в том, что при ее господстве развивается класс, который взорвет на воздух весь старый общественный порядок.

Они упрекают буржуазию гораздо более в том, что она порождает революционный пролетариат, чем в том, что она создала пролетариат вообще.

В политической практике они принимают поэтому участие во всех насильственных мерах против рабочего класса, а в обыденной жизни, вопреки своим напыщенным словоизвержениям, любят подбирать золотые яблоки и не без выгоды обменивают свою «преданность», «любовь», «честь» на гешефты с шерстью, свекловицей и водкой.¹

Как поп шел всегда рядом с феодалами, так и поповский социализм не отстает от феодального.

Нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социалистический оттенок. Разве христианство не ратовало также против частной собственности, против семьи и государства? Разве не проповедывало оно благотворительности и нищенства, безбрачия и умерщвления плоти, затворничества и церкви? Христианский социализм есть святая вода, которою поп кропит озлобление аристократа.

б) Мелкобуржуазный социализм.

Феодальная аристократия — не единственный класс, который был низвергнут буржуазией, условия жизни которого засохли и зачахли в современном буржуазном обществе. Средневековое мещанство и мелкое крестьянство были предшественниками современной буржуазии. В странах, менее развитых в промышленном и торговом отношениях, класс этот и до сих пор прозябает рядом с развивающейся буржуазией.

В тех странах, где развилась современная цивилизация, образовался, как дополнительная часть буржуазного общества, и по-

¹ Это относится главным образом к Германии, где поземельная аристократия и юнкеры при помощи управляющих обрабатывают большую часть своих имений за собственный счет и являются к тому же крупными производителями свекловицы и водки. Более богатая британская аристократия выше этого, но и она прекрасно умеет вознаграждать себя за падение ренты, отдавая свое имя, чтобы покрыть делишки более или менее сомнительных акционерных компаний. — Ф. Э.

стоянно вновь образуется новый слой мелкой буржуазии, колеблющийся между пролетариатом и буржуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата, и они уже начинают предвидеть приближение того момента, когда, с развитием крупной промышленности, они совершенно исчезнут, как самостоятельная часть современного общества, и в торговле, мануфактуре и земледелии будут замещаться надзирателями и прислугой.

В таких странах, как Франция, где крестьянство составляет гораздо более половины всего населения, естественно, что писатели, выступившие в защиту пролетариата против буржуазии, прикладывали к буржуазному режиму мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. Так возник мелкобуржуазный социализм. Сисмонди стоит во главе этого рода литературы не только во Франции, но также и в Англии.

Этот социализм прекрасно умел подметить противоречия современных условий производства. Он разоблачил мишурные прикрасы экономистов. Он неопровержимо доказал разрушительное действие машин и разделения труда, концентрацию капиталов и землевладения, перепроизводство, кризисы, неизбежную гибель мелкой буржуазии и крестьянства, нищету пролетариата, анархию в производстве, вопиющие неправильности в распределении богатства, разорительную промышленную войну наций между собой, разложение старых нравов, старых семейных отношений, старых национальностей.

По своему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с ними и старые имущественные отношения и старое общество; или же он старается насильно удержать новейшие средства производства и обмена в рамках старых имущественных отношений, которые они уже разбили и необходимо должны были разбить. В обоих случаях он является одновременно реакционным и утопическим.

Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское хозяйство являются последним его словом.

В дальнейшем своем развитии направление это выродилось в трусливое нытье.

в) Немецкий или «истинный» социализм.

Социалистическая и коммунистическая литература Франции, возникшая под давлением господства буржуазии и служившая литературным выражением борьбы против этого господства, проникла

в Германию в то время, когда тамошняя буржуазия только-что начала свою борьбу против феодального абсолютизма.

Немецкие философы, полуфилософы и беллетристы с жадностью набросились на эту литературу. Они забыли только, что французские условия жизни не были перенесены в Германию вместе с французской литературой: в общественных условиях тогдашней Германии эта французская литература лишилась всякого непосредственного практического значения и приняла характер простого литературного течения. Она по необходимости явилась там праздным умозрением о воплощении в жизнь человеческой сущности. Так, для немецких философов XVIII века требования первой французской революции имели смысл лишь как требования «практического разума», волеизъявления революционной французской буржуазии представлялись им законами «чистой воли», как она должна быть, истинно-человеческой воли.

Все дело немецких литераторов состояло в том, чтобы согласовать со своей старой философской совестью новые французские идеи, или, вернее, в том, чтобы усвоить себе французские идеи, оставаясь на своей старой философской точке зрения.

Это усвоение совершалось таким же путем, каким происходит усвоение иностранного языка, т. е. посредством перевода.

Известно, что на манускриптах, содержащих в себе классические произведения древнего языческого мира, монахи записывали нелепые жизнеописания католических святых. Немецкие писатели поступили со светской французской литературой как раз наоборот. Под французский оригинал они вписали свои философские бессмыслицы. Так, например, из-под французской критики денежного хозяйства у них проглядывало «отчуждение человеческой сущности», из-под французской критики буржуазного государства проступало «уничтожение господства абстрактно-всеобщего» и т. д.

Эту подмену французских рассуждений философскими словопрениями они окрестили «философией дела», «истинным социализмом», «немецкой наукой социализма», «философским обоснованием социализма» и т. д.

Французская социалистическая и коммунистическая литература была таким образом совершенно выхолощена. И так как в руках немцев она перестала выражать борьбу одного класса против другого, то немцы вообразили, что они преодолели «французскую односторонность», и стали отстаивать вместо истинных потребностей потребность в истине, вместо интересов пролетариата — интересы сущности человека, человека, не принадлежащего ни к какому классу

и существующего поэтому не в действительности, а в небесных туманностях философской фантазии.

Этот немецкий социализм, так серьезно и так торжественно занимавшийся своими тяжеловесными школьными упражнениями, так громко трубивший о них по всему свету, лишился, однако, мало-помалу своей педантической невинности.

Борьба немецкой и особенно прусской буржуазии против феодалов и королевского абсолютизма, — словом, либеральное движение, — приняло более серьезный характер.

«Истинному» социализму представлялся таким образом желанный случай противопоставить политическому движению социалистические требования, расточать традиционные проклятия либерализму, представительному правлению, буржуазной конкуренции, буржуазной свободе слова, буржуазному праву, буржуазной свободе и равенству и пропагандировать народной массе, что в этом буржуазном движении она ничего не может выиграть, но скорее рискует потерять все. Немецкий социализм весьма кстати забывал о том, что французская критика, неразумным отголоском которой он явился, предполагает современное буржуазное общество с соответствующими ему материальными условиями существования и подходящей политической конституцией, т. е. именно те предпосылки, о завоевании которых только еще шла речь в Германии.

Немецким абсолютным правительствам, со всей их свитой попов, школьных учителей, юнкеров и бюрократов, он служил очень удобным пугалом против угрожающе наступавшей буржуазии.

Он составил слащавое дополнение к горьким расправам посредством ударов кнута и ружейных пуль, которыми эти самые правительства отвечали на восстания рабочих.

Если «истинный» социализм стал, таким образом, в руках правительства оружием против немецкой буржуазии, то он и непосредственно представлял реакционные интересы, интересы немецкой мелкой буржуазии.

В Германии мелкая буржуазия, унаследованная еще от XVI столетия и с тех пор постоянно возникающая вновь в той или в другой форме, является настоящей общественной основой существующего порядка вещей.

Сохранение мелкой буржуазии — это сохранение существующего в Германии порядка вещей. Со страхом ждет она от промышленного и политического господства буржуазии своей верной гибели в силу концентрации капитала, с одной стороны, и вследствие развития революционного пролетариата — с другой; — «истинный»

социализм, казалось ей, убивал двух зайцев одним выстрелом. И он распространялся подобно эпидемии.

Сотканный из умозрительной паутины, расшитый причудливыми цветами красноречия, смоченный слезами чувствительного умиления, покров, в который немецкие социалисты облекали свои две-три костлявые «вечные истины», только содействовал сбыту их товаров среди этой публики.

С своей стороны, немецкий социализм все более сознавал, что его призвание — быть высокопарным защитником этого мещанства.

Немецкую нацию он провозгласил нормальной нацией, а немецкого филистера нормальным человеком. В каждую его низость он вкладывал скрытый, высший социалистический смысл, обращавший ее в прямую ее противоположность. Он сделал лишь последний вывод, когда он выступил непосредственно против «грубо-разрушительного» направления коммунизма и провозгласил, что в своем партийном беспристрастии он витает выше всякой борьбы классов. За весьма немногими исключениями, все циркулирующие в Германии так называемые социалистические и коммунистические писания принадлежат к этой грязной расслабляющей литературе.¹

2. Консервативный или буржуазный социализм.

Известная часть буржуазии желает устранить социальные бедствия, чтобы упрочить существование буржуазного общества.

К ней принадлежат экономисты, филантропы, гуманные люди, реформаторы, стремящиеся улучшить положение рабочего класса, организаторы благотворительности, покровители животных, учредители обществ трезвости, крохотные реформаторы всевозможных сортов. Этот буржуазный социализм создал даже целые системы.

Для примера укажем на «Философию нищеты» Прудона.

Буржуазные социалисты хотят сохранить основные условия современного общества, устранив борьбу и опасности, составляющие необходимое их следствие. Они хотят иметь современное общество без революционирующих и разлагающих его элементов. Они хотят буржуазию без пролетариата. Буржуазии естественно кажется лучшим из миров тот мир, в котором она господствует. Буржуазный социализм возводит это радужное представление в более или менее полную систему. Предлагая пролетариату осуществить его системы

¹ Революционная буря 1848 г. унесла все это жалкое направление и отбила у его представителей всякую охоту и впредь заниматься социализмом. Главный представитель и классический тип этого направления г-н Карл Грюн.

и вступить таким образом в новый Иерусалим, этот социализм, в сущности, требует только, чтобы рабочий продолжал жить в буржуазном обществе, но перестал его ненавидеть.

Другая, менее систематическая и более практическая форма этого социализма старается отвратить рабочих от всякого революционного движения, утверждая, что не те или другие политические изменения, а лишь преобразование материальных условий жизни, экономических отношений может принести пользу рабочему классу. Но под преобразованием материальных условий жизни этот социализм понимает вовсе не уничтожение буржуазных условий производства, возможное только путем революции, а административные улучшения, совершающиеся на почве этой же самой организации производства, следовательно ничего не изменяющие в отношениях капитала к наемному труду и, в лучшем случае, только уменьшающие для буржуазии издержки ее господства и упрощающие государственное хозяйство.

Наиболее подходящее для себя выражение буржуазный социализм находит лишь тогда, когда превращается в простую риторическую фигуру.

Свободная торговля в интересах рабочего класса! Покровительственный тариф в интересах рабочего класса! Одинокое тюремное заключение в интересах рабочего класса! Это — единственное искреннее слово буржуазного социализма.

Социализм буржуазии сводится к утверждению, что буржуа сделались буржуа единственно в интересах рабочего класса.

3. Критически-утопический социализм и коммунизм.

Мы не говорим здесь о литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата (сочинения Бабефа и т. д.).

Первые попытки пролетариата доставить непосредственное торжество своим классовым интересам, во время всеобщего возбуждения умов, в период низвержения феодального строя, необходимо должны были разбиться вследствие неразвитого состояния самого пролетариата и недостатка материальных условий его освобождения, которые сами являются продуктом лишь буржуазной эпохи. Революционная литература, сопутствовавшая этим первым движениям пролетариата, по своему содержанию необходимо является реакционной. Она проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнительность.

Собственно коммунистические и социалистические системы Сен-

Симона, Фурье, Оуэна и т. д. возникают в первый, неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией, о котором мы говорили выше. (См. главу «Буржуазия и пролетариат».)

Творцы этих систем видят уже противоречия классов, равно как и влияние разрушительных элементов внутри самого господствующего общества. Но они не видят в пролетариате никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения.

Так как развитие классовых противоречий идет рука об руку с развитием промышленности, то они, не находя в действительности материальных условий освобождения пролетариата, стараются найти социальную науку, социальные законы, чтобы создать эти условия.

Место общественной самодеятельности должна занять их личная творческая деятельность, место исторических условий освобождения должны занять условия фантастические, место постепенно подвигающейся вперед организации пролетариата в класс — общественная организация их собственного изобретения. Дальнейшая история всего мира сводится для них к пропаганде и практическому осуществлению их социальных планов.

При этом они понимают, правда, что со своими планами они являются выразителями интересов главным образом рабочего класса, как более других страдающего класса. Но только в этом качестве более других страдающего класса и существует для них пролетариат.

Неразвитая форма борьбы классов, равно как и собственное их общественное положение приводят к тому, что они считают себя стоящими выше этого антагонизма классов. Они хотят улучшить положение всех членов общества, не исключая и лучше поставленных. Поэтому они обращаются всегда безразлично ко всему обществу и даже преимущественно к господствующему классу. Ведь достаточно понять их систему, чтобы немедленно признать ее наилучшим планом наилучшего общественного устройства.

Они отвергают поэтому всякую политическую и особенно всякую революционную деятельность; они стремятся достигнуть своей цели мирным путем и посредством маленьких, естественно обреченных на неудачи, экспериментов, они хотят, силою примера, проложить путь новому общественному евангелию.

Фантастическое описание будущего общества является в свет в то время, когда пролетариат находится еще в очень неразвитом состоянии и представляет себе свое положение еще совершенно

фантастически, оно возникает из его первого, полного предчувствия, порыва к всеобщему преобразованию общества.

Но в этих социалистических и коммунистических произведениях заключаются также и критические элементы. Они затрагивают все основы существующего общества. Они поэтому доставили драгоценный материал для просвещения рабочих. Положительная сторона их учений о будущем обществе, например уничтожение противоположности между городом и деревней, уничтожение семьи, частной собственности, наемного труда, провозглашение общественной гармонии, превращение государства в простое управление производством, — все эти положения их выражают лишь необходимость устранения того антагонизма классов, который только-что начинает тогда развиваться и известен им лишь в его первичной, бесформенной неопределенности. Потому и положения эти имеют еще совершенно утопический характер.

Значение критически-утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. В той же самой степени, в какой развивается и принимает более определенный характер борьба классов, лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания это фантастическое стремление возвыситься над нею, это фантастически-отрицательное к ней отношение. Поэтому, если основатели этих систем были во многих отношениях революционерами, то их ученики образуют всегда реакционные секты. Они неизменно держатся образа мысли своих учителей, игнорируя весь дальнейший ход развития пролетариата. Вследствие этого они постоянно стараются притупить борьбу классов и смягчить противоречия. Они все еще мечтают об осуществлении своих социалистических утопий на опыте, об учреждении отдельных фаланстеров, об основании коммунистических колоний (Hutkolonien), маленькой Икарии — этого карманного издания нового Иерусалима — и для постройки всех этих выдуманных замков волей-неволей взывают к человеколюбию буржуазных сердец и кошельков. Мало-по-малу они переходят в категорию описанных выше реакционных и консервативных социалистов, отличаясь от них только более систематическим педантизмом и фанатическою верою в чудесные свойства своей социальной науки.

Вот почему с таким ожесточением выступают они против всякого политического движения рабочих, вызываемого, по их мнению, лишь слепым неверием в новое евангелие.

Оуэнисты выступают в Англии против чартистов, фурьеристы — во Франции против реформистов.

IV. ОТНОШЕНИЕ КОММУНИСТОВ К РАЗЛИЧНЫМ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПАРТИЯМ.

После того, что сказано было во второй главе, отношение коммунистов к уже сложившимся рабочим партиям разумеется само собою, а следовательно и отношение их к чартистам в Англии и аграрным реформистам в Северной Америке.

Они борются во имя достижения непосредственно данных целей и интересов рабочего класса, но в современном движении они в то же время представляют и будущность этого движения. Во Франции они примыкают к социалистическо-демократической партии против консервативной и радикальной буржуазии, не отказываясь, однако, от права относиться критически к фразам и иллюзиям, переданным революционной традицией.

В Швейцарии они поддерживают радикалов, ничуть не забывая, что эта партия состоит из противоречивых элементов: частью из демократических социалистов во французском смысле, частью из радикальных буржуа.

Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит аграрную революцию необходимым условием национального освобождения, ту самую партию, которая вызвала краковское восстание 1846 г.

В Германии коммунистическая партия борется совместно с буржуазией, — как только она выступает революционно, — против абсолютной монархии, против феодального землевладения и мелкой буржуазии.

Но ни на минуту не перестает она вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должны принести с собою господство буржуазии, как оружие против нее же самой, чтобы, сейчас же после крушения реакционных классов в Германии, началась борьба против самой буржуазии.

На Германию коммунисты обращают главное свое внимание потому, что она находится накануне буржуазной революции, потому, что она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в Англии XVII и во Франции XVIII столетия. Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции.

Одним словом, коммунисты поддерживают повсюду всякое ре-

волюционное движение, направленное против существующих общественных и политических отношений.

Во всех этих движениях они выдвигают на первый план, как основной вопрос всего движения, вопрос о собственности, независимо от того, приобретает ли он более или менее развитую форму.

Наконец, коммунисты повсюду стремятся к соединению и соглашению демократических партий всех стран.

Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего современного общественного строя.

Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетарии могут потерять в ней только свои цепи. Приобретут же они целый мир.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Ф. ЭНГЕЛЬС. КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС В НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
- К. МАРКС. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. ПРУССКИЙ ЛАНДТАГ И ПРОЛЕТАРИАТ В ПРУССИИ, КАК И В ГЕРМАНИИ ВООБЩЕ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. ПАРЛАМЕНТ АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ.
- Ф. ЭНГЕЛЬС. ХОЗЯЕВА И РАБОЧИЕ В АНГЛИИ.
- АДРЕС ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ.
- УСТАВ СОЮЗА КОММУНИСТОВ.
- ТРЕБОВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ГЕРМАНИИ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ВОПРОС В НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

I.

Немецкая социалистическая литература с каждым месяцем все ухудшается. Она все более и более сводит свою деятельность к широковещательным разглагольствованиям тех *истинных социалистов*, вся мудрость которых заключается в амальгаме немецкой философии и по-немецки простодушной сентиментальности с несколькими искаженными коммунистическими фразами. В ней обнаруживается такое миролюбие, которое дает ей возможность и при цензуре высказывать свои глубочайшие сердечные пожелания. Даже немецкая полиция мало что против нее может возразить — достаточное доказательство того, что это течение принадлежит не к прогрессивным, революционным, а к инертным, реакционным элементам немецкой литературы.

К этим *истинным социалистам* принадлежат не только те, которые называют себя социалистами *par excellence*, но и большая часть писателей в Германии, принявших партийную кличку *коммунистов*. Эти последние еще хуже первых. При таком положении дела само собою разумеется, что эти *soi-disant* коммунистические писатели никоим образом не представляют *партии* немецких коммунистов. Ни партия не признает их своими литературными представителями, ни они не представляют ее интересов. Наоборот, они отстаивают совершенно иные интересы, они защищают принципы, во всех отношениях противоположные интересам коммунистической партии.

Истинные социалисты, к которым, как было упомянуто, принадлежит и большинство немецких *soi-disant* коммунистических писателей, узнали от французских коммунистов, что переход от абсолютной монархии к современному представительному строю вовсе не уничтожает нищеты огромной массы народа, а только отдает власть в руки нового класса — буржуазии. Далее они узнали от них, что именно эта буржуазия, посредством своих капиталов, всего более притесняет народную массу и поэтому является врагом *par excellence*

коммунистов или социалистов, как представителей народной массы. Они не дали себе труда сравнить степень общественного и политического развития Германии со степенью общественного и политического развития Франции или изучить условия, фактически существующие в Германии, условия, от которых зависит все дальнейшее развитие, и поспешили без дальних размышлений перенести в Германию схваченные на лету познания. Если бы они были партийными деятелями, которые стараются достигнуть практического, осязательного результата, которые представляют определенные интересы, общие целому классу, то они, по крайней мере, обратили бы внимание на характер полемики против буржуазии, которую ведут ее противники во Франции, от редакторов «Réforme» до крайних коммунистов, и в особенности на возражения признанного представителя огромной массы французских пролетариев — на полемику старого Кабэ. Им должно было бы броситься в глаза уже то, что эти представители партии не только постоянно касаются вопросов злободневной политики, но даже и к таким политическим мерам, как, напр., проекты избирательных реформ, которые часто не представляют *прямого* интереса для пролетариата, проявляют отношение, далекое от высокомерного пренебрежения. Однако наши истинные социалисты не партийные деятели, а немецкие теоретики. Для них дело идет не о практических интересах и результатах, а о вечной истине. Те интересы, которые они стремятся отстаивать, суть интересы всеобщего разума «человека»; те результаты, к достижению которых они стремятся, ограничиваются «философскими приобретениями». Таким образом, они должны были только согласовать свои новые взгляды со своею философскою совестью, чтобы затем протрубить на всю Германию, что политический прогресс, равно как и всякая политика являются злом, что именно конституционная свобода возводит на трон наиболее опасный для народа класс — буржуазию, и что вообще на буржуазию следует нападать как можно усерднее.

Во Франции уже в продолжение семнадцати лет господство буржуазии настолько полно, как ни в одной другой стране. Итак, выступления французских пролетариев, их партийных вождей и литературных представителей против буржуазии являлись выступлениями против господствующего класса, против существующей политической системы; это были *решительно революционные выступления*. Бесчисленные процессы против печати и против ассоциаций, запрещения собраний и банкетов, сотни полицейских придирок со стороны буржуазии, преследующей реформистов и коммунистов,

доказывают, как хорошо сознает это господствующая буржуазия. В Германии положение дел оказывается совершенно иным. В Германии буржуазия не только не господствует, она является даже опаснейшим врагом существующих правительств. Для этих правительств диверсия, произведенная истинными социалистами, была весьма кстати. Борьба против буржуазии, которая слишком часто влекла за собой для французских коммунистов лишь тюремное заключение или изгнание, не вызвала для наших истинных социалистов ничего, кроме одобрения цензурой. Революционный пыл французской пролетарской полемики остывал в холодной груди немецких теоретиков, приспособляясь к требованиям цензуры, и при этой кастрации являлся для немецких правительств весьма желанным союзником в борьбе против натиска буржуазии. Истинный социализм сумел воспользоваться наиболее революционными из всех когда-либо сформулированных положений, как оградой, защищающей трясину немецкого *status quo*. Истинный социализм насквозь реакционен.

Буржуазия давно заметила эту реакционную тенденцию истинного социализма. Но она просто приняла это направление за литературного представителя немецкого коммунизма и публично и конфиденциально обвиняла *коммунистов* в том, что своей полемикой против конституционного образа правления, судов присяжных, свободы печати, своим криком против буржуазии они только поддерживают правительства, бюрократию, дворянство.

Пора, наконец, немецким коммунистам отклонить от себя эту возлагаемую на них ответственность за реакционные поступки и вожделения истинных социалистов, переложив ее на их виновников. Пора немецким коммунистам, являющимся представителями немецкого пролетариата с его весьма ясными, весьма осязательными потребностями, самым решительным образом отмежеваться от вышеупомянутой литературной клики, — ведь она есть не что иное, как клика, — которая сама не знает, кого она представляет (поэтому против собственной воли она попадает в объятия немецких правительств), которая воображает, что она «представляет человека», и не осуществляет ничего, кроме защиты и обоготворения жалкого немецкого мещанства. В самом деле, мы, коммунисты, не имеем ничего общего с теоретическими фантазиями и щепетильностью этой изворотливой компании. Наши выступления против буржуазии так же решительно отличаются от выступлений истинных социалистов, как отличаются они от выступлений против нее реакционного дворянства, напр. французских легитимистов или Молодой Англии.

Немецкий *status quo* совершенно не в состоянии использовать наши выступления, так как они направлены гораздо более против него, чем против буржуазии. Если буржуазия, так сказать, является нашим *естественным* врагом, тем врагом, падение которого обуславливает господство нашей партии, то в гораздо большей степени наш враг — немецкий *status quo*, так как он стоит между нами и буржуазией и мешает нам нанести удар буржуазии. Поэтому мы никоим образом не исключаем себя из толпы, находящейся в оппозиции к этому *status quo*. Мы образуем лишь наиболее передовую фракцию этой оппозиции, — фракцию, которая в то же время занимает совершенно определенное положение благодаря своим нескрываемым замыслам против буржуазии.

Когда был созван прусский соединенный ландтаг, в борьбе против немецкого *status quo* наступил поворотный пункт. От поведения этого ландтага зависит, продолжится ли существование этого *status quo*, или прекратится. Еще далеко не определившиеся, хаотические и распадающиеся из-за идеологических мудрствований, партии в Германии вынуждены поэтому выяснить себе те интересы, которые они представляют, и ту тактику, которой они должны держаться, оформиться и заняться практической деятельностью. Самая молодая из этих партий, коммунистическая, не может уклониться от этой необходимости. Она также должна выяснить себе свое положение, свой план кампании, свои средства, и первым шагом, ведущим к этому, является отмежевание от старающихся проникнуть в ее ряды реакционных социалистов. Она тем легче может сделать этот шаг, чем она сильнее, чтобы иметь возможность отвергнуть сотрудничество всех компрометирующих ее союзников.

II.

Статус quo и буржуазия.

В Германии *status quo* таков. В то время как во Франции и в Англии буржуазия была настолько сильна, что свергла господство дворянства и добилась положения господствующего класса в государстве, немецкая буржуазия до сих пор еще не могла сделать этого. Хотя она оказывает некоторое влияние на правительства, однако это влияние должно отступать на задний план перед влиянием владеющего землею дворянства во всех тех случаях, когда сталкиваются их интересы. В то время как во Франции и в Англии *города* господствуют над *деревней*, в Германии деревни господствуют над городами, земледелие — над торговлей и промышленностью. Таково

положение дел повсюду, где господствуют землевладельцы, представленные дворянством не только в абсолютных, но и в конституционных монархиях Германии, не только в Австрии и в Пруссии, но и в Саксонии, в Вюртемберге и Бадене.

Причиной этого является отсталость Германии, достигнутая ею ступень цивилизации по сравнению с западными странами. Там торговля и промышленность, а у нас земледелие оказывается главным источником пропитания. Англия не вывозит никаких земледельческих продуктов, а нуждается в постоянном ввозе их из-за границы; Франция ввозит, по крайней мере, столько же земледельческих продуктов, сколько вывозит их, и в основе богатства обеих этих стран лежит главным образом вывоз продуктов их промышленности. Наоборот, Германия вывозит мало продуктов промышленности, но много зерна, шерсти, скота и т. д. Земледелие преобладало еще здесь в то время, когда оформлялся политический строй Германии, т. е. в 1815 г.; значение его тогда увеличилось еще благодаря тому обстоятельству, что падению французской империи способствовали прежде всего те части Германии, в которых преобладало земледелие.

Политическим представителем земледелия в Германии, как и в большинстве европейских стран, является *дворянство*, класс крупных землевладельцев. Политическим строем, соответствующим исключительному господству дворянства, является феодальная система. Феодальная система везде пришла в упадок постольку, поскольку земледелие перестало быть исключительным источником пропитания страны, т. е. постольку на-ряду с деревнями возникли города.

Этим классом, вновь образующимся на-ряду с дворянством и с более или менее зависящими от него крестьянами, является не буржуазия, которая теперь господствует в цивилизованных странах и стремится к господству в Германии, а класс *мелких буржуа*.

Нынешний государственный строй Германии есть не что иное, как компромисс между дворянством и мелкими буржуа, сводящийся к тому, чтобы предоставить управление третьему классу — бюрократии. В формировании этого класса обе высокие договаривающиеся стороны принимают участие соответственно положению той и другой из них: дворянство, представляющее более важную отрасль производства, оставляет за собою более высокие места, мелкая буржуазия удовлетворяется низшими и лишь в исключительных случаях проводит своих кандидатов на высшие места. Там, где бюрократия, как в конституционных государствах Германии, подвергается непосредственному контролю, дворянство и мелкие буржуа

таким же образом распределяют этот контроль между собой, причем дворянство, понятно, и здесь оставляет за собою львиную долю. Мелкие буржуа никогда не могут ни свергнуть дворянство, ни хотя бы даже стать равными ему; им удастся лишь ослабить его. Для того, чтобы свергнуть дворянство, нужен другой класс, интересы которого шире, сфера влияния больше и который проявляет больше решительности и мужества: *буржуазия*.

Буржуазия во всех странах возникла из мелких буржуа вместе с развитием мировой торговли и крупной промышленности при наступившей благодаря им свободной конкуренции и централизации собственности. Мелкий буржуа представляет внутреннюю и прибрежную торговлю, ремесло, мануфактуру, в основе которой лежит ручной труд, — виды промышленной деятельности, приуроченные к ограниченной территории, требующие небольших капиталов, оборот которых совершается медленно, и порождающие лишь местную и вялую конкуренцию. Мелкий буржуа представляет *местные*, буржуа — *всемирные* интересы. Мелкий буржуа находит, что его положение достаточно обеспечено, если при косвенном влиянии на управление государством, на государственное законодательство, он непосредственно принимает участие в провинциальной администрации и если местная муниципальная администрация находится в его руках. Буржуа не может обеспечить свои интересы без непосредственного, непрерывного контроля над центральным управлением, внешней политикой и законодательством своего государства. Классическим продуктом мелкого буржуа были немецкие имперские города; классическим продуктом буржуа является французское государство с представительной системой. Мелкий буржуа консервативен, если только господствующий класс делает ему хотя бы незначительные уступки; буржуа революционен, пока он сам не станет господствовать.

Как же относится немецкая буржуазия к обоим классам, разделяющим между собой политическое господство?

В то время как в Англии с XVII столетия, а во Франции с XVIII столетия образовалась богатая и мощная буржуазия, в Германии о буржуазии может быть речь лишь с начала XIX столетия. Конечно, до тех пор существовали отдельные богатые судовладельцы в ганзейских городах, некоторые богатые банкиры внутри страны, но не существовало класса крупных капиталистов, а всего менее — класса крупных капиталистов-*промышленников*. Создателем немецкой буржуазии был Наполеон. Его континентальная система и свобода промышленности, ставшая необходимой в Пруссии благодаря

давлению с его стороны, дали немцам промышленность и вызвали расширение разработки их рудников. Уже через несколько лет эти новые или развившиеся отрасли промышленности приобрели такое значение, а созданная ими буржуазия добилась такого влияния, что в 1818 г. прусское правительство оказалось вынужденным установить в угоду им покровительственные пошлины. Этот прусский закон об обложении, изданный в 1818 г., был первым официальным признанием буржуазии со стороны правительства. Признали, — правда, с тяжелым сердцем и довольно неохотно, — что буржуазия стала классом, необходимым для страны. Следующей уступкой буржуазии был таможенный союз, отмена внутренних таможенных пошлин. Принятие большей части немецких государств в прусскую таможенную систему, конечно, было первоначально вызвано лишь фискальными и политическими соображениями, но ни для кого оно не оказалось так полезно, как для немецкой, в особенности же для прусской буржуазии. Хотя таможенный союз там и сям доставил дворянству и мелкой буржуазии некоторые частные выгоды, он все-таки в общем гораздо более повредил им благодаря усилению буржуазии, оживлению конкуренции и вытеснению прежних средств производства. С тех пор буржуазия развивалась довольно быстро, особенно в Пруссии. Хотя в течение последних тридцати лет она усилилась далеко не в такой степени, как английская и французская буржуазия, она все-таки ввела большую часть отраслей современной промышленности, вытеснила в некоторых округах крестьянскую и мелкобуржуазную патриархальность, до некоторой степени концентрировала капиталы, породила кое-какой пролетариат и построила довольно значительную железнодорожную сеть. Она, по крайней мере, дошла до того, что теперь должна или идти дальше, т. е. стать господствующим классом, или отказаться от своих прежних завоеваний; дошла до того, что она является единственным классом, который в настоящий момент может осуществлять в Германии прогресс, править в настоящее время Германией. Фактически она уже является руководящим классом страны, и все ее существование зависит от того, станет ли она таковым и юридически.

В самом деле, с усилением буржуазии и с возрастанием ее влияния связано все большее и большее ослабление до сих пор официально господствующих классов. Со времен Наполеона дворянство все более и более беднеет, а его задолженность все возрастает. Выкуп барщин вызвал повышение издержек производства зерновых хлебов и создал для него конкурента в лице нового класса независимых мелких крестьян, а потери дворянства от конкуренции с

ним вовсе не были в достаточной степени возмещены обиранием крестьян при выкупе. Русская и американская конкуренция ограничивает сбыт его зерновых хлебов, австралийская, а в иные годы и южно-русская конкуренция ограничивает сбыт его шерсти. И чем более возрастали издержки производства и конкуренция, тем яснее обнаруживалась неспособность дворянства выгодно обрабатывать свои имения, усвоить новейшие успехи в области земледелия. Подобно французскому и английскому дворянству прошлого века, оно пользовалось развитием цивилизации лишь для того, чтобы по-барски и весело прокутить в больших городах свое состояние. Между дворянством и буржуазией началась та конкуренция общественного и интеллектуального образования, богатства и мотовства, которая везде предшествует политическому господству буржуазии и которая, как и всякая иная конкуренция, оканчивается победой более богатой стороны. Провинциальное дворянство превращается в придворное дворянство, чтобы тем скорее и вернее разориться. Три процента, составлявшие доходы дворянства, не выдержали борьбы против пятнадцати процентов, составлявших прибыль буржуазии; три процента прибегли к получению денег под залог недвижимого имущества в дворянских кредитных кассах и т. д., чтобы иметь возможность производить расходы, соответствующие общественному положению, и только еще скорее разорились благодаря этому. Немногие провинциальные дворяне, которые были достаточно благоразумны, чтобы не разориться, составили вместе с недавно выдвинувшимися буржуазными помещиками новый класс *промышленников-владельцев имений*. Этот класс занимается земледелием без иллюзий, свойственных феодалам, и без дворянской небрежности как отраслью промышленности, подходит к нему, как к коммерческому предприятию, с буржуазными вспомогательными средствами — капиталом, знанием дела и трудом. Он настолько совместим с господством буржуазии, что во Франции совершенно спокойно существует наряду с нею и разделяет с нею господство соответственно своему богатству. Это — эксплуатирующая землю часть буржуазии.

Итак, дворянство стало настолько бессильно, что отчасти уже само перешло к буржуазии.

Мелкие буржуа были слабы уже по сравнению с дворянством; они еще гораздо менее могут устоять в борьбе с буржуазией. Мелкая буржуазия является после крестьянства самым жалким из всех классов, когда-либо игравших роль в истории. Со своими мелкими местными интересами она в свою славнейшую эпоху, в эпоху позднего средневековья, добилась только местных организаций,

местной борьбы и местных успехов, т. е. того, что ее существование терпели на-ряду с существованием дворянства, но она нигде не достигла всеобщего политического господства. С возникновением буржуазии она теряет даже и видимость исторической инициативы. Сдавленная между дворянством и буржуазией, подвергшаяся натиску как политической власти первого, так и конкуренции солидных капиталов последней, она разделяется на две части. Одна часть, состоящая из более богатых мелких буржуа, живущих в больших городах, более или менее нерешительно присоединяется к революционной буржуазии, другая часть, рекрутируемая из более бедных, преимущественно из сельских мещан, цепляется за существующие порядки и поддерживает дворянство всею своею силой инерции. Чем далее развивается буржуазия, тем хуже становится положение этих мелких буржуа. Мало-по-малу и эта вторая часть начинает понимать, что при существующих отношениях ее разорение несомненно, между тем как при господстве буржуазии, при *вероятности* подобного разорения, ей, по крайней мере, открывается *возможность* продвинуться в ряды буржуазии. Чем вернее ее разорение, тем больше перебежчиков переходит из ее рядов под знамена буржуазии. Как только буржуазия достигла власти, среди мелких буржуа снова происходит раскол. Она поставляет рекрутов для всякой буржуазной партии и, кроме того, образует между буржуазией и пролетариатом, выступающим теперь со своими интересами и требованиями, ряд более или менее радикальных политических и социалистических сект, которые можно подробно изучать в английской или во французской палате депутатов и в периодической печати. Буржуазия тяжелой артиллерией своих капиталов, сомкнутыми колоннами своих акционерных обществ напирает на эти недисциплинированные и плохо вооруженные толпы мелких буржуа, и, чем крупнее размер капитала, тем беспомощнее становятся они, тем более беспорядочным становится их бегство, пока для них не остается иного исхода, как стать позади крепко спаянных рядов пролетариата и под его знаменами или сдаться на милость буржуазии. Это занимательное зрелище можно наблюдать в Англии при всяком торговом кризисе, а во Франции — в данное время. В Германии мы дошли лишь до той фазы, когда мелкая буржуазия в момент отчаяния и нужды в деньгах принимает героическое решение отречься от дворянства и довериться буржуазии.

Мелкие буржуа так же неспособны стать господствующим классом в Германии, как и дворянство. Наоборот, они все более подчиняются буржуазии.

Остаются еще крестьяне и неимущие классы.

Крестьяне, под которыми мы здесь разумеем лишь мелких сельских хозяев, арендаторов или собственников, исключая поденщиков и батраков, — крестьяне составляют такой же беспомощный класс, как мелкие буржуа, от которых они, однако, выгодно отличаются тем, что превосходят их храбростью. Но зато они и оказываются совершенно неспособными к какой бы то ни было исторической инициативе. Даже их освобождение от цепей крепостной зависимости совершается только благодаря покровительству буржуазии. Там, где отсутствие дворянства и буржуазии делает возможным их господство, — как, напр., в горных кантонах Швейцарии, в Норвегии, — вместе с крестьянством господствуют до-феодалное варварство, местная ограниченность, тупое, фанатическое ханжество, верность и прямота. Там, где, как, напр., в Германии, на-ряду с ними продолжает существовать дворянство, они, совершенно так же, как и мелкие буржуа, оказываются сжатыми между дворянством и буржуазией. Чтобы защищать интересы земледелия от все возрастающей силы торговли и промышленности, они должны присоединяться к дворянству. Чтобы обеспечить себя от преобладающей конкуренции дворянства и в особенности буржуазных землевладельцев, они должны присоединиться к буржуазии. К какой стороне они окончательно примкнут, зависит от особенностей их владения. Все интересы зажиточных крестьян восточной Германии, которые сами осуществляют некоторые феодальные права над своими батраками, слишком связаны с интересами дворянства, чтобы они могли серьезно отречься от него. Мелкие землевладельцы на западе, возникшие благодаря раздроблению дворянских имений, и мелкие крестьяне на востоке, после выкупа барщин ставшие независимыми мелкими крестьянами, подсудные вотчинной юрисдикции и отчасти даже еще обязанные нести барщину, слишком непосредственно угнетены дворянством или их интересы слишком противоположны его интересам, чтобы они не поддерживали буржуазию. Прусские провинциальные ландтаги доказывают, что это имеет место в действительности.

Итак, к счастью, немыслимо и господство крестьян. Сами крестьяне так мало думают об этом, что теперь уже большей частью подчинились руководству буржуазии.

А неимущие, *vulgo* рабочие классы? Вскоре нам придется говорить о них подробнее; пока же достаточно указать на их раздробленность. Это разделение на батраков, поденщиков, подмастерьев, фабричных рабочих и люмпенпролетариат, в связи с рассеянием на огромной территории с редким населением, с немногими слабыми

центральными пунктами, уже делает для них невозможным взаимное выяснение общности интересов, соглашение, организацию в единый класс. Эта раздробленность и распыление приковывают их лишь к самограничению ближайшими повседневными интересами, к желанию получать хорошую плату за хорошую работу. Это означает то, что они усматривают свой интерес в интересе своих нанимателей, и, таким образом, каждая отдельная часть рабочих становится вспомогательным войском для нанимающего ее класса. Батрак и поденщик поддерживают интересы дворянина или крестьянина, на земле которого они работают. Подмастерья в умственном и политическом отношении находятся в зависимости от своего мастера. Фабричный рабочий дает фабриканту возможность использовать себя во время агитации за покровительственные пошлины. Босяк за пару талеров пускает в ход свои кулаки в драках, вызываемых мелкими столкновениями между буржуазией, дворянством и полицией. И там, где двум классам предпринимателей приходится отстаивать противоположные интересы, между нанимаемыми ими группами рабочих происходит такая же борьба. Вот до какой степени мало подготовлена масса рабочих в Германии к тому, чтобы взять в свои руки руководство общественными делами.

Резюмируем вышеизложенное. Дворянство слишком разорилось, мелкие буржуа и крестьяне по всему их общественному положению слишком слабы, рабочие еще далеко не достаточно зрелы, чтобы иметь возможность выступить в качестве господствующего класса в Германии. Остается только буржуазия.

Убожество немецкого *status quo* заключается главным образом в том, что, при всеобщем отсутствии капиталов, ни один класс до сих пор не был настолько силен, чтобы сделать свою отрасль производства национальной отраслью производства *par excellence* и благодаря этому стать представителем интересов всей нации. Все сословия и классы, которые участвовали в истории с X века, — дворянство, крепостные, крестьяне, несущие барщину, свободные крестьяне, мелкие буржуа, мануфактурные рабочие, буржуа и пролетарии, — существовали одновременно. Те из этих сословий или классов, которые, благодаря своему владению, являются представителями какой-либо отрасли производства, а именно дворянство, свободные крестьяне, мелкие буржуа и буржуа, разделили между собою политическое господство соответственно своей численности, своему богатству и своему участию в общем производстве страны. Результатом этого дележа явилось то, что, как мы упомянули, дворянство получило львиную долю, а мелкая буржуазия меньшую часть;

официально буржуазия принимается на этом основании в расчет лишь как мелкие буржуа, а крестьяне, *крестьянство*, вовсе не считаются, так как они со своим незначительным влиянием принадлежат остальным классам. Режим этот благодаря господству всеобщей слабости, представителем которого является бюрократия, есть политическое выражение всеми презренного бессилия, тупой скуки и грязи немецкого общества. Ему соответствует то, что внутри Германия разорвана на клочки, разделена на 38 местных и провинциальных государств, наконец то, что Австрия и Пруссия также разорваны на клочки, будучи разделены на самостоятельные провинции; по отношению же к другим государствам они обнаруживают позорную беспомощность в борьбе с эксплуатацией и пинками. В основе этого всеобщего убожества лежит полное отсутствие капиталов. Всякий класс в бедной Германии с самого начала носил на себе отпечаток буржуазной посредственности, оказывался бедным и униженным по сравнению с тем же классом других стран. Каким мелкобуржуазным является высшее и низшее немецкое дворянство с XII века на-ряду с богатым, беззаботным, жизнерадостным и решительным во всем своем образе действий французским и английским дворянством! До какой степени мелкими, какими ничтожными и ограниченными местными условиями являются немецкие бюргеры имперских и ганзейских городов на-ряду с мятежными парижскими буржуа XIV и XV веков, на-ряду с лондонскими пуританами XVII века! До какой степени мелкобуржуазными кажутся еще и теперь наши первоклассные промышленники, капиталисты, судовладельцы по сравнению с парижскими, лионскими, лондонскими, ливерпульскими и манчестерскими королями биржи! Даже рабочие классы в Германии сплошь мелкобуржуазны. Таким образом, мелкая буржуазия, при своем униженном общественном и политическом положении, по крайней мере имеет то утешение, что она является нормальным немецким классом и что она передала всем остальным классам свое специфическое унижение и свою нужду, свое убожество.

Как найти выход из этого жалкого положения? Возможен только один путь. *Один* класс должен стать достаточно сильным, чтобы поставить возвышение нации в зависимость от своего возвышения, прогресс интересов всех других классов — в зависимость от прогресса и развития своих интересов. Таким образом *один* класс должен собрать под своими знаменами основные массы всех остальных классов за исключением одного, который благодаря этому становится представителем *status quo* и объединяет вокруг себя

меньшинство остальных классов. Интерес этого одного класса должен для данного момента стать национальным интересом, сам этот класс должен стать представителем нации. С этого момента возникает противоречие между интересами этого класса и вместе с ним большинства нации и политическим *status quo*, который санкционирует уже несуществующие противоречия и ведущие друг с другом борьбу интересы. Политический *status quo* соответствует такому состоянию, которое перестало существовать: противоречию интересов различных классов. Оказывается, что новые интересы стеснены, и даже часть классов, в пользу которых был установлен *status quo*, находит, что его интересы уже не представлены в нем. Уничтожение *status quo* мирным или насильственным путем является необходимым следствием этого. Вместо него наступает господство того класса, который для данного момента является представителем большинства нации, и при его господстве начинается новая стадия развития.

Как отсутствие капиталов лежит в основе *status quo*, всеобщей слабости, так лишь обладание капиталами, их концентрация в руках одного класса, может дать этому классу мощь, нужную для того, чтобы вытеснить *status quo*.

Существует ли этот класс, который может сокрушить *status quo* в Германии? Он существует, конечно, по сравнению с соответствующим классом в Англии и во Франции, в несколько мелкобуржуазной форме, но все-таки он существует, и именно в буржуазии. Буржуазия есть тот единственный класс, который во всех странах уничтожает компромисс, установившийся в бюрократической монархии между дворянством и мелкой буржуазией, и благодаря этому прежде всего завоевывает власть для себя.

Буржуазия есть единственный класс в Германии, к интересам которого, по крайней мере, причастны бóльшая часть промышленных крупных землевладельцев, мелких буржуа, крестьян, рабочих и даже меньшинство дворянства, объединившегося под ее знаменами.

Партия буржуазии является единственной партией в Германии, которая определенно знает, что она должна установить вместо *status quo*, и которая не ограничивается абстрактными принципами и историческими дедукциями, но желает провести весьма определенные и немедленно осуществимые меры; единственной партией, у которой имеются, по крайней мере, местные и провинциальные организации и у которой есть нечто вроде плана кампании, — одним словом, это — та партия, которая прежде всего борется против *status quo* и непосредственно участвует в его низвержении.

Итак, партия буржуазии является единственной партией, которая в ближайшем будущем имеет шансы на успех.

Следовательно, вопрос заключается только в том, необходимо ли для буржуазии завоевать себе власть низвержением *status quo* и достаточно ли она сильна благодаря собственной мощи и благодаря слабости ее врагов для того, чтобы иметь возможность низвергнуть *status quo*?

Мы должны ближе рассмотреть этот вопрос.

Тою частью немецкой буржуазии, которая имеет решающее значение, являются фабриканты. От расцвета промышленности зависит расцвет всей внутренней торговли, гамбургской и бременской, а отчасти и штеттинской морской торговли, банкового дела; от него зависят доходы железных дорог, а следовательно и значительная часть биржевых сделок. Не зависят от промышленности лишь экспортеры зерновых хлебов и шерсти восточных городов и сравнительно незначительный класс импортеров иностранных продуктов промышленности. Итак, потребности фабрикантов представляют собою потребности всей буржуазии и классов, в данный момент зависящих от буржуазии.

Фабриканты в свою очередь разделяются на две категории: первая подвергает сырой материал первоначальной обработке и торгует им в полуготовом виде, вторая принимает его как полуготовый продукт и доставляет его на рынок как готовый товар. К первой категории принадлежат владельцы прядильных, ко второй — ткацких фабрик. К первой категории принадлежат в Германии также и представители металлургической промышленности.

[*Рукою Энгельса: «Стр. 21—24 отсутствуют»*]

Для того, чтобы сделать возможным применение вновь изобретенных вспомогательных средств, получать дешевые машины и сырые материалы, нужна целая промышленная система: для этого нужна тесная связь между всеми отраслями промышленности, нужны приморские города, являющиеся данниками промышленной части страны, удаленной от морей, и ведущие оживленную торговлю. Это положение давно установлено экономистами. Но для такой промышленной системы ныне, когда почти одни англичане не опасаются никакой конкуренции, нужна целая покровительственная система, которая охватывает все отрасли, каким угрожает иностранная конкуренция, и которая должна видоизменяться сообразно положению промышленности. Такой системы не может дать существующее прусское правительство, не могут дать все правительства, заключившие между собой таможенный союз. Таковую систему может установить

и осуществлять только сама правящая буржуазия. Также и поэтому немецкая буржуазия не может далее обходиться без политической власти.

Но такая покровительственная система тем необходимее в Германии, что там умирает мануфактура. Без систематических покровительственных пошлин мануфактура не выдержит конкуренции английских машин, и все те буржуа, мелкие буржуа и рабочие, которым она дает возможность существовать, погибнут. Это является для немецкого буржуа достаточным основанием для того, чтобы предпочитать разорять остатки мануфактуры немецкими машинами. Итак, покровительственные пошлины нужны для немецкой буржуазии и могут быть введены лишь ею самою. Следовательно, уже поэтому она должна овладеть государственной властью.

Не только недостаточно высокие таможенные пошлины, но и *бюрократия* мешает фабрикантам полностью использовать их капиталы. Если в таможенном законодательстве они встречают равнодушные, то здесь, в своих отношениях к бюрократии, они встречают прямую враждебность правительства.

Бюрократия была создана для того, чтобы управлять мелкими буржуа и крестьянами. Эти классы распылены в небольших городах или деревнях, причем их интересы не идут далее самого узкого местного круга, и поэтому им неизбежно свойствен ограниченный кругозор, соответствующий их ограниченному житейским отношениям. Они не могут править большим государством, у них не может быть ни достаточно широкого кругозора, ни достаточных сведений для того, чтобы примирять друг с другом взаимно сталкивающиеся интересы. Именно на *той* ступени развития цивилизации, к которой относится расцвет мелкой буржуазии, различные интересы более всего приходят в столкновение друг с другом (напомним хотя бы о цехах и об их столкновениях). Итак, мелкие буржуа и крестьяне не могут обойтись без могущественной и многочисленной бюрократии и вынуждены допускать существование над ними опеки, чтобы не разоряться благодаря множеству процессов и чтобы избежать этого хаоса.

Но бюрократия, в которой нуждаются мелкие буржуа, вскоре становится невыносимыми оковами для буржуа. Уже при мануфактуре надзор со стороны чиновников и их вмешательство становятся очень стеснительными; фабричная промышленность едва возможна при таком надзоре. До сих пор немецкие фабриканты по мере возможности отделялись от чиновников путем подкупа, чего им никак нельзя поставить в вину. Но это средство избавляет их лишь от

некоторой части бремени; не говоря уже о невозможности подкупить *всех* чиновников, с которыми приходится иметь дело фабриканту, подкуп не избавляет его от посторонних издержек, от уплаты гонорара юристам, архитекторам, механикам и от иных расходов, вызываемых надзором, от работ сверх нормы и от потери времени. И чем более развивается промышленность, тем более появляются «верные долгу чиновники», т. е. такие, которые в силу ли одной лишь ограниченности, или вследствие бюрократической ненависти к буржуазии обнаруживают по отношению к фабрикантам чрезвычайную придирчивость.

Итак, буржуазия вынуждена сломить могущество этой надменной и придирчивой бюрократии. С тех пор как управление государством и законодательство подлежат контролю буржуазии, самостоятельность бюрократии ослабевает; с этих пор мучители буржуазии превращаются в ее покорных слуг. Существовавшие до тех пор регламенты и рескрипты, служившие лишь для того, чтобы облегчать труд чиновников за счет промышленников-буржуа, уступают место новым регламентам, благодаря которым труд промышленников облегчается за счет чиновников.

Буржуазия тем более вынуждена сделать это как можно скорее, что, как мы видели, все ее части принимают непосредственное участие в как можно более быстром развитии фабричной промышленности, а фабричная промышленность не может развиваться при режиме бюрократических придирок.

Подчинение таможенных пошлин и бюрократии интересу промышленной буржуазии является теми двумя мерами, в проведении которых буржуазия заинтересована прямо прежде всего. Однако ее потребности далеко не ограничиваются этим. Она вынуждена подвергнуть всю систему законодательства, администрации и юстиции почти всех немецких государств радикальному пересмотру, так как вся эта система служит лишь для сохранения и поддержания общественного строя, к разрушению которого непрерывно стремится буржуазия. Жизненные условия существования дворянства и условия, при которых дворянство и мелкие буржуа могут существовать рядом друг с другом, совершенно отличаются от жизненных условий существования буржуазии, и лишь дворянство и мелкие буржуа официально признаются в немецких государствах. Рассмотрим, напр., прусский *status quo*. Если мелкие буржуа подчиняются или могли подчиняться как административной бюрократии, так и юридической бюрократии, если они могли доверять свое имущество и свою личную безопасность благоусмотрению и безопасности незави-

симого, т. е. бюрократически-самостоятельного судейского класса, который за это защищал их от посягательств феодального дворянства, а иногда и административной бюрократии, то буржуа не могут делать этого. Буржуа нуждаются для процессов, в которых дело идет о собственности, по крайней мере в гарантии публичности; для уголовных процессов, кроме того, еще и в присяжных, в постоянном контроле юстиции представителями от буржуа. Мелкий буржуа может примириться с медленностью судопроизводства, потому что может примириться с изъятием дворян и чиновников от обыкновенной подсудности, потому что это его официальное унижение вполне соответствует его сравнительно низкому общественному положению. Буржуа, который должен или погибнуть, или добиться того, чтобы его класс занимал высшее положение в обществе и в государстве, не может согласиться с этим. Мелкий буржуа может без ущерба для своего спокойного образа жизни предоставить одному лишь дворянству законодательство в области землевладения; он должен поступать подобным образом, так как он вынужден довольствоваться защитой своих собственных городских интересов от посягательств и влияния дворянства. Буржуа никоим образом не может предоставить урегулирование имущественных отношений в деревне благоусмотрению дворянства, так как полное развитие его интересов требует как можно более промышленной эксплуатации земли, создания класса промышленных сельских хозяев, свободной купли-продажи и мобилизации земельной собственности. Нужда земледельцев в деньгах под залог недвижимых имуществ доставляет буржуа возможность воспользоваться этим и принуждает дворянство согласиться, по крайней мере, на то, чтобы, поскольку дело идет о законах, связанных с этим залогом, буржуазия могла влиять на законодательство о земельной собственности. Если при незначительности своих торговых оборотов и их медленности и при ограниченном количестве своих покупателей, сосредоточенных на небольшом пространстве, мелкий буржуа не особенно страдал от жалкого старо-прусского законодательства о торговле, то буржуа уже не может выносить его. Мелкий буржуа, чрезвычайно простые сделки которого редко являются коммерческими операциями между купцами и почти всегда представляют собою лишь продажи, производимые различными торговцами или производителями товаров непосредственно потребителю, — мелкий буржуа редко становится банкротом и легко может подчиниться старинным прусским законам о банкротстве. По этим законам долги по векселям уплачиваются преимущественно пред всеми другими долгами, значащимися по

записям в книгах, из всей суммы капитала должника, но обыкновенно весь капитал поглощается юстицией. Эти законы составлены прежде всего в интересах бюрократии, затем и в интересах банкиров, раньше других развившихся буржуа, а также дворянства, которое за отправленный зерновой хлеб выписывает вексель на получателя, вообще в интересах бюрократов судебного ведомства, управляющих имуществом должника, а затем и в интересах всех не-буржуа против буржуа. (В особенности этими законами охраняются интересы дворянства, которое выписывает или получает за отправленный им зерновой хлеб векселя на покупателя или на жиранта, — вообще интересы всех тех, которым только раз в год приходится что-нибудь продавать и которые спешат получить выручку по векселю, чтобы этим закончить всю сделку.) Из лиц, занимающихся торговлей, хорошо ограждены опять-таки банкиры и оптовые торговцы, а интересы фабрикантов скорее упускаются из виду. Буржуа, который ведет дела лишь с купцами, покупатели которого живут в разных странах, который получает векселя на весь мир, который должен совершать в высшей степени сложные сделки, который во всякий момент оказывается замешанным в каком-нибудь банкротстве, — этот буржуа может лишь разоряться при таких нелепых законах. Мелкий буржуа интересуется общей политикой своей страны лишь поскольку он хочет мира; его ограниченный кругозор делает его неспособным обозреть отношения между государствами. Буржуа, который ведет коммерческие дела с отдаленнейшими странами или которому приходится конкурировать с ними, не может успешно оперировать без непосредственного влияния на внешнюю политику своего государства.

Мелкий буржуа мог допускать, чтобы бюрократия и дворянство облагали его налогами по тем же причинам, в силу которых он подчинялся бюрократии. Буржуа весьма непосредственно заинтересован в таком распределении налогов, чтобы они как можно менее затрагивали его прибыль.

Одним словом, если мелкий буржуа мог довольствоваться тем, чтобы противопоставлять дворянству и бюрократии свою инертную массу, обеспечить себе некоторое влияние на общественную власть своей *vis inertiae*, то буржуа не может делать этого. Он должен сделать свой класс господствующим, свой интерес имеющим решающее значение в законодательстве, управлении, юстиции, при обложении и в иностранной политике. Буржуазия должна свободно развиваться: ежедневно увеличивать свои капиталы, ежедневно уменьшать издержки производства своих товаров, ежедневно рас-

ширять свои торговые сношения, свои рынки, улучшать свои пути сообщения, *чтобы не погибнуть*. К этому ее побуждает конкуренция на мировом рынке. А чтобы иметь возможность свободно и вполне развиваться, она нуждается именно в политическом господстве, в подчинении всех других интересов своим интересам.

Но рассматривая вопрос о покровительственных пошлинах и о положении, занимаемом немецкой буржуазией по отношению к бюрократии, мы уже доказали, что именно *ныне* она нуждается в политическом господстве для того, чтобы не погибнуть. Убедительнейшим доказательством этого является *нынешнее состояние немецкого денежного и товарного рынка*.

Процветание английской промышленности в 1845 г. и вызванные им железнодорожные спекуляции оказали на этот раз гораздо более сильное воздействие на Францию и на Германию, чем в какой бы то ни было из прежних периодов оживления. Немецкие фабриканты совершили выгодные операции, а вместе с их операциями улучшились и немецкие дела вообще. Земледельческие округа нашли в Англии хороший рынок для своих зерновых хлебов. Общее процветание оживило денежный рынок и привлекло на рынок множество мелких капиталов, из которых в Германии очень многие почти не находят себе применения...

[На стр. 32 рукопись обрывается.]

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

А.

Многу было уже изложено :

1. Заработная плата — цена товара. Итак, определение заработной платы в общем совпадает с общим определением цены.

Человеческая деятельность — товар.

Проявление жизни — жизнедеятельность — является лишь средством; обособленное от этой деятельности явление — целью.

2. Как товар, заработная плата зависит от конкуренции спроса и предложения.

3. Само предложение зависит от издержек производства, т. е. от рабочего времени, необходимого для производства товара.

4. Обратное отношение между прибылью и заработной платой. Противоположность двух классов, экономическое существование которых выражается в прибыли и заработной плате.

5. Борьба за повышение или изменение заработной платы. Рабочие союзы.

6. Средняя или нормальная цена труда, минимум, имеет значение только для класса рабочих, а не для отдельных лиц. Коалиции рабочих для поддержания заработной платы.

7. Влияние отмены налогов, покровительственных пошлин, уменьшения количества бедных и т. д. на заработную плату. Минимум, определяемый в среднем ценою необходимых средств существования.

В.

ДОБАВЛЕНИЯ.

I. Atkinson.

1. Ткачи, работающие на ручных станках (работают по 15 часов в сутки, их полмиллиона).

«Их бедственное положение необходимо обусловливается родом труда, выполнять который легко научиться и которому всегда угрожает опасность быть вытесненным более дешевыми средствами производства. Кратковременное прекращение спроса при столь боль-

шом предложении вызывает кризис. То, что одна отрасль труда становится бесполезной, а другая возникает, вызывает *временные страдания*. Пример ручных хлопчатобумажных ткачей в округе Дакка: умирают с голоду или вынуждены вернуться к сельским работам вследствие конкуренции английских машин». (Выдержка из речи д-ра Bowring'a в палате общин в июле 1835 г.)

(Воспользоваться этим примером перехода от одного занятия к другому для *дискуссии* о свободе торговли.)

2. Сказать кое-что относительно *теории народонаселения*.

3. Влияние изменившегося и более развитого разделения труда на определение заработной платы.

II. Carlyle.

1. Следует принимать в расчет не только количество заработной платы. Ее качество тоже изменяется, определяясь игрой (различных факторов).

2. Преимущество современной заработной платы та, что она выявляет враждебность, противоположность интересов между рабочими и предпринимателем, господство расчета в отношениях с предпринимателем. Уже нет ничего патриархального, как в средние века.

Законы о бедных, истребление крыс, «chargeable labourers» (задолжавшиеся рабочие).

3. Наибольшая часть труда не является квалифицированным (skilled) трудом.

4. Вся мальтузианская и экономическая теория сводится к тому, что рабочие в состоянии изменить спрос тем, что перестанут делать детей.

III. Me. Culloch.

«Поденная плата, которую зарабатывает рабочий, — обычный размер прибыли для собственника машины, называемой человеком, с добавлением времени для восстановления изнашивания машин, или, что то же самое, для замены старых и истощенных рабочих новыми».

IV. John Wade.

1. «Если цель заключается в том, чтобы сделать из рабочего машину, из которой можно извлечь наибольшее количество труда в данном занятии, то нет более действительного способа, чем разделение труда».

2. Понижение заработной платы побуждает рабочих или уменьшать свои расходы, или повышать производительность своего труда, напр. на машинных фабриках (и вообще), если они работают в продолжение большего числа часов, или у ремесленников, ручных ткачей и т. д., когда они больше делают в один и тот же час. Но именно потому, что их заработная плата понизилась, так как уменьшился спрос, они увеличивают предложение в неблагоприятный момент. Вследствие этого заработная плата «падает» еще ниже, а затем являются буржуа и говорят: «если бы эти люди только хотели работать!»

3. Всеобщий закон о том, что не может существовать двух рыночных цен, причем господствует *более низкая* рыночная цена (при одинаковом качестве).

Предположим, что имеется 1000 одинаково искусных рабочих; 50 без хлеба; в таком случае цена определяется не 950 занятыми, а 50 незанятыми.

Однако этот закон *рыночной цены* оказывается более тягостным для товара - труда, чем для других товаров, так как рабочий не может свои товары сложить в кладовую, но должен продолжать свою жизнедеятельность или умереть, лишившись средств существования.

Продажный товар-труд отличается от других товаров в особенности тем, что он по природе своей *является преходящим*, тем, что его нельзя *накапливать*, и тем, что предложение его не может быть так же легко увеличиваемо или уменьшаемо, как это может быть сделано по отношению к другим продуктам.

4. Гуманность капиталистов заключается в том, чтобы покупать как можно больше труда за как можно более дешевую цену. Сельскохозяйственный рабочий получает больше летом, чем зимой, хотя зимой он нуждается в большем количестве пищи, топлива, в более теплой одежде.

5. Напр., отмена воскресенья явилась бы чистой потерей для рабочих. *Хозяева сумели бы изменить* заработную плату, устанавливая ее номинально, но, напр., заставляя работать на четверть часа дольше, вычитая за время на обед и т. п.

6. Заработная плата *определяется* модами, сменой времен года и колебаниями в ходе торговли.

7. Если рабочий, вытесняемый машиной, переходит в другую отрасль труда, то обыкновенно она оказывается *хуже*. Он постоянно возвращается в свое прежнее положение.

Машина и разделение труда заменяют дорогой труд более дешевым.

Рабочим предлагали:

1) сберегательные кассы, 2) научиться выполнять всевозможного рода труд (так, если бы оказался избыток предложения рабочих в одной отрасли труда, то тотчас же во всех).

8. В периоды застоя:

а) прекращение работы, б) понижение заработной платы, с) ту же самую заработную плату при меньшем количестве рабочих дней в неделю.

9. Относительно профессиональных союзов следует заметить:

1) Расходы рабочих (издержки). Изобретение машин вследствие коалиций. [*На полях*: — Иное разделение труда — понижение заработной платы — .]

2. Если бы удалось удержать заработную плату на такой высоте, чтобы прибыль упала значительно ниже средней прибыли в других странах или *чтобы* капитал медленнее возрастал, то промышленность страны разорилась бы, и рабочие вместе с хозяевами, и, более того: произошло бы перемещение фабрик в другие местности.

*

Хотя понижение налога не приносит рабочим никакой пользы, его повышение, наоборот, вредит им. Возрастание налогов в развитых буржуазных странах проявляется в том, что благодаря ему мелкие собственники — крестьяне (ремесленники и т. д.) — разоряются и вливаются в ряды рабочего класса.

*

Влияние ирландцев в Англии, немцев в Эльзасе на заработную плату.

V. Babbage.

Плата товарами (trucksystem).

VI. Andrew Ure.

Всеобщий принцип современной промышленности. Заменять взрослых детьми, искусных рабочих — неискусными, мужчин — женщинами.

Выравнивание заработной платы. Главная отличительная черта современной промышленности.

VII. Rossi.

Г-н Росси полагает:

Фабрикант дисконтирует рабочему лишь долю продукта, потому что рабочий не может ожидать продажи последнего. Первое есть

спекуляция, которая непосредственно не имеет никакого отношения к процессу производства. Если рабочий может сам содержать себя до продажи продукта, то затем он, как *associé*, воспользуется своим правом на причитающуюся ему долю.

Итак, заработная плата не является элементом, необходимо входящим в состав продукта, подобно капиталу и земле. Она является лишь случайным признаком, формой нашего социального состояния. Заработная плата не входит в состав капитала.

Заработная плата не является фактором, необходимым для производства. Она может исчезнуть при другой организации труда.

VIII *Cherbuliez*

1. «Увеличение производительного капитала не влечет за собой непременно увеличения доли, идущей на *approvisionnement* (содержание) рабочих. Количества сырья и машин могут увеличиваться, а доля, идущая на содержание рабочих, уменьшаться.

Процесс труда зависит: а) от абсолютного количества производительного капитала; в) от отношений между различными элементами капитала; — два социальных факта, на которые воля рабочих не может оказывать никакого влияния.

2. Не столько абсолютное *потребление* рабочего, сколько его *относительное* потребление делает его положение счастливым или несчастным. За пределами необходимого потребления *стоимость* нашего наслаждения *по существу дела относительна*».

*

Когда говорят о понижении или повышении заработной платы, никогда не следует упускать из виду всего мирового рынка и положения рабочих в различных странах.

Желания справедливо установить заработную плату, вызываемые стремлением к равенству и иными соображениями.

Минимум заработной платы сам изменяется и всегда все более и более понижается. Пример с водкой.

IX. *Bray*.

Сберегательные кассы.

Тройная машина в руках деспотизма и капитала.

1. Деньги текут обратно в национальный банк. Он получает прибыль, опять давая их в долг капиталистам.

2. Золотая цепь, на которой правительство держит значительную часть рабочего класса.

3. Кроме того, таким путем в руки капиталистов дается новое оружие.

*

Раз заработная плата понизилась, она уже никогда не поднимается до своей первоначальной высоты. Абсолютная и относительная заработная плата.

C.

1. Как влияет рост производительных сил на заработную плату? (Cf. VI, 3.)

Машины. Разделение труда. [*На полях добавлено:* — Относительно конкуренции рабочих с машинами следует заметить, что рабочие, занимающиеся ручным трудом (напр., ручные хлопчатобумажные ткачи), страдают еще более, чем рабочие, непосредственно занятые на фабриках, на которых применяются машины.]

Труд упрощается. Издержки его производства уменьшаются. Он становится дешевле, конкуренция между рабочими возрастает.

Переход от одной отрасли к другой; относительно этого Dr. Bowring говорит о ручных хлопчатобумажных ткачах округа Дакка в Индии в парламенте в 1835 г.

Новый труд, которым вынуждены заниматься рабочие, хуже прежнего. Труд взрослых рабочих заменяется трудом детей, труд мужчин — трудом женщин, труд более искусных рабочих — трудом менее искусных рабочих.

Или увеличивается количество часов труда, или понижается заработная плата.

Конкуренция между рабочими состоит не только в том, что один продает себя дешевле, чем другой, но и в том, что один работает за двоих.

В общем рост производительных сил вызывает такие последствия:

а) положение рабочих, по сравнению с капиталистами, относительно ухудшается, так как стоимость наслаждений относительна. Ведь сами наслаждения суть не что иное, как социальные наслаждения, отношения, соотношения;

б) рабочий становится все более односторонней производительной силой, которая производит в как можно меньшее время как можно больше. Искусный труд все более и более превращается в простой труд;

с) заработная плата все более и более зависит от мирового рынка, положение рабочих (в различных местностях) выравнивается.

d) в производительном капитале доля, приходящаяся на машины и на сырье, возрастает гораздо быстрее, чем доля, идущая на содержание рабочих. Итак, возрастание производительного капитала не сопровождается необходимым возрастанием спроса на труд.

Заработная плата зависит:

а) от массы производительного капитала вообще;

б) от соотношения между его составными частями.

Рабочий не имеет никакого влияния ни на то, ни на другое.

(Если бы не было колебаний заработной платы, то рабочий ничего не выигрывал бы от развития цивилизации, его положение осталось бы неизменным.)

Всякое развитие новой производительной силы оказывается в то же время оружием против рабочих. Напр., всякие улучшения в путях сообщения облегчают конкуренцию рабочих в различных местностях и превращают местную конкуренцию в национальную и т. д.

Удешевление всех товаров, которое, впрочем, не происходит для непосредственных жизненных потребностей, приводит к тому, что рабочий носит лохмотья, составленные из равных кусков, и его нищета окрашивается в цвета цивилизации. Более подробный ответ на этот вопрос дальше — в критике мальтусовой теории.

II. Конкуренция между рабочими и предпринимателями.

а) Для того, чтобы определить относительную заработную плату, следует заметить, что талер для рабочего и талер для предпринимателя имеют не одинаковую стоимость. Рабочий вынужден покупать все хуже и дороже. На его талер можно купить не так много товара и не такой хороший товар, как на талер предпринимателя. Рабочий вынужден быть мотом и покупать и продавать вопреки всем экономическим принципам.

Здесь мы вообще должны заметить, что мы имеем в виду лишь одну сторону, а именно самую *заработную плату*. Но эксплуатация рабочего снова начинается, как только он опять обменивает плод своей работы на другие товары.

Лавочники, залогоприниматели, домовладельцы, — *tout le monde l'exploite encore une fois* (решительно все эксплуатируют его еще раз).

б) Так как предприниматель располагает средствами производства, то он располагает средствами существования рабочего, т. е.

жизнь рабочего зависит от него, если рабочий низводит даже свою жизнедеятельность до простого средства существования.

γ) Товар-труд имеет большие недостатки по сравнению с другими товарами. Для капиталиста при конкуренции с рабочими дело идет только о прибыли, для рабочих — о существовании.

Труд по природе своей более *преходящ*, чем другие товары. Его нельзя накапливать. Предложение его не может быть так же легко увеличиваемо или уменьшаемо, как это может быть сделано по отношению к другим товарам.

Фабричный режим, жилищное законодательство, система платы товарами, когда предприниматель обманывает рабочего, так как он повышает цену товаров, не изменяя номинальной заработной платы.

III. Конкуренция рабочих между собой.

а) По всеобщему экономическому закону не может существовать *двух рыночных цен*. Из 1000 одинаково искусных рабочих заработную плату определяют не 950 занятых, а 50 незанятых. Влияние *ирландцев* на положение *английских рабочих* и немцев на положение эльзасских рабочих.

б) Рабочие конкурируют друг с другом не только тогда, когда один предлагает свой труд за более дешевую плату, чем другие, но и тогда, когда один работает за двоих.

Преимущество неженатых рабочих перед женатыми и т. д. Конкуренция между сельскими и городскими рабочими.

IV. Колебания заработной платы.

Они вызываются:

- 1) изменениями в модах,
- 2) сменой времен года и
- 3) колебаниями в ходе торговли.

В случае кризиса:

а) Рабочим придется уменьшить свои расходы и увеличить производительность своего труда, или работать в продолжение большего количества часов, или изготовлять больше в один и тот же час. Так как их заработная плата понизилась, ибо уменьшился спрос на изготовляемый ими продукт, они делают отношение предложения к спросу еще более неблагоприятным, и тогда буржуа говорит: «если бы эти люди только хотели работать!» Тогда, благодаря чрезмерному напряжению, их заработная плата еще более понижается.

β) В состоянии кризиса:

Полная безработица, понижение заработной платы. Сохранение заработной платы и уменьшение числа рабочих дней.

γ) Во всех кризисах следующее круговое движение по отношению к рабочим:

Предприниматель не может давать занятие рабочим, так как он не может продать свой продукт. Он не может продать свой продукт, так как у него нет покупателей. У него нет покупателей, так как рабочие не могут обменивать ничего, кроме своего труда, и именно поэтому они не могут обменивать свой труд.

δ) Если говорят о повышении заработной платы, то следует заметить, что всегда следует иметь в виду мировой рынок и что повышение заработной платы покупается ценой того, что рабочие в других странах остаются без хлеба.

V. Минимум заработной платы.

1. Заработная плата, которую получает рабочий, есть прибыль, которую приносит собственнику его машина, его тело. Сюда включается та сумма, которая необходима для того, чтобы возместить за изнашивание машины или, что то же самое, чтобы заменить старых, истощенных рабочих новыми.

2. Из минимума заработной платы вытекает, что, напр., отмена воскресенья оказалась бы чистой потерей для рабочих. Он должен был бы зарабатывать свою заработную плату при более тяжелых условиях. Таков смысл предложения тех рабочелюбцев, которые встают против празднования воскресенья.

3. Хотя минимум заработной платы в среднем определяется ценой необходимейших средств существования, однако следует заметить:

во-первых: что минимум в различных странах различен, напр. картофель в Ирландии;

во-вторых: не только это. Сам минимум имеет свое историческое движение и всё более и более понижается до абсолютно наименьшего уровня.

Пример с хлебным вином. Приготавливается сперва как целебное средство, затем, — как настойка, затем, — как водка.

Достижению в действительности самого низкого уровня минимума способствуют, во-первых:

1. Общее развитие машинного производства, разделение труда, распространяющаяся и освобождаемая от местных стеснений конкуренция различных способов труда, затем —

2. Возрастание налогов и рост бюджета, потому что, хотя мы видели, что отмена налога не приносит рабочему никакой пользы, однако введение всякого нового налога вредит ему, пока минимум заработной платы еще не понизился до последних возможных размеров. Так бывает по отношению ко всем расстройствам и затруднениям в гражданских сношениях. Между прочим следует заметить, что рост налогов разоряет мелких крестьян, буржуа и ремесленников.

Примером является и война за освобождение. Развитие промышленности, которая производит более дешевые продукты, суррогаты.

3. Этот минимум стремится к выравниванию в различных странах.

4. Если заработная плата понизилась, а затем опять поднимается, то она все-таки уже никогда не поднимается до своей первоначальной высоты.

Итак, в ходе развития заработная плата понижается двояким образом:

во-первых, относительно, по отношению к развитию общего богатства;

во-вторых, абсолютно, так как количество товаров, которые рабочих получает в обмен, все уменьшается.

5. Так как в процессе развития крупной промышленности время все более и более становится мерилем стоимости товаров, то, следовательно, оно становится и мерилем заработной платы. В то же время производство товара - труда все дешевеет и стоит все меньше и меньше рабочего времени по мере развития цивилизации.

Крестьянин еще располагает свободным временем и может иметь побочный заработок. Но крупная промышленность (не мануфактурная промышленность) уничтожает эту патриархальную идиллию. Таким образом, всякий момент жизни существования рабочего все более и более становится предметом эксплуатации.

(...Затем еще следующие главы:

1. Предложения относительно улучшения положения рабочих. Мальтус, Росси и т. д. Прудон, Вейтлинг.

2. Рабочие союзы.

3. Положительное значение наемного труда.

VI. Предлагаемые реформы.

I. Одной из наиболее излюбленных реформ является система *сберегательных касс*.

Мы не станем говорить о том, что большая часть рабочих не имеет возможности сберегать.

Цель, — по крайней мере, точный экономический смысл сберегательных касс, — должна заключаться в том, чтобы путем предусмотрительности и благоразумия самих рабочих они уравнивали благоприятное для труда время неблагоприятным, чтобы, следовательно, рабочие таким образом распределяли свою заработную плату в том цикле, который совершает промышленное движение, чтобы в действительности их расходы никогда не превышали минимума заработной платы, расходов на самое необходимое для жизни.

Но мы видели, что не только именно колебания заработной платы вызывают революционность рабочих, но что, без временного повышения ее по сравнению с минимумом, рабочего совершенно не затрагивали бы возрастание производства, общественного богатства, цивилизации, следовательно для него не было бы никакой возможности освобождения. Таким образом, рабочий сам должен превратить себя в буржуазную счетную машину, возвести скупость в систему и придать босячеству неизменный консервативный характер.

Кроме того, система сберегательных касс является тройным орудием капитала и деспотизма.

1. Сберегательная касса есть золотая цепь, на которой правительство держит значительную часть рабочего класса. Таким образом, они не только оказываются заинтересованными в сохранении существующего строя. Не только возникает разлад между частью рабочего класса, участвующей в сберегательных кассах, и частью, не участвующей в них.

2. Таким образом, рабочие сами дают своим врагам оружие для сохранения существующей, поработавшей их организации общества.

3. Деньги текут обратно в национальный банк, последний опять дает их в заем капиталистам, банк и капиталисты делят между собой барыши и, таким образом, благодаря деньгам, которые ссудил им народ, получающий на них ничтожный процент, увеличивают свой капитал, — который, именно лишь благодаря централизации, становится могучим рычагом промышленности, — увеличивают свою непосредственную власть над народом.

II. Другой излюбленной буржуазной реформой является *образование*, в особенности всестороннее промышленное воспитание.

Мы не станем указывать на нелепое противоречие, заключающееся в том, что современная промышленность все более и более заменяет сложный труд более простым, для которого не нужно никакого образования, что она все более и более принуждает к машинному труду детей с семилетнего возраста и обращает их в источники дохода не только для буржуазного класса, но и для их собственных ро-

дителей, пролетариев. Фабричная система препятствовала проведению законов о школьном обучении, напр. в Пруссии. Мы не станем указывать на то, что умственное образование, если бы рабочий получал его, нисколько не влияло на его заработную плату, что образование вообще зависит от условий жизни, что буржуа разумеет под нравственным воспитанием вдальблывание буржуазных принципов и что, наконец, у буржуазного класса нет средств дать народу настоящее образование, а если бы у него и имелись эти средства, то он не стал бы применять их.

Мы ограничимся тем, что обратим внимание только на одно чисто экономическое соображение.

Подлинный смысл, который образование имеет у филантропических экономистов, таков: обучить всякого рабочего как можно большему количеству родов труда, так что, если бы он был выброшен, благодаря применению новых машин или изменению в разделении труда, из одной отрасли труда, то он как можно легче мог бы найти место в другой отрасли.

Допустим, что это возможно:

Следствием этого явилось бы то, что, если бы в одной отрасли труда оказался избыток рук, то избыток тотчас же получился бы во всех других отраслях труда, и понижение заработной платы в одном производстве еще больше, чем прежде, непосредственно вызывало бы всеобщее понижение заработной платы.

Уже и без того, — так как современная промышленность повсюду весьма упрощает труд и делает его таким, что легко научиться выполнять его, — повышение заработной платы в одной отрасли промышленности тотчас же вызовет прилив рабочих в эту отрасль промышленности, и понижение заработной платы более или менее непосредственно примет всеобщий характер.

Конечно, мы не можем разбирать здесь мелкие паллиативы, предлагаемые буржуазией.

III. Но мы должны коснуться третьего предложения, которое вызвало и постоянно вызывает на практике важные результаты. — *мальтусовой теории.*

Вся эта теория, поскольку мы должны рассмотреть ее здесь, сводится к следующему:

а) Высота заработной платы зависит от отношения рабочих рук, которые предлагают свой труд, к рабочим рукам, которые требуются.

Заработная плата может возрасти двояким образом.

Или, если капитал, приводящий рабочие руки в движение,

возрастает так быстро, что спрос на рабочих увеличивается быстрее — в быстрее возрастающей прогрессии, чем их предложение;

или, во-вторых, когда народонаселение возрастает так медленно, что конкуренция между рабочими остается слабой, хотя производительный капитал не возрастает быстро.

На одну сторону отношения, на рост производительного капитала вы, рабочие, не можете оказывать никакого влияния.

Но вы можете оказывать влияние на другую сторону.

Вы можете уменьшать предложение со стороны рабочих, т. е. конкуренцию между рабочими, производя как можно меньше детей.

Для выяснения всей глупости, низости и лицемерия этой доктрины, достаточно следующих замечаний:

β. (Это следует добавить к I: как влияет (относится) рост производительных сил на заработную плату?)

Заработная плата увеличивается, когда увеличивается спрос на труд. Этот спрос увеличивается, когда возрастает капитал, приводящий труд в движение, т. е. когда увеличивается производительный капитал.

Но по поводу этого следует сделать два важных замечания:

Во-первых: главным условием для повышения заработной платы является рост производительного капитала и как можно более быстрое возрастание его. Итак, главным условием для того, чтобы рабочий находился в сносном положении, является то, чтобы он более и более понижал свое положение по сравнению с буржуазным классом, чтобы он как можно более усиливал своего врага — капитал. Это означает: его положение может быть сносно лишь при том условии, чтобы он порождал и усиливал враждебную ему силу, свою противоположность. При этом условии, когда он создает эту враждебную ему силу, к нему притекают от последней средства, дающие занятие, которые снова обращают его в часть производительного капитала и в рычаг, который усиливает последний и ускоряет его рост.

Между прочим следует заметить, что если понятно это отношение между капиталом и трудом, вполне *выясняется* смехотворность фурьеристских и иных попыток достигнуть соглашения.

Во-вторых: после того как мы таким образом вообще выяснили это извращаемое отношение, к этому присоединяется второй, еще более важный элемент.

А именно, что означает выражение: рост производительного капитала и при каких условиях он происходит?

Рост капитала означает накопление и концентрацию капитала.

По мере того как капитал накапливается и концентрируется, он вызывает:

труд во все возрастающем масштабе и, следовательно, иное разделение труда, которое еще более упрощает труд;

затем введение машин во все возрастающем масштабе и введение новых машин.

Итак, это означает, что, по мере того как возрастает производительный капитал, возрастает конкуренция между рабочими, так как разделение труда упрощается, и всякая отрасль труда становится доступной для каждого.

Далее, конкуренция между ними возрастает, так как им в такой же степени приходится конкурировать с машинами, и машины отнимают у них хлеб. Следовательно, так как концентрация и накопление производительного капитала все более и более увеличивают размеры производства, так как, далее, благодаря конкуренции между прилагаемыми капиталами процент на капитал все более и более понижается, то этим вызывается то, что мелкие промышленные предприятия гибнут и не могут выдерживать конкуренции с крупными. Целые слои буржуазного класса вливаются в ряды рабочего класса. Итак, конкуренция между рабочими увеличивается благодаря разорению мелких предпринимателей или она роковым образом связана с ростом производительного капитала.

И в то же время, так как размер процента понижается, мелкие капиталисты, прежде не принимавшие прямого участия в промышленности, оказываются вынужденными становиться предпринимателями, т. е. доставлять еще новые жертвы, приносимые крупной промышленностью. Следовательно, и с этой стороны численность рабочего класса увеличивается, и конкуренция между рабочими усиливается. Так как рост производительных сил вызывает увеличение масштаба труда, то временное перепроизводство становится все более и более неизбежным, мировой рынок все более и более обширным, при все более и более всеобщей конкуренции. Итак, кризисы становятся все более и более острыми. При столь внезапном средстве, побуждающем рабочих к вступлению в брак и к размножению, они скучиваются огромными массами, концентрируются, и их заработная плата все более и более колеблется. Итак, всякий новый кризис непосредственно вызывает значительное усиление конкуренции между рабочими.

Вообще, рост производительных сил, с более скорыми сообщениями, с ускоренным обращением, судорожным оборотом капиталов, состоит в том, что в одно и то же время может быть произведено больше

и, следовательно, по закону конкуренции, должно быть произведено больше. Это означает, что производство происходит при все более и более тяжелых условиях, и для того, чтобы можно было выдержать конкуренцию при этих условиях, приходится работать во все большем масштабе, капитал все больше должен концентрироваться в руках нескольких лиц. И для того, чтобы это производство в большем масштабе оказывалось выгодным, разделение труда и машинное производство должны развиваться беспрестанно и несоразмерно.

Это производство при все более и более тяжелых условиях распространяется и на рабочего как на часть капитала. Он должен производить при все более и более тяжелых условиях, т. е. за все уменьшающуюся заработную плату, и, при большем количестве труда, за все удешевляющиеся издержки производства. Таким образом, самый минимум все более и более сводится к большему напряжению сил при минимуме наслаждения жизнью.

Итак, рост производительных сил усиливает власть крупного капитала, способствует опрощению и упрощению машины, называемой рабочим, вызывает усиление непосредственной конкуренции между рабочими благодаря более развитому разделению труда и применению машин, благодаря премии, которую по существу получает машинное производство, благодаря конкуренции разорившихся слоев буржуазии и т. д. [*На полях:* — Отношение возрастает геометрически, не арифметически.]

Мы можем формулировать это еще проще: производительный капитал состоит из трех составных частей:

- 1) из сырья, которое подвергается обработке;
- 2) из машин и такого сырья, как уголь и т. д., которые нужны для приведения машин в действие, строений и т. д.
- 3) из той части капитала, которая назначается на содержание рабочих.

Как же относятся друг к другу при росте производительного капитала эти три его составные части?

С ростом производительного капитала связана его концентрация, а с нею то, что он может доставлять прибыль лишь при эксплуатации в большем масштабе.

Итак, значительная часть капитала будет прямо превращена в орудие труда и функционировать как таковое, и чем более возрастают производительные силы, тем больше будет эта непосредственно превращаемая в машины часть капитала.

Рост машинного производства, равно как и разделение труда, вызывают то, что в более короткое время может быть произведено

несравненно больше. Следовательно, в том же отношении должен возрастать и запас сырья. При росте производительного капитала непременно возрастает часть капитала, которая назначается на содержание рабочих, т. е. обращается в заработную плату.

Как же относится рост этой части производительного капитала к двум другим частям?

Результатом более развитого разделения труда является то, что один рабочий производит столько же, сколько прежде 3, 4, 5. Благодаря машине получается то же самое отношение в несравненно большем масштабе.

Прежде всего, само собой разумеется, что рост частей производительного капитала, превращенных в машины и в сырье, не сопровождается подобным же ростом части капитала, назначенной на заработную плату. Ведь в таком случае не достигалась бы цель применения машин и более развитого разделения труда. Итак, отсюда непосредственно вытекает, что часть производительного капитала, назначенная на заработную плату, не возрастает в такой же степени, как часть его, назначенная на машины и на сырье. Более того. В той же степени, в какой возрастает производительный капитал, т. е. сила капитала как такового, возрастает и несоразмерность между капиталом, вложенным в сырье и машины, и капиталом, издерживаемым на заработную плату. Это должно означать, таким образом, что последняя часть капитала становится все меньше по сравнению с частью капитала, функционирующего как машины и сырье.

После того как капиталист вложил в машины все более и более значительный капитал, он вынужден употреблять более значительный капитал на покупку сырья вообще и сырья, необходимого для того, чтобы машины функционировали. Но если он прежде давал занятие 100 рабочим, то теперь ему, может быть, понадобятся только 50. Иначе ему пришлось бы, может быть, еще раз удвоить другие части капитала, т. е. еще увеличить несоразмерность. Итак, он рассчитывает 50, или же 100 должны будут работать за ту же цену, как прежде 50. Следовательно, на рынке оказываются излишние рабочие.

При усовершенствованном разделении труда придется увеличить лишь капитал, расходуемый на приобретение сырья. Трех рабочих, может быть, заменит один.

Но в благоприятнейшем случае капиталист настолько расширяет свое предприятие, что он не только может сохранить прежнее число рабочих, — и, конечно, он не станет ждать до тех пор, пока он окажется в состоянии сделать это, — но даже еще увеличивает их число; тогда, следовательно, пришлось бы чрезвычайно расширить

производство, чтобы сохранить то же самое число рабочих или даже еще иметь возможность увеличить его. И отношение числа рабочих к производительным силам стало соответственно бесконечно более несоразмерным. Это ускоряет перепроизводство, и при ближайшем кризисе большее, чем когда либо, число рабочих лишается работы.

Итак, общий закон, необходимо вытекающий из природы отношения между капиталом и трудом, таков, что при росте производительных сил та часть производительного капитала, которая превращается в машины и в сырье, т. е. капитал как таковой, возрастает несоразмерно по сравнению с той частью, которая назначается на заработную плату, т. е., другими словами, рабочим приходится делить между собой все уменьшающуюся по сравнению со всей массой производительного капитала часть этого капитала, следовательно их конкуренция все усиливается. Другими словами: чем более возрастает производительный капитал, тем более уменьшаются относительно средства, идущие на то, чтобы доставлять занятие рабочим и средства существования для рабочих, тем быстрее возрастает, другими словами, рабочее население по отношению к средствам, идущим на то, чтобы доставлять ему занятие. И притом эта несоразмерность возрастает в той же степени, в какой возрастает производительный капитал вообще.

Для того, чтобы прекратить вышеуказанную несоразмерность, он должен увеличиваться в геометрической прогрессии. И чтобы ватем восстановить равновесие во времена кризиса, он еще более увеличивается.

Этот закон, вытекающий просто из отношения рабочего к капиталу и, следовательно, обращающий даже благоприятнейшее для него состояние — быстрый рост производительного капитала, — в неблагоприятное, буржуа превратили из общественного закона в закон природы, утверждая, что по закону природы народонаселение вырастает быстрее, чем средства, идущие на то, чтобы доставлять ему занятие или средства существования.

Они не поняли, что рост производительного капитала подразумевает рост этого противоречия.

Впоследствии мы вернемся к этому.

[Производительные силы, в особенности общественные силы самих рабочих, не являясь вознаграждением для них, даже направляются против них. — *Прибавлено после.*]

γ) Первая нелепость.

Мы видели, что если производительный капитал возрастает, —

благоприятнейший случай, который предполагают экономисты, — если, следовательно, спрос на труд соответственно возрастает, то из характера современной промышленности, и из природы капитала вытекает, что средства, идущие на то, чтобы доставлять занятие рабочим, не возрастают в такой же степени; что те же обстоятельства, которые вызывают рост производительного капитала, еще быстрее заставляют расти несоответствие между предложением и спросом, — словом, что рост производительных сил в то же время вызывает возрастание несоразмерности между рабочими и средствами, идущими на то, чтобы доставлять им занятия. Это не зависит ни от увеличения количества средств существования, ни от народонаселения. Будучи рассматриваемо само по себе, это необходимо вытекает из природы крупной промышленности и из отношения между трудом и капиталом.

Но если производительный капитал возрастает лишь медленно, если он остается неизменным или даже уменьшается, то количество рабочих всегда оказывается слишком большим по отношению к спросу на труд.

В обоих случаях, в самом благоприятном и в самом неблагоприятном, из отношения между трудом и капиталом, из самой природы капитала вытекает, что предложение рабочих всегда будет превышать спрос на труд.

δ) Не говоря уже о той бессмыслице, что рабочий класс не может принять решение не производить детей; наоборот, его положение делает половое влечение главным его наслаждением и односторонне развивает его.

После того как буржуазия довела существование рабочего до минимума, она еще хочет ограничить минимумом его воспроизведение.

ε) Но до какой степени несерьезно относится буржуазия к этим фразам и советам, вытекает из следующего:

во-первых, современная промышленность, заменяя взрослых детьми, поощряет деторождение;

во-вторых, крупная промышленность всегда нуждается в резервной армии незанятых рабочих для периодов перепроизводства. Ведь главная цель буржуа по отношению к рабочим вообще заключается в том, чтобы как можно дешевле получить товар-труд, что возможно лишь в том случае, если предложение этого товара как можно более превышает спрос на него, т. е. когда оказывается налицо наибольшее перенаселение.

Следовательно, перенаселение соответствует интересам буржуазии, и она подает рабочим благой совет, зная, что он невыполним.

г) Так как капитал возрастает только тогда, когда он доставляет занятие рабочим, то возрастание [*пропуск в рукописи: — капитала*] предполагает увеличение численности пролетариата, и, как мы видели, соответственно природе отношения между капиталом и трудом, размножение пролетариата должно происходить относительно еще быстрее.

х) Однако вышеупомянутая теория, которую любят выражать как закон, гласящий, что народонаселение возрастает быстрее, чем средства существования, тем приятнее для буржуа, что она успокаивает его совесть, вменяет ему безжалостность в нравственную обязанность, выдает результаты, вытекающие из общественного строя, за результаты, вытекающие из природы, и, наконец, дает ему возможность спокойно смотреть на гибель пролетариата, умирающего от голода, как на другие естественные явления, не волнуясь, а, с другой стороны, возлагать ответственность за нищету пролетариата на него самого и наказывать его за нее. Ведь пролетариат может разумом сдерживать естественный инстинкт и нравственным контролем препятствовать вредному проявлению закона природы.

л) Применением этой теории можно считать законодательство о бедных. Истребление крыс, мышьяк, рабочие дома, пауперизм вообще, ступальная мельница снова появляются в пределах цивилизации. Варварство вновь появляется, но оно порождается из лона самой цивилизации и принадлежит ей; поэтому получается варварство, зараженное проказой, варварство как проказа цивилизации. Рабочие дома. Бастилии для рабочих. Отделение жен от мужей.

4) Теперь нам предстоит вкратце упомянуть о тех, которые хотят улучшить положение рабочих путем иного определения заработной платы. — Прудон и Вейтлинг.

5) Наконец, из замечаний экономистов-филантропов о заработной плате следует отметить еще один взгляд.

а) Из других экономистов Росси развивал следующие взгляды: Фабрикант всегда дисконтирует рабочему его долю продукта, потому что рабочий не может ожидать продажи последнего. Если бы рабочий мог сам содержать себя до продажи продукта, то затем он, как *associé*, воспользовался бы своим правом на причитающуюся ему долю. [*На полях: — как между капиталистами в собственном смысле слова и промышленными капиталистами.*] Следовательно, то, что доля рабочего имеет форму именно заработной платы, является случайностью, оказывается результатом спекуляции, особого акта, совершающегося на ряду с процессом производства и вовсе не являющегося элементом, необходимо входящим в его состав. Заработная

плата есть лишь случайная форма нынешнего социального строя. Она не составляет необходимой части капитала. Она не является фактом, необходимым для производства. Она может исчезнуть при другой организации общества.

β) Все это рассуждение сводится к следующему: если бы рабочие владели достаточным количеством накопленного труда (т. е. достаточным количеством капитала), чтобы не быть вынужденными непосредственно жить продажей своего труда, то форма заработной платы исчезла бы. Это означает: если бы все рабочие были в то же время капиталистами, т. е., следовательно, это значит предполагать и сохранять капитал без противоположности наемного труда, без которого он не может существовать.

γ) Впрочем, это приходится допустить и это следует иметь в виду. Заработная плата не является случайной формой буржуазного производства, а все буржуазное производство есть переходящая историческая форма производства. Все его отношения — капитал, как и заработная плата, как и торговля и т. д. — являются переходящими и устранимыми на известной стадии развития.

VII. Рабочие союзы.

Один из пунктов теории народонаселения имел в виду уменьшение конкуренции между рабочими. Цель союзов заключается в том, чтобы *уничтожить* конкуренцию и заменить ее *объединением* рабочих.

Возражения экономистов против союзов правильны:

1) Издержки, которые они требуют от рабочих, в большинстве случаев превышают доходы, которые они хотят получить. Они не могут долго сопротивляться законам конкуренции. Эти коалиции вызывают появление новых машин, нового разделения труда, перемещение производства из одной местности в другую. Результатом всего этого является понижение заработной платы.

2) Если бы коалициям удалось в одной стране поддерживать цену труда на такой высоте, чтобы прибыль значительно понизилась по сравнению со среднюю прибылью в других странах или чтобы был задержан рост капитала, то результатом этого явились бы застои и регресс в промышленности, и рабочие были бы разорены вместе со своими предпринимателями, потому что таково, как мы видели, положение рабочего. Его положение ухудшается скачками, если производительный капитал возрастает, и он по существу дела разоряется, если капитал уменьшается или остается неизменным.

3) Все эти возражения буржуазных экономистов, как мы упомянули, верны, но они верны лишь с их точки зрения. Если бы в

рабочих союзах действительно дело шло только о том, о чем оно, по-видимому, и идет, а именно об определении заработной платы; если бы отношение между трудом и капиталом оказывалось вечным, то эти коалиции потерпели бы крушение в борьбе с необходимым ходом вещей. Но они являются средством объединения рабочего класса, подготовки к разрушению всего старого общества с его классовыми противоречиями. И с этой точки зрения рабочие правы, осмеивая мудрых буржуазных педагогов, заранее вычисляющих им, каковы будут их потери убитыми и ранеными и денежные затраты в этой гражданской войне. Тот, кто хочет победить врага, не станет рассуждать с ним о военных издержках. И о том, что рабочие вовсе не так бесчувственны, свидетельствует экономистам даже тот факт, что лучше всего оплачиваемые фабричные рабочие организуют первые коалиции и что рабочие употребляют все, что они могут сберечь из своей заработной платы, на образование политических и промышленных союзов и на поддержку этого движения. И если господа буржуа и их экономисты, занимающиеся пусканием филантропических мыльных пузырей, так любезны, что они допускают, чтобы в минимум заработной платы, т. е. для жизни необходимого, входило некоторое количество чая или рома, сахару и мясу, то им, наоборот, должно казаться постыдным и непонятым, что рабочие включают в этот минимум некоторые расходы на войну против буржуазии и даже получают величайшее в жизни наслаждение благодаря своей революционной деятельности.

VIII. Положительная сторона наемного труда.

В заключение мы должны еще обратить внимание на положительную сторону наемного труда.

а) Когда говорят о положительной стороне наемного труда, то тем самым признают положительную сторону капитала, крупной промышленности, свободной конкуренции, мирового рынка, и мне нет надобности выяснять вам, что без этих производственных отношений не были бы созданы ни средства производства, материальные средства для освобождения пролетариата и основания нового общества, ни сам пролетариат не достиг бы такого объединения и такого развития, при которых он в самом деле совершит революцию, которая обновит общество и его самого. — Уравнение заработной платы.

б) Возьмем даже заработную плату в самом предосудительном в ней, в том, что моя деятельность является товаром, в том, что я сплошь становлюсь продажным.

Во-первых, благодаря этому исчезло все патриархальное, так как лишь барышничество, покупка и продажа являются единственной связью, денежное отношение является единственным отношением между предпринимателями и рабочими.

Во-вторых, лучезарное сияние вообще перестало окружать все отношения старого общества, так как они превратились в простые денежные отношения.

Точно так же все так называемые высшие роды труда — умственный, художественный и т. д. — превратились в предметы торговли и лишились, таким образом, своего прежнего ореола. Каким огромным прогрессом явилось то, что все функции священников, врачей, юристов и т. д., следовательно религия, юриспруденция и т. д., стали определяться лишь преимущественно по их коммерческой стоимости!

В-третьих, так как благодаря всеобщей продажности рабочие констатировали, что все может от них отделяться, отчуждаться, они впервые стали свободны от подчинения определенному отношению. Преимуществом является то, что рабочий может делать со своими деньгами все, что ему угодно, как в противоположность уплате продуктами, так и в противоположность образу жизни, определяющемуся принадлежностью к определенному сословию (феодалному).

[*Взят в скобки другой вариант*: Превратив труд в товар и подчинив его, как таковой, свободной конкуренции, его старались производить по возможности дешевле, т. е. при возможно меньших издержках производства. Таким путем бесконечно была облегчена и упрощена всякая физическая работа для здоровой организации общества. Сделать общие выводы.]

ПРУССКИЙ ЛАНДТАГ И ПРОЛЕТАРИАТ В ПРУССИИ, КАК И В ГЕРМАНИИ ВООБЩЕ.

Начиная с 1815 г., буржуазия, бюргерство в Германии вело борьбу за власть со средневековым землевладением и с абсолютистской системой, системой управления «божьей милостью». Такая борьба явилась необходимым последствием все растущих изменений в условиях производства и обращения в других странах, вслед за которыми скромно и медленно ковыляла и Германия. Новые условия требовали и новых форм; могущество буржуазного сословия, основанное на капитале и на свободной конкуренции, росло, и буржуазия не хотела и не могла мириться долее с отведенной ей безгласной и подчиненной ролью. Но быстрой победе ее препятствовала не только трусость, характерная для германской буржуазии, но в еще большей степени ее раздробленность и отсутствие связи между отдельными группами. Она была распределена между 38 частями, или государствами, чуждыми, а порой и враждебными друг другу. То в одном, то в другом из этих наших немецких отечеств буржуазия силилась, путем изолированных попыток, достигнуть цели своих стремлений. Кое-где ей удалось добиться заключения договоров — конституций, или основных законов, — в силу которых ей представлялась большая или меньшая степень участия в правительстве и в управлении делами отдельных государств. Но уступки в существенной своей части оставались на бумаге; в действительности же продолжала господствовать система монархии «божьей милостью», и решительное слово попрежнему принадлежало союзной с ней земельной аристократии и чиновничьей армии.

Причина этого заключалась в том, что главы германских государств противостояли тесной фалангой разрозненной и несшейся буржуазии, ее единичным усилиям и изолированным выступлениям. Фаланга покорно следовала руководству обер-мошеника Меттерниха, и благодаря этому единству государям, в общем, удавалось торжествовать над всеми попытками сопротивления и над всякой критикой. Германский союзный сейм (Bundestag) состоял

из ставленников и наемников немецких государей; он играл роль мельницы, предназначенной исключительно к тому, чтобы обращать в порошок завоевания, которые буржуазии удавалось от времени до времени осуществить благодаря своему влиянию в том или в другом из немецких государств и государствниц. Это давало соответственному «отцу народа» в каждом отдельном случае возможность лицемерно уверять, что, в сущности говоря, сам он чрезвычайно либерален, охотно дал бы свое согласие на все требования и сдержал бы все свои обещания, но, к его величайшему огорчению, Сейм ставит препятствия. Его же собственная страна слишком-де мала и слаба, чтобы пойти наперекор могущественной Пруссии или могущественной Австрии. Поэтому, как ему лично ни жаль, но приходится подчиниться. При этом наш «отец отечества», понятно, смеется себе в кулак.

Вот почему происходящее сейчас в Пруссии политическое движение есть факт необычайной важности. Пруссия с ее 16 миллионами населения имеет на германских весах решающее значение, и влияние ее коренным образом отличается от влияния какого-нибудь из немецких отечеств, имеющих 3 или 4 миллиона жителей, не говоря уже о тех, население которых сводится к каким-нибудь 6 тысячам (напр., княжество Лихтенштейн-Вадуц). 16 миллионов жителей Пруссии имеют большее значение, чем остальные 28 миллионов, разбитых между 33 государствами. Всякая победа буржуазии в Пруссии является в то же время победой буржуазных элементов и в остальной 28-миллионной Германии. Если прусской буржуазии удастся выбить спесь из своего христианско-германского короля в Потсдаме и суровым уроком заставить его подчиниться ее воле, то в силу этого немедленно получит свободу действий и буржуазия всей остальной Германии. Тем самым будет сломлен и абсолютизм германского Сейма. Все буржуа в Германии постепенно подают друг другу руку для объединенных выступлений и собираются послать к чорту господ правителей «божьей милостью» и господ средневековых землевладельцев; все эти господа в будущем могут сохранить свои места и свое право голоса, лишь выступая в качестве представителей и сочленов буржуазного класса.

Сделаем краткий обзор работ прусского ландтага. Ход событий в берлинском Белом зале даст нам ясное представление о нынешнем положении партий в Пруссии и о важности происходящего в этом государстве политического движения для всей остальной Германии. Но образ действий ландтага будет нам понятен только в том случае, если мы предварительно уясним себе причину его созыва.

Каким образом случилось, что потедамский самодержец, наконец, дал свое согласие на меру, против которой он так упорно и яростно восставал с самого вступления на престол и до последних дней? Разве каждая попытка прусских газет указать на необходимость созыва сословий, всякая ссылка на королевские обещания, данные более 20 лет тому назад, не вычеркивалась и не подавлялась без всякого милосердия цензурой? Разве всякий, кто осмеливался в публичной речи выставить требование созыва сословий, не подвергался обвинению и наказанию за государственную измену? И вдруг потедамский властелин совершает измену по отношению к самому себе, отрекается от всего своего прошлого и делает тот шаг, о котором он столь часто и так упорно утверждал, что не совершит его никогда в жизни! Что же заставило его впасть в такое противоречие с самим собой?

Причина не в чем ином, как в пустоте государственной казны и в невозможности наполнить ее вновь иначе, как с помощью государственных сословий. Несмотря на 30-летний период мира, несмотря на ежегодно растущие государственные доходы, несмотря на тягчайшие налоги всех видов, которые должен был платить трудовой народ, все деньги до последнего пфеннига были, в конце концов, растрочены. К этому привело бесконечное мотовство короля и его двора, разорительные расходы на военщину, бесстыдно высокие субсидии и без того богатым офицерам и гражданским чиновникам, неспособность и расточительность всего государственного управления. Все меры, к которым пытались прибегнуть король и его министры, остались безрезультатными. Новейший проект операции с королевским банком удался также лишь отчасти и принес незначительное облегчение лишь на короткое время: к своему ужасу, прусское правительство увидело, что оно попрежнему не пользуется никаким кредитом. Увы! несчастный закон 1820 г. заключал в себе несколько строк, по смыслу которых ни один туземный или иностранный капиталист, не потерявший окончательно рассудка, не мог согласиться ссудить прусское правительство хоть бы одним талером, пока этот закон оставался мертвой буквой.

Поэтому «христианско-германское» величество, в конце концов, вынуждено было вымучить из себя патенты 3 февраля. Текст этого документа был составлен так хитро и так запутанно, что могло показаться, будто неограниченной королевской власти удастся получить то, в чем она крайне нуждалась, не потерпев ни малейшего ущерба в своем всемогуществе. В этих видах составлен был, с одной стороны, «высочайше утвержденный» регламент, наперед предука-

Kommunistische Zeitschrift.

„Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“

Nr. 1.

London, im September 1847.

Preis 2 Pence.

Wir ersuchen alle Freunde unseres Unternehmens im Auslande Einsendungen von Artikeln und Bestellungen auf dieses Blatt franco an den „Bildungsverein für Arbeiter“, 191. Drury Lane, High Holborn, London, einzuschicken. Preis für Deutschland 2 Ngr. oder 6 Kreuzer; für Frankreich und Belgien 4 Sous; für die Schweiz 11 Pfoten.

Inhalt:—Einleitung.—Der Auswanderungsplan des Bürger's Cabot.—Der preuß. Landtag und das Proletariat in Preußen, wie überhaupt in Deutschland.—Die deutschen Auswanderer.—Politische und soziale Revue.

Einleitung.

Tausende Zeitungen und Zeitschriften werden gedruckt, alle politischen Parteien, alle religiösen Secten finden ihre Vertreter, und nur dem Proletariat, der ungeheuren Masse der Nichtbesitzenden, war es bis jetzt noch nicht gelungen ein dauerndes Organ zu finden, das ungetheilt seine Interessen vertheidigt, das besonders den Arbeitern bei ihrem Bestreben sich auszubilden als Leitfaden gedient hätte. Freilich wurde schon oft und vielseitig unter den Proletariern das Bedürfnis eines solchen Blattes gefühlt, und auch an mehreren Orten schon der Versuch gemacht, ein solches zu gründen; aber leider immer ohne Erfolg. In der Schweiz erschienen kurz nach einander „die junge Generation,“ „die fröhliche Botschaft,“ die „Blätter der Gegenwart;“ in Frankreich das „Vorwärts,“ die „Blätter der Zukunft;“ in Rheinpreußen der „Gesellschafts-Spiegel“ u., aber alle gingen nach kurzer Zeit wieder zu Grunde; entweder schritt die Polizei ein, und vertrieb die Redactoren, oder es mangelten die zur Fortsetzung nöthigen Geldmittel; die Proletarier konnten nicht helfen, die Bourgeois wollten nicht. Nach allen diesen mißglückten Unternehmungen wurden wir schon seit längerer Zeit von vielen Seiten her aufgefordert, einen neuen Versuch zu wagen, da hier in England völlige Pressfreiheit existire, und wir folglich keine Verfolgungen der Polizei zu fürchten hätten.

Gelehrte und Arbeiter versprachen ihre Mitwirkung, aber noch zögerten wir, weil wir befürchteten, daß auch bei uns nach kurzer Zeit die zur Fortsetzung des Blattes nöthigen Geldmittel fehlen würden. Endlich wurde der Vorschlag gemacht, eine eigene Druckerei anzuschaffen, um auf diese Weise ein zu gründendes Blatt sicher zu stellen. Eine Subscription wurde eröffnet, die Mitglieder beider Bildungsvereine für Arbeiter in London thaten, was in ihren Kräften stand—ja mehr als in ihren Kräften stand, und in kurzer Zeit wurden £25 zusammengebracht. Mit diesem Geld ließen wir von Deutschland die nöthigen Schriften kommen; die Schriftsetzer unserer Vereine setzten unentgeltlich, und so erscheint nun die erste Nummer unseres Blattes, dessen Existenz noch mit einiger Hülfe vom Kontinent völlig gesichert wird. Es fehlt uns noch eine Presse, und so bald wir die zum Ankauf derselben nöthigen Mittel besigen, wird unsere Druckerei völlig im Stande sein, in welcher wir dann auch außer unserer Zeitschrift noch andere

ванный ландтагу, как собранию школьников, а с другой — хитроумно устанавливалась отдельная курия господ. Последняя составлялась из нескольких в большей или меньшей степени глухих, богатых и надменных королевских принцев и известного числа крупнейших и знатнейших, а следовательно и наиболее реакционных и отъявленных негодяев из крупных землевладельцев. Выделение этой курии стояло в явном противоречии с существующими законами и имело целью создать тормоз для второй курии. В самой же второй курии и без того было чрезвычайно сильно представлено средневековое землевладение, так как королевской мудрости благоугодно было составить вторую курию, смешав в одну кучу все восемь провинциальных сеймов. Что же касается остальных членов этой курии, то жалкий избирательный закон позаботился о том, чтобы в нее могли проникнуть лишь в самом минимальном числе интеллигентные и энергичные представители буржуазной среды. Далее Фридрих-Вильгельм рассчитывал, что ему удастся, выступив с грубой и нахальной тронной речью, устранить тех членов ландтага, которые внушали некоторые опасения нечистой совести «отеческого» правительства. Приняв все эти меры предосторожности, Фридрих-Вильгельм наперед ухмылялся с полнейшим самодовольством. Ему важно было получить деньги и восстановить совершенно загубленный кредит своего правительства. Ему казалось, что исполнение его желаний обеспечено. «Когда в моем сундуке будет налицо несколько займов на сумму от 50 до 100 миллионов и когда я снова буду иметь кредит у капиталистов, я преспокойно пошлю по домам добрых ребят — депутатов и вряд ли в скором времени снова созову их. Дело обойдется и с одними комиссиями, которые окажут мне все нужные услуги. Подкуп 600 депутатов обойдется чертовски дорого; вся эта история будет стоить гораздо дешевле, если придется иметь дело с небольшим числом членов комиссий. Ордена, деньги, лесты и прочие средства, имеющиеся в распоряжении христианского правительства, не преминут оказать свое действие. Располагая же деньгами и кредитом, я попрежнему буду пребывать «неослабленным» королем, буду и впредь управлять именем Неба, по своему благоусмотрению и произволению, и буду стричь стадо верноподданных, как донныне, сколько мне заблагорассудится». Так говорил потсдамский властелин в кругу своих приближенных. Что же ответил ландтаг?

Ландтаг ответил тем, что отверг все денежные требования и отклонил законопроект о земельных банках (Landrentenbanken) и о займе на постройку железной дороги Берлин — Кенигсберг. При этом он заявил, что деньги будут даны правительству лишь после

того, как оно восстановит права страны, нарушенные патентами 3 февраля, созовет государственные сословия в законном составе и даст им полный отчет о расходовании государственных доходов; иными словами, лишь в том случае, если оно навсегда откажется от смешной претензии управлять «божьей милостью» и вступит на конституционный путь. Подобная же судьба, т. е. отклонение, постигла и законопроект об уничтожении пошлины с помола и с убоя скота и о введении подоходного налога. Решающими мотивами в данном случае были отчасти вышеприведенные, отчасти же нежелание со стороны состоятельных депутатов в большей степени, чем прежде, участвовать в несении государственных тягот. В этом смысле особенно проявила себя значительная часть курии господ, в том числе и богатейшие принцы королевского дома (напр., принц Альбрехт и др.), а также большинство знатнейших землевладельцев страны. Помимо этого, очень многие депутаты подали свой голос против проекта, будучи слишком хорошо знакомыми с грубостью, надменностью и бесстыдным произволом прусского чиновничества; поэтому они не могли согласиться предоставить этим господам, покуда они занимают положение, независимое от гражданского сословия, нося ливрею «божьей милости», новую инквизиционную власть по отношению к доходам бюргеров.

Все эти факты позволяли рассчитывать на то, что ландтаг проявит крайнее упорство в отстаивании прав сословий, которые он неоднократно и определенно объявлял неотъемлемыми. Однако он этого не сделал. Незадолго до окончания сессии, последовавшего 26 июля, ландтагу был сообщен ответ короля. Потсдамский господин соглашается в нем на некоторые требования «любезно-верных» сословий; откладывает разрешение других, более важных, оставляя себе время на «зрелое размышление»; совершенно умалчивает о третьих. Что же касается важнейшего пункта — «комиссий», то королевский ответ предписывает незамедлительно произвести выборы последних, согласно предписаниям патента от 3 февраля.

Как же поступают сословия? Они повинуются. Некоторое число депутатов из Рейнской провинции, Силезии и т. д. сохраняют верность убеждениям и отказываются от всякого участия в этих выборах; другая часть выбирает, но заявляет протест и оговорку о правах сословий; остальные просто выбирают, как послушные лакеи своего германского властелина. Такой заключительный оборот дела, весьма и весьма позорный для ландтага, в немалой мере объясняется упомянутой выше специфической трусостью немецкой буржуазии. Мужество многих членов либеральной оппозиции было подвергнуто

слишком жестокому испытанию; этим храбрецам стало очень не по себе, и они в последний момент сделали направо кругом. Такое же пагубное значение имели коварство и предательство нескольких депутатов, считавшихся главными коноводами либеральной партии. Один из них, г. фон-Ауэрсвальд, уже раньше, при нескольких occasions особенно же в истории с петицией о свободе печати (которая пока что осталась висеть в воздухе), успел в достаточной мере проявить себя в качестве подлинного политического шулера и мошенника. Если к тому же принять во внимание самый состав сословий, преобладание средневекового землевладения, громадное количество королевских чиновников, заседающих во второй курии; если учесть воздействие угощений за королевским столом, любезных слов, улыбок и других еще более действительных придворных хитростей, — то не придется удивляться конечному результату.

Но как бы ничтожны ни были достигнутые результаты, как бы велика ни была радость правительственной партии — первые весьма скоро повлекут за собой новые уступки, а торжество реакции обратится в печаль. Дело в том, что депутация по вопросу о государственных долгах и другие комиссии находятся в таком положении, что они отнюдь не в состоянии сослужить правительству ту службу, которой оно добивалось. Они не посмеют, наперекор общественному мнению, попать ногами права, принадлежащие государственным чинам. Но даже в том мало вероятном случае, если бы большинство в депутации и в комиссиях оказалось на стороне правительства, если бы либеральные члены оказались майоризированными, даже и в этом случае абсолютная королевская власть ничего бы не выиграла. Ни один капиталист не будет настолько наивен, чтобы ссудить деньги правительству после прений, имевших место в ландтаге, после неоднократных протестов оппозиции и вразрез с точным смыслом давно изданных, но доселе не исполняемых законов. Буде же он все-таки согласился бы на заем, то не имел бы никакого права жаловаться, если бы в недалеком будущем его претензии оказались полностью аннулированными, и притом с полным юридическим основанием.

Во всей этой истории на первом плане стоит вопрос о деньгах. У монархии их больше нет, но они ей нужны дозарезу; поэтому буржуазия может и должна добиться осуществления своих требований. Якобы «неослабленный» трон не в состоянии больше противостать разрушительным волнам современного «духа времени». Колоссальное значение прусского ландтага находится вне всякой зависимости от тех заявлений, которые Фридрих-Вильгельм

преподнес ему перед закрытием. Значение прений в ландтаге заключается в том, что общественное мнение в Пруссии за 11 недель его сессии сделало такие успехи, на которые без ландтага потребовались бы многие годы. Прусское бюргерство здесь впервые померилось силами с бюрократией и неограниченной монархией, так сказать, на глазах у публики; оно нанесло при этом обоим врагам своим ряд таких тяжелых ударов, добилось такого несомненного поражения их, что побежденные в непродолжительном времени вынуждены будут сдаться на милость победителям. До настоящего времени министр считался в Пруссии существом, стоящим во всех отношениях столь высоко, что заурядный бюргер едва смел поднять на него глаза. Это мнимое величие оказалось повергнутым в прах ландтагом. Все без исключения министры, выступавшие в дебатах, выявили свою полную неспособность самым недвусмысленным образом. В течение этих 11 недель министрам пришлось одному за другим пройти сквозь строй шпицрутенов. Их надменность, пустота, средневековое самодурство, скверное управление делами клеймились едкими насмешками, презрением, выражениями справедливого негодования. Никто и никогда не выступал в такой позорной роли, как эти «советники короны». Отдающий постным маслом Эйхгорн позорно провалился перед ландтагом со своим «христианским государством»; неисторический Савиньи должен был со стыдом убраться со своей исторической ерундой; его древне-франконский товар не нашел покупателей, но вызвал обилие насмешек. Та же судьба постигла Тиле, Дуэсберга, Бойена и т. д. Даже бесстыдному Бодельшвингу не удалось отстоять хотя бы маленькие следы того священного ореола, которым прежде было окружено министерство.

Все удары, падавшие на спины министров, поражали в то же время и потсдамского властелина. История не знает примера, когда тронная речь подвергалась бы таким насмешкам, как это имело место с его речью почти в каждом заседании ландтага. На нее прямо не ссылались, но все дебаты представляли по существу непрерывный протест против того, что «христианский» король высказал 11 апреля; протест этот получил всестороннее выражение и в сатирической, и в серьезной форме. Прения ландтага были вполне публичными; они излагались, обсуждались и освещались в сотнях разных газет. Благодаря этому в публике был вызван широкий интерес к государственным делам, интерес, который в прежнее время лишь в самой незначительной мере наблюдался в немногих местностях, главным образом в более крупных городах. Теперь же он распространился по всей стране и захватил людей, мысль которых раньше

не проникала за стены собственного дома, в крайнем случае—за пределы общины. Более того: во всей Германии за берлинскими событиями следили с таким же напряжением, как в самой Пруссии. Все чувствовали, что всякая победа бюргерства в Пруссии является победой немецкого бюргерства вообще; что все то, чего удастся добиться в Пруссии, весьма скоро будет осуществлено и в остальных государствах германского союза.

Но я предчувствую, что многие из вас готовы спросить: да какое же нам, пролетариям, дело до этой борьбы буржуазии? Разве буржуа не являются нашими злейшими врагами? Разве именно теперь, в прусском ландтаге, они не доказали с такой несомненностью свое презрение к нам и не проявили недвусмысленно своей злой воли при обсуждении петиций, касающихся положения трудящихся классов? Что нам до того, добьется ли, или не добьется власти бюргерство, буржуазия? Больше того! Не является ли для нас, наоборот, необходимым и полезным воспрепятствовать ее победе и выступить скорее *на защиту* правительства, чем *против* него?

Но такие вопросы могут быть предложены и такие взгляды высказаны только теми из нашей среды, кто ослеплен своей ненавистью к буржуазии, вполне, впрочем, справедливой, и кто не разбирается в современном положении пролетариата и в том, какие средства пригодны для его окончательного освобождения.

Не подлежит сомнению, что буржуазия—наш враг. Именно ее могущество целиком основано на частной собственности, на капитале и на всем том, что с ним связано. *Мы же*, пролетарии, можем освободиться, только уничтожив частную собственность, а тем самым и буржуазный класс, и вместе с ним положив конец навеки всяким классовым различиям. Между ею и нами должна быть поэтому борьба не на жизнь, а на смерть, борьба не только словом, но и кулаком и мушкетом.

Но, спрашивается, имеем ли мы, пролетарии, в Германии уже такое положение, чтобы мы могли вполне перестроить в наших интересах общественный хаос или, иными словами, немедленно смести с лица земли буржуазию и осуществить принципы коммунизма? Не стоит ли против нас, на-ряду и даже впереди буржуазии, еще и другой враг, который должен быть предварительно побежден для того, чтобы мы могли справиться с нею? Такой враг имеется, это—абсолютная, неограниченная королевская власть, именующая себя властью «милостью божьей», эксплуатирующая нас именем неба, держащая нас в когтях средневековых феодалов, связывающая нас по рукам и по ногам в своем «христианско-германском» государстве

и предоставляющая к услугам капитала свою полицию, жандармов, попов и свои пушки всякий раз, как мы, израненные до крови нашими цепями, пытаемся их сбросить. Неужели эта власть действительно имеет право на нашу благодарность, на нашу помощь против буржуазии? Что она сделала нам, чтобы заслужить от нас эту благодарность и эту помощь?

Возьмем одни только последние годы. За 30 лет мирного периода абсолютная монархия израсходовала 850 миллионов талеров на войско; на подати, собираемые с нас, она содержала балетных танцовщиц и королевских наложниц¹; на наш счет она кормила целое войско чиновников, численность которого все возрастала, а грубость увеличивалась; людям и без того богатым она выплачивала бессовестно высокие пенсии; из так называемого благотворительного фонда оказывала поддержку беспутным дворянам-землевладельцам; давала все бóльшие и бóльшие преимущества дворянству; сделала наше существование несравненно худшим, чем жизнь зверей в господских лесах; предала нашу личность на произвол полицейских властей; настроила для нас каторжных тюрем и машин для порки; отдала наш труд на бесконтрольную эксплуатацию капиталу и свободной конкуренции; выкачивала остатки наших заработков при помощи искусно налаженного податного насоса; для наших же желудков предоставила в качестве самой дешевой пищи — солнечный свет.

Могла ли абсолютная монархия сделать для нас, пролетариев, что-либо еще сверх этого? Оказывается, что могла! Господин Фридрих-Вильгельм Потсдамский, именуемый также четвертым, доказал, что «отеческое» искусство управления может прогрессировать и по отношению к пролетариату. Полицейский устав о промышленности 1845 г. еще в большей степени, чем раньше, выдал трудящиеся классы головою капиталистам и предпринимателям. Согласно этому новому закону, карается строгими наказаниями всякая попытка объединения с целью увеличить свою силу в борьбе против уменьшения заработной платы или за достижение более высокого заработка, которого хватало хотя бы на насущнейшие потребности. Наоборот, капиталисты имеют вполне развязанные руки против рабочих, покамест они дружат с правительством. В новом Положении о домашних служащих «отеческое правительство» предоставило господам право не только обзывать прислугу всяческими бранными словами, но

¹ Автор, очевидно, не имеет в виду Фридриха-Вильгельма IV: что бы он стал делать с женщинами? — *Прим. ред.* «*Kommunistische Zeitschrift*».

даже применять телесные наказания, с тем лишь ограничением, чтобы не калечить наказываемых. Если не имеется налицо увечья, то никакая жалоба со стороны слуги или обязанного службой не принимается во внимание. Тайным кабинетским приказом от 14 июня 1844 г. «христианский» король потсдамский предписал цензорам не допускать обсуждения в периодической печати отношений между неимущими и имущими классами и положения рабочих у средневековых землевладельцев и буржуазных предпринимателей. В 1844 г. тысячи ткачей в Силезских горах, доведенные до отчаяния нищетой, восстали против своих фабрикантов; и вот, по приказу «милостивого» короля, одни были расстреляны и исколоты штыками, другие арестованы и посажены в каторжные тюрьмы; у большинства, кроме того, спины были истерзаны палочными ударами, числом от двадцати до сорока. Вот какие благоденствия мы, пролетарии, получили от «христианско-германской» королевской власти.

Голодный 1847 г. дал нам дальнейшие доказательства ее милостивого отношения. Тысячи пролетариев в Рейнской провинции, Вестфалии, Силезии, Познани и Восточной Пруссии гибли от голода и голодного тифа, а в то же время «христианско-германский» королевский дом и его креатуры продолжали предаваться всем наслаждениям, какие свойственны роскоши и безделью. Однако, в конце концов, и эта власть пришла к заключению, что ей следует оказать хотя бы видимость помощи нуждающимся. Поэтому был издан закон, запрещающий употребление картофеля для винокуренного производства, и несколько других распоряжений в том же роде, которыми имелось в виду пустить пыль в глаза рабочему классу. Страх перед пролетариатом возрастал, особенно после того, как в Берлине и других местах возникли голодные беспорядки. Движимое страхом «отеческое» правительство сделало новое усилие «для блага трудящихся классов». В чем же оно заключалось? Из Берлина в Бремен был послан правительственный советник с поручением закупить в возможно скорейший срок и на каких бы то ни было условиях 6 000 ластов зерна и доставить его без промедления в Берлин и другие города. Советник обратился к бременской ферме Делинс и предъявил ей свои полномочия. Так как в них заключалось предписание закупить 6 000 ластов по какой бы то ни было цене, то хлебные маклера бросились по всем направлениям; в течение двух часов цена ластва поднялась на сорок талеров золотом. Цены продолжали расти. В Бремене оказалось возможным получить лишь 1 500 ластов; в покрытие же остальной части бременские торговцы выдали ордера на хлеб, закупленный ими в Штеттине, Данциге

и других городах и еще не вывезенный оттуда. Эти запасы им удалось теперь сбыть по колоссальным ценам, созданным деятельностью прусского королевского советника. Этот скачок цен в Бремене имел последствием поднятие в течение нескольких дней цен на хлеб во всей северной Германии до такого же уровня. Трудящиеся классы должны были платить за свой хлеб цену, на целую треть высшую против прежней, и, к тому же, в качестве плательщиков податей, покрыть убытки, проистекшие от неумелой хлебной операции правительства. Иными словами, это означает вот что: «отеческое управление» неограниченной королевской власти «божьей милостью» заключается в том, что голодающие рабочие изрубиваются и расстреливаются, буде они соберутся толпами, как, напр., в Берлине, Штеттине и т. д.; а в то же время «милостивый» король приказывает изготовить на деньги трудящегося народа щиты, стоимостью более полумиллиона, и отправляет своего крестника-мальчишку, еще не умеющего утереть себе нос, в Лондон развлекаться королевскими побрякушками.

Приводить здесь полностью весь список прегрешений неограниченной королевской власти было бы слишком долго. Удовольствуемся поэтому немногими приведенными уже примерами. Из них уже в достаточной степени явствует, что королевская власть является нашим врагом по меньшей мере в такой же степени, как и сама буржуазия. Но надо принять во внимание еще следующее. Буржуазия для обеспечения своего господства нуждается в политических свободах, в которых упорно отказывает ей «абсолютная» королевская власть. Мы же, пролетарии, сможем использовать политическую свободу в качестве рычага для скорейшего преобразования всего существующего порядка. Отсюда ясно, что мы, несомненно, заинтересованы в нынешнем политическом движении и что в наших выгодах помочь ускорить устранение королевской власти. До этого пункта, но не дальше, пути наши совпадают с путями буржуазии! Но когда враг «божьей милостью», «христианское» полицейское государство, «отеческое» правительство будет уничтожено, то перед нами останется лицом к лицу последний противник — буржуазия. Тогда легче будет ориентироваться на поле битвы, и можно будет с уверенностью набросать план борьбы.

Но пока мы, пролетарии, не сплотимся, не объединимся, не организуемся и не станем работать соединенными силами над коренным изменением нашего положения, — до тех пор мы не сможем достичь заметных результатов ни в борьбе с «отеческим» режимом, ни в борьбе с буржуазией. До настоящего времени мы не имеем в

Германии ни свободы печати для защиты *наших* интересов, ни права публично собираться, чтобы обсудить и уяснить себе вопросы общественных отношениях, о положении неимущих и имущих, обо всем вообще, что касается пролетариата. Несомненно, выше-названные политические свободы облегчают дело освобождения. С помощью их пролетариат сможет скорее организовать. Вот почему нынешнее политическое движение, ставящее себе, между прочим, целью свободу печати и свободу ассоциации, имеет для нас громадное значение. Однако мы поступили бы очень глупо, если бы пока что скрестили руки и стали спокойно ожидать, пока эти права будут получены. То, что нам сейчас запрещает закон, мы должны делать *против* этого закона. Законы пишутся нашим врагом — «отеческим» правительством — и составляют они в интересах богатых и имущих; они могут связывать нас, неимущих, лишь в той мере, в какой мы слишком слабы, чтобы немедленно их опрокинуть. То, что нам воспрепятствуют делать публично, будем делать тайком. Нашим законом должна стать незаконность. Чем больше трудностей ставится на нашем пути, тем большую энергию и активность мы должны развить, чтобы, несмотря ни на что, организовать и столкнуться о совместных действиях. «На бога надейся, а сам не плошай», — говорит старая пословица. Воистину, нас, пролетариев, никто не освободит, если мы не освободим себя *сами*.

Посмотрите, какой страх мы внушаем уже сейчас и королевской власти «милостью божьей», и буржуазии! Это сейчас, когда мы еще лишены почти всякой связи, когда мы держимся в одиночку, нередко вступая в борьбу и в кровавые схватки между собою, как люди, не знающие, как велика сила единения! Вспомним, как во время хлебных беспорядков несколько сот берлинских пролетариев, выступивших без всякого плана, без сговора, без общей цели, привели в содрогание всю столицу и заставили на полдня потерять рассудок все высшие и высочайшие власти. Ведь двое высших министерских чиновников сами признавались, что, «несмотря на большое количество войск, Берлин мог оказаться в руках пролетариев, если бы последние сумели хоть сколько-нибудь использовать свою силу и действовать по общему плану». Берлин фактически даже находился в течение пяти часов в руках народа, который сам этого не сознавал. Подобные же события происходили во многих других местностях Пруссии и остальной Германии. Если отдельные незначительные кучки пролетариев, действующие без плана и сговоров, могут подвергнуть существующий строй такой опасности, то не ясно ли, что никакая сила не сможет воспрепятствовать нашей

победе, если мы выступим организованно, объединенно, как один человек. В *одиночку* мы являемся и всегда останемся бессильными рабами, отданными во власть нужды и нищеты, зависящими от произвола или милости богатых и знатных. *Организованные и объединенные* — мы сможем без труда, как ломают сухую лозу, разбить цепи, наложенные на нас частной собственностью и «христианско-германским» правительством.

ПАРЛАМЕНТ АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ.

В английских буржуазных газетах часто встречаются статьи в два столбца, посвященные мероприятиям для улучшения положения трудящихся классов. В подобных случаях произносится бесконечное множество филантропических фраз. Буржуазное сердце так ими переполнено, что, несмотря на ужасающее расходование их, никогда в филантропическом запасе буржуазии не ощущается действительного недостатка в них. Последняя питает такую безмерную любовь к пролетариату, что совершенно невозможно понять, как последний вообще может еще быть недоволен, жаловаться на угнетение и выставлять все бóльшие требования.

Пока рабочие со спокойной преданностью доверчиво и безнадежно смотрят на филантропическое самолюбование буржуазии, пока они не делают никаких попыток изменить отношения между угнетателями и угнетенными, между эксплуататорами и эксплуатируемыми и не угрожают никаким переворотом, — до тех пор все обстоит благополучно.

Но как только пролетарии берут в собственные руки улучшение своего положения, как только они окончательно отталкивают буржуазную любовь, как любовь самой грязной и самой корыстной потаскушки, кучка эксплуататоров начинает сердиться на массы, вопит о их черной неблагодарности и угрожает рабочим тюрьмой, ссылкой и голодом.

Совершенно иначе обстоит дело, когда стремления пролетариев к изменению современного положения, их приготовления к окончательной победе достигли уже такой степени, что это вызывает уже не только гнев буржуазии, но в гораздо большей степени ее страх, когда она колеблется между гневом и страхом. В таких случаях буржуазия изображает из себя оскорбленную добродетель и молчит. Если бы она могла, она бы с наслаждением совершенно умолчала о пролетарском движении XIX столетия.

Официальные органы английской буржуазии уже более года практикуют эту систему замалчивания попыток английских проле-

тариев освободиться от ига капиталистов, от беспощадной тирании частной собственности, вырваться из раздирающих когтей «свободной конкуренции».

В этих газетах мы ничего не находим о растущей с каждым днем силе чартистов, ничего о непрерывно растущем числе и энергии объединившихся для окончательного ниспровержения современного общественного строя промышленных рабочих, ничего об организации английского пролетариата в большой военный лагерь объединенных профессиональных союзов и рабочих. Как же можем мы, таким образом, ожидать встретить сообщения о пролетарском движении в Англии в немецких газетах, которые свои сведения черпают исключительно из английских буржуазных источников, в газетах, которые точно так же смертельно ненавидят всякое пролетарское движение?

Итак, нет ничего удивительного в том, что мы нигде не встретили ни слова о созыве в этом году английского Рабочего парламента, кроме «Northern Star», органе чартистов и английских пролетариев вообще.

Этот парламент собрался в Духов день 24 мая в *Бирмингеме*. Он состоял из депутатов, «объединенных в Национальную ассоциацию профессиональных союзов», ставящих себе целью защиту рабочих против тирании и несправедливостей фабрикантов, мастеров и других работодателей. Он носит название «ежегодной конференции». На этот раз явилось 77 депутатов, которые вместе с 12 членами Центрального комитета составили собрание из 89 человек. Своим председателем они выбрали радикального члена буржуазного парламента в Лондоне, господина *Т.-С. Денкомба*, который уже в течение многих лет ведет энергичную и самоотверженную борьбу в защиту интересов английского пролетариата.

Из продолжавшихся пять дней дебатов мы с удовлетворением видим, что среди рабочих нет недостатка ни в правильном понимании своего положения, ни в твердом желании основательного изменения его, ни в ясном понимании тех средств, которыми они располагают для этой цели. Хотя пролетарий, употребляемый с юного возраста как вьючное животное, не может, подобно аристократу и буржуа, с легкостью приобретать знания, развивать свой ум и пользоваться, таким образом, преимуществами привилегированной молодежи, тем не менее его невыносимое положение заставляет его задуматься, и, очнувшись от тупого оцепенения и освободившись от христианского долготерпения, он усвоил все то, что ему необходимо для своего освобождения.

Приятно читать эти дебаты и видеть, какое яркое сознание

развилося среди английского пролетариата, с каким талантом и с каким жаром, с какой предусмотрительностью и с какой уверенностью в победе депутаты разбирают и отстаивают интересы рабочих.

Мы не можем здесь останавливаться на этих дебатах; даже извлечение, даже резюме их превысило бы предоставленное нам место.

Мы можем здесь привести только следующее из отчета Центрального комитета:

«Первое собрание рабочих, на котором обсуждался вопрос об уместности образования Национальной ассоциации английских пролетариев для защиты против буржуазии, происходило во второй день Пасхи 1845 г. в Лондоне. Основание такого союза пролетариев было решено единогласно. Были составлены статуты, и в июле того же года новая ассоциация была окончательно организована. Первая конференция объединенных профессиональных союзов или промышленных рабочих собралась на Троицу 1846 г. В то время союз состоял из 12 775 членов. Как действовал с тех пор союз, т. е. его исполнительный орган, Центральный комитет? Из членских взносов он взял деньги, необходимые для посылки в наиболее важные места в стране эмиссаров, которым поручено было чтение лекций трудящимся классам, устройство собраний пролетариев и обсуждение на них положения пролетариата и мер помощи ему и указание рабочим на необходимость организации рабочих для общего действия, для оказания сопротивления буржуазии, разъясняя им существующие в настоящее время классовые противоречия и доказывая необходимость борьбы.

Усилия эти увенчались блестящим успехом. В продолжение этого одного года число членов ассоциации возросло с 12 775 до 36 137 членов. Приход с конца июня 1846 г. до конца апреля 1847 г. составлял 4 060 фунтов стерлингов, расход 2 877 ф. ст.

Но деятельность Союза не ограничивалась одним увеличением числа его членов. Союз всесторонне защищал непосредственные интересы членов. Центральный комитет уладил массу споров между фабрикантами и рабочими, — везде в пользу рабочих. При существовании сильной ассоциации, при наличности регулярных членских взносов комитет мог отменить или помешать всякому понижению заработной платы. Он неутомимо преследовал *truck system* — уплату заработной платы товарами, — привлекая к суду тех, которые ее практиковали, и охраняя от мести обозленных буржуа тех рабочих, которые выступали при этом в качестве свидетелей. В тех случаях, когда фабриканты и мастера хотели удлиннить рабочее время без повышения заработной платы, он вмешивался от имени ассоциации;

где член союза подвергался большему, чем обычно, угнетению со стороны капиталистов, там немедленно вмешивался член ассоциации. Страх пред этой массой объединенных пролетариев был так велик, что Центральному комитету почти везде удавалось принудить к уступкам тех буржуа, которых это касалось. Только в редких случаях капитал осмеливался оказывать решительное сопротивление, вследствие которого 121 промышленный рабочий, хозяева которых поставили им самые тяжелые и самые несправедливые условия, очутились на содержании ассоциации и очень этим довольны.

Все говорит за то, что эта ассоциация пролетариев через несколько лет будет насчитывать несколько сотен тысяч членов. Что тогда она будет действовать не только оборонительно, но и наступательно, что она тогда не только будет защищать пролетариев от роста несправедливостей, но и, обладая достаточной силой, начнет коренное преобразование современного общественного порядка, — это слишком очевидно и не нуждается в дальнейших доказательствах.

Мы заканчиваем призывом к пролетариям всех стран: Следуйте этому примеру! Организуйтесь, подобно английским пролетариям, для энергичного сопротивления эксплуатации, буржуазии, капиталу.

День борьбы приближается гигантскими шагами! Горе вам, если он застанет вас еще разрозненными, неподготовленными. Это отбросит вас на десятки лет назад к нищете, которая, чем дальше, тем с большей тяжестью будет вас угнетать!»

ХОЗЯЕВА И РАБОЧНИЕ В АНГЛИИ.

Рабочим-редакторам.

Милостивые государи!

Я только что прочел в вашем октябрьском номере статью под заглавием: «Хозяева и рабочие в Англии»; эта статья упоминает, на основании «La Presse», о митинге так называемых делегатов рабочих, занятых в хлопчатобумажной промышленности в Ланкашире, митинге, происходившем 29 августа в Манчестере. Резолюции, принятые на этом митинге, убеждают «La Presse», что в Англии существует полная гармония между капиталом и трудом.

Вы хорошо сделали, усомнившись в подлинности отчета, данного французской буржуазной газетой на основании английских буржуазных газет. Правда, отчет точен; резолюции были приняты в той форме, в какой их приводит «La Presse». Там только допущена одна маленькая неточность, но именно в этой маленькой неточности весь гвоздь вопроса. Митинг, о котором говорит «La Presse», не был митингом *рабочих* — это был митинг *подмастерьев* (*contre-maitres*).

Господа, я провел два года в самом центре Ланкашира, и я провел эти два года среди рабочих; я видел их на их публичных собраниях и в их комитетах; я знаю их главарей и их ораторов и смею вас уверить, что ни в одной стране в мире вы не встретите людей, более искренно преданных демократическим принципам, с более твердым решением сбросить иго эксплуататоров-капиталистов, под гнетом которого они теперь находятся, чем среди этих рабочих хлопчатобумажных фабрик Ланкашира. Как могли бы те же самые рабочие, которые на моих глазах сбросили с эстрады зала собрания несколько дюжин фабрикантов и которые, с сверкающими глазами и с сжатыми кулаками, посеяли страх в рядах буржуа, собравшихся на этой эстраде, как, говорю я, могли бы те же самые рабочие теперь вотировать благодарность своим хозяевам за то, что они сооблаговольили предпочесть сокращение часов труда сокращению заработной платы?

Но разберем вопрос подробнее. Разве сокращение труда не имеет для рабочего такого же значения, как сокращение заработной платы?

Очевидно, да; и в том, и в другом случае положение рабочего одинаково ухудшается. Поэтому не было никакого основания, чтобы рабочие благодарили своих хозяев за то, что они предпочли первый способ сокращения дохода рабочего — второму. Но если вы посмотрите английские газеты за конец августа, то вы убедитесь, что хлопчатобумажные фабриканты имели много причин предпочесть сокращение часов труда сокращению заработной платы. Цена сырого хлопка тогда повышалась; тот же номер лондонской газеты «Globe», который рассказывает об этом митинге, говорит также, что *ливерпульские спекулянты собираются захватить хлопчатобумажный рынок*, чтобы искусственно поднять цены. Что делают в подобных случаях манчестерские фабриканты? Они посылают своих подмастерьев на митинги и заставляют их принимать резолюции, подобные тем, которые сообщила вам «La Presse». Это — известное и общепринятое средство, которое практикуется каждый раз, когда спекулянты стремятся повысить цены на хлопок. Это — предупреждение спекулянтам не слишком сильно повышать цены, ибо в таком случае фабриканты сократили бы потребление и неизбежно вызвали бы понижение цен. Итак, митинг, который вызвал такую радость и одобрение «La Presse», является лишь одним из тех собраний подмастерьев, относительно значения которых никто в Англии не обманывает себя.

Чтобы еще более доказать вам, насколько этот митинг был исключительным делом капиталистов, достаточно указать, что единственной газетой, в которую посланы были резолюции, газетой, из которой все другие газеты их заимствовали, был орган фабрикантов «Manchester Guardian». Демократическая газета рабочих «Northern Star» также приводит их, но с позорящим их в глазах рабочих замечанием, что он заимствовал их из этой газеты капиталистов.

Примите и т. д.

Ф. Энгельс.

АДРЕС ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ.

Гражданам членам временного правительства французской республики.

Брюссель, 28 февраля 1848 г.

Граждане!

Основанная некоторое время тому назад Демократическая ассоциация, имеющая целью единение и братство всех народов и состоящая из членов различных наций Европы, пользующихся вместе с бельгийцами на их территории учреждениями, которые уже давно дают возможность свободного и публичного выражения всех политических и религиозных мнений, — эта ассоциация приносит вам свои поздравления по поводу подвига, который совершила французская нация, и свою благодарность за огромную услугу, которую эта нация оказала делу человечества.

Мы имели уже случай поздравить швейцарцев по поводу того начала, которое они недавно положили в деле освобождения народов; и вам предстояло продолжать его с той энергией, которую проявляет всегда парижское население, когда приходит его черед. Мы полагали, что мы не замедлим возобновить перед французами те наши шаги, которые мы сделали по отношению к швейцарцам. Но Франция значительно опередила тот момент, когда мы надеялись обратиться к ней. Это, впрочем, лишь повод для того, чтобы все нации отныне ускорили свое движение, чтобы последовать за вами.

Мы считаем возможным с уверенностью сказать, что те нации, которые ближе всего соприкасаются с Францией, первые последуют за ней по тому пути, на который она вступила.

Этот вывод тем более несомненен, что Франция только что совершила революцию, предназначенную более для того, чтобы теснее сомкнуть узы, связывающие ее со всеми нациями, чем для угрозы независимости какой-нибудь из них. В февральской Франции 1848 г. мы приветствуем пример для других народов, а не ее могущество. Отныне Франция не может ожидать другого почета.

Мы уже видим великую нацию, судьбами которой вы в настоя-

щее время управляете, облеченные единственною властью всеобщего доверия; мы видим, граждане, как она заключает союз даже с теми народами, которых она долго считала своими соперниками, союз, который удалось поколебать только гнусной политике нескольких лиц. Англия, Германия опять протягивают руку вашей великой стране. Испания, Италия, Швейцария, Бельгия или опять поднимутся или, — свободные под вашей эгидой — успокоятся. Польша воскреснет, подобно Лазарю, от троекратного призыва.

Невозможно, чтобы даже Россия не присоединила, наконец, и своего голоса, который пока еще слишком мало известен западным и южным народам. Вам, французы, вам принадлежит честь и слава в том, что вы положили главные основы того союза народов, который так пророчески воспел ваш бессмертный Беранже.

Мы приносим вам, граждане, дань нашей глубокой признательности от всей полноты чувств неизменного братства.

Комитет демократической ассоциации в Брюсселе, имеющей целью единение и братство всех народов.

Подписано: *Жоттран*, адвокат, председатель; *К. Маркс*, вице-председатель; генерал *Меллине*, почетный председатель; *Спильтгорн*, адвокат, председатель демократического общества в Генте; *Майнц*, профессор Брюссельского университета; *Лелевель*; *Байю*, казначей; *Батайль*, вице-секретарь; *Пеллерен* — рабочий; *Лориан*, купец.

Этот адрес был поднесен сегодня утром временному правительству французской республики господином Спильтгорном, делегатом бельгийской демократии, и Браасом, демократом, адвокатом в Намюре.

УСТАВ СОЮЗА КОММУНИСТОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАЗДЕЛ I.

Союз.

Статья 1. Целью Союза является: свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов, буржуазного общества и основание нового общества без классов и без частной собственности.

Ст. 2. Условия, которым должны удовлетворять члены Союза:

- а) образ жизни и деятельность, соответствующие этой цели;
- б) революционная энергия и ревность в пропаганде;
- в) исповедание коммунизма;
- г) воздержание от участия во всяком антикоммунистическом, политическом или национальном обществе и сообщении об участии в каком-либо обществе соответствующему руководящему комитету;
- д) подчинение постановлениям Союза;
- е) сохранение в тайне всех внутренних дел Союза;
- ж) единогласное принятие в общину.

Кто перестает удовлетворять этим условиям, исключается (см. раздел VIII).

Ст. 3. Все члены равны и братья и, как таковые, обязаны помогать друг другу при всяких условиях.

Ст. 4. Члены носят союзные клички.

Ст. 5. Союз организован из общин, округов, руководящих округов, Центрального Комитета и Конгресса.

РАЗДЕЛ II.

Община.

Ст. 6. Община состоит минимум из трех и максимум из двадцати человек.

Ст. 7. Каждая община избирает старшину и помощника. Председатель руководит собранием, помощник заведует кассой и, в случае отсутствия старшины, заменяет его.

Ст. 8. Прием новых членов производится старшиной общины и членом, внесшим соответствующее предложение, при условии предварительного согласия общины.

Ст. 9. Общины различного рода не известны друг другу и не ведут между собою никаких сношений.

Ст. 10. Общины носят различные имена.

Ст. 11. Всякий член, меняющий свое местожительство, должен известить об этом своего старшину.

РАЗДЕЛ III.

Округ.

Ст. 12. Округ охватывает, по меньшей мере, две и не больше десяти общин.

Ст. 13. Старшина и помощник общины составляют окружный комитет. Последний выбирает из своей среды председателя. Комитет поддерживает сношения с своими общинами и руководящим округом.

Ст. 14. Окружный комитет представляет исполнительную власть для всех общин округа.

Ст. 15. Отдельно стоящие общины должны либо примкнуть к уже существующему округу или вместе с другими отдельными общинами образовать новый округ.

РАЗДЕЛ IV.

Руководящий округ.

Ст. 16. Различные округа одной страны или одной области подчиняются одному руководящему округу.

Ст. 17. Разделение округов Союза на провинции и назначение руководящих округов производится на конгрессе по предложению Центрального Комитета.

Ст. 18. Руководящий округ представляет исполнительную власть для всех округов данной провинции. Он поддерживает сношения с этими округами и Центральным Комитетом.

Ст. 19. Вновь возникающие округа примыкают к ближайшему руководящему округу.

Ст. 20. Руководящие округа подотчетны предварительно Центральному Комитету, а в последней инстанции — Конгрессу.

РАЗДЕЛ V.

Центральный Комитет.

Ст. 21. Центральный Комитет представляет исполнительную власть всего Союза и дает отчет Конгрессу.

Ст. 22. Он состоит, по меньшей мере, из пяти членов и избирается окружным комитетом того города, который назначен Конгрессом как местопребывание Центрального Комитета.

Ст. 23. Центральный Комитет поддерживает сношения с руководящими округами. Он составляет каждые три месяца отчет о положении всего Союза.

РАЗДЕЛ VI.

Общие правила.

Ст. 24. Общины и окружные комитеты, а также Центральный Комитет собираются, по меньшей мере, раз в две недели.

Ст. 25. Члены окружных комитетов и Центрального Комитета выбираются на один год, могут быть переизбираемы и в любое время смещены своими избирателями.

Ст. 26. Выборы происходят в сентябре.

Ст. 27. Окружные комитеты должны руководить дискуссиями общин соответственно цели Союза.

Если Центральный Комитет находит, что обсуждение известных вопросов представляет общий и непосредственный интерес, то он может предложить их для дискуссий всему Союзу.

Ст. 28. Отдельные члены Союза должны, по меньшей мере, раз в три месяца, а отдельные общины раз в месяц отчитываться перед окружным комитетом.

Каждый округ должен, по меньшей мере, раз в два месяца посылать отчет руководящему округу, а каждый руководящий округ, по меньшей мере, раз в три месяца сообщать о положении дел в области.

Ст. 29. Всякий союзный комитет обязан предпринимать за своей ответственностью в пределах устава все меры, необходимые для сохранения и энергичного функционирования Союза, сообщая о них немедленно в высшие инстанции.

РАЗДЕЛ VII.

Конгресс.

Ст. 30. Конгресс представляет законодательную власть всего Союза. Все предложения касательно изменения статуты посылаются руководящими округами Центральному Комитету и представляются последними Конгрессу.

Ст. 31. Каждый округ посылает одного делегата.

Ст. 32. Каждый отдельный округ, имеющий меньше тридцати членов, посылает одного делегата, имеющий меньше шестидесяти—двух, меньше девяноста — трех и т. д. Округа могут посылать в качестве представителей и членов Союза, не принадлежащих к данной местности, но в этом случае они должны послать своему делегату подробный мандат.

Ст. 33. Конгресс собирается ежегодно в августе. В экстренных случаях Центральный Комитет созывает Чрезвычайный Конгресс.

Ст. 34. Конгресс всегда назначает город, в котором должен иметь свое местопребывание в течение следующего года Центральный Комитет, а также город, в котором должен собираться Конгресс.

Ст. 35. Центральный Комитет имеет на съезде только совещательный голос.

Ст. 36. Конгресс выпускает после сессии кроме циркуляра еще Манифест от имени партии.

РАЗДЕЛ VIII.

Проступки против Союза.

Ст. 37. Кто нарушает условия членства (ст. 2), тот, смотря по обстоятельствам, устраняется или исключается.

Исключение делает невозможным обратный прием.

Ст. 38. Вопрос об исключении решается только на Конгрессе.

Ст. 39. Округ или отдельная община могут устранить отдельных членов немедленным извещением об этом высшей инстанции. Конгресс и в этом случае является последней инстанцией.

Ст. 40. Обратный прием отстраненных членов производится Центральным Комитетом по предложению округа.

Ст. 41. О преступлениях против Союза имеет суждение окружной комитет, и он наблюдает за выполнением приговора.

Ст. 42. Отстраненные или исключенные члены, а равно и подозрительные лица подлежат надзору Союза и должны быть обезврежены. Интриги таких лиц должны быть сейчас же доложены соответствующей общине.

РАЗДЕЛ IX.

Союзные финансы.

Ст. 43. Конгресс устанавливает для каждой страны минимальный взнос, который должен выплачиваться каждым членом.

Ст. 44. Одна половина этих взносов передается Центральному Комитету, другая половина остается в окружной или общинной кассе.

Ст. 45. Средства Центрального Комитета предназначаются:

- 1) Для покрытия расходов по управлению и корреспонденции.
- 2) Для печатания и распространения пропагандистских листов.
- 3) Для посылки Центральным Комитетом эмиссаров с определенными целями.

Ст. 46. Средства местных комитетов предназначаются:

- 1) Для покрытия расходов по корреспонденции.
- 2) Для печатания и распространения пропагандистских листов.
- 3) Для посылки, в случае необходимости, эмиссаров.

Ст. 47. Общинам и округам, которые в течение шести месяцев не посылали никаких взносов в Центральный Комитет, последний сообщает об их устранении из Союза.

Ст. 48. Окружные комитеты должны не позже, чем через три месяца, посылать своим общинам отчет о доходах и расходах. Центральный Комитет представляет Конгрессу отчет об управлении союзными финансами и о состоянии союзной кассы. Всякая растрата союзных денег влечет за собою строжайшее наказание.

Ст. 49. Чрезвычайные расходы и расходы на Конгресс покрываются путем чрезвычайных взносов.

РАЗДЕЛ X.

Прием членов.

Ст. 50. Старшина общины прочитывает вновь принимаемому члену статьи 1 — 49, разъясняет их, подчеркивает в коротком обращении с особенным ударением обязанности, принимаемые на себя

вступающим, и затем предлагает ему вопрос: «Желаешь ли ты вступить в этот Союз?» Если вступающий отвечает «да», то старшина берет с него честное слово, что он будет выполнять обязанности члена Союза, объявляет его членом Союза и вводит его в ближайшем заседании общины.

Во имя Второго Конгресса осенью 1847 г.

Председатель: *Карл Шаппер*.

Секретарь: *Энгельс*.

Лондон, 8 декабря 1847 г.

ТРЕБОВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ГЕРМАНИИ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1. Вся Германия объявляется единой, нераздельной республикой.

2. Всякий немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным, если только он не подвергался уголовному наказанию.

3. Народные представители получают вознаграждение, чтобы и рабочие имели возможность заседать в парламенте германского народа.

4. Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не просто потребляло, как было раньше, но производило бы больше, чем составляют издержки по его содержанию. Это будет также одним из способов организации труда.

5. Бесплатность судопроизводства.

6. Все феодальные повинности, все оброки, барщина, десятины и т. д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа.

7. Имена государей и прочие феодальные имена, все рудники, копи и т. д. обращаются в собственность государства. На этих землях ведется, в интересах всего общества, хозяйство в крупном масштабе и при помощи наиболее современных вспомогательных средств, даваемых наукой.

8. Ипотеки на крестьянские земли объявляются государственной собственностью. Проценты по этим ипотекам крестьяне уплачивают государству.

9. В тех областях, где развита аренда, земельная рента или покупная плата уплачивается государству в виде налога.

Все эти меры, указанные под 6, 7, 8 и 9, проводятся с той целью, чтобы уменьшить общественные и прочие повинности крестьян и мелких арендаторов, не уменьшая средств, необходимых для покрытия государственных расходов, и не создавая опасности для самого производства.

Собственно земельный собственник, не являющийся ни крестья-

нином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. Поэтому его потребление — просто злоупотребление.

10. На место всех частных банков выступает государственный банк, бумаги которого имеют узаконенный курс.

Эта мера делает возможным регулирование всего кредитного дела в интересах *всего* народа и таким образом подрывает господство крупных собственников денег. Мало-по-малу, замещая золото и серебро бумажными деньгами, она удешевляет необходимое орудие буржуазного оборота, всеобщее средство обмена, и позволяет использовать золото и серебро во внешних отношениях. Эта мера, в конце концов, необходима для того, чтобы приковать к правительству интересы консервативных буржуа.

11. Государство берет в свои руки все средства транспорта, железные дороги, каналы, пароходы, гужевые дороги, почту и т. д. Они обращаются в государственную собственность и бесплатно отдаются в распоряжение неимущего класса.

12. В вознаграждении всех государственных чиновников не будет никаких иных различий, кроме того, что *семейные*, т. е. лица с большими потребностями, будут получать и большее вознаграждение, чем остальные.

13. Полное отделение церкви от государства. Духовенство всех вероисповеданий будет получать плату исключительно от своих добровольных общин.

14. Ограничение права наследования.

15. Введение усиленного прогрессивного налога и уничтожение налогов на предметы потребления.

16. Устройство национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим существование и берет на себя попечение о неспособных к труду.

17. Всеобщее и бесплатное народное образование.

В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и крестьянского сословия — со всей энергией способствовать проведению в жизнь указанных выше мероприятий. Ибо только посредством их осуществления миллионы людей, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которых постараются и впредь держать в угнетении, сумеют добиться своего права и той власти, которая подобаает им как производителям всех богатств.

Комитет: *Карл Маркс, Карл Шаппер, Г. Бауэр, Ф. Энгельс, И. Молль, В. Вольф.*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

А.

- Аддисон, Джозеф (1672—1719) — английский поэт — 136.
Александр Великий, — царь македонский (356—323 до нашей эры) — 425.
Альбрехт (Фридрих-Генрих) — принц прусский, сын короля Фридриха-Вильгельма III (1809—1879) — 570.
Андерсон, Адам (1692—1765) — английский экономист — 305.
Анненков, П. В. (1812—1887) — русский литератор — 281, 283.
Антиной — 231.
Апполон Бельведерский — 154.
Ариосто, Людовико (1474 — 1533) — итальянский поэт — 210.
Аркрайт, Ричард (1732—1792) — усовершенствовал бумагопрядильную машину — 389
«Арнштейн и Эскелес» — банкирский дом — 254.
Атилла — король гуннов (ум. 453) — 62, 77.
Аткинсон, Вильям — английский экономист первой половины XIX в. — 329, 536.
Ауэрсвальд, Рудольф (1795—1866) — прусский политический деятель, член прусского ландтага в июне 1848 г., министр-президент и министр иностранных дел — 563.
Ахилл — древне-греческий герой (у Гомера) — 199, 200.
Аякс Теламонид — древне-греческий герой — 199, 200, 201, 221, 226.

Б.

- Баббедж, Чарльз (1792—1871) — математик и экономист — 387, 539.
Бабеф, Франсуа-Нозль-Гракс (1760—1797) — деятель Великой французской революции, стоял во главе «заговора равных» — 28, 29, 36, 208, 509.
Байю (Baillut) — 578.
Барбару, Шарль (1767—1794) — деятель Великой французской революции, жирондист — 34, 221.
Бартельс, Адольф — бельгийский революционер, фюрерист, историк бельгийской революции, редактор «Débat social» — 235, 236.
Батайль — вице-секретарь Демократической ассоциации в Брюсселе, рабочий — 578.
Бауэр, Бруно (1809—1882) — левый гегельянец, теолог — 112.
Бауэр, Генрих — эмиссар Кельнского союза коммунистов в Лондоне — 586.
Бек, Карл (1817 — 1879) — австро-венгерский писатель — 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132.
Беранже, Пьер-Жан (1780—1857) — знаменитый французский поэт, автор многих песен, ставших народными — 578.
Берне, Карл - Людвиг (1786—1837) — знаменитый немецкий писатель и публицист — 99, 143, 156.
Блан, Луи (1811—1882) — французский историк, социалист — 40.
Бланки, Жером-Адольф (1798—1854), — французский экономист — 136, 316.
Бодельшвинг, Эрнест, фон Б.-Вельмеде (1794—1854) — прусский министр до революции — 564.
Бодо (1730—1792) — аббат, французский экономист, физиократ — 360.
Бойен, Леопольд - Герман - Людвиг (1771—1848) — прусский генерал и военный министр до революции — 564.
Бональд, Луи (1759—1840) — французский политический деятель и писатель, монархист — 262.
Боуринг, Джон (1792—1872) — лингвист, путешественник, писатель, политический деятель, противник хлебных законов — 278, 447, 450, 453, 455, 456, 457, 537, 541.
Брайт, Джон (1811—1889) — хлопчатобумажный фабрикант, квакер, радикальный политический деятель, противник хлебных законов — 245, 447.
Браас — адвокат из Намюра, демократ — 578.

Брауншвейг - Люнебург, Карл - Вильгельм - Фердинанд, герцог (1735—1806) — главнокомандующий прусской армией в первой войне союзников против Франции — 33.

Брэй, Д.-Ф. — английский социалистический мыслитель 30—40-х гг. XIX века — 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 340.

Брюгеман, Карл-Генрих (1810—1887) — экономист и публицист, редактор «Кельнской газеты» — 161, 162.

Буагильбер, Пьер (1646—1714) — французский экономист — 329, 347.

Буонарроти, Филипп (1761—1837) — французский революционер, друг Бабефа, один из вождей «заговора равных» — 36, 208.

Бюше, Филипп-Жозеф (1796—1865) — французский историк, политический мыслитель эпохи 1848 г. — 137, 147.

В.

Вейтлинг, Вильгельм (1808—1871) — немецкий коммунист, портной — 37, 40, 46, 47, 93, 225, 545, 554.

Велькер, Карл-Теодор (1790—1869) — профессор, немецкий юрист и политик — 149.

Венедей, Яков (1805—1871) — немецкий писатель и политический деятель, глава «Союза отверженных» — 182.

Вертер — герой произведения Гете — 136, 144, 145, 146, 150.

Вестфален, Эдгар фон (1819—1890) — брат Женни Маркс, сын Людвиг фон-Вестфалена, примыкал к коммунистам в 1846 г. — 93.

Виланд, Христофор - Мартин (1733—1813) — немецкий поэт — 140.

Вильгельм Мейстер — герой романа Гете — 145, 151, 153, 154, 155.

Вильгельм Оранский (1650—1702) — король Англии — 399.

Вильнев-Баржемон, Альбан де (1784—1850) — французский экономист — 373.

Винкельрид, Арнольд — швейцарский герой второй половины XIV века — 227, 229, 230, 231.

Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778) — знаменитый французский писатель и философ — 53, 342.

Вольф, Вильгельм (1809—1864) — писатель, близкий друг Маркса, член «Союза коммунистов» — 93, 586.

Г.

Габсбурги — австрийская династия — 251, 255, 256.

Гакстаузен, Август (1792—1866) — писатель по аграрным вопросам, исследователь русской общины — 483.

Ганзман, Давид (1790—1864) — прусский политический деятель, министр — 219, 220.

Гарвей, Вильям (1576—1657) — врач, основатель современной физиологии — 395.

Гарденберг, Карл-Август (1750—1822) — прусский канцлер — 13.

Гарни, Джордж - Джулиан (1817—1897) — чартист, редактор «Полярной звезды» — 32, 40, 275, 276.

Гарринг, Гарро (1798—1870) — немецкий поэт, публицист демократического направления — 103, 105, 108.

Гегель, Георг-Фридрих (1770—1831) — знаменитый немецкий философ — 7, 27, 86, 137, 139, 140, 142, 154, 182, 203, 359, 360, 362, 363, 366, 368.

Гейльберг, Луи (ум. в 1851—52 гг.) — из Бреславля, социалист-демократ, эмигрант в Брюсселе — 93.

Гейне, Генрих (1797—1856) — знаменитый немецкий поэт — 126.

Гейнцен, Карл (1809—1880) — прусский радикальный писатель-публицист — 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226.

Гектор — троянский герой у Гомера — 199, 200.

Генрих XLII (1797—1853) — князь Рейс-Шлейц-Лобенштейн-Эберсдорфский — 226.

Гервинус, Георг-Готфрид (1805—1871) — немецкий историк — 166.

Геркулес — герой из греческой мифологии — 147, 150, 222, 389.

«Герман и Доротея» — название произведения Гете — 148.

Гескиссон, Вильям (1771—1830) — английский политический деятель, министр — 412.

Геснер, Соломон (1730—1787) — немецкий идиллический поэт и художник — 204.

Гесс, Моисей (1811—1872) — немецкий социалист, представитель так называемого «истинного социализма» — 140.

Гете, Иоганн-Вольфганг (1749—1832), — знаменитый немецкий поэт — 7, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.

Геп фон-Берлихинген, рыцарь (герой драмы у Гете) — 7, 142, 152.

Гизо, Франсуа - Пьер (1787—1874) —

- французский историк и политический деятель — 239, 262, 483.
- Гильдич, Ричард — английский экономист — 405.
- Гильом — персонаж из старинной французской комедии — 83.
- Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ-материалист — 175.
- Гобсон, Джошуа — издатель «Полярной звезды» — 32.
- Голиаф — библейский персонаж — 201, 221.
- Гольбах, Поль-Анри (1723—1789) — французский философ-материалист — 134, 137, 139.
- Гомер — греческий поэт — 199, 201.
- Гоп, Джордж (1811—1876) — шотландский агроном, фермер, противник хлебных законов — 449, 460.
- Гопкинс, Томас — английский экономист — 331.
- Гофер, Андреас (1769—1810) — тирольский народный герой — 16.
- Грег, Роберт-Гайд — один из крупнейших английских фабрикантов — 449, 450, 460.
- Грюн, Карл (1817—1887) — писатель, представитель «истинного социализма» — 111, 112, 113, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 190, 191, 225, 508.
- Гуцков, Карл (1811—1878) — немецкий писатель — 94.

Д.

- Давид — царь израильский (последней четверти XI и первой четверти X века до нашей эры) — 201.
- Дальман, Фридрих - Кристоф (1785 — 1860) — немецкий историк — 166, 239.
- Данте, Алигьери (1265—1321) — знаменитый итальянский поэт — 1, 154.
- Дантон, Жорж-Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции — 29.
- Дарте, Жозеф (1769—1797) — участник «заговора равных» — 36.
- Дезам, Теодор (1803—1850) — французский коммунист и революционер — 99.
- Денкомб, Томас (1796—1861) — радикал, член Нижней палаты, позднее чартист — 41, 572.
- Джексон, Чарльз-Томас (1805—1880) — американский ученый, врач физик, и геолог. Первый ввел в употребление эфир как анестезирующее средство — 441.

- Джефферсон, Томас (1743—1826) — третий американский президент — 211.
- Джонс, Эрнест (1819—1869) — чартист и поэт — 41, 275.
- Диргардт, Фридрих (1795—1869) — фабрикант — 29, 30.
- Дитч (Dietsch), Андрей — швейцарский коммунист-вейтлингианец. В 1845 г. организовал в Америке коммуны «New Helvetia» — 105.
- Дон-Кихот у Сервантеса — 199, 240.
- Дроз, Жозеф (1773—1850) — французский историк и экономист — 316.
- Дуэсберг, Франц фон (1793—1872) — прусский министр, обер-президент Вестфалии — 162, 172, 564.
- Дэр — редактор собрания классиков политической экономии — 329, 347.
- Дюкенуа, Эрнест - Доминик (1749 — 1795) — член Конвента, участник преириальского восстания 1795 г. — 37.
- Дюкпесио, Эдуард (1804—1868) — бельгийский публицист и общественный деятель. Участник революции 1830 г.; занимал пост генерал - инспектора бельгийских тюрем, к концу жизни — клерикал — 180.
- Дюма, Жан-Батист (1800—1884) — знаменитый химик — 135.
- Дюнуайе, Шарль (1786—1862) — французский экономист — 324.
- Дюруа, Жан-Мишель (1753—1795) — член Конвента, участник преириальского восстания 1795 г. — 37.
- Дюшатель, Шарль-Мари (1803—1867) — французский государственный деятель, министр внутренних дел к началу февральской революции — 118, 280.

Ж.

- Жиго, Филипп — бельгийский коммунист, друг Маркса в Брюсселе — 93, 280.
- Жоттран, Люсьен - Леопольд (1804 — 1887) — бельгийский адвокат и писатель, революционер — 280, 578.

З.

- Занд, Жорж (1804—1876) — известная французская писательница — 416.
- Зейлер, Себастиан (род. ок. 1810, ум. ок. 1890) — демократ, эмигрант — 93.
- Зина — австрийский банкир — 254.
- Золлта (Solita) — член обществ «Молодая Америка» и «Ассоциация социальных реформ», проводивших идеи аграрного коммунизма в Америке в 40-х годах — 98, 102.

И.

- Изеграм — прозвище волка в германском средневековом эпосе — 202, 224.
 Исус Христос — 116, 145, 451.
 Иоанн Богослов — евангелист — 153.
 Иоганн Саксонский (1801—1873) — принц, затем король Саксонии — 1.
 Иосиф II (1765—1790) — император австрийский — 183, 217.
 Иуда Искарот — 72, 73, 74.
 Ифигения — героиня драмы Гете — 142.
 Ифлянд, Август - Вильгельм (1759—1814) — немецкий драматург — 131.
 Ицштейн, Иоганн (1775—1855) — немецкий политический деятель — 149.

К.

- Каба, Этьен (1788—1856) — французский социалист, утопист — 40, 99, 237, 518.
 Кайзер — немецкий писатель 40-х годов, автор труда о французском социализме и коммунизме — 87.
 Кампгаузен, Рудольф (1803—1890) — немецкий политический деятель, министр-президент в мартовской революции 1848 г. — 219, 220.
 Кампе — издательская фирма — 222, 223.
 Кант, Иммануил (1724—1804) — знаменитый немецкий философ — 7, 382.
 Карл I (1600—1649) — король английский — 175, 176.
 Карл II (1630—1685) — король английский — 409.
 Карл V (1500—1558) — император германский и король Испании — 7.
 Карл-Август (1757—1828) — герцог саксен-веймар-эйзенахский — 153.
 Карл-Альберт (1793—1849) — король сардинский — 242.
 Карл Великий (742—814) — император германо-римский — 343.
 Карлейль, Томас (1795—1881) — английский историк — 35, 537.
 Катон, Марк Порций, Младший (95—46 до нашей эры) — римский полководец, страстный республиканец; после битвы при Тапсе покончил жизнь самоубийством — 136.
 Квинтус-Фикслейн — герой романа того же названия немецкого писателя Иоганна-Пауля Рихтера — 201.
 Кенэ, Франсуа (1694—1774) — французский экономист, основатель школы физиократов — 359.
 Керар, Жозеф - Мари (1795—1865) — французский библиограф — 303.
 Кехлин, Николай (1781—1852) — крупный эльзасский фабрикант и политический деятель — 29, 30.

- Клейст, Генрих (1777—1811) — немецкий поэт — 124.
 Клоотс, Жан-Багист, позднее Анахарсис (1755—1794) — прусский барон, деятель Великой французской революции — 236.
 Клопшток, Фридрих-Готтлиб (1724—1803) — немецкий поэт — 140.
 Коббет, Вильям (1766—1835) — английский политический деятель и писатель радикального направления — 272.
 Кобден, Ричард (1804—1865) — английский государственный деятель, пропагандист свободной торговли — 29, 30.
 Кок, Поль де (1794—1871) — известный французский романист — 162.
 Кольбер, Жан-Бапист (1619—1683) — французский министр финансов при Людовике XIV — 394.
 Кондорсе, Жан-Антуан (1743—1794) — член Конвента, математик и философ — 35.
 Конзе — один из членов обществ «Молодая Америка» и «Ассоциация социальных реформ», защищавших идеи аграрного коммунизма в Америке в 40-х гг. — 100.
 Констансио — переводчик Рикардо — 303, 311.
 Кох, Генрих (1800—1869) — редактор газет «Antipfaff», «Communist» и «Reform» в Америке — 105, 108.
 Коцебу, Август Фридрих - Фердинанд (1761—1819) — немецкий драматург — 131.
 Криге, Герман (1820—1850) — немецкий революционер, сторонник Вейтлинга, редактор «Volkstribun» — 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.
 Купер, Томас (1759—1840) — американский экономист, сторонник свободной торговли — 209, 210, 348.
 Купер, Томас — чартист — 32.
 Кутон, Жорж - Огюст (1755—1794) — деятель Великой французской революции, погиб 9 термидора — 36.
 Кэд, Роберт — вождь восстания крестьян и ремесленников в Норфольке. Был повешен в 1549 г. — 185.

Л.

- Лажанти де-Лаванс — переводчик Лодердала — 303.
 Лалли - Толандал, Трофим - Жерар (1751—1830) — французский политический деятель; в эпоху революции умеренный либерал — 220.
 Ламаргин, Альфонс (1790—1869) — французский политический деятель, поэт и историк — 237, 238.

- Ламеннэ, Фелисите - Робер (1782 — 1854) — французский писатель, проповедник христианского социализма — 99, 106.
- Лассаль, Фердинанд (1825—1864) — знаменитый немецкий социалист и философ — 316.
- Лафайет, Мари-Жозеф-Поль (1757 — 1834) — генерал, деятель американской войны за независимость и Великой французской революции — 33, 34.
- Лаффит, Жак (1767—1844) — французский банкир и политический деятель — 23, 117, 118.
- Леверрье, Урбан-Жан-Жозеф (1811—1877) — астроном — 144.
- Левель, Иоахим (1786—1861) — польский историк, национал-демократ — 265, 578.
- Лемонтэ, Пьер-Эдуард (1762—1828) — французский писатель, экономист и историк, член Законодательного собрания 1791 — 1792 гг. — 380, 391.
- Лессинг, Готтольд - Эфраим (1729 — 1781) — знаменитый немецкий писатель — 140.
- Либих, Юстус (1803—1873) — химик — 135.
- Лист, Фридрих (1789—1846) — немецкий экономист, сторонник протекционизма — 209.
- Ло, Джон (1671—1729) — генеральный контролер финансов при французском короле Людовике XV, известен своими финансовыми спекуляциями — 59, 342.
- Лодердаль, Джеймс - Мэтланд, лорд (1759—1839) — английский государственный деятель и экономист — 303, 313, 314, 352, 353.
- Лорелей — легендарное существо из рейнских сказаний — 125.
- Лориап — бельгийский купец — 578.
- Лотта — героиня гетевского «Вертера» — 144.
- Луи - Филипп (1773 — 1850) — король Франции — 119, 250.
- Людвиг I (1786—1868) — король баварский — 115, 124, 140.
- Людовик XIV (1643—1715) — король Франции — 154, 347.
- Людовик XV (1710—1774) — король Франции — 359.
- Людовик XVI (1754—1793) — король Франции, казнен 21 января 1793 г. — 174, 176, 220, 231.
- моралист, утопический коммунист — 220.
- Майнц — член Союза коммунистов в Брюсселе — 578.
- Мак-Грат — чартист — 275.
- Мак-Коллох, Джон-Рамзей (1789 — 1864) — английский экономист — 136, 537.
- Малуэ, Пьер-Виктор (1740—1814) — французский политический деятель эпохи Великой французской революции; после 10 августа бежал в Англию; умеренный либерал — 220.
- Мальгус, Томас-Роберт (1766—1834) — английский экономист — 545.
- Мараг, Жан-Поль (1744—1793) — деятель Великой французской революции — 29, 36.
- Мария — «богородица» (из Евангелия) — 96, 116.
- Маркольф или Морольф — персонаж из средневековых сказаний о Соломоне — 199.
- Матфей — евангелист — 174.
- Маурер, Георг-Людвиг (1790—1872) — историк германского права — 483.
- Меллине, генерал (1768—1852) — бельгийский и французский государственный деятель, принимал участие в бельгийской революции 1830 г. — 578.
- Менцель, Вольфганг (1793—1873) — немецкий писатель, публицист и историк — 143, 156.
- Мерedit, Вильям-Моррис (1799—1873) — американский государственный деятель — 209.
- Меттерних, Клеменс (1773—1859) — австрийский государственный деятель — 239, 250, 255, 256, 263, 483, 558.
- Мефистофель — злой дух в «Фаусте» — 142.
- Милль, Джеймс (1773—1836) — английский экономист — 405.
- Милль, Джон-Стюарт (1806—1873) — английский экономист и философ — 348.
- Минос — из греческой мифологии — 143.
- Мирабо, Оноре-Габриель (1749—1791) — деятель Великой французской революции — 35, 220.
- Молль, Иосиф (ум. 1849) — член Союза коммунистов — 586.
- Мор, Томас (1478—1535) — английский государственный деятель времен Генриха VIII, автор знаменитой «Утопии» — 138.
- Морган, Льюис-Генри (1818—1881) — известный американский этнолог и социолог — 484.
- Морз, Артур — фермер, противник хлебных законов — 449, 460.

М.

Мабли, Габриель - Бонно де (1709 — 1785) — французский аббат, философ-

Мунье, Жан-Жозеф (1758—1806) — французский государственный деятель Великой французской революции, конституционалист-монархист — 220.
 Мэстр, Жозеф де (1754—1821) — французский писатель-философ реакционно-мистического направления — 262.
 Мюллер, Иоганн (1752—1809) — немецкий историк, автор «Истории Швейцарии» — 228.
 Мюнцер, Томас (1490—1525) — революционер и коммунист эпохи крестьянских войн в Германии — 17.

Н.

Найлс, Езекия (1777—1839) — американский издатель еженедельного журнала «Niles's Register», одного из лучших источников по истории Америки. Журнал издавался в течение 25 лет (1811—1839) — 209.
 Наполеон I (1769—1821) — французский император — 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 35, 137, 143, 250, 255, 256, 261, 263, 365, 522, 523.
 «Неистовый Роланд» — произведение итальянского поэта Ариосто — 210.
 Нельсон, Орас (1758—1805) — английский адмирал — 231.

О.

О'Коннелл (1775—1847) — известный ирландский политический деятель — 263.
 О'Коннор, Фергус (1794—1855) — чартист — 32, 41, 271, 272, 273, 274, 275, 277.
 Оксенбейн, Ульрих (1811—1890) — швейцарский государственный деятель — 255.
 Оуэн, Роберт (1771—1858) — английский утопист-коммунист — 45, 413, 510.

П.

Парни, Эварист-Дезире де-Форж (1753—1814) — французский поэт — 156.
 Пателен — персонаж из старинной французской комедии — 83.
 Пеллерен, Жан (1817—1877) — бельгийский рабочий, социалист — 578.
 Пен, Томас (1737—1809) — англо-американский публицист, мыслитель, участник борьбы за независимость Америки — 17, 40.
 Петти, Вильям (1623—1687) — английский экономист и статистик — 409.
 Пий IX (1792—1878) — папа римский — 240.

Пиль, Роберт (1788—1850) — английский премьер-министр — 240.
 Питт, Вильям (1759—1806) — английский государственный деятель, премьер-министр — 33.
 Плэйфер, Джон (1748—1819) — шотландский математик и физик — 135.
 Прометей — образ греческой мифологии — 106, 142, 143, 354, 355, 356, 357.
 Прудон, Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский экономист — 87, 99, 111, 113, 144, 151, 196, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297—412, 289, 508, 545, 554.

Р.

Рейнеке-Лис — персонаж германского средневекового эпоса — 202, 224.
 Рикардо, Давид (1772—1823) — знаменитый английский экономист — 215, 223, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 326, 327, 330, 345, 346, 352, 353, 359, 377, 401, 402, 403, 404, 405, 452, 458.
 Риц — камердинер прусского короля Фридриха-Вильгельма II — 148.
 Робеспьер, Максимилиан (1758—1794) — деятель Великой французской революции — 28, 35, 36.
 Робинзон Крузо — герой рассказа Дефо — 300, 301, 337.
 Рожье, Шарль (1800—1885) — бельгийский государственный деятель, участник революции 1830 г.; в 1848 г. — министр внутренних дел — 279.
 Ролан, Жан-Мари (1734—1793) — член Конвента, жироидист — 34.
 Ролан, Мари-Жанна (1754—1793) — жена его, видная политическая деятельница, жироидистка — 34, 35.
 Ромм, Жильбер (1750—1795) — член Конвента, участник прериальского восстания 1795 г. — 37.
 Ронге, Иоганн (1813—1887) — основатель «христианско-католической партии», политический деятель, демократ — 1, 131.
 Росси, Пелегрино - Луиджи (1787—1848) — итальянский государственный деятель, профессор уголовного права и политической экономики — 316, 397, 539, 545, 554.
 Ротер, Христиан фон (1778—1849) — прусский министр финансов — 162.
 Ротшильд — банкирский дом — 29, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 254, 256.
 Руге, Арнольд (1802—1880) — немецкий писатель и радикальный политик, левый гегельянец — 166, 182, 183, 191, 192, 222, 225.

Руссо, Жан-Жак (1712—1778) — французский философ XVIII века — 220.

С.

Савиньи, Фридрих-Карл (1779—1861) — знаменитый юрист, основатель исторической школы права — 564.

Садлер, Михаил-Томас (1780—1835) — английский экономист и политический деятель — 349.

Саул — царь израильский — 116.

Санчо-Панса — у Сервантеса, слуга Дон-Кихота — 199.

Сен-Жюст, Луи-Антуан (1767—1794) — деятель Великой французской революции, вождь якобинцев, погиб 9 термидора — 29, 36.

Сен-Симон, Анри-Клод (1760—1825) — французский философ и политический мыслитель — 45, 510.

Сениор, Вильям-Нассау (1790—1864) — английский экономист, апологет капитализма — 214, 348.

Сисмонди, Жан-Шарль, Симонд де (1773—1842) — французо-швейцарский историк и экономист — 303, 327, 329, 381.

Сийес, (Sieyès) Эмануэль-Жозеф, аббат (1748—1836) — французский политический деятель эпохи Великой французской революции — 106.

Смит, Адам (1723—1790) — английский экономист — 216, 223, 287, 301, 310, 312, 320, 341, 376, 379, 380, 387, 389, 390, 399.

Соломон — царь израильский — 199.

Созе, Жан-Пьер-Поль (род. 1800) — французский политический деятель — 118.

Спильтгорн, Шарль-Луи (1806—1872) — адвокат из Гента, бельгийский политический деятель, член временного правительства Фландрии в 1830 г., член Демократической ассоциации в Брюсселе — 578.

«Стелла» — название произведения Гете — 145.

Стентор — действующее лицо в «Илиаде» — 187.

Стефан (псевдоним Стефана Борна) (1824—1899) — наборщик, член Союза коммунистов, организатор берлинских рабочих в 1848—1849 гг. — 197, 226.

Стеффенс, Генрих (1773—1845) — философ, естествоиспытатель и писатель — 231.

Стюарт, Джеймс (1712—1780) — английский экономист — 399.

Субрани, Пьер-Огюст (1752—1795) — член Конвента, участник прерияльского восстания 1795 г. — 37.

Сцевола, Гай Муций — легендарный римский герой — 118.

Сэй, Жан-Баптист (1767—1832) — французский экономист — 303, 310, 320, 321, 346, 379, 380.

Т.

Тайлер, Уот (ум. 1381) — вождь крестьянского движения в Англии в конце XIV века — 185.

Таллейран, Перигор-Шарль-Морис (1754—1838) — французский политический деятель — 250.

Телль, Вильгельм — швейцарский народный герой — 227, 228, 229, 231, 233, 234.

Терсит — из греческой мифологии — 199, 200, 221.

Тиле, Людвиг-Густав (1781—1852) — прусский генерал и государственный деятель — 564.

Томпсон, Вильям (1785—1833) — английский экономист, представитель послерикардовского социализма — 331.

Томпсон, Томас-Перроне (1783—1869) — английский политический деятель, сторонник свободы торговли, примыкал к Бентаму — 278.

Торвальдсен, Альберт (1770—1844) — скульптор — 232.

Тук (Тооке), Томас (1774—1858) — английский экономист — 348.

У.

Уайт, Джон (1700—1766) — английский изобретатель, усовершенствовавший в 1735 г. прядильную машину — 389.

Уильямс, Джозеф — чартист, выслан из Англии в 1840 г. — 41.

Уэд, Джон (1788—1875) — экономист, автор книги «History of middle and working classes» — 537.

Ф.

Фальстаф — герой пьес Шекспира — 211.

Фарадей, Михаил (1791—1864) — знаменитый физик и химик — 135.

Фауст, герой драмы Гете — 141, 142, 153, 154.

Фейербах, Людвиг (1804—1872) — немецкий философ — 45, 112, 133, 140, 142.

Фергусон, Адам (1723—1818) — шотландский историк и философ-моралист — 380, 381.

Фердинанд II (1810—1859) — король Неаполитанский — 231, 242, 257.

Филипп I (1052—1107) — король Франции — 343, 344.

Фихте, Иоганн-Готлиб (1762—1814) — немецкий философ - идеалист — 7.
 Флориан, Жан - Пьер - Кларис (1755—1794) — французский писатель, автор «Вильгельм Телье, или Освобожденная Швейцария» — 228.
 Флотвелль, Эдуард - Генрих (1786—1865) — прусский государственный деятель; в 1844—1846 гг. был прусским министром финансов — 162.
 Фоллен, Август-Адольф-Людвиг (1795—1860) — немецкий поэт, автор нескольких демократических песен — 258.
 Фонтен-Беррье (род. ок. 1806) — доктор, французский революционер, бланкист, секретарь центрального комитета «Общества прав человека и гражданина» — 37, 40.
 Форстер, Георг (1754—1794) — немецкий писатель и политический деятель, горячий сторонник Великой французской революции — 17.
 Фоше, Леон (1803—1854) — французский экономист и политический деятель, министр внутренних дел в эпоху президентства Луи-Наполеона — 411.
 Франц I (1768—1830) — император австрийский — 250, 252.
 Фребель, Юлий (1805—1893) — немецкий радикальный политик и публицист, деятель 1848 г. — 188.
 Фрейлиграт, Фердинанд (1810—1876) — немецкий поэт, член Союза коммунистов, друг Маркса — 182.
 Фридрих-Вильгельм III («Справедливый») (1770—1840) — король Пруссии — 12, 16, 18, 22.
 Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861) — прусский король — 162, 175, 178, 220, 240, 241, 245, 561, 563, 566.
 Фрост, Джон (1785—1877) — чартист — 41.
 Фурье, Шарль (1772—1837) — французский социалист-утопист — 43, 45, 46, 47, 48, 86, 87, 88, 140, 283, 293, 510.

Ч.

Чайльд-Гарольд — герой поэмы Байрона — 32.
 Чуди, Эгидиус (1505—1572) — швейцарский историк и географ — 228.

Ш.

Шаппер, Карл (1813—1870) — участник майского восстания в Париже в 1839 г., член Союза коммунистов — 584, 586.
 Шарнгорст, Гергардт - Иоганн - Давид (1755—1813) — прусский генерал и военный реформатор — 13.

Шекспир, Вильям (1564—1616) — знаменитый английский драматург — 199.
 Шен, Генрих - Теодор (1773—1856) — прусский государственный деятель — 13.
 Шербюлье, Антуан-Элиус (1797—1869) — швейцарский экономист — 405, 540.
 Шиллер, Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт — 7, 140, 228, 231.
 Штауффахер — швейцарский герой (у Шиллера в «Вильгельме Телле») — 231.
 Штейн, Генрих-Фридрих-Карл (1757—1831) — прусский министр, крупный государственный деятель эпохи освободительной войны — 13.
 Штейн, Лоренц (1815—1890) — немецкий юрист, государствовед и экономист, автор книг по истории французского социализма — 45, 87.
 Штирнер, Макс (1806—1856) — немецкий философ и теоретик индивидуалистического анархизма — 6, 112, 196.
 Шторх, Генрих-Фридрих (1766—1835) — экономист, написал ряд работ по экономике и статистике России — 307.

Э.

Эгмонт — герой драмы Гете — 151.
 Эдмондс, Т.-Р. — английский экономист послерикардовского периода — 331.
 Эйхгорн, Иоганн - Альберт - Фридрих (1779—1856) — прусский политический деятель, с 1840 г. министр народного просвещения, духовных и медицинских дел, крайний реакционер — 166, 564.
 Эллис, Вильям — чартист, выслан в 1840 г. из Англии — 41.
 Энгельман — издательская фирма — 116.
 Эппс, Джон (1805—1869) — английский радикал, врач и общественный деятель — 274, 275, 276.

Ю.

Юр, Эндрю (1778—1857) — английский химик и писатель — 389, 391, 457, 539.

Я.

Якоби, Иоганн, д-р (1805—1877) — немецкий политический деятель, радикал, принимал деятельное участие в революции 1848 г., был затем социал-демократом — 188.

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТР.
Предисловие редактора	VII
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Статьи из «Полярной звезды»	XXXIX
Последняя бойня в Лейпциге. — Рабочее движение в Германии. («Northern Star», 1845, 13. September, № 409.)	1
Положение Германии	
Письмо первое	4
(«N. S.», 1845, 25. October, № 415.)	
Письмо второе	11
(«N. S.», 1845, 8. November, № 417.)	
Письмо третье	18
(«N. S.», 1846, 4. April, № 438.)	
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Праздник народов в Лондоне	25
(«Rheinische Jahrbücher», 1846, B. II., S. 1 — 19.)	
<i>Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Фурье о торговле	43
(«Deutsches Büregrbuch», 1846, Jg. II., S. 1 — 19.)	
Предисловие Энгельса	45
Фурье о торговле	48
I.	48
II. Ложность экономических принципов обращения.	55
III. Иерархия банкротства	60
IV. Восходящая ветвь банкротств	63
V. Центр. — Грандиозные разновидности	68
VI. Нисходящая ветвь. — Грязные разновидности	77
VII. Заключение	83
Послесловие Энгельса	86
<i>МАРКС - ЭНГЕЛЬС.</i>	
Манифест против Криге	91
(С литографированного циркуляра, Брюссель, 11 мая 1846 г.)	
Революция	93
«Народный трибун»	94
I. Превращение коммунизма в бред о любви	94
II. Экономика «Народного трибуна» и его позиция по отношению к молодой Америке	99
III. Метафизическая болтовня	102
IV. Религиозные мелочи	103
V. Личное выступление Криге	107

<i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	СТР.
Статьи из «Deutsche Brüsseler Zeitung»	109
Заметка против Карла Грюна (<i>Маркс</i>)	111
(1847, 8. April, № 28.)	
Немецкий социализм в стихах и прозе (<i>Энгельс</i>)	114
I. Карл Бек, «Песни о бедняке, или поэзия истинного социализма»	114
(1847, 12. September, № 73; 16. September, № 74.)	
II. Карл Грюн, «О Гете с человеческой точки зрения»	133
(1847, 21. November, № 93; 25. November, № 94; 28. November, № 95; 2. Dezember, № 96; 5. Dezember, № 97; 9. Dezember, № 98.)	
Покровительственные пошлины или система свободной торговли. (<i>Энгельс</i>)	157
(1847, 10 Juni, № 46)	
Придворная и газетная утка из Сан-Суси (<i>Маркс</i>)	161
(1847, 8. August, № 63.)	
Коммунизм «Рейнского обозревателя» (<i>Маркс</i>)	164
(1847, 12. September, № 73.)	
Тюремный конгресс в Брюсселе (<i>Маркс</i>)	177
(1847, 19. September, № 75.)	
Коммунисты и К. Гейнцен (<i>Энгельс</i>)	181
Статья первая	181
(1847, 3. Oktober, № 79.)	
Статья вторая	188
(1847, 7. Oktober, № 80.)	
Морализирующая критика и критизирующая мораль (<i>Маркс</i>)	198
(1847, 28. Oktober, № 86; 31. Oktober, № 87; 11. November, № 90; 18. November, № 92; 25. November, № 94.)	
Гражданская война в Швейцарии (<i>Энгельс</i>)	227
(1847, 14. November, № 91.)	
Заметка против А. Бартельса (<i>Маркс</i>)	235
(1847, 19. Dezember, № 101.)	
Ламартин и коммунизм (<i>Маркс</i>)	237
(1847, 26. Dezember, № 103.)	
Революционные движения 1847 года (<i>Энгельс</i>)	239
(1848, 23. Januar, № 7.)	
Начало конца Австрии (<i>Энгельс</i>)	250
(1848, 27. Januar, № 8.)	
Несколько слов газете «Riforma» (<i>Энгельс</i>)	257
(1848, 24. Februar, № 16.)	
 <i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Речи по польскому вопросу (22 февраля 1848 г.)	259
(Bruxelles, C. G. Vogler, 1848.)	
Речь Маркса	261
Речь Энгельса	264
 <i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Корреспонденции в «Réforme»	269
I. (<i>Энгельс</i>)	271
(1847, le 1 Novembre.)	
II. (<i>Энгельс</i>)	274
(1847, le 6 Novembre.)	
III. (<i>Энгельс</i>)	277
(1847, le 22 Novembre.)	
IV. (<i>Маркс</i>)	279
(1848, le 8 Mars.)	

<i>К. МАРКС.</i>	СТР.
Письмо П. В. Анненкову	283
(«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под ред. М. К. Лемке, СПб. 1912 г., т. III, стр. 455—465.)	
<i>К. МАРКС.</i>	
Нищета философии	295
(Bruxelles, C. G. Vogler, 1847.)	
Предисловие	297
Глава первая. Научное открытие.	299
I. Противоположность потребительной стоимости и меновой стоимости	299
II. Конституированная или синтетическая стоимость	309
III. Приложение закона пропорциональности стоимости	339
А. Деньги	339
Б. Излишек труда	347
Глава вторая. Метафизика политической экономии	359
I. Метод	359
II. Разделение труда и машины	378
III. Конкуренция и монополия	392
IV. Собственность или рента	399
V. Стачки и рабочие коалиции	409
<i>К. МАРКС</i>	
Наемный труд и капитал	417
(«Neue Rheinische Zeitung», 1849, 5—11. April, № 264—267, 269.)	
<i>К. МАРКС.</i>	
Речь о свободе торговли	445
(Bruxelles, 1848.)	
<i>К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС.</i>	
Принципы коммунизма. — Манифест Коммунистической партии	463
Принципы коммунизма (<i>Энгельс</i>)	465
(Из рукописного наследства Ф. Энгельса.)	
Манифест Коммунистической партии (<i>Маркс-Энгельс</i>)	483
(London, Febr. 1848.)	
I. Буржуа и пролетарии.	483
II. Пролетарии и коммунисты	495
III. Социалистическая и коммунистическая литература	503
1. Реакционный социализм	503
а) Феодалный социализм	503
б) Мелкобуржуазный социализм	504
в) Немецкий или «истинный» социализм	505
2. Консервативный или буржуазный социализм	508
3. Критически-утопический социализм и коммунизм	509
IV. Отношение коммунистов к различным революционным партиям	512
П Р И Л О Ж Е Н И Я .	
Конституционный вопрос в немецкой социалистической литературе (<i>Энгельс</i>)	517
(Из рукописного наследства.)	
Заработная плата (<i>Маркс</i>)	536
(Из рукописного наследства.)	

	СТР.
Прусский ландтаг и пролетариат в Пруссии, как и в Германии вообще (Энгельс)	558
(«Kommunistische Zeitschrift», London, September, 1847.)	
Парламент английских рабочих (Энгельс)	571
(«Deutsche Brüsseler Zeitung», 1847, 27. Juni, № 51.)	
Ховяева и рабочие в Англии (Энгельс)	575
(«L'Atelier», 1847, № 2.)	
Адрес Демократической ассоциации («Réforme», 1848, le 4 Mars.)	577
Устав Союза коммунистов	579
(Wermuth u. Stieber, Die Communisten-Verschwörungen des 19. Jahrhunderts, Berlin 1853, S. 239 — 243.)	
Требования Коммунистической партии в Германии	585
(Листовка, Париж, начало апреля 1848 г.)	
Указатель имен	587

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

1. Номер «Полярной звезды» со статьей Энгельса «Положение Гер- мании»	16— 17
2. Тронная речь Фридриха-Вильгельма IV при открытии Соеди- ненного ландтага. (Карикатура Ф. Энгельса.)	160—161
3. Ф. Энгельс в середине 40-х годов	227—228
4. Обложка первого издания «Нищеты философии»	304—305
5. Первая страница брошюры «Речь о свободе торговли»	457—458
6. Обложка первого издания «Манифеста Коммунистической партии»	488—489
7. Номер «Коммунистического журнала» со статьей Энгельса «Прус- ский ландтаг и пролетариат в Пруссии, как и в Германии вообще»	560—561



ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ:

<i>Стран.:</i>	<i>Строка:</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует читать:</i>
106	12 снизу	кригеровская	криговская
121	6 сверху	своей	его
156	9 снизу	чего	что
197	14 сверху	Но	Не
336	4 снизу	нужные	ненужные
371	14 снизу	новой	старой
419	3 снизу	критике	картине
422	7 сверху	плата есть	плата не есть
457	2 снизу	эксплоатации	эксплоатации —